

К. М А Р К С

и

Ф. Э Н Г Е Л Ъ С

СОЧИНЕНИЯ

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ
Публицистика - Философия - История

ОТДЕЛ ВТОРОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАПИТАЛ
ТЕОРИИ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ
ПЕРЕПИСКА

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫЙ И ИМЕННОЙ

**ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!**

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

К. МАРКС
и
Ф. ЭНГЕЛЬС

СОЧИНЕНИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Д. РЯЗАНОВА

Т О М

III

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

О Т Д Е Л П Е Р В Ы Й

К. МАРКС

И

Ф. ЭНГЕЛЬС

ИССЛЕДОВАНИЯ
СТАТЬИ

1844—1845

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА.

В отличие от первого тома, в котором были даны только работы Маркса, и от второго, в котором собраны были работы Энгельса, мы, начиная с третьего тома, даем для каждого соответствующего периода их литературной и общественной деятельности все относящиеся к ним работы Маркса и Энгельса.

В настоящий том входят все сочинения и статьи, написанные Марксом и Энгельсом после прекращения «Немецко-французских летописей». Все они группируются вокруг «Святого семейства» и «Положения рабочего класса в Англии».

Как известно, идейное и литературное сотрудничество Маркса и Энгельса начинается фактически только с сентября 1844 г., когда они оба, встретившись в Париже, пришли к заключению, что необходимо резко отмежеваться от Бруно Бауэра и других старых товарищей из группы левых гегельянцев, к которой они оба принадлежали до 1844 г. Но между «Немецко-французскими летописями», среди сотрудников которых Маркс и Энгельс — каждый совершенно самостоятельно, без предварительного столкновения, — оказались наиболее близкими («по духу», и «Святым семейством», в котором они уже выступают как идейные и практические союзники, лежит еще сотрудничество обоих в газете «Vorwärts» («Вперед»).

Может поэтому показаться противоречием, что в то время, как статьи Энгельса во «Вперед» мы напечатали во втором томе, где собраны все его работы до начала сотрудничества с Марксом, мы статью последнего из того же самого журнала исключили из первого тома и перенесли в третий. Но это — только видимое противоречие. Как мы уже заметили в предисловии ко второму тому, статьи Энгельса о «Положении Англии» и «Английской конституции» относятся к той же фазе его духовного развития, что и работы в «Немецко-французских летописях». Нет никаких указаний на уже намечавшийся идейный разрыв не только с Руге, но и с Бруно Бауэром. Кроме того, Энгельс продолжает еще оперировать только фактами из области английской действительности. И та, и другая статья написаны до восстания силезских ткачей.

Другое дело — статья Маркса. Она была написана им уже после того, как он окончательно разорвал с Руге, после того как «дискуссия», вызванная в среде немецкой радикальной интеллигенции силезскими событиями, поставила в очередь дня тот самый вопрос об отношении «философии» к «массам», на который Маркс уже ответил в статье «К критике гегелевской философии права».

Издателем выходившей в Париже с начала 1844 г. немецкой газеты «Вперед» был некто Бернштейн, литературный аферист, для которого газета служила только источником дохода и средством саморекламы. Сейчас же после выхода в свет «Немецко-французских летописей» он поспешил выступить против них с грубой и пошлой руганью. Но это ему мало помогло. Подозрительная прусская полиция внесла «Вперед» в индекс запрещенных газет и журналов. Тогда Бернштейн передал редакцию одному из бывших сотрудников «Немецко-французских летописей», Бернайсу (в июле 1844 г.).

С этого времени начинается сотрудничество Гейне, давшего несколько сатирических стихотворений против прусского короля, и Руге, который в прозаических статьях сообщал ряд сплетен о прусской королевской династии. Свои статьи он подписывал псевдонимом «Пруссак», что могло вызвать, и действительно вызывало, недоразумения, так как он жил в Париже как саксонский подданный, и только Маркс среди писателей, связанных с «Немецко-французскими летописями», был пруссаком. Кроме того, Руге, уже разошедшийся с Марксом, продолжал выступать на страницах «Вперед» как издатель «Немецко-французских летописей».

Маркс воспользовался поэтому новой статьей Руге — «Король прусский и реформа», — чтобы отмежеваться от него и подчеркнуть, что статьи «Пруссака» не принадлежат ему. Ответ Маркса появился уже через несколько дней («Vorwärts», №№ 63 и 64, 7 и 10 августа 1844 г.). Статья сопровождалась следующей заметкой: «Специальные причины вынуждают меня заявить, что предлагаемая статья есть первая статья, помещаемая мною в «Vorwärts'e». К. М.».

Для Маркса это был, кроме того, случай высказаться по поводу тех споров, которые вызваны были в парижской немецкой колонии восстанием силезских ткачей.

Маркс и его ближайшие друзья приветствовали это восстание как крупнейшее событие общественной-политической жизни, как поворотный момент в истории Германии. Такое же впечатление оно произвело и на их единомышленников в Германии. В этом отношении особенно любопытно письмо к Марксу Георга Юнга, одного из главных руководителей старой «Рейнской газеты», от 26 июня 1844 г.

«Силезские волнения, вероятно, вас так же поразили, как и нас. Они — блестящее доказательство правильности вашей концепции настоящего и будущего Германии в «Введении к философии права». Особенно верным оказалось ваше утверждение, что так как ни одна система, ни один отдельный класс не достиг особого господства, то и трение, борьба будут значительно слабее. Повсюду симпатия к ткачам-мятежникам, и если кто в газетах берет это восстание под подозрение и говорит о нем в суровых выражениях, то это не капиталист, не буржуа, а в крайнем случае не в меру усердный чиновник, который никак не может переварить, что королевско-пруссские штыки получили отпор. В «Кельнской газете» вы найдете теперь больше коммунизма, чем когда-то в «Рейнской газете»; мало того, — она открывает подписку в пользу осиротевших семей силезских ткачей, павших во время недавних печальных событий, следовательно в пользу семей мятежников самого опасного сорта».

Силезские волнения произвели сильное впечатление и в далекой России, но только как обличение буржуазного строя. Почти одновременно с письмом Юнга к Марксу — 24 июня 1844 г. — Герцен заносит в свой дневник следующие строки: «В Силезии бунтуют работники, ломают машины, бросают изделия и т. д. Семья вырабатывает там в неделю 16 gute Gr., из которых в последнее время уменьшили еще 2! И после этого фюррьеристы неправы, что обличили меркантилизм и современную индустриальность, как сифилитический шанкер, заражающий кровь и кость общества! Купец сказал просившим прибавки работникам: «если хлеб дорог, ешьте сено!» Месть бунтовавших очевидна: они жгли векселя, выбрасывали бумаги, деньги, портили товар и не крали».

В Германии социализм сразу входит в моду. Отражение этого энтузиазма мы находим в письмах и статьях Энгельса, который зимой 1844 — 1845 гг. не отставал в своем оптимизме от Юнга.

Во всяком случае, восстание силезских ткачей сыграло в до-мартовской Пруссии большую роль, указав на пробуждение активного протеста не только среди ремесленников, из которых до того времени рекрутировались немногочисленные участники революционных организаций, но и среди фабричного пролетариата. Поэтому странно звучит утверждение Меринга, что Маркс в своей статье попадает мимо цели, что в исторической оценке силезского восстания ткачей Руге был более прав, рассматривая его как чисто голодный бунт, который должен был скорее мешать, чем способствовать политическому развитию. В виде подтверждения Меринг приводит следующие слова Руге: «Такие восстания, как силезское, только укреп-

плюют старый филистерский режим и отдаляют время общего движения до второго пришествия. Я никогда не разделял надежды немецкого коммунизма. Неполитический коммунизм, — а только о таком может идти речь, — есть мертворожденный продукт. *Немецкие* ремесленники, которые лишь до тех пор стремятся к уничтожению собственности, пока сами ее не имеют, еще менее, чем старые студенческие организации, могут противостоять старому строю». Руге все свои надежды возлагал на общее политическое движение, которое охватило бы все классы, и видел в пролетарском движении только помеху.

Если Маркс несколько переоценил элемент сознательности в восстании силезских ткачей, то он все же был ближе к истине, чем Руге, совершенно отрицавший этот элемент, — точно так же как в России Плеханов, который в морозовской стачке увидел поворотный момент в истории русского рабочего движения, хотя она тоже в своем финале выродилась в стихийное разрушение. И Плеханов, конечно, был более прав, чем те, которые видели в морозовской стачке только голодный бунт.

Коренное различие взглядов Руге и Маркса сказалось также и в оценке Вейтлинга. Чтобы доказать способность немецкой «массы» к просвещению, к политической деятельности, Маркс напоминает о «гениальных сочинениях Вейтлинга, которые в теоретическом отношении часто даже идут дальше Прудона, хотя по изложению отстают от него».

На примере пауперизма, т. е. факта, в котором, как замечает Маркс после в «Святом семействе», «вся противоречивая сущность частной собственности проявляется в самой очевидной, кричащей, непосредственно возмущающей человеческое чувство форме», он разоблачает цинизм английской политической экономии и недомыслие английской буржуазии. Поскольку речь идет об экономии, критика Маркса не касается вопросов теории. Он только разоблачает лицемерие и цинизм политической экономии, которая — Маркс в доказательство цитирует Мак-Коллоха, ученика «циничного» Рикардо — вместе с Мальтусом прикрашивает ужасную действительность. Фактический материал заимствован, без указания источника, как это и понятно в газетной статье, у Бюре («О нищете трудящихся классов в Англии и Франции»), которого, по мнению некоторых скоропалительных буржуазных и анархических писателей, якобы «ограбил» Энгельс. Скорее можно было бы обвинить в этом Маркса, который, как видно из его статьи, очень внимательно штудировал Бюре, ибо не имел в своем распоряжении материалов и наблюдений, на которые опирался Энгельс, но так же мало, как и последний, мог бы заимствовать у Бюре свои *взгляды*.

Руге в своих письмах утверждает, что Маркс, как и Бакунин, входил в редакцию «Вперед». Энгельс, в биографическом очерке Маркса, тоже говорит, что Маркс принимал участие в редакции. Но это участие, вероятно, ограничивалось тем, что Маркс давал Бернайсу указания и советы, а также привлекал к сотрудничеству своих друзей и учеников, как, например, Вебера, статьи которого приписывались Энгельсу. Кроме напечатанной нами статьи, Марксу принадлежат, вероятно, одна-две заметки. Некоторые переводные фельетоны из истории французской революции дают основание предполагать, что инициатива их помещения исходила от Маркса, который тогда, между прочим, усердно занимался историей Конвента. Так, несомненно, по его совету помещены были отрывки из мемуаров якобинца Левассера, которые Маркс тщательно конспектировал и для себя. В приложении мы даем часть этих конспектов под названием «*Борьба якобинцев с жирондистами*». В печатаемой нами рукописи Маркс дает, на основании пяти глав первого тома мемуаров Левассера, сжатый очерк борьбы между жирондистами и якобинцами в Конвенте от сентября 1792 г. до начала апреля 1793 г. Маркс ограничивается выделением и подчеркиванием существенных пунктов без всяких критических замечаний с своей стороны. Но уже самая группировка фактов превращает этот конспект в обвинительный акт против жирондистов.

Марксу трудно было принимать деятельное участие в газете и в силу других условий. В сентябре он уже вместе с Энгельсом выработал план первого общего труда, который из предполагавшегося памфлета вырос у него в большую книгу.

Мы теперь можем более точно установить, каким образом возник план «Святого семейства». Еще до выхода «Немецко-французских летописей» Бруно Бауэр основал собственный орган — «Всеобщую литературную газету», первый номер которой вышел в декабре 1843 г. Новый орган стоял под знаком отказа от «политики». Бруно Бауэр был разочарован неудачей «Рейнской газеты» и «Немецких летописей» и отнесся очень отрицательно к новой попытке расшевелить «массу», «толпу», которая продолжала оставаться «позорно равнодушной» к поражению своих «философских вождей». В разряд «черни» попала, наряду с «чернью просвещенной», т. е. ограниченной средой, которая составляла круг читателей «Рейнской газеты» и «Немецких летописей», и «чернь непросвещенная», «масса», «народ». Бруно Бауэр состряпал и свою философию истории на тему: «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас!»

«В массе — а не где-либо в другом месте, как думают прежние

либеральные вожди, — следует искать настоящего врага духа. Все великие предприятия предыдущей истории были с самого начала осуждены на неудачу и оказали поверхностное действие именно потому, что в них была заинтересована или ими одушевлялась масса». Это презрительное отношение к «массе» Бауэры распространяли и на пролетариат, издеваясь попутно и над теми, кто забавлялся утопической мыслью просвещать и организовать «массу», не шедшую дальше «рабочего сознания».

Такой поворот Бруно Бауэра должен был вызвать со стороны Маркса и Энгельса, пришедших к выводу, что, наоборот, «дух» совершенно бессилён без «массы», самый энергичный протест. Негодование их против старых соратников росло с каждым выпуском «Всеобщей литературной газеты». Если до восьмого номера (июль 1844 г.) Бауэр еще не называл непосредственно Маркса, то теперь он выступает с большой статьей против всего движения 1842 г., т. е. против «Рейнской газеты» и «Немецких летописей». Таким образом, за разрывом с Руге, который не отказался от «политики» и хотел опираться на «массу», но только массу буржуазную, следовал разрыв с Бруно Бауэром, который отрицал теперь и «политику», и «массу».

До последнего времени нам было известно, что, когда Энгельс в сентябре 1844 г., по дороге из Манчестера в Бармен, остановился в Париже, он вместе с Марксом решил выступить против Бруно Бауэра. Предполагалось ограничиться небольшим памфлетом. Энгельс, с своей стороны, написал листа полтора и уехал в Бармен, предоставив Марксу окончательную обработку книги. В декабре, т. е. через два месяца, Маркс отослал издателю всю рукопись.

«Что ты растянул «Критическую критику» на двадцать листов, — пишет ему Энгельс (20 января 1845 г.), — меня, конечно, не мало удивило. Но это очень хорошо, так как кое-что появляется на свет, что иначе еще долго лежало бы в твоём письменном ящике».

Последние слова Энгельса давали основание думать, что Маркс приступил к работе, имея уже в портфеле ряд набросков или даже какую-нибудь готовую работу. Во всяком случае переход от «Немецко-французских летописей» до «Святого семейства» настолько значителен, что, несмотря на свою логическую последовательность, заставляет предполагать и ряд *качественных* различий.

Из сохранившихся тетрадей, — а сохранились далеко не все, — мы знаем, что Маркс, на-ряду с французскими и немецкими социалистами, изучал тогда и экономическую литературу, в первую очередь французскую. Даже Смита, Рикардо, Джемса Милля и Мак-Коллоха он читает еще во французском переводе. Он уже знает работы Си-

смонди и, как мы видели выше, его ученика Бюре. Маркс в это время продолжал еще стоять на той же «человеколюбивой» точке зрения, с которой он критикует политику и экономику в статье против Руге. Политическая экономия, по его мнению, лицемерно старается доказать, что гражданское общество, основой которого является частная собственность, есть настоящее, естественное человеческое общество. А между тем именно в гражданском обществе развивается самоотчуждение человека, приводящее к обезчеловечению человека и противопоставлению ему, как господствующей над ним силы, отчужденных от него же его собственных сил. Страшнее всего изоляция не от *политического* общества, а от *человеческого* общества, в котором была еще развита *родовая* человеческая жизнь, которое еще не распалось на отдельные атомы, потерявшие свою родовую сущность.

Социальную революцию Маркс характеризует все с той же антропологической точки зрения. Она должна совершить в области общества то же самое, что в области религии произвела философская революция.

Именно в разгаре этих занятий, когда Маркс продолжал упорно работать над выработкой своего нового мировоззрения, он начал получать новые откровения Бауэра. Мы имеем одно любопытное свидетельство, которое показывает, как быстро Маркс реагировал на статьи своего старого друга и учителя. Это — письмо Георга Юнга к Марксу (из Кельна, 31 июля 1844 г.).

«Пятый, шестой и седьмой выпуски «Литературной газеты» я посылаю отдельно бандеролью. Ваши замечания относительно Бауэра совершенно справедливы, но мне кажется, что было бы хорошо, если бы вы их переработали в критическую статью для какой-нибудь немецкой газеты, чтобы выманить Бауэра из его таинственной засады... Бауэр совершенно помешался на критике: так, он мне писал недавно, что нужно критиковать не только общество, привилегированных собственников и т. д., но — о чем еще никто не думал — и пролетариев... Пишите мне сейчас же, что вы думаете предпринять против Бауэра. Если у вас нет для этого времени, то я и Гесс охотно переработаем ваши письма в газетную статью... Я посылаю вам также критику «Парижских тайн», которая помещена в ежемесячнике Буля¹. Я ее считаю в некоторых отношениях прекрасной. Любопытный контраст с ней представляет критика в бауэровской «Литературной газете». Она тоже дает кое-что хорошее. Мне

¹ Речь идет о статье Штирнера.

хотелось бы, чтобы вы мне сообщили свое мнение об этих статьях, а также свои собственные замечания».

Таким образом, Маркс уже летом 1844 г., еще до приезда Энгельса в Париж, собирался выступить против Бауэра. Его письма к Юнгу пока не найдены. Возможно, что Маркс уже в ответе Юнгу высказался о «Парижских тайнах». Во всяком случае Маркс, как показывает следующий проект предисловия, уже до встречи с Энгельсом, т. е. еще в июле и августе, подготавливал к печати работу, направленную против Бауэра.

«Настоящая статья представляет собою только часть работы, которую я обещал дать в «Немецко-французских летописях» по критике правовых и общественных наук в форме критики гегелевской философии права. При подготовке к печати оказалось, что соединение критики, направленной только против спекулятивной (гегелевской) философии, с критикой различных предметов совершенно не подходит, мешая развитию вопроса и затрудняя понимание. Кроме того, богатство и разнообразие подлежащего рассмотрению материала позволило бы соединить его в одной статье только в форме афоризмов; а с другой стороны, такое изложение в форме афоризмов произвело бы впечатление произвольного систематизирования.

«Я поэтому постараюсь в ряде самостоятельных брошюр дать критику права, морали, политики и т. д., а затем в отдельном труде указать их общую связь между собой, отношение отдельных частей и, наконец, дать критику спекулятивной обработки этого материала. Итак, в этой статье связь политической экономии с государством, правом, моралью, общественной жизнью и т. п. затрагивается лишь постольку, поскольку политическая экономия сама ее профессо затрагивает эти вопросы. Мне незначит доказывать читателю, знакомому с политической экономией, что мои выводы получены путем чисто эмпирического анализа, основанного на добросовестном изучении политической экономии.

«А невежественный рецензент, — стараясь скрыть свое полное невежество и убожество мысли громкими словами вроде: «утопическая фраза», «совершенно чистая, весьма решительная, весьма критическая критика», «не только правовое, но и общественное общество», «компактная массовая масса», «разглагольствующие выразители массовой массы», — которые он бросает в голову позитивному критику, — такой рецензент должен еще прежде всего привести доказательство, что, кроме своих теологических и семейных дел, он способен судить и о светских делах.

«Само собою разумеется, я, кроме французских и английских

социалистов, пользовался также и немецкими социалистическими трудами. Однако содержательные и общие немецкие работы в области этой науки сводятся — кроме сочинений Вейтлинга — к статьям Гесса в «Ein und zwanzig Bogen» и к «Очеркам критики политической экономии» Энгельса в «Немецко-французских летописях».

Но критика национальной экономии, — как положительная критика вообще, так и положительная критика политической экономии, — обязана своим обоснованием великим открытиям Фейербаха, против «Философии будущего» и «Тезисов к реформе философии» которого — в «Anekdotis» — благодаря мелочной зависти одних и действительному озлоблению других, организован подлинный заговор для их замалчивания.

Лишь с Фейербаха начинается положительная гуманистическая и натуралистическая критика. Чем скромнее (бесшумнее), тем вернее, глубже, всеобъемлющее и основательнее сказывается влияние фейербаховских произведений (единственных, несравненных, действительно прогрессивных, революционных).

В них одних со времени «Феноменологии» и «Логики» Гегеля заключена действительная (философская и антифилософская) теоретическая революция в философии. Заключительную главу предлагаемой работы, разбор *гегелевской диалектики и философии* вообще, я считаю совершенно необходимой в противоположность критике, так как критические теологи нашего времени этого не сделали. Эта поверхностность неизбежна, так как даже критический теолог все же остается *теологом*. Он или должен принимать за авторитет определенные философские предпосылки и исходить из них, или, если в процессе критики и благодаря чужим открытиям у него возникают сомнения в философских предпосылках, он малодушно и без достаточных оснований отказывается от них или абстрагируется от них. Свое рабское подчинение или вызванную этим подчинением досаду он бессознательно выражает в отрицательной и софистической форме. Он или беспрестанно уверяет в чистоте своей критики, или же закрывает глаза и старается отвести внимание других от необходимого объяснения между критикой и ее первоисточником — *гегелевской диалектикой* и немецкой философией вообще. Желая скрыть это возвышение новой критики над ее собственной ограниченностью и неразвитостью, он, наоборот, старается делать вид, что имеет дело лишь с одной ограниченной формой критики — например, с критикой XVIII века — и с *ограниченностью массы*. Наконец, если делаются открытия относительно сущности его собственных философских предпосылок, — например, *фейербаховские*, —

критический теолог делает вид, что именно он сделал их. Не будучи в состоянии разработать эти результаты, он или противопоставляет их, как общие места, взглядам писателей, еще не отрешившихся от философии, или даже выставляет на вид, что стоит выше этих открытий. С этой целью он хватается за то, что некоторые элементы гегелевской *диалектики* еще существуют в этой критике или не преподнесены ему в критически обработанной форме. Но вместо того, чтобы установить надлежащую связь между этими элементами, он пользуется ими втихомолку, недобросовестно и скептически против упомянутой уже критики гегелевской диалектики. Например, он тайно применяет категорию опосредствующего доказательства против категории положительной истины, исходящей из себя самой. Критик-теолог считает, например, вполне естественным, чтобы все было сделано самими философами и чтобы он имел, таким образом, возможность *разглагольствовать* о чистоте решительности, о вполне критической критике. Он воображает, что в самом деле преодолел философию, если он гегелевский момент у Фейербаха кое-как воспринимает в качестве недостатка Фейербаха. Хотя теологический критик и предается спиритуалистическому культу «самосознания» и «духа», однако он не возвышается от ощущения до сознания.

«Хотя на первых порах *теологическая критика* в самом деле была моментом прогресса, — в последнем счете, в своей своеобразной форме, она является лишь *теологически-карикатурным* выражением доведенной до крайности старой *философской* и главным образом *гегелевской трансцендентности*.

«В другом месте я подробно выясню этот исторический процесс, этот поучительный суд истории, которая предназначает теологию — искони представлявшую собою поворное пятно философии — для упразднения философии, т. е. для отрицательного выражения процесса ее гнилостного разложения.

«Из дальнейшего моего изложения выявится, насколько открытия Фейербаха относительно сущности философии требуют все же критического рассмотрения философской диалектики, по крайней мере, для их обоснования».

Из этого предисловия мы узнаем, что Маркс отказался от непосредственного продолжения той работы, введение к которой он дал в «Немецко-французских летописях». Но если он оставил мысль дать критику правовых и общественных наук в форме критики гегелевской философии права, то он все же собирается писать критику права, морали, политики, общественной жизни и т. д. Политическая экономия интересуется Маркса лишь постольку, поскольку

она сама затрагивает все эти вопросы. Маркс намеревался сделать это в критике различных социальных доктрин.

Характеризуя невежественного рецензента и теологического критика, Маркс имеет в виду Бруно Бауэра. Он, таким образом, намечает и план, и название будущего «Святого семейства», которое на две трети является критикой бауэровского спиритуализма, а вместе с тем и спекулятивного идеализма, и критикой «Парижских тайн», т. е., с одной стороны, критикой морали, религии, юстиции буржуазного общества, а с другой — всяких высококонравственных «акробатовблаготворительности» и вульгарных реформистов вроде Сю.

В той же самой тетради, в которой мы нашли проект предисловия, оказались и критические очерки и экскурсы, соединенные нами под общим названием «Подготовительные работы для «Святого семейства» и печатаемые в приложении к этому тому. Они представляют крайне важное дополнение к тем главам «Святого семейства», в которых Маркс дает критику экономических явлений, частной собственности, различных форм коммунизма, а также Прудона.

Весь план «Святого семейства» в значительной степени диктовался содержанием «Всеобщей литературной газеты». Поход братьев Бауэров против «массы» и «рода», философия самосознания, критика которой для Маркса и Энгельса являлась в то же время самокритикой, еврейский вопрос, французская революция, французский материализм, дифирамб «Парижским тайнам», воспетый Шеллигой, критика Прудона, принадлежащая Эдгару Бауэру, статьи об Англии, написанные Фаухером, — вот главные темы, разработанные на страницах тех восьми номеров «Всеобщей литературной газеты», о которых Маркс и Энгельс пишут в предисловии. Вполне естественно, что Энгельс взял на себя разбор статей Фаухера. Кроме этого ему принадлежат еще две маленьких главы, направленные против Эдгара Бауэра. Все остальные вопросы разработаны Марксом, который, как мы видели, специально занимался ими, не говоря уже о том, что такие темы, как еврейский вопрос и французская революция, были Марксом рассмотрены уже раньше в полемике с тем же Бруно Бауэром. Это до известной степени объясняет поразительную быстроту, с которой Маркс написал «Святое семейство». Энгельс не без основания писал ему: «Если ты оставил мое имя на книге, то это не малый курьез, так как я едва полтора листа в ней написал».

«Святое семейство, или критика критической критики» вышла в свет в марте 1845 г. На некоторые недостатки ее указал уже Энгельс сейчас же после того, как он получил эту книгу. Вот что он пишет Марксу в письме от 17 марта 1845 г.:

«Критическая критика» — я, кажется, уже писал тебе, что она получена здесь, — просто великолепно. Твои рассуждения об еврейском вопросе, истории материализма и «Тайнах» превосходны и произведут большое впечатление. Но при всем том книга слишком велика. Суверенное презрение, с которым мы оба выступаем против «Литературной газеты», очень мало гармонирует с 22 листами, которые мы ей посвящаем. Кроме, того значительная часть критики спекуляции и абстрактного существа вообще останется непонятной для большой публики и не всех будет интересовать. Но вообще книга прекрасно написана и заставляет читателя смеяться до упаду. Бауэры не смогут ничего ответить. Бюргерс мог бы, если он напишет о книге в первом выпуске журнала Пюттмана, упомянуть причину, по которой я написал так мало и обработал только те части, которые не требовали особого труда, — мое короткое, всего лишь десятидневное пребывание в Париже. И без того производит комическое впечатление, что я написал едва полтора листа, а их больше двадцати. Абзац о «проституции» ты лучше мог бы выпустить. Слишком мало, да и не имеет никакого значения».

То обстоятельство, что Марке отвел такое большое место критике «Парижских тайн», объясняется сенсационным успехом этого романа не только во Франции, но и в Германии. Если Штирнер в своей критике «Парижских тайн», — а именно о ней упоминает Юнг в письме к Марксу, — отнесся отрицательно к этому роману, то газета Бауэров, в лице Шелиги — будущий генерал прусской армии Зыхлинский — отнеслась к нему восторженно, как к социальному откровению.

Фурьеристы приветствовали Сю как своего человека, как народного романиста. Феликс Пиа открыл в романе Сю «социальную философию». Романом Сю увлекались все слои общества. Он имел колоссальный успех и в Германии, и в России.

«Едва ли какая-нибудь эпоха какой-нибудь литературы, — писал Белинский еще в апреле 1844 г., — представляет пример успеха, сколько-нибудь подобного тому, каким увенчались в наши дни пресловутые «Les Mystères de Paris». Мы не будем говорить о том, что этот роман, или, лучше сказать, эта *европейская шехеразада*, являвшаяся в фельетоне ежедневной газеты, занимала публику Парижа, следовательно, и публику всего мира, где получают французские газеты (а где же они не получают?), — ни того, что по выходе этого романа отдельным собранием он в короткое время был расхвачан, прочитан, перечитан, зачитан, растрепан и затерт на всех концах земли, где только говорят на французском языке».

(а где не говорят на нем?), переведен на все европейские языки, возбуждал множество толков еще более нелитературных, нежели сколько литературных, и породил великое желание подражать ему».

Белинский пытается «объяснить местные и исторические причины такого успеха». Это — июльская революция и ее социальные последствия. Победило мещанство. Народ, сражавшийся с королевскими войсками, был обманут. «Вечный работник собственника и капиталиста, пролетарий весь в его руках, весь его раб, ибо тот дает ему работу и произвольно назначает за нее плату... Хорошо равенство! И будто легче умирать зимою, в холодном подвале или на холодном чердаке, с женою, детьми, дрожащими от стужи, не евши уже три дня, будто легче так умирать с хартией, за которую пролито столько крови, нежели без хартии, но и без жертв, которых она требует?»

В своей критике июльской революции Белинский впадает в крайность, напоминающую иллюзии «истинного социализма». Но народ для него не только объект сострадания. «Он еще слаб, но он один хранит в себе огонь национальной жизни и светлый энтузиазм убеждения, погасший в слоях «обрезанного общества». У него имеются истинные друзья: это люди, которые слили с его судьбой свои обеты и надежды и которые добровольно отреклись от всякого участия на рынке власти и денег. Они поднимают свой голос в защиту народа. «Понятно что в такое время не может не иметь успеха литературное произведение, героем которого является народ».

Дальше следует критика «Парижских тайн» и их автора, напоминающая по своей ядовитости и резкости некоторые замечания Маркса.

«Эжен Сю был этим счастливецем, которому первому вошло в голову сделать выгодную литературную спекуляцию на имя народа. Эжен Сю не принадлежит к числу тех немногих литераторов французских, которые, махнув рукою на мерзость запустения общественной нравственности, добровольно отказались от настоящего и обрекли себя бескорыстному служению будущему, которого, вероятно, им не дождаться, но которого приближению они же содействовали. Нет, Эжен Сю — человек положительный, вполне сочувствующий материальному духу современной Франции... Изображая французский народ в своем романе, Эжен Сю смотрит на него, как истинный мещанин (bourgeois), смотрит на него очень просто, — как на голодную, оборванную чернь, невежеством и нищетой осужденную на преступления. Он не знает ни истинных пороков, ни истинных добродетелей народа, не подозревает, что у него есть

будущее, которого уже нет у торжествующей преобладающей партии, потому что в народе есть вера, есть энтузиазм, есть сила нравственности. Эжен Сю сочувствует бедствиям народа; зачем отнимать у него благородную способность сострадания, — тем более, что она обещала ему такие верные барыши? Но *как* сочувствует, — это другой вопрос. Он желал бы, чтобы народ не бедствовал и, перестав быть голодною, оборванною и частью поневоле преступною чернью, сделался сытою, опрятною и прилично себя ведущею чернью, а мещане, теперешние фабриканты законов во Франции, оставались бы по-прежнему господами Франции, образованнейшим сословием спекулянтов. Эжен Сю показывает в своем романе, как иногда сами законы французские бессознательно покровительствуют разврату и преступлению. И, надо сказать, он показывает это очень ловко и убедительно; но он не подозревает того, что зло скрывается не в каких-нибудь отдельных законах, а в целой системе французского законодательства, во всем устройстве общества.

«Автор водит читателя по тавернам и кабакам, где собираются убийцы, воры, мошенники, распутные женщины, — по тюрьмам, где подозреваемые в преступлении посажены в одну комнату с уличенными во множестве преступлений, с бежавшими не один раз с галер, — в больницы, где для пользы науки бедная женщина должна рассказывать своему доктору при множестве его учеников симптомы своей болезни, а после того, если в ней есть женский стыд, чувствовать усиление болезни, — в дома умалишенных, которые, по описанию автора, представляют глазам филантропа более утешительное зрелище, чем все другие общественные заведения, — по чердакам и подвалам, где скрываются бедные семейства, круглый год бледные от голода и изнурения, а зимою дрожащие от стужи, потому что они не знают, что такое дрова. В этих чердаках и подвалах — жилища нищеты и отчаяния — часто живут высокие добродетели, но еще чаще гнездятся разврат и преступление. Но что говорить о тех несчастных, которые сами себя называют *детьми мостовой* и с малолетства служат предметом спекуляции для подобных им нищих? — Разврат и преступление, так сказать, ждут их на пороге жизни, чтобы схватить в свои когти и повлечь по всем мытарствам побоев, голода, обид, презрения, угнетения, наказаний, тюрем, галер, воспитывая в них закоренелых злодеев. Все это составляет содержание романа Эжена Сю. Мысль его — как из этого достаточно видно — благородная и прекрасная; взглянем на исполнение».

Содержание «Парижских тайн» современным читателям так

мало известно, что и Меринг в своем введении к «Святому семейству» считает необходимым дать его изложение. Мы предпочитаем это сделать словами Белинского, чтобы облегчить параллель между русскими ново-гегельянцами и немецкими. Белинский вскрывает глубоко-мещанский характер описания той «массы», которое для Бауэра и его сподвижников явилось желанным оправданием их собственного отношения к «массе».

«Парижские тайны» являются самым жалким и бездарным произведением. Завязка романа основана на лжи и призраке, каким погнушалась бы в наше время даже сколько нибудь порядочная мелодрама. И эта ложь, эта призрачность в особенности бросаются в глаза даже самому невзыскательному читателю в герое и героине романа, т. е. в его светлости принце Родольфе герольштейнском и ее светлости, однородной дочери его, *Песунье*, воспитаннице *Сычили* и нахлебнице *Яги-Бабы*. Оставив свои наследственные владения, в которых, видно, по их микроскопической мелкости его светлости нечего было делать, Родольф живет в Париже, занимаясь таким делом, которое может прийти в голову разве только какому-нибудь подрядчику повестей в фельетоне журнала, но которое, слава богу, в наш прозаический век не придет в голову никому, тем менее принцу. Переодетый в блузу работника, Родольф шатается по кабакам и тавернам Сите и дерется там на кулачки с убийцами, ворами и мошенниками, защищая, как истинный Дон-Кихот, слабых и невинных, наказывая порок и награждая добродетель. По словам автора, Родольф отличался «красотою, но не мужественностью, его бледность, его полузакрытые черные глаза, ленивая походка, рассеянный взгляд, ироническая улыбка показывали человека, отжившего век (хотя ему было не более тридцати лет); казалось, он был расслаблен аристократическою невоздержанностью (хотя он легко одолевал страшных бойцов и силачей)». Мы бы никак не догадались о причине победоносности его светлости, если бы наперник его, Мурф, в разговоре с ним же, не подсказал нам о нем следующих биографических подробностей: «Кребб научил вас боксировать, Лакур передал вам искусство бороться и драться на палках, знаменитый Бертран превратил вас в удивительного бойца на шпагах; вы убиваете ласточку на лету из пистолета; у вас стальные мускулы». Видите ли: все, что нужно для искателя приключений, для Дон-Кихота XIX века, для наполнения невозможными и небывальными приключениями пошлого романа вроде шехеразады! Играя в приключения и в опасности, Родольф играет и в добродетель, и в высокие чувства, — и во всех родах этих игр он ужасный эффе́ктер.

Освободив Певунью из-под опеки Яги-Бабы, он не рассказывает ей этого, везет ее за город будто для прогулки, привозит на свою собственную мызу, и только там Певунья узнает, что она не зависит больше от Яги-Бабы и что для нее есть честное и прекрасное убежище, даже добродетельная мать, в особе г-жи Жорж. Все это делается сюрпризом и с эффектами; все это могло иметь предплохие следствия для бедной protégée, которой злая судьба велела быть предметом эффектного покровительства. Так и случилось: Певунью увезли злодеи, и если Сычиха не испортила ее прекрасного лица купоросною кислотою, так это потому, что для эффекта романа автору нужно было бы и в гроб положить свою героиню прекрасною. Для этого он придумал прекрасное средство: злодею *Мастаку* послать страшный сон, пробудивший в нем раскаяние, которое и побудило его помешать Сычихе изуродовать Певунью, хотя этого, по слепоте своей, он совсем не был в состоянии сделать. Между тем, Певунью поместили в тюрьму, потом выпустили, утопили в реке, спасли, вывели, — и Родольф ничего этого не знает, за множеством дел. Все это ужасно глупо и пошло, но все еще далеко не конец глупостям и пошлостям романа. Родольфу нужно завладеть *Мастаком*; но он сам запутывается в своих сетях и должен погибнуть. Однакож не бойтесь: роман только начинается, и Родольфу предстоит еще сделать много разных эффектов. И вот он ухитряется написать в кармане несколько строк и ловко выбросить бумажку за окно кареты; а верный Мурф ловко ее подхватывает. Все это не помешало однакож Родольфу полететь в погреб. Там он должен был захлебнуться смрадною водою, на его груди уже спасаются крысы, он уже задыхается, падает без чувств; но не трепещите, читатели, ведь это еще только первая часть романа — впереди целые семь частей, да еще с эпилогом; а куда они годятся, если Родольф не будет в них эффектировать? Таким же чудом Мурф получает несмертельную рану от руки *Мастака*, который во всяком другом случае не умеет поражать иначе, как над смерть. Суд над *Мастаком* и ослепление его возбудили негодование в некоторых гуманных французских критиках. И в самом деле, это было бы возмущающею душу картиною, если бы не было смешною мелодрамою, пошлым театральным эффектом. Посмотрите, как затейливы суд и эта казнь! Что ни черта — то мелодраматический фарс. Монолог Родольфа к *Мастаку* — пародия на любой монолог шиллерова Карла Моора. Кстати о черном докторе Давиде: как и в его истории высказывается дон-кихотство Родольфа! Плантатор так гнусно-бесчеловечно поступил с негром Давидом и креолокою Сесили, что всякий честный человек не мог не почесть себя

в праве спасти их, имея к тому средства. Но Родольф эффе́ктёр; он не любит делать добро просто; он задал себе вопрос, имеет ли он право самоуправно лишать господина слуги? И вследствие этого он расчел, сколько стоило плантатору воспитание Давида, что стоят раб-негр и раба-креолка, и сонному, пьяному плантатору в полночь отдает двойную против расчета сумму. Скажите, бога-ради: если вы найдете возможность из берлоги разбойника вырвать попавшего к нему в плен несчастного, — неужели вы будете рассчитывать, что стоило этому разбойнику содержание его пленника, и заплатите вдвое более против расчета?.. Как эта черта отзывается мещанством и капитализмом, которые законность и справедливость допускают только в денежных делах? И от него же совестливый и чуждающийся самоуправства Родольф не усомнился почесть себя в праве лишить зрения, конечно, великого злодея, но для кары которого были правительство, законы, эшафот? — Он хотел его лишить возможности делать зло — и дал ему возможность еще наделать зла; он хотел дать ему возможность раскаяться — и в чем же мы видим это раскаяние? Неужели в убийстве Сычихи, убийстве, учиненном в исступлении ярости, которое однакоже не помешало Мастаку на нескольких страницах читать Сычихе исполненные риторической шумихи монологи, забыв, что Сычихе совсем не до них, а для Хромушки они, как и следовало, были ужасно смешны?..

«Таким же точно выказывается Родольф в своих отношениях к маркизе Дарвиль. Маркиз женился на ней обманом, утаив от нее, что он страдает падучею болезнью. С горя она влюбилась в Родольфа, но, как женщина без ума и такта, позволила играть собою графине Саре, которая возбудила в ней недоверчивость к Родольфу и любовь к Шарлю Роберу, набитому дураку. Маркиза решается на тайные свидания с этим глупцом, и только одна нерешительность спасает ее от последствий этих свиданий. При последнем ее чуть-было не поймал муж, но всезнающий и везде поспевающий Родольф спас ее. В эту-то женщину влюблен Родольф. Он предлагает ей, *для рассеяния*, делать добро, и она начинает играть в добро. Все это приторно до последней степени.

«Но до сих пор Родольф только эффе́ктёр и фразер; мы увидим, что он просто глуп. Он венчается с умирающею Сарою, чтобы иметь право объявить Певунью своею законною дочерью. А для чего это? И что за принцесса, что за владетельная княжна, окруженная штатс-дамами и фрейлинами, — Певунья, воспитанница Сычихи, девушка шестнадцати лет, всю жизнь проведшая с ворами и

мошенниками, растленная и оскверненная всею грязью порока, хотя и невольного и бессознательного, но тем не менее порока? К лицу ли ей, возможна ли для нее роль владетельной княжны? Не лучше ли, не естественнее ли было бы, если б Родольф оставил ее на руках г-жи Жорж, или уж если ее убивало присутствие людей, знавших о прежней ее жизни, найти ей уголок в Германии и видаться с нею инкогнито, как с своею дочерью?

«Теперь, что за лицо эта Певунья? Сначала, в трактире, с Родольфом и Резакою, она довольно естественна и даже интересна; но когда она вдруг освобождается от грязи, в которой более десяти лет топтали ее ногами убийцы, воры и мошенники, и вдруг, ни с того, ни с чего, делается «девою идеальною» и «неземною», она перестает быть естественною и делается пошлою, скучною. Мы не спорим против того, что сердце ее было чисто по своей натуре; что она способна была к раскаянию и страданию при мысли о прежней жизни; но все это должно было проявиться в ней естественно, без идеальничанья; на ее жизни навсегда должны были остаться следы грязи, которой не смыли бы воды целого океана. А ей, видите ли, довольно было рукомыйничка водицы, чтоб сделаться чище голубки, невиннее младенца. Какая пошлая натяжка! И потому нелепее, пошлее, приторнее, натянутее и скучнее эпилога к роману, где действие перенесено в Герольштейн, ничего нельзя вообразить. В сравнении с этим эпилогом даже «Семейство», чувствительный роман Фредерикки Бремер, кажется чем-то сносным!

«Между тем на этих двух неестественных и невозможных во всех отношениях лицах основано все здание романа. Почему, вместо них, автор не придумал лиц интересных, но возможных, происшествий занимательных, но простых? Потому, что для этого нужен был талант, и притом большой талант, ибо истинно-изящное просто и естественно. А у доброго Эжена Сю дарования может хватить на какую-нибудь повесть в роде «Полковника Сюрвиля» — не больше; взявшись за что-нибудь большее, он по необходимости должен стать на ходули и впасть в мелодраму.

«Мы не видим достаточной причины, почему бы Певунья непременно должна была оказаться дочерью немецкого князя. По крайней мере из этого ничего не вышло, кроме сентиментального вздора и пошлых эффектов. Ясно, что автор в этой завязке рассчитывал на чувствительных читателей, которые любят в романах необыкновенные столкновения, особенно родственные, годные только для наполнения пустоты романа, чуждого всякой концепции, всякого творчества.

«Г-жа Жермень и сентиментальный, безличный и безобразный сын ее — лица совершенно лишние в романе. Между тем из желания Родольфа отыскать Жермена вытекают, в романе, все до пошлости чудесные похождения его.

«Мастак, Сычиха, Полидори, Сесили — лица неестественные и невыдержанные. Что они такое по мысли автора? Чудовища ли природы, или жертвы воспитания и других неотразимых причин? Но в первом случае не следовало бы автору быть столь щедрым на такие редкие произведения природы; а во втором — показать нам причины их искажения и найти в их душах хотя какие-нибудь следы человечности, как он показал их в Резаке. Что это лица мелодраматические, спитые на живую нитку, довольно привести для доказательства одну черту. Полидори, которого Родольф принуждает быть палачом Феррана, говорит ему: «Князь наказывает преступление преступлением, сообщника — сообщником... Я «не должен покидать тебя по его приказанию; я возле тебя, как тень»... «Я заслужил эшафот, как ты»... и проч. Подумаете, это говорит обратившийся на путь заблудший человек, — ничуть не бывало; это говорит нераскаянный изверг, отравитель, убийца, вор, все, что угодно... И это поэзия, творчество! Нет, это просто — шехеразада! Лучше всех этих извергов очерчен Жак Ферран. Самая мысль изобразить гнусного злодея, пользующегося в обществе репутациею нравственного человека, достойна внимания; но автор не выдержал ее, перехитрил, принес ее в жертву великому господину Родольфу — и вышла мелодрама! Безумная любовь Феррана к Сесили кажется ужасною натяжкой и не возбуждает в читателе ни доверия, ни интереса. Полидори, умирающий от ядовитого кинжала Сесили, и Родольф, случаем спасающийся от той же смерти, — эффект. Лучше всех других злодеев изображены — вдова Марсиаль (не везде, впрочем, выдержанная), дочь ее Тыква (очень хорошо очерченная) и Скелет. Графиня Мак-Грегор обрисована довольно удачно, хотя и переутрирована; но братец ее Том очень похож на болвана, с которым играют в вист, когда недостает четвертого. Он потому только вертится в романе, что без него Саре нельзя таскаться по кабакам и харчевням...

«Что же, спросят нас, неужели в «Парижских тайнах» нет ничего хорошего и есть только одно дурное? Нет: в целом этот роман — верх нелепости, но частности в нем недурны. Таковы характеры — Резаки (впрочем невыдержанный), Марсиаля и особенно Волчихи, Пик-Венегра, Риголетты, доктора Грифона, г. и г-жи Пипле. Недурны некоторые эпизоды, как то рассказ в тюрьме Пика-Венегра

страдания баронессы Фермон и ее дочери, картина страдания семейства Морель, история Луизы, сцены на острове Грабителя.

«Но в целом, повторяем, роман Эжена Сю — верх нелепости: большая часть характеров, и притом самых главных, безобразна, нелепа, события завязываются насильно и развязываются посредством *deus ex machina*. Мы уже говорили о том и другом, прибавим еще несколько черт касательно последнего. Многочисленные действующие лица поставлены в насильственные отношения друг к другу. Так, например, Полидори развращает Родольфа в его юности, помогает Саре Мак-Грегор, и он же помогает потом г-же Ролан отравить графиню Дорбиньи, мать маркизы Дорбиньи; сверх того он сообщник Жака Феррана во всех его злодействах и участвовал в гибели семейства Фермон: видите ли, какой гордиев узел разных хитросплетений! Но всезнающий, везде успевающий великий Родольф не хуже Александра Македонского справляется с этим узлом. Случайная покупка комода на толкучем рынке и попавшееся в нем письмо наводят Родольфа на след баронессы Фермон; а квартира в доме *Красной руки* дает ему возможность напасть на следы Полидори, которого он узнает в ложном Брадаманти, и во-время послать Мурфа в Нормандию для спасения глухого графа Дорбиньи от яда. В самом деле, опоздай маркиза Дарвиль с Мурфом хоть минутою, граф Дорбиньи был бы отравлен. Таким же точно образом Родольф успел узнать о злодейских умыслах Скелета и других преступников на жизнь Жермена; кстати воротился тут Резака, о котором Родольф думал, что он уже в Африке, и очень успешно и еще более эффектно защитил Жермена. Смерть самого Резака воспоследовала также очень эффектно: во-первых, он умер за своего благодетеля; и, во-вторых, умер от ножа, которым сам убивал других. Отчего же Мастак не погиб от ножа и даже нашел себе верное пристанище в доме умалишенных? За раскаяние? Но ведь Резака тоже раскаялся, и еще искреннее, не говоря уже о том, что он никогда не был таким извергом, как Мастак? Отчего же Сычиха погибла от руки, а не от кинжала, которым она в этот же день смертельно ранила графиню Сару Мак-Грегор? А знаете ли, зачем она ее ранила? — Затем, чтобы дать Родольфу возможность жениться на маркизе Дарвиль. Затем же застрелился и маркиз Дарвиль... Как все это пошло!

«Как француз, Эжен Сю не чужд симпатии к падшим и слабым. Гуманность и человеколюбие — одна из самых резких черт национального характера французов. Это отразилось с большею или меньшею силою и истиною в «Парижских тайнах». Если Сю нари-

совал несколько отвратительных и неправдоподобных чудищ, каковы Мастак, Сычиха и Полидори, — это для мелодраматического успеха, столь несомненного в расчетах на толпу; но в других злодеях автор старался показать неизбежность жертв недостатков французского общественного устройства. Дети, брошенные на мостовую, попавшие во власть грубых и жестоких промышленников, не могут не говорить без восторга о славном житье их в тюрьме! Чего же хстите вы от них? И какое имеете вы право считать себя лучше их и строго судить их? Разве вы уверены, что при подобном образе жизни в лета детства вы остались бы людьми честными и нравственными? Преступника казнили за убийство — и его семейству, не участвовавшему в преступлении, нет прохода на улице от оскорбительных восклицаний и упреков; ему нет работы, нет средств к существованию: ему остается или умереть голодною смертью, или приняться за воровство, а потом за убийство... Вот вопросы, которые расшевелил Эжен Сю в своих «Парижских тайнах», и этим-то вопросам обязан его роман своим необыкновенным успехом.

Эжен Сю кончил, однако, лучше, чем это предполагал Белинский в 1844 г. За «Парижскими тайнами» последовал «Вечный жид» (1844 — 45 гг.). Белинский уже не валит Эжена Сю в одну кучу с другими литературными спекулянтами. Через три года после жестокого отзыва о «Парижских тайнах» Белинский пишет о Сю значительно мягче.

«Грустнее всего, что к этой шайке сказочных потешников добровольно примкнулся писатель с несомненным и большим дарованием. Мы говорим о знаменитом Эжене Сю. В его *«Парижских тайнах»* столько любви к человечеству, благородных инстинктов, столько страниц, запечатленных признаками высокого таланта! И между тем весь роман основан на мелодраме, столько неестественных лиц, особенно между отличающимися по части добродетели! Герой романа — лицо сказочное, невозможное, героиня — и приторна, и неестественна; поэтому эпилог, как неглубокое следствие ложной причины, бросается в глаза своей пошлостью, приторною сентиментальностью, лицемерством чувства, скукою, неестественностью, надутостью и фразерством. В *«Вечном жиде»* местами поражают читателя те же яркие достоинства, какими блистают *«Парижские тайны»*; но недостатки уже во сто раз поразительнее, нежели в последнем романе. Важность иезуитов, сила их влияния мелодраматически преувеличена; это еще куда бы ни шло, по крайней мере цель автора была хороша и похвальна... Что бы ни писал Эжен Сю, всегда у него есть что-то вроде мысли, какое то стремление

решить или по крайней мере поставить на вид какой-нибудь нравственный социальный вопрос»¹.

Маркс написал «Критику критической критики» в течение трех месяцев. В конце декабря книга уже набиралась. В литературных кругах Германии между тем распространился слух, что Маркс работает над книгой, носящей название «Святого семейства». Так Маркс и его друзья в шутку называли семью Бауэров. Издатели книги — д-р Левенталь, после д-р Люнинг — просили разрешение изменить заглавие, дополнив старое название «Критика критической критики» новым названием. Маркс согласился. Для Энгельса это заглавие было неожиданностью.

«Критическая критика», — писал он Марксу 22 февраля 1845 г., — все еще не получена. Новое название «Святое семейство» меня еще больше посорит с моим благочестивым и без того уже сильно раздраженным стариком. Ты, конечно, не мог этого знать. Как видно из объявления, ты мое имя поставил первым. Почему? Я ведь почти ничего не написал, и твой стиль ведь все узнают.

«Святое семейство» вышло в начале марта 1845 г. во Франкфурте-на-Майне. Но еще до окончания его печатания Маркс был выслан, по настоянию прусского правительства, из Парижа и вынужден был, в январе 1845 г., переехать в Брюссель.

Пока Маркс в Париже лихорадочно работал над своей отповедью Бауэрам, Энгельс в Бармене приводил в порядок материалы, собранные им в Англии.

«Я влез с головой в английские газеты и книги, — пишет он Марксу 19 ноября 1844 г., — из которых составляю свою книгу о положении английских пролетариев. К середине или конце февраля я надеюсь кончить ее, так как с наиболее трудной работой, с приведением в порядок материала, я уже около двух недель как справился. Я составляю господам англичанам славный перечень их

¹ В 1849 г. Сю начал печатать свой третий колоссальный роман «Тайны народа, или историю пролетарской семьи на протяжении веков». Он проследживает в шестнадцати томах историю народных и пролетарских движений от галлов и их борьбы с римлянами, через средние века, до Великой французской революции. Популярность Сю после этого романа возросла еще больше. В апреле 1850 г. Сю был выбран, как представитель «социал-демократической партии, в парламент и после государственного переворота 2 декабря 1851 г. должен был эмигрировать в Швейцарию, где и умер в изгнании в 1857 г. Интересно, что Де-Лион, один из крупнейших представителей марксизма в Америке, так увлекался этим романом, что перевел его на английский язык. Сравнительно не так давно было опубликовано новое дешевое издание этого перевода.

грехов. Перед лицом всего мира я обвиняю английскую буржуазию в массовых убийствах, грабежах и других преступлениях. Я пишу особое английское предисловие к книге, которое напечатаю отдельно, и разошлю английским партийным лидерам, литераторам и членам парламента. Пусть они помнят обо мне. Впрочем, само собой разумеется, что я, хотя и бью по мешку, но имею в виду осла,¹ а именно немецкую буржуазию, которой я достаточно ясно говорю, что она так же плоха, как английская, но далеко не так смела, последовательна и искусна в области живодеинства. Как только я кончу с этой книгой, я возьмусь за историю социального развития англичан, которая будет стоить мне еще меньше труда, так как материал для нее у меня уже готов и в голове приведен в порядок, да и предмет мне вполне ясен. В промежутке я еще напишу несколько брошюр, а именно против Листа, как только найду свободное время».

В предисловии к первому изданию Энгельс пишет, что вопросу, составляющему предмет его книги, он хотел сначала посвятить лишь одну главу большой работы по социальной истории Англии. Оказалось, однако, что вопрос настолько важен, что Энгельс решил посвятить ему самостоятельную книгу. Почему?

«Положение рабочего класса есть действительная основа и исходный пункт всех социальных отношений современности, будучи высшим и наиболее обнаженным проявлением наших современных социальных бедствий. Французский и немецкий рабочий коммунизм прямо из него вытекают, а фурьеризм и английский социализм, как и коммунизм немецкой образованной буржуазии, косвенно обязан ему своим происхождением. С одной стороны, чтобы обосновать социалистические теории, с другой, — чтобы дать твердую почву суждениям о праве этих теорий на существование и чтобы положить конец всем мечтаньям и фантазиям pro и contra, изучение положения пролетариата является неизбежной необходимостью».

Предисловие подписано 15 марта 1845 г., т. е. уже после того, как Энгельс получил «Святое семейство». Достаточно сравнить письма Энгельса конца 1844 г. и начала 1845 г., в которых он высказывается о различных вопросах, с его книгой *«Положение рабочего класса в Англии»*, чтобы заметить, что в книге нет почти никаких следов того умонастроения, тех наивных высказываний, которые мы находим в этих письмах. Вполне вероятно, что, при окончательном просмотре своей книги, Энгельс внес в нее еще ряд поправок. Окончив рукопись и сдав ее в конце марта, Энгельс уехал в Брюссель

¹ Den Sack schlage, den Esel meine — кошку бьют, а невестке наветки дают.

к Марксу. Возможно также, что он мог внести необходимые изменения в книгу уже в Брюсселе при правке корректур. Книга вышла в Лейпциге у Виганда, старого издателя «Немецких летописей» и Фейербаха. Второе издание, вышедшее в 1848 г., представляет перепечатку первого. В 1892 г., т. е. через 47 лет, Энгельс выпустил новое издание своей книги. Текст остался без изменения. Энгельс снабдил его в некоторых местах короткими примечаниями. Предисловия, которые Энгельс написал для английского и нового немецкого издания, будут помещены в одном томе с другими работами Энгельса, относящимися к периоду 1883 — 1895 гг. Но примечания, сделанные в 1892 г., мы, конечно, сохранили, так как их легко отличить от старого текста.

Мы прибавили статью Энгельса «*Одна из английских забастовок*», напечатанную в 1846 г. в журнале «Вестфальский пароход». Она является дополнением к книге и дает описание стачки на заводе Полинга и Гемфри.

Книге «Положение рабочего класса в Англии» в настоящем томе предпосланы еще две работы Энгельса «*Описание возникших в новейшее время и еще существующих коммунистических колоний*» и «*Эльберфельдские речи*».

В своих письмах к Марксу Энгельс подробно сообщает, какую интенсивную коммунистическую пропаганду развили он и его друзья — в первую очередь Гесс — в Эльберфельде, Бармене и Дюссельдорфе. Уже в первом письме из Бармена мы читаем:

«Постарайся только, чтобы собранные тобой материалы скорее увидели свет. Давно уже пора сделать это. Я тоже возьмусь как следует за работу. Сегодня начинаю. Немцы имеют еще очень неясные представления о практической осуществимости коммунизма. Чтобы устранить это препятствие, я напишу маленькую брошюру, чтобы показать, что коммунизм осуществим, и изложу популярно его практику в Англии и Америке. Эту работу я сделаю в три дня. Она окажет большую помощь нашим людям. Я уже видел это из моих бесед с ними».

Энгельс имеет в виду именно ту статью, которая посвящена описанию коммунистических колоний. Она была помещена в «*Deutsches Bürgerbuch für 1845*», — сборнике, который издавался Пюттманом. Энгельс называет себя автором этой статьи в корреспонденции, которую он послал из Бармена в «*New Moral World*». Достаточно прочесть начало статьи, чтобы сейчас же увидеть, что мы имеем дело именно с той брошюрой, о которой говорит Энгельс в своем письме к Марксу.

«Когда беседуешь с людьми о социализме или коммунизме, то оказывается очень часто, что ваши собеседники по существу дела согласны с вами и готовы признать коммунизм прекрасной вещью, «но, — говорят они, — невозможно осуществить что-нибудь подобное в действительности». Это выражение повторяется так часто, что автору этих строк показалось полезным и необходимым ответить на него указанием на ряд фактов, которые еще мало известны в Германии и которые являются уничтожающими для этого возражения. Коммунизм, общественная жизнь и деятельность на основе общности имущества не только возможны, но уже фактически осуществлены в некоторых общинах Америки и в одной местности в Англии, и осуществлены, как мы увидим, с полным успехом».

Каким быстрым темпом шло развитие Энгельса в зиму 1844 — 45 г., как быстро он освобождался от наивных иллюзий и пылких надежд на мирное распространение коммунизма при попустительстве и даже участии прусских прокуроров, обо всем этом лучше всего свидетельствует сравнение этой статьи с предисловием к «Положению рабочего класса в Англии».

К этому периоду относятся и *«Эльберфельдские речи»*. Меринг в своем издании сочинений Маркса и Энгельса напечатал только одну из них. Эти речи были произнесены Энгельсом на собраниях в Эльберфельде в феврале 1845 г.

«Тут, в Эльберфельде, — пишет Энгельс Марксу, — происходят чудеса. Вчера мы устроили в самой большой зале в первом ресторане всего города наше третье коммунистическое собрание. На первом присутствовало 40, на втором — 130, на третьем, по меньшей мере, — 200 человек. Весь Эльберфельд и Бармен, от денежной аристократии до лавочников, за исключением лишь пролетариата, был там представлен. Гесс читал реферат. Читали стихотворения Мюллера, Пюттмана и отрывки из Шелли, а также статью о существующих коммунистических колониях, опубликованную в *«Völgerbuch»*. [Речь идет о вышеназванной статье Энгельса.] Потом дискутировали до часу. Успех колоссальный. Коммунизм является главной темой разговоров, и каждый день приносит нам новых приверженцев. Вуппертальский коммунизм представляет уже факт и почти силу. Это совсем другое дело, — стоять перед живыми, настоящими людьми и проповедывать им непосредственно, физически, открыто, чем заниматься проклятым абстрактным писательством, имея пред «умственным взором» такую же абстрактную публику».

Первая речь, произнесенная на собрании 8 февраля, посвящена

критике свободной конкуренции буржуазного общества и противопоставляет последнему плановую организацию коммунистического общества, в котором производство будет регулироваться соответственно потребностям.

Вторая речь посвящена Германии и критике Листа. «Удивительно, — пишет Энгельс в письме от 17 марта 1845 г., — что, кроме библиотеки, я сошелся с тобой еще в другом плане. Я тоже хотел написать для Пюттмана критику Листа, — к счастью, он мне во-время об этом сообщил. Так как я хотел заняться Листом *практически*, развить *практические* последствия его системы, то одну из моих Эльберфельдских речей (отчет будет напечатан в журнале Пюттмана), в которой я сделал это вкратце, я разработаю подробнее. Кроме того, я предполагаю, — на основании письма Бюргерса к Гессу, да и зная твои личные наклонности, — что ты обратишь большее внимание на его теоретические *предпосылки*, чем на результаты».

Полиция и прокуратура скоро спохватились, и «вупертальский коммунизм» вынужден был отказаться от больших собраний.

К этому времени относится еще одно литературное предприятие, затеянное Энгельсом вместе с Гессом. «Последняя новость: начиная с 1 апреля, я и Гесс будем издавать у Тиме и Буцца в Гагене журнал «*Зеркало общества*», в котором мы будем давать картины социальной нищеты и буржуазного режима. Проспект и т. д. — в ближайшем времени... Редактирование журнала отнимет немного времени, материал, чтобы заполнить ежемесячно четыре листа, сотрудники легко доставят; таким образом, у нас мало работы и большое поле действия. Кроме того, Пюттман будет издавать у Леске трехмесячник «*Рейнские летописи*», во внецензурном размере, посвященный специально коммунизму. Ты мог бы также принять в нем участие... Что мне доставляет особенное удовольствие, так это вторжение коммунистической литературы в Германию, которое теперь представляет *fait accompli*. Всего только год, как она начала завоевывать себе место вне Германии, в Париже, и, в сущности, только возникла, а теперь она даже немецкому Михелю села на шею. Газеты, еженедельники, ежемесячники и трехмесячники, надвигающаяся тяжелая артиллерия — все как следует. Чертовски быстро все это развивалось!»

Так, при непосредственном и весьма энергичном содействии Энгельса, начала создаваться литература немецкого, или «истинного», социализма. С 1845 г., кроме «*Зеркала общества*», основанного Энгельсом и Гессом, выходят еще три журнала: «*Deutsches Bürger*

buch» и «Рейнские летописи» в Дармштадте, и «Вестфальский пароход» сначала в Билефельде, а после в Падеборне.

«Описание коммунистических колоний», как мы уже заметили, было напечатано в «Deutsches Bürgerbuch», «Эльберфельдские речи» — в «Рейнских летописях», «Одна из английских забастовок» — в «Вестфальском пароходе». Во всех этих журналах Энгельс принимал участие только как сотрудник.

Другое дело — «Зеркало общества». Несомненно, что *проспект*, или вступительная статейка, написан Энгельсом и Гессом. Мы помещаем ее в приложении. Участие Энгельса в редактировании, вероятно, ограничилось первым выпуском. После отъезда Энгельса в Брюссель в журнале помещались выдержки из «Положения рабочего класса в Англии», но, вопреки Мерингу, трудно приписать Энгельсу ту статью, в которой сообщаются сведения о положении английского пролетариата, почерпнутые из книги Бюре.

Маркс дал для «Зеркала общества» одну статью — «Ж. Пэше о самоубийстве», — которая представляет ряд выдержек из книги Пэше «Мемуары, извлеченные из полицейских архивов». Этим выдержкам предпосланы вступительные замечания Маркса о характере французской критики общественных отношений. Мы тоже даем ее в приложениях.

Кроме этой статьи, в «Зеркале общества» появилась еще маленькая заметка Маркса и Энгельса по поводу критических замечаний Бауэра на «Святое семейство». Мы поместили ее непосредственно за «Святым семейством», как «*Ответ на антикритику Бауэров*».

Переводы различных работ, вошедших в этот том, сделаны А. Воденом, Я. Гринцером, Е. Гурвич, Г. Котляром, П. Юшкевичем. В редактировании переводов принимали участие М. Дынник, Н. Карев и Е. Косминский. Указатель имен составлен Ю. Мошковой. Корректурой руководил О. Румер.

Д. Рязанов.

Февраль 1929 г.

К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС

ИССЛЕДОВАНИЯ, СТАТЬИ

1844 — 1845

КРИТИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

К СТАТЬЕ

„КОРОЛЬ ПРУССКИЙ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕФОРМА“

КРИТИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ «КОРОЛЬ ПРУССКИЙ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕФОРМА».

В номере 60-ом «Vorwärts'a» находится статья, озаглавленная: «Король прусский и социальная реформа» и подписанная: «Пруссак».

Прежде всего так называемый «Пруссак» передает содержание именного указа прусского короля по поводу *восстания силезских рабочих* и мнение французского журнала «La Réforme» о прусском именном указе. «La Réforme» считает *«страх и религиозное чувство»* короля источниками именного указа. Она находит даже в этом документе *предчувствие* великих реформ, предстоящих буржуазному обществу. «Пруссак» так поучает французскую газету:

«Короля и немецкого общества еще не коснулось предчувствие их реформы;¹ даже силезское и богемское восстания не пробудили этого чувства. Такой *неполитической* стране, как Германия, невозможно доказать, что *частичная* нужда фабричных округов есть общее дело, и еще невозможнее представить ее как зло всей цивилизации. На событие это немцы смотрят как на любое локальное явление, как на засуху или голод. Поэтому и король видит его причину в *нераспорядительности администрации и недостатке благотворительности*. По этой причине и потому еще, что для умирения слабых ткачей достаточно было весьма немногочисленного войска, разрушение фабрик и машин также не могло внушить ни королю, ни разным чиновникам никакого *«страха»*. Да и религиозным чувством именной указ не был продиктован: он — весьма трезвое выражение христианской политики и доктрины, «которая не допускает никаких затруднений для единственной ею признаваемой медицины — для доброго настроения христианских сердец». Бедность и преступление — это два огромных зла; кто может их излечить? Государство и равные ведомства? Нет; это может сделать объединение всех христианских сердец».

¹ Обратите внимание на стилистическую и грамматическую бессмыслицу. «Короля прусского и общества не коснулось еще предчувствие их (к кому относится «их») реформы».

Так называемый «Пруссак» отрицает *«страх»* короля, между прочим, на том основании, что немногочисленное войско расправилось со слабыми ткачами.

Итак, в стране, где торжественный обед с либеральными тостами и либеральной пеной шампанских вин — вспомните дюссельдорфское празднество — вызывает королевский именной указ; где не потребовалось ни *единого солдата*, чтобы уничтожить вожделия всей либеральной буржуазии насчет свободы печати и конституции; в стране, где пассивное послушание — *à l'ordre du jour*, — неужели в такой стране не составляет *никакого события*, не составляет *устрашающего* события необходимость употребить военную силу против слабых ткачей? А ведь при первой встрече слабые ткачи победили. Для их подавления потребовалось ватем количественное усиление войска. Разве восстание рабочей массы потому *менее опасно*, что для его подавления не требуется целой армии? Пусть умный «Пруссак» сравнит восстание силезских ткачей с рабочими восстаниями в Англии и силезские ткачи покажутся ему тогда *сильными* ткачами.

На основании *общего* отношения *политики к социальным настроениям* мы покажем, почему восстание ткачей не могло внушить королю особенного *«страха»*. Пока укажем только вот на что: восстание это направлено непосредственно не против прусского короля, а против буржуазии. Как аристократ и абсолютный монарх, король Пруссии не может любить буржуазию; еще менее того может его испугать то обстоятельство, что, благодаря натянутым и тяжелым отношениям между буржуазией и рабочим классом, усилятся покорность и бессилие буржуазии. Далее: ортодокс-католик относится к ортодоксу-протестанту враждебнее, чем к атеисту, точно так же, как легитимист враждебнее либералу, чем коммунисту. Не потому, чтобы атеист и коммунист были родственнее католику и легитимисту, но потому, что они ему более чужды, чем протестант и либерал, потому что они стоят вне его круга. Король прусский, как политик, имеет в области политики свою непосредственную противоположность в либерализме. Пролетариат, как противоположность, так же мало существует для короля, как король для пролетариата. Чтобы задушить все антипатии, все политические противоречия и направить всю вражду политики на пролетариат, нужно, чтобы последний уже достиг значительного могущества. Наконец, короля, известного своим пристрастием ко всему *интересному*, ко всему *значительному*, должна была даже радостно поразить неожиданно представившаяся возможность найти на собственной земле этот *«интересный»* и *«пресловутый»* пауперизм, а вместе с ним и случай снова заставить о себе

говорить. Какое удовольствие доставила ему весть, что отныне он владеет *«собственным»*, королевско-прусским *пауперизмом!*

Еще более несчастлив наш *«Пруссак»*, отрицающий *«религиозное чувство»* как источник королевского именного указа.

Почему религиозное чувство нельзя считать источником этого именного указа? Потому, что он — *«весьма трезвое»* выражение христианской политики, *«трезвое»* выражение доктрины, которая *«не допускает никаких затруднений для единственно ею признаваемой медицины — для доброго настроения христианских сердец»*.

Разве *религиозное чувство* не есть источник *христианской* политики? Не покоится ли на религиозном чувстве доктрина, которая в благонамеренности *христианских сердец* видит панацею? Перестает ли *трезвое* выражение религиозного чувства быть выражением религиозного чувства? Еще больше! Я утверждаю, что религиозное чувство, которое отказывает в *лечении великого социального зла «государству и ведомствам»* и ищет этого лечения в *«единении христианских сердец»*, слишком высокого о себе мнения и слишком *упоено* самим собою. Только находящееся в сильном *упоении* религиозное чувство может (как это признает *«Пруссак»*) видеть все зло в недостатке христианского чувства и указывать начальству на *«поучение»* как на единственное средство укрепить это чувство. *Христианское настроение*, по мнению *«Пруссака»*, цель именного указа. Религиозное чувство, разумеется *упоенное*, а не *трезвое*, считает себя единственным благом. Всякое зло оно приписывает своему *отсутствию*, ибо, раз оно единственное благо, то только оно и может творить благо. Следовательно, продиктованный религиозным чувством, именной указ диктует совершенно последовательно религиозное чувство. Политик с *трезвым* религиозным чувством не стал бы в своей *«беспомощности»* искать *«помощи»* в *«поучении»* благочестивого проповедника насчет христианского чувства.

Как же так называемый *«Пруссак»* доказывает *«Реформе»*, что именной указ не есть выражение религиозного чувства? А тем, что он изображает везде именной указ как выражение религиозного чувства. Можно ли от такой *нелогической* головы ожидать понимания социального движения? Послушаем его *болтовню* об отношении *немецкого общества* к рабочему движению и к социальной реформе вообще.

Будем различать, — что *«Пруссак»* упускает из виду, — будем различать различные категории, соединенные в выражении *«немецкое общество»*: правительство, буржуазию, прессу и, наконец, самих рабочих. Тут речь идет о *различных* массах. *«Пруссак»* соединяет

все эти массы вместе и с своей возвышенной точки зрения выносит им массовый приговор. *Немецкого общества*, по его мнению, «не коснулось даже *предчувствие* его «реформы».

Почему у немецкого общества нет этого инстинкта?

«Такой *неполитической* стране, как Германия, — отвечает «Пруссак», — невозможно доказать, что *частичная* нужда фабричных округов есть *общее дело*, и еще невозможнее представить ее как зло всей цивилизации. На событие это немцы смотрят как на любое локальное явление, как на засуху или голод. Поэтому и король видит его причину в *нераспорядительности администрации и недостатке благотворительности*».

«Пруссак», следовательно, объясняет это *превратное* понимание рабочей нужды *особенностями неполитической* страны.

Все признают, что Англия — страна *политическая*. Признают также, что Англия — *страна пауперизма* и что самое это слово — английского происхождения. Поэтому изучение Англии есть вернейший способ изучения *отношения политически* развитой страны к *пауперизму*. В Англии нужда рабочих — не *частное* явление, а *общее*: оно не ограничено фабричными округами, а распространяется и на сельские округа. Движения здесь не сейчас только зарождаются; вот уже почти целое столетие, как они периодически повторяются.

Как же смотрит *английская* буржуазия и связанные с ней правительство и печать на *пауперизм*?

Поскольку английская буржуазия допускает *вину политики* в пауперизме, *виг* видит ее причину в *тории*, а *торий* — в *виге*. По мнению *вига*, главным источником пауперизма являются монополия крупной поземельной собственности и запретительное законодательство против ввоза хлеба. По мнению *тория*, все зло — в либерализме, в конкуренции, в слишком далеко ушедшей фабричной системе. Ни одна из партий не ищет причины в политике вообще, но каждая, наоборот, видит ее в политике другой (враждебной ей) партии; о реформе самого общества обе партии вовсе не мечтают.

Самым решительным выражением английских взглядов на пауперизм — мы говорим все время о взглядах английской буржуазии и правительства — является *английская политическая экономия*, т. е. научное отражение английских политико-экономических отношений.

Один из лучших и известнейших английских экономистов, знакомый с современным положением вещей и, новидимому, выработавший себе общий взгляд на развитие буржуазного общества, ученик циничного Рикардо, Мак-Куллох, осмеливается еще в публич-

ной лекции, при выражении всеобщего одобрения, применить к политической экономии то, что Бакон говорит о философии: «Человек, с истинной и неустанной мудростью откладывающий окончательное решение, постепенно подвигающийся вперед, одно за другим одолеваящий препятствия, которые, точно горы, задерживают ход научного исследования, — такой человек со временем достигнет вершины науки, на которой можно пользоваться покоем и чистым воздухом, где природа представляется глазу во всей своей красе и откуда по просторной пологой тропе можно спуститься к последним мелочам практики». Хороший *чистый воздух* — чумная атмосфера английских подвальных жилищ! Великая красота природы — фантастические лохмотья английских бедняков и вялое, сморщенное тело женщин, истощенных от работы и нищеты; дети, валяющиеся в грязи, и уроды, порождаемые чрезмерным, однообразным механическим трудом фабрики! Милейшие *последние мелочи практики* — проституция, убийства и виселица!

Даже та часть английской буржуазии, которая понимает опасность пауперизма, смотрит на эту опасность и на способы ее устранения не только с своей *частной*, но и, говоря без обиняков, с *реляционной и нелепой* точки зрения.

Так, например, доктор Кей в своей брошюре: «Recent measures for the promotion of education in England» сводит все к *запущенному воспитанию*. Отгадайте почему! Вследствие недостаточного воспитания рабочих не понимает *естественных законов торговли*, — законов, которые, в силу *внутренней необходимости*, доводят его до пауперизма. Поэтому он бунтует. Это может *помешать преуспеянию* английских мануфактур и английской торговли, поколебать взаимное доверие деловых людей, *ослабить* политические и социальные *устои*.

Так велико недомыслие английской буржуазии и ее прессы в вопросе о пауперизме, этой национальной эпидемии Англии.

Итак, допуская, что упреки, посылаемые нашим «Пруссакон» *немецкому* обществу, основательны, спросим: разве причина этого в том, что Германия неполитическая страна? Но если буржуазия *неполитической* Германии не может проникнуться сознанием, что *частичная* нужда есть общее дело, то, наоборот, буржуазия *политической* Англии умеет не понимать общего характера универсальной нужды, — нужды, наглядно показавшей свое общее значение частью своим периодическим повторением во времени, частью своим распространением в пространстве и частью сведением к пулю всех попыток помочь злу.

Дальше, «Пруссак» приписывает политической отсталости Германии и то, что король прусский видит причину пауперизма в *недостатке административной и благотворительной деятельности* и ищет поэтому средств против пауперизма в *административных и благотворительных мероприятиях*.

Есть ли это особенный взгляд прусского короля? Бросим беглый взгляд на Англию, — единственную страну, в которой практикуются крупные *политические меры* против пауперизма.

Нынешнее английское законодательство о бедных ведет свое начало от закона, изданного в 43 году царствования Елизаветы.¹ В чем состоят средства этого законодательства? В наложенном на приходы обязательстве помогать бедным рабочим, в налоге в пользу бедных, в легальной благотворительности. Два столетия продолжалось это законодательство, эта благотворительность через администрацию. На какой же точке зрения стоит парламент теперь, после долгих и болезненных опытов, в его *Amendment-bill* 1834 года?

Прежде всего он объясняет ужасающее увеличение пауперизма *«нераспорядительностью администрации»*.

Поэтому администрация по сбору налога в пользу бедных, состоявшая из чиновников различных приходов, реформируется. Основываются *союзы* из двадцати приходов, объединенных в особую административную единицу. Бюро из чиновников — *Board of Guardians* — чиновников, избираемых плательщиками налогов, собирается в определенный день в главном пункте союза и решает вопрос о выдаче пособий. Эти бюро направляются и контролируются представителями правительства, центральной комиссией *Sommerwet house'a*, *министерством пауперизма*, по меткому определению одного француза. Капитал, находящийся в распоряжении этого ведомства, почти равен той сумме, в которую обходится военная администрация во Франции. Число местных отделений, которым она дает работу, доходит до 500, и в каждом из этих местных отделений, в свою очередь, работает не менее 12 служащих.

Английский парламент не остановился на одной *формальной* реформе администрации.

Главный источник *острого* состояния английского пауперизма он нашел в самом *законе о бедных*. Легальное средство против социального зла, благотворительность, благоприятствует социальному злу. Что касается пауперизма *вообще*, то он — *вечный естественный*

¹ Для нашей цели нет необходимости обращаться к статуту о рабочих, изданному при Эдуарде III.

закон, согласно теории *Мальтуса*: «Так как народонаселение непрестанно стремится обогнать средства существования, то благотворительность есть глупость, публичное поощрение нищеты. Государству, следовательно, ничего больше не остается, как предоставить нищету собственной участи и, самое большее, облегчать беднякам смерть». Английский парламент связал с этой человеколюбивой теорией свой взгляд, согласно которому пауперизм существует *по собственной вине рабочих*; поэтому на происходящую отсюда нищету приходится смотреть не как на несчастье, которое следует предупредить, а, наоборот, как на преступление, которое нужно преследовать.

Так возник режим работных домов, т. е. домов для бедных, порядки которых *отпугивают* бедняков от обращения к их защите, заставляя предпочитать голодную смерть. В работных домах остроумно переплетена благотворительность с *мстью* буржуазии бедняку, апеллирующему к ее благотворительности.

Англия, стало быть, сначала пыталась уничтожить пауперизм *благотворительностью и административными мероприятиями*. Затем она увидела в прогрессивном развитии пауперизма не необходимое следствие *индустрии*, а скорее следствие английского *налога в пользу бедных*. Она поняла универсальную нужду лишь как *частность* английского законодательства. То, что раньше вытекало из *недостатка благотворительности*, стало потом объясняться избытком благотворительности. Наконец, на нищету стали смотреть как на вину неимущих и стали их карать за нищету как таковую.

Всеобщее значение, которое в *политической* Англии придают пауперизму, ограничивается тем, что в ходе развития пауперизм, вопреки всем мероприятиям администрации, превратился в *национальное учреждение* и поэтому должен был стать предметом заботы разветвившейся и широко распространившейся администрации, задача которой, однако, состоит *не в том*, чтобы задушить пауперизм, а в том, чтобы *дисциплинировать*, увековечить его. Эта администрация отказалась *положительными* средствами закрыть источник пауперизма: она довольствуется тем, что с полицейской кротостью роет ему могилу каждый раз, когда он пробивается на поверхность официального мира. Английское государство отнюдь не пошло дальше административных и благотворительных мероприятий, а, напротив, пошло значительно назад. Оно теперь заведует лишь *тем* пауперизмом, который в своем отчаянии позволяет себя ловить и запирасть.

Итак, до сих пор «Пруссак» не показавал ничего *своеобразного* в поведении прусского короля. «Но почему, — с *редкой наивностью* вызывает великий человек, — почему прусский король не *позаботился*

немедленно о *воспитании всех беспризорных детей?* Почему он обращается только к администрации и ждет ее планов и проектов?

Хитроумный «Пруссак» успокоится, когда узнает, что прусский король в этом случае так же мало оригинален, как и во всех прочих своих делах; что он даже пошел по пути, *единственно возможному* для главы государства.

Наполеон хотел убить нищенство одним ударом. Он предложил подлежащему начальству представить планы *истребления нищенства* во всей Франции. Проект заставил себя ждать. Наполеон потерял терпение, — он написал своему министру внутренних дел, Крете, приказав уничтожить нищенство в течение *одного месяца*. Наполеон говорил: «Мы не должны пройти по земле, не оставив по себе следов, которые снискали бы нам благодарность потомства. Не требуйте от меня еще трех или четырех месяцев для получения сведений. У вас есть молодые аудиторы, умные префекты, просвещенные инженеры: приведите всех их в движение; не засните в обычной канцелярской работе». В несколько месяцев все совершилось. 5 июля 1808 г. был издан закон, уничтоживший нищенство. Каким образом? Посредством *депо*, превратившихся с такой стремительностью в исправительные заведения, что бедняк туда попадал лишь по постановлению *суда исправительной полиции*. И, несмотря на это, М. Ноайль-дю-Гар (Noailles du Gard), член законодательного корпуса, восклицал по этому поводу: «Вечная признательность герою, давшему нуждающимся убежище и бедноте средства к жизни. Дети не будут больше оставлены на произвол судьбы; бедные семьи не будут лишены источников существования, а работники — поощрения и занятия. Nos pas ne seront plus arrêtés par l'image dégoûtante des infirmités et de la honteuse misère».¹ Последняя циничная фраза — единственная, правда, во всем этом гимне.

Если Наполеон обращался за содействием к своим аудиторам, префектам и инженерам, то почему королю прусскому не обращаться к своим чиновникам?

Почему Наполеон не распорядился *немедленно* уничтожить нищенство? Такого же достоинства и вопрос «Пруссака»: почему король прусский не отдал приказ об упорядочении воспитания всех беспризорных детей? Понимает ли «Пруссак», какой приказ должен был бы дать король? Не больше и не меньше, как приказ об *уничтожении пролетариата*. Воспитывать детей — значит *кормить* их и освободить от необходимости *зарабатывать свое пропитание*. Про-

¹ Нас не будет больше останавливать на улицах отвратительная картина болевшей и поворной нищеты.

кормление и воспитание беспризорных детей, т. е. прокормление и воспитание *всего подрастающего* пролетариата, означало бы *уничтожение* пролетариата и пауперизма.

Конвент имел на одно мгновение мужество *декретировать* упразднение пауперизма, — правда, не *«сейчас же»*, как того требует «Пруссак» от своего короля, а лишь предварительно поручив Comité du Salut Public выработку необходимых планов и проектов и после того как последний воспользовался широкими исследованиями Assemblée Constituante о состоянии французской нищеты и через Баррера предложил основать Livre de la bienfaisance nationale etc. Каков был результат постановления Конвента? Тот, что на свете стало одним постановлением больше и что *спустя год* после этого Конвент был осажден женщинами, умиравшими с голода.

А ведь Конвент представлял *максимум политической энергии, политического могущества и политической мудрости.*

Прямо, без содействия чиновничества, *никакое* правительство в мире не предпринимало *мер* против пауперизма. Английский парламент равослал даже по всем странам Европы своих комиссаров для изучения различных административных способов лечения пауперизма. Сколько ни возились государства с пауперизмом, они дальше *административных и благотворительных мероприятий* не шли или же остались еще позади административного воздействия и благотворительности.

Может ли *государство* поступать иначе?

Государство, вопреки требованиям, предъявленным «Пруссаком» королю, никогда не усмотрит *«в государстве, в устройстве общества»* причины *социальных недугов*. Там, где существуют политические партии, каждая партия видит причину *всякого* общественного зла в том, что вместо нее *у кормила правления* стоит другая, ей враждебная партия. Даже радикальные и революционные политические деятели ищут корень зла не *в сущности* государства, а в определенной *форме* его, которую они хотят заменить *другою* государственной формой.

С политической точки зрения государство и устройство общества — не две разные вещи: государство есть устройство общества. Поскольку государство сознает *общественные* недостатки, оно видит их причину или *в законах природы*, которых никакая человеческая власть не может устранить, или *в частной жизни*, от государства совершенно независимой, или в *нецелесообразных действиях* зависящей от него администрации. Так, Англия находит причины нищеты в *естественном законе*, согласно которому население должно всегда превышать средства существования. С другой стороны, та же Англия

причину *пауперизма* видит в *злой воле бедных*, подобно тому как король прусский видит эту причину в *нехристианском настроении богачей*, а Конвент — в *контр-революционных, подозрительных намерениях собственников*. Поэтому Англия наказывает бедных, король прусский увещевает богатых, а Конвент рубит головы собственников.

Наконец, *все* государства ищут причину в *случайном или умышленном бездействии администрации* и потому в мероприятиях администрации находят средство к устранению всех недостатков. Почему? Именно потому, что *администрация* есть *организующая* деятельность государства.

Государство не может устранить *противоречие*, существующее между назначением администрации и ее доброй волей, с одной стороны, и имеющимися у нее средствами и возможностями — с другой, не устранивши себя самого, ибо оно само *покоится* на этом противоречии. Оно виждется на противоречии между *общественной и частной жизнью*, на противоречии между *общими интересами и интересами частными*. *Администрация* вынуждена поэтому ограничиваться *формальной и отрицательной* деятельностью: там, где начинается гражданская жизнь и ее работа, власть администрации кончается. Да, против следствий, вытекающих из несоциальной природы этой гражданской жизни, этой частной собственности, этой торговли, этой индустрии, этого взаимного грабежа различных кругов общества, против этих следствий *бессилие* — *естественный закон* администрации. Ибо эта разобщенность, эта нивость, это *рабство гражданского общества* есть то естественное основание, на котором покоится *современное* государство, подобно тому как *гражданское общество рабства* было естественным основанием, на котором покоилось *античное* государство. Существование государства и существование рабства неразрывны. Античное государство и античное рабство — эти откровенные *классические* противоположности — были не менее *прикованы* друг к другу, чем современное государство и современный барышнический мир — эти лицемерные *христианские* противоположности. Чтобы устранить *бессилие* своей администрации, современное государство должно было бы упразднить нынешнюю *частную жизнь*. Для устранения частной жизни государство должно было бы устранить себя самого, ибо оно существует *только* в противоположность к этой последней. *Никто*, однако, не думает искать основание своих недостатков в *принципе* собственной жизни, в сущности своего собственного существования; всякий ищет его в условиях, лежащих *вне его*. *Самоубийство* противоестественно. Поэтому государство не может верить во *внутреннее* бессилие своей

администрации, т. е. в свое собственное бессилие. Оно может усматривать *только* формальные, случайные недостатки и пытается их исправить. И если эти исправления остаются бесплодными, то это значит, что социальные недостатки составляют естественное, от человека не зависящее несовершенство, *закон божий*, или же — что воля обывателей слишком испорчена, чтобы они могли идти навстречу добрым намерениям администрации. И какие странные эти обыватели! Они ропщут против правительства, как только оно ограничивает их свободу, и требуют в то же время от правительства, чтобы оно отварило от них необходимые следствия этой свободы!

Чем могущественнее государство, чем более *политической* является страна, тем менее она склонна искать причину социального зла в *принципе государства, т. е. в теперешнем строе общества, деятельном, самосознающем и официальном выражении* которого является государство, тем менее она склонна искать причину *социальных* недугов и понять их *общий* принцип. *Политический* разум есть только *политический* разум, ибо он мыслит в границах политики. Чем он изощреннее, жизненнее, тем неспособнее он понять социальные недуги. *Французская революция — классический* период политического разума. Герои французской революции не искали источника социального зла в принципе государства, а, наоборот, видели в общественных недостатках источник политического зла. Так, *Робеспьер* в великой нищете и огромных богатствах видел только препятствие для *чистой демократии*. Поэтому он стремился установить всеобщую *спартанскую* простоту жизни. Принцип политики — *воля*. Чем одностороннее и, стало быть, совершеннее политический разум, тем более верит он во *всемогущество* воли, тем более слеп он по отношению к *естественным* и *духовным границам* воли, тем он, следовательно, неспособнее открыть источник *социальных* недугов. Дальнейшие рассуждения по поводу нелепой надежды «Пруссак» на то, что *политический разум призван открыть корень общественной нужды в Германии*, я считаю излишними.

Глупо было не только ждать от короля прусского такого могущества, которым не обладали Конвент и Наполеон, вместе взятые; глупо было приписывать ему такие взгляды, которые выходят за пределы всякой политики, — взгляды, к которым сам умный «Пруссак» нисколько не ближе, чем его король. Вся эта декларация была тем нелепее, что «Пруссак» сам делает следующее признание:

«Добрые слова и добрые чувства — вещь *дешевая*; *дороги* понимание и плодотворное дело. В данном случае они *более чем дороги*; они *еще* недоступны».

Если они еще недоступны, то, стало быть, надо быть привзательным каждому за то, что он на своем месте делает возможное. Предоставляю, впрочем, такту читателя решение вопроса, следует ли в этом случае причислять меркантильно-цыганские выражения, в роде: «дешево», «дорого», «более чем дорого», «пока еще недоступно», — к категории «*добрых слов*» и «*добрых чувств*».

Итак, мы предположим, что сказанное «Пруссак» о немецком правительстве и немецкой буржуазии — ведь последняя составляет часть «немецкого общества» — вполне обосновано. Беспомощнее ли эта часть общества в Германии, чем в Англии и во Франции? Можно ли быть более беспомощным, чем, например, в Англии, где *беспомощность* возведена в систему? Если бы сейчас рабочие бунты разразились во всей Англии, то мы увидели бы, что тамошняя буржуазия и правительство подготовлены не лучше, чем в последней трети XVIII столетия. Единственное их средство — материальная сила, и так как материальная сила убывает в той же степени, в какой возрастают распространение пауперизма и сознательность пролетариата, то английская беспомощность необходимо возрастает в геометрической прогрессии.

Наконец, *неверно, фактически неверно*, что немецкая буржуазия совершенно не понимает общего значения силезского восстания. В нескольких городах мастера пытаются создать совместные ассоциации с подмастерьями. Все *либеральные* немецкие газеты, органы либеральной буржуазии, переполнены статьями об организации труда, об общественной реформе, критикой монополии, конкуренции и т. д. Все это — следствие рабочего движения. Трирские, аахенские, кёльнские, вевельские, манигеймские, бреславльские, даже берлинские газеты помещают часто весьма разумные статьи по социальным вопросам, и «Пруссак» мог бы из них почерпнуть кое-что поучительное. В письмах, приходящих из Германии, встречаем все время указания на незначительное сопротивление, проявляемое буржуазией в отношении *социальных* стремлений и идей.

«Пруссак» — будь он ближе знаком с историей социального движения — поставил бы свой вопрос наоборот. Почему немецкая буржуазия придает частичной нужде столь универсальное значение? Откуда эта *вражда* к пролетариату и *цинизм политически развитой* буржуазии, и откуда эта *неспособность к сопротивлению и симпатии политически неразвитой* буржуазии по отношению к тому же пролетариату?

* * *

Теперь обратимся к оракульским изречениям «Пруссака» о немецких рабочих.

«Немецкие бедняки — острит он — не умнее бедных немцев, т. е. они никогда не видят дальше своего очага, своей фабрики, своего округа; на всем этом вопросе еще не видно печати всепроникающей политической души».

Чтобы иметь возможность сравнить положение немецких рабочих с положением французских и английских рабочих, «Пруссак» надо было сравнить *первую форму, начало* английского и французского рабочего движения, с теперь только *начинающимся немецким* движением. Он этого не сделал. И потому выводы из его рассуждения должны свестись к общим местам, в роде того, что *промышленность* в Германии еще не так развита, как в Англии, или что движение в начале своего развития не похоже на следующие свои фазисы. Он хотел говорить об *особенностях* немецкого рабочего движения и ничего на эту тему не сказал.

Пусть «Пруссак», наоборот, станет на правильную точку зрения, и тогда он увидит, что *ни одно* из французских и английских восстаний не носило такого *теоретического и сознательного* характера, как восстание силезских ткачей.

Прежде всего, вспомните *«Песню ткачей»*, этот смелый *боевой клич*, где ни разу не упоминается об очаге, фабрике, округе, но зато пролетариат резко, ясно, беспощадно и властно заявляет во всеуслышание о своей противоположности обществу частной собственности. Силезское восстание *начинается* как раз тем, чем французские и английские восстания *кончатся*, — сознанием сущности пролетариата. Даже все его акты носят этот *характер обдуманности*. Уничтожаются не только машины, эти соперники рабочих, но и *торговые книги*, эти вывески собственности, и, между тем как все те движения направлены были главным образом против *хозяев промышленных заведений*, против видимого врага, это движение направлено и против банкиров, против скрытого врага. Наконец, ни одно английское рабочее восстание не велось так храбро, разумно и настойчиво.

Что касается степени образованности или способности к просвещению немецких рабочих вообще, то я напоминаю о гениальных сочинениях *Вейтлинга*, которые, в теоретическом отношении, часто даже идут *дальше Прудона*, хотя по изложению отстают от него. Где могла бы буржуазия, включая сюда ее философов и литераторов, указать относительно эмансипации буржуазии — политической

эмансипации — работу, которая была бы подобна вейтлинговским «Гарантиям гармонии и свободы»? Если сравнить сухую и трусливую посредственность германской политической литературы с этим беспримерным и блестящим литературным дебютом немецких рабочих; если сравнить эти гигантские детские башмаки пролетариата с карликовыми изношенными политическими сапогами немецкой буржуазии, то замарашке придется предсказать в будущем фигуру атлета. Нельзя не признать, что немецкий пролетариат является *теоретиком* европейского пролетариата, подобно тому как английский является его *экономистом*, а французский — его *политиком*. Необходимо признать, что Германия в такой же мере обладает *классическим* призыванием к *социальной* революции, в какой она неспособна к революции *политической*. В бессилии немецкой буржуазии отражается *политическое* бессилие Германии, а в способностях немецкого пролетариата — независимо даже от немецкой теории — *социальная* способность Германии. Несоответствие между философским и политическим развитием Германии — не какое-нибудь *уродливое явление*. Это — необходимое несоответствие. Лишь в социализме философский народ может найти соответствующую ему практику; следовательно, лишь в *пролетариате* найдет он деятельный элемент своего освобождения.

Впрочем, сейчас у меня нет ни охоты, ни желания разъяснять «Пруссаку» отношение между «немецким обществом» и социальным переворотом и вытекающие из этого отношения: с одной стороны, слабую реакцию немецкой буржуазии против социализма, с другой — превосходные задатки немецкого пролетариата для социализма. *Первые элементы для понимания этого явления он найдет в моем «Введении к критике гегелевской философии права» («Немецко-французские летописи»)*.

Таким образом, разумность *немецких бедняков* находится в *обратном* отношении к разумности *бедных немцев*. Но людям, которым все служит для стилистических упражнений, трактуемый предмет всегда представляется, вследствие такого *формального* отношения, в извращенном виде, а извращенное представление, в свою очередь, кладет печать вульгарности на форму. Так попытка «Пруссака» вести свои рассуждения о силезском рабочем восстании в форме антитезы привела его к величайшей антитезе против истины. Для мыслящего и любящего правду человека, видевшего первый взрыв, силезское рабочее восстание, задача состояла не в том, чтобы разыграть роль *школьного учителя*, поучающего по поводу этого события, а, наоборот, в том, чтобы изучать *особенности* этого дви-

жения. Для последнего требуется, конечно, некоторая научная проникаемость и некоторое человеколюбие, тогда как для первой операции совершенно достаточно ловкой фразеологии, пропитанной пустым себялюбием.

Почему «Пруссак» судит так презрительно о немецких рабочих? Потому что он находит, что «на всем вопросе» — именно на вопросе о нужде рабочих — «еще до сих пор не видно печати всепроникающей политической души». Более подробно он так доказывает свою платоническую любовь к политической душе:

«Все восстания, прорывающиеся в этой ужасной изолированности людей от общества и их мыслей от социальных принципов, будут задавлены в крови и безумии; но когда нужда породит разум, а политический разум немцев найдет корень общественной нужды, тогда и в Германии эти события будут поняты как симптомы великого переворота».

Прежде всего да поволит нам «Пруссак» сделать замечание стилистического характера. Его антитеза несовершенна. В первой половине сказано: «когда нужда породит разум», а во второй половине: «а политический разум найдет корни общественной нужды». Простой разум первой половины антитезы становится во второй ее половине политическим разумом, равно как простая нужда первой половины становится во второй ее половине общественной нуждой. Почему наш стилист одарил обе половины антитезы так неравномерно? Не думаю, чтобы он отдавал себе отчет в этом. Я хочу объяснить ему его правильный инстинкт. Если бы «Пруссак» написал: «Когда общественная нужда породит политический разум, а политический разум найдет корень общественной нужды», то всякий беспристрастный читатель увидел бы всю бессмысленность этой антитезы. Читатель, прежде всего, спросил бы себя: почему аноним не сопоставляет общественного разума с общественной нуждой и политического разума с политической нуждой, как того требует элементарная логика? Но к делу!

Мысль, что общественная нужда порождает политический разум, до такой степени неверна, что скорее наоборот: общественное благополучие порождает политический разум. Политический разум — спиритуалист и дается тому, кто уже имеет, кто уже обзавелся тепленьким и уютным местечком. Пусть наш «Пруссак» послушает на этот счет речи французского экономиста, г. Мишеля Шевалье: «Когда в 1789 году поднялась буржуазия, ей, чтобы быть свободной, недоставало только участия в управлении страной. Освобождение для нее состояло в том, чтобы вырвать руководство общественными

делами, высшие гражданские, военные и религиозные функции из рук привилегированных, монополюно владевших этими функциями. *Богатая и просвещенная*, способная быть самой собой и управлять своими делами, она хотела избавиться от *régime du bon plaisir*.

Мы уже показали «Пруссак», в какой мере *политический* разум неспособен открыть источник общественной нужды. Еще одно слово об его взгляде на этот предмет. Чем просвещеннее и общераспространеннее политический разум народа, тем более расточает *пролетариат* — по крайней мере, в начале движения — свои силы в бессмысленных, бесполовых и удушаемых в крови восстаниях. И это происходит потому, что пролетариат, мысля политически, видит причину всех зол в *воле* и все средства помочь злу — *в силе и в низвержении данной* государственной формы. Доказательство: первые вспышки *французского* пролетариата. Лионские рабочие полагали, что преследуют только политические задачи, что они только солдаты республики, тогда как на самом деле они были солдатами социализма. Так их политический разум затемнил для них корень общественных нужд, так он извратил их понимание действительных целей, так их *политический разум обманул их социальный инстинкт*.

Но если «Пруссак» надеется, что нужда «породит сознание, почему он бросает в одну кучу *«удушение в крови»* и *«удушение в безумии»*? Если нужда вообще является средством, то *кровавая* нужда есть даже очень острое средство для порождения сознания. «Пруссак», стало быть, должен был сказать: удушение в крови задушит безумие и доставит разуму нужный приток воздуха.

«Пруссак» прочит подавление восстаний, разражающихся *«вследствие ужасной изолированности людей от общества и оторванности их мыслей от социальных принципов»*.

Мы показали, что причину силезского восстания ни в каком случае не следует видеть в оторванности мыслей от социальных принципов. Остается рассмотреть *«ужасную изолированность людей от общества»*. Под обществом здесь разумеется *политическое общество, государство*. Это — старая песня о неполитической Германии.

Не разражаются ли, однако, *все*, без исключения, восстания вследствие ужасной изолированности человека от общества? Не предполагает ли каждое восстание как раз такую изолированность? Разве революция 1789 года могла бы произойти без этой ужасной изолированности французских граждан от общества? Ее задача именно и состояла в оправдании этой изолированности.

Но *общество*, от которого *изолирован* рабочий, есть общество

совсем другого содержания и совсем другого объема, нежели *политическое* общество. Это общество, от которого его отрывает *его собственная работа*, есть сама *жизнь*, физическая и духовная жизнь, человеческая нравственность, человеческая деятельность, человеческие наслаждения, *человеческая* сущность. Человеческая сущность есть *истинная общественность людей*. Безнадёжная изолированность от этого содержания несравненно всестороннее, невыносимее, ужаснее, противоречивее изолирования от политического общества; точно так же и устранение этого изолирования и даже частичная реакция, *восстание* против него тем бесконечнее, чем *человек* бесконечнее *гражданина* и чем *человеческая жизнь* бесконечнее *политической жизни*. Поэтому, как бы ни было *частично* восстание *промышленных рабочих*, оно включает в себе *универсальную* душу, тогда как самое универсальное *политическое* восстание под *колоссальнейшей* формой скрывает одно лишь бездушие.

«Пруссак» достойно заканчивает свою статью следующей фразой: *«Социальная революция без политической души (т. е. без организующего уразумения целого) невозможна»*.

Доказательство налицо. *Социальная* революция потому находится на точке зрения *целого*, что она — даже если бы происходила лишь в одном *фабричном округе* — представляет протест человека против обезчеловеченной жизни; что она исходит из *точки зрения отдельного действительного индивидуума*; что та *общественность*, против отделения которой от индивидуума реагирует последний, есть *истинная общественность* человека, *человеческая сущность*. Напротив, *политическая душа* революции состоит в *тенденции* политически невлиятельных классов уничтожить свою *изолированность* от *государства* и от *господства*. Ее принцип есть принцип государства, *абстрактного целого*, которое существует *только* благодаря оторванности от действительной жизни и *немыслимо* без *организованной* противоположности между общей идеей и индивидуальным существованием человека. Поэтому-то революция с *политической душой*, в соответствии с *ограниченной и раздвоенной* природой этой души, организует господствующий слой в обществе на счет самого общества.

Мы хотим просветить «Пруссака» относительно того, что такое *«социальная революция с политической душой»*; заодно мы доверим ему секрет, что он сам, *даже на словах*, не может стать выше ограниченной политической точки зрения.

«Социальная» революция с *политической душой* — либо набор бессмысленных слов, если «Пруссак», разумея под *«социальной»* революцией *«социальную»* революцию, в *противоположность* по-

литической, тем не менее снабжает социальную революцию, вместо социальной, политической душою; или же «социальная революция с политической душой» есть только парафраз того, что обыкновенно называется «политической революцией», или «просто революцией». Каждая революция прекращает существование *старого общества*, и постольку она *социальна*. Каждая революция уничтожает *старую* власть, и постольку она имеет характер *политический*.

Пусть «Пруссаки» выбирает между *парафразами* и *бессмыслицей*. Но если *социальная революция с политической душой* — парафраз или бессмыслица, то *политическая революция с социальной душой* разумна. *Революция* вообще — *ниспровержение* существующей власти и *прекращение* старых отношений — есть *политический акт*. Но *социализм* не может быть осуществлен *без революции*. Он нуждается в этом *политическом акте*, поскольку он нуждается в *уничтожении и прекращении*. Но там, где начинается его *организующая деятельность*, где выступает вперед его *самоцель*, его *душа*, там социализм отбрасывает *политический покров*.

Вот сколько потребовалось труда, чтобы разорвать *ткань* ошибок, скрывавшихся на одном газетном столбце. Не все читатели обладают образованием и временем, необходимыми для того, чтобы разобратся в подобном *литературном шарлатанстве*. Не обязан ли, в виду этого, анонимный «Пруссаки», в интересах читающей публики, на время откататься от писательства по политическим и социальным вопросам, равно и от декламаций по поводу состояния дел в Германии, и начать с добросовестного выяснения себе своего собственного состояния?

Париж, 31 июля 1844 г.

**СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО,
или
КРИТИКА «КРИТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ»
ПРОТИВ БРУНО БАУЭРА и К^о**

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Опаснейшим врагом *реального гуманизма* в Германии является *спиритуализм*, или *спекулятивный идеализм*, который на место *действительного индивидуального человека* ставит «самосознание», или же «дух», и вместе с евангелистом учит: «Дух животворящ, плоть же — немощна». Само собою разумеется, что этот бесплотный дух одарен умом лишь в своем воображении. То, с чем мы боремся в *бауэровской* критике, есть именно *карикатурно* воспроизводящее себя *спекулятивное мышление*. Мы видим в ней совершеннейшее выражение *христианско-германского* принципа, в последний раз проявляющего себя в попытке превратить самое «критику» в трансцендентную силу.

Наше изложение, по преимуществу, посвящено «Всеобщей литературной газете» *Бруно Бауэра*, первые восемь книжек которой лежат перед нами, — и это потому, что в ней бауэровская критика и вместе с ней вся бессмысленность *немецкой спекуляции вообще* достигли своего апогея. Критическая критика (критика «Литературной газеты») тем более поучительна, чем более она превращает в нагляднейшую комедию искажение действительности философией. — Примером могут служить *Фаухер* и *Шелга*. — «Литературная газета» дает такой материал, на разборе которого можно помочь самой широкой публике выработать себе ясное представление об иллюзиях спекулятивной философии. Это и составляет цель нашей работы.

Наш способ изложения предмета обусловлен, естественно, характером самого предмета. Критическая критика везде стоит на более *низком* уровне, чем тот, какого уже достигло немецкое теоретическое развитие. Если мы поэтому не входим *здесь* в дальнейшее *обсуждение* этого развития, то оправданием нам служит сама природа занимающего нас предмета.

Более того: критическая критика вынуждает нас добытые уже результаты противопоставлять ей *как таковые*.

Мы предпосылаем поэтому настоящую полемическую работу нашим самостоятельным произведениям, в которых мы изложим — разумеется, каждый за себя — наши положительные взгляды и вместе с тем нашу положительную точку зрения по отношению к новейшим философским и социальным доктринам.

Энгельс. Маркс.

Париж, сентябрь 1844 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

«КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА» В ОБРАЗЕ ПЕРЕПЛЕТНОГО МАСТЕРА,

или же

«КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА» В ЛИЦЕ ГОСПОДИНА РЕЙХАРТА.

Критическая критика, как бы высоко ни мнила она себя вознесшейся над массой, чувствует все-таки бесконечное сострадание к этой последней. И вот, критика так возлюбила массу, что послала на землю своего однородного сына, дабы все те, которые уверовали в него, не погибли, а получили критическую жизнь. Критика сама становится массой и пребывает среди нас, и мы видим ее величие, подобное величию однородного сына отца небесного. Это значит, что критика становится социалистической и говорит о «Писаниях по поводу пауперизма». Она не видит никакого святотатства в том, чтобы уподобляться богу: она отчуждает себя самое, принимает образ переплетного мастера и унижается до соприкосновения с бессмыслицей, да еще какой! — критической бессмыслицей на иностранных языках. Она — чья небесная, девственная чистота содрогается от соприкосновения с грешной прокаженной массой — превозмогает себя настолько, что знакомится с писаниями «*Боза*» и «*всех исследователей пауперизма по источникам*» и «в течение многих лет следит за каждым шагом болезни века». Она отказывается писать для ученых специалистов, она пишет для широкой публики, удаляет все необычные выражения, всякую «латинскую премудрость, всякий цеховой жаргон». Все это она удаляет из писаний *других*, ибо слишком многого было бы требовать от критики, чтобы она сама подчинилась «этому регламенту управления». Но она даже и это отчасти делает. Она отказывается, если не от самих слов, то от их содержания с изумительной легкостью, — и кто осмелится заподозрить ее в том, что она пускает в оборот «всю эту огромную кучу непонятных иностранных слов», когда она сама систематическим проявлением своей самобытности подтверждает лишь вывод, что и для нее самой слова эти остались непонятными?

Вот некоторые образчики этого систематического проявления:
 «Повтому учреждения нищенства — предмет ужаса для них».

«Учение об ответственности, в котором каждое движение *человеческой мысли становится изображением жены Лота*».

«На замковый камень свода этого, в самом деле, *богатого мыслями здания искусства*».

«Вот главное содержание политического завещания Штейна, которое великий государственный человек вручил еще до оставления им действительной службы правительству и *всем его работам*».

«Этот народ в то время не обладал еще *никакими измерениями* для столь неограниченной свободы».

«С достаточной уверенностью *парламентируя* в заключительных строках своего публицистического произведения, нехватает только доверия».

«Высокогосударственному, истинного мужа достойному, над рутинной и малодушным страхом возвышающемуся, на истории воспитавшемуся и живым соверщением чужестранной публично-государственной жизни вскормленному рассудку».

«Воспитание всеобщего народного благосостояния».

«Свобода покоилась мертвой *в груди прусского призвания народов* под контролем властей».

«*Народноорганическая публицистика*».

«Народу, которому даже господин Брюггеман выдает *метрическое свидетельство его зрелости*».

«Довольно резкое противоречие остальным *определенностям*, высказанным в произведении, посвященном исследованию специальных призваний народа».

«Гнусное корыстолюбие быстро разрушает все *химеры национальной воли*».

«Страсть к быстрому обогащению и т. д. — вот тот дух, которым от начала до конца пропитано было время реставрации, и этот же дух *с достаточной дозой индифферентности присоединился* к новому времени».

«Смутное представление о своем политическом значении, которое присуще *земледельческой прусской национальности, покоится на памяти о великой истории*».

«Антипатия исчезла и перешла в состояние совершенной эквальтации».

«В этом изумительном переходе каждый на свой лад *ставил еще на вид свое особое желание*».

«Катехивис с миропомазанной соломоновской речью, слова которого, подобно голубю — цирп! цирп! — мягко поднимаются в сферы пафоса и *громopodobных аспектов*».

«Весь *дилетантизм тридцатипятилетнего пренебрежения*».

«Слишком *резкие громы*, которые сыпал на голову горожан один из прежних городских советников, могли бы еще не рассердить наших уравновешенных представителей, если бы взгляд Бенды на городское положение 1808 г. не страдал *мусульманской аффектацией суждений* о сущности и применении городского положения».

Стилистической смелости у Рейхарта всюду соответствует смелость самого хода мысли. Он делает переходы вроде следующих:

«Господин Брюггеман... 1843 год... государственная теория... всякий прямой человек... величайшая скромность наших социалистов... естественные чудеса... требования, которые должны быть поставлены Германии... сверхъестественные чудеса... Авраам... Филадельфия... манна... пекарь... но *так как* мы говорим *о чудесах, то Наполеон внес*»... и т. д.

Познакомившись с этими образчиками, мы не станем более удивляться тому, что критическая критика предлагает нам еще «разъяснение» предложения, которому она сама приписывает «популярность способа выражения». Ибо она «вооружает свои глаза органической силой, способной пронизать хаос». И здесь мы должны признать, что даже «популярный способ выражения» критической критики не может остаться не понятым. Она видит, что путь литератора, по необходимости, должен оставаться кривым, если только субъект, вступающий на этот путь, недостаточно силен для того, чтобы выпрямить его, и поэтому она, вполне естественно, приписывает писателю «математические операции».

Само собою разумеется, — и история, доказывающая все, что само собою разумеется, доказывает также и это, — что критика становится массой не для того, чтобы остаться массой, а для того, чтобы спасти массу от ее массовой массовости, т. е. — возвысить популярный способ выражения массы до критического языка критической критики. Самой низшей ступенью унижения было изучение критикой популярного языка массы и переработка этого грубого жаргона в напыщенную стилистику критически критической диалектики.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

«КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА» КАК «МЕЛЬНИК» («MÜHLEIGNER»),¹ СИРЕЧЬ ФАБРИКАНТ,

или же

«КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА» В ЛИЦЕ ГОСПОДИНА ЮЛИЯ ФАУХЕРА.

После того как критика, унижившись до соприкосновения с бессмыслицей на иностранных языках, оказала самые существенные услуги самосознанию и в то же время этим деянием освободила мир от пауперизма, она решается еще унизиться до соприкосновения с бессмыслицей в практике и истории. Она завладевает *английскими злободневными вопросами* и дает нам очерк истории английской промышленности, отличающийся истой критичностью.

Критика, довлеющая себе самой, в самой себе совершенная и законченная, не может, конечно, признавать истории в том виде, как она развивалась в действительности, ибо это ведь значило бы признавать скверную массу во всей ее массовой массовости, между тем как на самом деле речь идет именно о спасении массы от этой массовости. История освобождается повтому от своей массовости, и критика, держащая себя *свободно* по отношению к своему предмету, восклицает, обращаясь к истории: «Знай, что ты *должна* была происходить так-то и так-то!» Законы критики все имеют обратную силу: до ее декретов история происходила совершенно иным образом, нежели *после них*. По тому же самому массовая, так называемая *действительная* история сильно отличается от той *критической истории*, которая разворачивается перед нашими глазами в седьмой книжке «Литературной газеты», начиная с четвертой страницы.

¹ «Mühleigner» — дословный перевод английского Millowner, фабрикант. В английском языке «owner» происходит от слова «own» (eigen); в немецком языке слово «Eigner» не существует. «Mill» по-английски значит фабрика, мельница; по-немецки «Mühle» исключительно мельница. — Прим. ред.

В массовой истории не было никаких фабричных городов до того времени, когда появились фабрики. В критической же истории, где сын производит на свет своего отца, как это уже имело место у Гегеля, — в этой истории Манчестер, Болтон и Престон представляют собой процветающие фабричные города в то время, когда никто еще и не думал о фабриках. В действительной истории развитие хлопчатобумажной промышленности берет свое начало главным образом от введения в производство «Дженни» Харгривса и прядильной машины («ватер-машины») Аркрайта, между тем как «мюль-машина» Кромптона была только усовершенствованием «Дженни» при помощи новооткрытого Аркрайтом принципа. Но критическая история умеет различать: она отвергает односторонности «Дженни» и «ватер-машины» и отдает первенство «мюль-машине» как спекулятивному тождеству крайностей. В действительности с изобретением «ватер-машины» и «мюль-машины» тотчас же открылась возможность применения к этим машинам водяной силы; но критическая критика отделяет друг от друга смешанные грубой рукой истории принципы и относит это применение, как нечто совершенно независимое, к значительно более позднему времени. В действительности изобретение паровой машины предшествовало всем вышеназванным изобретениям; в критике же паровая машина, как венец всего здания, следует за ними под конец.

В действительности деловые сношения Ливерпуля с Манчестером в их современном значении были следствием вывоза английских товаров; в критике же деловые сношения являются его причиной, а деловые сношения и вывоз вместе — следствием близкого соседства этих городов. В действительности почти все товары идут из Манчестера на континент через Гумль, в критике же — через Ливерпуль.

В действительности на английских фабриках имеются все градации заработной платы, начиная с $1\frac{1}{2}$ шилл. и кончая 40 и больше; в критике же существует только одна ставка заработной платы — 11 шиллингов. В действительности машина заменяет ручную работу, в критике же — мышление. В действительности в Англии дозволены всякие объединения рабочих, имеющие свою целью повышение заработной платы; в критике же они запрещены, ибо, прежде чем позволить себе что-нибудь, масса должна спросить разрешения у критики. В действительности фабричная работа чрезвычайно утомительна и вызывает своеобразные болезни (есть даже специальные медицинские исследования этих болезней); в критике же «чрезмерное напряжение не может препятствовать работе, ибо силу составляет машина». В действительности машина есть машина; в критике

же машина обладает *волей*: так как машина не отдыхает, то не может отдыхать и рабочий, а следовательно он подчинен чужой воле.

Но все это еще ничего. Критика не может удовлетвориться *массовыми партиями* Англии; она творит новые партии, она создает *фабричную партию*, за что ей история должна быть очень благодарна. Зато она валит в *одну* массовую кучу фабрикантов и фабричных рабочих (стоит ли заботиться о таких пустяках!) и декретирует, что фабричные рабочие, вопреки мнению глупых фабрикантов, не внесли своей лепты в фонд Лиги борьбы с хлебными законами не по злой воле и не вследствие своей приверженности к чартизму, а исключительно по бедности. Она далее декретирует, что с отменой английских хлебных законов сельскохозяйственные батраки должны будут примириться с понижением заработной платы, к чему, однако, мы позволим себе всепокорнейше заметить, что этот нищий класс не может отказаться ни от единой копейки, рискуя в противном случае умереть с голоду. Она декретирует, что в Англии на фабриках работают *шестнадцать* часов в сутки, хотя глупый, некритический английский закон позаботился о том, чтобы работа не продолжалась более 12 часов. Она декретирует, что Англия должна сделаться великой мировой мастерской, хотя некритические массовые американцы, немцы и бельгийцы своей конкуренцией портят англичанам один рынок за другим. Она, наконец, декретирует, что *централизация собственности*, с ее последствиями для трудящихся классов, неизвестна в Англии ни классу имущих, ни классу неимущих. А между тем глупые чартисты полагают, что очень хорошо знакомы с явлением централизации собственности; *социалисты* же думают, что давно уже изобразили последствия ее во всех подробностях. Мало того. Даже тории и виги — взять хотя бы *Карлейля*, *Алисона* и *Гаскеля* — собственными произведениями засвидетельствовали свое знакомство с этим явлением.

Критика декретирует, что *десятичасовой* билль лорда Эшли — плоская мера золотой середины, а сам лорд Эшли — «верное изображение конституционной деятельности», между тем как до сих пор фабриканты, чартисты, землевладельцы — словом, вся английская «масса» — смотрели на эту меру как на выражение — правда, весьма слабое — вполне радикального принципа, так как она заносит топор над самым корнем иностранной торговли, а с нею и над корнем фабричной системы, — да что я говорю? — не только заносит топор, но глубоко вонзает его внутрь. Критическая критика лучше знает, в чем дело. Она знает, что вопрос о десятичасовом дне обсуждался в какой-то «комиссии» нижней палаты, между тем

как не критические газеты стараются нас уверить, что этой «комиссией» была *сама палата*, а именно — *комитет всей палаты*; но критика во что бы то ни стало должна отменить эти странности английской конституции.

Критическая критика, сама *порождающая* свою *противоположность* — *глупость «массы»*, порождает также и глупость сэра Джемса Грэхэма: путем критического истолкования английского языка она влагает ему в уста такие речи, каких не критический министр внутренних дел никогда не говорил, и делает она это для того лишь, чтобы на фоне грэхэмовской глупости еще более ярким светом засияла мудрость критики. Если верить критике, то Грэхэм утверждал, что фабричные машины изнашиваются приблизительно в 12 лет, независимо от того, работают ли они ежедневно в течение 10 или же 12 часов, а из этого делал тот вывод, что десятичасовой билль лишает капиталиста возможности воспроизвести в 12 лет работой машин вложенный в них капитал. Критика доказывает, что вложенное ею в уста сэра Грэхэма заключение ложно, ибо машина, работающая ежедневно на $\frac{1}{8}$ часть времени меньше, само собою разумеется, окажется годной к употреблению в течение большего промежутка времени.

При всей правильности этого замечания критической критики относительно ее собственного ложного заключения, приходится тем не менее отдать справедливость сэру Джемсу Грэхэму, в действительности сказавшему следующее: при десятичасовом билле машина должна увеличить свою скорость в такой же пропорции, в какой ограничено ее рабочее время (сама критика цитирует это положение в восьмой книжке, стр. 32), а при таком условии срок изнашивания машины остается тем же самым, именно — 12 лет. Это должно быть признано, тем более, что это признание служит только к внящему прославлению *«критики»*, так как только *такая* критика могла прежде, по собственному желанию, сделать ложное заключение, а вслед затем, по собственному же желанию, его опровергнуть. Она в той же степени великодушна и по отношению к лорду *Джону Расселю*, которому она подсовывает намерение изменить форму государственного строя и избирательного права, — откуда мы должны заключить, что либо критике свойственно необыкновенно сильное влечение к продуцированию глупостей, либо лорд Джон Рассель в последнюю неделю превратился в критического критика.

Но критика становится поистине великолепной в изготовлении глупостей, когда она делает открытие, что английские рабочие, — рабочие, которые в апреле и мае устраивали один митинг за другим,

оставляли одну петицию за другой с целью добиться проведения десятичасового билля, рабочие, среди которых, от одного конца фабричных округов до другого, царило такое возбуждение, какого не было уже в течение двух лет, — что эти самые рабочие проявляют лишь «частичный интерес» к данному вопросу, хотя и обнаружилось, что «законодательное ограничение рабочего времени занимало их внимание». Поистине великолепно критика, когда делает великое, прекрасное, неслыханное открытие, что «обещающая на первый взгляд более непосредственную помощь отмена хлебных законов почти совершенно поглощает и будет поглощать мысли рабочих до тех пор, пока не подлежащее уже никакому сомнению удовлетворение их желаний не докажет им практически всей бесполезности реформы». И это критика говорит о рабочих, которые привыкли на всех публичных митингах сбрасывать с ораторской трибуны поборников отмены хлебных законов, — о рабочих, которые добились того, что ни в одном английском фабричном городе Лига борьбы с хлебными законами не осмеливается устраивать публичных митингов, — рабочих, которые видят в Лиге своего единственного врага и которые во время дебатов по вопросу о десятичасовом рабочем дне пользовались поддержкой ториев, как это почти всегда бывало при обсуждении аналогичных вопросов. Прелестна также критика, когда она открывает, что «рабочие все еще продолжают поддаваться на удочку широчайших обещаний *чартизма*», который и есть ведь не что иное, как политическое выражение общественного мнения рабочих. В глубине своего абсолютного духа прелестная критика усмотрела, что «обе партийные группировки — политическая организация и организация земельных и фабричных собственников — не сливаются уже друг с другом и не покрывают одна другую». Однако нам еще не приходилось слышать, чтобы партийная организация земельных и фабричных собственников, при незначительности численного состава обоих классов собственников и при одинаковости их политических прав (за исключением немногих паров), отличалась своей обширностью и чтобы она, будучи на деле только последовательнейшим выражением, верхушкой политических партий, была абсолютно тождественна с политическими партийными группировками. Восхитительна еще критика, когда она приписывает противникам хлебных пошлин незнание того факта, что, при прочих равных условиях, падение цен на хлеб имеет своим необходимым следствием падение заработной платы, в результате чего все остается по-старому, в то время как на самом деле эти господа ожидают от этого заведомого падения заработной платы и связанного с ним уменьшения

Die heilige Familie,

oder

K r i t i k

der

k r i t i s c h e n K r i t i k.

Gegen Bruno Bauer & Consorten.

Von

Friedrich Engels und Karl Marx.

Frankfurt a. M.

L i t e r a r i s c h e A n s t a l t

(J. Rütten.)

1 8 4 5.

издержек производства — соответственного расширения рынка и уменьшения конкуренции рабочих между собой, что открывает возможность для заработной платы, по отношению к ценам на хлеб, держаться на несколько более высоком уровне, чем сейчас.

Критика, с чувством художественного блаженства свободно творящая свою противоположность, бессмыслицу, — та самая критика, которая два года тому назад восклицала: «критика говорит по-немецки, теология по-латыни», — эта самая критика изучила теперь *английский* язык и называет землевладельцев «Landowner»'ами (landowners), фабрикантов — «Mühleigner»'ами (millowners; по-английски «mill» означает фабрику, машины которой приводятся в движение паром или водяной силой), рабочих — «руками» (hands). Вместо «вмешательство» она говорит «интерференция» (interference), и в своем безграничном сострадании к английскому языку, насквозь пропитанному «греховной массовостью», она даже так милостива, что берется за его исправление и отменяет педантическое правило, на основании которого англичане всегда ставят титул «сэр» рыцарей и баронетов непосредственно *перед именем*: «масса» говорит: «сэр Джемс Грэхэм», критика же — «сэр Грэхэм».

Что критика взялась за преобразование *английской* истории и английского языка из *принципа*, а не по *легкомыслию*, это читатель сейчас увидит из той *основательности*, с которой она разработала *историю* *господина Науверка*.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ «КРИТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ», ИЛИ ЖЕ «КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА» В ЛИЦЕ ГОСПОДИНА Ю. (ЮНГНИЦ?)

Бесконечно важный спор господина *Науверка* с берлинским философским факультетом не может быть оставлен без внимания со стороны критики. Она ведь и сама пережила нечто подобное и должна сделать судьбу господина Науверка фоном, на котором еще резче станет выделяться ее *изгнание из Бонна*. Так как критика привыкла смотреть на боннскую историю как на важнейшее событие нашего века и даже написала уже «философию отставки критики», то можно было ожидать, что она подобным же образом обстоятельно философски построит берлинскую «коллизия». Она утверждает а priori, что все это должно было случиться так, а не иначе. Она показывает:

1. Почему философский факультет должен был вступить в «коллизия» с философом государства, а не с логиком или метафизиком;

2. Почему эта коллизия не могла отличаться той жестокостью и решительностью, какие характеризуют конфликт критики с теологией в Бонне;

3. Почему коллизия эта была, собственно говоря, глупостью, после того как критика уже в своей боннской коллизии исчерпала все возможные принципы, всякое возможное содержание, и мировой истории с тех пор ничего другого не оставалось, как сделаться плагиатором критики;

4. Почему философский факультет почувствовал себя лично оскорбленным произведениями господина Науверка;

5. Почему господину Н. ничего другого не оставалось, как добровольно уйти;

6. Почему философский факультет, если он не хотел отречься от самого себя, должен был защищать господина Н.;

7. Почему «внутренний разлад в существе факультета должен был, по необходимости, представиться в таком виде», что факультет в одно и то же время признавал правым и неправым как Н., так правительство;

8. Почему факультет не мог найти в произведениях Н. основания к его удалению;

9. Чем обусловлена была неясность вердикта во всех его частях;

10. Почему факультет, «как ученое учреждение (1), считает себя (1) в праве (1) позволить себе посмотреть в самый корень дела», и, наконец,

11. Почему, тем не менее, факультет не желал писать так, как господин Н.

Критика обсуждает эти важные вопросы на четырех страницах с изумительной основательностью, причем она, при помощи логики Гегеля, доказывает, почему все это случилось именно таким образом и почему никакой бог не мог бы ничего поделать против этого. В другом месте критика говорит, что ни одна историческая эпоха не была еще понята; скромность запрещает ей сказать, что она, по крайней мере, в совершенстве постигла как свою собственную коллизию, так и коллизию Науверка, которые хотя и не являются эпохами, но на ее взгляд все же создают собой эпоху.

Критическая критика, таким образом «сняв» в себе «момент» *основательности*, становится *«спокойствием познания»*.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

«КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА» КАК СПОКОЙСТВИЕ ПОЗНАВАНИЯ,

ИЛИ ЖЕ

«КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА» В ЛИЦЕ ГОСПОДИНА ЭДГАРА.

1. UNION OUVRIÈRE ФЛОРЫ ТРИСТАН.

Французские социалисты утверждают: рабочий делает все, производит все и не имеет при этом ни прав, ни собственности, — короче говоря, не имеет ничего. На это критика устами господина *Эдгара*, олицетворенного *спокойствия познания*, отвечает: чтобы все производить, требуется нечто большее, чем рабочее сознание; чтобы стать правильным, положение это должно быть перевернуто: рабочий не делает ничего, поэтому он ничего и не имеет; не делает же он ничего потому, что его работа всегда существует лишь как нечто единичное, рассчитана на удовлетворение его собственной потребности и остается будничной и повседневной работой.

Здесь критика в своем совершенстве добирается до таких высот абстракции, откуда ей только ее собственные творения мысли и противоречащие всякой действительности всеобщности представляются как «нечто» или — более того — как «все». Рабочий не создает ничего потому, что он создает лишь «единичное», т. е. чувственные, осязаемые, бездушные и лишённые критики предметы, один вид которых приводит в ужас чистую критику. Все действительное, все живое — некритично, «массово» и поэтому «ничто», и только идеальные, фантастические творения критической критики — «все».

Рабочий не создает ничего потому, что его работа есть нечто единичное, рассчитанное лишь на удовлетворение его индивидуальной потребности, т. е. потому, что отдельные, связанные друг с другом отрасли труда разделены в мировом строе настоящего времени, мало того — даже противопоставлены друг другу, — короче говоря, потому, что труд не *организован*. Собственная мысль критики, если ее истолковать в единственно возможном разумном смысле,

требует организации труда. Флора Тристан, при разборе которой всплывает эта великая мысль, требует того же и за свое дерзкое стремление предупредить критическую критику третируется последней en canaille. Рабочий не создает ничего. Положение это, впрочем, есть сумасшедший бред, если только оставить в стороне то обстоятельство, что *отдельный* рабочий не производит *целого*, — положение, представляющее собой тавтологию. Критическая критика создает «ничто», рабочий создает «все», настолько «все», что даже своими духовными творениями посрамляет всю критику: английские и французские рабочие являются лучшим свидетельством этого. Рабочий создает даже *человека*; критик же навсегда остается нечеловеком, но зато получает, конечно, внутреннее удовлетворение от сознания, что он — критический критик.

«Флора Тристан дает нам пример того женского догматизма, который не может обойтись без формулы и образует ее из категорий существующего».

Критика только то и делает, что «образует формулы из категорий существующего», а именно — из существующей *гегелевской* философии и существующих социальных стремлений. Формулы — и ничего более кроме формул. И несмотря на все ее нападки на догматизм, она сама себя осуждает на догматизм, мало того — на догматизм *женский*. Она является и остается старой бабой; она — увядшая и вдовствующая *гегелевская* философия, которая поддурманивает и подкрашивает свое высохшее до отвратительнейшей абстракции тело и поглядывает на всю Германию в поисках за женихом.

2. БЕРО О ПРОСТИТУТКАХ.

Господин Эдгар, снизойдя уже раз до социальных вопросов, считает своим долгом сунуть свой нос также и в *«непотребные отношения»* (V, стр. 26).

Он критикует книгу парижского полицейского комиссара Бери о проституции, потому что ему важна та *«точка зрения»*, с которой «Бери рассматривает отношение проституток к обществу». «Спокойствие познания» удивляется, что полицейский усвоил себе именно полицейскую точку зрения, и дает массе понять, что эта точка зрения совершенно превратная. Своей же собственной точки зрения оно не обнаруживает. Вполне понятно! Когда критика возится с проститутками, то нельзя ведь требовать, чтобы она это делала перед публикой.

3. ЛЮБОВЬ.

Чтобы достичь совершенства в «спокойствии познания», критическая критика прежде всего должна постараться раздаться с *любовью*. Любовь — страсть, а для «спокойствия познания» нет ничего более опасного, чем страсть. Поэтому в связи с романами г-жи фон-Пальцов, которые, по уверению господина Эдгара, «основательно изучены им», его возмущает *«ребячество, называемое любовью»*. Любовь — это ужас и страшилище. Она вызывает в критической критике чувство злобы, она делает ее желчной и раздражительной.

«Любовь... жестокая богиня, которая, как и всякое божество, стремится завладеть всем человеком и не удовлетворяется до тех пор, пока человек не отдаст ей не только свою душу, но и свое физическое «я». Ее культ — это страдание, вершина этого культа — самопожертвование, самоубийство!»

Чтобы превратить любовь в «Молоха», в воплощенного дьявола, господин Эдгар преобразует ее раньше в богиню. Став богиней, т. е. теологическим предметом, она, разумеется, подлежит *теологической критике*; да и помимо того бог и дьявол, как известно, стоят довольно близко друг к другу. Господин Эдгар превращает любовь в «богиню» — и именно в «жестокую богиню» — тем, что из *любящего человека*, из любви человека делает человека *любви*, — тем, что отделяет от человека *«любовь»* как особую сущность и, как таковую, наделяет ее самостоятельностью! Посредством такого простого процесса, посредством такого превращения предиката в субъект можно критически преобразовать все самообнаружения и самоопределения человеческого существа в *самоотчуждения* и *самоотрицания* последнего. Так, например, критическая критика делает из критики, как предиката и деятельности человека, самодовлеющий субъект — самоопределяющуюся и по сему *критическую критику*: «Молоха», культ которого — самопожертвование, самоубийство человека и именно его *человеческой мыслительной способности*.

«Предмет, — восклицает спокойствие познания, — предмет — вот истинное название, ибо любимый для любящего (женский род отсутствует) важен лишь как *внешний объект* его *душевного благорасположения*, как объект, в котором он хочет отыскать удовлетворение для своего своекорыстного чувства».

«Предмет!» Отвратительно! Нет ничего более возмутительного, более скверного, более «массового», чем *предмет*, — долой же пред-

мет! Как могла абсолютная субъективность, *actus purus*, «чистая» критика, — как могла она не видеть в любви своей «*bête noire*», воплощенного сатаны, — в любви, которая более, чем что бы то ни было другое, научает человека верить в окружающий предметный мир, которая обращает не только человека в предмет, но даже предмет в человека!

Любовь — продолжает, вне себя, спокойствие познания — не успокаивается на том, чтобы обратить человека в *катеорию «объекта»* для другого человека; она обращает его в *определенный, действительный объект*, — в *этот* скверно-индивидуальный (см. «Феноменологию» Гегеля об этих самых «Это» и «То», где философ также полемизирует против скверного «*Это*») *внешний объект*, имеющий не только внутреннее, скрывающееся в мозгу, но и чувственно осязаемое существование.

Любовь не одиноко
Живет, в мозгу ваточена.

Нет, возлюбленная есть *чувственный предмет*. Критическая же критика, для того, чтобы снизойти до признания какого-нибудь предмета, требует, по меньшей мере, чтобы предмет был *бесчувственным* предметом. Любовь же — *некритический, нехристианский материалист*.

Наконец, любовь ухитряется даже сделать одного человека «*этим внешним объектом душевного благорасположения*» другого человека, объектом, в котором находит удовлетворение *свокорыстное* чувство другого человека, — *свокорыстное* по той причине, что оно в другом человеке *хочет обрести свое собственное существо*, а это не должно иметь места. Критическая критика настолько *свободна от всякого себялюбия*, что *находит в себе самой* исчерпанным до дна все содержание человеческого естества.

Господин Эдгар не сообщает нам, конечно, чем возлюбленная отличается от всех прочих «*внешних объектов душевного благорасположения, в которых находят себе удовлетворение свокорыстные чувства людей*». Богатый духовным содержанием, многочувственный, многоговорящий предмет любви внушает спокойствию познания только категорическую схему: «*этот внешний объект душевного благорасположения*» выражает лишь то же, что комета для спекулятивного натурфилософа, именно «*отрицательность*». Делая другого человека внешним объектом своего душевного благорасположения, человек, правда, — по собственному признанию критической критики, — приписывает ему свойство «*важности*»; но это

так сказать, *предметная важность*, между тем как важность, приписываемая предметам критикой, есть не что иное, как важность, которую последняя приписывает себе самой. Эта критическая «важность» обнаруживает поэтому свою действительность не «в дурном *внешнем бытии*», а в «*Ничто*» критически важного предмета.

Если спокойствие познавания в действительном человеке не обретает *предмета*, то зато оно в *человечестве* обретает *дело*. Критическая любовь «прежде всего *остерегается* из-за личности забыть *дело*, которое есть не что иное, как дело человечества». Некритическая же любовь не отделяет человечества от индивидуального человека, от личности.

«Сама любовь, как *абстрактная* страсть, неведомо откуда пришедшая и неведомо куда уходящая, неспособна к *внутреннему* развитию».

В глазах спокойствия познавания любовь есть абстрактная страсть, согласно *спекулятивному* словоупотреблению, называющему конкретное абстрактным, а абстрактное конкретным.

Она в долине не родилась,
Где дом ее, — никто не знал;
Но с нами вдруг она простилась,
Ушла, и след ее пропал.

В глазах абстракции любовь есть «дева с чужбины», не имеющая диалектического паспорта, а потому изгоняемая из страны критической полицией.

Страсть любви не способна к внутреннему развитию, потому что она не может быть сконструирована а priori, потому что ее развитие — действительное развитие, происходящее в чувственном мире и среди действительных индивидуумов. Главный же интерес спекулятивной конструкции заключается в «Откуда» и «Куда». «Откуда» есть именно «необходимость» понятия, его доказательство и дедукция» (Гегель). «Куда» есть определение, «в силу которого каждое отдельное звено спекулятивного кругооборота, как одушевленное содержание метода, есть в то же время начало нового звена» (Гегель). Итак, только в том случае, если бы можно было а priori сконструировать «Откуда» и «Куда» любви, последняя заслуживала бы «интереса» критики.

Критическая критика борется здесь не только с любовью, но и со всем живым, со всем непосредственным, со всяким чувственным опытом, со всяким вообще действительным опытом, где мы никогда наперед не *знаем* ни «Откуда», ни «Куда».

Преодоление любви вполне *утвердило* за господином Эдгаром звание «спокойствия познания». После этого он тотчас же покажет на Прудоне свою великую виртуозность «познания», для которого «предмет» перестал быть «этим внешним объектом», а кстати — свою еще более великую *нелюбовь* по отношению к французскому языку.

4. ПРУДОН.

Согласно отчету критической критики, произведение «Qu'est ce que la propriété?»¹ написано не Прудонем, а «прудоновской точкой зрения».

«Я начинаю изложение прудоновской точки зрения с характеристики ее (точки зрения?) произведения «Что такое собственность?»

Так как только произведения критической точки зрения сами по себе обладают характером, то критическая характеристика, по необходимости, начинается с того, что придает характер прудоновскому произведению. Господин Эдгар придает этому произведению характер тем, что *переводит* его. Он придает ему, конечно, *дурной* характер, ибо он обращает его в *предмет* своей «критики».

Произведение Прудона подвергается, таким образом, двойному нападению со стороны господина Эдгара: *молчаливому* — в его характеризующем переводе, и *открыто-выраженному* — в его критических комментариях. Мы увидим, что господин Эдгар обнаруживает большую уничтожающую силу, когда он переводит, нежели когда он комментирует.

Характеризирующий перевод № 1.

«Я не хочу (это говорит критически переведенный Прудон) дать никакой системы нового, я не хочу ничего, кроме отмены привилегий, уничтожения рабства... справедливости, ничего, кроме справедливости, — вот что я думаю.»

Характеризуемый Прудон ограничивается волей и мнением, потому что «добрая воля» и ненаучное «мнение» суть характеристичные атрибуты некритической массы. Характеризуемый Прудон отличается той смиренностью, какая приличествует массе, и подчиняет то, чего он хочет, тому, чего он *не* хочет. Он не дерзает желать дать систему нового, он хочет меньшего, он даже не хочет *ничего*, кроме отмены привилегий и т. д. Кроме этого критического подчинения воли, которая у него есть, воле, которой у него нет.

¹ «Что такое собственность?»

его первые слова тотчас же обнаруживают характерный недостаток логики. Писатель, начинающий с заявления, что он не хочет дать системы нового, должен нам, конечно, сказать, что же он хочет дать, — будь это систематизированное старое или же несистематизированное новое. Но характеризуемый Прудон, который не хочет *дать* системы нового, — хочет ли он дать отмену привилегий? Нет. Он, просто, только *хочет* отмены.

Действительный Прудон говорит: «Je ne fais pas de système; je demande la fin du privilège etc.» (Я не создаю никакой системы, я требую и т. д.) Это значит, что действительный Прудон заявляет, что он не преследует никаких абстрактно-научных целей, а только предъявляет обществу непосредственно-практические требования. И требование, которое он предъявляет, далеко не произвольно. Оно находит себе обоснование и оправдание во всем развитии темы, которое им дано; оно представляет собой резюме этого развития: justice, rien que justice, tel est le résumé de mon discours. Характеризуемый Прудон с своим «справедливости, только справедливости, — вот что я думаю» попадает в тем более затруднительное положение, что он еще многое другое «думает» и, согласно отчету господина Эдгара, «думает», например, что философия была недостаточно практична, «думает» опровергнуть Шарля Конта и т. д.

Критический Прудон спрашивает себя: «Неужели человек должен быть всегда несчастлив?» Иными словами, он спрашивает: составляет ли несчастье нравственное назначение человека? Действительный же Прудон — легкомысленный француз и спрашивает: есть ли несчастье материальная необходимость, *долженствование* (L'homme doit-il être éternellement malheureux)?

Массовый Прудон говорит:

«Et sans m'arrêter aux explications à toute fin des entrepreneurs de reformes, accusant de la détresse générale ceux-ci la lâcheté et l'impéritie du pouvoir, ceux-là les conspirateurs et les émeutes, d'autres l'ignorance et la corruption générale», etc.¹

Так как выражение «à toute fin» — скверное массовое выражение, которого нельзя найти в массовых немецких словарях, то критический Прудон отбрасывает, конечно, это более точное определение «объяснений». Этот термин заимствован из массовой французской юриспруденции, где «explications à toute fin» означают

¹ Не останавливаясь на устраняющих всякие возражения объяснениях фабрикантов реформ, из которых одни винят в общей нужде гнусность и неспособность правительства, другие — заговорщиков и восстания, третьи — невежество и общую развращенность, и т. д.

объяснения, устраняющие всякие возражения. Критический Прудон оскорбляет *«реформистов»*, т. е. одну французскую социалистическую партию, массовый же Прудон — «фабрикантов реформ». «Массовый» Прудон различает отдельные виды этих *«entrepreneurs de reformes»*: одни (*ceux-ci*) говорят *то-то*, другие (*ceux-là*) *то-то*, третьи (*d'autres*) *то-то*. Критический же Прудон заставляет *одних и тех же реформистов* «обвинять то в... то в... то в...», что, во всяком случае, свидетельствует об их непостоянстве. Действительный Прудон, руководящий массовой французской практикой, говорит о *«conspirateurs et les émeutes»*, т. е. сначала о заговорщиках, а потом лишь об их действиях — бунтах. Критический же Прудон, смешавший в одну кучу различные виды реформистов, классифицирует, напротив, бунтовщиков и потому говорит: «заговорщики и *зачинщики бунтов*». Массовый Прудон говорит о *невежестве* и «*общей испорченности*». Критический же Прудон превращает невежество в глупость, «испорченность» в «развращенность» и, наконец, в качестве критического критика, делает глупость *всеобщей*. Он сам непосредственно дает пример последней, толкуя «*générale*» как множественное число вместо единственного. Он переводит «*d'ignorance et la corruption générale*» через «всеобщая глупость и развращенность». Согласно некритической французской грамматике, фраза должна была бы в этом случае гласить: «*d'ignorance et la corruption générales*».

Характеризуемый Прудон, говорящий и пишущий иначе, чем массовый Прудон, должен был, разумеется, получить и образование совершенно другое. Он «опрашивал мастеров науки, прочел сотни книг по философии и юриспруденции и т. д. и *в конце концов* убедился, что мы никогда не отдавали себе правильного отчета в значении слов «справедливость, правосудие, свобода». Действительный же Прудон полагал, что он с *самого начала* понял (*j'ai su d'abord reconnaître*) то, что критический понял лишь «*в конце концов*». Критическое превращение *d'abord* в *enfin* необходимо потому, что масса никогда не должна думать, что она поняла что-нибудь «с самого начала». Массовый Прудон передает нам в самых ясных выражениях, как он был поражен этим неожиданным результатом своих исследований и как он отказывался верить этому. Он решил поэтому сделать «*поверочный опыт*»; он спросил себя: «Возможно ли, чтобы все человечество так долго обманывалось насчет принципов применения морали? Каким образом и почему оно обманывалось и т. д.?» Правильность своих наблюдений он ставил в зависимость от решения этих вопросов. Он пришел к заключению, что в морали точно так

же, как и во всех прочих отраслях знания, ошибки *«составляют ступени науки»*. Критический Прудон, напротив, тотчас же доверяет первому впечатлению, произведенному на него его политико-экономическими, юридическими и тому подобными исследованиями. Оно и понятно: масса не смеет поступать *основательно*, она обязана возводить первые результаты своих исследований в неоспоримые истины. Она *«с самого начала готова, прежде чем еще померялась с своей противоположностью»*; поэтому впоследствии *«оказывается, что она еще не успела добраться до начала в то время, когда она мнила себя дошедшей до конца»*.

Критический Прудон продолжает поэтому резонировать самым неосновательным и бессвязным образом: *«Наше знание нравственных законов не отличается с самого начала достаточной полнотой; на некоторое время оно может удовлетворять общественный прогресс; но при более продолжительном существовании оно способно повести нас по ложному пути»*.

Критический Прудон не объясняет, почему неполное знание нравственных законов может способствовать общественному прогрессу хотя бы в течение одного только дня. Действительный же Прудон сначала задает себе вопрос: возможно ли, чтобы человечество так долго и так исключительно ошибалось, и если да, то почему? Разрешение этих вопросов он находит в том, что все ошибки суть ступени науки, что наши самые несовершенные суждения заключают в себе сумму истин, вполне достаточных для известного числа индуктивных выводов и для определенной сферы практической жизни; за пределами же этого числа и этой сферы истины эти приводят теоретически к абсурду, а практически к упадку. Дав такое объяснение, Прудон может сказать, что даже несовершенное знание моральных законов способно в течение некоторого времени содействовать общественному прогрессу.

Критический Прудон говорит:

«Но как только обнаруживается необходимость в новом знании, тотчас же разгорается ожесточенная борьба между старыми предрассудками и новой идеей». Однако как может завязаться борьба с противником, который *еще не существует*? Ведь хотя критический Прудон сказал нам, что явилась необходимость в новой идее, но он не говорил еще, что эта новая идея уже *возникла*.

Массовый же Прудон говорит:

«Как только обнаруживается необходимость в высшем знании, оно тотчас же является на сцену». Стало быть, оно имеется налицо. *«И тогда разгорается борьба»*.

Критический Прудон утверждает, что «назначение человека в том, чтобы шаг за шагом образовывать свой ум», как будто у человека нет совершенно другого назначения, а именно — быть человеком, и как будто самообразование «шаг за шагом» неизбежно подвинет нас вперед. Я могу делать один шаг за другим и все-таки вернуться к тому самому пункту, откуда я вышел. Некритический же Прудон говорит не о «назначении» человека, а о необходимом для него «условии» (*condition*) образовывать свой ум и не «шаг за шагом» (*pas à pas*), а по ступеням, *постепенно* (*par degrés*). Критический Прудон говорит самому себе: «Среди принципов, на которых покоится общество, есть один принцип, которого оно не понимает, который оно искавило своим невежеством и который является причиной всех зол. И, однако, люди уважают *этот* принцип, хотят его, ибо иначе он не имел бы никакого влияния. Этот принцип, истинный по своей сущности, но ложный по тому представлению, какое мы себе создали о нем, — этот принцип... в чем он заключается?»

В первом предложении критический Прудон говорит, что принцип искажен и не понят обществом; следовательно, сам по себе верен. Во втором предложении он в добавление признает, что принцип этот по своей сущности истинен, и, несмотря на это, он порицает общество за то, что оно уважает «этот принцип» и хочет его. Массовый Прудон, напротив, порицает общество не за то, что оно желает уважать «этот принцип», каков он есть, а за то, что оно желает уважать этот принцип, фальсифицированный невежеством. («*Ce principe... tel que notre ignorance l'a fait, est honoré*»). Критический Прудон считает *сущность* принципа в его неистинном виде *истинной*. Массовый же Прудон полагает, что сущность фальсифицированного принципа есть плод нашего ложного представления, *предмет* же (*objet*) его — истинен, точь-в-точь как, например, сущность алхимии и астрологии — плод нашего воображения, предмет же их — движение небесных тел и химические свойства тел — истинен.

Критический Прудон, продолжая свой монолог, говорит: «Предметом нашего исследования служит закон, определение социального принципа. Политики, т. е. люди социальной науки, обнаруживают изумительную неясность понятий; но так как в основе каждой ошибки лежит какая-нибудь действительность, то мы и в их книгах сумеем отыскать истину, которую они произвели на свет, сами того не зная».

Критический Прудон рассуждает поразительно странно. Констатировав невежество и спутанность понятий политиков, он самым

неожиданным образом переходит к утверждению того, что в основе каждой ошибки лежит какая-нибудь действительность, в чем мы тем менее можем сомневаться, что в основе каждой ошибки мы имеем некоторую действительность уже в лице самого ошибающегося. Из того факта, что в *основе* каждой ошибки лежит какая-нибудь действительность, он заключает дальше, что в *книгах* политиков можно открыть истину. И, наконец, он даже заставляет политиков провозвести эту истину на *свет*. Если бы они произвели ее *на свет*, нам неважно было бы искать ее в их *книгах*.

Массовый Прудон говорит: «Политики не понимают друг друга (*ne s'entendent pas*); поэтому их ошибка субъективна, она лежит в них самих» (*donc c'est en eux que l'erreur*). Их взаимное непонимание служит доказательством их односторонности. Они смешивают «свое частное мнение с здравым рассудком», и «так как» — согласно прежней дедукции — «каждая ошибка имеет своим *предметом* какую-нибудь настоящую действительность, то в книгах политиков непременно найдется истина, которую они влагают сюда, именно в книги, бессознательно влагают, но не производят на свет» (*dans leurs livres doit se trouver la vérité, qu'à leur insu ils y auront mis*).

Критический Прудон спрашивает себя: «Что такое справедливость, каковы ее сущность, характер, значение?» Как будто справедливости присуще еще какое-то особое значение, совершенно независимое от ее сущности и характера! Некритический Прудон спрашивает: «Каков ее принцип, ее характер и ее формула (*formule*)?» Формула выражает принцип в качестве принципа научного доказательства. В массовом французском языке слова «*formule*» и «*signification*» существенно отличны друг от друга. В критическом французском языке слова эти тождественны по своему значению.

Покончив с своими в высшей степени ничемными рассуждениями, критический Прудон собирается с духом и восклицает:

«Попытаемся подойти поближе к нашему предмету». Некритический Прудон, давно уже близко подошедший к своему предмету, пытается, напротив, притти к более точным и более положительным определениям своего предмета (*d'arriver à quelque chose de plus précis et de plus positif*).

Для критического Прудона «закон есть *определение* справедливого», для некритического — закон есть «*объяснение*» (*déclaration*) справедливого. Некритический Прудон оспаривает мнение, будто закон творит право. Выражение же «определение закона» может одинаково обозначать как то, что закон определяется чем-нибудь другим, так и то, что он сам определяет что-нибудь другое: выше сам

критический Прудон говорит в этом последнем смысле об определении социального принципа. Впрочем, массовому Прудону не пристало делать такие тонкие различия.

При таком отличии критически характеризуемого Прудона от действительного Прудона, нет ничего удивительного в том, что Прудон № 1 пытается *доказать* нечто совершенно иное, нежели Прудон № 2.

Критический Прудон *пытается на опыте истории доказать*, что «если наша идея о справедливом и правомерном ложна, то, очевидно (несмотря на эту очевидность, он все-таки считает нужным доказывать), все его применения в законе должны быть дурны, все наши учреждения ошибочны».

Массовый Прудон весьма далек от того, чтобы доказывать то, что очевидно. Он, напротив того, говорит: «Если наша идея о справедливом и правомерном плохо определена, если она неполна или даже ложна, то очевидно, что плохи также и все наши законодательные применения» и т. д.

Что, собственно, хочет доказать некритический Прудон? «Эта гипотеза,— продолжает он,— об искажении справедливости в нашем представлении, а следовательно и в наших действиях, была бы доказанным фактом, если бы можно было убедиться, что мнения людей относительно понятия справедливости и относительно его приложения не оставались всегда одними и теми же, что они в различные времена претерпевали различные изменения, словом, что в идеях происходил прогресс». Но в том-то и дело, что именно это непостоянство, эта изменчивость, этот прогресс «блестящим образом засвидетельствованы *историей*». И некритический Прудон цитирует эти блестящие свидетельства истории. Его критический двойник, доказавший раньше на основании опыта истории совершенно иное положение, теперь точно таким же образом извращает самый этот опыт.

У действительного Прудона падение Римской империи предсказано было «мудрецами» (*les sages*), у критического Прудона — «философами». Критический Прудон считает, конечно, одних только философов мудрецами. По действительному Прудону, римские «права были освящены тысячелетней юридической практикой или юстицией» (*ces droits consacrés par une justice dix fois séculaire*); по критическому Прудону, в Риме существовали «права, освященные тысячелетней *справедливостью*».

Судя по тому же Прудону № 1, в Риме рассуждали следующим образом: «Рим... победил при помощи своей политики и своих

богов; всякая реформа культа и народного духа была бы глупостью и посрамлением (у критического Прудона слово «sacrilège» означает не посрамление святыни, святотатство, как в «массовом» французском языке, а просто — посрамление); задайся Рим целью освободить народы, он отрекся бы этим от своего права». «Таким-то образом, — прибавляет Прудон № 1, — Рим имел на своей стороне как факт, так и право». По некритическому Прудону, в Риме рассуждали более основательно. Там разбирается детально факт:

«Рабы — богатейший источник богатства Рима; освобождение народов было бы поэтому равносильно *финансовому банкротству*». Что же касается *права*, то массовый Прудон приводит еще следующее соображение: «Претензии Рима находили себе оправдание в международном праве (*droit des gens*). Такой способ доказательства права порабощения вполне соответствует представлениям римлян о праве. Смотри массовые пандекты: *jure gentium servitus invasit* (Fr. 4. D. 1. 1).

По критическому Прудону, «идолопоклонство, рабство, изнеженность составляли основу римских учреждений», — всех учреждений гуртом! Действительный же Прудон говорит: «Основу религии составляло идолопоклонство, основу государства — рабство, основу частной жизни — эпикурейство» (на обычном французском языке слово «*épicurisme*» не однозначуще с «*mollesse*», изнеженностью). При таком состоянии Рима «явилось», — так рассказывает мистический Прудон, — «слово господне»; действительный же, рационалистический Прудон говорит о явлении «мужа, назвавшего себя словом господним». У действительного Прудона муж этот называет жрецов «ехиднами» (*virèges*), у критического он выражается галантнее и называет их «змеями». В первом случае он на римский лад говорит об «адвокатах», во втором — на немецкий лад, о правоведах.

Критический Прудон, назвав дух французской революции духом противоречия, прибавляет к этому: «Этого достаточно, чтобы убедиться, что новое, пришедшее на смену старому, не имело в себе ничего методического и продуманного». Он не может обойтись без молитвенного повторения излюбленных категорий критической критики: «новое» и «старое». Он не может обойтись без бессмысленного требования, чтобы «новое» имело в себе (an sich) что-либо методическое и продуманное, наподобие того, как имеют в себе (an sich) — ну, скажем! — следы грязи. Действительный же Прудон говорит: «Этого достаточно, чтобы доказать, что тот порядок вещей, который заменил собою старый, был лишен в себе метода и рефлексии».

Критический Прудон, увлеченный воспоминанием о французской революции, до такой степени *революционизирует* французский язык, что переводит слова «un fait physique» через «факт физики», «un fait intellectuel» через «факт ума». При помощи такого революционизирования французского языка критическому Прудону удается сделать физику обладательницей всех фактов, встречающихся в природе. Если он, таким образом, с одной стороны, возвеличивает естествознание свыше меры, то он, с другой стороны, столь же его унижает, отказывая ему в уме и отличая факт ума от факта физики. В такой же степени он делает излишними всякие дальнейшие психологические и логические изыскания, непосредственно возводя интеллектуальный факт в факт ума.

Так как критический Прудон, Прудон № 1, даже не подозревает, что хочет доказать своей исторической дедукцией действительный Прудон, Прудон № 2, то от него остается, конечно, скрытым и самое содержание этой дедукции, а именно — доказательство изменения понятий права и непрерывного *осуществления* справедливости путем *отрицания* исторического положительного права. «La société fut sauvée par la *négation* de ses principes... et la *violation des droits les plus sacrés*» (общество было спасено путем отрицания его принципов... и посягательства на самые священные права). Так, действительный Прудон доказывает, что отрицание римского права привело к расширению понятия права в христианском *представлении*, что отрицание завоевательного права привело к установлению права общин, а отрицание феодального права во всей его совокупности, через французскую революцию, привело к осуществлению современного, более всеобъемлющего, правового порядка.

Критическая критика никоим образом не может допустить, чтобы Прудону принадлежала честь и заслуга открытия закона осуществления принципа путем его отрицания, а между тем в этой всем известной форме мысль эта была настоящим откровением для французов.

Критический комментарий № 1.

Первая критика всякой науки необходимо находится во власти предпосылок той самой науки, против которой она ведет борьбу. Точно так же и произведение Прудона «Qu'est ce que la propriété?» представляет собою критику *политической экономики* с точки зрения политической экономики. Мы не станем останавливаться на юридической части книги, которая критикует право с точки зрения права, — не станем останавливаться потому, что главный интерес книги в

критике политической экономии. Произведение Прудона в научном отношении будет опережено критикой *политической экономии* как таковой, даже той политической экономии, какой она является в представлении Прудона. Работа эта стала возможной лишь благодаря работе, совершенной самим Прудоном, точно так же, как критика Прудона имела своими предпосылками критику меркантильной системы со стороны физиократов, критику физиократов со стороны Адама Смита, критику Адама Смита со стороны Рикардо, равно как работы Фурье и Сен-Симона.

Все построения политической экономии имеют своей предпосылкой *частную собственность*. Эта основная предпосылка принимается ею как неопровержимый факт, не подлежащий дальнейшему исследованию, — мало того, факт, которого политическая экономия касается только случайно, *accidentellement*, как наивно призывается *Сэй*. Прудон же подвергает основу политической экономии, *частную собственность*, критическому исследованию, и именно — первому решительному, беспощадному и в то же время научному исследованию. В этом и заключался большой научный прогресс, совершенный им, — прогресс, который революционизировал политическую экономию и впервые сделал возможной действительную науку политической экономии. Произведение Прудона «*Qu'est ce que la propriété?*» имело такое же значение для новейшей политической экономии, как произведение *Сийэса* «*Qu'est-ce que le tiers état?*» («Что такое третье сословие?») для новейшей политики.

Если Прудон не рассматривает еще последующих форм частной собственности: заработной платы, торговли, стоимости, цены, денег и проч. именно как форм частной собственности, что сделано, например, в «Немецко-французских летописях» (см. «Очерк критики политической экономии» Ф. Энгельса), — если он этого не делает а, напротив того, оспаривает политико-экономов политико-экономическими же предпосылками, то это вполне согласуется с его вышеуказанной, исторически оправданной точкой зрения.

Политическая экономия, принимающая отношения частной собственности за человеческие и разумные, непрерывно впадает в противоречие со своей основной предпосылкой — частной собственностью. Противоречие это вполне аналогично тому, в которое впадает теолог, когда он, постоянно истолковывая религиозные представления на человеческий лад, тем самым беспрестанно опровергает свою основную предпосылку — сверхчеловечность религии. Так в политической экономии заработная плата вначале выступает как пропорциональная доля труда в продукте. Заработная плата

и прибыль на капитал стоят друг к другу в дружественных, взаимно споспешествующих, с виду — в самых, что ни на есть, человеческих отношениях. Впоследствии же оказывается, что отношения эти — самые враждебные, что они находятся в *обратном* отношении друг к другу. Сначала стоимости дается как будто разумное определение: стоимость вещи определяется издержками ее производства и ее общественной полезностью. Впоследствии же оказывается, что стоимость есть чисто случайное определение, не стоящее ни в каком отношении ни к издержкам производства, ни к общественной полезности. Величина заработной платы определяется сначала как результат *свободного* соглашения между свободным рабочим и свободным капиталистом. Впоследствии же оказывается, что рабочий вынужден согласиться на определение заработной платы капиталистом, последний же вынужден держать заработную плату на возможно более низком уровне. Место *свободы* договаривающейся стороны заняло *принуждение*. Таким же образом обстоит дело и с торговлей, равно как и со всеми прочими политико-экономическими отношениями. При случае сами экономисты чувствуют эти противоречия, и развитие этих противоречий составляет главное содержание их взаимной борьбы. Но в тех случаях, когда эти противоречия не ускользают от сознания экономистов, *они сами* нападают на *частную собственность* в какой-нибудь из ее *частных* форм, обвиняя эту последнюю в фальсификации разумной самой по себе (т. е. в их представлении) заработной платы, разумной самой по себе стоимости, разумной самой по себе торговли. Так, например, Адам Смит нападает иногда на капиталистов, Дестют-де-Траси — на банкиров, Симонд-де-Сисмонди — на фабричную систему, Рикардо — на земельную собственность, а почти все новейшие политико-экономы на *непромышленных* капиталистов, в лице которых собственность является исключительно *потребителем*.

Таким образом, политико-экономы то выдвигают в исключительных случаях значение человеческого, хотя бы только одной видимости его, в экономических отношениях, — именно там, где они нападают на какое-нибудь специальное злоупотребление, — то берут эти отношения (и это в большей части случаев) такими, каковы они есть, с их явно выраженным *отличием* от человеческого, в их строго экономическом смысле. Так вот, шатаясь из стороны в сторону, бродят они среди этих противоречий, сами не сознавая их.

Прудон раз навсегда положил конец этой бессознательности. Он посмотрел серьезно на *кажущуюся* человечность политико-экономических отношений и резко противопоставил ее их *нечеловечной*

действительности. Он заставил их в действительности быть тем, чем они кажутся в их собственном представлении о себе, или, вернее, он заставил их отказаться от этого представления о себе и признать свою действительную нечеловечность. Он поэтому вполне последовательно взял не ту или иную форму частной собственности в отдельности, как это делали остальные экономисты, а частную собственность, как принцип, в ее общности, и частную собственность, в ее общности, изобразил как фальсификатора политико-экономических отношений. Он сделал все, что могла сделать критика политической экономии, оставаясь на политико-экономической точке зрения.

Господин Эдгар, желающий *охарактеризовать точку зрения* произведения «*Qu'est-ce que la propriété?*», не говорит, конечно, ни слова ни о политической экономии, ни об отличительном характере прудоновского произведения, заключающемся в том именно, что вопрос *о сущности частной собственности* поставлен там как жизненный вопрос политической экономии и юриспруденции. Для критической критики все это разумеется само собой. Прудон не открыл ничего нового своим отрицанием частной собственности, — говорит критика. Он только выболтал тайну, замолчанную критической критикой.

«Прудон, — продолжает господин Эдгар непосредственно за своим характеризующим переводом, — открыл, таким образом, в истории нечто абсолютное, вечную основу, бога, рука которого направляет человечество. Этот бог — справедливость».

Французское произведение Прудона 1840 г. не стоит на точке зрения немецкой теории 1844 г. Прудоновская точка зрения, которую вместе с ним разделяло множество французских писателей, во всем прочем придерживавшихся диаметрально противоположных взглядов, доставила критической критике ту выгоду, что она может одним и тем же росчерком пера характеризовать самые противоположные точки зрения. Впрочем, стоит только последовательно выполнить закон, выставленный самим Прудоном, а именно закон об осуществлении справедливости путем ее отрицания, чтобы тем самым стать выше и этого абсолютного в истории. Если Прудон не обнаружил в данном случае последовательности, то этим он обязан тому печальному обстоятельству, что он родился французом, а не немцем.

Для господина Эдгара Прудон, с его абсолютным в истории, с его верой в справедливость, стал *теологическим* предметом, и критическая критика, будучи *ex professo* критикой теологии, может

теперь заняться Прудонем, чтобы по его поводу изощряться в нападениях на «религиозные представления».

«Характерным в каждом религиозном представлении является то, что оно возводит в догму состояние, в конечном итоге которого одна из двух противоположностей выступает как победительница и единственно истинная».

Мы увидим, как религиозная критическая критика возводит в догму состояние, в конечном итоге которого одна из двух противоположностей — «критика», в качестве единственно истинной, одерживает победу над другой противоположностью — «массой». Прудон же, приняв массовую справедливость за абсолютное, за бога истории, совершил тем большую несправедливость, что справедливая критика роль этого абсолютного, этого бога истории оставила *исключительно* за собой.

Критический комментарий № 2.

«Факт существования нищеты, бедности приводит Прудона к односторонним выводам. В факте этом он видит *противоречие* равенству и справедливости. В нем, в этом факте, он почерпает свое оружие. Таким образом этот факт становится для него абсолютным, правомерным, факт же существования частной собственности — *неправомерным*».

«Спокойствие познания» говорит нам, что Прудон видит в факте существования бедности противоречие справедливости, — следовательно, считает этот факт *неправомерным*; и тут же это самое «спокойствие познания» заявляет нам, что этот факт становится для Прудона *абсолютным и правомерным*.

Прежняя политическая экономия, отпавляясь от факта *богатства народов*, якобы создаваемого движением частной собственности, приходила к выводам, оправдывающим частную собственность. Прудон отпавляется от противоположного факта, затушеванного софизмами политической экономии, от факта бедности, создаваемой движением частной собственности, и приходит к выводам, отрицающим частную собственность. Первая критика частной собственности исходит, конечно, из того факта, в котором полная противоречия сущность частной собственности проявляется в самой осязательной, самой кричащей, непосредственно самой возмутительной для человеческого чувства форме, — из факта бедности, нищеты.

«Критика, напротив, соединяет оба факта — бедности и собственности — в один; она признает существование внутренней

связи между обоими, делает из них одно целое и к этому целому, как таковому, обращается с вопросом о предпосылках его существования».

Критика, которая до сих пор ничего еще не уразумела в фактах собственности и бедности, противопоставляет, «напротив», свое дело, сделанное ею только в ее собственном воображении, действительному делу Прудона. Она соединяет *оба* факта в *один* и, сделав из *обоих* фактов один *единственный*, открывает существование внутренней связи между *обоими*. Критика не может отрицать, что и Прудон усмотрел существование внутренней связи между фактом бедности и фактом частной собственности, так как, именно исходя из наличности этой внутренней связи, он оправдывает собственность, чтобы оправдать бедность. Прудон сделал даже больше. Он подробнейшим образом доказал, *как* именно движение капитала производит нищету. Критическая же критика, напротив, не занимается такими мелочами. Она признает, что бедность и частная собственность — *противоположности*, — вещь довольно известная! Она *соединяет* бедность и богатство в *одно целое* и «к этому целому, как таковому, обращается с вопросом о предпосылках его существования», — вопросом тем более излишним, что критика сама ведь только-что *создала* это «целое как таковое», и, стало быть, само это творческое *действие* критики и является предпосылкой его существования.

Спрашивая у «целого как такового» о предпосылках его существования, критическая критика тем самым, на истинно тѳологический манер, ищет этих предпосылок *вне* самого «целого». Критическое умозрение движется вне объекта, над которым оно видимо работает. Между тем как *все* это *противоречие* есть не что иное, как *движение* его *обеих* *сторон*, между тем как именно в природе *обеих* *этих* *сторон* лежит предпосылка существования целого, критическая критика стремится стать выше изучения этого действительного движения, образующего целое, чтобы получить возможность заявить, что она, как «спокойствие познания», выше *обеих* крайностей противоречия, что ее деятельность, создавшая «целое как таковое», одна только и в состоянии уничтожить созданную ею абстракцию.

Пролетариат и богатство — *противоположности*. Как таковые, они образуют одно целое. Оба они — формы существования частной собственности. Дело только в том определенном положении, которое каждый из этих двух элементов противоречия занимает в целом. Недостаточно объявить их двумя сторонами целого.

Частная собственность как частная собственность, как богатство, вынуждена сохранять свое собственное существование, а поэтому

и существование своей противоположности — пролетариата. Это — *положительная* сторона противоречия, удовлетворенная сама в себе частная собственность.

Напротив, пролетариат как пролетариат вынужден отвергнуть самого себя и тем самым и обуславливающую его противоположность, делающую его пролетариатом, — частную собственность. Это — *отрицательная* сторона противоречия, его беспокойство внутри себя, упраздненная и упраздняющая себя частная собственность.

Класс имущих и класс пролетариата одинаково представляют собой человеческое самоотчуждение. Но первый класс чувствует себя в этом самоотчуждении удовлетворенным и утвержденным, в отчуждении видит свидетельство *своего могущества* и в нем обладает *видимостью* человеческого существования. Второй же класс чувствует себя в этом отчуждении уничтоженным, видит в нем свое бессилие и действительность нечеловеческого существования. Класс этот, чтобы употребить выражение Гегеля, есть в отверженности *возмущение* против этой отверженности, возмущение, которое необходимо вызывается противоречием между человеческой *природой* класса и его жизненным положением, являющимся откровенным, решительным и всеобъемлющим отрицанием этой самой природы.

В пределах самого противоречия частный собственник представляет собой *консервативную* сторону, пролетарий — *разрушительную*. От первого исходит действие, направленное на сохранение противоречия, от второго — действие, направленное на его уничтожение.

Частная собственность в своем экономическом движении сама, впрочем, толкает себя к собственной гибели, но только путем независимого от нее, бессознательного, против ее воли происходящего и природой самого дела обусловленного развития, путем порождения на свет пролетариата *как* пролетариата, — этой сознающей свою духовную и физическую нищету нищеты, этой сознающей свою отверженность и тем самым себя самое упраздняющей отверженности. Пролетариат приводит в исполнение приговор, который сама себе выносит частная собственность порождением на свет пролетариата, точно так же, как он приводит в исполнение приговор, который сам себе выносит наемный труд производством чужого богатства и собственной нищеты. Одержав победу, пролетариат никоим образом не становится абсолютной стороной общества, ибо он одерживает победу, только упраздняя самого себя и свою противоположность. С победой пролетариата исчезают как сам пролетариат, так и обуславливающая его противоположность — частная собственность.

Если социалистические писатели приписывают эту всемирно-историческую роль пролетариату, то это никоим образом не происходит от того, что они, как уверяет нас критическая критика, считают пролетариев *богами*. Скорее наоборот. Так как отвлечение от всего человеческого, даже от *видимости* человеческого, нашло себе в оформившемся пролетариате практически совершенное выражение; так как в жизненных условиях пролетариата все жизненные условия современного общества достигли вершины бесчеловечности; так как в пролетариате человек потерял самого себя, но вместе с тем не только обрел теоретическое сознание этой потери, а непосредственно еще вынужден к возмущению против этой бесчеловечности велением ничем не прикрашенной, неумолимой, абсолютно властной *нужды*, этого практического выражения *необходимости*, — то поэтому пролетариат может и должен сам себя освободить. Но он не может освободить себя, не оправдав своих собственных жизненных условий. Он не может оправдать своих собственных жизненных условий, не оправдав *всех* бесчеловечных жизненных условий современного общества, сосредоточившихся в его собственном положении. Он не напрасно проходит суровую, закаляющую школу *труда*. Дело не в том, в чем в данный момент *видит* свою цель отдельный пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, *что такое* пролетариат и что он, сообразно этому своему *бытию*, исторически вынужден будет делать. Его цель и его историческое действие самым ясным и неоспоримым образом предугадываются его собственным жизненным положением, равно как и всей организацией современного буржуазного общества. Нет надобности распространяться о том, что значительная часть английского и французского пролетариата и теперь уже *сознает* свою историческую задачу и постоянно работает над дальнейшим развитием и окончательным прояснением своего самосознания.

«Критическая критика» тем менее считает себя обязанной признать это, что она себя самое провозгласила единственным творческим элементом истории. От нее исходят исторические противоречия, от нее же деятельность, направленная на их упразднение. Устами своего «воплощения», Эдгара, она поэтому торжественно *возвещает*:

«Образованность и необразованность, экономическое благосостояние и экономическая несостоятельность — все эти *противоречия*, если только не желать *осквернить* их, должны *достаться исключительно* критике».

Экономическое благосостояние и экономическая несостоятельность удостоились метафизического освящения в качестве элементов

критически спекулятивного противоречия. Только рука критической критики может их касаться, не совершая святотатства. Капиталисты и рабочие не смеют вмешиваться в взаимоотношение обоих элементов этого противоречия.

Господин Эдгар, далекий от подозрений, что можно наложить руку на его критическое понимание противоречия, что можно отнять святость у его святыни, влагает в уста своего противника возражение, которое он мог сделать только самому себе.

«Разве возможно, — спрашивает воображаемый противник критической критики, — пользоваться какими-нибудь другими понятиями, кроме уже существующих понятий свободы, равенства и проч.? Я отвечаю (обратите внимание на ответ Эдгара), что греческий и латинский языки тотчас же погибли, как только исчерпан был тот круг мыслей, выражением которого эти языки служили».

Теперь ясно, почему критическая критика не дает нам ни одной мысли на *немецком* языке. Язык ее мыслей еще не родился, сколь бы много господин Рейхарт своим критическим обращением с иностранными словами, господин Фаухер своим обращением с английским языком, а господин Эдгар своим обращением с французским языком, — сколь бы много они все ни содействовали созданию *нового критического языка*.

Характеризующий перевод № 2.

Критический Прудон говорит: «Земледельцы поделили между собой землю. Равенство только освятило владение; в этом случае оно освятило *собственность*». У критического Прудона земельная собственность возникает в тот самый момент, когда совершается раздел земли. Переход от владения к собственности он изображает словами: «в этом случае».

Действительный Прудон говорит: «Земледелие положило основание *владению землей*... Недостаточно было обеспечить труженику плоды его труда, если ему в то же время не обеспечивали главного орудия производства. Чтобы защитить более слабого от посягательств более сильного... нашли необходимым провести между владельцами постоянные разграничительные линии». Итак, «в этом случае» равенство прежде всего освятило *владение*. «С каждым годом, вместе с ростом народонаселения, все более и более росли корыстолюбие и жадность колонистов. Казалось необходимым положить предел их честолюбию созданием новых, непреодолимых преград. Так земля стала собственностью вследствие потребности в равенстве... Без сомнения, с географической точки зрения раздел

не вполне был равномерным... но принцип тем не менее оставался тот же. Равенство раньше освятило владение, теперь же оно освятило собственность».

У критического Прудона «древние основатели собственности, увлекшись заботой об удовлетворении своей потребности, просмотрели то обстоятельство, что праву собственности в то же время соответствовало право отчуждать, продавать, дарить, приобретать и терять, что, однако, уничтожало равенство, из которого они исходили».

У действительного Прудона основатели собственности не просмотрели из-за заботы о своей потребности этот ход развития собственности: на самом деле они его не предусмотрели. Но если бы даже они могли предусмотреть его, то и в этом случае наличная потребность одержала бы победу. Далее, действительный Прудон слишком пропитан «массовостью» для того, чтобы противопоставлять «*праву собственности*» право отчуждать, продавать и т. д., т. е. противопоставлять роду его виды. Он противопоставляет «*право сохранения наследственной доли*» «*праву отчуждения* и т. д.», что представляет собой действительное противоречие и действительный шаг вперед.

Критический комментарий № 3.

«На что опирается прудоновское доказательство невозможности собственности? Это превосходит всякую меру вероятия — все на тот же принцип равенства!»

Чтобы поверить этому, господину Эдгару достаточно было бы хоть немного подумать. Г-ну Эдгару должно быть известно, что господин Бруно Бауэр положил в основу всех своих рассуждений «*бесконечное самосознание*» и принцип этот рассматривал как творческий принцип даже евангелий, своей бесконечной бессознательностью, видимо, прямо противоречащих бесконечному самосознанию. Таким же самым образом Прудон рассматривает равенство как творческий принцип прямо противоречащей ему собственности. Если г. Эдгар на минуту сравнит французское *равенство* с немецким «самосознанием», он найдет, что последний принцип выражает *по-немецки*, т. е. в формах абстрактного мышления, то, что первый выражает *по-французски*, т. е. на языке политики и мыслящего созерцания. Самосознание есть равенство человека с самим собой в чистом мышлении. Равенство есть сознание человеком самого себя в элементе практики, т. е. сознание человеком другого человека как равного себе и отношении человека к другому

человеку как к равному. Равенство есть французское выражение для обозначения единства человеческой сущности, родового сознания и родового поведения человека, практического тождества человека с человеком, т. е. для обозначения общественного, или человеческого, отношения человека к человеку. Поэтому, подобно тому как разрушительная критика в Германии, прежде чем дойти, в лице *Фейербаха*, до созерцания *действительного человека*, старалась разложить все определенное и существующее при помощи принципа *самосознания*, — подобно тому и разрушительная критика во Франции старалась достигнуть того же при помощи принципа *равенства*.

«Прудон сердится на философию, что само по себе не может быть поставлено ему в вину. Но почему он сердится? Философия, по его мнению, была до сих пор недостаточно практична: она вознеслась на высоту *умозрения* и оттуда *люди* показались ей слишком маленькими. Я же думаю, что философия сверхпрактична, т. е. она была до сих пор не чем иным, как абстрактным выражением существующих отношений; она всегда была во власти предположений этих отношений, которые считала абсолютными».

Мнение, что философия есть абстрактное выражение существующих отношений, принадлежит, по своему происхождению, не господину Эдгару, а *Фейербаху*, который впервые определил философию как спекулятивную и мистическую эмпирию и доказал это. Однако господин Эдгар сумел придать этому мнению оригинальный, критический оборот. В то время как *Фейербах* приходит к тому именно заключению, что философия должна снизойти с небес умозрения и спуститься в глубину человеческой нищеты, господин Эдгар, наоборот, поучает нас, что философия сверхпрактична. Скорее же всего похоже на то, что философия именно потому, что она была только трансцендентным, абстрактным выражением существующих отношений, вследствие этой своей трансцендентности и абстрактности, вследствие своего *мнимого отличия* от мира, должна была вообразить, что она оставила глубоко под собой существующие отношения и действительных людей. С другой же стороны ясно, что так как философия *в действительности* не отличалась от мира, то она и не могла вынести *действительного суждения* о нем, не могла приложить к нему, в какой бы то ни было мере, реальной силы различения, не могла, значит, *практически* проявить себя по отношению к нему, и в лучшем случае ей оставалось только довольствоваться практикой *in abstracto*. Философия была сверхпрактичной лишь в том смысле, что она парила над практикой. Критическая критика, для которой все человечество сливается в одну неодухотворенную массу, дает нам

блестящее свидетельство того, какими бесконечно мизерными действительные люди представляются умозрению. Старая спекулятивная философия вполне в этом согласна с критикой. Прочтите, например, следующее место из «Философии права» Гегеля: «С точки зрения потребностей конкретное в представлении и есть то, что мы называем *человеком*; здесь, стало быть, — и, *собственно говоря, только* здесь, — речь идет о человеке в этом смысле». Во всех прочих случаях, когда умозрительные философы говорят о человеке, они имеют в виду не *конкретное*, а *абстрактное*, — *идею, дух* и проч. Разительные примеры того, какое выражение философия дает существующим отношениям, представили нам господин Фаухер своим изображением существующих отношений в Англии и господин Эдгар своим изображением существующих отношений во французском языке.

«И вот Прудон становится практичным. Открыв, что понятие равенства лежит в основании доказательства права собственности, он то же понятие обращает в оружие против собственности».

Прудон поступает здесь точно таким же образом, как и немецкие критики: открыв, что в основании доказательства существования бога лежит человеческое представление, они то же представление обращают в довод против существования бога.

«Если верно, что последствия принципа равенства сильнее самого равенства, каким же образом Прудон может наделять этот принцип столь неожиданной силой?»

В основании всех религиозных представлений лежит, по мнению господина Бруно Бауэра, человеческое самосознание. Оно же, по его мнению, составляет творческий принцип евангелий. Почему же, в самом деле, последствия принципа самосознания оказались здесь сильнее самого самосознания? На это нам отвечают в чисто немецком духе: хотя самосознание и есть творческий принцип религиозных представлений, но только как вышедшее из себя, самому себе противоречащее, отказавшееся от себя и отчужденное самосознание. Пришедшее в себя, само себя понимающее, постигающее свою сущность, самосознание есть поэтому сила, властвующая над созданиями своего самоотчуждения. Совершенно в таком же положении находится и Прудон, — конечно, с той разницей, что он говорит по-французски, а мы по-немецки, и что он поэтому выражает на французский лад то, что мы выражаем на немецкий лад.

Прудон сам себя спрашивает: почему равенство, хотя оно, в качестве творческого принципа разума, и лежит в основе учреждения собственности и, в качестве последнего разумного основания, лежит в основе всех доказательств права собственности, — почему

оно, тем не менее, не существует, а существует, напротив, его отрицание — частная собственность? Он переходит поэтому к рассмотрению факта собственности «внутри себя самой». Он доказывает, что «истинным образом собственность, как институт и принцип, невозможна» (стр. 34), т. е. что она сама себе противоречит и сама себя во всех пунктах упраздняет; что она, выражаясь по-немецки, есть наличное бытие отказавшегося от себя, самому себе противоречащего, самого от себя отчужденного равенства. Действительные отношения во Франции, равно как познание этого отчуждения, с полным правом указывают Прудону на необходимость действительного снятия последнего.

Прудон чувствует потребность, в своем отрицании частной собственности, вместе с тем исторически оправдать существование частной собственности. Как и все первые попытки в этом роде, и его рассуждения тоже носят прагматический характер, т. е. он принимает, что прошлые поколения вполне сознательно и обдуманно старались воплотить в своих учреждениях идею равенства, являющегося в его глазах истинным выражением человеческой сущности.

«Мы снова и снова возвращаемся к тому же... Прудон пишет в интересах пролетариев». Да, его побуждает писать не интерес самодовольной критики, не абстрактный, искусственно созданный интерес, а «массовый», действительный, исторический интерес, — интерес, который заведет его дальше простой критики, интерес, который приведет к кризису. Прудон не только пишет в интересах пролетариев: он сам пролетарий, ouvrier. Его произведение есть научный манифест французского пролетариата и имеет поэтому совершенно другое историческое значение, нежели жалкая литературная стряпня какого-нибудь критического критика.

«Прудон пишет в интересах тех, которые ничего не имеют. Иметь и не иметь ничего — для него абсолютные категории. Имение — самое важное для него, потому что в то же время неимение стоит перед его глазами как самый важный предмет размышления. Каждый человек должен иметь, но ровно столько, сколько другой, — думает Прудон. Я же должен сказать, что среди всего, чем я обладаю, мне интересно лишь то, чем я обладаю исключительно для себя, что я имею в большем количестве, чем другой. При условии же равенства как факт имения, так и само равенство будут для меня чем-то безразличным».

Если верить господину Эдгару, то для Прудона *имение* и *неимение* — абсолютные категории. Критическая критика всюду видит

одни лишь категории. Так, для Эдгара имя и неимение, заработная плата, вознаграждение, нужда и потребность, труд для потребности, — все это не что иное, как категории.

Если б обществу нужно было освободиться только от *категорий* имени и неимения, насколько облегчил бы ему работу «преодоления» и «снятия» этих категорий всякий, даже более слабый, чем господин Эдгар, диалектик! Господин Эдгар смотрит на все эти вещи как на пустяки и не дает себе даже труда *объяснить* в противовес Прудону, что, собственно, представляют собою эти категории имени и неимения. Но так как неимение — не категория только, а самая безутешная действительность; так как в наше время человек, не имеющий ничего, и есть ничто, так как ему отказано как в существовании вообще, так и еще более в человеческом существовании; так как состояние неимения есть состояние полного отвлечения человека от его предметности, — то по всему этому неимение вполне правильно представляется Прудону самым важным предметом размышления, и это тем более, чем менее думали над этим предметом до него и до социалистических писателей вообще. Неимение — это самый отчаянный *спиритуализм*, это полнейшая недействительность человека, полнейшая действительность не-человека, это весьма положительное имя — имя голода, холода, болезней, преступлений, унижения, идиотизма, всякой противочеловечности и противоестественности. Каждый же предмет, важность которого впервые совнана во всем ее размере, однажды став предметом размышления, стоит уже перед нами как *самый важный предмет размышления*.

Желание Прудона упразднить неимение и старую форму имени вполне тождественно с его желанием упразднить практически отчужденное отношение человека к своей *предметной сущности*, равно как *политико-экономическое* выражение человеческого самоотчуждения. Но так как его критика политической экономии вся еще во власти предпосылок политической экономии, то обратное завоевание предметного мира само еще выступает у Прудона в политико-экономической *форме владения*.

Критическая критика заставляет Прудона противопоставлять неимению — имя; Прудон же, напротив, противопоставляет старой форме имени — *частной собственности* — *владение*. Он объявляет владение *общественной функцией*. В функции же «интересное» заключается не в том, чтобы «исключить» другого, а в том, чтобы приложить к делу и реализовать свои собственные силы, силы своего существа.

Прудону не удалось в полной мере развить свою мысль и воплотить ее в соответствующие формы. Понятие «равного владения» есть политико-экономическое, следовательно — само еще отчужденное выражение того факта, что предмет как бытие для человека, как предметное бытие человека, есть в то же время наличное бытие человека для другого человека, его человеческое отношение к другому человеку, общественное отношение человека к человеку. Прудон упраздняет политико-экономическое отчуждение в границах же политико-экономического отчуждения.

Характеризующий перевод № 3.

Критический Прудон нашел себе и критического собственника, «по собственному признанию которого те, которые работали на него, потеряли то, что он присвоил себе». Массовый Прудон говорит массовому собственнику: «Ты работал! Возможно ли, чтобы ты никогда не заставлял других работать на себя? Каким же образом случилось, что они, работая на тебя, потеряли то, что ты сумел приобрести для себя, не работая на них?»

Критический Прудон заставляет Сэя понимать под «richesse naturelle» «естественные владения», хотя Сэй, чтобы устранить всякие недоразумения, самым решительным образом заявляет в своем «Epitomé» к «Traité d'économie politique», что он под «richesse» понимает не собственность и не владение, а «сумму стоимостей». Конечно, критический Прудон так же реформирует Сэя, как он сам реформирован был господином Эдгаром. По критическому Прудону, Сэй из того факта, что землю легче присвоить, чем воздух и воду, «тотчас же вывел право обращения полей в собственность». Сэй, очень далекий от того, чтобы из факта большей легкости присвоения земли выводить право собственности на нее, говорит, напротив, весьма недвусмысленно: «Les droits des propriétaires de terres remontent à une spoliation»¹ («Traité d'économie politique», édit. III, t. I, p. 136, Nota). Поэтому — по Сэю — для установления права на земельную собственность потребовались concours de la législation и du droit positif.² Действительный Прудон не заставляет Сэя из факта большей легкости присвоения земли «тотчас же» выводить право земельной собственности. Он упрекает Сэя в том, что последний на место права ставит возможность и смешивает вопрос о возможности с вопросом о праве: «Сау prend la possibilité pour le droit. On ne

¹ Права земельных собственников сводятся к грабежу.

² Содействие законодательства и положительного права.

demande pas pourquoi la terre a été plutôt appropriée que la mer et les airs; on veut savoir, en vertu de quel droit l'homme s'est approprié cette richesse».¹

Критический Прудон продолжает: «К этому остается *только* прибавить, что вместе с куском почвы присваиваются также и остальные элементы — воздух, вода, огонь: terra, aqua, aëre et igni interdicti sumus».

Весьма далекий от того, чтобы прибавить «*только*» это, действительный Прудон, напротив, говорит, что он, между прочим (en passant), обращает «внимание» на присвоение воздуха и воды. У критического Прудона римская закликательная формула пристегнута к рассуждению самым непонятным образом. Он забывает сказать, кто эти «мы», которых касается запрет. Действительный Прудон обращается к не-собственникам: «Пролетарии... собственность *отлучает нас* от общества: terra etc. interdicti sumus».

Критический Прудон следующим образом полемизирует с Шарлем Контом:

«Шарль Конт думает, что для того, чтобы жить, человек нуждается в воздухе, пище и одежде. Некоторые из этих вещей, как, например, воздух и вода, имеются в неистощимом количестве, а потому всегда оставались общей собственностью, другие же имелись в ограниченном количестве и потому, дескать, сделались частной собственностью. Шарль Конт исходит, стало быть, из понятий ограниченности и неограниченности. Быть может, он пришел бы к другим выводам, если бы сделал главными категориями понятия необходимости и ненужности».

Что за детская полемика со стороны критического Прудона! Он уговаривает Шарля Конта откататься от тех категорий, из которых последний исходит в своих доказательствах, и перескочить к другим категориям, чтобы притти не к своим собственным выводам, а «*может быть*» к выводам критического Прудона.

Действительный Прудон не обращается к Шарлю Конту с подобными увещаниями. Он раздвигается с ним не при помощи «*быть может*»: он побивает Шарля Конта его же категориями.

Шарль Конт, — говорит Прудон, — исходит из необходимости воздуха, пищи, а для известных климатов и одежды, не для того, чтобы жить, а для того, чтобы не переставать жить. Чтобы поддерживать свое существование, человек нуждается поэтому (по Шарлю

¹ Сэй принимает возможность за право. Не спрашивают, почему легче было присвоить землю, чем море и воздух; хотя бы знали, по какому праву человек присвоил себе это богатство.

Конт) постоянно в присвоении различного рода вещей. Все эти вещи имеются не в одинаковом количестве. «Свет небесных тел, воздух и вода имеются в таких больших количествах, что человек не может их заметным образом увеличить или уменьшить; каждый может поэтому присвоить себе из всего этого столько, сколько ему нужно для удовлетворения своих потребностей, *не сокращая при этом пользования других*». Далее Прудон берет за исходную точку собственные определения Шарля Конта. Прежде всего он доказывает Конту, что земля точно так же предмет первой необходимости, и потому пользование ею должно было бы быть доступно каждому, — разумеется, в пределах оговорки Конта: «*не сокращая пользования других*». Почему же, в таком случае, земля сделалась частной собственностью? Шарль Конт отвечает: потому, что количество земли *не ограничено*. Но он должен был бы, напротив, умозаключить так: количество земли *ограничено*, поэтому она не может быть присвоена. Присвоение воздуха и воды никому не наносит ущерба, потому что их всегда еще достаточно остается, потому что количество их неограничено. Напротив, произвольное присвоение земли наносит ущерб, сокращает пользование других потому именно, что количество земли *ограничено*. Пользование ею должно быть поэтому урегулировано в интересах *всех*. Способ доказательства Шарля Конта свидетельствует против его тезы.

«Шарль Конт — заключает Прудон (именно критический Прудон) — исходит из взгляда, что нация может быть собственницей земли, между тем как, если собственность ведет за собой право употребления и злоупотребления. — *jus utendi et abutendi re sua*, — то нельзя и за нацией признать права употребления и злоупотребления землей».

Действительный Прудон не говорит, что право собственности «*ведет за собой*» *jus utendi et abutendi*. Он слишком пропитан масовостью, чтобы говорить о праве собственности, которое ведет за собой право собственности. *Jus utendi et abutendi* и есть ведь само право собственности. Прудон поэтому прямо отрицает за народом право собственности на территорию. Тем, которые считают это преувеличением с его стороны, он возражает, что во все времена это воображаемое право национальной собственности освящало все: верховную власть, налоги, регалии, барщину и т. д.

Действительный Прудон аргументирует следующим образом: Конт хочет показать нам, как возникает собственность, и начинает с того, что родоначальником всякой собственности делает право собственности нации, — что составляет *petitio principii*. Он заставляет

государство продавать земли, он заставлял промышленника покупать эти земли, т. е. он подставляет те самые отношения *собственности*, которые собирается только доказать.

Критический Прудон отвергает французскую *десятичную систему*. Он оставляет *франк*, но на место *сантима* ставит *«полушку»*.

«Когда я, — прибавляет Прудон (критический Прудон), — уступаю участок земли, то я не только лишаю себя жатвы, но отнимаю у своих детей и внуков вековое имение. Земля обладает стоимостью не только сегодня: она обладает еще стоимостью будущего, стоимостью развития».

Действительный Прудон говорит не о том, что земля имеет стоимость не сегодня только, но и завтра: он противопоставляет полную, сейчас существующую стоимость той стоимости, в которой учитывается будущее земельного участка и которая зависит от моей способности извлекать пользу из него. Он говорит: «Разружьте ваш участок земли или, что то же для вас, продайте его. Вы этим самым не только отказываетесь от одной, двух или многих жатв, но вы уничтожаете все продукты, которые вы извлекаете из него, — вы, ваши дети и внуки». Прудону важно было не противопоставление одной жатвы вековому имению (деньги, вырученные за пашню, могут, как капитал, превратиться в вековое имение), а противопоставление теперь существующей стоимости той, которую получает земля вследствие непрерывной обработки ее.

«Новая стоимость, — говорит Шарль Конт, — которую я придаю вещи своей работой, есть моя собственность». Прудон (критический Прудон) думает опровергнуть его следующим образом: «*В таком случае* с прекращением работы человек перестает быть собственником. Право собственности на продукт ни в коем случае не может вести за собой права собственности и на вещество, составляющее основу продукта».

Действительный Прудон говорит:

«Пусть рабочий присваивает себе продукты своего труда; но я не понимаю, почему право собственности на продукт должно вести за собой право собственности на вещество. Разве рыбак, более успевающий в рыбной ловле, чем другие рыбаки на том же самом берегу, от этого становится собственником той полосы, на которой он ловил рыбу? Разве ловкость охотника давала ему когда-нибудь право собственности на дичь целого кантона? То же и с хлебопашцем. Чтобы прервать *владение в собственность*, необходимо еще какое-то *другое условие*, кроме затраченного труда; в противном случае человек перестал бы быть собственником, как только он перестал

быть рабочим». *Cessante causa, cessat effectus*. Если собственник — собственник *только* в качестве рабочего, то он перестает быть собственником, как только перестает быть рабочим. «Поэтому по закону собственность создается *давностью*; труд есть только осязательный признак, материальный акт, *служащий выражением* оккупации вещи».

«Система присвоения вещи через посредство труда, — продолжает Прудон, — *противоречит*, таким образом, *закону*. И если сторонники этой системы утверждают, что они пользуются ею для объяснения законов, то они *противоречат самим себе*. Если, далее, согласно этому мнению, возделывание земли, например, «создает право собственности на землю», то такое рассуждение — не что иное, как *petitio principii*. Фактически же верно лишь то, что создана новая производительная способность вещества. А требовалось доказать, что тем самым создано и право собственности на вещество. Человек не создает вещества. Даже производительные способности вещества создаются человеком только при условии предварительного существования самого вещества.

Критический Прудон делает из *Гракха Бабефа* борца за свободу, у «массового» же Прудона Бабеф фигурирует как борец за *равенство* (*partisan de l'égalité*).

Критический Прудон, взявшийся за определение гонорара, следуемого *Гомеру* за «Илиаду», говорит: «Гонорар, который я выплачиваю Гомеру, должен равняться той работе, которую он *выполнил для меня*. Как определить стоимость его работы?» Критический Прудон слишком презрительно относится к политико-экономическим мелочам, чтобы знать, что *стоимость* вещи и та работа, которую эта вещь *выполняет* для другого, совершенно различные вещи. Действительный Прудон говорит: «Гонорар поэта должен быть равен его *продукту*; какова же стоимость этого продукта?» Действительный Прудон утверждает, что «Илиада» имеет бесконечно большую *цену* (или меновую стоимость, *prix*); критический же утверждает, что она имеет бесконечно большую *стоимость*. Действительный Прудон противопоставляет стоимость «Илиады», *ее стоимость в политико-экономическом смысле* (*valeur intrinsèque*), ее меновой стоимости (*valeur échangeable*); критический же Прудон противопоставляет «внутренней стоимости» «Илиады», т. е. ее ценности как поэмы, ее «стоимость для обмена».

Действительный Прудон говорит: «Материальное вознаграждение и талант не имеют общего мерил. В *этом* отношении положение всех производителей одинаково. Следовательно, всякое сравнение их между собою и всякая имущественная классификация

невозможны» («Entre une récompense matérielle et le talent il n'existe pas de commune mesure; sous ce rapport la condition de tous les producteurs est égale; conséquemment toute comparaison entre eux et toute distinction de fortune est impossible»).

Критический же Прудон говорит: «Относительное положение производителей одинаково. Талант не может быть материально взвешен... Всякое сравнение производителей между собой, всякое внешнее различие их невозможны».

У критического Прудона «человек науки должен себя чувствовать в обществе равным всем остальным, потому что его талант и его проникаемость — только продукты общественной проникаемости». Действительный Прудон нигде не говорит о чувствах таланта. Он говорит, что талант вынужден опуститься до уровня общества. Он отнюдь не утверждает, что талантливый человек — только продукт общества. Он, напротив, говорит: «Талантливый человек успел создать в себе самом полезное орудие... В нем скрыты свободный рабочий и накопленный общественный капитал».

Критический Прудон продолжает: «Он должен быть, кроме того, благодарен обществу за то, что оно освобождает его от других работ и дает ему возможность отдаться науке».

Действительный Прудон нигде не упоминает о благодарности талантливого человека. Он говорит:

«Художник, ученый, поэт получают свою награду уже в одном том, что общество позволяет им отдаваться исключительно науке и искусству».

Наконец, критический Прудон совершает истинное чудо: он заставляя общество в 150 работников содержать «маршала», следовательно — и целую армию. У действительного Прудона этот самый «маршал» — не больше, как «кузнец» (maréchal).

Критический комментарий № 4.

«Если он (Прудон) хочет сохранить понятие заработной платы, если он хочет видеть в обществе учреждение, которое дает нам работу и платит нам за нее, то он тем менее в праве принять время за меру вознаграждения, что несколько раньше он, следуя по стопам Гуго Гроция, проводил мысль об отсутствии соответствия между временем и значимостью предмета».

Здесь перед нами единственный пункт, где критическая критика делает попытку разрешить свою задачу и доказать Прудону, что он, с своей политико-экономической точки зрения, ложно истолковывает

политическую экономию. Но здесь же критика *осрамляется* по истине критическим образом.

Вместе с Гуго Гроцием Прудон развивал мысль, что *давность* не может служить основанием для превращения *владения* в *собственность*, одного «*правового принципа*» в другой, точно так же, как время не может превратить той истины, что сумма углов треугольника равняется двум прямым, в другую истину, что сумма эта равна трем прямым. «Вам никогда не удастся добиться, — восклицает Прудон, — чтобы продолжительность времени, которая сама по себе ничего не создает, ничего не меняет, ничего не модифицирует, *превратила владельца в собственника!*»

Господин Эдгар умоваключает: так как Прудон сказал, что время не может *превратить* один правовой принцип в другой, да и вообще не может само по себе изменить что-либо или модифицировать, то он поэтому обнаруживает непоследовательность, делая *рабочее время* мерилom политико-экономической *стоимости* продукта труда. — Г-ну Эдгару помогло додуматься до этого критически-критического замечания то обстоятельство, что он перевел слово «*valeur*» через «*Geltung*» (значимость) и таким образом получил возможность применять это слово в одном и том же смысле как там, где речь идет о значении правового принципа, так и там, где говорится о коммерческой стоимости продукта труда. Ему удалось это сделать благодаря отождествлению не имеющей никакого содержания продолжительности времени с полным содержанием рабочим временем. Если бы Прудон сказал, что время не может превратить муху в слона, то критическая критика могла бы с таким же правом вывести заключение: в таком случае он не должен делать рабочего времени мерилom заработной платы.

Что *рабочее время, израсходованное* на производство какого-нибудь предмета, принадлежит к *издержкам производства*, это должна быть в состоянии понять и сама критическая критика. Не может она не понять и того, что *издержки производства* предмета — это то, чего он *стоит*, т. е. за что он может быть *продан*, если исключить влияние *конкуренции*. Кроме рабочего времени и материала труда, к издержкам производства политико-экономы относят еще ренту земельного собственника, проценты и прибыль капиталиста. То и другое отпадает у Прудона, потому что у него отпадает частная собственность. Остаются рабочее время и прочие издержки. Делая рабочее время, непосредственное наличное бытие человеческой деятельности как таковой, мерилom заработной платы и определения стоимости продукта, Прудон делает человеческий элемент решающим,

в то время как в старой политической экономии решающим моментом была вещественная сила капитала и земельной собственности, т. е. Прудон снова возвращает права человеку, хотя, все еще оставаясь на почве политической экономии, делает это в противоречивой форме. Насколько правильно он поступал с точки зрения политической экономии, можно судить по тому, что основатель новейшей политической экономии, *Адам Смит*, на первых же страницах своего сочинения «An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations» («Исследование о природе и причинах богатства народов») развивает мысль, что *до* установления частной собственности, следовательно при предпосылке *отсутствия частной собственности, рабочее время* было мерилом *заработной платы* и не различавшейся еще от нее *стоимости продукта труда*.

Пусть, однако, критическая критика сама на минуту вообразит себе, что Прудон не исходил из предпосылки заработной платы. Неужели же она думает, что *когда-нибудь время*, потребное для производства продукта, не будет существенным моментом *«значимости»* предмета; неужели она думает, что время потеряет свою *цену*?

В области непосредственного материального производства решение вопроса о том, должен ли данный предмет быть произведен или нет, т. е. решение вопроса о *стоимости* предмета, будет существенно зависеть от рабочего времени, потребного для его производства. Ибо от времени зависит, имеет ли общество время развивать свои человеческие потребности.

И даже что касается *духовного* производства, то разве и там, если хотеть поступать разумно, не приходится при определении объема, основ и плана духовного произведения принимать во внимание время, необходимое для производства? В противном случае, я, по меньшей мере, подвергаюсь опасности, что мой предмет в идее никогда не превратится в предмет в действительности, — следовательно, что он может лишь приобрести стоимость мнимого предмета, т. е. *мнимую стоимость*.

Критика политической экономии с точки зрения политической экономии признает все существенные определения человеческой деятельности, но только в отчужденной, оторванной от предмета форме, подобно тому, как она здесь, например, превратила значение времени для *человеческого труда* в значение времени для *заработной платы*, для наемного труда.

Господин Эдгар продолжает:

«Чтобы принудить талант принять названное мерило, Прудон *злоупотребляет* понятием *свободной сделки* и утверждает, будто

обществу и отдельным его членам принадлежит право отвергать произведения таланта».

У *фурьеристов* и *сен-симонистов* талант, продолжая стоять на политико-экономической почве, дерзает ставить непомерные *требования* в деле своего *гонорара*, точно так же, как старается применить свое представление о своей бесконечной стоимости к определению *меново́й стоимости* своих продуктов. На эти домогательства таланта Прудон отвечает тем же, чем отвечает политическая экономия на всякую претензию цены подняться далеко выше уровня так называемой естественной цены, т. е. издержек производства данного продукта: он отвечает указанием на свободу сделки. При этом Прудон *злоупотребляет* не самим отношением, взятым в смысле политической экономии: он только принимает за действительное то, что у политико-экономов является номинальным и иллюзорным, именно — *свободу* договаривающихся сторон.

Характеризирующий перевод № 4.

Критический Прудон реформирует, наконец, *французское общество*, преображая в такой же мере французских пролетариев, как и французскую буржуазию.

Французским пролетариям он отказывает в *силе*, потому что действительный Прудон упрекает их за недостаток *добродетели* (*vertu*). Их *ловкость* в работе он обращает в проблематичную ловкость, может быть, потому, что действительный Прудон без всяких обиняков признает эту ловкость (*Prompt au travail vous êtes etc.*). Он превращает французских буржуа в *нищих духом* граждан, между тем как действительный Прудон противопоставляет неблагородных буржуа (*bourgeois ignobles*) заклеянным «благородным» (*nobles flétris*). Он превращает буржуа из гражданина «золотой середины» (*bourgeois juste-milieu*) в «наших *добрых* граждан», за что французская буржуазия скажет ему большое спасибо. Где действительный Прудон говорит о том, что *растет* «злая воля» французских буржуа (*la malveillance de nos bourgeois*), там критический Прудон вполне последовательно говорит о *беззаботности* наших граждан». Буржуа действительного Прудона настолько далек от беззаботности, что, обращаясь к самому себе, восклицает: «N'ayons pas peur! n'ayons pas peur!» Так говорит только тот, кто хочет отогнать от себя страх и заботу.

Созданием критического Прудона посредством перевода действительного Прудона критическая критика показала массе, что

такое критически совершенный перевод. Она показала нам «перевод, каким он должен быть». Она поэтому с полным правом нападает на плохие массовые переводы.

«Немецкая публика хочет получать книжный товар за бесценок, издатель хочет поэтому иметь дешевый перевод; переводчик не хочет умереть с голоду за своей работой и в самом деле не может выполнить своей работы с зрелой обдуманностью (со всем спокойствием познания), потому что издатель стремится побить конкурентов быстрой доставкой перевода. Мало того. Даже переводчику, и тому приходится опасаться конкуренции: он должен бояться, что найдется другой, который предложит доставить работу скорее и по более дешевой цене. И вот, переводчик диктует свою рукопись какому-нибудь бедному писцу, и диктует при этом насколько возможно быстрее, чтобы не платить даром писцу, оплачиваемому по часам. Он счастлив, если может на следующий день удовлетворить подстерегающего его наборщика. Впрочем, вообще говоря, переводы, наводняющие наш книжный рынок, свидетельствуют только о крайнем бессилии современной немецкой литературы». (Кн. VIII, стр. 54, «Всеобщая литературная газета».)

Критический комментарий № 5.

«Доказательство невозможности собственности Прудон видит в том, что человечество особенно разрушает себя системой процентов и прибыли и непропорциональным отношением потребления к производству. Доказательству этому недостает его противоположности, — именно не показано, что частная собственность исторически возможна».

Счастливым инстинкт подсказывает критической критике решение не касаться выводов Прудона о системе процентов и прибыли и т. д., т. е. самых важных выводов Прудона. В этом пункте критика Прудона, даже подобие критики, невозможна без весьма положительных знаний по вопросу о движении частной собственности. Критическая критика думает вознаградить себя за свое бессилие замечанием, что Прудон не представил доказательства исторической возможности частной собственности. Почему критика, не дающая ничего, кроме слов, требует, чтобы другие давали ей *все*?

«Прудон доказывает невозможность собственности тем, что рабочий не может из своей заработной платы оплатить продукт своего труда. Прудон не дает нам исчерпывающего объяснения этого явления, ссылаясь на сущность капитала. Рабочий не может опла-

тить свой продукт, потому что последний всегда есть нечто общественное, сам же рабочий — не что иное, как отдельный оплачиваемый человек».

Чтобы быть более исчерпывающим, господин Эдгар, в противовес прудоновской дедукции, мог бы сказать, что рабочий не *может* оплатить свой продукт потому, что он вообще должен *оплачивать* его. В определении купли уже содержится то, что рабочий относится к своему продукту как к предмету, потерянному для него, отчужденному. Исчерпывающий довод господина Эдгара не исчерпывает, между прочим, того, почему капиталист, который и сам тоже — *не что иное*, как *отдельный* человек, и к тому же человек *оплачиваемый* процентами и прибылью, может, однако, оплатить не только продукт труда, но и еще большее, чем этот продукт. Чтобы это объяснить, господин Эдгар должен будет объяснить взаимоотношение капитала и труда, т. е. опять-таки сослаться на сущность капитала.

Приведенное место из критики показывает самым наглядным образом, как критическая критика пользуется тем, чему она только-что научилась у какого-нибудь писателя, чтобы тотчас же в критической обработке выставить это, как мудрость собственного изобретения, против того же писателя. Именно у самого Прудона критическая критика почерпнула не приведенный Прудонем и приведенный господином Эдгаром довод. Прудон говорит:

«Divide et impera... Разъедините рабочих, и очень возможно, что поденная плата, выплачиваемая каждому в отдельности, превысит стоимость каждого индивидуального продукта, но дело не в этом... Оплатив все индивидуальные силы, вы тем самым еще не оплатили коллективной силы».

Прудон *впервые* обратил внимание на то, что сумма вознаграждений отдельных рабочих, даже в том случае, когда каждый индивидуальный труд оплачивается полностью, не оплачивает еще коллективной силы, овеществленной в их продукте; что рабочий, следовательно, оплачивается не как *часть общей рабочей силы*. Господин же Эдгар истолковывает это в том смысле, что рабочий есть не что иное, как отдельный оплачиваемый человек. Таким образом, критическая критика пользуется *общей* мыслью Прудона, чтобы противопоставить ее дальнейшему *конкретному* развитию той же мысли Прудона. Она делает из этой мысли критическое употребление и в следующих выражениях раскрывает тайну *критического социализма*:

«Современный рабочий *думает* только о себе, т. е. он заставляет платить себе только за себя. Не кто иной, как *сам* рабочий, не

учитывает всей той колоссальной, беспредельной силы, которая возникает от сотрудничества его силы с другими силами».

По мнению критической критики, все зло только в *«мышлении»* рабочих. Правда, английские и французские рабочие образовали ассоциации, в которых предметом взаимного поучения рабочих служат не только их непосредственные потребности как *рабочих*, но и их потребности как *людей*. Образованием этих ассоциаций рабочие обнаружили весьма основательное и обширное сознание той «колоссальной» и «беспредельной» силы, которая возникает от их сотрудничества. Но эти *массовые*, коммунистические рабочие, занятые в мастерских Манчестера и Лиона, не думают, чтобы можно было *«чистым мышлением»* избавиться от хозяев и собственного практического унижения. Они очень болезненно ощущают *различия* между *бытием* и *мышлением*, между *сознанием* и *жизнью*. Они знают, что собственность, капитал, деньги, наемный труд и тому подобное представляют собой далеко не призраки воображения, а весьма практические, весьма конкретные продукты самоотчуждения рабочих, и что поэтому они должны быть упразднены тоже практическим и конкретным образом для того, чтобы человек мог стать человеком не только в *мышлении*, в *сознании*, но также в *массовом бытии*, в жизни. Критическая же критика, напротив, учит рабочих, что они перестают быть в действительности наемными рабочими, лишь только они в мысли упраздняют мысль о наемном труде, лишь только они в мысли перестают быть для себя наемными рабочими и, сообразно с этим возвышенным представлением, не заставляют более оплачивать свою особу. Как абсолютные идеалисты, как эфирные существа, они, естественно, могут также жить эфиром чистого мышления. Критическая критика учит их, что они упраздняют действительный капитал, преодолевая в *мысли* категорию капитала, что они *действительно* изменяются и превращаются в действительных людей, изменяя в своем сознании *абстрактное «я»* и с презрением отвергая всякое *действительное* изменение своего действительного существования, действительных условий своего существования, т. е. своего *действительного «я»*, — как некритическую операцию. *«Дух»*, который в действительности видит только категории, сводит, конечно, всякую человеческую деятельность и практику к диалектическому мыслительному процессу критической критики. Именно это обстоятельство отличает *ее* социализм от *массового* социализма и коммунизма.

После всех своих великих рассуждений г-н Эдгар, конечно, должен «отказать» критике Прудона «в сознании». *«Но Прудон*

хочет также быть практичным». «Он думает именно, что познал». «И, однако, — торжествуя восклицает «спокойствие познания», — мы и теперь еще должны отказать ему в *спокойствии познания*». «Мы приводим несколько мест из его произведения, чтобы показать, насколько он мало продумал свое отношение к обществу». Впоследствии мы приведем еще несколько мест из произведений критической критики (см. «Банк для бедных и образцовое хозяйство»), чтобы показать, насколько она еще не успела ознакомиться даже с самыми главными политико-экономическими отношениями, тем более не продумала их и, несмотря на это, с свойственным ей критическим тактом почувствовала себя призванной подвергнуть Прудона своему суду.

После того как критическая критика, в роли «спокойствия познания», *расправилась* со всеми массовыми «противоречиями», после того как она овладела всей действительностью в форме категорий и всю человеческую деятельность растворила в спекулятивной диалектике, — после всего этого мы увидим ее за работой воспроизводства мира из спекулятивной диалектики. Само собой разумеется, что чудеса критически-спекулятивного мирового водчества, если только не желать «осквернить» их, должны быть представлены невежественной массе в форме *мистерий*. Критическая критика в своем воплощении Вишну-Шелиги выступает поэтому как *торговец тайнами*.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

«КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА» КАК ТОРГОВЕЦ ТАЙНАМИ,

или же

«КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА» В ЛИЦЕ ГОСПОДИНА ШЕЛИГИ.

Критическая критика в воплощении *Шелиги-Виллину* снабжает нас апофеозом «Парижских тайн» (*Mystères de Paris*). Эжен Сю провозглашается «критическим критиком». Стоит ему только узнать про это, как он, вместе с *bourgeois gentilhomme* Мольера, восклицает: «*Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la prose, sans que j'en susse rien: et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela.*»¹

Господин Шелига предпосылает своей критике *эстетический* пролог.

«Эстетический пролог» выясняет всеобщее значение «критического» эпоса, и специально «*Mystères de Paris*», следующим образом:

«Эпос рождает мысль, что настоящее само по себе — ничто, даже не только» (*ничто*, даже не только!), «но вечная граница между *прошедшим* и *будущим*, а» (*ничто*, даже не только, а!) «а и та снова и снова *подлежащая* *заполнению* *третица*, которая отделяет *бессмертные* от *тленности*... В этом — всеобщее значение «Парижских тайн».

«Эстетический пролог» утверждает, далее, что «критик, если он этого желает, может быть также и *поэтом*».

Вся критика господина Шелиги докажет правильность этого утверждения. Во всех своих частях она представляет «*поэтический вымысел*».

Она в то же время — продукт «*свободного искусства*» в том смысле, как оно определяется в «эстетическом прологе», т. е. «она изобретает *нечто совершенно новое, абсолютно никогда еще не имевшее места*».

¹ Ей-богу, более сорока лет я говорю прозой, не подозревая этого, и я чрезвычайно обязан вам за то, что вы выяснили мне это.

Наконец, она даже представляет собой *критический эпос*, ибо она «есть снова и снова подлежащая заполнению трещина, отделяющая бессмертие» — критическую критику господина Шелиги — от «тленности» — романа господина Эжена Сю.

1. ТАЙНА ОДИЧАНИЯ СРЕДИ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ТАЙНА БЕСПРАВИЯ В ГОСУДАРСТВЕ.

Как известно, *Фейербах* рассматривал христианские представления о воплощении, троичности, бессмертии и проч. как тайну воплощения, тайну троичности, тайну бессмертия. Господин Шелига рассматривает все нынешние мировые отношения как тайны. Но если *Фейербах* раскрыл *действительные тайны*, то господин *Шелига*, наоборот, превращает действительные *тривиальности в тайны*. Его искусство заключается не в том, чтобы раскрыть скрытое, а в том, чтобы скрыть раскрытое.

Так, он объявляет одичание (преступников) среди цивилизации, равно как бесправие и неравенство в государстве, *тайнами*. Одно из двух: либо социалистическая литература, раскрывшая эти тайны, осталась тайной для господина Шелиги, либо ему хочется обратить самые известные выводы этой литературы в частную тайну «критической критики».

Нам поэтому нет надобности подробно останавливаться на рассуждениях господина Шелиги об этих тайнах. Интересно только отметить некоторые, самые блестящие, пункты.

«Перед лицом закона и судьи все *равны*: великие и малые, бедные и богатые. Положение это занимает первое место в символе веры *государства*».

Государства? Символ веры большинства государств с самого начала, напротив, устанавливает *неравенство* перед лицом закона великих и малых, бедных и богатых.

«Каменотес Морель с наивным прямотушием очень ясно определяет сущность тайны (именно тайны противоречия между бедностью и богатством). Он говорит: «Если б только богатые знали про это! Если б только богатые знали про это! Несчастье в том и заключается, что они не знают, что такое бедность».

Господин Шелига не знает, что Эжен Сю, из любезности к французской буржуазии, допускает *анахронизм*, влагая в уста Мореля, рабочего эпохи «*Charte vérité*», обычную фразу бюргеров времен Людовика XIV: «*Ah! si le roi le savait!*» в модифицированной форме: «*Ah! si le riche le savait!*» В Англии и Франции, по крайней мере, это *наивное* отношение между богатым и бедным перестало существо-

вать. Ученые представители богатства, политико-экономы, дали широкое распространение представлению о физических и моральных бедствиях нищеты во всех ее видах. Вдобавок они доказали, что эта нищета так и должна оставаться, потому что так и должно оставаться современное положение дел. Мало того. В своей заботливости они даже вычислили, в каких именно пропорциях беднота должна изводить себя всяческими смертями для блага богатых и своего собственного блага.

Когда Эжен Сю изображает кабаки, притоны и язык преступников, господин Шелига открывает *«тайну»*, что «автор» задавался целью — не изобразить этот язык и эти притоны, а «изучить тайну пружин вла и проч.» «Ведь именно в местах наиболее оживленного движения... преступники чувствуют себя как дома».

Что сказал бы естествоиспытатель, если б ему стали доказывать, что ячейка пчелиных сотов интересует его не как сотовая ячейка, что она не представляет тайны для того, кто не изучал ее, потому что пчела «чувствует себя совершенно как дома» именно на свежем воздухе и на цветке? В притонах преступников и в их языке отражается характер преступника, они составляют неотъемлемую часть его бытия, их изображение входит в изображение преступника настолько же, насколько изображение *«petite maison»* входит в изображение *«femme galante»*.

Притоны преступников составляют такую еще тайну даже для самой парижской полиции, не говоря уже о парижанах вообще, что еще в настоящую минуту в «Cité» прокладываются светлые и широкие улицы, чтобы сделать эти притоны доступными для полиции.

Наконец, сам Эжен Сю заявляет, что при изображении всего этого он рассчитывал на «curiosité saintive» читателей. Господин Эжен Сю во всех своих романах рассчитывал на это боязливое любопытство. Вспомните только «Атар Гюль», «Саламандру», «Плик и Плок» и проч.

2. ТАЙНА СПЕКУЛЯТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ.

Тайна критического изображения «Парижских тайн» есть тайна *спекулятивной гегелевской конструкции*. Объявив «одичание среди цивилизации» и «бесправие в государстве» тайнами, т. е. растворив их в категории *«тайны»*, Шелига заставляет «тайну» начать свой *спекулятивный круговорот жизни*. Нескольких слов будет достаточно, чтобы дать общую характеристику спекулятивной конструкции. Отношение Шелиги к «Парижским тайнам» сделает понятными все частные применения этой конструкции.

Когда я из действительных яблок, груш, земляники, миндаля образуя общее представление «плод»; когда я иду дальше и *воображаю*, что мое, добытое из действительных плодов, абстрактное представление «плод» есть вне меня существующая сущность, мало того — *истинная* сущность груши, яблока и проч., то я этим, выражаясь *спекулятивным* языком, объявляю «плод» «*субстанцией*» груши, яблока, миндаля и проч. Я говорю, следовательно, что для груши не существенно то, что она — груша, для яблока — то, что оно — яблоко. Существенное в этих вещах, говорю я, есть не их действительное, чувственно совершаемое наличное бытие, а абстрагированная мною от них и подsunутая под них сущность, сущность моего представления, «плод». Я объявляю тогда яблоко, грушу, миндаль и проч. простыми формами существования, модусами (*modi*) «плода». Мой конечный рассудок, находящий себе поддержку в чувствах, *отличает*, разумеется, яблоко от груши и грушу от миндаля, но мой спекулятивный разум объявляет это чувственное различие несущественным и безразличным. Спекулятивный разум видит в яблоке *то же*, что в груше, в груше *то же*, что в миндале, а именно — «плод». Особые, действительные плоды играют, главным образом, роль *видимых* плодов, истинную сущность которых представляет «субстанция» «плод».

Этот путь не приводит к особому *обогащению определениями*. Минералог, наука которого ограничивалась бы установлением истины, что все минералы в действительности суть «минерал вообще», был бы минералогом лишь в *собственном воображении*. При виде каждого минерала спекулятивный минералог говорил бы: это — «минерал». Его наука ограничивалась бы тем, что он повторял бы столько раз это слово, сколько существует действительных минералов.

Спекулятивное мышление, сделавшее из различных действительных плодов *один* «плод» абстракции — «плод вообще», вынуждено, чтобы заручиться хотя бы подобием действительного содержания, попытаться тем или иным образом вернуться от «плода», от *субстанции*, к действительным, *разнообразным* вульгарным плодам — к яблоку, груше, миндалю и проч. Но насколько легко из действительных плодов вывести абстрактное представление «плод», настолько же трудно из абстрактного представления «плод» вывести действительные плоды. Невозможно притти от абстракции даже к *противоположности* абстракции, не *отказавшись* от самой абстракции.

Спекулятивный философ отказывается поэтому от абстракции «плода», но он отказывается от нее на особый, *спекулятивный, мистический* манер, — так именно, что сохраняется видимость, будто он

не отказывается от абстракции. Он поэтому и действительно лишь видимо покидает абстракцию. Он рассуждает, примерно, следующим образом:

Если яблоко, груша, миндаль, земляника действительно не что иное, как «субстанция вообще», «плод вообще», то каким же образом «плод вообще» представляется мне то в виде яблока, то в виде груши, то в виде миндаля, — откуда эта *видимость многообразия*, столь осязательно противоречащая моему спекулятивному представлению об *единстве*, о «субстанции вообще», о «плоде вообще»?

Это происходит от того, отвечает спекулятивный философ, что «плод вообще» — не мертвая, лишенная различий, покоящаяся сущность: это сущность живая, себя внутри себя различающая, подвижная. Разнообразие грешных плодов имеет значение не только для моего чувственного рассудка, но и для самого «плода вообще», для спекулятивного разума. Различные грешные плоды суть различные жизненные проявления «одного плода»; это — кристаллические отложения, образованные «плодом вообще», так что, например, в яблоке «плод вообще» придает себе яблочковидное наличное бытие, в груше — грушевидное. Нет надобности поэтому, повторяя точку зрения, исходящую из представления о субстанции, говорить здесь: груша — это «плод вообще», яблоко — это «плод вообще», миндаль — это «плод вообще». В данном случае нужно, напротив, говорить: «плод вообще» полагает себя как груша, «плод вообще» полагает себя как яблоко, как миндаль и проч. Различия, отделяющие друг от друга яблоко, грушу, миндаль и проч., суть именно саморазличения «плода вообще», они делают отдельные плоды именно различными звеньями в жизненном процессе «плода вообще». «Плод вообще» не есть больше бессодержательное, лишенное различий единство: он есть единство как *всеобщность*, как *целостность* плодов, образующих теперь «*органически сомкнутый ряд звеньев*». В каждом следующем звене этого ряда «плод вообще» воплощается в более развитой, более выпукло выраженной форме наличного бытия, пока, наконец, в качестве «обобщения» всех плодов, он не становится в то же время живым *единством*, которое настолько же содержит внутри себя растворенным каждый плод в отдельности, насколько оно производит каждый из них из себя, подобно тому как все члены тела постоянно растворяются в крови и постоянно производятся из крови.

Вы видите: если христианской религии известно только *одно* воплощение бога, то спекулятивная философия знает столько воплощений, сколько имеется вещей, как, например, здесь, где каждый

отдельный плод есть особое воплощение субстанции, абсолютного плода. Главный интерес спекулятивного философа заключается в том, чтобы произвести *существование* действительных, грешных плодов и с таинственным видом затем сказать, что есть яблоки, груши, миндалины и изюмины. Но те яблоки, груши, миндаль и изюмины, которые мы снова обретаем в спекулятивном мире, суть, прежде всего, *видимые* яблоки, *видимые* груши, *видимый* миндаль, *видимые* изюмины, ибо они представляют собой жизненные моменты «плода вообще», этой абстрактной рассудочной сущности, а потому и сами суть абстрактные сущности рассудка. Что нас в этой спекулятивной операции должно радовать, так это то, что мы снова обретаем все действительные плоды, но как плоды, имеющие более высокое, мистическое значение, — плоды, которые выросли не из материальной почвы, а из эфира нашего мовга, и представляют собой воплощения «плода вообще», воплощения *абсолютного субъекта*. Если мы, таким образом, возвращаемся от абстракции, от *сверхъестественной* рассудочной сущности «плод вообще» к действительным, *естественным* плодам, то мы тем самым придаем, наоборот, естественным плодам тоже сверхъестественное значение и превращаем их в чистые абстракции. Наш главный интерес должен теперь заключаться в том именно, чтобы доказать *единство* «плода вообще» во всех его жизненных проявлениях, — в яблоке, груше, миндале и проч., — доказать, стало быть, *мистическую взаимную связь* этих плодов и показывать, как в каждом из них «плод вообще» осуществляет себя *по ступеням* и *необходимым образом* переходит от одной формы наличного бытия к другой, от изюма, например, к миндалю. Ценность грешных плодов заключается теперь поэтому *не* в их *естественных* свойствах, а в их *спекулятивном* свойстве, отводящем каждому из них определенное место в жизненном процессе «абсолютного плода вообще».

Обыкновенный человек не предполагает, что сказал что-то особенное, когда говорит, что существуют яблоки и груши. Но философ, выразив эти существующие вещи в спекулятивных терминах, сказал нечто *необыкновенное*. Он совершил *чудо*: из *недействительной рассудочной сущности* «плод вообще» он произвел действительные *существа природы* — яблоко, грушу и т. д., т. е. он из своего *собственного абстрактного рассудка*, который представляется ему абсолютным субъектом, вне его лежащим, в данном случае «плодом вообще», *создал* эти плоды. Всякое существование, которому он дает выражение, представляется ему результатом его собственного творческого акта.

Само собой разумеется, что спекулятивный философ лишь потому способен проявить такое непрерывное творчество, что он общеизвестные, созерцаемые в действительности свойства яблока, груши и т. д. выдает за *открытые* им определения, давая тому, что может быть создано исключительно абстрактным рассудком, именно — абстрактным рассудочным формулам, *названия* действительных вещей, и принимая свою *собственную* деятельность, проявляющуюся в том, что *он сам переходит* от представления яблока к представлению груши, за *самодетельность* абсолютного субъекта, «плода вообще».

На спекулятивном языке операция эта означается словами: понимать *субстанцию* как *субъект*, как *внутренний процесс*, как *абсолютную личность*. Такой способ понимания составляет отличный признак *гегелевского* метода.

Необходимо было предпослать эти замечания, чтобы сделать господина Шелигу понятным. До сих пор господин Шелига возводил действительные отношения, как, например, право и цивилизацию, в категории тайны и таким образом обращал «тайну» в субстанцию. Теперь же он подымается на истинно-спекулятивную, *гегелевскую* высоту и превращает «тайну» в самостоятельный субъект, который *воплощается* в действительных отношениях и лицах, причем всякие графини, маркизы, гризетки, привратники, нотариусы, шарлатаны, любовные интриги, балы, деревянные двери и проч. представляют жизненные проявления этого субъекта. Произведши сначала из действительного мира категорию «тайна», он теперь из этой категории производит действительный мир.

Тайны *спекулятивной конструкции* в изображении, даваемом господином Шелигой, с тем большей *очевидностью* раскроются перед нами, что он неоспоримо имеет *двойное* преимущество перед *Гегелем*. Во-первых, Гегель путем искусной софистики умеет изобразить процесс, при помощи которого философ, руководимый чувственным созерцанием и представлением, переходит от одного предмета к другому, как процесс самих воображаемых рассудочных сущностей, абсолютного субъекта. Но, кроме этого, Гегель очень часто в *спекулятивной* характеристике вещи дает нам ее *действительную* характеристику, — характеристику, схватывающую самую суть *дела*. Это действительное под покровом спекулятивного заставляя читателя принимать спекулятивные выводы за действительные и действительные за спекулятивные.

Оба эти затруднения отпадают у господина Шелиги. Его диалектика свободна от всякого лицемерия и притворства. Он проделывает свои фокусы с похвальной честностью и простодушной прямо-

той. Затем, он *нигде* не привносит *действительного содержания*, так что его спекулятивная конструкция свободна от всяких портящих впечатление пристроек и представляется нашим взорам без всяких двусмысленных покровов, во всей своей обнаженной красе. Кроме того, господин Шелига на собственном примере демонстрирует самым блестящим образом, как, с одной стороны, умозрение видимо свободно творит из самого себя свой предмет а priori и как, с другой стороны, думая отделаться софистикой от разумной и естественной зависимости от предмета, оно попадает именно в самую неразумную и неестественную *рабскую зависимость* от предмета, самые случайные и самые индивидуальные определения которого оно вынуждено конструировать как абсолютно необходимые и всеобщие.

3. ТАЙНА ОБРАЗОВАННОГО ОБЩЕСТВА.

Показав нам сначала низшие слои общества, заставив нас посетить кабаки преступников и проч., Эжен Сю переносит нас затем в «*haute volée*», на бал в квартале С.-Жермен.

Господин Шелига следующим образом конструирует этот переход:

«Новым поворотом тайна пытается ускользнуть от расследования. До сих пор тайна противостояла истинному, реальному, положительному как нечто абсолютно загадочное, не терпящее прикосновения, как нечто отрицательное; теперь же она проникает в это истинное, реальное, положительное как его *невидимое содержание*. Но тем самым она уничтожает безусловную возможность быть познанной».

«Тайна», которая до сих пор противостояла «истинному», «реальному», «положительному», именно праву и образованию, «проникает теперь в последнее, т. е. в сферу образования. Что одна только «*haute volée*» представляет сферу образования, это тайна, если не *Парижа*, то для Парижа. Господин Шелига не переходит от тайн мира преступников к тайнам аристократического общества; он делает другое: у него «тайна вообще» становится «невидимым содержанием» образованного общества, *действительной сущностью* последнего. Это — *новый поворот* не со стороны господина Шелиги, думающего открыть себе этим путь к дальнейшим расследованиям; это — новый поворот со стороны самой *тайны*, думающей таким путем избежать этого расследования.

Прежде чем действительно последовать за Эженом Сю туда, куда влечет его сердце, именно на аристократический бал, господин Шелига уже наперед пускает в ход *лицемерные* толкования а priori конструирующего умозрения.

«Разумеется, можно предвидеть, что тайна постарается укрыться в весьма твердой скорлупе. И в самом деле кажется, что перед нами непреодолимая непроницаемость... что можно поэтому ожидать, что вообще... Тем не менее новая попытка докопаться до ядра здесь неизбежна». И что же? Господин Шелига настолько успевает в этом деле, что «метафизический субъект, «тайна», выступает теперь весело, развязно, кокетливо».

Чтобы превратить аристократическое общество в «тайну», господин Шелига пытается при помощи некоторых соображений выяснить смысл «образования». Он заранее приписывает аристократическому обществу исключительно такие свойства, каких ни один человек не ищет в нем, чтобы после этого раскрыть «тайну», что общество этими свойствами не обладает. А затем он выдает это открытие за «тайну» образованного общества. Господин Шелига задает себе, например, следующие вопросы: Не служит ли предметом «дружеских бесед» этих господ «всеобщий разум» (уж не спекулятивная ли логика?)? «Только ли ритм и мера в любви» делают их «гармоническим целым»? «Есть ли» то, «что мы называем общим образованием, форма всеобщего, вечного, идеального», т. е. есть ли то, что мы называем образованием, плод метафизического воображения? — Не трудно видеть, что, задав такие вопросы, господин Шелига мог легко а priori пророчески заметить: «Впрочем, следует ожидать... что на все эти вопросы последует отрицательный ответ».

В романе Эжена Сю переход из мира простонародья в мир знати совершается обычным для всех романов путем. *Переодевания Родольфа*, князя Герольштейнского, помогают ему проникнуть в низшие слои общества, точно так же, как его звание открывает ему доступ в высшие сферы. По дороге на аристократический бал его занимают отнюдь не контрасты окружающей жизни; ему представляются *никакными* лишь контрасты его *собственных* маскировок. Он сообщает своим послушнейшим провожатым, насколько он самому себе кажется интересным в различных ситуациях. «Je trouve, — говорит он, — assez de piquant dans ces contrastes; un jour peintre en éventails, m'établant dans un bouge de la rue aux fèves; ce matin commis marchand offrant un verre de cassis à M-me Pipelet, et ce soir... un des privilégiés par la grâce de dieu, qui règnent sur ce monde». ¹

¹ Я нахожу, — говорит он, — много интересного в этих контрастах: я то разрисовываю веера, запираясь в чулане на улице Aux fèves, то, в качестве приказчика, предлагаю стакан наливки из черной смородины г-же Пипле, а сегодня вечером... я оказываюсь одним из привилегированных, милостью божией властвующих над миром.

Приведенная на бал, критическая критика поет:

В присутствии земных богов
Совсем рехнуться я готов.

Она изливается в следующих *дифирамбах*:

«Здесь чары волшебства залили ночь сиянием солнца, одели зиму в зелень весны и роскошь лета. Нас охватывает такое настроение, что мы готовы поверить в чудо пребывания бога в груди человека, в особенности когда красота и грация убеждают нас, что мы находимся в непосредственной близости идеального». (!!!)

Неопытный, легковверный, *критический сельский пастор*! Только твоя критическая глупость может от эlegantного парижского балльного зала притти в такой восторг, чтобы поверить в «чудо пребывания бога в человеческой груди» и в парижских львицах увидеть «непосредственные идеалы», воплощенных ангелов!

В своей *елейной* наивности критический пастор решается подслушать двух «красивейших из красавиц», Клеменцию Дарвиль и графиню Сару Мак-Грегор. Догадайтесь-ка, какие речи он хочет «услышать» из их уст: «Как нам стать *благословением* для наших любимых детей, *полнотой счастья* для наших супругов!.. Мы слышим... мы изумляемся... мы не верим нашим ушам».

Мы испытываем чувство тайного злорадства, когда видим разочарование подслушивающего пастора. Дамы не беседуют ни о «благословении», ни о «полноте счастья», ни о «всеобщем разуме»; напротив, «речь идет о неверности г-жи Дарвиль своему супругу».

Относительно одной из дам, графини Мак-Грегор, мы получаем следующее наивное разъяснение:

Она была «достаточно предприимчива, чтобы стать матерью в результате тайного брака».

Неприятно пораженный этим *духом предприимчивости* графини, господин Шелига читает ей строгую нотацию: «На наш взгляд все стремления графини направлены на получение индивидуальной, эгоистической выгоды». Возможное достижение ею цели, выход замуж за князя Герольштейнского, не обещает Шелиге ничего хорошего: «Мы *нисколько не* ожидаем, что ее замужество принесет *счастье подданным* князя Герольштейнского». В заключение своей бичующей проповеди наш пуританин тоном «глубокомысленной серьезности» замечает: «*Впрочем, Сара (предприимчивая дама), может быть, не составляет* в этих блестящих кругах исключения, *хотя и стоит в этом отношении впереди всех*». Впрочем... может быть, не... хотя и! А быть впереди всех — разве это не исключение?

О характере двух других идеалов, маркизы Дарвиль и герцогини де-Люсне, мы узнаем:

Им «нехватает удовлетворенности сердца». В браке они не обрели предмета любви и потому ищут предмет любви вне брака. Любовь в браке осталась для них *тайной* и властное веление сердца побуждает их стремиться к разоблачению этой тайны. И вот они отдаются наслаждениям *тайной любви*. Эти «жертвы» «брака без любви» бывают «помимо своей воли доведены до того, что низводят самое любовь до чего-то внешнего, до так называемой связи, а романтическое, *тайну*, готовы принять за внутреннее, оживляющее, существенное в любви».

Мы тем выше должны оценить заслугу этой диалектической аргументации, чем более последняя приложима ко всем случаям жизни.

Например, кто не смеет *пить* у себя дома и все-таки чувствует потребность выпить, тот ищет «предмет» выпивки *вне* дома и «таким образом» предается *тайному пьянству*. Мало того, у него есть внутреннее побуждение считать тайну существенным ингредиентом пьянства, хотя у него нет охоты низвести пьянство до чего-то исключительно «внешнего», безразличного, чего на самом деле не делают с любовью и дамы. Согласно объяснению самого Шелиги, они низводят не самую любовь, а лишенный любви брак до того, что он на самом деле есть, — до чего-то внешнего, до так называемой связи.

«Что такое — говорит дальше Шелига — *тайна* любви?»

Мы только что справились с конструкцией, делающей «тайну» *сущностью* этого сорта любви. Каким же образом мы доходим до того, что ищем тайну тайны, сущность сущности?

«Не тенистые аллеи рощи, — декламирует пастор, — не *естественный* полумрак лунной ночи, не искусственный (свет), отбрасываемый прекрасными гардинами и занавесями, не мягкие и оглушающие звуки арф и органа, не мощь запретного...»

Гардины и занавеси! Мягкие и оглушающие звуки! Да к тому же и *орган*! Господин пастор, выбейте-ка себе из головы *церковь*! Кто это приносит с собой на любовное свидание орган?

«Все это (гардины и занавеси и орган!) — только *тайна*. Уж не *таинственность* ли в любви составляет «тайну» тайной любви? Никаким образом:

«Тайна в любви — это то в ней, что возбуждает, отуманивает, оглушает, — это *сила чувственности*».

В «мягких и *оглушающих*» звуках пастор уже обладает тем, что оглушает. Если б он еще принес с собой на свидание черепаховый

суп и шампанское вместо гардин и органа, то у него не было бы недостатка в том, что *«воздуждает и туманивает»*.

«Правда, мы не хотим признать силы чувственности, — учит святой муж; — но она только потому имеет столь огромную власть над нами, что мы изгоняем ее из себя, что мы отказываемся признать в ней свою собственную природу, — собственную природу, которую мы тогда лишь в состоянии преодолеть, когда она стремится проявить свое значение за счет разума, истинной любви и силы воли».

Согласно с духом спекулятивной теологии, пастор советует нам *признать* чувственность как свою *собственную* природу, чтобы после этого оказаться способными *овладеть* ею, т. е. взять обратно это признание. Правда, он готов заняться овладением своей природой лишь в том случае, когда она стремится проявить себя за счет разума (сила воли и любовь, в своем *противопоставлении* чувственности, суть сила воли разума и любовь разума). Даже неспекулятивный христианин признает *чувственность*, поскольку она не стремится проявить себя за счет истинного разума, т. е. за счет веры, за счет истинной любви, иными словами: за счет любви к богу, за счет истинной силы воли, т. е. воли во Христе.

Мы сейчас же догадываемся об истинном мнении нашего пастора, когда слышим:

«Таким образом, как только любовь перестает быть сущностью брака, сущностью нравственности вообще, *чувственность* становится тайной любви, нравственности, образованного общества. Чувственность здесь надо понимать как в ее *преимущественном* значении *трепетания нервов, жгучего потока* в жилах, так и в более широком значении ее, когда она возвышается до *подобия* духовной мощи, до властолюбия, честолюбия и жажды славы... Графиня Мак-Грегор «является носительницей» чувственности в ее последнем значении: *«чувственности как тайны образованного общества»*.

Пастор попадает в самую точку: чтобы победить *чувственность*, он, прежде всего, должен победить *нервные токи* и быстрое *кровообращение*. Говоря о чувственности в «преимущественном» значении, господин Шелига высказывает мнение, что большая телесная теплота происходит от накаленности крови в жилах. Он не знает, что *теплокровные животные* потому только называются теплокровными, что температура их крови, если не принимать в расчет легких изменений, постоянно держится на одной и той же высоте. Как только прекращаются нервные токи и кровь в жилах перестает быть горячей, *грешное тело*, это седалище чувственных вожделений, становится *покойником*, и души могут беспрепятственно беседовать друг с другом

о «всеобщем разуме», «истинной любви» и «чистой морали». Пастор настолько унижает чувственность, что упраждает именно те моменты чувственной любви, которые одухотворяют ее: быстрое кровообращение, которое доказывает, что человек любит не с бесчувственной флегмой; нервные токи, которые соединяют орган, являющийся главным седалищем чувственности, с мозгом. Он сводит истинную чувственную любовь к *механическому secretio seminis* и вместе с одним знаменитым немецких теологом лепечет: «Не ради чувственной любви, не ради плотских вожделений, а потому, что так велел господь, — плодитесь и размножайтесь!»

Сравним теперь спекулятивную конструкцию с романом Эжена Сю. Не *чувственность* выдается здесь за тайну любви, а таинственность, приключения, препятствия, страхи, опасности и, в особенности, притягательная сила запретного. «Pourquoi, — говорится здесь, — beaucoup de femmes prennent-elles pourtant des hommes, qui ne valent pas leurs maris? Parce que *le plus grand charme de l'amour est l'attrait affriandant du fruit défendu... avancez que, en retranchant de cet amour les craintes, les angoisses, les difficultés, les mystères, les dangers, il ne reste rien ou peu de chose, c'est-à-dire, l'amant... dans sa simplicité première;... en un mot ce serait toujours plus ou moins l'aventure de cet homme, à qui l'on disait: «Pourquoi n'épousez-vous pas cette veuve, votre maitresse? — Hélas, j'y ai bien pensé — répondit il — mais alors je ne saurais plus où aller passer mes soirées».*¹

Между тем как господин Шелига подчеркивает, что тайна любви не в притягательной *силе запретного*, Эжен Сю в такой же мере подчеркивает, что запретное составляет «наибольшую прелесть любви» и основу всех любовных приключений *extra muros*. «La prohibition et la contrebande sont inséparables en amour comme en marchandise». ² Точно так же Эжен Сю, в противоположность своему спекулятивному комментатору, утверждает, что «склонность к притворству

¹ Почему же, — говорится здесь, — многие женщины все же предпочитают мужчин, не стоящих их мужей? Потому что величайшая прелесть любви заключается в манящей привлекательности запретного плода... Согласитесь, что если устранить из такой любви опасения, тревоги, затруднения, тайны, опасности, то от нее не останется ничего или почти ничего, т. е. останется любовник... в своей первобытной простоте... одним словом, дело свелось бы приблизительно к приключению того человека, которому говорили: почему вы не женитесь на этой вдове, вашей любовнице? — Увы, я, конечно, думал об этом, — отвечал он, — но в таком случае я не знал бы, где мне проводить вечера.

² Запретительная система и контрабанда неразлучны в любви, как и в торговле.

и хитрости, вкус к тайнам и интригам составляют существенную особенность, естественную склонность и властный инстинкт женской природы». Эжена Сю смущает лишь направление этой склонности и этого вкуса против брака. Он хочет дать склонностям женской природы более невинное, более полезное направление.

Между тем как господин Шелига делает графиню Мак-Грегор представительницей той *чувственности*, которая «возвышается до подобия духовной мощи», та же графиня у Эжена Сю является просто *абстрактным рассудочным человеком*. Ее «честолюбие» и ее «гордость», весьма далекие от того, чтобы быть формами чувственности, суть недоноски вполне независимого от чувственности абстрактного рассудка. Эжен Сю подчеркивает поэтому, что «никогда еще пламенные порывы любви не заставляли биться ее *холодную, как лед, грудь; никакое излияние сердца или чувств* не могло поколебать жестоких расчетов этой лукавой, эгоистической и честолюбивой женщины». Эгоизм абстрактного, свободного от страданий любви и симпатии, не пропитанного кровью *рассудка* образует основу характера этой женщины. Ее душа изображается поэтому в романе как «заскорузловатая», ее ум — как «утонченно-злой», ее характер — как «коварный» и (весьма характерно для абстрактно-рассудочного человека) «абсолютный», ее притворство — как «глубокое». Заметим мимоходом, что Эжен Сю дает жпани графини столь же глупое объяснение, как и большинству характеров романа. Старая няня вселяет в нее убеждение, что она будет «носить на голове своей корону». Проникнутая этим убеждением, она отправляется в путешествие, чтобы добыть себе корону замужеством. Она, наконец, настолько непоследовательна, что принимает мелкого немецкого серениссимуса («светлейшего князя») за «коронованную особу».

Покончив с своей отповедью *чувственности*, наш критический святой считает себя обязанным еще показать, почему Эжен Сю вводит нас в *haute volée* именно на балу, — способ, практикуемый почти всеми французскими беллетристами, между тем как *английские* романисты знакомят нас с высшим светом чаще всего на охоте или в деревенском замке.

«Для данного способа понимания вещей (т. е., собственно, для точки зрения Шелиги) не может быть безразлично и посему (в конструкции Шелиги) исключительно случайно, что Эжен Сю вводит нас в высший свет именно на балу». Тут критик дает поводья своему коню, и конь несется быстрой рысью среди целой цепи доказательств необходимости сего в духе блаженной памяти Вольфа.

«Танец есть самое всеобщее проявление *чувственности как*

тайны. Непосредственное *соприкосновение*, объятие обоих полов (?), обусловленное образованием пары, дозволено в пляске, так как они, вопреки очевидности и действительно (действительно ли, г. пастор?) испытываемому сладкому ощущению, все-таки не рассматриваются как *чувственные* (а вероятно как общеразумные?) прикосновение и объятие». И, наконец, заключительное положение, похожее на па в пляске на одной пятке: «*Ибо, если бы в самом деле танец рассматривался как чувственное соприкосновение, то непонятно было бы, почему общество так снисходительно относится именно к танцу, между тем как оно, наоборот, преследует самым жестоким образом все подобные проявления, если они где-нибудь обнаружили с той же свободой, и карает их, как преступление против нравов и приличия, ваклеймением и беспощадным изгнанием*».

Господин пастор не говорит ни о канкане, ни о польке; он говорит о танце вообще, о той *категории* танца, которую танцуют разве только под его собственным критическим черепом. Пусть он когда-нибудь посмотрит на танец в парижской Chaumière, и его христианско-германская душа возмутится этой дервостью, этой откровенностью, этой грациозной резвостью, этой музыкой чувственнейшего движения. Его собственное «действительно испытываемое сладкое ощущение» дало бы ему «почувствовать», что «в самом деле нельзя понять, почему танцующие, в то время как они, наоборот», производят на зрителя возвышающее впечатление откровенной, человеческой чувственности («что, если б это в том же виде обнаружилось где-нибудь в другом месте», — надо думать, в Германии, — «повело бы за собой, как непростительное оскорбление и т. д. и т. д.»), — почему танцующие не должны и не смеют — «чтобы не сказать еще больше» — быть в собственных глазах откровенно чувственными людьми, когда они и могут, и должны мочь быть таковыми!!!

Критик, во внимание к *сущности танца*, позволяет нам явиться на бал. Однако он наталкивается на серьезное затруднение. На этом балу хотя и танцуют, но только в воображении. Эжен Сю ни одним словом не описывает танцев. Он не смешивается с толпой танцующих. Он пользуется балом лишь как удобным случаем, чтобы свести вместе лиц, принадлежащих к высшему аристократическому кружку. В своем отчаянии «критика» спешит *дополнить* автора, и ее собственная «фантазия» с легкостью рисует балльные картины и проч. Если, по предписанию критики, Эжен Сю при живописании притонов преступников и языка последних никоим образом не был непосредственно заинтересован в описании этих притонов и этого языка, то, наоборот, он необходимым образом бесконечно интере-

суется танцами, которые описывает, правда, не *он сам*, а его «богатый фантазией» критик.

Далее!

«*На деле*, тайна светского тона и такта — тайна этой крайней противоестественности — есть горячее стремление вернуться к природе. Поэтому именно появление *Сесили* производит на образованное общество такое электризирующее впечатление и сопровождается таким необыкновенным успехом. Для нее, выросшей рабыней среди рабов, лишенной образования, предоставленной исключительно своей природе, эта природа была единственным источником жизни. Внезапно перенесенная в придворную обстановку с принудительностью ее нравов и обычаев, она быстро проникает в тайну последних... В этой сфере, над которой она безусловно в силах властвовать, так как ее мощь, мощь ее природы, действует на окружающих, как загадочное волшебство, — в этой сфере Сесили неизбежно должна презреть всякую меру, между тем как прежде, когда она была еще рабыней, эта самая природа учила ее оказывать сопротивление всякому недостойному замыслу ее господина и сохранять верность в любви. *Сесили* — это *разоблаченная тайна образованного общества*. Подавленные чувства прорывают, в конце концов, плотину и проявляются с полнейшей необузданностью» и т. д.

Читатель господина Шелиги, не знакомый с романом Сю, конечно, подумает, что Сесили — львица описываемого бала. В романе же Сесили сидит в немецкой тюрьме в то время, когда в Париже танцуют.

Сесили-рабыня сохраняет верность врачу-негру Давиду, потому что она его «страстно» любит и потому что ее собственник, господин Виллис, «грубо» добивается ее ласк. Ее переход к распутной жизни объясняется в романе очень просто. Перенесенная в «мир европейцев», она «стыдится своего брака с негром». Очутившись в Германии, она «*тотчас же*» подвергается надругательству со стороны какого-то испорченного субъекта. Ее «индийская кровь» дает себя знать. В угоду «*douce morale*» и «*doix commerce*», лицемерный Сю вынужден охарактеризовать ее поведение как «*perversité naturelle*».

Тайна Сесили состоит в том, что она — *метиска*. Тайна ее чувственности — это *тропическая знойность* ее натуры. Парни в своих прекрасных стихах к Элеоноре воспевают метиску. Насколько она является опасной для французских матросов, это описано в сотнях путешествий.

«*Cecily était le type incarné de la sensualité brûlante, qui ne s'allume qu'au feu des tropiques... Tout le monde a entendu parler de*

ces filles de couleur, pour ainsi dire mortelles aux Européens, de ces vampires enchanteurs, qui, éivrant leurs victimes de séductions terribles... ne lui laissent, selon l'énergique expression du pays, que ses larmes à boire, que son coeur à ronger».¹

Сесили вовсе не производила магического впечатления именно на лиц аристократически-образованных, бесчувственных... «les femmes de l'espèce de Cecily exercent une action soudaine, une omnipotence magique sur les hommes de *sensualité brutale* tel que *Jacques Ferrand*».²

С какого же времени люди, подобные Жаку Феррану, представляют собой изысканное общество? Но критической критике понадобилось конструировать *Сесили* как момент в жизненном процессе абсолютной тайны.

4. ТАЙНА ПРЯМОДУШИЯ И БЛАГОЧЕСТИЯ.

«Тайна, как *тайна* образованного общества, скрывается, правда, от *противоположного* полюса *внутри* этого общества. Тем не менее высший свет *опять-таки* обладает такими исключительно *своими* кружками, которым он вверяет хранение своей тайны. Высший свет — *словно* капелла для этой величайшей святыни. Но для пребывающих в преддверии капелла сама составляет тайну. Таким образом, образованность в своем исключительном положении — то же для народа... что грубость нравов для образованных».

«Правда... тем не менее... *опять-таки*... *словно*... *но*... *таким образом*» — вот те магические крючки, которые скрепляют друг с другом кольца *спекулятивной цепи рассуждений*. Господин Шелига вставляет тайну вообще, покинув мир преступников, замкнуться в *haute volée*. После этого он должен конструировать ту тайну, что высший свет имеет свои *замкнутые* кружки и что тайны этих кружков суть тайны для народа. Кроме приведенных выше логических крючков, для этой конструкции требуется еще превращение *кружка* в *капеллу* и превращение неаристократического мира в *преддверие* этой капеллы. Для Парижа *опять-таки* тайна, что все сферы буржуазного общества составляют только преддверие капеллы *haute volée*.

¹ Сесили являлась воплощением жгучей чувственности, воспламеняющейся лишь при тропическом зное... Все слышали об этих метисках, так сказать смертельных для европейцев, об этих очаровательных вампирах, которые, опьяняя свои жертвы ужасными соблазнами, оставляют им, по энергичному местному выражению, лишь пить свои слезы, глотать свое сердце.

² Женщины в роде Сесили мгновенно производят впечатление, оказывают непреодолимое магическое действие на таких людей грубой чувственности, как Жак Ферран.

Господин Шелига преследует две цели. Во-первых, необходимо сделать тайну вообще, воплотившуюся в исключительном кружке *haute volée*, «общим достоянием мира». Во-вторых, *нотариус Жак Ферран* должен быть конструирован как живое звено тайны. Критик поступает следующим образом:

«Образованность не может еще и не хочет втянуть в свой круг все сословия и звания. Только *христианство* и *мораль* в состоянии основать на земле универсальные государства».

Для господина Шелиги образованность, цивилизация равнозначущи с *аристократической* образованностью. Он поэтому не способен видеть, что *промышленность* и *торговля* создают совершенно иные универсальные государства, нежели христианство и мораль, семейное счастье и буржуазное благоденствие. — Но как же мы приходим к *нотариусу Жаку Феррану*? В высшей степени просто!

Господин Шелига превращает *христианство* в *индивидуальное* качество, в «*благочестие*», а *мораль* в другое *индивидуальное* качество, в «*прямодушие*». Он соединяет оба эти качества в *одном* индивидууме и нарекает этого индивидуума именем *Жака Феррана*, потому что Жак Ферран этими качествами не обладает, а только лицемерно выставляет их! Жак Ферран становится, таким образом, «тайной прямодушия и благочестия». Напротив того, «завещание» Феррана есть «тайна *кажущегося* прямодушия и благочестия», а уж никак не тайна действительного прямодушия и благочестия. Чтобы конструировать завещание как тайну, критической критике следовало бы объявить кажущееся прямодушие и честность тайной этого завещания, а не наоборот: завещание — тайной кажущегося прямодушия и благочестия.

В то время как сословие парижских нотариусов сочло Жака Феррана злым пасквилом на себя и через театральную цензуру настояло на удалении этого типа из поставленных на сцену «Парижских тайн», критическая критика в тот самый момент, когда она «*полемизирует с воздушным царством понятий*», усматривает в каком-то парижском нотариусе не нотариуса, а религию и мораль, прямодушие и благочестие. Судебный процесс нотариуса *Легона* должен был бы просветить ее на этот счет. Положение, занимаемое *нотариусом* в романе Эжена Сю, тесно связано с его официальным положением. «Les notaires sont au temporel ce qu'au spirituel sont les curés; ils sont les dépositaires de nos secrets»¹ (*Montheil, Hist. des*

¹ Нотариусы представляют в мирском обществе то же самое, что священники в духовном; они — хранители наших секретов.

français des divers états etc., t. IX, p. 39). Нотариус — это светский духовник. Он — *пуританин* по профессии, а «честность», говорит Шекспир, «не пуританин». Он в то же время сводник для всевозможных целей, руководитель гражданских интриг и козней.

С нотариусом Ферраном, вся тайна которого заключается в его лицемерии и нотариате, мы, кажется, не сделали еще ни одного шага вперед. Но послушайте!

«Если для нотариуса лицемерие есть дело вполне сознательное, а для госпожи Ролан — нечто *в роде* инстинкта, то между ними стоит масса тех, которые не могут проникнуть в тайну и все-таки непроизвольно стремятся к тому, чтобы добиться этого. И не суеверие приводит великих и малых мира сего в страшное жилище шарлатана Брадаманти (аббата Полидори). Нет, их приводит туда искание тайны, чтобы оправдать себя в глазах мира».

«Великие и малые» стремятся к Полидори не для того, чтобы обрести определенную тайну, способную оправдать их в глазах мира. Нет, «великие и малые» ищут у Полидори «тайну вообще», тайну как абсолютный субъект, чтобы оправдать себя в глазах мира. Это похоже на то, как если бы мы искали не топор, а «инструмент вообще», инструмент *in abstracto* для того, чтобы этой абстракцией колоть дрова.

Все тайны, находящиеся в обладании Полидори, сводятся к средству для вытравления плода у беременных и к яду для убийств. — В спекулятивном экстазе господин Шелига заставляет «убийцу» прибегать к яду Полидори «потому, что он хочет быть не убийцей, а уважаемым, любимым, почитаемым». Как будто при убийстве дело идет о том, чтобы снискать уважение, любовь и почести, а не о том, чтобы снять кому-нибудь *голову!* Но *критический* убийца добывается не головы, а «тайны вообще». — Так как не все люди убивают и не все бывают противозаконно беременны, как же Полидори устроить так, чтобы *каждый* мог обладать желанной тайной? Господин Шелига смешивает, вероятно, шарлатана Полидори с ученым *Полидором Виргилием*, который жил в XVII столетии и хотя и не открыл никаких тайн, но старался сделать историю открывателей тайн, т. е. *изобретателей*, «общим достоянием всего мира». (См. *Polidori Virgilii liber de rerum inventoribus, Lugduni MDCCVI.*)

Тайна *вообще*, абсолютная тайна в том виде, в каком она в конце концов становится «общим достоянием всех», состоит, таким образом, в тайне вытравления плода и отравления. «Тайна *вообще*» вряд ли искуснее могла стать «общим достоянием», чем обратившись в тайны, ни для кого не составляющие тайны.

5. ТАЙНА - НАСМЕШКА.

«Теперь тайна стала общим достоянием, тайной всего мира и каждого в отдельности. Либо это мое искусство или мой инстинкт, либо я могу это купить, как товар на рынке».

Какая тайна стала теперь общим достоянием всего мира? Тайна ли бесправия в государстве, тайна ли образованного общества, тайна ли фальсификации товаров, тайна ли фабрикация одеколона или же тайна «критической критики»? Нет, речь идет о тайне вообще, тайне in abstracto, о категории тайны!

Господин Шелига вознамерился представить *слуг* и *привратника Пиплэ с женой* — воплощением абсолютной тайны. Он хочет конструировать *слугу* и *привратника «тайны»!* Каким же образом он умудряется ниввергнуться с высоты *чистой категории* к ногам «*слуги*», который «*шпионит у запертых дверей*», — с высоты *тайны*, как абсолютного субъекта, восседающего на троне высоко над крышей в заоблачных сферах, до подвала, где помещается ложе привратника?

Прежде всего он заставлял категорию тайны проделывать спекулятивный процесс. После того как тайна, при помощи средств для вытравления плода и отравления, сделалась общим достоянием, она «не есть уже больше сама скрытность и недоступность, а то, что само скрывается, или же, еще лучше» (все лучше да лучше!), «то, что я скрываю, что я делаю недоступным».

С этим превращением абсолютной тайны из *сущности* в *понятие*, из *объективной* стадии, где она есть сама скрытность, в *субъективную* стадию, где она сама скрывается или, еще лучше, где «я ее» скрываю, — мы еще не подвинулись ни на шаг вперед. Напротив, затруднение как будто даже выросло, ибо тайна в человеческой голове и в человеческой груди недоступнее и скрытее, чем на дне морском. Господин Шелига посылает поэтому *непосредственно* на помощь *спекулятивному* исследованию *эмпирическое*.

«За запертой дверью» (слушайте, слушайте!) «отныне» (отныне!) «высиживается, стряпается и вершится тайна».

«Отныне» господин Шелига превращает спекулятивное «я» тайны в весьма эмпирическую, весьма *деревянную* действительность, а именно — в *дверь*.

«Тем самым» (т. е. изобретением замкнутой двери, а не переходом от замкнутой сущности к понятию) «дана также возможность подслушать и выследить ее» (тайну).

Не господин Шелига открыл ту «тайну», что можно подслушивать у запертых дверей. Массовая народная поговорка наделяет ушами

даже стены. Напротив, вполне критически-спекулятивную тайну составляет тот факт, что только *«отныне»*, т. е. после адского путешествия по кварталам преступников, после нашего вознесения в небесные сферы образованного общества и после всех чудес Полидори, стало возможно, что тайны высиживаются *за* запертыми дверями и подслушиваются *у* запертых дверей. Столь же великую критическую тайну составляет и то, что запертые двери представляют собой *категорическую необходимость* как для того, чтобы «высиживать, стирать и вершить» тайны (сколько тайн высиживается, стирается и вершится за кустами!), так и для того, чтобы «выслеживать» их.

Свершив этот блестящий диалектический подвиг, господин Шелига переходит, конечно, от самого *выслеживания* к *побудительным причинам выслеживания*. Здесь он нам открывает тайну, что *злорадство* есть побудительная причина выслеживания. От злорадства он переходит к *причинам злорадства*. «Каждый, — говорит он, — хочет быть лучше другого, потому что он не только скрывает мотивы своих добрых дел, но старается еще окружить совершенно непроницаемым туманом свои злые дела». Фраза эта должна была бы гласить наоборот: каждый не только скрывает мотивы своих добрых дел, но старается еще окружить свои злые дела самым непроницаемым туманом, потому что он хочет быть лучше других.

Мы, таким образом, добрались от *тайны, которая сама себя скрывает*, к «я», которое скрывает, от этого «я» к *запертым дверям*, от *запертых дверей* к *выслеживанию*, от *выслеживания* к *причинам выслеживания*, к злорадству, от *злорадства* к *причине злорадства*, к *желанию быть лучше других*. Скоро мы будем иметь удовольствие видеть *слугу* у запертых дверей. Всеобщее желание быть лучше других приводит нас прямо к тому, что «каждому свойственна склонность проникать в тайны других людей». К этим словам критик, ничуть не запинаясь, присоединяет следующее остроумное замечание: «В этом отношении *благоприятнее всего* поставлены *домашние слуги*». Если б господин Шелига читал мемуары из архивов парижской полиции, мемуары Видока, *livre noir* и тому подобные вещи, он знал бы, что в этом отношении *полиция* поставлена в более благоприятное положение, чем «наиболее благоприятно» поставленные слуги, что полиция пользуется слугами лишь для черной работы, что ей нет надобности ни стоять у дверей, ни присутствовать при туалете «господ» и что она забирается под самое одеяло в образе какой-нибудь «*femme galante*» или даже супруги. В самом романе Сю полицейский шпион Красная рука является главным носителем развития.

«Отныне» господина Шелигу смущает еще в слугах то обстоятельство, что они недостаточно «свободны от личного интереса». Это критическое сомнение прочищает критику дорогу к привратнику Пиплэ и его жене.

«Напротив, положение привратника, обеспечивая последнему относительную независимость, дает ему возможность сделать тайны дома предметом свободной, незаинтересованной, хотя и жестокой и оскорбительной, насмешки».

Первое большое затруднение, на которое наталкивается эта спекулятивная конструкция привратника, заключается в том, что в очень многих парижских домах должности слуги и привратника, по крайней мере для части жильцов, соединены в одном и том же лице.

О критической фантазии насчет относительно независимого и незаинтересованного положения привратника можно судить по следующим фактам. Парижский привратник есть представитель и шпион домовладельца. Большею частью он получает свое вознаграждение не от домовладельца, а от жильцов. В виду такой ненадежности своего заработка, он часто соединяет с своими официальными обязанностями занятие комиссионера. Во время господства террора, в эпоху империи и реставрации привратник был главным агентом тайной полиции. Так, например, генерал Фуа находился под надзором своего привратника, который передавал письма, адресованные генералу, для прочтения находившемуся вблизи полицейскому агенту (см. *Froment, La police dévoilée*). Слова «portier» (привратник) и «épiciér» (мелкий лавочник) суть поэтому ругательства, и сам «portier» (привратник) требует, чтобы его называли «compicèrge» (швейцар).

Эжен Сю настолько далек от того, чтобы изображать m-ше Пиплэ «незаинтересованной» и безвредной особой, что он даже заставляет ее с самого начала надуть Родольфа при размене денег; она же рекомендует ему бесчестную ростовщицу, живущую в том же доме, и она же обещает ему много приятного от знакомства с Риголеттой. Она постоянно дразнит коменданта, и то потому, что он плохо платит, что он торгуется с ней (из чувства досады она обзывает его «commandant de deux liards», — «ça t'apprendra à ne donner que douze francs par mois pour ton ménage»), потому, что у него хватает «мелочности» («petitesse») следить за своим топливом и проч. Она сама сообщает причину своего «независимого» поведения: комендант платит всего только 12 фр. в месяц.

У господина Шелиги Анастасия Пиплэ некоторым образом открывает партизанскую войну против тайны.

У Эжена Сю Анастасия Пиплэ представляет собою тип *парижской привратницы* (portière). Он хочет «драматизировать прекрасно изображенную господином Анри Монье привратницу». Господин же Шелига считает нужным обратить одно из качеств m-ше Пиплэ, ее «*médisance*» (злослычие), в особую сущность, чтобы вслед затем сделать m-ше Пиплэ представительницей этой сущности.

«Ее муж, — продолжает господин Шелига, — привратник Альфред Пиплэ подвизается рядом с ней на том же поприще, но с меньшим счастьем». Чтобы утешить его за это несчастье, господин Шелига обращает и его тоже в *аллегорю*. Он является носителем «объективной» стороны тайны, «тайны как насмешки». «Тайна, наносящая ему поражение, есть насмешка, шутка, которую сыграли с ним». Мало того. В своем бесконечном сострадании божественная диалектика делает «несчастливого, старого, впавшего в детство старика» «*сильным человеком*» в *метафизическом смысле*, отводя ему роль достойного, счастливейшего и решающего момента в жизненном процессе абсолютной тайны. Победа над Пиплэ есть «самое решительное поражение тайны». «Более ловкий, более смелый не дал бы шутке ввести себя в обман».

6. ГОРЛИЦА (РИГОЛЕТТА).

«Остается сделать еще один шаг. Тайна в своем собственном последовательном развитии неминуемо приходит к тому, что вынуждена, как мы видели на примере Пиплэ и Кабриона, унизиться до простого фарса. Требуется еще только, чтобы личность не соглашалась более разыгрывать глупую комедию. Горлица делает этот шаг самым простодушным образом».

Всякий может в течение двух минут постичь тайну этого спекулятивного фарса и научиться самому применять его. Мы дадим краткие указания на сей случай.

Задача. Покажите мне, каким образом человек становится господином над животными?

Спекулятивное решение. Предположим, что нам дано с полдюжины животных: скажем, например, лев, акула, змея, буйвол, лошадь и мопс. Абстрагируем из этих шести животных категорию: «животное вообще». Представим себе «животное вообще» как самостоятельное существо. Будем рассматривать льва, акулу, змею и т. д. как частные превращения, воплощения «животного вообще». Подобно тому как мы обратили предмет нашего воображения, «животное» нашей абстракции, в действительное существо, обратим теперь действительных животных в существа нашей абстракции, нашего

воображения. Отсюда видно, что «животное вообще», которое в образе льва раздирает человека на части, в образе акулы проглатывает его, в образе змеи отравляет его, в образе буйвола вонзает в него свои рога, в образе лошади бьет его копытами, — что это самое «животное вообще» в образе мопса только лает на человека и превращает борьбу с человеком в простую видимость битвы. «Животное вообще» в своем собственном последовательном развитии приходит к тому, что вынуждено, как мы видели на примере мопса, унизиться до роли простого шутника. Если, таким образом, какой-нибудь ребенок или впавший в ребячество человек удирает от мопса, то остается только добиться того, чтобы личность не соглашалась более разыгрывать глупую комедию. Личность *x* делает этот шаг самым, что ни на есть, простодушнейшим образом, пуская в ход против мопса свою бамбуковую палку. Отсюда вы можете видеть, каким образом «человек вообще», в лице *x* и при посредстве мопса, становится господином над «животным вообще», а стало быть — и над действительными животными, и каким образом человек, преодолев животное в образе мопса, тем самым преодолел льва как животное.

Подобным же образом «Горлица» господина Шелиги при помощи господина Пипля и Кабриона побеждает тайны существующего мирового порядка. Более того! Она сама есть не что иное, как реализация категории «тайна вообще».

«Она сама еще не сознает своей высокой нравственной ценности и поэтому она еще для самой себя тайна».

Устами Мурфа Эжен Сю раскрывает нам тайну неспекулятивной Риголетты. Она — «une fort jolie grisette». В ее лице Эжен Сю хотел изобразить приветливый, человеческий характер парижской гризетки. Но опять-таки, из желания угодить буржуазии и по собственной сентиментальности, он должен был морально идеализировать гризетку. Он должен был сгладить все *pointes*, все остро выдающиеся черты ее характера и ее положения, именно: ее пренебрежение к официальной форме брака, ее наивные отношения к студенту или рабочему. Именно эти отношения и создают из нее истинно человеческий контраст ханжеской, бессердечной и себялюбивой супруге буржуа и всему кругу буржуазии, т. е. всему официальному обществу.

7. МИРОВОЙ ПОРЯДОК «ПАРИЖСКИХ ТАЙН».

«Этот мир тайн есть, собственно говоря, всеобщий мировой порядок, в который перенесено индивидуальное действие Парижских тайн». Прежде чем «между тем... перейти к философскому

воспроизведению эпического происшествия», господин Шелига должен еще «соединить в одну общую картину все прежние, слегка набросанные отдельные этюды».

Когда нам господин Шелига говорит, что он намерен перейти к «*философскому воспроизведению*» эпического происшествия, то мы эти слова должны рассматривать как действительное признание, как разоблачение его критической тайны. Он до сих пор «*философски воспроизводил*» мировой порядок.

Господин Шелига продолжает свое признание:

«Из нашего изображения предмета вытекает, что отдельные рассмотренные тайны обладают ценностью не каждая сама по себе, отделенная одна от другой, что они не какие-нибудь великолепные сплетни. Ценность их состоит в том именно, что они образуют из себя *органическую цепь звеньев, целостность* которых есть «тайна».

В своем откровенном настроении господин Шелига заходит еще дальше. Он сознается, что «*спекулятивная цепь*» не есть *действительная* цепь «Парижских тайн».

«Правда, в нашем эпосе тайны выступают не в том отношении каждого последующего звена к предыдущему, какое свойственно этой *самой о себе знающей цепи* (по определенной цене?). Но мы тут имеем дело не с *логическим*, открытым для взоров всякого, *свободным организмом критики*, а с *таинственным растительным бытием*».

Но оставим в стороне сводку, произведенную господином Шелигой, и перейдем тотчас же к тому пункту, который образует «переход». На примере Пиплэ мы познакомились с «самоосмеянием тайны». «Самоосмеянием тайна сама себе выносит приговор. Уничтожая себя самих в своем последнем выводе, тайны *тем самым* побуждают каждый сильный характер к самостоятельной проверке». Родольф, князь Герольштейнский, *муж «чистой критики*», призван к этому подвигу проверки и «*разоблачения тайн*».

Если мы займемся Родольфом и его подвигами лишь после того, как на некоторое время потеряем из виду господина Шелигу, то зато можно уже наперед сказать, а читатель может до известной степени подозревать и, если угодно, даже предугадывать, что мы превратим Родольфа из «*таинственного растительного бытия*», каковым он является в критической «Литературной газете», в «*логический, открытый для взоров всякого, свободный член*» в «*организме критической критики*».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

АБСОЛЮТНАЯ «КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА».

или же

КРИТИКА В ЛИЦЕ Г-НА БРУНО.

1. ПЕРВЫЙ ПОХОД АБСОЛЮТНОЙ КРИТИКИ.

а) «Дух» и «масса».

До сих пор казалось, что критическая критика, в большей или меньшей степени, занята критической обработкой равнообразных *массовых* предметов. Теперь же мы находим ее занятой абсолютно критическим предметом, — *самой собой*. До сих пор она почерпала свою относительную славу из критического унижения, отвержения и преобразования *определенных* массовых предметов и лиц. Теперь же она почерпает свою *абсолютную* славу из критического унижения, отвержения и преобразования массы в ее всеобщности. На пути относительной критики стояли относительные преграды. На пути абсолютной критики стоит абсолютная преграда, преграда массы, масса как преграда. Относительная критика, в своем противоположении определенным преградам, сама была необходимо *ограниченным* индивидуумом. Абсолютная критика, в своем противоположении *всеобщей* преграде, преграде как таковой, должна быть *абсолютным* индивидуумом. Подобно тому как в *нечистом* месиве «массы» слились воедино равнообразные массовые предметы и лица, точно так же и кажущаяся еще предметной и личной критика преобразилась в «чистую критику». До сих пор критика казалась, в большей или меньшей степени, *свойством* отдельных критических индивидуумов — Рейхарта, Эдгара, Фаухера и т. д. Теперь она — *субъект*, а господин Бруно — ее воплощение.

До сих пор *массовость* казалась, в большей или меньшей степени, *свойством* критикуемых предметов и лиц; теперь предметы и лица стали «массой», а «масса» стала предметом и лицом. Все прежние критические отношения растворились теперь в отношении абсолютной критической мудрости к абсолютной массовой глупости. Это *основное*

отношение оказывается смыслом, тенденцией, лозунгом прежних критических деяний и битв.

Согласно с своим абсолютным характером, «чистая» критика уже при первом своем выступлении скажет свое отличительное *«первое слово»*; но, не взирая на это, она, как абсолютный дух, должна будет проделать целый диалектический процесс. Лишь в конце ее небесного движения истинным образом воплотится в действительность ее первоначальное понятие. (См. Гегель, Энциклопедия.)

«Еще несколько месяцев тому назад, — возвещает абсолютная критика, — масса считала себя гигантски сильной и предназначенной к мировому господству, близость которого она готова была считать по пальцам».

Кто же, как не сам Бруно Бауэр в своем «Правом деле свободы» (разумеется, своем *«собственном»* деле), в «Еврейском вопросе» и т. д., — кто, как не он сам, сосчитывал по пальцам близость приближающегося мирового господства, хотя он и сознавался, что не может укавать точно числа? Чтобы заполнить реестр грехов массы, он наделяет массу своими собственными грехами.

«Масса воображала себя обладательницей множества истин, кававших ей само собой разумеющимися». *«Истиной же обладают целиком лишь тогда... когда последовали за ней через всю цепь ее доказательств».*

Истина для Бауэра, как и для Гегеля, *автомат*, который сам себя доказывает. Человеку остается *следовать* за ней. Как и у Гегеля, результат действительного развития есть не что иное, как *доказанная*, т. е. доведенная до *сознания истина*. Абсолютная критика может поэтому вместе с ограниченнейшим теологом спросить:

«Для чего нужна была бы история, если б ее задача не заключалась в том, чтобы доказать именно самые простые из всех истин (как, например, движение земли вокруг солнца)?»

Как у прежних телеологов растения существовали для того, чтобы быть пожираемыми животными, а животные для того, чтобы быть пожираемыми человеком, так и история существует для того, чтобы прислуживать при потребительном акте теоретического пожирания, *доказательства*. Человек существует для того, чтобы существовала история, история же для того, чтобы существовало *доказательство истин*. В этой критически тривиальной форме повторяется та спекулятивная мудрость, которая утверждает, что человек и история существуют для того, чтобы *истина* пришла к *самосознанию*.

Подобно истине, история становится, таким образом, особой личностью, метафизическим субъектом, а действительные человеческие личности простыми носителями этого метафизического субъекта. Абсолютная критика прибегает поэтому к фразеологии. «История не позволяет насмехаться над собой, история употребила величайшие усилия для этого... история занялась... для чего же и нужна была история?... история самым непреложным образом доказывает... история раскрывает истины, и т. д.»

Если, как утверждает абсолютная критика, до сих пор историю занимали *две-три* (самых простых) истины, которые в конце концов и сами по себе понятны, то эта скудость, приписываемая критикой всему прежнему человеческому опыту, прежде всего указывает на скудость самой критики. С некритической точки зрения результат истории, напротив, тот, что самая сложная истина, существеннейшее содержание всякой истины — *люди* начинают в конечном итоге понимать самих себя.

«Истины же, — продолжает дальше демонстрировать абсолютная критика, — истины же, которые *кажутся* массе столь очевидными, что они уже с самого начала сами по себе понятны и не нуждаются, по мнению массы, в доказательствах, не стоят того, чтобы история искала для них непреложных доказательств; они вообще не входят в круг задач, которые ставит себе история».

В пылу священного негодования против массы абсолютная критика преподносит массе тончайшую лесть. В самом деле, если истина потому очевидна, что она *кажется* таковой массе, если история определяет свое отношение к истинам на основании мнения массы, то в таком случае суждение массы абсолютно, непогрешимо: оно имеет силу закона для истории, которая доказывает лишь то, что для массы не очевидно, и посему нуждается в доказательстве. Масса, таким образом, предписывает истории ее «задачу» и ее «занятие».

Абсолютная критика говорит об «истинах, которые с самого начала понятны сами по себе». В своей критической наивности она изобретает абсолютное «с самого начала» и абстрактную, неизменную «массу». «С самого начала» массы XVI столетия и «с самого начала» массы XIX столетия, — оба этих «с самого начала» в глазах абсолютной критики столь же мало отличаются друг от друга, как сами эти массы. Характерная особенность понятной самой по себе истины, ставшей *подлинной* и *очевидной*, в том именно и заключается, что она «с самого начала понятна сама по себе». Poleмика абсолютной критики против истин, которые с самого начала сами по себе понятны, есть poleмика против истин, которые вообще «понятны сами по себе».

Истина, которая понятна сама по себе, потеряла для абсолютной критики, как и для божественной *диалектики*, всю свою соль, весь свой смысл и всякую *ценность*. Она сделалась безвкусной, как отстоявшаяся вода. Поэтому абсолютная критика, с одной стороны, доказывает все, что понятно само по себе, и, кроме того, много таких вещей, которые имеют счастье быть непонятными и никогда поэтому не станут понятными сами по себе. С другой же стороны, ей кажется понятным само по себе то, что нуждается в дальнейшем доказательстве. Почему? Потому что *действительные задачи*, как это *само собою* понятно, *не* понятны сами по себе.

Так как истина вообще, как и история, есть эфирный, оторванный от материальной массы субъект, то она обращается не к эмпирическим людям, а к *«недрам души»*. Чтобы приобрести *«истинный опыт»*, она нащупывает не *грубое тело* человека, помещающееся где-нибудь в глубине английского погребца или же на чердаке французской казармы, а *«тянется»* через *«весь»* его идеалистический кишечник. Абсолютная критика выдает, правда, *«массе»* свидетельство в том, что она на свой манер, т. е. поверхностно, затронута была теми истинами, о которых, по милости своей, *«заводила речь»* история; но в то же время критика пророчествует, что *«отношение массы к историческому прогрессу коренным образом изменится»*. Тайный смысл этого критического пророчества не преминет сделаться для нас *«ясным, как божий день»*.

«Все великие дела прежней истории, — узнаем мы, — потому именно были с самого начала ошибочны и не сопровождались проникающим в глубь успехом, что масса *интересовалась* ими, что они вызывали *энтузиазм* массы. Или же дела эти должны были иметь жалкий конец потому, что идея, которая лежала в основе этих дел, была такого рода, что она должна была удовлетвориться поверхностным пониманием себя, а следовательно рассчитывать также на одобрение массы». Казалось бы, что понимание, которым способна удовлетвориться идея, т. е. которое соответствует идее, тем самым перестает быть поверхностным. Господин Бруно только для *виду* приводит *отношение* между идеей и ее *пониманием*, точно так же как он только для *виду* приводит *отношение* ошибочного исторического дела к *массе*. Если поэтому абсолютная критика действительно подвергает что-нибудь проклятию за *«поверхностность»*, так это именно всю прежнюю историю вообще, дела и идеи которой были идеями и делами *«масс»*. Она отвергает *массовую* историю и на ее место готова поставить *критическую* историю (см. господина Юлия Фаухера об английских злободневных вопросах). Прежняя, *некритическая* исто-

рия, т. е. история, писаная не в том смысле, какой придает ей абсолютная критика, заставляет нас, далее, строго различать две вещи: насколько *масса «интересовалась»* известными целями и насколько эти цели *«вызывали энтузиазм»* массы. *«Идея»* неизменно посрамляла себя, лишь только она отделялась от *«интереса»*. С другой стороны, легко понять, что всякий массовый, исторически осуществляемый *«интерес»*, когда он впервые появляется на мировой сцене, в *«идее»* или *«представлении»* далеко выходит за свои действительные границы и легко смешивает себя с *«человеческим»* интересом вообще. Эта иллюзия отражает именно то, что Фурье называет *тоном* каждой исторической эпохи. *Интерес* буржуазии в революции 1789 г., далекий от того, чтобы быть *«ошибочным»*, все *«выиграл»* и имел *«глубоко проникающий успех»*, как бы впоследствии ни рассеялся дым *«пафоса»* и как бы ни увяли *«энтузиастические»* цветы, которыми он украсил свою колыбель. Этот *интерес* был так могуществен, что победоносно преодолел перо Марата, гильотину террористов, меч Наполеона, равно как и распятие и чистокровность Бурбонов. *«Ошибочной»* революция была только для той *«массы»*, *политическая «идея»* которой не была идеей ее действительного *«интереса»*, истинный жизненный принцип которой не совпадал поэтому с жизненным принципом революции, реальные условия освобождения которой существенно отличны от условий, внутри которых буржуазия могла освободить себя и общество. Если, таким образом, революция, являющаяся прообразом всякого великого исторического «дела», ошибочна, то она ошибочна потому, что та масса, в рамках жизненных условий которой по существу нашла себе место революция, была массой *исключительной*, не охватывающей всей совокупности населения, *ограниченной* массой. Если, значит, революция ошибочна, то не потому, что масса *«заинтересована была»* в ней, не потому, что революция *«вызывала ее энтузиазм»*, а потому, что для самой многочисленной части массы, части, отличной от буржуазии, принцип революции не был ее *действительным* интересом, не был ее *собственным* революционным принципом, а *только «идеей»*; следовательно, только предметом временного *энтузиазма* и только кажущегося *подъема*.

Вместе с основательностью исторического действия будет, следовательно, расти и объем массы, делом которой оно является. В критической истории, согласно которой в исторических делах важны не действующие массы, не эмпирическое действие и не эмпирический *интерес* этого действия, а, напротив того, *«идея»*, положенная *«в них»*, — в такой истории вещи представляются, конечно, в другом свете.

«В массе, — поучает нас критика, — а не в чем-либо другом», как думают прежние либеральные глашатаи, «следует искать истинного врага духа».

Врагами прогресса вне массы являются именно наделенные самостоятельным существованием, *собственной* жизнью, *продукты самоунижения, самоотвержения и самоотчуждения массы*. Поэтому масса, восставая против самостоятельно существующих *продуктов ее самоунижения*, восстает тем самым против своего *собственного* недостатка, подобно тому как человек, объявляя войну существованию бога, тем самым объявляет войну своей *собственной религиозности*. Но так как эти *практические* результаты самоотчуждения массы имеют, в действительности, внешнее существование, то масса вынуждена поэтому бороться с ними тоже *внешним* образом. Она никоим образом не должна смотреть на эти продукты своего самоотчуждения как на исключительно *идеальные* фантазмагии, просто как на *отчуждения самосознания*, и не должна желать уничтожить *материальное* отчуждение при помощи чисто *внутреннего спиритуалистического* действия. Еще в газете Лустало 1789 г. имелся эпиграф:

Les grands ne nous paraissent grands
Que parce que nous sommes à genoux.
— — Levons nous! — — ¹

Но, чтобы подняться, недостаточно подняться в *мыслях* и оставить висеть над *действительной, чувственной* головой *действительное, чувственное* ярмо, которого не отгонишь прочь никаким колдовством с помощью идей. А между тем *абсолютная критика* научилась в *Феноменологии* Гегеля, по крайней мере, одному искусству — превращать *реальные, объективные, вне меня* существующие цепи в *исключительно идеальные, исключительно субъективные, исключительно во мне* существующие цепи и поэтому все *внешние, чувственные* битвы превращать в битвы чистых идей.

Это критическое превращение служит основанием *предустановленной гармонии критической критики и цензуры*. С критической точки зрения борьба писателя с цензором не есть борьба «человека с человеком». Цензор, напротив того, есть не что иное, как *мой собственный*, руками заботливой полиции *олицетворенный* для меня *такт*, мой собственный такт, ведущий борьбу с моей бестактностью и некритичностью. Борьба писателя с цензором есть

¹ Великие нам кажутся великими лишь потому, что мы стоим на коленях. — Поднимемся же!

только с виду, только в глазах дрянной чувственности, нечто другое, нежели *внутренняя* борьба писателя с самим собой. Цензор, поскольку я его принимаю за действительно, индивидуально отличное от меня существо, за *полицейского слугу*, обезображивающего творение моего духа внешним, чуждым самой вещи масштабом, есть не более, как плод *массового* воображения, *некритичная химера*. Если тезисы Фейербаха к реформе «философии» вычеркнуты были цензурой, то виной тому было не официальное варварство цензуры, а некультурность *фейербаховских тезисов*. Не загрязненная всяческой массой и материей, «чистая» критика видит также и в цензоре чисто «эфирный», оторванный от всякой массовой действительности образ.

Абсолютная критика объявила «массу» истинным врагом духа. Она изъясняет свою мысль подробно и говорит:

«Дух знает теперь, где ему *искать* своего единственного противника, — в самообманах и бесформенности массы».

Абсолютная критика исходит из *догмы* абсолютной правомочности «духа». Она, далее, исходит из *догмы* *внемирового* существования духа, т. е. из существования духа вне массы человечества. Наконец, она превращает, с одной стороны, «дух», «прогресс», с другой — «массу» в *застывшие* сущности, в понятия, и противопоставляет их друг другу как данные неизменные крайности. Абсолютной критике не приходит на ум исследовать самый «дух», исследовать, не служат ли его собственная спиритуалистическая природа, его дутые претензии источником «фразы», «самообмана», «бесформенности». Дух, напротив, *абсолютен*, но, к несчастью, он в то же время сбивается на свою противоположность, на *неразумие*: его расчеты всегда сделаны без хозяина. Он поэтому обязательно должен иметь *противника*, который интригует против него. Этим *противником* и оказывается масса.

Точно так же обстоит дело и с «прогрессом». Вопреки претензиям «прогресса», всегда замечаются случаи *регресса* и *кругового движения*. Не догадываясь, что категория «прогресса» лишена всякого содержания и абстрактна, абсолютная критика, напротив того, настолько глубокомысленна, что признает «прогресс» абсолютным для того, чтобы для объяснения регресса суметь подставить «личного противника» прогресса, *массу*. Так как «масса» — не что иное, как «*противоположность духа*», прогресса, «критики», то она может быть определена не иначе, как при посредстве этого мнимого противоречия. Отвлекаясь же от этого противоречия, критика может сказать о *смысле* и бытии массы лишь нечто совершенно неопределенное, а потому *бессмысленное*: «Масса в том смысле, в каком также

понимает это «слово» так называемый образованный мир». Какое-нибудь «также» или «так называемый» вполне достаточны для кригического определения. Масса отличается, таким образом, от *действительных* масс и существует, как «масса», только для «критики».

Все коммунистические и социалистические писатели исходили из наблюдения, что, с одной стороны, даже самым благоприятным образом обставленные блестящие деяния видимо остаются без блестящих результатов и вырождаются в тривиальности; с другой же стороны, *все успехи духа* были до сих пор *успехами в ущерб массе человечества*, которая попадала во все более и более бесчеловечное положение. Они объявили поэтому «прогресс» (см. Фурье) неудовлетворительной абстрактной фразой; они догадывались (см., между прочим, Оуэна) о существовании основного порока цивилизованного мира; они подвергли поэтому *действительные* основы современного общества резкой *критике*. Этой коммунистической критике непосредственно сопутствовало движение *широкой массы*, в противоречии с интересами которой происходило до сих пор историческое развитие. Нужно быть знакомым с жаждой знания, с любознательностью, нравственной энергией и неутомимым стремлением к саморазвитию французских и английских рабочих, чтобы иметь представление о *человеческом* благородстве этого движения.

Как же безгранично *остроумна* должна быть «абсолютная критика», чтобы, при наличности всех этих фактов из области духовной и практической жизни, суметь усмотреть *одну* лишь сторону явления, постоянное крушение духа, и в досаде на это обстоятельство пуститься еще в поиски за *противником* «духа», которого она и находит в «массе»! В конце концов все это великое критическое *открытие* сводится к *тавтологии*. На взгляд критики дух до сих пор всегда наталкивался на преграду, препятствие, — иными словами, всегда имел *противника*. Почему? *Потому что у него был противник!* Кто же противник *духа*? Духовная пустота. Критика определяет ведь «массу» только как «противоположность» духа, как *духовную пустоту*, а если взять более точные определения духовной пустоты — как «наглость», «поверхностность», «самодовольство». Какое огромное преимущество перед коммунистическими писателями — избавить себя от исследования источников духовной пустоты, наглости, поверхностности и самодовольства и, вместо того, *открыв*, что эти свойства являются противоположностями духа, прогресса, *ваняться моральным* посрамлением этих свойств! Когда эти свойства объявляются качествами массы, как отличного еще от самих свойств *субъекта*, то подобное различие — не что иное, как «критическая»

видимость различия. Только *видимость* и то, что абсолютная критика, кроме абстрактных свойств духовной пустоты, наглости и т. д., обладает еще и *определенным* конкретным субъектом, ибо «масса» в критическом понимании есть не что иное, как те же абстрактные свойства: «масса» — это только их другое название, их фантастическое олицетворение.

Отношение «духа и массы» имеет, однако, еще и другой, *скрытый* смысл, который вполне вскроется в дальнейшем ходе рассуждений. Мы только наметим существо дела. *Открытое* господином Бруно отношение «духа» и «массы», на самом деле, не что иное, как *критически-карикатурное завершение гегелевского понимания истории*, которое, в свою очередь, не что иное, как *спекулятивное выражение христианско-германской догмы о противоположности духа и материи, бога и мира*. Внутри границ истории, внутри границ самого человечества противоположность эта выражается в том именно, что немногие избранные *личности*, в качестве *активного духа*, противостоят остальному человечеству как *неоухотворенной массе*, как *материи*.

Гегелевское понимание истории предполагает существование *абстрактного*, или *абсолютного*, духа, который развивается таким образом, что человечество представляет лишь *массу*, являющуюся бессознательной или сознательной носительницей этого духа. Внутри границ *эмпирической*, *экзотерической* истории Гегель заставляет поэтому разыгрываться *спекулятивную*, *экзотерическую* историю. История человечества превращается в историю *абстрактного* и потому для действительного человека *потустороннего духа* человечества.

Параллельно этой гегелевской доктрине, во Франции развилось учение *доктринеров*, провозгласивших, в противовес *суверенитету народа*, *суверенитет разума*, с целью исключить массы и удержать власть исключительно в *своих* руках. Это было вполне последовательно. Если деятельность *действительного* человечества — не что иное, как деятельность *массы* человеческих личностей, то, наоборот, *абстрактная всеобщность* — разум, дух — должна найти себе абстрактное, исчерпываемое немногими личностями выражение. От положения и воображения каждой отдельной личности зависит уже, желает ли она выдать себя за представителя «духа» или нет.

Уже у *Гегеля* *абсолютный дух* истории в *массе* обладает нужным ему материалом, соответственное же выражение он находит себе лишь в *философии*. Философ является, однако, лишь органом, в котором творящий историю абсолютный дух, по завершении движения,

ретроспективно приходит к сознанию самого себя. Этим ретроспективным сознанием философа ограничивается его участие в истории, ибо действительное движение совершается абсолютным духом *бессознательно*. Таким образом философ является на сцену *post festum*.

Гегель дважды обнаруживает половинчатость: во-первых, когда он объявляет философию наличным бытием абсолютного духа и в то же время отказывается объявить *действительный философский индивидуум абсолютным духом*; во-вторых, когда он заставляет абсолютный дух, в качестве абсолютного духа, творить историю лишь для *видимости*. Так как абсолютный дух именно лишь *post festum*, в философе, приходит к *сознанию* себя как творческого мирового духа, то его фабрикация истории существует лишь в сознании, мнении и представлении философа, лишь в спекулятивном воображении. Господин Бруно устраняет половинчатость Гегеля.

Во-первых, он объявляет критику абсолютным духом, а *себя самого* критикой. Как элемент критики изгнан из массы, так и элемент массы изгнан из критики. Критика считает себя поэтому воплощенной не в *массе*, а исключительно в небольшой *кучке* избранных людей, в господине *Бауре* и его учениках.

Господин Бруно упраздняет и другую половинчатость Гегеля: между тем как гегелевский «дух» творит историю лишь *post festum*, в фантазии, — критик, в противоположность массе остального человечества, *сознательно* разыгрывает роль *мирового духа*; он в настоящем уже становится в *драматическое* отношение к этой массе, изобретает и осуществляет историю с определенным намерением и по зрелом размышлении.

На одной стороне стоит масса как пассивный, неодухотворенный, исторически бесплодный *материальный* элемент истории; на другой стороне — дух, критика, господин Бруно и К⁰ как элемент активный, от которого исходит всякое *историческое* действие. Дело преобразования общества сводится к *мозговой деятельности* критической критики.

Мало того! Связь критики, значит и связь воплощенной критики господ Бруно и К⁰, с массой есть поистине *единственная* историческая связь настоящего. Вся теперешняя история сводится к движению обеих этих сторон по отношению друг к другу. Все противоречия слились в этом *критическом* противоречии.

Критическая критика, обретающая конкретное существование лишь в своем *противоположении* массе, *глупости*, вынуждена поэтому постоянно *воспроизводить* свою противоположность, и господа Фаухер, Эдгар и Шелига представили нам достаточно доказательств той

виртуозности, которой они отличаются в своей специальности — *массовом оуплении* лиц и вещей.

Последуем теперь за абсолютной критикой в ее *походах* против массы.

б) *Еврейский вопрос № 1. Постановка вопросов.*

В противоположность массе «дух» тотчас же обнаруживает свою *критичность*, рассматривая свое собственное ограниченное произведение, «*Еврейский вопрос*» Бруно Бауэра, как абсолютное, а противников этого произведения — как грешников. В реплике № 1 на нападки на это произведение он не обнаруживает и тени сомнений в достоинствах последнего; напротив, он утверждает, что раскрыл «истинное» и «*всеобщее*» (1) значение еврейского вопроса. В своих повнейших репликах как мы увидим, он вынужден признать свои «*промахи*».

«Прием, оказанный моей работе, есть *начало* доказательства того, что именно те, которые до сих пор ратовали за свободу и теперь еще продолжают ратовать за нее, больше всех должны восставать против духа. Предпринимаемая мною теперь защита этой работы представит дальнейшие доказательства того, насколько бедны мыслью *глашатаи* массы, возомнившие себя бог весть сколь великими оттого, что они выступили сторонниками эмансипации и догмы о «*человеческих правах*».

Выход в свет произведения абсолютной критики необходимо должен был *побудить* «массу» выказать свое враждебное отношение к духу, так как самое *существование* «массы» обусловлено ведь и *доказывается* наличием противоречия между массой и абсолютной критикой.

Полемика некоторых либеральных и рационалистических евреев против «Еврейского вопроса» господина Бруно имеет, конечно, совершенно другой критический смысл, нежели «массовая» полемика либералов против философии и рационалистов против Штрауса. О степени оригинальности вышеприведенного замечания можно, впрочем, судить по следующему месту, цитируемому нами из *Гегеля*: «Следует здесь обратить внимание на ту особую форму нечистой совести, которая находит себе выражение в специфической велеречивости этих напыщенных в своей ограниченности господ (либералов). И прежде всего нужно указать на то именно, что там, где эта велеречивость в наибольшей мере обнаруживает *пустоту духовного содержания*, она всего более трактует о *духе*; где она наиболее мертва и деревянна, она всего более имеет на устах своих слово *жизнь* и т. п.».

Что касается «человеческих прав», то господину Бруно было уже доказано («К еврейскому вопросу», «Немецко-французские летописи»), что не *глашатаи массы*, а, наоборот, «он сам» не понял сущности этих «прав» и догматически исковеркал их. В сравнении с его открытием, что человеческие права не «прирождены», — открытием, которое в Англии в течение 40 лет открываемо было бесконечное число раз, — в сравнении с этим открытием следует назвать гениальным утверждение Фурье, что рыбная ловля, охота и проч. суть прирожденные человеческие права.

Мы приведем только несколько примеров из спора господина Бруно с *Филипсоном*, *Гиршем* и проч. Даже эти жалкие противники не окажутся побежденными абсолютной критикой. Вопреки мнению абсолютной критики, господин *Филипсон* никоим образом не утверждает чего-либо нескладного, когда посылает ей следующий упрек: «Бауэр мыслил себе особого рода государство... *философский идеал государства*». Господин Бруно, смешивавший государство с человечеством, человеческие права с человеком, политическую эмансипацию с человеческой, должен был необходимым образом, если и не мыслить, то воображать себе государство особого рода, философский идеал государства.

«Декламатор (господин Гирш) сделал бы лучше, если б, вместо до-нельзя утомительного изложения своей мысли, опроверг мое доказательство, что *христианское государство*... не может предоставить последователям какой-либо другой определенной религии полного равенства в правах с христианскими сословиями, так как его жизненным принципом является существование одной определенной религии».

Если бы декламатор *Гирш* действительно опроверг доказательство господина Бруно и — как это сделано в «Немецко-французских летописях» — доказал, что государство сословий и исключительного христианства есть не только несовершенное государство вообще, но и несовершенное *христианское* государство, то господин Бруно ответил бы то же, что он ответил на другое возражение: «Упреки в этом деле лишены всякого значения». В ответ на утверждение Бруно, что «евреи своим давлением на пружины истории вызвали контрдавление», господин Гирш совершенно основательно замечает: «В таком случае евреи должны были составлять нечто в деле строительства истории, и, если сам Бауэр утверждает это, то он, с другой стороны, неправ, утверждая, что они ничего не внесли своего в дело строительства новейшей эпохи». Господин Бруно отвечает: «Сучок в глазу тоже составляет нечто. Вносит ли он поэтому что-либо в рав-

витие чувства зрения?» Сучок, который, подобно еврейству среди христианского мира, со дня рождения моего сидит у меня в глазу, остается там сидеть, вместе с глазом растет и развивается, не есть какой-нибудь обыкновенный сучок: это в высшей степени чудесный, неотъемлемый от глаза моего сучок, который должен обусловить собой в высшей степени оригинальное развитие моего чувства зрения. Таким образом критический «сучок» не пронзает насквозь декламирующего «Гирша» (по-немецки Hirsch — олень). Впрочем, вышеприведенное возражение раскрыло господину Бауэру глаза на значение еврейства для «дела строительства новейшей эпохи».

Теологическая душа абсолютной критики почувствовала себя настолько оскорбленной замечанием одного *депутата рейнского ландтага*, будто «евреи *чуждаваты* на свой, еврейский, а не наш, так называемый христианский, лад», что долго спустя не забывает «призвать депутата к *порядку* за употребление такого аргумента».

По поводу утверждения другого депутата, что «*гражданское* равноправие евреев возможно лишь там, где само еврейство уже не существует больше», господин Бруно замечает: «Правильно! и правильно тогда именно, когда принято во внимание указание критики и на другую сторону дела», т. е. указание, что и христианство, в свою очередь, должно было бы перестать существовать.

Отсюда видно, что абсолютная критика в № 1 своей реплики на нападки на «Еврейский вопрос» все еще смотрит на уничтожение религии, на атеизм, как на необходимое условие *гражданского* равенства. Таким образом, в первой стадии разработки еврейского вопроса критика *еще* не успела догадаться об истинной сущности государства и о «*промахе*» своего «*труда*».

Абсолютная критика обижается, когда кто-нибудь доказывает, что *сделанное* ею «новейшее» научное открытие — не что иное, как повторение давно уже общераспространенного взгляда. Один рейнский депутат заметил: «Никому еще не приходило в голову утверждать, что Франция и Бельгия обнаружили особую ясность принципов при организации своих политических учреждений». Абсолютная критика могла бы ответить, что это утверждение переносит настоящее в прошедшее, выдавая ставшее теперь тривиальным мнение о неудовлетворительности французских политических принципов за традиционное мнение. Это — возражение по существу дела, но такое возражение не удовлетворило бы критики. Она, наоборот, считает нужным изобразить устаревшее мнение как мнение, господствующее и поныне, господствующее же теперь мнение обратить в

критическую тайну, которую ей остается еще раскрыть массе при помощи *своих* исследований. Она должна поэтому сказать:

«Это (устаревший предрассудок) утверждалось *многими* (массой); но *основательное исследование истории покажет*, что *даже* после великих работ Франции *многое еще* осталось сделать для познания принципов». Итак, основательное историческое исследование само не «*сделает работу*», т. е. не познает принципы. Нет, благодаря своей основательности оно *докажет* лишь, что «*многое еще осталось сделать*». Великая работа! В особенности великая после трудов социалистов. Однако по части познания существующих теперь общественных отношений господин Бруно *многое уже* сделал следующим своим замечанием:

«Господствующая в настоящее время *определенность* есть *неопределенность*».

Если Гегель говорит, что господствующая *китайская* определенность есть «Бытие», господствующая *индийская* определенность есть «Ничто» и т. д., то абсолютная критика «чистым» образом при-мыкает в Гегелю, сводя характер настоящего времени к логической категории «*неопределенности*», — тем более чистым образом, что наравне с «Бытием» и «Ничто» «Неопределенность» также входит в первую главу спекулятивной логики, в главу о «*Качестве*».

Мы не можем расстаться с № 1 «*Еврейского вопроса*», не сделав одного общего замечания.

Одна из главных задач абсолютной критики — это прежде всего дать всем вопросам времени *правильную постановку*. Она собственно отвечает не на *действительные* вопросы, а подставляет *совершенно другие* вопросы. Так как она делает все, то она раньше всего должна *сделать* «текущие вопросы», т. е. сделать их *своими*, критически-критическими вопросами. Если бы речь шла о кодексе Наполеона, она бы доказала, что, *в сущности*, речь идет о «*Пятикнижии*». Ее *отношение* к текущим вопросам есть *искажение* и *перетасовка* содержания этих вопросов. Так, например, она преобразила еврейский вопрос таким образом, что ей уже не было надобности заняться исследованием *политической эмансипации*, составляющей содержание вопроса, и она могла, напротив, удовольствоваться критикой еврейской религии и изображением христианско-германского государства.

Подобно всем прочим оригинальным проявлениям абсолютной критики, и эта метода, в свою очередь, представляет повторение *спекулятивного фокуса*. *Спекулятивная философия*, именно *гегелевская философия*, считала необходимым переводить все вопросы

ив формы здравого человеческого рассудка в форму спекулятивного разума и превращать действительный вопрос в *спекулятивный*, чтобы суметь ответить на него. Извращая *мои* вопросы и влагая мне в уста *свои* вопросы, наподобие того, как это делает катехизис, спекулятивная философия могла, конечно, как и катехизис, иметь в запасе готовый ответ на каждый мой вопрос.

в) Гинрихс № 1. Таинственные намеки в области политики, социализма и философии.

«*Политическое!*» Абсолютную критику буквально приводит в негодование самое присутствие этого слова в лекциях профессора Гинрихса.

«Кто следил за общественным развитием новейшего времени и знаком с историей, тот должен знать *также*, что политические движения, происходящие в настоящее время, имеют *совершенно другое (!)* значение, а никак не *политическое*: в основе своей» (в основе!.. дальше следует основательная мудрость) «движения эти имеют значение *общественное*, которое, как известно (!), такого рода (!), что рядом с ним *все* политические интересы кажутся *лишними значения (!)*».

За несколько месяцев до выхода в свет критической «Литературной газеты» появилось, *как известно (!)*, в печати фантастическое политическое произведение господина Бруно: «*Государство, религия и партия*».

Если *политические* движения имеют *общественное значение*, каким же образом политические интересы могут казаться *лишними значения* по отношению к своему собственному общественному значению?

«Господин Гинрихс не может найтись ни у себя дома, ни где бы то ни было на свете... Он ни в чем не мог ориентироваться, *потому что... потому что* критика, которая в последние четыре года начала и делала свою *никоим образом не «политическую», а общественную (!)* работу, осталась для него *совершенно (!)* неизвестной».

«Критика», которая, по мнению массы, делала *«никоим образом не политическую», а «всякого рода теологическую»* работу, довольствуется и теперь еще, когда она впервые не только за все эти четыре года, а впервые со дня своего литературного рождения произносит слово *«общественный»*, — и теперь еще довольствуется *этим словом!*..

С тех пор как социалистические сочинения распространили в Германии взгляд, что *все* человеческие стремления и дела, все без исключения, имеют *общественное* значение, с тех пор господин Бруно может и свои теологические работы называть *общественными*. Но что за *критическое* требование, чтобы профессор Гинрихс почерпал социализм из *знакомства* с сочинениями *Бауэра*, когда все писания Б. Бауэра, появившиеся до лекций Гинрихса, повсюду, где эти писания приходят к практическим выводам, приходят к выводам *политическим*! Говоря некритически, профессор Гинрихс никоим образом не мог пополнить явившиеся уже в свет писания господина Бруно писаниями еще не явившимися. С критической точки зрения масса, конечно, обязана истолковать как «политические», так и все массовые «движения» абсолютной критики в духе будущего и абсолютного прогресса! Но для того, чтобы господин Гинрихс после своего знакомства с «Литературной газетой» никогда более не забывал слова «*общественный*» и никогда не отказывался признавать «*общественный*» характер критики, она перед лицом всего мира в третий раз *проклоняет* слово «*политический*» и торжественно в третий раз повторяет слово «*общественный*».

«О *политическом* значении не должно быть более речи, если принимать во внимание *истинную* тенденцию новейшей истории, но... но *общественное* значение» и т. д.

Будучи козлом отпущения за прежние «политические» движения, профессор Гинрихс является также козлом отпущения за все «*гегельянские*» движения и речи абсолютной критики, намеренно имевшие место до появления «Литературной газеты» и ненамеренно в этой последней.

Один раз критика бросает Гинрихсу в лицо кличку «*истый гегельянец*», в другой раз — «*философ-гегельянец*». Мало того! Господин Бруно «*надеется*» даже, что «банальные речи», совершившие такой утомительный кругооборот через все книги *гегелевской* школы (в особенности через книги самого Бруно!), при том «*утомлении*», которое они обнаруживают в лекциях господина Гинрихса, в дальнейшем своем путешествии вскоре дойдут до своего конечного пункта. Господин Бруно ожидает от «*утомления*» проф. Гинрихса упразднения *гегелевской философии* и своего *собственного освобождения* от нее.

Итак, в своем *первом походе* абсолютная критика низвергает собственных богов, которым она так долго поклонялась, «*политику*» и «*философию*», объявляя их кумирами профессора Гинрихса.

Славный первый поход!

2. ВТОРОЙ ПОХОД АБСОЛЮТНОЙ КРИТИКИ.

а) Гинрихс № 2. «Критика» и «Фейербах». Осуждение философии.

В результате первого похода *абсолютная критика* в праве считать «философию» погибшей и отнести ее, не обинуясь, к сонму союзников «массы». «Философы были предназначены к тому, чтобы исполнить сердечное желание *массы*. «Масса *требует*, — говорит критика, — простых понятий, чтобы не иметь никакого дела с самой вещью, трафаретов, чтобы уразумевать все наперед, фраз, чтобы ими уничтожить критику; «философия» же исполняет эти вождедения массы».

Опьяненная своими победными деяниями, абсолютная критика разражается против философии с неистовством *пифии*. *Фейербаховская «Философия будущего»* является тем скрытым огненным котлом, пары которого повергают в бешеный экстаз упоенную победой голову абсолютной критики. В марте она прочла произведение Фейербаха. Плодом этого чтения и в то же время критерием той серьезности, с которой производилось это чтение, является статья № 2 против профессора Гинрихса.

Абсолютная критика, которая всегда была пленницей гегелевского мирозерпаяния, с бешенством ударяет теперь по железной решетке и стенам своей тюрьмы. «Простое понятие», терминология, весь способ мышления философии, мало того — вся философия отвергаются здесь с отвращением. На ее место становятся вдруг «действительное богатство человеческих отношений», «колоссальное содержание истории», «значение человека» и т. д. «Тайна системы» объявляется «открытой».

Но кто же открыл тайну «системы»? *Фейербах*. Кто уничтожил диалектику понятий — войну богов, знакомую только философам? *Фейербах*. Кто поставил на место старой рухляди, на место «бесконечного самосознания» не «значение человека» (точно человек имеет еще какое-то другое значение, как не то, что он человек!), а самого «человека»? *Фейербах* и только *Фейербах*. Он сделал еще больше. Он давно уничтожил те категории, которыми теперь всюду и везде пользуется критика: «действительное богатство человеческих отношений, колоссальное содержание истории, борьбу истории, борьбу массы с духом» и т. д.

После того как человек был познан как сущность, как основание всякой человеческой деятельности и состояний, одна только критика способна отыскивать *новые категории* и обращать самого

человека, как она это действительно делает, снова в категорию и в принцип целого ряда категорий. Это, собственно, значит прибегать к последнему спасительному средству, какое еще остается в распоряжении трепещущей и преследуемой *теологической* нечеловечности. *История* не делает ничего, она «не обладает никаким колоссальным богатством», она «не сражается ни в каких битвах!» Не история, а именно человек, действительный, живой человек, — вот кто делает все это, всем обладает и за все борется. «История» не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения *своих* целей. История — не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека. После всех гениальных открытий *Фейербаха* абсолютная критика позволяет себе еще заниматься восстановлением для нас всей старой дряни в новом виде. И это она делает в тот самый момент, когда обрушивается на философию как на «*массовую*» дрянь, — на что она имеет тем меньше прав, что пальцем не пошевелинула для разрушения философии. Одно этого факта достаточно, чтобы разоблачить «тайну» этой критики, чтобы оценить по достоинству критическую наивность, заставляющую ее сказать по адресу профессора Гинрикса, «*утомление*» которого оказало уже ей такую огромную услугу, следующее:

«Теряют лишь те, которые не проделали никакого процесса развития, которые, следовательно, не могут измениться, даже если б захотели этого. Если дело заходит далеко, они пытаются видоизменить новый принцип... Но нет! Новое не может быть обращено в фразу, из него нельзя выделить отдельных оборотов мысли».

Абсолютная критика похваляется перед профессором Гинрихом раскрытием «тайны факультетских наук». Уж не раскрыла ли она тайну философии, юриспруденции, политики, медицины, политической экономии и т. д.? Никким образом. Она показала (обратите внимание!), она показала в «Правом деле свободы», что наука как хлебный промысел и свободная наука, свобода преподавания и факультетские статуты, противоречат друг другу.

Если б «абсолютная критика» была честна, она созналась бы, откуда взялось ее воображаемое просветление насчет «тайны философии», хотя все же хорошо, что она не влагает в уста *Фейербаха*, как это она делала с другими, такого вздора, как те непонятые и искаженные ею положения, которые она позаимствовала у этого философа. Характерно, однако, для *теологической* точки зрения «абсолютной критики», что, в то время как немецкие филистеры начинают теперь понимать и усваивать *Фейербаха*, она, напротив, не

в состоянии правильно понять и удачно использовать ни одного его положения.

Подвиги первого похода критики поистине бледнеют перед ее новыми шагами на том же пути. Теперь она «определяет» борьбу «массы» с «духом» как «цель» всей прежней истории; «массу» она объявляет «чистым ничто» «презренности», называет ее «материей» и противопоставляет «материи» «дух» как истинное. Итак, разве абсолютная критика не является *истинно-христианско-германской*? После того как старая противоположность спиритуализма и материализма потерпела с разных сторон поражение и, наконец, раз навсегда преодолена была *Фейербахом*, «критика» снова обращает ее, и притом в самой отвратительной форме, в основную догму и дает одержать победу «христианско-германскому» духу.

Наконец, как на дальнейшее развитие скрытой еще в первом походе тайны, следует смотреть на то обстоятельство, что критика отождествляет теперь противоположность *духа* и *массы* с противоположностью «критики» и массы. Она впоследствии сделает еще шаг вперед, отождествив *самое себя* с «критикой вообще», и объявит себя «Духом», абсолютным, бесконечным, массу же, напротив, конечной, грубой, неотесанной, мертвой и неорганической, ибо так «критика» понимает материю.

Как же должно быть колоссально богатство истории, если оно исчерпывается отношением человечества к г. *Бауэру*!

б) *Еврейский вопрос № 2. Критические открытия в области социализма, юриспруденции и политики (идея национальности).*

«Массовым», «материальным» евреям проповедуется *христианское* учение о *духовной* свободе, о *свободе в теории*, той *спиритуалистической* свободе, которая *воображает* себя свободной даже в окопах, которая чувствует себя счастливой даже тогда, когда это счастье существует только «в идее», и которую стесняет всякое массовое существование.

«Поскольку евреи ушли теперь далеко в *теории*, постольку они действительно эмансипированы, поскольку они *хотят быть свободными*, постольку они *свободны*».

Это положение дает возможность измерить ту критическую бездну, которая отделяет *массовый*, «грешный» коммунизм и социализм от абсолютного социализма. Главное положение грешного социализма отвергает эмансипацию *исключительно в теории* как иллюзию и требует для *действительной* свободы, кроме идеали-

стической «воли», весьма осязательных, весьма материальных условий. Как низко в глазах святой критики должна стоять «масса», — масса, которая видит необходимость в материальных, практических переворотах даже для того, чтобы завоевать время и средства, нужные хотя бы только для занятия «теорией»!

Оставим на минуту чисто духовный социализм и обратимся к политике.

Господин *Риссер* указывает в противовес Б. Бауэру на то, что его государство (т. е. критическое государство) необходимо должно исключать как «евреев», так и «христиан». Г-н Риссер совершенно прав. Так как г. Бауэр смешивает политическую эмансипацию с человеческой, так как государство на поведение противодействующих элементов (христианство же и еврейство квалифицируются в «Еврейском вопросе» как изменнические элементы) отвечает не иначе, как насильственным исключением личностей, ему изменяющих, подобно тому как террор имел в виду уничтожить скупку хлеба обеглавлением скупщиков, — то г. Бауэр должен был бы в своем «критическом государстве» послать на виселицу евреев и христиан. Так как он смешивал политическую эмансипацию с человеческой, то он, будучи последовательным, должен был также смешать политические средства эмансипации с человеческими средствами последней. Но как только кто-нибудь указывает абсолютной критике на действительный смысл ее выводов, она отвечает то же самое, что некогда ответил Шеллинг своим противникам, когда они на место его фраз поставили действительные мысли: «Противники критики потому ее противники, что они не только меряют критику догматической меркой, но даже считают ее догматической, иначе говоря: они сражаются против критики по той причине, что она отказывается признать их догматические различия, определения и уловки».

Догматическое отношение к абсолютной критике, как и к Шеллингу, заключается, повидимому, в том, что приписывают ей определенный, действительный смысл, мысли и взгляды. Из желания приспособляться и вместе с тем доказать г. Риссеру свою гуманность, «критика» решается, однако, прибегнуть к догматическим различиям, определениям и, в особенности, к «уловкам».

Так, например: «Если б я в той работе («Еврейском вопросе») хотел или смел выйти за пределы критики, я необходимо должен был бы (!) говорить (!) не о государстве, а об обществе, которое никого не исключает, но из которого себя исключают только те, кто не желает принимать участия в его развитии».

Абсолютная критика проводит здесь *догматическое различие* между тем, что она должна была бы сделать, если б она не сделала противоположного, и тем, что она действительно сделала. Она объясняет ограниченность своей постановки «Еврейского вопроса» *«догматическими уловками хотения и долженствования, которые за-прещали ей выйти за пределы критики»*. Как? Чтобы «критика» вышла за пределы «критики»? К этой целиком массовидной уловке абсолютная критика прибегает вследствие догматической необходимости, с одной стороны, настаивать на абсолютности своего понимания еврейского вопроса, на «критичности» этого понимания, с другой же стороны — признать допустимость более широкого понимания.

Тайна ее «нехотения» и ее «долженствования» найдет себе впоследствии объяснение в той критической догме, согласно которой все видимые проявления ограниченности «критики» — не что иное, как необходимые виды *приспособления* к способности понимания массы.

Она не *хотела!* Она не *смела* выйти за пределы ограниченного понимания еврейского вопроса! Но если б она *хотела* или *смела*, что она тогда сделала бы? — Она дала бы *догматическое определение*. Вместо того чтобы говорить о «государстве», она говорила бы об *«обществе»*, — следовательно, вовсе не занялась бы исследованием *действительного* отношения еврейства к *современному* гражданскому (bürgerliche) обществу! В отличие от «государства» она *догматически определила* бы «общество» в том смысле, что, в то время как *государство* само исключает, из общества *исключают* сами себя все *те*, кто не желает принимать участия в его развитии.

По существу, общество поступает так же, как и государство, но с той только равницей, что исключение обществом из своей среды проявляется в более вежливой форме: оно не выбрасывает вас за дверь, но создает для вашего существования в нем такие невозможные условия, что вы предпочитаете добровольно уйти из него.

В сущности, государство поступает не иначе, ибо и оно не исключает того, кто исполняет все *его* требования и предписания и не препятствует *его* развитию. В своей законченной форме государство даже *закрывает* на многое глаза и объявляет *действительные* противоположности противоположностями *неполитическими*, ничуть ему не мешающими. Кроме того абсолютная критика сама развила мысль, что государство потому лишь и постольку исключает евреев, поскольку евреи исключают государство, т. е. *сами себя*

исключают из государства. Если это взаимоотношение получает в *критическом* «обществе» более галантную, более лицемерную и коварную форму, то это только свидетельствует о большем лицемерии и менее развитом строении *«критического» общества*.

Последуем же за абсолютной критикой в ее дальнейших «догматических различениях», «определениях» и, в особенности, ее «*уловках*».

Так, например, господин Риссер требует от критика, чтобы он «различал то, что относится к области права, от того, что лежит за пределами последнего».

Критик возмущается наглостью этого *юридического* требования. «До сих пор, — возражает он, — чувство и совесть вмешивались в право, всегда его дополняли и, в виду характера права, обусловленного его *догматической формой*» (а не его догматической сущностью?), «всегда должны были дополнять».

«Критик» забывает только, что, с другой стороны, *право само себя* весьма резко *отделяет* от «чувства и совести»; что это различие находит свое объяснение в *односторонней сущности права*, равно как в его догматической *форме*, и составляет даже одну из *главных догм* права; что, наконец, практическое осуществление этого различия настолько же образует высшую ступень в *развитии права*, насколько освобождение религии от всякого светского содержания делает религию *абстрактной, абсолютной* религией. Тот факт, что «чувство и совесть» вторгаются в право, служит для «критика» достаточным основанием, чтобы говорить о чувстве и совести там, где речь идет о *праве*, и о *теологической* догматике там, где речь идет о *юридической* догматике.

«Определения и различия абсолютной критики» готовят нас в достаточной степени к пониманию новейших «открытий» в области «общества» и «права».

«Та мировая (Weltform) форма, которую подготавливает *критика* и *идею* которой она, *собственно, теперь только* начала подготавливать, не есть *просто правовая* форма, а» (читатель, соберись с духом!) «*общественная*, о которой, *по меньшей мере*» (а не по большей мере?), «*может* быть сказано, что кто не внес ничего своего в дело ее построения, кто не живет в ней совестью и чувством, тот не может чувствовать себя в ней как дома, тот не может принимать участия в ее истории».

Подготавливаемая «критикой» мировая форма определяется *не только* как правовая, но и как общественная. Это определение может быть истолковано двояким образом. Либо это положение должно

быть истолковано в том смысле, что общественная форма «не правовая, но и общественная», либо что она «не только правовая, а также общественная». Рассмотрим содержание этого положения в обоих толкованиях, — начнем с первого. Абсолютная критика выше определила эту отличную от «государства» общественную форму как «общество». Теперь она определяет существительное «общество» прилагательным «общественное». Если господин Гинрихс в противовес своему «политическое» получил от критики трижды слово «общественное», то господин Риссер в противовес своему «правовое» получает слово общественное «общество». Если по отношению к господину Гинрихсу критические разъяснения свелись к формуле: «общественное» + «общественное» + «общественное» = $3a$, то в своем втором походе абсолютная критика переходит от сложения к умножению, и господин Риссер отсылается к помноженному на самого себя обществу, к второй степени общественного, к общественному обществу = a^2 . Чтобы окончательно пополнить свои выводы об обществе, абсолютной критике остается только пойти напролом и начать извлекать квадратный корень из общества и т. д.

А теперь возьмем второе толкование: «не только правовая, а также общественная» форма. Но ведь эта неопределенная общественная форма — не что иное, как ныне существующая общественная форма, общественная форма нынешнего общества. То обстоятельство, что «критика» в своем до-мировом мышлении только подготавливает будущее существование ныне существующей мировой формы, есть великое, почтенное критическое чудо. Но как бы ни обстояло дело с «не только правовым, а также общественным обществом», критика ничего пока не может сказать о нем, кроме «fabula docet», кроме своего правоучения. В этом обществе «не будет себя чувствовать, как дома, тот», кто не живет в нем чувством и совестью. В конечном итоге, в этом обществе не будет жить никто, кроме «чистого чувства» и «чистой совести», т. е. «духа», «критики» и ее присных. Масса тем или иным способом будет исключена из общества, так что в результате «массовое» общество будет пребывать вне «общественного общества».

Одним словом, это общество — не что иное, как критическое небо, откуда изгнан, как некритический ад, действительный мир. Абсолютная критика в своем чистом мышлении подготавливает эту очищенную мировую форму противоположности «массы» и «духа».

Разъяснения, даваемые господину Риссеру по вопросу о судьбе наций, отличаются той же критической глубиной, как и разъяснения по вопросу об «обществе».

Стремление евреев к эмансипации, стремление христианских государств «занести евреев в определенную рубрику своей правительственной схемы» (как будто евреи не занесены давно уже в известные рубрики христианской правительственной схемы!) дают абсолютной критике повод к пророчествам о *гибели национальностей*. Отсюда видно, каким окольным путем абсолютная критика приходит к современному историческому движению, а именно — *окольным путем теологии*. О важности достигнутых таким путем результатов можно судить по следующему глубокомысленному пифическому изречению:

«Будущее всех национальностей... очень... темно!»

Но пусть, критики ради, будущее национальностей будет, как она хочет, темно! Одно, и самое главное, ясно: *будущее — дело рук критики*. *«Судьба*. — восклицает она, — *может решать, как хочет! Мы знаем теперь, что она дело наших рук*». Подобно богу, наделяющему *свое* творение, человека, собственной волей, и критика тоже оставляет *своему творению*, судьбе, *собственную волю*. Критика, творящая судьбу, *всемогуща*, как бог. Даже *«встречаемое»* ею во вне *«сопротивление»* тоже дело ее рук. *«Критика создает своих противников»*. *«Массовое возмущение»* против нее *«угрожает»* поэтому *«опасностью»* лишь самой *«массе»*.

Но если критика *всемогуща*, как бог, то она также, подобно богу, *всеведуща* и умеет соединять свое всемогущество со *свободой*, *волей* и *природным назначением* человеческих индивидуумов.

«Она не была бы знаменующей эпоху силой, если б не производила того действия, что каждый из ее рук выходит тем, чем он хочет быть, и каждому предназначается та точка зрения, которая соответствует его природе и его хотению».

Более счастлив не был и сам *Лейбниц* со своей предустановленной гармонией божественного всемогущества и человеческой свободы и природного назначения.

Если *«критика»* впадает поэтому в противоречие с психологией, которая различает *«волю»* быть чем-нибудь от *«способности»* быть чем-нибудь, то нужно иметь при этом в виду, что у нее имеются серьезные основания объявить это *«различение»* *«догматическим»*.

Соберемся с силами для третьего похода! Вспомним еще раз, что критика *«создает»* своего противника! Но как она могла бы создать своего противника — *«фразу»*, если бы она сама не создавала фраз?

3. ТРЕТИЙ ПОХОД АБСОЛЮТНОЙ КРИТИКИ.

а) Самоаология абсолютной критики. Ее «политическое» прошлое.

Абсолютная критика начинает свой третий поход против «массы» вопросом:

«Что теперь составляет предмет критики?»

В той же книжке «Литературной газеты» мы встречаем поучение: «Критика хочет *только* одного — познания *вещей*».

Сообразно с этим все вещи могут быть *предметом* критики. Говорить о каком-то особом, специально для критики предназначенном предмете лишено всякого смысла. Противоречие это разрешается просто, если принять во внимание, что все вещи «совпадают» с критическими вещами, все же критические вещи — с *массой* как «предметом» абсолютной критики.

Прежде всего господин Бруно изображает свое *бесконечное страдание* к «массе». Он делает «бездну, отделяющую его от толпы», предметом «настойчивого изучения». Он хочет «познать значение этой бездны для будущего» (в этом именно и заключается вышеупомянутое познание «всех» вещей) и в то же время «упразднить ее». Стало быть, на самом деле ему уже известно значение этой бездны. Значение бездны состоит именно в том, что ее *уничтожает* господин Бруно.

Так как каждый сам себе ближний, то «критика» прежде всего приступает к упразднению своей *собственной массовости*, подобно христианским аскетам, которые поход духа против плоти начинали с умерщвления *собственной* плоти. «Плотью» абсолютной критики является ее *действительно массовое* (охватывающее от 20 до 30 томов) литературное *прошлое*. Господин Бауэр должен поэтому освободить историю литературной жизни «критики», точнейшим образом совпадающую с историей его *собственной* литературной деятельности, от ее *массовой видимости*, задним числом *улучшить* и *разъяснить* эту историю и с помощью этого *апологетического* комментария «выставить в истинном свете *прежние работы критики*».

Он начинает с того, что объясняет ошибку *массы*, принимавшей до гибели «Немецких летописей» и «Рейнской газеты» господина Бауэра за одного из *своих*, двумя причинами. Во-первых, масса совершала несправедливость, принимая литературное движение *не за чисто литературное*. В то же время масса совершала противоположную несправедливость, принимая литературное движение за «исключительно» или «чисто» *литературное*. Не подлежит ни малейшему сомнению, что, во всяком случае, «масса» совершила

несправедливость уже одним тем, что она *одновременно* делала две взаимно исключающие ошибки.

В этом случае абсолютная критика, обращаясь к тем, которые осмеивали «немецкую нацию» как «*писаку*», восклицает: «Назовите мне хоть одну историческую эпоху, которая не была бы властно *предначертана «пером»* и не должна была предоставить перу решить вопрос о ее ликвидации!»

В своей критической наивности господин Бауэр отделяет «*перо*» от *пишущего субъекта*, а пишущий субъект, как «абстрактного писца», от живого *исторического человека*, который писал. Таким образом он приобретает возможность приходить в экстаз от *чудодейственной силы «пера»*. Он с таким же правом мог бы требовать, чтобы ему указали такое историческое движение, которое не было бы предначертано «домашней птицей» и «гусятницей».

После мы узнаем от того же господина Бруно, что до сих пор не была еще познана ни одна, решительно ни одна историческая эпоха. Каким образом могло то самое «*перо*», которое до сих пор не сумело *начертать «ни одной»* исторической эпохи, в то же время *предначертать все эпохи*?

И тем не менее господин Бруно на *деле* доказывает правильность своего взгляда, «*предначертывая*» самому себе свое собственное «прошлое» *апологетическими «росчерками пера»*.

Критика, которая со всех сторон впутывалась не только во *всеобщую* ограниченность мира данной эпохи, но и во все особые, личные ограниченности; которая тем не менее с незапамятных времен выдавала себя во всех своих произведениях за «*абсолютную, законченную, чистую*» критику, — эта критика только *приспособлялась к предрассудкам и способности понимания* массы, подобно тому как поступает обыкновенно бог в своих откровениях человеку. «Это должно было привести к разрыву между теорией и ее *видимым союзником*», — докладывает абсолютная критика.

Но так как «критика» — которая для разнообразия названа здесь *теорией* — не приходит ни к чему, а, напротив, все от нее исходит; так как она развивается не внутри, а *вне* мира, и в своем божественном, всегда себе равном сознании все наперед предопределила, — то *разрыв* с ее прежним союзником был с ее стороны «*новым поворотом*» не в себе, не для нее самой, а только по *видимости*, только для других.

Но этот поворот не был даже, «*собственно говоря*», новым. «Теория постоянно работала над *критикой самой себя*» (известно, сколько пришлось разделять критику, чтобы заставить ее заняться

критикой самой себя), «она никогда не льстила массе» (но зато тем более самой себе), «она всегда *остерегалась* запутаться в предпосылках своего противника».

Христианский теолог должен быть *осторожен* («Открытое христианство» Бруно Бауэра, стр. 99). Как же случилось, что «осторожная» критика все-таки запуталась и тогда еще не высказала совершенно открыто и ясно своего «настоящего» мнения? Почему она не говорила от чистого сердца? Почему она не покончила с иллюзией о ее братстве с массой?

Почему ты поступил так со мной? спросил фараон Авраама, возвращая ему жену его, Сарру. Почему ты сказал мне, что она твоя сестра? («Открытое христианство» Бруно Бауэра, стр. 100).

Долой разум и язык, — восклицает теолог: ведь в таком случае Авраам был бы лжецом! Откровению было бы нанесено смертельное оскорбление! (1. с.)

Долой разум и язык, — говорит критик: если бы господин Бауэр *действительно*, а не для видимости только, смешался с массой, то тогда ведь абсолютная критика не была бы абсолютна в своих откровениях, а следовательно — она была бы смертельно оскорблена!

«Ее старания» (т. е. старания абсолютной критики) «*просто не были замечены*, — продолжает абсолютная критика, — и, *кроме того, существовала* такая стадия критики, когда последняя *вынуждена* была *искренно* считаться с предпосылками своего противника и на момент принять их всерьез, короче — когда критика *не вполне еще* чувствовала в себе силу отнять у массы убеждение, что у нее есть одно общее дело и один общий интерес с критикой».

Старания «критики» не были замечены; следовательно, вина лежала на массе. С другой же стороны, критика сознается, что ее старания *не могли* быть замечены, потому что она сама еще не чувствовала в себе «силы» *обратить внимание* на эти старания. Таким образом, вина *как будто* лежит на критике.

Боже сохрани! Критика была «вынуждена» (над ней произведено было насилие) «искренно считаться с предпосылками своего противника и на момент принять их всерьез». Великолепная искренность, истинно теологическая искренность, которая в действительности несерьезно относится к делу, но «*только на момент* *принимает* его всерьез»; которая всегда, а значит и в *каждый данный момент*, остерегалась запутаться в предпосылках своего противника и, тем не менее, «*на момент*» «искренно» считается с этими же предпосылками! «Искренность» принимает еще бóльшие размеры в

последнем предложении. Критика «искренно стала считаться с предпосылками массы» в тот самый момент, когда «она еще не вполне чувствовала в себе *силу*» разрушить иллюзию о единстве дела *критики* и дела *массы*. Она еще не чувствовала в себе *силы*, но ее уже одушевляли *желание* и *мысль*. Она не могла еще порвать с массой *внешним образом*, но разрыв уже совершился *внутри ее*, в ее *чувствах*, совершился в тот самый момент, когда она *искренно* симпатизировала массе!

Критика, при всей своей причастности к предрассудкам массы, в *действительности* не была причастна к *ним*; напротив того, она, *собственно говоря*, была свободна от собственной ограниченности и *только не вполне* чувствовала в себе «силу» показать это массе. Вся ограниченность «критики» была поэтому чистой *видимостью*, — видимостью, которая вне ограниченности массы была бы излишняя и даже вовсе не существовала бы. Вина *опять-таки* падает на плечи массы.

Однако, *поскольку* эта *видимость* находила себе поддержку в «неспособности», в «бессилии» критики высказаться настоящим образом, постольку же сама критика была *несовершенна*. Она признается в этом на свойственный ей, настолько же искренний, насколько апологетический, лад. «Несмотря на то, что она (критика) сама подвергла либерализм уничтожающей критике, ее можно было *еще* считать особым видом этого самого либерализма, — *пожалуй*, крайней формой его; *несмотря* на то, что ее истинные и решающие выводы оставляли уже позади себя политику, она должна была *еще* сохранить в чужих глазах *видимость*, будто она *занимается политикой*, и эта *несовершенная видимость* дала ей возможность приобрести большую часть ее вышеупомянутых друзей».

Критика приобрела своих друзей при помощи *несовершенной иллюзии*, будто она занимается политикой. Если б эта иллюзия была *совершенна*, она наверное потеряла бы своих *политических* друзей. В своем страстном *апологетическом стремлении* смыть с себя все грехи, она обвиняет *обманчивую иллюзию* в том, что последняя не была *совершенной*, а была *несовершенной обманчивой иллюзией*. За эту замену одной видимости другою «критика» может утешить себя тем, что если она обладала «совершенной видимостью» желания заниматься политикой, то она, напротив, не обладает даже «несовершенной видимостью» того, чтобы она где-нибудь и когда-нибудь уничтожила политику.

Абсолютная критика, не вполне удовлетворенная «несовершенной видимостью», спрашивает себя еще раз: «Как это случи-

лось, что *критика* втянута была тогда в «массовые, политические» интересы, что она... *даже... должна была* (!)... *заниматься политикой*».

Теологу Бауэру казалось *само собой* разумеющимся, что критика должна была бесконечно долго заниматься *спекулятивной теологией*, ибо он, олицетворенная критика, теолог *ex professo*. Но *заниматься политикой*? Это необходимо должно определяться совершенно особенными, политическими, личными обстоятельствами!

Почему же «критика» должна была *заниматься политикой*? «Ей предъявлены были обвинения — *вот что служит ответом на вопрос*». По крайней мере, в этом разгадка «тайны» «*бауэровской политики*», и, по крайней мере, нельзя будет назвать *неполитичной* ту *видимость*, которая в «*Правом деле свободы и моем собственном деле*» Б. Бауэра соединяет массовое «дело свободы» с ее «*собственным делом*» посредством союза «*и*». Но если критика занималась не «*собственным делом*» в *интересах политики*, а *политикой* в *интересах собственного дела*, то следует признать, что не критика была обманута политикой, а, напротив, политика критикой.

Итак, Бруно Бауэр должен был быть лишен теологической кафедры: он был *обвинен*. «Критика» принуждена была заниматься политикой, т. е. она должна была *вести «свой» процесс*, т. е. «процесс» Бруно Бауэра. Не г. Бауэр вел процесс критики, а «критика» вела процесс господина Бауэра. Почему «критика» *должна* была вести свой процесс?

«Чтобы оправдать себя!» *Пожалуй, что так*. Но «критика» далека от того, чтобы ограничиться таким личным, дилетантским мотивом. Пусть так! Но *не только* поэтому, *а главным образом* для того, чтобы выявить противоречия ее противников», и — если бы критика могла это прибавить — для того еще, чтобы переплести в одну книгу все старые статьи против различных теологов, как, например, свою широковегетельную полемику с Планком, эту семейную ссору между теологией «Бауэр» и теологией «Штраус».

Облегчив душу признанием, касающимся истинного интереса ее «*политики*», абсолютная критика, при воспоминании о своем «*процессе*», снова пережевывает старую *гегелевскую* (см. в «Феноменологии» борьбу просвещения с верой, см. всю «Феноменологию») жвачку, на разные лады пережеванную уже в «Правом деле свободы» и проч., — утверждение, что «старое, сопротивляющееся новому, на самом деле не есть больше старое». Критическая критика — жвачное животное. Некоторые упавшие со стола гегелевские крохи, как, например, только-что приведенное положение о «старом» и

«новом» или же «развитие крайности из противоположной ей крайности» и т. п., беспрестанно снова подогреваются критикой, без того чтобы она когда-нибудь почувствовала хоть потребность разделяться с *«спекулятивной диалектикой»* каким-нибудь иным способом, нежели с помощью утомления профессора Гинрикса. Зато она, наоборот, постоянно *«критически опережает»* Гегеля, повторяя его, как, например:

«Критика, выступая на сцену и давая исследованию новую форму, т. е. форму, *не поддающуюся больше внешнему ограничению* и т. д.».

Когда я что-нибудь *превращаю* во что-нибудь, то я делаю это самое существенно другим. Так как каждая форма есть в то же время и *«внешнее ограничение»*, то никакая форма не «поддается» дальнейшему «внешнему ограничению», настолько же не поддается, насколько яблоко не поддается «превращению» в яблоко. Впрочем, форма, придаваемая «критикой» исследованию, по совершенно *другой* причине не поддается превращению в какую бы то ни было «наружную оболочку». Освобожденная от всякой «внешней ограниченности», она тонет в пепельно-сером, темном тумане бессмыслицы.

«Она (именно борьба старого с новым) была бы, *однако, и тогда*» (т. е. в тот момент, когда критика «придает» исследованию «новую форму») *«невозможна, когда старое подходило бы к вопросу о пригодности... или непригодности с теоретической точки зрения»*. Почему же старое не исследует этого вопроса теоретически? Потому, что «*оно всего менее в состоянии сделать это с самого начала, так как в момент неожиданности*», т. е. в начале, «не знает ни себя, ни нового», т. е. не исследует *теоретически* ни себя, ни нового. Даже и в том случае невозможно, если бы «невозможность», к сожалению, не была невозможна!

Когда «критик» теологического факультета «признается» далее, что он *«намеренно согрешил»*, что он «совершил свою ошибку по свободному выбору и после зрелого размышления» (все, что ни переживает, ни испытывает и ни делает критика, преобразуется в ней в свободный, чистый, намеренный продукт ее рефлексии), то это признание критика обнаруживает только «несовершенную видимость» истины. Так как *«Критика синоптиков»* всецело стоит на *теологической* точке зрения, так как она всецело *теологическая* критика, то господин Бауэр, приват-доцент теологии, мог писать ее и учить ей, не совершая «ни греха, ни ошибки». Грех и ошибка имели, напротив, место со стороны теологических факультетов, которые не захотели видеть, до какой степени строго господин Бауэр выполнил свое

обещание, данное им в предисловии к «Критике синоптиков», т. I, стр. XXIII. «Если *отрицание* и в этом первом томе может показаться чересчур еще смелым и далеко заходящим, то мы напоминаем о том, что истинно *положительное* может родиться лишь тогда, когда ему предшествовало серьезное и всеобщее отрицание... В конечном итоге станет ясно, что только самая уничтожающая в мире критика позволяет нам познать творческую *силу Иисуса* и его *принципа*». Господин Бауэр намеренно отделяет «Иисуса» от «его принципа», чтобы отнять у *положительного* смысла своего обещания всякую видимость двусмысленности. И господин Бауэр, действительно, настолько осязательно изображал «творческую» силу господина Иисуса и его принципа, что в результате его «*бесконечное самосознание*» и «*дух*» оказались не чем иным, как христианскими творениями.

Пусть спор критической критики с теологическим факультетом в Бонне в достаточной мере объясняет тогдашнюю «политику» критики; но почему она, после завершения этого спора, продолжала заниматься политикой? А вот послушайте:

«Дошедши до этого пункта, критика должна была либо *остановиться*, либо *тотчас же двинуться вперед*, исследовать сущность политики и открыть в ней своего противника... Если б только возможно было, чтобы она остановилась среди тогдашней борьбы, и если б только, с *другой* стороны, не существовало слишком строгого исторического закона, на основании которого принцип, впервые испытывающий свои силы в борьбе с своей противоположностью, неминуемо должен быть подавляем последней... неминуемо должен!»

Прелестная апологетическая фраза! «Критика *должна* была бы остановиться», если бы только было возможно... «иметь возможность остановиться!» Кто *должен* остановиться? И кто должен был бы сделать то, что «невозможно было бы... мочь»? С другой стороны! Критика должна была бы двинуться вперед, «если б *только*, с другой стороны, не существовало *слишком* строгого исторического закона и т. д.». Исторические законы «*слишком даже строги*» к абсолютной критике! Если бы *только* эти законы не стояли на *противной* стороне, как блестяще подвигалась бы вперед критическая критика! Но à la guerre comme à la guerre! В истории критика должна сделать из себя печальную «историю»!

«Если критика (все тот же господин Бауэр)... должна была, то нельзя в *то же время* не *признать*, что она никогда не чувствовала в себе *уверенности*, когда она откликалась на требования этого рода (политического сорта), и что она, вследствие этих требований,

становилась в противоречие с своими *истинными элементами*, — противоречие, которое нашло *уже* себе *разрешение* именно в этих *самых элементах*.

Слишком строгие исторические законы заставили критику обнаружить свои политические слабости; но, — умоляет она, — нельзя же *не признать вместе с тем*, что она хотя и не действительно, но *сама по себе* была выше этих слабостей. Во-первых, она преодолела их «в *чувстве*», ибо «она никогда не чувствовала в себе уверенности по отношению к этим требованиям», она плохо себя чувствовала в политике, она сама не знала, что с ней. Более того. Она становилась в противоречие со своим *истинным элементом*. Наконец, — и это самый важный пункт! Противоречие, в которое она становилась со своими *истинными элементами*, получало разрешение не в ходе ее *развития*, а, наоборот, *нашло «уже»* разрешение в ее независимо от противоречия существующих, *истинных элементах*! Эти критические элементы могут похвалиться и сказать: прежде чем родился Авраам, жили мы. Прежде чем развитие породило нашу противоположность, она, *нерожденная* еще, покоилась уже в нашем лоне, разрешенная, умершая, погибшая. Но так как в истинных элементах критики противоречие последней ее истинным элементам *уже* нашло свое разрешение» и так как *разрешенное* противоречие *не* есть противоречие, то она, выражаясь точно, *вовсе не* находилась в противоречии со своими истинными элементами, в противоречии с самой собой, и таким образом общая цель ее самоапологии была достигнута.

Самоапология абсолютной критики имеет в своем распоряжении целый *апологетический* словарь: «даже не собственно», «только не замечено», «кроме того, имелось», «еще не вполне», «несмотря на это... тем не менее», «не только, но главным образом», «в такой же мере собственно лишь», «критика должна была бы, если бы только было возможно и если бы, с другой стороны...», «если... то в *то же время* нельзя не признать», «разве не было естественно, разве не было неизбежно», «также не»... и т. д.

Незадолго до того абсолютная критика по поводу аналогичных апологетических оборотов выразилась следующим образом:

«Хотя» и «тем не менее», «правда» и «но», небесное нет и земное да — суть основы новейшей теологии, ходули, на которых она шествует, фокус, которым ограничивается вся ее мудрость, оборот, который повторяется во всех ее оборотах, ее альфа и омега» («Открытое христианство», стр. 162).

б) Еврейский вопрос № 3.

«Абсолютная критика» не удовлетворяется тем, чтобы доказать своей собственной биографией свойственное ей всемогущество, которое «в такой же мере *собственно только создает старое, как и новое*». Она не довольствуется тем, чтобы *самолично* написать апологию своего прошлого. Она ставит теперь третьим лицам, всему прочему дипломатическому миру абсолютную «задачу», — задачу, которая теперь и является главной: именно задачу *апологии* бауэровских подвигов и «трудов».

«*Немецко-французские летописи*» поместили критический разбор «*Еврейского вопроса*» Бауэра. В статье этой вскрыта была основная ошибка Бауэра — смешение «*политической*» эмансипации с «*человеческой*». Правда, старому еврейскому вопросу не была там прежде всего дана так называемая «*истинная постановка*»; но зато «еврейский вопрос» был рассмотрен и разрешен в той постановке, которую новейшее время дает всем *старым вопросам* и благодаря которой они из «*вопросов*» прошлого обращаются в «*вопросы*» настоящего.

В своем *третьем* походе абсолютная критика, повидимому, сочла необходимым ответить «*Немецко-французским летописям*». Прежде всего абсолютная критика делает здесь следующее *признание*: «В еврейском вопросе сделан был тот же «просмотр» — *политическое* существование отождествлено было с *человеческим*».

Критика оговаривается, что «было бы слишком повдно *упрекать* критику ва ту позицию, которую она отчасти еще занимала *два года* тому назад». «*Задача сводится, напротив, к тому, чтобы показать, почему критика вынуждена была даже... заниматься политикой*».

«*Два года* тому назад»? Давайте считать *по абсолютному* летоисчислению, приняв в расчет *год рождения* критического спасителя мира — бауэровской «Литературной газеты»! Критический «спаситель» родился в 1843 г. В том же году увидело свет второе, дополненное издание «Еврейского вопроса». «Критическое» исследование «еврейского вопроса» в «Двадцати одном печатном листе из Швейцарии» появилось еще позже в том же 1843 г... по старому стилю. *Вслед за закрытием* «Немецких летописей» и «Рейнской газеты» в том же замечательном 1843 г. старого стиля, или же году критического летоисчисления, появилось в свет фантастически-политическое произведение г. Бауэра: «*Государство, религия и партия*», которое повторяло слово в слово все старые ошибки Бауэра в вопросе о «существовании *политики*». Апологет вынужден фальсифицировать *хронологию*.

«Объяснение», почему именно господин Бауэр *вынужден* был *даже* заниматься политикой, представляет общий интерес только при известных условиях. Именно, если наперед принять за *основную догму* непогрешимость, чистоту и абсолютность критической критики, то, конечно, все факты, противоречащие этой догме, должны превратиться в столь же трудные, стоящие размышления и таинственные загадки, как для теолога, например, с виду небожественные действия бога.

Напротив, если рассматривать *«критика»* как конечный индивидуум, если не отделять его от *условий* его времени, то ответ на вопрос, *почему* «критик» вынужден был *даже* развиваться внутри границ мира, окажется излишним, потому что уже сам *вопрос* перестает существовать.

Если же, тем не менее, абсолютная критика будет настаивать на своем требовании, то придется, пожалуй, написать схоластический трактатец, посвященный следующим *вопросам времени*:

«Почему факт зачатия пресвятой девы Марии от святого духа должен был быть доказан именно господином Бауэром?» «Почему господин Бауэр необходимо должен был доказать, что ангел, явившийся праотцу Аврааму, был *истинной* эманацией бога, — эманацией, которой, однако, недоставало еще консистенции, необходимой для *переваривания пищи*?» «Почему г. Бауэр должен был написать апологию прусского королевского дома и возвести прусское государство в ранг *абсолютного* государства?» «Почему г. Бауэр в своей «Критике синоптиков» должен был поставить *бесконечное самознание* на место *человека*?» «Почему г. Бауэр в «Открытом христианстве» должен был повторить в *гегелевской* форме *христианскую теорию сотворения мира*?» «Почему господин Бауэр должен был требовать от себя и других людей *«объяснения»* того чуда, что он должен был ошибаться?»

Пока нам будет представлено доказательство всех этих столь же «критических», сколько «абсолютных» необходимостей, мы попытаемся взглянуть еще на кой-какие апологетические уловки «критики».

«Еврейский вопрос... должен был... прежде всего получить *правильную* постановку, как вопрос *религиозный, теологический*, с одной стороны, и *политический*, с другой». «При рассмотрении и решении этих двух вопросов критика не стоит ни на *религиозной*, ни на *политической* точке зрения».

Дело в том, что «Немецко-французские летописи» назвали бауэровскую точку зрения на еврейский вопрос *истинно-теологической* и *фантастической-политической*.

Прежде всего, на «упрек» в *теологической* ограниченности «критика» отвечает:

«Еврейский вопрос — вопрос *религиозный*. Просвещение полагало, что разрешило еврейский вопрос, объявив *религиозные противоречия безразличными* или даже вовсе отвергнув их. Критика, напротив, должна была изобразить эти противоречия во всей их чистоте».

Когда мы подойдем к *политической* стороне еврейского вопроса, мы увидим, что теолог, господин Бауэр, даже в политике занят не политикой, а теологией.

Когда «Немецко-французские летописи» нападали на бауэровское освещение еврейского вопроса как на «*чисто-религиозное*», речь шла специально о его статье в «Двадцати одном печатном листе», а именно: «Способность нынешних евреев и христиан стать свободными».

Статья эта не имела никакого отношения к старому «просвещению». Она содержит в себе *положительный* взгляд господина Бауэра на способность к эмансипации нынешних евреев, т. е. на возможность их эмансипации.

«Критика» говорит: «Еврейский вопрос — вопрос *религиозный*».

Спрашивается, что такое *религиозный* вопрос и, в особенности, что такое *религиозный* вопрос в настоящее время?

Теолог готов судить по *внешней* видимости и в *религиозном* вопросе усматривает *религиозный* вопрос. Но пусть «критика» вспомнит разъяснение, данное ею профессору Гинрихсу, что *политические* интересы настоящего времени имеют *общественное* значение: о *политических* интересах, — говорила критика, — «не может быть более речи».

С таким же правом «Немецко-французские летописи» говорили критике: *Религиозные* вопросы имеют в настоящее время *общественное* значение. О *религиозных* вопросах, как *чисто религиозных*, не может быть более речи. Один лишь *теолог* способен полагать, что речь идет о религии как религии. Правда, «Летописи» совершили *несправедливость* по отношению к г. Бауэру: они не пожелали успокоиться на слове «*общественный*», а представили характеристику *действительного* положения еврейства в современном буржуазном обществе. Только после того как еврейство очищено было от скрывавшей его сущность *религиозной* скорлупы, и вскрыто было его эмпирическое, светское, практическое ядро, оказалось возможным наметить практическую, *действительно общественную* форму растворения этого ядра. Господин же Бауэр успокаивается на том, что «*религиозный* вопрос» есть «*вопрос религиозный*».

Господин Бауэр совершенно напрасно уверяет, что за еврейским вопросом отрицалось значение *религиозного* вопроса. Совершенно наоборот! Господину Бауэру показано было, что он понимает *лишь религиозную* сущность еврейства, но не *светскую, реальную основу* этой религиозной сущности. Он борется против *религиозного сознания*, как против самостоятельной сущности. Господин Бауэр ищет поэтому объяснения *действительных* евреев в *еврейской религии*, вместо того чтобы, наоборот, искать объяснения тайны еврейской религии в *действительных евреях*. Господин Бауэр понимает поэтому еврея лишь постольку, поскольку еврей составляет непосредственный предмет *теологии*, т. е. поскольку еврей — *теолог*.

Господин Бауэр не подозревает поэтому, что действительное, *светское* еврейство, а тем самым также и религиозное еврейство, непрерывно порождается на свет *современной буржуазной жизнью* и в *денежной системе* находит себе наиболее законченное выражение. Он не мог подозревать этого, потому что знал еврейство не как часть действительного мира, а только как часть его мира — *теологии*; потому что он, как благочестивый, преданный господу человек, видел *действительного* еврея не в *деятельном будничном евре*, а в *ханжеском субботнем евре*. Для господина Бауэра, как *христиански-верующего* теолога, *всемирно-историческое* значение еврейства должно исчезнуть в *час рождения* христианства. Он должен был поэтому повторить старый ортодоксальный взгляд, что еврейство сохранилось *наперекор* истории; а старый теологический предрассудок, будто еврейство существует лишь как *подтверждение* божеского проклятия, как *наглядное доказательство* христианского откровения, должен был возродиться у Бауэра в *критически-теологической* форме, говорящей, что еврейство существует и существовало лишь как *грубое религиозное сомнение* в сверхмировом происхождении христианства, т. е. как *наглядное доказательство* против христианского откровения.

В противоположность всему этому, «Летописи» доказывали, что еврейство сохранилось и развилось *благодаря* истории и *вместе* с историей, но что это развитие можно наблюдать не глазом теолога, а глазом светского человека, не в *религиозной теории*, а в *коммерческой и промышленной практике*. Доказано было, *почему* практическое еврейство достигло законченности лишь в законченном *христианском* мире; более того, что оно — не что иное, как *сама законченная практика христианского мира*. Жизнь *современного* еврея объяснена была не его религией (точно религия — особая, себе довлеющая сущность): живучесть еврейской религии объяснена была практическими элементами буржуазного общества, находящими себе *фантастическое*

отражение в еврейской религии. Эмансипирование еврея в человека, или человеческая эмансипация еврейства, выставлены были не специальной задачей еврея, как это сделано было г. Бауэром, а общей практической задачей современного мира, до самых корней пропитанного *еврейством*. Доказано было, что задача упразднения еврейства в действительности есть задача упразднения *еврейского духа буржуазного общества*, бесчеловечности современной жизненной практики, кульминационным пунктом которой является *денежная система*.

Господин Бауэр, как истый, хотя и *критический, теолог*, или же *теологический критик*, не мог подняться выше *религиозной противоположности*. В отношении евреев к христианскому миру он мог видеть *лишь* отношение *еврейской религии к христианской*. Он должен был даже *критически* восстановить религиозное противоречие в *противоречии* между отношением евреев, с одной стороны, и отношением христиан, с другой, к *критической* религии, к *атеизму*, последней ступени *теизма, отрицательному* признанию бога. Он должен был, наконец, в своем *теологическом фанатизме* ограничить способность «современных евреев и христиан», т. е. современного мира, «стать свободными» их способностью постигнуть «критику» теологии и подвизаться на поприще этой «критики». Для ортодоксального теолога весь мир сводится к «религии и теологии». (С таким же успехом он мог бы свести мир к политике, политической экономии и т. д. и *теологию*, например, назвать небесной *политической экономией*, так как она есть учение о производстве, распределении, обмене и потреблении «духовного богатства» и небесных сокровищ!) По примеру ортодоксального теолога для радикального, критического теолога *способность* мира освободить себя сводится *единственно* к абстрактной способности критиковать «религию и теологию» как «религию и теологию». Единственно знакомая ему борьба — это борьба против религиозных заблуждений самосознания, критическая «чистота» и «бесконечность» которого в неменьшей степени представляют собой теологическое заблуждение.

Господин Бауэр рассматривал, таким образом, *религиозный и теологический* вопрос *религиозным и теологическим* образом уже по тому одному, что он в «религиозном» вопросе времени видел «чисто *религиозный*» вопрос. Его «правильная постановка вопроса» заключалась только в том, что вопрос поставлен в «правильное» положение по отношению к его «*собственной способности*» — отвечать!

Перейдем теперь к политической стороне *еврейского вопроса*!

Евреи (как и христиане) в некоторых государствах *политически* совершенно *эмансипированы*. Евреи и христиане весьма далеки от

того, чтобы быть эмансипированными в *человеческом* смысле. Должна, стало быть, существовать *разница* между *политической* и *человеческой* эмансипацией. Необходимо поэтому исследовать сущность *политической* эмансипации, т. е. сущность развитого современного государства. Напротив того, государства, которые еще не могут *политически* эмансипировать евреев, опять-таки должны быть оценены на основании сравнения с законченным политическим государством и отнесены к разряду неразвитых государств.

Вот та точка зрения, которая должна была лечь в основу исследования вопроса о «*политической* эмансипации» евреев и с которой рассматривался вопрос в «Немецко-французских летописях».

Господин Бауэр защищает «Еврейский вопрос» «критики» следующим образом:

«Евреям доказано было, что они имели иллюзорное представление о том *порядке*, от которого они требовали свободы».

Господин Бауэр в самом деле показал, что иллюзией со стороны *немецких* евреев было — требовать участия в политической общественной жизни в такой стране, где не существует никакой политической жизни, требовать *политических прав* там, где существуют только политические привилегии. Господину Бауэру, напротив, было доказано, что и он сам, ничуть не менее евреев, проникнут «иллюзиями» насчет «немецких политических порядков». Он объяснял положение евреев в немецких государствах тем именно, что «*христианское государство*» не может политически эмансипировать евреев. Он искажал фактические отношения, и государство *привилегий*, *христианско-германское* государство, сконструировал как абсолютное христианское государство. Ему, наоборот, было показано, что политически законченное, новейшее государство, не знающее никаких религиозных привилегий, и есть законченное *христианское* государство; что, стало быть, законченное христианское государство не только *может* эмансипировать евреев, но и действительно эмансипировало их и по природе своей должно эмансипировать».

«Евреям было показано... что они проникнуты в сильнейшей степени иллюзиями насчет самих себя, когда думают, что требуют *свободы* и признания *свободной человечности*, между тем как они только добиваются особой *привилегии*, да иначе и не могут».

Свобода! Признание свободной человечности! Особая привилегия! Поучительные слова! Как с их помощью не обойтись, в целях апологии, определенных вопросов?

Свобода! Речь шла о *политической* свободе. Господину Бауэру было показано, что, когда еврей требует свободы и при этом не хочет

отказаться от своей религии, он *«занимается политикой»* и не ставит никаких условий, противоречащих *политической* свободе. Господину Бауэру было показано, что *разложение* человека на нерелигиозного *гражданина* и религиозное *частное лицо* отнюдь не противоречит политической эмансипации. Ему было показано, что, подобно тому как государство эмансипируется от религии, эмансипируясь от *государственной религии* и предоставляя религию самой себе в границах гражданского общества, точно так же и отдельный человек *политически* эмансипируется от религии, относясь к ней не как к *публичному*, а как к *частному делу*. Наконец, было показано, что *террористическое* отношение французской *революции* к *религии* далеко не опровергает этого взгляда, а, напротив, только подтверждает его.

Вместо того чтобы исследовать действительное отношение *новейшего* государства к религии, господин Бауэр счел нужным вообразить себе *критическое* государство, — государство, которое есть не что иное, как *выросший* в его фантазии *до размеров государства критик теологии*. Когда господина Бауэра *политика* приводит в замешательство, он всегда снова подчиняет ее надзору своей веры, *критической* веры. Поскольку он интересовался государством, он всегда обращал его в *аргумент* против своего истинного «противника», *некритической* религии и теологии. Государство служит у него исполнителем *критически-теологических* сердечных желаний.

Когда господин Бауэр впервые освободился от *ортодоксальной* некритической теологии, *политический авторитет* занял в его глазах место *религиозного*. Его вера в Иегову преобразилась в веру в прусское государство. В произведении Бруно Бауэра: *«Евангельская церковь»* возведены в *абсолюты* не только прусское государство, но — что было вполне последовательно — также и прусский королевский дом. На самом деле государство это вызывало в Бауэре не *политический* интерес: заслуга этого государства в глазах «критики» заключалась, напротив, в упразднении отдельных догм при посредстве *церковной унии* и в *полнейшем* преследовании диссидентских сект.

Политическое движение, начавшееся в 1840 г., освободило господина Бауэра от *его консервативной политики* и бросило его на момент объятия *либеральной* политики. Но и тут политика была, собственно говоря, только *предлогом* для теологии. В произведении: «Правое дело свободы и мое собственное дело» свободное государство является критиком теологического факультета в Бонне и аргументом против религии. В «Еврейском вопросе» главный интерес сосредоточивается на противоположности между государством и религией, так что

критика политической эмансипации превращается в критику еврейской религии. В последнем политическом произведении Бауэра: «Государство, религия и партия» выступает, наконец, наружу самое сокровенное сердечное желание преобразившегося в государство критика. *Религия* приносится в жертву государству, или, вернее, государство есть только *средство* для того, чтобы покончить с противником «критики», с некритической религией и теологией. Наконец, после того как критика, благодаря распространившимся в 1843 г. в Германии социалистическим воззрениям, освободилась, хотя бы только видимо, от всякой политики, подобно тому как она, благодаря политическому движению после 1840 г., излечилась от консервативной политики, — после этого она может, наконец, провозгласить свои писания против *некритической* теологии общественными и беспрепятственно заняться своей собственной *критической* теологией, — противоположением духа массе, — равно как провозвещением пришествия критического спасителя и искупителя мира.

Вернемся к нашей теме!

Признание свободной человечности! «Свободная человечность», признания которой евреи действительно добивались, а не только думали, что добиваются ее, есть та самая «свободная человечность», которая нашла себе *классическое* выражение в так называемых всеобщих *правах человека*. Сам господин Бауэр рассматривал стремление евреев добиться признания свободной человечности исключительно как стремление к получению всеобщих *прав человека*.

В «Немецко-французских летописях» доказывалось господину Бауэру, что эта «свободная человечность» и ее «признание» суть не что иное, как признание эгоистического *буржуазного индивидуума* и *необузданного* движения духовных и материальных элементов, образующих содержание жизненного положения индивидуума, содержание *современной буржуазной жизни*; что поэтому *права человека* не освобождают человека от религии, а только предоставляют ему *свободу религии*; что они не освобождают его от собственности, а предоставляют ему *свободу собственности*, не освобождают его от грязной погони за наживой, а только наделяют его *свободой промысла*.

Ему показано было еще, что *признание прав человека* современным государством имеет такой же самый смысл, как *признание античным государством рабства*. Именно подобно тому как античное государство имело своей *естественной основой* рабство, точно так же *современное государство* имеет своей *естественной основой* буржуазное общество, равно как *человека* буржуазного общества, т. е. независимого человека, связанного с другим человеком исключительно узами

частного интереса и *бессознательной* естественной необходимостью, *раба* своего промысла и своей собственной, а равно и чужой *своекорыстной* потребности. Современное государство признало эту свою естественную основу, как таковую, в *всеобщих правах человека*. Оно не создало ее. Будучи само продуктом буржуазного общества, собственным развитием вынужденного разрушить старые политические рамки, государство, с своей стороны, должно было признать свое место рождения и основу в *провозглашении прав человека*. *Политическая* эмансипация евреев и наделение их *«правами человека»* есть взаимно обуславливающий себя акт. Г-н *Риссер* совершенно правильно толкует смысл стремления евреев добиться признания свободной человечности, значит, между прочим, и свободы хождения, пребывания, передвижения, промысла и т. п. Все эти проявления *«свободной человечности»* вполне ясно признаны таковыми во французской декларации прав человека. Еврей имеет тем большее право на это признание своей *«свободной человечности»*, что *«свободное буржуазное общество»* носит насквозь коммерческий характер, и еврей наперед уже является его необходимым членом. Далее, *«Немецко-французские летописи»* показали, почему член буржуазного общества именуется *«человеком»* *par excellence* и почему права человека называются *«прирожденными правами»*.

«Критика» не сумела сказать о правах человека ничего более *«критического»*, чем то, что права эти *не* *прирожденные*, а возникли историческим путем, что уже было сказано еще *Гегелем*. Наконец, ее утверждению, что евреи и христиане должны *пожертвовать привилегией веры*, чтобы предоставить другим и получить самим права человека (критический теолог толкует все вещи с точки зрения своей *единственной idée fixe*), противопоставлен был специально лежащий в основе всех некритических деклараций прав человека факт, что *право* верить во что угодно, право придерживаться культа любой религии самым ясным образом признано как *всеобщее человеческое право*. Кроме того «критике» должно было быть известно, что предлогом к свержению партии *Гебера* послужило именно приписанное ей покушение на права человека ввиду ее покушения на *свободу религии* и что при позднейшем восстановлении свободы культа точно так же ссылались на права человека.

«Что касается существа *политики*, то критика проследила ее противоречия вплоть до того пункта, где *противоречие между теорией и практикой* самым основательным образом разработано уже 50 лет тому назад, — вплоть до *французской представительной системы*, в которой свобода теории не находит себе признания со стороны

практики, а свобода практической жизни тщетно ищет своего выражения в теории».

«После того как вдобавок вскрыта еще была основная ошибка, необходимо было бы показать, что обнаруженное критикой *противоречие в работах французской палаты*, противоречие между *свободной теорией* и *практическим значением привилегий*, между законодательным освящением привилегий и *общественным положением*, где эгоизм *чистого индивидуума* старается преодолеть *привилегированную замкнутость*, — что это противоречие, по характеру своему, есть *всеобщее противоречие* в этой области».

Противоречие, открытое критикой в работах французской палаты, было не чем иным, как противоречием *конституционализма*. Если бы критика поняла его как *всеобщее* противоречие, она поняла бы также всеобщее противоречие конституционализма. Если бы она пошла еще дальше, чем она «должна была», по ее мнению, пойти, если бы она дошла до понимания необходимости *упразднения* этого всеобщего противоречия, она пришла бы от конституционной *монархии* прямо к *демократической представительной системе*, к законченному новейшему государству. Далекая еще от того, чтобы критически проанализировать существо политической эмансипации и раскрыть отношение его к существу человека, критика пришла бы только к голому *факту* политической эмансипации, к развитому новейшему государству, т. е. пришла бы только к тому пункту, где существование новейшего государства соответствует его сущности, где поэтому могут быть наблюдаемы и охарактеризованы не только относительные, но и абсолютные, образующие его сущность *недуги*.

Выше цитированное «критическое» место тем более ценно, чем более оно до очевидности доказывает, что в тот самый момент, когда критика считает себя возвысившеюся над *«сущностью политики»*, она, напротив, опускается ниже этой сущности, в ней все еще ищет разрешения *своих* противоречий и все еще упорствует в своем полном непонимании *нового государственного принципа*.

Критика противопоставляет *«свободной теории»* — *«практическое значение привилегий»* и *«законодательной санкции привилегий»* — *«общественное положение»*.

Чтобы не истолковать ложно мнение критики, восстановим в памяти открытое ею противоречие в работах французской палаты, то самое противоречие, которое «должно было бы быть понято» как *всеобщее* противоречие. Речь шла, между прочим, о том, чтобы установить один день в неделю, в который дети должны были быть освобождены от работы. Предложено было назначить этим днем *воскре-*

сенье. Один депутат в ответ на это внес предложение опустить в законе упоминание воскресенья, рассматривая такое упоминание, как отклонение от конституционализма. Министр Мартен (du Nord) увидел в этом предложении попытку провозгласить, что христианство перестало существовать. Господин Кремье от имени французских евреев заявил, что евреи, из уважения к религии громадного большинства французов, ничего не имеют против упоминания воскресенья. Согласно свободной теории евреи и христиане равны, согласно же этой практике христиане пользуются по отношению к евреям привилегией, ибо иначе каким образом могло христианское воскресенье найти себе место в законе, предназначенном для всех французов? И разве еврейская суббота не имела такого же права и т. д.? Или же в практической французской жизни еврей действительно не подавляем христианскими привилегиями, но закон не осмеливается открыто признать это практическое равенство? К этому же роду относятся и все остальные противоречия политики, приводимые г. Бауэром в «Еврейском вопросе», противоречия конституционализма, которые в общем представляют собой противоречие между новейшим представительным государством и старым государством привилегий.

Господин Бауэр делает весьма основательный промах, полагая, что пониманием и критикой этого противоречия, как «всеобщего», он возвышается над *политической* сущностью, раскрывая *человеческую* сущность. Следовало ему лучше возвыситься над половинчатой политической свободой, над конституционализмом, и стать на точку зрения полной политической свободы, т. е. на точку зрения демократического представительного государства.

Господин Бауэр полагает, что, упраздняя *привилегию*, он упраздняет *предмет* привилегии. По поводу заявления г. Мартена (du Nord) он замечает: «*Не существует больше никакой религии, если нет более привилегированных религий*. Отнимите у религии ее исключительность, и ее не существует более».

С упразднением привилегий *ремесла*, цехов и корпораций не исчезает *промышленная деятельность*; напротив того, только после упразднения этих привилегий начинает развиваться настоящая *промышленность*. С упразднением *привилегированной* земельной собственности не исчезает *земельная собственность*; напротив того, только после упразднения привилегий земельной собственности начинается ее универсальное движение путем свободного парцеллирования и отчуждения. С упразднением *торговых привилегий* не исчезает *торговля*, а, напротив того, находит себе в свободной торговле истинное осуществление. Точно таким же образом и религия

развертывается во всей своей *практической* универсальности лишь там, где нет никакой *привилегированной* религии (Северо-американские свободные штаты).

Основу современных *общественных отношений*, основу современного развитого государства составляет не общество привилегированных, как думает критика, а общество *упраздненных* и *уничтоженных* привилегий, развившееся *буржуазное общество*, в котором находят себе свободное проявление жизненные элементы, еще политически скованные привилегиями. *«Никакая привилегированная замкнутость»* не противопоставляется здесь ни другой замкнутости, ни общественному положению. Свободная промышленность и свободная торговля упраздняют привилегированную замкнутость и тем самым также борьбу привилегированных замкнутостей между собой; наоборот, на место привилегий, которые исключают из всеобщей общности и в то же время замыкают в меньшей по размерам исключительной общности, — они ставят человека, освобожденного от привилегий и не связанного с другим человеком даже *видимостью* общих уз, и порождают всеобщую борьбу человека против человека, индивидуума против индивидуума. Таким же точно образом и *все буржуазное общество* есть война отделенных друг от друга исключительно своей *индивидуальностью* индивидуумов друг против друга и всеобщее необузданное движение освобожденных от оков привилегий стихийных жизненных сил. Противоречие *демократического представительного государства* и *буржуазного общества* есть законченная форма *классического* противоречия публичной *общественности* и *рабства*. В современном мире всякий *одновременно* — член рабского строя и человеческого общежития. Именно *рабство буржуазного общества*, по *видимости* своей, есть величайшая *свобода*, потому что она кажется законченной формой *независимости* индивидуума, который принимает необузданное, не связанное никакими общими узами и никаким другим человеком движение своих отчужденных жизненных элементов, как, например, собственности, промышленности, религии и проч., за свою *собственную* свободу, между тем как оно, наоборот, представляет собой его законченное рабство и человеческую отверженность. На место *привилегии* здесь стало *право*.

Итак, только здесь, где не существует никакого противоречия между свободной теорией и практическим значением привилегий, где, наоборот, практическое уничтожение привилегий, *свободная* промышленность, *свободная* торговля и т. д., соответствует «свободной теории», где общественному положению не противостоит *никакая* привилегированная замкнутость, где *упразднено* указанное критикой

противоречие, — только здесь имеется *налицо законченное новейшее государство*.

Здесь царит закон, как раз *противоположный* тому, который провозглашен был господином Бауэром, в полном согласии с господином Мартеном (du Nord), по поводу дебатов во французской палате.

«Насколько прав был господин Мартен (du Nord), заявив, что предложение отказаться от упоминания *воскресенья* в законе означает провозглашение христианства не существующим более, настолько же *справедливо и вполне обосновано* было бы мнение, что объявление *субботы* лишенной своей обязательности для евреев равносильно *провозглашению упразднения еврейства*».

В развитом новейшем государстве дело обстоит как раз *наоборот*. Государство объявляет, что религия, как и все прочие жизненные элементы буржуазного общества, *начинает* существовать в своем полном объеме лишь с того момента, когда оно объявляет их *неполитическими* и предоставляет их самим себе. Упразднению их *политического* существования, как, например, упразднению политического существования *собственности* путем уничтожения *избирательного ценза*, политическому упразднению *религии* путем уничтожения *государственной церкви*, — именно этому провозглашению их политически-гражданской смерти соответствует колоссальное развитие жизни этих элементов, которая отныне подчиняется только своим собственным законам и проявляется во всю свою мощь и ширь.

Анархия составляет закон буржуазного общества, эмансипировавшего от расчлняющих общество *привилегий*, а *анархия буржуазного общества* составляет основу современного *общественного порядка*, равно как общественный порядок, с своей стороны, является порукой этой анархии. Поскольку и в какой степени они противоречат друг другу, постольку и в той же сильной степени они друг друга обусл. вливают.

Из всего этого можно видеть, насколько критика способна усвоить себе «новое». Если же мы решим не выходить за пределы «чистой критики», то все-таки возникает вопрос: почему же она, открыв вышеуказанное противоречие в дебатах французской палаты, не постаралась постигнуть его как *всеобщее* противоречие, что, по ее мнению, «*должно было бы*» случиться?

«Но шаг этот был *невозможен* тогда, — не только потому... не только потому... но и потому, что критика была *невозможна* без этого *последнего остатка* внутренней сплетенности с своей противоположностью, и потому, что без этого она *не могла бы притти к тому пункту*, откуда оставалось еще сделать *один только шаг*».

Было невозможно... потому что... было невозможно! «Критика» уверяет при этом, что роковой *«один шаг»* был невозможен, «раз необходимо было притти к тому пункту, откуда оставалось еще сделать *один только шаг»*. Кто же станет оспаривать это? Чтобы притти к пункту, откуда остается еще только сделать *«один шаг»*, абсолютно невозможно сделать еще тот *«один шаг»*, который должен вывести нас за пункт, повади которого остается еще *«один шаг»*.

Все хорошо, что хорошо кончается! В заключение своего состязания с *массой*, враждебной ее «Еврейскому вопросу», критика сознается, что ее понимание *«прав человека»*, ее «оценка религии в эпоху французской революции», «свободная политическая жизнь, на которую она иногда указывала в *заключительной части своих рассуждений»*, — одним словом, все «время французской революции было для критики не более и не менее, как символом» (стало быть, не в точном и прозаическом смысле того времени революционных опытов французов), — «символом, а значит — не больше, как фантастическим выражением для тех образов, которые она видела перед собой в конце». Мы не станем отнимать у критики утешения, что если она и грешила политически, то это всегда имело место в «заключении» и «конце» ее работ. Один известный пьяница имел обыкновение утешать себя тем, что он никогда не бывал пьян раньше полуночи.

На территории «Еврейского вопроса» «критика» бесспорно отвоевывала у «врага» все большее и большее пространство. В № 1 «Еврейского вопроса» взятое господином Бауэром под свою защиту произведение критики было еще абсолютным и раскрывало *«истинное и «всеобщее»* значение «еврейского вопроса». В № 2 критика *«не хотела и не смела»* выйти за пределы критики. В № 3 она *должна* была бы сделать еще *«один шаг»*, но он был «невозможен»... потому что... был «невозможен». Не ее *«хотение»* и *«дерзание»*, а то обстоятельство, что она запуталась в сетях своей «противоположности», помешало ей сделать этот *«один шаг»*. Она чрезвычайно охотно перескочила бы через последний барьер, но, к несчастью, к ее критическим сапогам-скороходам прилип *последний остаток массы*.

в) Критическое сражение с французской революцией.

Ограниченность массы вынудила «дух», критику господина Бауэра принять *французскую революцию* не за эпоху революционных опытов французов в «прозаическом смысле», а *«только»* за «символ и фантастическое выражение» своих собственных критических химер. Критика *кается* в своем «просмотре», подвергая революцию *новому исследованию*.

даванию. Она вместе с тем наказывает соблазнителя своей невинности, «массу», сообщая последней результаты своего «нового исследования».

«Французская революция была экспериментом, который всецело должен быть отнесен к XVIII столетию».

Что эксперимент XVIII столетия, каким была французская революция, есть всецело еще эксперимент XVIII столетия, а не, примерно, эксперимент XIX столетия, — эта хронологическая истина, повидимому, «всецело еще» принадлежит к числу тех истин, которые «с самого начала сами собой разумеются». Но на языке критики, очень пристрастной к «ясной, как божий день», истине, такая истина называется «исследованием» и, естественно, находит себе место в «новом исследовании революции».

«Идеи, вызванные к жизни французской революцией, не выводили нас, однако, за пределы того строя, который они хотели насильственно ниспровергнуть».

Идеи никогда не могут выводить за пределы старого строя: они всегда лишь выводят за пределы идей старого строя. Идеи вообще ничего не могут выполнить. Для выполнения идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу. В своем буквальном смысле приведенное критическое положение, в свою очередь, представляет собой истину, которая понятна сама собой, т. е. опять-таки «исследование».

Не потерпевшая от этого исследования французская революция вызвала к жизни *идеи*, которые выводят за пределы *идей* всего старого мирового порядка. Революционное движение, которое началось в 1789 г. в *Cercle social*, которое в середине своего пути имело своими главными представителями *Леклерка* и *Ру* и, наконец, потерпело на время поражение вместе с заговором *Бабефа*, — движение это вызвало к жизни коммунистическую идею, которая, после революции 1830 г., снова введена была во Францию другом *Бабефа*, *Буонарроти*. Эта идея, последовательно разработанная, и есть *идея нового мирового порядка*.

«После того как революция оправдала поэтому (!) феодальные перегородки внутри народной жизни, она вынуждена была удовлетворить чистый эгоизм нации и даже разжечь его; с другой же стороны, она вынуждена была обуздать этот эгоизм при посредстве его необходимого дополнения, признания высшего существа, этого высшего подтверждения всеобщего государственного порядка, который должен скреплять между собой отдельные себялюбивые атомы».

Эгоизм национальности есть естественный эгоизм всеобщей природы государства (*des allgemeinen Staatswesens*) в противоположность эгоизму феодальных разграничений. Высшее существо пред-

ставляет собою высшее подтверждение всеобщей природы государства, стало быть — и национальности. Высшее существо должно, тем не менее, *обуздывать* эгоизм национальности, т. е. эгоизм всеобщей природы государства! Поистине критическая задача — обуздывать эгоизм путем его подтверждения и, вдобавок, *религиозного* подтверждения, т. е. признания его сверхчеловеческим и тем самым освобожденным от человеческих уз существом! Творцы высшего существа не знали об этом своем критическом намерении.

Господин *Бюше*, усматривающий в фанатизме религии опору фанатизма национальности, лучше понимает своего героя, *Робеспьера*.

Национализм привел к крушению Рим и Грецию. Критика не говорит, следовательно, ничего специфического о французской революции, заставляя национализм приводить к крушению революции. Точно так же она ничего не говорит о национализме, определяя эгоизм последнего как *чистый* эгоизм. Этот чистый эгоизм кажется, напротив, очень темным, состоящим из плоти и крови, природным эгоизмом, если его сравнить хотя бы с чистым эгоизмом *фихтевского «я»*. Если же его чистота только относительна, в противоположность эгоизму феодальных разграничений, то не было надобности ни в каком «новом исследовании революции», чтобы найти, что эгоизм, имеющий своим содержанием нацию, отличается более общим характером и чище, чем эгоизм, имеющий своим содержанием отдельное сословие и отдельную корпорацию.

Разъяснения критики относительно всеобщей природы государства не менее поучительны. Они ограничиваются тем, что всеобщая природа государства должна скреплять между собой отдельные себялюбивые атомы.

Выражаясь точно и прозаически, члены гражданского общества не суть *атомы*. *Характерное свойство* атома состоит в том, что он не обладает никакими свойствами и поэтому не связан никаким *обусловленным его собственной природой* соотношением с другими, вне его лежащими существами. Атом *лишен потребностей*, он — *самодовлеющая сущность*. Мир вне его — абсолютная *пустота*, бессодержателен, лишен всякого смысла, ничего не говорит именно потому, что атом заключает внутри себя *всю полноту существующего*. Пусть эгоистический индивидуум буржуазного общества в своем не чувственном представлении, безжизненной абстракции, воображает себя *атомом*, т. е. безотносительным, самодовлеющим, лишенным потребностей, *абсолютно полным*, счастливым существом! Презренной *чувственной действительности* и дела нет до его воображения. Каждое из его чувств заставляет верить в значение мира и существ.

вание индивидуумов вне его, и даже его *грешный* желудок ежедневно напоминает ему о том, что мир *вне* его не *пуст*, а, напротив, есть то именно, что собою все *наполняет*. Все проявления его существа, все свойства его, всякий жизненный стимул его становятся *потребностью, нуждой*, которые делают его *себялюбие* любовью к другим вещам и другим людям. Но так как потребность одного индивидуума не имеет для другого эгоистического индивидуума, обладающего средством для удовлетворения этой потребности, никакого самого по себе понятного смысла, т. е. не находится ни в какой непосредственной связи с самим удовлетворением, то каждый индивидуум должен создать эту связь, становясь в то же время сводником между чужой потребностью и предметами этой потребности. Таким образом, *природная необходимость, свойства человеческого существа*, как бы они ни казались отчужденными, *интерес*, — вот что скрепляет друг с другом членов гражданского общества. *Реальной* связью между ними является не *политическая*, а *гражданская* жизнь. Не *государство*, стало быть, скрепляет между собой *атомы* гражданского общества, а именно то, что они *атомы* — только в *представлении*, на *небе* своего воображения, а в *действительности* — существа, сильнеешим образом отличающиеся от атомов, что они не *божественные эгоисты*, а *эгоистические люди*. Только *политический предрассудок* способен еще в наше время воображать, что государство скрепляет гражданскую жизнь, между тем как, наоборот, гражданская жизнь скрепляет государство.

«Величественная идея Робеспьера и С.-Жюста создать «свободный народ», который жил бы исключительно по правилам *справедливости* и *добродетели* (см., например, доклад С.-Жюста о преступлении Дантона и другой его доклад об общей полиции), могла держаться в течение некоторого времени исключительно благодаря террору и была *противоречием*, на которое низкие и себялюбивые элементы *народной сущности* реагировали в такой степени трусливо и коварно, как только и можно было ждать от них».

Насколько абсолютно пуста эта *абсолютно-критическая* фраза, характеризующая «свободный народ» как «*противоречие*», на которое должны реагировать элементы «*народной сущности*», можно заключить из того, что, по мысли Робеспьера и С.-Жюста, *свобода, справедливость, добродетель* представляют собой, напротив, только жизненные проявления «*народа*» и только свойства «*народной сущности*». Робеспьер и С.-Жюст в самых ясных выражениях говорят об *античной*, присущей только «*народной сущности*», «свободе, справедливости, добродетели». *Спартанцы, афиняне, римляне* в эпоху своего величия — «свободные, справедливые, добродетельные народы».

«Каков, — спрашивает Робеспьер в своей речи о принципах общественной морали (заседание Конвента 5 февраля 1794 г.), — каков *основной принцип* демократического, или народного, правления? *Добродетель*. Я говорю об *общественной* добродетели, которая совершила столько чудес в *Греции* и *Риме* и которая совершит еще более достойные изумления чудеса в республиканской Франции. Я говорю о добродетели, которая есть не что иное, как любовь к отечеству и его законам». Дальше Робеспьер специально называет *афинян* и *спартанцев* «*peuples libres*». Он беспрестанно воскрешает в памяти слушателей античную «народную сущность» и приводит имена как ее героев, так и ее нарушителей: Ликурга, Демосфена, Мильтиада, Аристиды, Брута и Катилину, Цезаря, Клавдия и Пизона.

В своем докладе об аресте Дантона (на него ссылается критика) С.-Жюст вполне ясно говорит:

«Мир опустел со времени гибели *Рима*, и только воспоминание о последнем наполняет его содержанием и пророчествует еще о *свободе*. Его обвинение на античный манер направлено против *Дантона*, как против нового *Катилины*».

В другом докладе С.-Жюста о *всеобщей полиции республиканец* изображен в *античном* духе *непоколебимым, умеренным в потребностях, простым* и т. д. *Полиция*, по существу своему, должна стать учреждением, соответствующим римской *цензуре*. Он приводит имена Кодра, Ликурга, Цезаря, Катона, Катилины, Брута, Антония, Кассия. Наконец, С.-Жюст характеризует «*свободу, справедливость, добродетель*», которых он добивается, *одним коротким выражением*:

«*Que les hommes révolutionnaires soient des Romains*». ¹

Робеспьер, С.-Жюст и их партия погибли потому, что они смешали античный *реалистически-демократический общественный порядок*, который покоился на основе *действительного рабства*, с *новейшим спиритуалистически-демократическим представительным государством*, которое покоится на *эмансипированном рабстве*, на *буржуазном обществе*. Какая колоссальная ошибка — быть вынужденным признать и санкционировать в «*правах человека*» современное буржуазное общество, общество промышленности, всеобщей конкуренции, свободно преследующих свои цели частных интересов, анархии, самой от себя отчужденной природной и духовной индивидуальности, — быть вынужденными признать и санкционировать все это и в то же время аннулировать, в лице отдельных индивидуумов, *жизненные*

¹ Революционеры должны быть римлянами.

проявления этого самого общества, и в то же время желать построить по античному образцу политическую верхушку этого общества!

Ошибка эта представляется трагической, когда С.-Жюст, в день своей казни, указывая на висящую в зале Conciergerie большую надпись с Декларацией прав человека, с чувством гордости произносит: «C'est pourtant moi qui a fait cela».¹ Именно эта надпись провозглашала право человека, который может быть человеком древней общестственности настолько же мало, насколько его народно-хозяйственные и промышленные отношения мало похожи на античные отношения.

Здесь не место исторически оправдывать ошибку террористов.

«После падения Робеспьера политическое просвещение и движение стало быстро приближаться к тому пункту, где оно стало добычей Наполеона, который вскоре после 18 Брюмера мог сказать: «С моими префектами, жандармами и попами я могу сделать с Францией все, что хочу».

Грешная история, напротив того, гласит: после падения Робеспьера начинается эра прозаического осуществления политического просвещения, которое раньше хотело превзойти самого себя, которое утонуло в преувеличениях. Революция освободила буржуазное общество от феодальных пут и официально признала его, как ни старался впоследствии терроризм принести это общество в жертву антично-политическому строю жизни. Но только при правительстве директории стремительно вырывается наружу и закипает ключом настоящая жизнь буржуазного общества. Горячка коммерческих предприятий, страсть к обогащению, опьянение новой буржуазной жизнью, где на первых шагах наслаждение принимает дерзкий, легкомысленный, фривольный и одурманивающий облик; действительно просвещенное использование французских земель, феодальное расчленение которых разбито было молотом революции и которые лихорадочная горячность бесчисленных новых собственников подвергла теперь всесторонней обработке; первые движения освободившейся промышленности,—все это были отдельные жизненные симптомы только-что народившегося буржуазного общества. Буржуазное общество находит своего положительного представителя в буржуазии. Буржуазия вступает, таким образом, на путь своего господства. Права человека перестают существовать исключительно только в теории.

¹ Ведь это создал

Не революционное движение вообще сделалось 18 Брюмера добычей Наполеона, как думала критика, принимая на веру слова какого-нибудь господина Роттека или Велькера; добычей Наполеона стала *либеральная буржуазия*. Стоит только прочесть речи тогдашних законодателей, чтобы убедиться в правильности нашего взгляда. Читая эти речи, получаешь впечатление, словно ты перенесен из Национального конвента в какую-нибудь современную палату депутатов.

Наполеон был олицетворением последнего акта борьбы *революционного терроризма* против провозглашенного той же революцией *буржуазного общества* и его политики. Впрочем, Наполеон усматривал уже истинную сущность *новейшего государства*; он уже понимал, что государство это имеет своей основой беспрепятственное развитие буржуазного общества, свободное движение частных интересов и т. д. Он решился признать эту основу и взять ее под свое покровительство. Он не был мечтательным террористом. Но Наполеон в то же время продолжал еще рассматривать *государство* как *самоцель*, а буржуазную жизнь исключительно лишь как кавчаея и своего *подчиненного*, который не смеет иметь свою *собственную волю*. Он *завершил терроризм, поставив на место перманентной революции перманентную войну*. Он удовлетворил до полного насыщения эгоизм французской национальности, но требовал также, чтобы ему приносили в жертву дела буржуазии, наслаждения, богатство и т. д., когда это нужно было для политической цели завоевания. Деспотически подавляя либерализм буржуазного общества, — политический идеализм его будничной практики, — он не в большей степени щадил и его существеннейшие *материальные* интересы, торговлю и промышленность, как только они приходили в столкновение с его политическими интересами. Его презрение к промышленным *hommes d'affaires* было дополнением к его презрению к *идеологам*. И во внутренних делах он боролся против буржуазного общества, как против противника государства, олицетворенного в нем, Наполеоне, как абсолютная самоцель. Так, например, он заявил в Государственном совете, что не потерпит, чтобы владельцы обширных земельных угодий по произволу возделывали или не возделывали их. Тот же смысл имел и его план — путем передачи в руки государства *обозного транспорта* товаров подчинить торговлю государству. Французские купцы подготовили то событие, которое впервые потрясло могущество Наполеона. Парижские скупщики путем искусственно созданного голода заставили Наполеона отложить русский поход на два месяца и таким образом перенести его на слишком позднее время года.

Если в лице Наполеона либеральная буржуазия еще раз столкнулась с революционным терроризмом, то в лице Бурбонов, реставрации, она еще раз столкнулась с контр-революцией. Наконец, в 1830 г. она исполнила свои желания 1789 г., с той только разницей, что ее *политическое развитие* теперь было *закончено*, что она не видела больше в конституционном представительном государстве идеала государства, не думала больше, что стремится к спасению мира и к достижению общечеловеческих целей, а, напротив того, рассматривала государство как *официальное* выражение своей *исключительной* власти и как *политическое* призвание своих *частных* интересов.

Жизненная история французской революции, ведущей свое летоисчисление от 1789 г., не закончилась еще, однако, 1830 годом, когда одержал победу один из факторов революции, обогащенный отныне совнанием своего *социального* значения.

г) Критическое сражение с французским материализмом.

«Спинозизм властвовал над умами в XVIII столетии как в своей позднейшей французской разновидности, сделавшей матерью субстанцией, так и в теизме, давшем материи более духовное наименование... *Французская школа Спинозы* и сторонники теизма были лишь двумя сектами, которые вели между собой спор об истинном смысле *системы Спинозы*... Простая судьба обрекла это просвещение на гибель, — оно растворилось в *романтике*, после того как вынуждено было отдаться в плен реакции, начавшейся со времени французского движения».

Так говорит «критика».

Мы противопоставим в кратких чертах критической истории французского материализма его тривиальную массовидную историю. Мы почтительнейшим образом признаем бездну, отделяющую историю, как она действительно происходила, от истории, как она происходит по декрету «абсолютной критики», в одинаковой мере совидающей как новое, так и старое. Наконец, вполне повинуюсь предписаниям «критики», мы сделаем «предметом обстоятельного исследования» вопросы: «почему?», «откуда?» и «куда?» критической истории.

«Выражаясь *точно и прозаически*», французское просвещение XVIII столетия, и в особенности французский материализм, представляет собою не только борьбу против существующих политических учреждений, религии и теологии, но также *открытую, ясно выраженную* борьбу против *метафизики XVII столетия* и против *всякой метафизики вообще*, — против метафизики *Декарта, Мальбранша,*

Спинозы и Лейбница. Философия была противопоставлена *метафизике*, подобно тому как *Фейербах* при своем первом решительном выступлении против *Гегеля* противопоставил *трезвую философию пьяной спекуляции*. Пораженная французским просвещением, и в особенности *французским материализмом*, *метафизика* XVII столетия правдновала свою *победоносную, полную содержания реставрацию* в лице *немецкой философии*, а именно в *спекулятивной немецкой философии* XIX столетия. После того как *Гегель* гениальным образом соединил ее со всей прежней *метафизикой* и с *немецким идеализмом*, создав *метафизическое универсальное царство*, нападки на теологию снова, как в XVIII столетии, шли рядом с нападками на *спекулятивную метафизику* и на *всякую метафизику* вообще. *Материализм*, пополненный теперь тем, что было добыто самой *спекуляцией*, и совпадающий с *гуманизмом*, навсегда покончит с *метафизикой*. Подобно тому как *Фейербах* в *теории*, французский и английский *социализм* и *коммунизм* являются на *практике материализмом*, совпадающим с *гуманизмом*.

«Выражаясь точно и прозаически», существуют два направления *французского материализма*: одно берет свое начало от *Декарта*, другое — от *Локка*. Последний вид материализма составляет, по преимуществу, *французский образовательный элемент* и ведет прямо к *социализму*. Первый, *механический материализм*, сливается с *французским естествознанием*. В ходе развития оба направления перекрещиваются. Нам нет надобности входить в подробное рассмотрение *французского материализма*, ведущего свое происхождение непосредственно от *Декарта*; точно так же незначает останавливаться на *французской школе Ньютона* и на развитии *французского естествознания* вообще.

Заметим лишь следующее.

В своей *физике Декарт* приписывает *материи* самостоятельную творческую силу и *механическое движение* рассматривает как проявление жизни материи. Он совершенно отделяет свою *физику* от своей *метафизики*. В границах его *физики материя* представляет собой единственную *субстанцию*, единственное основание бытия и познания.

Механический французский материализм примкнул к *физике Декарта*, в противоположность его *метафизике*. Его ученики были по профессии *антиметафизики*, т. е. *физики*.

Врачом Леруа начинается эта школа, в *враче Кабанисе* она достигла своего кульминационного пункта, *врач Ламеттри* является ее центром. Еще при жизни *Декарта Леруа* применил к чело-

веческой душе взгляд своего учителя на строение *животного тела* (подобно *Ламеттри* в XVIII веке) и объявил душу *модусом тела*, а *идеи* — *механическим движением*. Леруа был даже уверен, что Декарт скрыл свой истинный взгляд на этот вопрос. Декарт протестовал против этого. В конце XVIII столетия *Кабанис* закончил разработку картезианского материализма в своем произведении «*Rapport du physique et du moral de l'homme*».

Картезианский материализм существует еще и поныне во Франции. Значительных успехов он достиг в *механическом естествознании*, которое менее всего можно, «выражаясь *точно и прозаически*», упрекнуть в *романтике*.

Метафизика XVII столетия, главным представителем которой во Франции был *Декарт*, должна была со дня своего рождения *вести борьбу с материализмом*. Материализм выступил против Декарта в лице *Гассенди*, возродившего *эпикурейский* материализм. Французский и английский материализм всегда сохраняли внутреннюю связь с *Демокритом* и *Эпикуром*. Другого противника картезианская метафизика встретила в лице *английского* материалиста *Гоббса*. Гассенди и Гоббс победили свою противницу спустя долгое время после своей смерти, в то время, когда она официально господствовала во всех французских школах.

Вольтер заметил, что равнодушие французов XVIII столетия к спору иезуитов с янсенистами следует приписать не столько влиянию философии, сколько финансовым спекуляциям *Лоу*. И в самом деле, падение метафизики XVII столетия постольку может быть объяснено материалистической теорией XVIII столетия, поскольку само это теоретическое движение находит себе объяснение в практике тогдашней французской жизни. Жизнь эта была направлена на непосредственную действительность, на мирское наслаждение и мирские интересы, на *земной мир*. Ее антитеологической, антиметафизической, материалистической практике должны были соответствовать антитеологические, антиметафизические, материалистические теории. Метафизика *практически* потеряла всякий кредит. Нам необходимо здесь в кратких чертах отметить лишь *теоретический* ход этой эволюции.

Метафизика XVII столетия еще заключала в себе *положительное*, *земное* содержание (вспомним Декарта, Лейбница и др.). Она делала открытия в математике, физике и других точных науках, которые казались связанными с нею. Но уже в начале XVIII столетия эта *мнимая* связь была уничтожена. Положительные науки отделились от метафизики и отмежевали себе свою собственную область. Все

богатство метафизики ограничилось теперь только миром идей и божественными предметами, и это как раз в то время, когда реальные сущности и земные вещи начали сосредоточивать на себе весь интерес. Метафизика стала плоской. В том самом году, когда скончались последние великие французские метафизики XVII века, Мальбранш и Арно, родились *Гельвеций* и *Кондильяк*.

Человеком, *теоретически* подорвавшим всякое *доверие* к метафизике XVII столетия и ко всякой метафизике вообще, был *Пьер Бейль*. Его оружием служил *скептицизм*, который сам был выкован из волшебных формул метафизики. Он сам исходил, прежде всего, из картезианской метафизики. Подобно тому как *Фейербах* борьба против спекулятивной теологии толкнула на борьбу против *спекулятивной философии* именно потому, что он увидел в умозрении последнюю опору теологии и вынужден был заставить теологов вернуться обратно от мнимой науки к *грубой*, отталкивающей *вере*, точно так же религиозное сомнение привело Бейля к сомнению в метафизике, служившей основой для веры. Он подверг поэтому критике все историческое развитие метафизики. Он стал ее историком, для того чтобы написать историю ее смерти. Он, по преимуществу, опровергал *Спинозу* и *Лейбница*.

Пьер Бейль не только разрушил метафизiku с помощью скептицизма, очищая тем самым почву для усвоения материализма и философии здравого смысла во Франции, он возвестил появление атеистического общества, которое вскоре действительно начало существовать, посредством докаательства того, что возможно существование общества, состоящего из *атеистов*, что атеист *может* быть почтенным человеком, что человека унижают не атеизм, а предрассудки и идолопоклонство.

По выражению одного французского писателя, *Пьер Бейль* был «последним метафизиком в смысле XVII столетия и первым философом в смысле XVIII столетия».

Кроме отрицательного опровержения теологии и метафизики XVII столетия, необходима была еще *положительная антиметафизическая* система. Чувствовалась необходимость в такой книге, которая привела бы в систему тогдашнюю жизненную практику и дала бы ей теоретическое обоснование. Сочинение *Локка* о «Происхождении человеческого рассудка» очень кстати явилось с того берега пролива. Оно встречено было с энтузиазмом, как давно и страстно ожидаемый гость.

Спрашивается: не был ли *Локк* учеником *Спинозы*? «Грешная» история может на это ответить:

Материализм — *прирожденный сын Великобритании*. Еще британский схоластик *Дунс Скот* спрашивал себя: «*не способна ли материя мыслить?*»

Чтобы сделать возможным такое чудо, он взывал к господнему всемогуществу, т. е. он заставил самое *теологию* проповедывать *материализм*. Кроме того он был *номиналистом*. Номинализм был одним из главных элементов *английского* материализма и вообще является *первым выражением* материализма.

Но истинным родоначальником *английского материализма* и вообще *опытных наук новейшего времени* был *Бэкон*. Естествознание является в его глазах истинной наукой, а *физика*, опирающаяся на свидетельство внешних чувств — важнейшей частью естествознания. *Анаксагор* с его гомемериями и *Демокрит* с его атомами часто приводятся им как авторитеты. По его учению, *чувства* непогрешимы и составляют *источник* всякого знания. Наука есть *опытная наука* и состоит в применении *рационального метода* к чувственным данным. Индукция, анализ, сравнение, наблюдение, эксперименты суть главные условия рационального метода. Первым и самым важным из *прирожденных свойств материи* является *движение*, — не только как *механическое* и *математическое* движение, но еще больше как *стремление*, как *жизненный дух*, как *напряжение*, или, как выражается Яков Бёме, как *мучение* (Qual) материи. Первичные формы материи суть живые, индивидуализирующие, внутренне присущие ей, создающие специфические различия, *существенные силы*.

В *Бэконе*, как первом творце материализма, в наивной еще форме скрыты зародыши всестороннего развития этого учения. Материя улыбается своим поэтическим чувственным блеском всему человеку. Но изложенное в афористической форме учение Бэкона еще полно теологической непоследовательности.

В своем дальнейшем развитии материализм становится *односторонним*. *Гоббс* является *систематиком бэконовского* материализма. Чувственность теряет свои яркие краски и превращается в абстрактную чувственность *геометра*. *Физическое* движение приносится в жертву *механическому*, или *математическому* движению, *геометрия* провозглашается главной наукой. Материализм становится *враждебным человеку*. Чтобы преодолеть *человеконенавистнический*, *бесплотный дух* в его собственной области, материализм должен сам умертвить свою плоть и сделаться *аскетом*. Он выступает как *рассудочное существо*, но зато он с беспощадной последовательностью развивает все выводы рассудка.

Если чувственность есть источник всякого познания, как утверждает Гоббс, исходя из Бэкона, то созерцание, мысль, представление и т. д. суть не что иное, как фантомы телесного мира, более или менее лишенного своих, доступных внешним чувствам, форм. Наука может только дать названия этим фантомам. *Одно* и то же название может быть приложено ко многим фантомам. Могут даже существовать названия названий. Но было бы противоречием, с одной стороны, видеть в чувственном мире источник всех идей, с другой же стороны — утверждать, что слово есть нечто большее, чем слово, что, кроме существующих в представлении, всегда лишь отдельных существ, имеются еще общие сущности. *Бестелесная субстанция* представляет собою такое же противоречие, как *бестелесное тело*. *Тело, бытие, субстанция* — все это есть одна и та же *реальная* идея. Нельзя отделить мысль от той материи, которая мыслит. Она является субъектом всех изменений. Слово *бесконечный* — *бесмысленно*, если оно не обозначает нашей способности увеличивать без конца всякую данную величину. Так как только материальное доступно восприятию и познанию, то нельзя *ничего* знать о существовании бога. Достоверно для меня лишь мое собственное существование. Всякая человеческая страсть есть механическое движение, которое кончается или начинается. Объекты наших стремлений составляют благо. Человек подчинен тем же законам, что и природа. Сила и свобода — тождественны.

Гоббс систематизировал Бэкона, но не дал обстоятельного обоснования главному принципу — происхождению знаний и идей из чувственного мира. Этот принцип Бэкона и Гоббса был разработан Локком в его «Опыте о происхождении человеческого рассудка».

Гоббс уничтожил *теистические* предрассудки бэконовского материализма; Коллинс, Додваль, Ковард, Гартли и Пристли разрушили последние теологические рамки локковского сенсуализма. Теизм — по крайней мере, для материалиста — есть не больше, как удобная и мягкая форма избавления от религии.

Мы уже упоминали о том, насколько появление произведения Локка отвечало потребностям французского просвещения. Локк обосновал философию *bon sens*, здравого смысла, т. е. сказал косвенным образом, что не может быть философии, отличной от рассудка, опирающегося на показания здоровых человеческих чувств.

Непосредственный ученик и *французский* истолкователь Локка, *Кондильяк*, немедленно направил локковский сенсуализм против *метафизики* XVII столетия. Он доказал, что французы с полным правом отвергли эту метафизику, как простой и неудачный плод

воображения и теологических предрассудков. Он обнародовал труд, в котором опровергал системы Декарта, Спинозы, Лейбница и Мальбранша.

В своем произведении «Essai sur l'origine des connaissances humaines» он развивал точку зрения Локка, доказывая, что не только душа, но и чувства, не только искусство создавать идеи, но и искусство чувственного восприятия составляют дело *опыта* и *привычки*. От *воспитания* и *внешних обстоятельств* зависит поэтому все развитие человека. Только *электическая* философия вытеснила впоследствии Кондильяка из французских школ.

Различие *французского* и *английского* материализма соответствует различию между этими нациями. Французы наделили английский материализм остроумием, плотью, кровью и красноречием. Они придали ему недостававшие еще темперамент и грацию. Они *цивилизovali* его.

У *Гельвеция*, тоже исходившего из Локка, материализм получает настоящий французский характер. Он непосредственно применяется к общественной жизни (Helvetius, «De l'homme»). Чувственные впечатления, себялюбие, наслаждение и правильно понятый личный интерес составляют основу морали. Природное равенство человеческих духовных способностей, единство успехов разума с успехами индустрии, природная доброта человека, всемогущество воспитания — вот главные моменты его системы.

Произведения *Ламеттри* представляют собой опыт соединения картезианского материализма с английским. Ламеттри пользуется физикой Декарта во всех ее подробностях. Его «L'homme-machine» построен по образцу животного-машины Декарта. В «*Système de la nature*» Гольбаха часть, посвященная физике, также представляет собой соединение французского и английского материализма, теория же нравственности, по существу, опирается на мораль Гельвеция. Робинэ («De la nature»), тот французский материалист, который больше всех сохранил связь с метафизикой и потому удостоился похвалы Гегеля, ссылается определенной образом на *Лейбница*.

О Вольнее, Дюкло, Дидро и др. нам нет надобности говорить, как и о физиократах, после того как мы, с одной стороны, выяснили двойное происхождение французского материализма от физики Декарта и английского материализма, а с другой стороны — указали на противоположность французского материализма *метафизике* XVII столетия, метафизике Декарта, Спинозы, Мальбранша и Лейбница. Немцы обратили внимание впервые на эту противоположность

только после того, как сами вступили в борьбу со *спекулятивной метафизикой*.

Как *картезианский* материализм приводит к *естествознанию* в тесном смысле слова, так другое направление французского материализма приводит непосредственно к *социализму* и *коммунизму*.

Не требуется большого остроумия, чтобы усмотреть связь между учением материализма о прирожденной склонности к добру, о равенстве умственных способностей людей, о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии внешних обстоятельств на человека, о высоком значении индустрии, о нравственном праве на наслаждение и т. д. — и коммунизмом и социализмом. Если человек черпает все свои знания, ощущения и проч. из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек познавал в нем истинно-человеческое, чтобы он привыкал в нем воспитывать в себе человеческие свойства. Если правильно понятый интерес составляет принцип всякой морали, то надо, стало быть, стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека совпадал с общечеловеческими интересами. Если человек несвободен в материалистическом смысле, т. е. если он свободен не вследствие отрицательной силы избегать того или другого, а вследствие положительной силы проявлять свою истинную индивидуальность, то должно не наказывать преступления отдельных лиц, а уничтожить антисоциальные источники преступления и предоставить каждому необходимый общественный простор для его существенных жизненных проявлений. Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человеческими. Если человек, по природе своей, общественное существо, то он, стало быть, только в обществе может развить свою истинную природу, и о силе его природы надо судить не по отдельным личностям, а по целому обществу.

Эти и им подобные положения вы можете найти почти дословно даже у самых старых французских материалистов. Здесь не место входить в их оценку. Свидетельством социалистической тенденции материализма может служить «*Защита пороков*» *Мандевилля*, одного из ранних английских учеников Локка. Он доказывает, что в *современном* обществе пороки *необходимы* и *полезны*. Это ни в каком случае нельзя признать защитой современного общества.

Фурье непосредственно исходит из учения французских материалистов. *Бабуисты* были грубыми, нецивилизованными материалистами, но и развитой коммунизм ведет свое происхождение *непосредственно* от *французского материализма*. Материализм в той

именно форме, какую ему придал *Гельвеций*, возвращается на свою родину, в *Англию*. Мораль Гельвеция служила основой системы морали *Бентама*, построенной на *правильно понятом личном интересе*, а *Оуэн*, исходивший из теории *Бентама*, кладет начало английскому коммунизму. Француз *Кабэ*, изгнанный в Англию, испытывает на себе влияние тамошних коммунистических идей и, по возвращении во Францию, становится самым популярным, хотя и самым поверхностным, представителем коммунизма. Более научные французские коммунисты, *Дедами*, *Гэй* и др., развивают, подобно Оуэну, учение *материализма* как учение *реального гуманизма* и как *логическую основу коммунизма*.

Где же господин Бауэр или критика добыли материалы к критической истории французского материализма?

1. *История философии Гегеля* изображает французский материализм как *реализацию* субстанции Спинозы, что, во всяком случае, несравненно вразумительнее, чем «французская школа Спинозы».

2. Господин Бауэр вычитал из гегелевской «Истории философии», что французский материализм есть *школа* Спинозы. Найдя в другом произведении Гегеля, что теизм и материализм представляют *две стороны одного и того же* основного принципа, он заключает, что существуют *две школы* Спинозы, спорящие между собой о смысле его системы. Господин Бауэр мог найти воображаемое им открытие в «Феноменологии» Гегеля. Здесь сказано буквально следующее: «В вопросе об абсолютном существе *просвещение* впадает само с собой в противоречие и распадается на *две партии*... Одна... считает «абсолютное» лишенным всяких предикатов... *наивысшим абсолютным существом*... другая определяет его как *материю*... И то, и другое представляет *одно и то же* понятие, — различие лежит не в самой вещи, а только в различных исходных пунктах обеих конструкций» (Гегель, «Феноменология», стр. 420, 421, 422).

3. Наконец, господин Бауэр мог опять-таки вычитать из Гегеля, что если субстанция не становится понятием и самосознанием, она делается достоянием «романтики». Нечто подобное утверждали в свое время «Галлеские летописи».

Но, во всяком случае, дух должен был, во что бы то ни стало, отдать своего «противника», *материализм*, в руки «*простоватой судьбы*».

Примечание. Связь французского материализма с Декартом и Локком и противоположность философии XVIII столетия метафизике XVII столетия обстоятельно выяснены в большей части новейших *французских* историй философии. В поучение критической критики нам пришлось только повторить

давно известные вещи. Напротив того, связь материализма XVIII столетия с английским и французским коммунизмом нуждается еще в подробном изложении. Мы ограничимся здесь приведенным некоторыми особенно характерных мест из Гельвеция, Гольбаха и Бентама.

1. *Гельвеций*. «Люди не злы, но подчинены своим интересам. Нужно поэтому осуждать не дурные наклонности людей, а неведение законодателей, которые всегда противопоставляли частные интересы общим интересам». — «Моралисты не имели до сих пор никакого успеха потому, что корни, порождающие порок, лежат в законодательстве. В Нью-Орлеане жены имеют право прогонять своих мужей, как только последние надоели им. В таких странах не может быть неверных жен, потому что у них нет надобности обманывать своих мужей». — «Мораль — не больше, как фривольная наука, если только ее не соединить с политикой и законодательством». — «Плечерных моралистов можно унвать, с одной стороны, по тому равнодушию, с которым они относятся к порокам, подтачивающим государство, с другой же стороны — по тому гневу, который возбуждают в них пороки отдельного человека». — «Люди не рождаются ни добрыми, ни злыми, но способными стать тем или другим, смотря по тому, соединяют или разъединяют их общие интересы». — «Если бы граждане не могли осуществить свое особое благо, не осуществляя в то же время общего блага, не было бы вовсе порочных людей, кроме разве безумцев» (*De l'Esprit*), Paris 1822, I, p. 117, 240, 291, 299, 351, 369 и 389). — Согласно Гельвецию, воспитание (под которым он понимает не только воспитание в обычном смысле этого слова, но и совокупность всех условий жизни индивидуума) образует человека; — если, с одной стороны, нужна реформа, упрощающая противоречие между интересом отдельного человека и интересами всего общества, — то, с другой стороны, для проведения такой реформы требуется коренное изменение сознания: «Великие реформы могут найти свое осуществление лишь тогда, когда ослаблено тупое уважение народов к старым законам и обычаям» (p. 260, 1. c.), или, как им же сказано в другом месте: когда уничтожается невежество.

2. *Гольбах*. «В предметах, любимых человеком, человек любит только самого себя; привязанность человека к другим существам своего рода основана на любви к самому себе». «Ни в один момент своей жизни человек не может отделиться от самого себя. Он не в состоянии игнорировать свою личность». Всегда и везде только наша польза, наш личный интерес... побуждает нас любить или ненавидеть предметы» (*Système social*, t. I, Paris 1822, p. 80, 112). Но «человек в собственных интересах должен любить других людей, потому что они необходимы для его собственного благополучия... Мораль ему показывает, что из всех существ человек нуждается больше всего в человеке» (p. 76). «Истинная мораль, как и истинная политика, — лишь та, которая ставит себе целью соединение людей для их совместной плодотворной деятельности и взаимного благополучия. Всякая мораль, отделяющая наши интересы от интересов наших сотрудников, — ложная, бессмысленная мораль, противная природе» (p. 116). «Любить других... значит сливать свои интересы с интересами наших сотрудников, с целью работать для общей пользы... Добродетель есть не что иное, как польза людей, соединенных в общество» (p. 77). «Человек без страстей или без желаний перестает быть человеком... Полное отвлечение от самого себя уничтожает в корне всякие побудительные мотивы для привязан-

ности к другим. Человек, равнодушный ко всему окружающему, лишенный страстей, довольствующийся сам собою, не может быть общественным существом... Добродетель есть не более, как *общественное благо*» (р. 118). «Религиозная мораль никогда не ставила себе задачи сделать смертных более общественными» (р. 36).

3. *Бентам*. Мы цитируем из Бентама одно только место, где он оспаривает «всеобщий интерес в политическом смысле». «Интерес индивидуумов... должен уступать общественному интересу. Но... что это значит? Не составляет ли каждый индивидуум такую же часть общества, как и другой? Этот общественный интерес, который вы олицетворяете, представляет собою абстракцию: он является не чем другим, как совокупностью индивидуальных интересов... Если признать желательным жертвовать счастьем одного индивидуума для увеличения счастья других, то, стало быть, еще более желательно жертвовать счастьем другого, третьего и так до бесконечности... *Индивидуальные интересы* — единственно реальные интересы (Бентам, «Теория наказаний и воздаяний» и т. д., Paris 1835, 3-е ed., II, p. 230).

д) *Заключительное поражение социализма.*

«Французы выставили целый ряд *систем*, указывающих на *способы организации массы*; но они вынуждены были *фантазировать*, потому что рассматривали массу, какова она есть, как полезный материал».

Французы и англичане, напротив того, доказывали и обстоятельно доказали, что современный общественный порядок организует «массу, *какова она есть*» и, стало быть, представляет собой *организацию* массы. По примеру «Allgemeine Zeitung», критика справляется со всеми социалистическими и коммунистическими системами при помощи *основательного* слова *фантазировать*.

Тем самым критика убила иностранный социализм и коммунизм. После этого она переносит свои военные действия в Германию.

«Когда *немецкие просветители* вдруг почувствовали себя обманутыми в своих надеждах 1842 г. и в своем замешательстве не знали, что им *предпринять*, к ним во-время долетела *весть* о новейших *французских* системах. Они могли теперь говорить об улучшении участи низших классов, и этой ценой они думали избавить себя от вопроса, не принадлежат ли и они сами к массе, которую следует искать не только в низших слоях населения».

Очевидно, критика в апологии литературного прошлого Бауэра до такой степени исчерпала весь свой запас доброжелательных мотивов, что она не находит другой причины появления немецкого социалистического движения, кроме «замешательства» просветителей в 1842 г. «К счастью, до них долетела *весть* о новейших *французских* системах». Почему же не об *английских*? По той важной *критической* причине,

что книга *Штейна*: «Коммунизм и социализм современной Франции» не принесла г. Бауэру вести о новейших английских системах. Этой же важной причиной объясняется и тот факт, что во всех разглаговльствованиях «критики» о социалистической системе фигурируют всегда лишь одни *французские системы*.

Немецкие просветители — просвещает нас дальше критика — согрешили против святого духа. Они посвятили свое внимание существовавшим уже в 1842 г. «нившим классам народа», чтобы *избавиться от не существовавшего еще тогда вопроса, какой чин они призваны получить в критическом мировом порядке, который должен был быть основан в 1843 г.: овцы или козлица критического критика или презренной массы, духа или материи. Но прежде всего им следовало серьезно подумать о своем собственном критическом спасении души, ибо — какое же мне спасение во всем мире, включая туда и низшие классы, если страдает моя собственная душа?*

«Но духовное существо не может подняться на высшую ступень не изменившись; измениться же оно может, только испытав упорное сопротивление».

Если бы критика была более знакома с движением низших классов, ей было бы известно, что упорное сопротивление, которое низшие классы встречают в практической жизни, подвергает их постоянному изменению. Новая прозаическая и поэтическая литература, исходящая в Англии и Франции из низших классов, показала бы критике, что низшие классы умеют духовно возвышаться и без непосредственного *покровительства святого духа критической критики*.

«Те господа, — фантазирует дальше абсолютная критика, — *все богатство* которых заключается в слове «*организация массы*» и т. д.».

Об «организации труда» много говорилось, хотя и этот «ловунг» исходил не от самих социалистов, а от политически-радикальной партии во Франции, которая старалась примирить политику с социализмом. Об «организации массы», как о подлежащей еще разрешению задаче, никто до критической критики не говорил. Было, напротив того, доказано, что этой организацией является *буржуазное общество*, уничтожившее старый *феодальный* порядок.

Критика помещает свое открытие в «гусиные лапки» (кавычки). Гусь, прогоготовавший господицу Бауэру этот пароль для спасения Капитолия, — не кто иной, как его *собственный гусь* — *критическая критика*. Она заново организовала массу, сделав ее абсолютным противником духа. Противоречие духа и массы есть критическая «организация общества», где дух, или критика, представляет организующий *труд*, масса — *сырой материал*, а история — *фабрикат*.

Каков же, спрашивается, после всех этих великих побед, одержанных абсолютной критикой в ее третьем походе над революцией, материализмом и социализмом, *последний результат* этих геркулесовских подвигов? Очевидно, тот, что все эти движения *не имели* последствий по той причине, что они еще представляли собою *критику, пропитанную массой, или дух, пропитанный материей*. Даже в собственном литературном прошлом господина Бауэра критика открыла всестороннее осквернение критики массой. Но *здесь*, вместо критики, на сцену выступает апология; вместо отречения от прошлого, критика его «упрочивает»; вместо того чтобы в *проникновении плоти в дух* усматривать смерть духа, она, наоборот, в *одухотворении плоти* видит даже жизнь *бауэровской плоти*. Но зато истинная критика становится беспощадной, прибегает к решительным *террористическим* мерам, как только несовершенная, пропитанная еще массой критика перестает быть *созданием* господина Бауэра, а является созданием целых народов и целого ряда дилетантов, французов и англичан, как только несовершенная критика не называется более «Еврейским вопросом», «Правым делом свободы», «Государством, религией и партией», а находит свое проявление в революции, материализме, социализме и коммунизме. Таким образом, критика нашла спасение от осквернения духа материей и критики массой, пощадив свою собственную плоть и предав распятию чужую плоть.

Тем или иным способом, но с пути истины устранены «дух, пропитанный плотью», и «критика, пропитанная массой». Место этого некритического смешения заняло абсолютно критическое *разъединение* духа и плоти, критики и массы, чистое противоречие этих элементов. Это противоречие в его *всемирно-исторической* форме, в которой оно является истинным историческим интересом настоящего времени, представляет противоречие господина Бауэра и К⁰, или же духа, со всем прочим остатком человеческого рода как проявлением материи.

Революция, материализм и коммунизм выполнили, *таким образом*, свою историческую цель. Своей *гибелью* они уготовили пути критическому *властелину*. Осанна!

е) *Спекулятивный кругооборот абсолютной критики и философия самосознания.*

Критика, достигнув в одной области мнимой законченности и чистоты, совершила, *следовательно*, только промах, «только» «непоследовательность», не обнаружив той же «законченности», той же «чистоты» во *всех* других областях. Эта «одна» область есть

область *теологии*. Чистая территория этой области простирается от «Критики синоптиков Бруно Бауэра» до «Открытого христианства Бруно Бауэра» как своей последней границы.

«Новейшая критика покончила все счета с спиновизмом. Было бы, таким образом, непоследовательностью с ее стороны, хотя бы по отношению к отдельным ложно истолкованным пунктам, оставить в этой области нетронутой *субстанцию*». Если раньше признание причастности критики к *политическим* предрассудкам смягчалось указанием на то, что эта причастность была «в основе своей *столь шаткой*», то теперь признание в *непоследовательности* сглаживается оговоркой, что она имела место лишь по отношению к *отдельным ложно истолкованным пунктам*. Г-н Бауэр, стало быть, не виноват, а повинны *ложные пункты*, которые, словно строптивые кони, унесли с собою критику.

Некоторые цитаты покажут, что, покончив с *спиновизмом*, критика стала на точку зрения *гегелевского идеализма*, что от «*субстанции*» она пришла к другому *метафизическому чудовищу* — к «*субъекту*», к «*субстанции как процессу*», к «*бесконечному самознанию*» — и что последним результатом «законченной» и «чистой» критики является *восстановление христианской теории творения в спекулятивной гегелевской форме*.

Заглянем, прежде всего, в «Критику синоптиков». «Штраус остается верным точке зрения, согласно которой *субстанция* есть абсолютное. Предание в этой форме всеобщности, еще не достигшей действительной и разумной определенности, которая может быть достигнута лишь в *самосознании*, в его *единичности и бесконечности*, есть не что иное, как *субстанция*, покинувшая свою логическую простую форму и принявшая определенный вид существования, олицетворившись в *силе общины*» («Критика синоптиков», т. I, предисловие, р. VI).

Предоставим «всеобщность, которая достигла определенности», и «единичность и бесконечность» (гегелевское *понятие*) их собственной участи. Вместо того чтобы сказать, что совершение, которое в теории *Штрауса* реализуется посредством «силы общины» и «предания», имея своим *отвлеченным* выражением, или логически метафизическим *иероглифом*, спиновское понятие *субстанции*, господин Бауэр заставляет *субстанцию* «покинуть свою логическую простую форму и принять определенную законченную форму существования в силе общины». Он пользуется *гегелевским* волшебным аппаратом, с помощью которого заставляет «*метафизические категории*», отвлеченные от *действительности* абстракции, выходить из пределов *ло-*

гики, где они растворены в «простых» формах мысли, принимать «определенную форму» физического или человеческого существования, т. е. заставляет их овеществляться. *Гинрихс*, помоги!

«Мистичен, — продолжает критика, возражая Штраусу, — мистичен этот взгляд, потому что каждый раз, когда он ставит себе целью объяснить и дать наглядное представление о процессе, которому евангельская история обязана своим происхождением, он в состоянии изобразить лишь *видимость* этого процесса. Положение, что «евангельская история имеет своим источником и началом предание», говорит *дважды* одно и то же, — «предание» и «евангельская история»; правда, здесь указывается на их определенное отношение, но это не говорит нам, какому *внутреннему процессу субстанции* обязаны своим происхождением развитие и истолкование евангельской идеи».

По *Гегелю*, *субстанцию* следует понимать как *внутренний процесс*. С точки зрения субстанции *развитие* определяется Гегелем следующим образом: «При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что *развертывание* происходит не потому, что одно и то же принимает различные формы, а оно есть бесформенное *повторение одного и того же*, которое только... содержит в себе скучную *видимость различия*» («Феноменология», предисловие, стр. 12). *Гинрихс*, помоги!

Господин Бауэр продолжает: «В силу этого критика должна обратиться против самой себя и искать разрешения *мистической субстанциальности*... там, куда нас толкает *развитие самой субстанции*, — в всеобщности и определенности идеи и в ее действительном существовании, в *бесконечном самосознании*».

Гегелевская критика субстанциальной точки зрения продолжает: «Замкнутость субстанции должна быть уничтожена и субстанция должна быть поднята до *самосознания*» (I. с., р. 7).

Точно так же и у Бауэра *самосознание* есть *поднявшаяся* до самосознания *субстанция*, или *самосознание* представляет *субстанцию*; *свойство человека*, самосознание, превращается, таким образом, в *самостоятельный субъект*. Это не что иное, как *метафизическотеологическая* карикатура человека, *оторванного* от природы. *Сущностью* этого самосознания является поэтому не человек, а *идея*, *действительное существование* которой есть самосознание. Эта идея, принявшая *человеческую* форму, в качестве идеи *бесконечна*. Все *человеческие* свойства превращаются таким *мистическим* образом в свойства мнимого «бесконечного самосознания». Поэтому господин Бауэр говорит в весьма ясных выражениях об этом «бесконечном

самосознании», что *все* имеет в нем свое начало, что все *объясняется* им, т. е. что в бесконечном самосознании лежит *основа* всякого *существования*. Гинрихс, помоги!

Господин Бауэр продолжает: «Сила *субстанциального отношения* кроется в его стремлении, которое приводит нас к понятию, к идее и к самосознанию».

Гегель замечает: «Таким образом, *понятие* есть *истина* субстанции». «Переход *субстанциальных отношений* совершается в силу присущей субстанции внутренней необходимости и показывает только, что понятие есть *истина* субстанции». «Идея представляет адекватное понятие». «Понятие... созревшее и достигшее *свободного* существования... это не что иное, как я, или *чистое самосознание*» («Логика», Сочинения Гегеля, 2-е изд., т. V, стр. 6, 9, 229, 13). Гинрихс, помоги!

В высшей степени забавно следующее рассуждение господина Бауэра, который в своей «Литературной газете» говорит: «Уже Штраус впал в заблуждение, не сумев *довести до конца критику гегелевской системы*, хотя своей половинчатой критикой он обнаружил необходимость ее завершения» и т. д.

В своей «Критике синоптиков» сам господин Бауэр намеревался дать не *законченную критику* гегелевской системы, а, в лучшем случае, *завершение* системы, — по крайней мере, в ее приложении к теологии.

Он называет свою критику (Предисловие к «Критике синоптиков», стр. XXI) «последним делом определенной системы», которая и была именно *гегелевской* системой.

Спор между Штраусом и Бауэром о *субстанции* и *самосознании* ведется в пределах гегелевского умоврения. В системе Гегеля существуют три элемента: *спинозовская субстанция*, *фихтевское самосознание* и *гегелевское* необходимо-противоречивое *единство* обоих — *абсолютный дух*. Первый элемент есть метафизически перевернутая *природа* в ее *оторванности* от человека, второй — метафизически перевернутый *дух* в его *оторванности* от природы, третий — метафизически перевернутое *единство* обоих, *действительный человек* и *действительный человеческий род*.

Штраус и Бауэр оба вполне последовательно применили систему Гегеля к теологии. Первый взял за *точку отправления спинозизм*, второй — *фихтеанство*. Оба подвергают *критике* Гегеля, поскольку каждый из указанных двух элементов *искажен* вторжением другого; *изолируя*, таким образом, эти элементы друг от друга, они приводят каждый элемент к его одностороннему, логически по-

следовательно концу. В своей критике оба идут *далее* Гегеля, но вместе с тем оба продолжают оставаться *на почве* его спекуляции, но каждый из них развивает *одну* лишь сторону системы. Впервые *Фейербах*, исходя из гегелевской точки зрения, завершает Гегеля и подвергает действительной критике его систему. Превратив метафизический абсолютный дух в *действительного человека на основе природы*, Фейербах этим самым дал законченную критику религии и в то же время искусной, мастерской рукой наметил важнейшие основные черты критики гегелевской спекуляции и поэтому *всякой метафизики* вообще.

У господина Бауэра хотя не *святой дух* вдохновлял евангелистов, зато роль святого духа исполняло *бесконечное самосознание*.

«Мы не должны скрывать от себя, что истинное познание евангельской истории тоже имеет свои *философские основы*, и эти основы кроются в *философии самосознания*» (Бруно Бауэр, «Критика синоптиков», предисловие, стр. XV).

Философию самосознания, равно как и *результаты*, добытые господином Бауэром из своей критики теологии, мы постараемся осветить с помощью некоторых выдержек из *«Открытого христианства»*, его *последнего* религиозно-философского произведения.

В указанном месте о *французских материалистах* говорится: «Если *истина* материализма связана *философией самосознания* и *самосознание* познано как *все*, как разрешение загадки *спинозовской субстанции* и как истинная *causa sui*... зачем же еще нужен дух? Зачем *самосознание*? Как будто не *самосознание* творит мир, утверждая свое творение как *отличное* от самого себя и затем снова уничтожая созданное *различие* между *собой* и *своим творением*! Как будто это движение не есть проявление самого самосознания, которое реализует себя как самоцель, приобретая, таким образом, *самое себя*» («Открытое христианство», стр. 113).

«Французские материалисты видели, правда, в движениях самосознания движения *господней* сущности — материи; но они еще не замечали того, что *движение вселенной* становится *действительным* лишь как *движение самосознания*, достигая в последнем единства с самим собой» (I. с., р. 115). *Гинрихс*, помоги!

Первое положение на обыкновенном языке означает: истинной *материализма* является *противоположность* материализма, — *абсолютный*, т. е. исключительный, необузданный *идеализм*. Самосознание, *дух* есть *Все*. Вне его — *Ничто*. «Самосознание», *«дух»* есть всемогущий творец мира, неба и земли. *Мир* представляет собою форму проявления самосознания, вынужденного *отчуждать* себя

и принимать *рабский образ*; но различие между миром и самосознанием — только *видимое различие*. *Ничто действительное* не отличается от самосознания. Мир — не больше, как метафизическое различие, он — призрак его собственного эфирного мозга и плод его *воображения*. Самосознание уничтожает, таким образом, снова всякую видимость бытия вне его, которое оно на мгновение предполагает, не признавая в своем собственном «творении» реальности, т. е. отрицая существование отличного от себя реального предмета. В этом движении *самосознание* становится абсолютным, ибо *абсолютный* идеалист, чтобы быть абсолютным идеалистом, вынужден постоянно проделывать этот *софистический процесс*. Он начинает с того, что превращает *внешний мир* в *иллюзию*, рассматривая его как простой каприз *своего* мозга, а затем объявляет этот им же созданный *фантом* тем, что он на самом деле представляет собой, — чистой фантазией. И все это делается для того, чтобы под конец провозгласить свое исключительное, всемогущее, единое существование, не стесняемое даже иллюзией внешнего мира.

Второе положение на простом языке означает: правда, французские материалисты рассматривали движения материи как одухотворенные движения, но они еще не могли видеть того, что это — движения не *материальные*, а *идеальные*, что это — движения самосознания, т. е. чисто мысленные движения. Они не могли еще видеть, что действительное движение вселенной стало истинным и действительным только лишь как свободное и освобожденное от *материи*, т. е. как освобожденное от *действительности*, *идеальное* движение самосознания; это значит, что *материальное* движение, отличное от идеального, мысленного движения, существует лишь как видимость. Гинрихс, помоги!

Эту спекулятивную *теорию сотворения* мира можно найти у Гегеля, выраженную почти точно таким же образом; ее мы встречаем уже в *первом* произведении — в «Феноменологии».

«*Отчуждение самосознания* производит *предметность*... В этом отчуждении оно ставит себя как *предмет* или предмет как *себя* самого. С другой стороны, этот процесс заключает в себе одновременно и другой момент, тот именно, что самосознание *снимает* свое *отчуждение* и *предметность*, воспринимая их обратно внутрь себя... В этом состоит движение *сознания*» (Гегель, «Феноменология», стр. 575).

«Самосознание имеет *содержание*, которое оно отличает *от себя*... Это содержание в своем *различии* есть само я, так как оно представляет собою *движение*, снимая самого себя... Это движение, в его

более точном определении, есть не что иное, как *сам процесс только-что указанного движения*. Ибо оно представляет *дух*, который совершает сам и для себя же, в качестве *духа*, свой собственный внутренний процесс» (I. с., р. 583).

По поводу этой теории сотворения мира Гегеля *Фейербах* заметил:

«Материя есть самоотчуждение духа. Тем самым сама материя получает дух и рассудок; но в то же время она все-таки предполагается как ничтожная, неистинная сущность, ибо лишь после отчуждения восстановленная сущность, т. е. сущность, победившая материю и чувственность, является истинно-законченной и определенной. Естественный, материальный, чувственный мир подвергается здесь такому же *отрицанию*, как в теологии *отравленная первородным грехом природа*» («Philosophie der Zukunft», р. 35).

Господин Бауэр защищает, таким образом, материализм против *некритической теологии*, упрекая его в то же время в том, что он «не стал еще» *критической теологией, теологией рассудка, гегелевским умозрением. Гинрихс! Гинрихс!*

Господин Бауэр, проводя во *всех* областях свою противоположность *субстанции*, свою *философию самосознания*, или философию духа, должен поэтому во всех областях иметь дело только со своими собственными *химерами*. Критика служит в его руках орудием, при помощи которого он превращает все, что лежит *вне бесконечного самосознания*, т. е. что имеет *конечное*, материальное существование, в простую *видимость* и *чистые мысли*. Он оспаривает в субстанции не *метафизическую иллюзию*, а ее *мирское ядро* — он нападает на *природу*, существующую *вне* человека, и на природу самого человека. Не предполагать ни в какой области *субстанцию* (он еще выражается этим языком) значит, по мнению Бауэра, не признавать отличного от мышления *бытия*, отличной от *духовной самопроизвольности энергии природы*, отличной от рассудка *силы человеческого существа*, отличной от *деятельности страдания*, отличного от *собственного воздействия — действия на нас окружающего мира*, отличного от *знания чувствования* и *воли*, отличного от *головы сердца*, отличного от *субъекта объекта*, отличной от *теории практики*, отличного от *критика человека*, отличной от *абстрактной всеобщности — всеобщности действительной*, отличного от *я — ты*. Вполне поэтому последовательно, когда господин Бауэр в дальнейшем отождествляет *себя самого* с *бесконечным самосознанием*, с *духом*, т. е. на место своих творений ставит их творца. Столь же последовательно подвергнуть отрицанию *упрямую массу и материю*, весь *остальной мир*, упорно настаивающий на том, что он

составляет нечто *отличное* от *им* произведенного. И вот он питает надежду:

Еще немного,
И царству тел навек придет конец.

Свое *собственное* недовольство тем, что он до сих не сумел одолеть «этот неповоротливый мир», он все с той же последовательностью превращает в *недовольство* мира *самим собой*, а возмущение критики развитием человечества — в *массовое* возмущение человечества *его* критикой, духом, господином Бруно Бауэром и К^о.

Господин Бауэр был с самого начала *теологом*, но не обыкновенным теологом, а *критическим теологом*, или *теологическим критиком*. Еще будучи крайним представителем *старогегельянской* ортодоксии, спекулятивным изготовителем всякой *религиозной и теологической бессмыслицы*, он постоянно объявлял *критику* своей *частной собственностью*. Он уже тогда определял *штраусовскую* критику как *человеческую* критику и, исключительно в противоположность последней, отстаивал права *божественной* критики. Большое *самомнение*, или *самосознание*, составлявшее скрытое ядро этой божественности, он впоследствии вышелушил из религиозной скорлупы, наделив его самостоятельным существованием, превратив его в самостоятельное существо, и под *фирмой «бесконечного самосознания»* возвел в принцип критики. В своем *собственном* движении он выполнил движение, которое «философия самосознания» описывает как абсолютный жизненный акт. Он снова упразднил «различие» между «творением» *бесконечного самосознания* и его творцом, т. е. упразднил, таким образом, *само бесконечное самосознание*, познав, что в движении последнего «*был лишь самим собой*» и что, стало быть, движение вселенной становится *истинным и действительным* лишь в его собственном идеальном самодвижении.

Божественная критика, *возвратившись внутрь себя*, восстанавливается рациональным, сознательным, критическим путем: *бытие в себе* становится *бытием в себе и для себя*, и только в *заключение* становится исполненным, осуществленным, открытым *началом*. *Божественная* критика, в *отличие* от *человеческой*, явилась миру как *критика*, как *чистая критика*, как *критическая критика*. Место апологии Старого и Нового завета заняла апология старых и новых произведений господина Бауэра. *Теологическое* противоположение бога и человека, духа и плоти, бесконечности и конечности превратилось в *критически-теологическое* противоположение духа, критики, или господина *Бауэра*, — *материи, массе*, или земному миру. Теологическое противоположение веры и разума пре-

вратилось в критически-теологическое противоположение *здорового человеческого рассудка* и чисто-критического мышления. «Журнал спекулятивной теологии» превратился в критическую «Литературную гаветку». *Религиозный спаситель* нашел, наконец, свое осуществление в *критическом спасителе*, господине *Бауэре*.

Последняя стадия господина Бауэра не есть аномалия в его развитии: это — *возвращение* в себя божественной критики из ее *отчуждения*. Само собой разумеется, что тот момент, в который *божественная критика отчуждала* себя и выступала из себя, совпадает с моментом, когда она отчасти изменила себе, создав кое-что *человеческое*.

Абсолютная критика, возвратившаяся к точке отправления, закончила *спекулятивный кругооборот*, а тем самым и *кругооборот* своей жизни. Ее дальнейшее движение есть *чистое*, возвышающееся над всяким *массовым* интересом *кружение внутри самой себя* и поэтому лишено всякого интереса для массы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ «КРИТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ».

1. «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА».

Où peut-on être mieux,
Qu'au sein de sa famille ¹.

Критическая критика в своем *абсолютном* существовании, в лице господина *Бруно*, объявила человечество *массой*, все человечество, которое не есть критическая критика, своей *противоположностью*, своим *существенным предметом*: *существенным* потому, что масса существует *ad maiorem gloriam dei*—критики, духа; *предметом*—потому, что оно есть просто *материя* критической критики. Критическая критика провозгласила свое отношение к массе *всемирно-историческим отношением* современности.

Однако одним заявлением, что *противополагаешь* себя всему миру, не делаешь еще этого *противоречия всемирно-историческим*. Можно вообразить себя камнем всеобщего преткновения потому, что в силу своей собственной неловкости всюду спотыкаешься. Для существования всемирно-исторического противоречия недостаточно еще того, чтобы я объявил мир *своей* противоположностью: необходимо еще, чтобы, с другой стороны, мир объявил меня своей *существенной* противоположностью, рассматривал и *признавал* меня как таковую. Это признание критическая критика добывает себе *корреспонденцией*, предназначенной к тому, чтобы *показать* всему миру критическую работу искупления мира, равно как всеобщее *раздражение* мира, вызванное критическим евангелием. Критическая критика сама для себя предмет, как *предмет мира*. Корреспонденция имеет своей задачей *показать* ее как *таковую*, как *мировой интерес* современности.

Критическая критика считает себя *абсолютным субъектом*. Абсолютный субъект нуждается в культе. *Действительный* культ требует третьего элемента, верующих лиц. *Святое семейство в Шарлоттенбурге* удостоивается надлежащего культа со стороны своих

¹ Где может быть лучше, чем в лоне своей семьи?

корреспондентов. Корреспонденты говорят ей, *что она есть* и *что не есть* ее противница, масса.

Представляя, таким образом, мнение критики о самой себе как мнение всего мира, *реализуя понятие* критики, она, однако, впадает в непоследовательность. *Внутри ее самой* обнаруживается образование своего рода *массы*, именно — образование критической массы, несложное призвание которой заключается в том, чтобы быть неутомимым эхо критических ловугов. Ради последовательности эта непоследовательность прощительна. Критическая критика, не чувствующая себя в грешном мире как дома, должна в своем собственном доме завести грешный мир.

Путь корреспондента критической критики, члена критической массы, не усеян ровами! Его путь — трудный, тернистый, критический путь. Критическая критика — спиритуалистический властелин, чистая самопроизвольность (*actus purus*), нетерпимая ко всякому *внешнему* воздействию. Корреспондент должен поэтому быть лишь *видимым субъектом*, обнаруживать только *видимую самостоятельность* по отношению к критической критике, только *видимо* желать сообщать ей что-либо новое и самостоятельное. *На самом деле* он — ее *собственная работа*; это — не более, как получившее лишь на момент *предметное*, самостоятельное существование, выслушивание самой себя.

Корреспонденты не упускают поэтому случая, чтобы беспрестанно уверять, что критическая критика сама *знает, видит, понимает, испытывает* то, что ей *для виду* в данный момент сообщают. Так, например, *Церледер* употребляет следующие обороты: «Вы понимаете это? Вы знаете. Вы знаете во второй, в третий раз. Вы уж достаточно слышали, чтобы все понять».

Или же, вот, бреславльский корреспондент *Флейшгаммер*: «Что..., — для вас столь же мало будет загадкой, как и для меня». Или цюрихский корреспондент *Гирцель*: «Вы и сами, конечно, знаете». Критический корреспондент до такой степени заботливо почитает абсолютное понимание критической критики, что он ей приписывает понимание даже там, где вообще нечего понимать, как, напр., *Флейшгаммер*: «Вы меня *вполне* (!) *поймете* (!), если я сообщу вам, что нельзя выйти на улицу, без того чтобы не встретить молодых католических священников в их длинных черных кафтанах и мантиях».

Мало того, в своем *страхе* корреспондент *слышит*, как критическая критика *говорит, отвечает, восклицает, высмеивает!*

Так, например, *Церледер*: «Но... *скажете* вы. Ну, хорошо, слушайте же!» Или *Флейшгаммер*: «Однако я уже слышу, что вы го-

ворите; я этим только думал...» Или Гирцель: «Эдельман! воскликните вы». Или тюрингенский корреспондент: «Не смейтесь надо мной!»

Корреспонденты употребляют поэтому и такого рода выражения: они-де сообщают критической критике *факты*, а от нее ждут *духовного истолкования*; они ей доставляют *посылки*, а ей предоставляют сделать *заключение*. Или же *извиняются*, что пережевывают давно ей известное.

Так, например, Церлдер: «Ваш корреспондент имеет лишь возможность дать вам картину, изображение фактов. Дух, оживляющий эти вещи, вам, конечно, не безызвестен». Или же: «А теперь вы сами сделаете соответствующий вывод».

Или Гирцель: «Что каждое творение порождается крайностью ее противоположности — об этом спекулятивном положении я осмелюсь еще побеседовать с вами».

Или же наблюдения корреспондентов оказываются не чем иным, как исполнением и подтверждением критических пророчеств.

Так, Флейшгаммер: «Ваше предсказание исполнилось». Или Церлдер: «Тенденции, о которых я вам писал, что они все более и более расширяют в Швейцарии свой круг действия, далекие от того, чтобы быть гибельными, в действительности только счастливые, ... только подтверждают часто вами высказываемую мысль...» и т. д.

Критическая критика чувствует иногда необходимость обратить внимание на то снисхождение, которое заключается в ее писании, и объясняет это снисхождение тем, что корреспондент счастливо справился с каким-нибудь уроком. Так, господин Бруно пишет тюрингенскому корреспонденту: «Действительно, непоследовательно с моей стороны отвечать на твое письмо. С другой стороны..., ты опять сделал такое удачное замечание, что я... не могу тебе отказать в требуемом разъяснении».

Критическая критика разрешает писать ей из провинции, причем под провинцией надо понимать не провинцию в политическом смысле, которая, как известно, нигде в Германии не существует, а критическую провинцию, метрополией которой служит Берлин, — Берлин, резиденция критических патриархов и святого критического семейства, — между тем как в провинции пребывает критическая масса. Критические провинциалы осмеливаются обращать на себя внимание высшей критической инстанции только с поклонами и извинениями:

Так, например, один анонимный корреспондент пишет господину Эдгару, который, в качестве члена святого семейства, также является важным господином, следующее:

«Милостивейший государь! Пусть мне послужит *извинением* за мое обращение к вам то обстоятельство, что молодежь охотно сближается на почве общих стремлений (*разница в наших возрастах не превышает двух лет*)». Этот сверстник господина Эдгара называет себя, между прочим, *существом новейшей философии*. Разве не в порядке вещей, что «критика» корреспондирует с «существом» философии? Если сверстник господина Эдгара уверяет, что он уже лишился своих *зубов*, то это — не больше, как намек на его *аллегорическую* сущность. Это «существо новейшей философии» научилось у *Фейербаха* переводить момент образования в объективное созерцание. Оно тотчас же дает образчик своего образования и созерцания, уверяя господина Эдгара, что оно усвоило себе *целостное воззрение* на его новеллу» (да здравствуют твердые основоположения!), и в то же время откровенно признается, что мысль господина Эдгара ему не совсем ясна, а в заключение парализует свое уверение в усвоении целостного воззрения вопросом: «Или же я вас *целиком ложно понял?*» После этого образчика вполне в порядке вещей, что существо новейшей философии следующим образом высказывается о массе: «Мы должны хоть однажды *снизойти* к тому, чтобы исследовать и развязать тот волшебный узел, который закрывает *низменному человеческому рассудку* доступ в *безграничный океан мысли*».

Кто желает получить полное представление о критической массе, тот пусть прочтет *корреспонденцию* господина *Гирцеля* из Цюриха (вып. 5). Этот несчастный твердит критические лозунги с истинно трогательным прилежанием, обнаруживая память, достойную похвалы. Здесь находят себе место любимые фразы господина Бруно о битвах, в которых он сражался, о походах, которые он предпринимал и которыми руководил. В особенности же господин *Гирцель* выполняет свое призвание как члена критической массы, когда негодует на *вульгарную массу* и на ее отношение к *критической критике*.

Он говорит о массе, которая мнит себя фактором истории, о «чистой массе», о «чистой критике», о «чистоте этого противоречия», — «противоречия столь чистого, каким оно никогда еще не дано было историей», — «о *брюзгливости*», «совершенной пустоте, дурном настроении, малодушии, бессердечии, робости, бешенстве, ожесточении массы против критики; о массе, которая только для того и существует, чтобы своим сопротивлением делать критику более резкой и более бдительной». Он говорит о «творчестве из крайности противоположности», о том, что критика стоит выше *ненависти* и тому подобных низменных аффектов. Этим богатством критических слов и

ограничивается все содержание послания господина *Гирцеля* в «Литературную газету». Укоряя массу за то, что она удовлетворяется одним субъективным «намерением», «доброй волей», «фразой», «верой» и т. д., он сам, как член *критической массы*, довольствуется фразами, выражением своего «критического исповедания», своей «критической веры», своей «критической доброй воли» и предоставляет господам Бруно и К^о «действовать, работать, бороться» и совидать свои «труды».

Несмотря на страшную картину всемирно-исторического раздора между невежественным миром и «критической критикой», изображенную членами «критической массы», — для неверующего, по крайней мере, еще не констатирован даже самый факт, факт этого *всемирно-исторического* раздора. Услужливое и некритическое повторение критических «фантазмагорий» и «претензий» в устах корреспондентов доказывает только, что навязчивая идея господина есть навязчивая идея слуги. Один из критических корреспондентов пытается, правда, доказывать на основании *фактов*. «Вы видите, — пишет он святому семейству, — что «Литературная газета» достигает своей цели, т. е. что она *не* встречает никакого сочувствия. Она встретила бы сочувствие лишь тогда, если б она пела в унисон с тупостью мысли, если бы вы гордо выступали со звоном фраз целого янычарского оркестра ходячих категорий». Звон фраз целого янычарского оркестра ходячих категорий! Как видите, критический корреспондент старается выезжать на «неходячих» фразах. Его толкование того факта, что «Литературная газета» не встречает сочувствия, должно быть, однако, как чисто *апологетическое*, отвергнуто. Факт этот можно было бы скорее истолковать в обратном смысле, именно что критическая критика вполне *приходится по вкусу* широкой *массе*, именно широкой массе писак, которые не встречают никакого сочувствия.

Недостаточно, стало быть, того, что *критические* корреспонденты обращаются к святому семейству с критическими фразами как с «молитвой» и в то же время как с «заклинательной формулой» против массы. Необходимы *некритические, массовые* корреспонденты, необходимы *действительные* посланцы *массы* к критической критике, чтобы доказать существование действительного раздора между массой и критикой.

Критическая критика уделяет поэтому место и *некритической массе*. Она заставляет беспристрастных *представителей* последней *корреспондировать* с собой, признать противоречие между массой и критикой важным и абсолютным и огласить мир *криком* о спасении от этого противоречия.

2. «НЕКРИТИЧЕСКАЯ МАССА» И «КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА».

а) «Закоснелая масса» и «неудовлетворенная масса».

Жестокосердие, закоснелость и слепое неверие «массы» имеет *одного* довольно решительного представителя. Этот представитель говорит об «исключительно гегелевском философском образовании «берлинского оттенка». «Истинный прогресс,—говорит он,—возможен лишь на почве познания действительности. От вас же мы узнаем, что наше познание имело своим источником не действительность, а что-то недействительное». Он считает «естествознание» основой философии. «Хороший естествоиспытатель стоит в таком же отношении к философу, как последний к теологу». Далее он говорит о «берлинском оттенке»: «Я не думаю, чтобы я скавал что-нибудь лишнее об этих господах, объясняя себе их состояние тем, что они, хотя и проделали процесс духовного линяния, но не освободились еще от линяющего фермента, чтобы стать способными воспринять в себе элементы преобразования и омоложения». «Эти (естественно-научные и промышленные) знания должны быть нами еще приобретены». «Знание мира и людей, которое нам необходимо прежде всего, не может быть приобретено исключительно остротой мысли; тут должны оказывать содействие все чувства, и все способности человека должны найти себе приложение как необходимое и важнейшее орудие, иначе созерцание и познание всегда будут недостаточны... и приведут к *моральной смерти*».

Этот корреспондент старается, однако, поволотить пилюлю, которую преподносит критическому критику. Он «находит для *слов Бауэра* правильное применение», он «следил за *мыслями Бауэра*», он заставляет «*Бауэра* делать правильные указания», он, наконец, видимо полемизирует не против самой критики, а против отличного от нее «берлинского оттенка».

Критическая критика, чувствуя себя уязвленной и вообще чувствительная во всех *делах веры*, как старая дева, не дает себя ввести в обман этими различениями и полупоклонами. «Вы *ошибались*, — отвечает она, — если думали видеть *своего противника* в партии, которую вы изобразили в начале вашего письма. *Привняйтесь лучше*» (тут следует уничтожающая закликательная формула): «*вы противник самой критики!*» Несчастный! Массовый человек! Противник *самой* «критики»! Что же касается содержания вышеприведенной *массовой* полемики, то по ее поводу критическая критика громко выражает свое *почтение* своему критическому

отношению к *естествознанию* и *индустрии*. «*Всяческое почтение исследованию природы! Всяческое почтение Джемсу Уатту и*» — поистине величественный оборот мысли — «ровно никакого почтения к тем миллионам, которые Уатт доставил своим двоюродным братьям и сестрам». Всяческое почтение почтению критической критики! В том же самом письме, где критическая критика упрекает вышеупомянутых литераторов берлинского оттенка в том, что они легко справляются с серьезными и важными работами, вовсе не берясь за их изучение, что они считают свою задачу по отношению к оценке какого-нибудь труда *исполненной*, если заметили о нем, что он знаменует собой эпоху и т. д., — в этом самом письме и *сама* критика *исчерпывает* значение всего естествознания и *индустрии* одним только заявлением своего почтения. Оговорка, которую критическая критика сопровождает свое изъявление почтения к *исследованию природы*, напоминает первые громовые стрелы блаженной памяти рыцаря *Круга* против натурфилософии.

«Природа — не единственная действительность, *потому что мы едим и пьем ее в ее отдельных продуктах.*» Критическая критика знает об *отдельных продуктах* природы лишь то, что «мы их едим и пьем». Всяческое почтение естествознанию критической критики!

Критика вполне последовательно противопоставляет неудобному, навязчивому требованию заняться изучением «природы» и «индустрии» следующее неоспоримо-остроумное риторическое восклицание: «Или (!) же вы думаете, что познание *исторической* действительности *уже закончено*? Или (!) вам известен хоть один исторический период, который был бы *действительно* познан?»

Или критическая критика думает, что она дошла хотя бы даже до *начала* познания исторической действительности, исключив из исторического движения теоретическое и практическое отношение человека к природе, естествознание и индустрию? Или она думает, что действительно познала какой бы то ни было исторический период, не познав, например, индустрии этого периода, непосредственного способа производства самой жизни? Правда, спиритуалистическая, *теологическая* критическая критика знакома лишь (знакома, по крайней мере, в своем воображении) с политическими, литературными и теологическими важнейшими событиями истории. Подобно тому как она отделяет мышление от чувств, душу от тела, себя самое от мира, так точно она отрывает историю от естествознания и индустрии, усматривая основную причину исторического развития не в *грубо-материальном* производстве на земле, а в туманных облачных образованиях на небе.

Представитель «вакоснелой» и «бессердечной» массы, с его меткими упреками и советами, игнорируется критикой как *массовидный материалист*. Не лучше обходится она и с другим, менее зlostным, менее массовидным корреспондентом, который, хотя и возлагает надежды на критическую критику, не находит, однако, что она оправдывает их. Представитель «неудовлетворенной» массы пишет: «Однако я должен сознаться, что первый номер вашей газеты меня еще вовсе не удовлетворил. Можно было ожидать большего».

Критический патриарх самолично отвечает: «Что газета не оправдывает ожиданий, я знал наперед, потому что я очень легко мог представить себе эти ожидания. Все так истомлены, что хотят получить сразу все. Все? Нет! По возможности все и в то же время ничего. Такое все, которое не требовало бы труда, такое все, которое можно было бы воспринять, не проделав никакого процесса развития, — все, которое можно бы вместить в одном слове!»

В своей досаде на непомерные требования «массы», которая требует чего-либо или даже всего от «ничего не дающей», из принципа и по природе своей, критики, критический патриарх на манер всех стариков рассказывает *анекдот*. Недавно один берлинский знакомый горько жаловался на широковещательность и излишнюю обстоятельность его произведений (как известно, господин Бруно из самой ничтожной, мнимой мысли делает толстенное сочинение). Он утешил его обещанием, для большей легкости усвоения, послать ему необходимую для печатания книги типографскую краску в форме маленького шарика. Патриарх объясняет широковещательность своих «трудов» плохим распределением типографской краски, точно так же как он объясняет бессодержательность своей «Литературной газеты» бессодержательностью «необразованной массы», которая, в поисках за содержанием, готова проглотить сразу все и ничего.

Насколько трудно отказать в важности вышеприведенным сообщениям, настолько же трудно усмотреть *всемирно-историческое противоречие* в том, что один массовидный знакомый критической критики находит критику бессодержательной и что критика, наоборот, не признает в нем критических способностей; что другой знакомый считает свои ожидания неоправданными «Литературной газетой» и что, наконец, *третий* знакомый и друг дома считает ее труды чересчур пространными. Тем не менее, знакомый № 2, проникнутый ожиданиями, и друг дома № 3, который, по крайней мере, желает ознакомиться с тайнами критической критики, образуют переход к более *содержательному* и более напряженному отношению между

критикой и «некритической массой». Насколько «критика» оказалась жестокой по отношению к массе с «закопченным сердцем» и с «низменным человеческим рассудком», настолько она же окажется снисходительной по отношению к массе, молящей об *избавлении* от противоречия. Масса, приближающаяся к критике с разбитым сердцем, покаянным чувством и смиренным духом, в награду за свое честное стремление удостоится услышать от нее не одно *важное, пророческое, правдивое* слово.

б) «Мягкосердечная» и «жаждущая спасения» масса.

Представитель *сантиментальной, сердечной, жаждущей спасения* массы, виляя хвостом, молит о доброжелательном слове критической критики, молит с сердечными излияниями и поклонами, подымая глава к небу. «Почему (спрашивает он) я вам пишу это, почему я оправдываюсь перед вами? Потому, что я вас *уважаю* и потому хочу *снискать* ваше *уважение*; потому, что я обязан вам величайшей *благодарностью* за ваше содействие моему развитию и потому *люблю* вас. Вы высказали мне порицание, и *мое сердце* побуждает меня оправдаться перед вами... Я *весьма далек* от того, чтобы желать *навязываться* вам; но я, с *своей* точки зрения, думал, что и вам самим *приятно* будет видеть доказательство *симпатии* со стороны человека, вообще мало еще известного. Я *нисколько не претендую* на то, чтобы вы ответили на это письмо. Я не намерен ни отнимать у вас время, которое вы можете употребить с большей пользой для себя, ни возлагать на ваши плечи тяжелое бремя, ни подвергать себя неприятности видеть *несбывшимся* нечто такое, на что я надеялся. *Можете* истолковать мое писание как *сантиментальность, назойливость или тщеславие* (I), или как вам будет угодно, можете отвечать мне или нет, — все равно, я не могу устоять против *искушения* отправить это письмо и желаю только, чтобы вы убедились в той *благожелательности*, которая продиктовала мне его» (II).

Как испокон веков *малодушные* заслуживали божьего милосердия, так и на этот раз массовидный, но смиренный корреспондент, молящий со слезами на глазах критику о пощаде, дождался *исполнения* своих желаний. Критическая критика благожелательно отвечает ему. Более того! Она дает *глубочайшие* разъяснения о предметах его любознательности.

«Два года тому назад, — поучает критическая критика, — было своевременно напомнить о французском просвещении XVIII столе-

тия, для того чтобы в разыгравшемся тогда бою пустить в ход на одной из позиций и эти *легкие отряды*. Теперь положение *совсем иное*. Истины меняются теперь с чрезвычайной быстротой. Что в тот момент могло считаться *уместным*, является теперь *промахом*. Понятно, что и тогда было только «*промахом*», но промахом «уместным», то, что сама критика высочайше соизволила называть эти *легкие отряды* (см. «*Anekdoty*», II, p. 89) «*нашими святыми*», нашими «*пророками*», «*патриархами*» и т. д. Кто станет называть легкие отряды отрядами «патриархов»? «Уместным» промахом было говорить с энтузиазмом о силе самоотвержения, нравственной энергии и восторженности этих легких отрядов, посвятивших «всю свою жизнь размышлению об истине, ее разработке и изучению». «Промахом» было, когда критика в предисловии к «Открытому христианству» заявляла, что эти «*легкие*» отряды «*казались непобедимыми*», что «*каждый сведущий человек* поручился бы наперед, что они *перевернут весь мир*», и что «*казалось несомненным*, что им действительно удастся придать *миру новую форму*». Удастся — кому? *Этим легким отрядам?*

Далее критическая критика поучает любознательного представителя «*сердечной массы*»:

«Если французы и приобрели себе *новую* историческую заслугу своими попытками создать социальную теорию, то *теперь* они *все-таки исчерпали* себя; их новая теория не была еще *чиста*, их социальные фантазии, их *мирная демократия* далеко еще не свободны от предпосылок старого порядка».

Критика здесь имеет в виду, если она вообще имеет что-нибудь в виду, *фурьеризм*, и в частности — фурьеризм «*Democratie rasique*». Последний же очень далек от того, чтобы быть «социальной теорией» французов. У французов есть *социальные теории*, но не одна социальная теория, и в особенности — не тот разбавленный водой фурьеризм, который проповедывается в «*Democratie rasique*» и является не чем иным, как социальным учением части филантропической буржуазии. Народ симпатизирует *коммунизму* и к тому же раскалывается на множество различных фракций. Истинное движение, переработка этих различных социальных оттенков, не только не *исчерпано*, но оно только теперь настоящим образом *начинается*. Но все это движение найдет себе завершение не в чистой, т. е. отвлеченной *теории*, как это угодно критической критике, а в весьма *практической практике*, которая никоим образом не станет заботиться о категорических категориях *критики*.

«Никакая нация, — болтает дальше критика, — не имела до сих пор каких-либо преимуществ перед другими...» «Если какая-нибудь нация достигнет когда-либо духовного перевеса над другими, то это будет лишь та, которая окажется в состоянии подвергать критике себя и других и познать причины всеобщего упадка».

Каждая нация имела до сих пор те или иные преимущества перед другими. Если же критическое пророчество справедливо, то никакая нация никогда не будет обладать преимуществами над другими, ибо все цивилизованные народы Европы — англичане, немцы, французы — «критикуют» теперь «себя и других» и «в состоянии познать причины всеобщего упадка». Наконец, утверждение, что «процесс критики», «познавание», т.-е. *духовная деятельность*, дает *духовный перевес*, есть, в сущности, нустая *тавтология*; и критика, которая с бесконечным самосознанием ставит себя выше наций, ожидая, чтобы последние, ползая у ее ног, молили ее о прояснении их сознания, доказывает этим своим карикатурным христиански-германским идеализмом самым блестящим образом, что она по уши еще торчит в гряди *немецкого национализма*.

Критика французов и англичан не есть какая-то абстрактная, потусторонняя личность, стоящая вне человечества; она — *действительная человеческая деятельность* индивидуумов, являющихся активными членами общества, которые, как люди, страдают, чувствуют, мыслят и действуют. Поэтому их критика в то же время проникнута практикой, их коммунизм есть социализм, который включает в себе практические, осязательные мероприятия, в котором находит свое выражение не только мышление, но и практическая деятельность; их критика является поэтому живой, действительной критикой существующего общества, познанием причин «упадка».

Просвещая любознательного члена массы, критическая критика с полным правом может сказать о своей «Литературной газете»:

«Здесь имеется налицо *чистая*, наглядная, охватывающая предмет, ни в каких дополнениях не нуждающаяся критика». Здесь не дают нам *ничего самостоятельного*, здесь вообще *ничего не дают*, кроме *ничего не дающей критики*, т. е. критики, которая в своем совершенном виде доходит до самого крайнего отсутствия критики. Критика печатает жирным шрифтом особо отмеченные места и достигает своего расцвета в *извлечениях* из авторов. *Вольфганг Менцель* и *Бруно Бауэр* подают друг другу руки, и критическая критика останавливается на том месте, где в начале настоящего столетия находилась *философия тождества*, когда *Шеллинг* протестовал против

массового предположения, будто он стремится дать что-нибудь, — что-нибудь, кроме *чистой, совершенно философской философии*.

в) *Проявление критической благодати.*

Мягкосердечный корреспондент, которого только-что на наших глазах поучала критика, находился с критикой в *душевной* связи. Натянутость отношений между *массой* и *критикой* обнаруживается па нем лишь в идиллической форме. Обе стороны *всемирно-исторического* противоречия держали себя по отношению друг к другу *доброжелательно и вежливо*, и потому *экзотерически*.

Критическая критика, со стороны ее *обессиливающего* душепотрясающего действия на массу, впервые проявляет свою силу на одном корреспонденте, который одной ногой уже стоит на почве критики, другою же все еще в земном мире. Он представляет собой «массу» в ее *внутренней* борьбе с критикой.

В иные минуты ему кажется, что «господин Бруно и его друзья не понимают *человечества*»; что они, собственно говоря, ослеплены. Но он тотчас же спешит поправить сказанное: «Мне, конечно, *ясно, как божий день*, что вы правы и что ваши мысли истинны. Но, *простите*, ведь и народ *тоже не* неправ... Ах, *да!* народ прав... Что вы правы, я не стану оспаривать... Я, действительно, не знаю, чем все это кончится: вы скажете... ну, так оставайся сидеть дома... Ах, я не могу более... Ах... в конце концов можно прямо *сойти с ума*... Надеюсь, вы отнесетесь *доброжелательно*... Поверьте мне, от приобретенного познания иногда так *глупеешь*, точно у тебя в голове мельничное колесо вращается». Другой корреспондент тоже пишет, что он «*порой* теряет *понимание*». Вы видите, на этих массовидных корреспондентов *готова уже* *снизойти критическая благодать*. Бедный червь! Грешная масса тянет его с одной стороны, критическая критика — с другой. Не приобретенное познание повергает наставляемого в веру ученика критической критики в это состояние оупения, а вопрос *веры и совести*: критический Христос или народ, бог или мир, Бруно Бауэр с друзьями или вульгарная масса! Но подобно тому как проявлению *божьей* благодати предшествует крайняя раздвоенность души грешника, так и здесь убивающее *оупение* является предтечей критической благодати. Но когда благодать готова, наконец, *снизойти* на грешника, избранник, хотя и не теряет своей глупости, все же, несомненно, лишается *сознания своей глупости*.

3. НЕКРИТИЧНО-КРИТИЧЕСКАЯ МАССА, ИЛИ «КРИТИКА» И «БЕРЛИНСКИЙ ОТТЕНОК».

Критической критике не удалось изобразить себя *существенной противоположностью* и посему в то же время *существенным предметом* человечества в «массе». Оставляя в стороне представителей *закоснелой* массы, указывающих на *бессодержательность* критической критики и дающих ей в вежливой форме понять, что она не прошла еще через процесс духовного «*миньяния*» и что она должна прежде всего приобрести солидные познания, — остаются еще двое корреспондентов. *Мягкосердный* корреспондент, прежде всего, не *антагонист* критики; к тому же, истинная причина его стремления сблизиться с ней — *чисто личного* свойства. Затем, как видно из дальнейших строк его письма, он хочет, собственно говоря, примирить свое благочестивое отношение к господину Арнольду Руге с таким же отношением к г. *Бруно Бауэру*. Эта примирительная попытка делает честь его доброму сердцу. Но она никоим образом не представляет *массового интереса*. Выступающий под конец корреспондент не является более *действительным* членом массы, а представляет собою верноподданного ученика критической критики.

Вообще, *масса* представляет собой *неопределенный* предмет, в силу чего она не способна выполнять определенное действие и также не может занять никакого определенного положения. *Масса*, составляющая предмет критической критики, не имеет ничего общего с *действительными* массами, которые, в свою очередь, разделяются на части, находящиеся в весьма массовом противоречии друг к другу. *Масса*, с которой *критика* имеет дело, создана ею же, наподобие того, как если бы естествоиспытатель, вместо того чтобы заниматься исследованием определенных классов, противопоставил бы «класс» самому себе.

Кроме этой *отвлеченной* массы, этой собственной химеры критики, *критическая критика* нуждается еще в какой-нибудь *определенной*, эмпирически доказуемой, а не только предполагаемой *массе*, для того чтобы иметь перед собой действительно массового противника. Эта масса должна видеть в критической критике в одно и то же время реализацию своей *сущности* и *уничтожение этой сущности*. Она должна *стремиться* быть критической критикой, а не массой, *не будучи в состоянии* осуществить свое стремление. Такой критически-некритической массой и является кружок литераторов «*берлинского оттенка*». *Берлинским оттенком* и исчерпывается весь

состав *массы* человечества, которая серьезно занята критической критикой.

Берлинский оттенок («*существенный предмет*» критической критики, о котором всегда думает критика и который, по ее мнению, всегда думает о ней) состоит, насколько нам известно, из немногих *si-devant младогегельянцев*, в которых критика, по ее утверждению, вселяет отчасти *hogrog vasci*, отчасти чувство *ничтожности*. Мы не станем заниматься исследованием фактического положения, мы полагаемся на мнения критики.

Корреспонденция предназначена, главным образом, для того, чтобы в *весьма пространной форме* разъяснить публике это *всемирно-историческое* отношение критики к «*берлинскому оттенку*»; ее цель — раскрыть глубокое значение этого отношения, изложить причины необходимой жестокости критики к этой «массе» и, наконец, создать иллюзию, будто *весь мир* чрезвычайно хлопочет вокруг этого антагонизма, то высказываясь за поведение критики, то против. Так, например, *абсолютная* критика пишет одному корреспонденту, ставшему на сторону «*берлинского оттенка*»: «Я уже так часто слышал такого рода вещи, что решил совершенно не обращать на это внимания». Мир и не подозревает, как часто он посвящает свое внимание *подобным* критическим предметам.

Послушаем, как один член *критической* массы докладывает о *берлинском оттенке*: «Если есть человек, признающий Бауэров... (святое семейство всегда должно быть признаваемо *rôle-mêlé*), — гласил его ответ, — то это именно я. Но «Литературная газета»! Как вам будет угодно, но...! Мне было интересно узнать, что думает о вас один из этих радикалов, этих умников 42-го года...» Затем корреспондент докладывает, что несчастный всячески порицал «Литературную газету».

Новеллу Эдгара Бауэра «Три простака» он считал грубой и утрированной. Он не понимал того, что *цензура* есть больше внутренняя, чем внешняя борьба, чем борьба человека с человеком. Они не дают себе труда заглянуть во внутренний мир и поставить на место неприемлемой для цензуры *фразы тонко* обработанную, всесторонне развитую *критическую мысль*. Статью господина Эдгара о Бери он нашел неосновательной. Критический повествователь считает ее основательной. Он, правда, сам сознается: «Я не знаком с книгой Бери». Однако он *уверен*, что господину Эдгару *удалось* и т. д., а вера, как известно, делает блаженным. «Вообще, — продолжает критически верующий, — он (он из берлинского оттенка) *весьма* недоволен произведениями Эдгара». Он находит также, что и «Прудон

не с достаточной серьезностью разработан» Эдгаром. Тут повествователь выдает господину Эдгару похвальное свидетельство: «Я, правда (!?), знаком с Прудоном; я знаю, что в изложении Эдгара вьюты из Прудона самые *характерные* положения, которые сопоставлены самым наглядным образом». По мнению повествователя, единственное основание, почему *превосходная* критика Прудона не нравится этим господам, это то, что господин Эдгар *не мечет громов и молний* против собственности. Мало того, — подумайте только! — противник считает статью господина Эдгара об «Union ouvrière» *не имеющей значения*. Докладчик утешает господина Эдгара: «Конечно, в этой статье нет ничего *самостоятельного*, а эти господа действительно вернулись к той точке зрения *Группе*, на которой они, положим, *всегда стояли*. Критика, — думают они, — должна давать, давать и *давать!*» Как будто критика не дала нам совершенно новых лингвистических, исторических, философских, политико-экономических и юридических открытий! И она до такой степени скромна, что позволяет говорить о себе, будто она не дает ничего *самостоятельного*! Даже наш критический корреспондент, и тот вносит в прежнюю механику нечто доселе неизвестное, вставляя людей *возвращаться к той* точке зрения, на которой они всегда *стояли*. Не совсем-то удобно вспоминать точку зрения *Группе*. Группе в своей вообще жалкой и не заслуживающей упоминания брошюре спрашивает господина Бруно, что он собирается дать критического *о спекулятивной логике*. Господин Бруно отослал его к будущим поколениям, и — «дурак ожидает ответа».

Подобно тому как бог наказал неверующего фараона тем, что ожесточил его сердце и *счел* его *недостойным* просветления, так и повествователь уверяет:

«Они повтому *не заслуживают* того, чтобы видеть или распознавать содержание в вашей «Литературной газете». И вместо того чтобы посоветовать своему другу Эдгару приобрести мысли и знания, он дает ему следующий совет: «Пусть Эдгар приобретет себе *мешок с фразами* и в будущем, составляя свои статьи, слепо черпает из него, чтобы создать стиль, соответствующий вкусу публики». Кроме уверений в «некоторого рода бешенстве, злобности, бессодержательности, скудости мысли, блуждании вокруг предмета, которого они не могут постигнуть, чувстве ничтожности» (все эти эпитеты относятся, понятно, к берлинскому оттенку), он рассыпает еще по адресу святого семейства следующие похвалы: «Проникающее с легкостью в глубь предмета исследование, мастерское обращение с категориями, добытое изучением истинное понятие о вещах, словом — *господство*

над предметом. Он (он из берлинского оттенка) облегчает себе задачу, вы же делаете задачу легкой». Или же: «Вы осуществляете в «Литературной газете» чистую, легко представимую, всецело охватывающую предмет критику».

И в заключение: «Я обо всем этом подробно написал вам, потому что рассчитывал доставить вам *удовольствие* сообщениями о взглядах моего друга. Вы можете отсюда видеть, что «Литературная газета» достигает своей цели». Ее цель заключается в противопоставлении себя берлинскому оттенку. Если мы только-что познакомились с *полемикой берлинского оттенка* против критической критики и видели, как разделались с ним за эту полемику, то теперь мы увидим двойное изображение стремления берлинского оттенка добиться пощадки критической критики.

Один корреспондент пишет: «Когда я в начале года посетил Берлин, я там слышал от знакомых, что вы всех отталкиваете, держите всех на почтительном расстоянии от себя, что вы совершенно уединились, намеренно избегаете всякого сближения, всякого общения с другими. Я, конечно, не знаю, на чьей стороне вина».

Абсолютная критика отвечает: «Критика не желает стать партией, она не стремится иметь на своей стороне партию, она одинока, — одинока потому, что глубоко проникает в *свой* (!) предмет, одинока потому, что противопоставляет себя этому предмету. Она *освобождается от всего*».

Подобно тому как критическая критика думает стать выше всех догматических противоречий тем, что она на место действительных противоречий ставит воображаемое ею противоречие между *собою и миром, святым духом и мирской массой*, точно так она, стремясь возвыситься над *партиями*, сама становится на *партийную точку зрения*, противопоставляя себя, как *партию*, всему остальному человечеству и сосредоточивая весь интерес на личностях господина Бруно и К^о. Все наше изложение доказывает истинность критического признания, что критика восседает на троне в уединении *абстракции*; что даже посвящая видимым образом свое внимание какому-нибудь *предмету*, она на деле не покидает своего беспредметного уединения, не желая вступить в истинно-общественное отношение к *действительному предмету*, потому что *ее предмет* есть только предмет *ее воображения*, есть только воображаемый предмет. Столь же правильно она определяет характер своей *абстракции*, как *абсолютной абстракции*, в том смысле, что «она *освобождается от всего*»; это именно *ничто*, освобожденное от *всего*, от *всякого мышления, созерцания и т. д.*, есть *абсолютная бессмыслица*.

Впрочем, это уединение, достигаемое освобождением, отвлечением от *всего*, столь же мало свободно от предмета, от которого оно абстрагирует себя, сколь мало *Ориген* был свободен от своего *детородного члена*, который он *отделил* от себя.

Другой корреспондент начинает с того, что изображает *одного* из литераторов «берлинского оттенка», которого он «видел и слышал», «скверно настроенным», «придавленным», «не способным более открыть рот» (между тем как он всегда раньше «имел готовую *дерзость* в запасе») и «малодушным». Член «берлинского оттенка» рассказывает корреспонденту, который, в свою очередь, докладывает критике:

«Он не может понять, как такие люди, как вы оба, которые вообще всегда благосклонно относились к принципу гуманизма, могут держать себя столь замкнуто, столь недружелюбно, даже высокомерно». Он не знает, «почему находятся люди, которые, повидимому, намеренно стремятся вызвать раскол. Мы ведь все стоим на одной и той же точке зрения, мы все *поклоняемся* крайности, критике, все одинаково способны, если не создать крайнюю идею, то, по крайней мере, понять и приложить ее». «Двигательным принципом этого раскола он считает не что иное, как эгоизм и высокомерие». Далее корреспондент старается замолвить доброе слово в пользу этих господ: «Разве некоторые, по крайней мере, из наших друзей не постигли критики или, может быть, *доброй воли критики*... *ut desint vires, tamen est laudanda voluntas*».

Критика отвечает посредством следующих *антитез* между собой и берлинским оттенком:

«Существуют *различные* точки зрения на критику». Эти господа «думали, что имеют критику в своем кармане», она же «знает и действительно применяет мощь критики», т. е. она не хранит ее в кармане. Для первых критика — только форма, для нее же — «*самое содержательное* или, вернее, единственно *содержательное*». Подобно тому как абсолютное мышление только себя считает единственной реальностью, так единственной реальностью считает себя и критическая критика. Поэтому она не видит никакого содержания *вне себя*, поэтому она — не критика *действительных* предметов, лежащих вне критического субъекта; она сама *создает* предмет, — она абсолютный *субъект-объект*. Далее! Первый род критики фразами отделяется от всего, от всякого изучения вещей, второй род критики фразами отрывает себя *от всего*. Первая «*умна, ничего не зная*», вторая — «*всегда учится*». Вторая, во всяком случае, неумна и учится *par ça, par là*, но только с виду, только для того, чтобы поверхностно заученное выдать за свою собственную мудрость, поль-

взясь им, как «боевым кличем», против той самой массы, у которой критика училась, и растворяя его в критически-критическом вздоре.

Для первой слова в роде: «крайность», «итти дальше», «недостаточно далеко пойти» и т. д. имеют большое значение и представляют собой высокоотчимые категории, вторая *обосновывает точки зрения* и не прилагает к себе *мерок* вышеназванных абстрактных категорий.

Выкрикивания критики № 2, что теперь не может быть речи о политике, что философия низвергнута, что ее готовность игнорировать социальные системы и исследования посредством слов наподобие: «фантастический», «утопический» и т. д., — все это не что иное, как *критическая переработка вышеназванных категорий*: «итти дальше», «недостаточно далеко уйти», и т. д. А ее «критерии», как, например: «история», «критика», «обобщение предметов», «старое и новое», «критика и масса», «обоснование точек зрения», словом, все ее пароли, — разве они не *категорические* и абстрактно-категорические *критерии*!?

«Первая — теологического свойства, злостна, завистлива, мелочна, дерзка; вторая — *противоположность* всего этого».

Высыпав, таким образом, без передышки целую дюжину похвал по своему адресу и приписав себе все то, чего нехватает берлинскому оттенку, подобно тому как бог есть все, что *не есть человек*, критика выдает себе такого рода свидетельство: «Она достигла той ясности, жажды познания, спокойствия, при которых она становится *неуязвимой и непреодолимой*».

Против такого противника, как берлинский оттенок, ей не нужно «никакое иное оружие, кроме *олимпийского смеха*». И критика со свойственной ей основательностью распространяется насчет свойств этого *смеха*, стараясь определить, что он есть и что он не есть. «Этот смех не есть высокомерие!» Сохрани, господи! Это — отрицание отрицания. Это — *только процесс, который критик, в добром настроении и с душевным спокойствием, применяет к подчиненной точке зрения, мнящей себя равной с ним* (что за вздор, что за самомнение!) Итак, когда «критик» смеется, он *применяет процесс*! И в своем «душевном спокойствии» он *применяет процесс смеха* не к лицам, а к *точке зрения*. Даже *смех* представляет *категорию*, которую он применяет и даже *должен* применять.

Внемировая критика не есть проявление *деятельности, присущей действительному*, т. е. живущему в современном обществе, *субъекту*, принимающему участие в страданиях и радостях окружающего реального мира. *Действительный индивидуум* есть только

акциденция, земной сосуд критической критики, в котором последняя проявляется как *вечная субстанция*. Не критика человеческого индивидуума, а *нечеловеческий индивидуум критики* есть субъект. Не критика является *выражением человека*, а человек представляет собою *отчуждение критики*, — критик существует, стало быть, совершенно вне общества.

«Может ли критик жить в том обществе, которое он подвергает критике?» Более того, разве он не должен жить в этом обществе, разве не должен сам быть жизненным выражением этого общества? Почему критик *продает* свои духовные плоды, если он этим действием превращает самый возмутительный закон существующего общества в свой собственный закон? «Критик не должен даже пытаться *лично* смешиваться с обществом». Поэтому он обзаводится *святым семейством*, подобно тому как и единый бог стремится в святом семействе избавиться от своей тоскливой иволированности от всякого общества. Если критик желает *освободиться от дурного общества*, пусть он прежде всего освободится от *общества самого себя*. «Так критик лишается *всех радостей общества*, но и *страдания последнего* ему чужды». Он не знает ни *«дружбы»* (за исключением критических друзей), ни *любви»* (за исключением *любви к себе*), «но зато клевета бессильно отскакивает от него, ничто не может его обидеть, его не касается ни ненависть, ни зависть; раздражение и скорбь — *незнакомые* ему *аффекты*». Словом, критик свободен от всех *человеческих страстей*, он — *божественная особа*, он может о себе петь песнь монахини:

О любви не помышляю,
Кто мне нужен из мужчин?
Помышляю лишь о боге:
Мне опора — он один.

Критике не удастся высказать ни одного положения, не впадая в противоречие с самой собой. Так, она в заключение говорит нам: «Филистерство, забрасывающее критика камнями (согласно библейской аналогии), не желающее понять его и приписывающее ему *нечистые мотивы»* (*чистой* критике приписывать *нечистые мотивы!*), «чтобы *уравнять* его с собой» (все то же самомнение!), — «это филистерство *не высмеивается* критиком, ибо оно недостойно этого; критик лишь обнаруживает его истинную природу и с полным спокойствием ставит его на то место, которое соответствует его незначительному значению».

Мы видели выше, что критик *вынужден* был применить *процесс высмеивания* к «дерзкой сравниваться с ним подчиненной точке

зрения». Неясность представления критической критики о ее способах воздействия на безбожную «массу» почти что свидетельствует о внутренней раздраженности критики, о присутствии желчи, которой «аффекты» далеко не «незнакомы».

Однако нельзя отрицать, что в конечном результате всей своей геркулесовой борьбы, в которой критика преследовала одну лишь цель, — *отграничение* себя от некритической «мирской» массы и «всего», — она, наконец, счастливо добралась до своего *одинокого, божественного, самодовлеющего, абсолютного* существования. Если в том выражении этой «новой фазы», которое мы имели перед собой до сих пор, «старый мир *греховных аффектов*» имел еще, казалось, некоторую власть над критикой, то теперь мы увидим ее эстетически-успокоенной и *просветленной* в «художественном образе» и *искупающей* свои грехи, чтобы, наконец, в качестве второго, торжествующего Христа отпраздновать *последнее критическое судилище* и, после победы над драконом, спокойно вознестись на небеса.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ «КРИТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ»,

или

«КРИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА» В ЛИЦЕ РОДОЛЬФА, КНЯЗЯ ГЕРОЛЬШТЕЙНСКОГО.

Родольф, князь Герольштейнский, *искушает* в своей земной жизни двойное преступление: свое личное преступление и преступление критической критики. В горячей схватке с своим отцом он занес над его головой свой меч, критическая же критика в горячей схватке с массой подпала под власть греховных аффектов. Критическая критика не равоблачила ни одной тайны. Родольф *искушает* этот грех и занимается равоблачением *всех* тайн.

Родольф, по отъезду господина Шелиги, — *первый* слуга государства человеческого рода (*Гуманитарное государство* шваба Эгидия. См. «Конституционные летописи», изд. д-ром Карлом Вейлем, 1842 г., 2 т.).

Для того чтобы *мир не погиб*, должны, согласно утверждению господина Шелиги, «выступить на сцену люди беспощадной критики... Родольф как раз *такой* человек... Родольф в совершенстве понял мысль *чистой критики*. И эта мысль плодотворнее для него и для всего человечества, чем *весь исторический* опыт, чем *все* знание, которое Родольф, даже руководимый преданнейшим учителем, может почерпнуть из истории... Беспристрастное деяние, которым Родольф увековечивает свое *хождение в мир*, в *действительности* — не что иное, как

«разоблаченная тайна всех тайн».

Он сам — *«разоблачение тайн общества...»*

Родольф имеет в своем распоряжении бесконечно большее количество *внешних* средств, чем все остальные мужи критической критики. Но она утешает себя:

«Недостижимы для менее покровительствуемого судьбой достигнутые Родольфом *успехи* (!), не достижима прекрасная цель (!)».

Критика предоставила поэтому покровительствуемому судьбой Родольфу *осуществить* ее собственные мысли. Она поет ему:

*Hahnemann,
Geh du voran,
Du hast die grossen Wasserstiefel an!*¹

Последуем за Родольфом в его критическом хождении в мир, которое *«плодотворнее всего опыта, приобретенного человечеством в его истории, которое плодотворнее всех познаний»* и т. д., — последуем за Родольфом, который *дважды* спасает мир от *гибели*.

1. КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ МЯСНИКА В СОБАКУ, ИЛИ УЛИЧНЫЙ РЕЗАКА.

Резака по занятию своему был мясником. Различные перипетии делают из могучего сына природы убийцу. Родольф случайно наталкивается на него в ту минуту, когда последний чинит расправу над Флёр де-Мари. Родольф наносит ловкому забияке несколько мастерских, импонирующих ударов по голове. Тем самым Родольф снискивает уважение Резаки. После, в кабачке преступников, обнаруживается добросердечный нрав Резаки. Родольф говорит ему: *«У тебя имеются еще сердце и честь»*. Этими словами он вселяет в него уважение к самому себе. Резака исправляется, или, как выражается господин Шелига, превращается в *«моральное существо»*. Родольф берет его под свое покровительство. Проследим совершаемый под руководством Родольфа образовательный путь Резаки.

Первая стадия. Первый урок, преподанный Резаке, заключался в обучении его лицемерию, вероломству, коварству и *«притворству»*. Родольф пользуется морализованным Резакою для таких же целей, для каких *Видок* пользовался своими морализованными преступниками, т. е. он делает его *шпионом* и *агентом-provokатором*. Он дает ему совет *«притвориться»* перед Мастаком, будто он изменил своему *«принципу не красть»*, предложить этому Мастаку воровское предприятие и таким путем завлечь последнего в устроенную Родольфом ловушку. Резака чувствует, что им хотят воспользоваться для какого-то дурного *«фарса»*. Он выражает протест против плана заставить его сыграть роль *шпиона* и *агента-provokатора*. При помощи *«чистой» казуистики* критической критики Родольф с легкостью убеждает этого непосредственного

¹ Ганеман, иди вперед, у тебя большие сапоги!

человека, что скверная проделка не есть скверная проделка, если она вытекает из *«добрых, моральных»*, мотивов. Резака, в качестве агента - провокатора, под видом товарищества и доверия привлекает своего прежнего приятеля в гибельную для последнего западню. В *первый раз* в своей жизни он совершает *низость*.

Вторая стадия. Тут мы снова встречаемся с Резакою в роли *сиделки* при Родольфе, которого он спасает от смертельной опасности.

Резака стал столь *приличным моральным* существом, что отклоняет предложение врача-негра Давида сесть на пол, из боязни запачкать ковер. Он даже настолько *робок*, что не решается сесть на стул. Сначала он ставит стул спинкой на пол, а затем сам садится на передние ножки стула. Он не забывает извиниться каждый раз, когда называет Родольфа, спасенного им от смертельной опасности, своим «другом» или Monsieur вместо Monseigneur.

Изумительная дрессировка беспощадного сына природы! Резака раскрывает нам сокровеннейшую тайну своего критического превращения, сознаваясь Родольфу, что он испытывает к последнему такую же привязанность, как *бульдог* к своему господину. «Je me sens pour vous comme qui dirait l'attachement d'un bouledogue pour son maître». Прежний мясник превратился в собаку. Отныне все его добродетели будут добродетелями собаки, безаветной *преданностью* собаки своему господину. Его самостоятельность, его индивидуальность совершенно исчезнут. Но подобно тому как плохие живописцы должны сделать надпись на своих картинах, чтобы объяснить их содержание, так и Эжен Сю должен будет сделать на лбу *«бульдога»*-Резаки надпись, которая должна гласить: «Два слова — «у тебя есть сердце и честь» — сделали меня *человеком*». До последнего издыхания Резака будет искать мотивов своих действий не в своей человеческой индивидуальности, а в этой надписи. Для проверки своего морального усовершенствования он часто будет размышлять о своем собственном превосходстве и дурных качествах других индивидуумов, и во всех тех случаях, когда он станет сыпать нравоучительными фразами, Родольф будет одобрительно замечать: «Я охотно слушаю *такие твои речи*». Резака стал не обыкновенным, а *нравственным бульдогом*.

Третья стадия. Мы уже восхищались *мещанским приличием* Резаки, выступившим на место *грубой, но смелой* развязности. Теперь мы узнаем, что он, как и приличествует *«моральному существу»*, усвоил себе также походку и манеру держаться подлинного *мещанина*.

«A le voir marcher—on l'eût pris pour le *bourgeois* le plus inoffensif du monde».

Еще печальнее этой внешней формы то содержание, которое Родольф вложил в его критически-реформированную жизнь. Он посылает Резаку в Африку, чтобы «неверующий мир мог узреть живой и спасительный пример покаяния». Отныне он должен демонстрировать не свою собственную человеческую природу, а христианскую догму.

Четвертая стадия. Критически-моральное превращение сделало Резаку смиренным, осторожным человеком, поведение которого регулируется страхом и житейской мудростью.

«Резака, — сообщает Мурф, нескромная простота которого всегда выносит сор из избы, — не сказал ни слова о казни Мастака из боязни скомпрометировать себя». Резака знает, стало быть, что казнь Мастака была *попращием* закона. Он не болтает об этом из боязни скомпрометировать себя. *Мудрый Резака!*

Пятая стадия. Резака настолько закончил свое моральное усовершенствование, что сознание диктует ему новую, цивилизованную формулировку его *собачьего* отношения к Родольфу. Спасши *Жермена* от смертельной опасности, Резака обращается к нему с следующими словами:

«У меня есть покровитель, который для меня — то же, что бог для священников; мне хочется броситься перед ним на колени». И в мыслях своих он становится на колени перед своим богом. «Господин Родольф, — продолжает он, — защитит вас. Я говорю «господин», но я должен был бы сказать «милостивый господин». Однако я усвоил себе привычку называть его просто *господином* Родольфом, и он позволяет мне это».

«Какое прекрасное пробуждение, какой расцвет!» — восклицает в критическом восхищении Шелига.

Шестая стадия. Резака достойно завершает свое поприще чистой преданности, морального бульдожества, давая себя заколоть для спасения своего милостивого господина. В ту минуту, когда Скелет готовится вонзить нож в князя, Резака схватывает руку убийцы. Скелет закалывает его. Умиравший Резака говорит Родольфу: «Я в праве сказать, что такая *горсть праха* (бульдог), как я, может быть иногда полезна *великому милостивому* господину, подобному вам».

К этому собачьему замечанию, которое *одной* эпиграммой характеризует все критическое жизненное поприще Резаки, находящаяся на нем надпись присовокупляет:

«Мы квиты, господин Родольф. Вы мне сказали, что у меня есть сердце и честь».

Господин Шелига кричит изо всех сил: «Какую заслугу приобрел себе Родольф тем, что возвратил *человечеству* (?) этого *Резаку!*»

2. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ТАЙНЫ КРИТИЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ, ФЛЁР ДЕ-МАРИ.

а) Спекулятивная «Маргаритка».

Еще одно слово о спекулятивной «Маргаритке» господина Шелиги, прежде чем мы перейдем к Флёр де-Мари Эжена Сю.

Спекулятивная «Маргаритка» есть, прежде всего, *исправление*. Дело в том, что читатель может из построения господина Шелиги вывести заключение, будто Эжен Сю «отделил изображение объективной основы (мирового порядка) от развития действующих индивидуальных сил, могущих быть понятыми лишь в связи с этой основой».

Кроме задачи исправления этого ошибочного предположения читателя, вызванного изображением господина Шелиги, «Маргаритка» выполняет еще другую метафизическую миссию в нашем «эпосе», т. е. «эпосе» господина Шелиги.

«*Мировой порядок*» и эпическое происшествие не были бы еще художественно соединены в одно истинно-единое целое, если б они только взаимно перекрещивались в пестрой смеси и в быстрой смене представляли перед нами то какой-нибудь уголок мирового порядка, то какое-нибудь сценическое действие. Для образования *истинного единства* необходимо, чтобы оба элемента, — тайны воблуждающегося *мира* и ясность, прямота и уверенность, с которой *Родольф* проникает в них и разоблачает их, — соединены были в *одном* лице... «Маргаритка» имеет эту задачу».

Господин Шелига конструирует «Маргаритку» по аналогии с *бауэровской* конструкцией *божьей матери*.

На одной стороне стоит «*божественное*» (Родольф), которому приписывается «всякое могущество и свобода», единственно *деятельный* принцип. На другой стороне стоит пассивный «*мировой порядок*» и связанные с ним люди. Мировой порядок составляет «почву действительного». Чтобы он не оказался «совершенно покинутым» или «не был уничтожен последний остаток естественного порядка», чтобы сам мир имел еще некоторую долю участия в «принципе развития», который, в противоположность миру, сосредоточил в себе Родольф; чтобы «человеческое» не было изображено как «вообще

несвободное и недейтельное», — для всего этого господин Шелига должен впасть в «противоречие религиозного сознания». Хотя он отрывает друг от друга мировой порядок и его деятельность, создавая дуализм мертвой массы и критики (Родольфа), он все-таки вынужден снова уступить мировому порядку и массе некоторые атрибуты божественности и в лице «Маргаритки» конструировать спекулятивное единство обоих, Родольфа и мира (см. «Критику синоптиков», т. I, стр. 39).

Кроме действительного отношения, существующего между *домовладельцем* (действующей «индивидуальной силой») и его *домом* («объективной основой»), мистическое умозрение, а равно и умозрительная эстетика нуждаются еще в третьем, *конкретном спекулятивном единстве*, в *субъекте-объекте*, который соединял бы в одном лице дом и домовладельца. Так как умозрение не любит необходимых естественных звеньев, в их широкой обстоятельности, то оно не замечает, что та же «частица мирового порядка», — дом, например, — которая для одного лица, — например, домовладельца, — составляет «объективную основу», для другого, — например, архитектора, — есть «эпическое происшествие». Критическая критика, которая ставит в упрек «романтическому искусству» его «догму единства», стремится теперь создать «истинно-единое целое», «действительное единство», и с этой целью ставит на место естественной и человеческой связи между мировым порядком и мировым событием фантастическую связь, мистический субъект-объект, подобно тому как Гегель на место действительной связи между человеком и природой ставит абсолютный субъект-объект, представляющий собой заодно всю природу и все человечество, — *абсолютный дух*.

В критической «Маргаритке» «всеобщая вина времени, вина тайны» становится «*тайной вины*», точно так же, как всеобщая вина тайны в лице задоживавшего лавочника становится *тайной долгов*.

По конструкции божьей матери, «Маргаритка» должна была бы, в *сущности*, быть *матерью Родольфа*, спасителя мира. Господин Шелига так и заявляет:

«*Логическая последовательность* требует, чтобы Родольф был *сыном Маргаритки*». Но так как он — не сын ее, а отец, то господин Шелига открывает в этом «новую тайну, заключающуюся в том, что часто настоящее чревато не будущим, а давно ушедшим в глубь времен прошедшим». Мало того, он открывает другую, еще большую, прямо противоречащую массовидной статистике тайну, — ту именно тайну, что «дита, если оно не становится, в свою очередь, отцом или

матерью, а сходит, девственное и невинное, в могилу... *по существу* своему... есть *дочь*».

Господин Шелига мыслит в полном согласии с гегелевским умоврением, когда он, «в силу *логической* последовательности», считает дочь матерью своего отца. В философии истории Гегеля, как в его натурфилософии, сын производит на свет мать, дух — природу, христианская религия — язычество, результат — начало.

Показав сначала, что Маргаритка, «в силу *логической* последовательности», должна была бы быть матерью Родольфа, господин Шелига доказывает вслед за тем противоположное: что она, «в видах соответствия *идее*, олицетворяемой ею в *нашем* эпосе, *никогда не должна сделаться матерью*». Это показывает, по крайней мере, что идея нашего эпоса и логическая последовательность в уме господина Шелиги взаимно противоречат друг другу.

Спекулятивная «Маргаритка» — не что иное, как «*олицетворение идеи*». Какой же идеи? «На ней лежит также *как будто* задача изобразить последнюю горестную слезу, роняемую прошедшим перед его окончательным исчезновением». Она представляет собою изображение аллегорической слезы, и то малое, что она изображает собой, она *все же* изображает только «*как будто*».

Мы не последуем за Шелигой в его дальнейшем изображении Маргаритки. Мы предоставляем ей самой удовольствие, согласно предписанию господина Шелиги, «становиться в *решительное* противоречие *всем*», в противоречие, столь же таинственное, как и свойства бога.

Мы столь же мало станем докапываться до «*подлинной тайны*», «похороненной в груди человека *богом*», на которую спекулятивная Маргаритка «все-таки как будто» указывает. Мы переходим от «Маргаритки» господина Шелиги к Флёр де-Мари Эжена Сю и к критическому колдовству, которое над ней совершает Родольф.

б) Флёр де-Мари.

Мы встречаем Марию среди преступников в качестве проститутки, крепостной слуги у хозяйки кабачка преступников. При всей униженности своего положения, она сохраняет человеческое благородство души, человеческую непринужденность и человеческую красоту. Эти качества импонируют окружающему ее миру, делают ее поэтическим цветком круга преступников и утверждают за ней имя Флёр де-Мари.

Необходимо внимательно наблюдать Флёр де-Мари, начиная с ее первого выступления, чтобы иметь возможность сравнить ее первоначальный образ с критической переделкой его.

При всей своей нежности, Флёр де-Мари с первых же шагов обнаруживает жизненную бодрость, энергию, веселость, гибкость характера, — все такие качества, которые одни уже в состоянии объяснить ее человеческое развитие в условиях ее бесчеловечного положения.

Против Резаки, который подвергает ее побоям, она защищается своими ножницами. Это первое положение, в котором мы ее встречаем. В этой сцене она выступает пред нами не как беззащитное существо, отдающееся без сопротивления во власть грубой силы, а является женщиной, умеющей защищать свои права и способной выдержать борьбу.

В кабачке преступников на Rue aux fèves она рассказывает Резаке и Родольфу историю своей жизни. Во время своего рассказа она отвечает *смехом* на остроты Резаки. Она обвиняет себя в том, что после своего выхода из тюрьмы истратила заработанные 300 франков на катание и наряды, вместо того чтобы искать работы, «но у меня не было советников». Воспоминание о катастрофе ее жизни, о продаже себя ховяйке кабачка преступников, приводит ее в грустное настроение. В первый раз в жизни она теперь вспоминает про все эти события. «Факт тот, что мне становится грустно от того, что я оглядываюсь в прошлое. Очень хорошо, должно быть, оставаться честной». На шутку Резаки: «Пусть она сделается честной», — она отвечает восклицанием: «Честной, о господи! да с чем же, по-твоему, могу я быть честной!» Она заявляет решительно, что «не строит из себя плаксы»: «Je ne suis pas pleurnicheuse»; но ее жизненное положение печально: «ça n'est pas gai! Наконец, в противоположность христианскому *покаянию*, она относительно своего прошлого высказывает следующий *стоический* и в то же время *эпикурейский* человеческий принцип, подобающий свободной и сильной женщине:

«Наконец, что сделано, то сделано».

Последуем за Флёр де-Мари в ее первом выезде с Родольфом.

«Сознание твоего ужасного положения тебя, вероятно, очень часто мучило», — говорит Родольф, который уже ощущает вуд завести нравоучительную беседу. «Да, — отвечает она, — не один раз я всматривалась в Сену с высоты шляпов, но затем я направляла свои взоры на цветы, солнце и говорила себе: река всегда останется здесь, мне же нет еще семнадцати лет. Кто знает? В эти минуты мне

казалось, что моя судьба — не заслуженная, что во мне есть нечто хорошее, и я говорила себе: меня достаточно мучили, но, по крайней мере, я никому не причинила зла».

Флёр де-Мари рассматривает положение, в котором она находится, не как результат ее свободного творчества, не как выражение ее личности, а как судьбу, которой она не заслужила. Эта судьба может измениться. Она еще молода.

Добро и зло в понимании Марии — не моральные абстракции добра и зла. Она добра потому, что никому не причинила страдания, она всегда была *человечна* по отношению к бесчеловечному окружающему. Она добра потому, что солнце и цветы открывают ей ее собственную солнечную и, как цветок, невинную натуру. Она добра, наконец, потому, что еще *молода*, полна надежд и жизненной бодрости. Ее положение *скверное*, потому что оно налагает на нее неестественное принуждение, потому что оно не есть проявление ее человеческих склонностей, не есть осуществление ее человеческих желаний, потому что оно мучительное и безрадостное. Мерилом ее жизненного положения служит ей не *идеал добра*, а ее *собственная индивидуальность, природа ее существа*.

На лоне *природы*, где спадают цепи буржуазной жизни, где ее натура находит свободное проявление, Флёр де-Мари обнаруживает такую жажду жизни, такое богатство ощущений, такой радостный восторг перед красотами природы, которые показывают, что ее гражданское положение затронуло только ее поверхность, что оно — не больше, как злая участь, и что она сама ни добра, ни зла, а только *человечна*.

«Monsieur Родольф, какое счастье!.. трава, поля!.. Если бы вы мне позволили сойти, было бы так хорошо... мне так нравится бегать по этим лугам!» Выйдя из коляски, она собрала цветы для Родольфа, «едва в силах говорить от радости» и т. д.

Родольф сообщает ей, что он хочет отвезти ее на *ферму м-ше Жорж*. Там она увидит голубятни, конюшни и т. д.; там есть молоко, масло, плоды и проч. То были истинные *дары милосердия* для этого ребенка. Она станет *развлекаться*, — вот ее главная мысль. «Вы даже не можете себе представить, как я буду развлекаться!» Она самым простодушным образом рассказывает Родольфу о своей собственной *причастности* к своей несчастной участи: «Все мое несчастье в том, что я не умела бережливо обращаться с деньгами». Она советует ему поэтому быть бережливым и помещать свои деньги в сберегательной кассе. Ее воображение целиком поглощено теми воздушными замками, которые строит ей Родольф. Она погружается

в печаль только потому, что «забыла о *настоящем*», и «контраст между этим настоящим и мечтой о радостном, светлом существовании напоминает ей весь ужас ее положения».

До сих пор мы наблюдали Флёр де-Мари в ее первоначальном, некритическом образе. Эжен Сю поднялся над горизонтом своего ограниченного мировоззрения. Он нанес поражение предрассудкам буржуазии. Теперь же он передаст Флёр де-Мари в руки героя Родольфа, чтобы искупить свою дерзость, чтобы снискать одобрение всех стариков и старух, всей парижской полиции, ходячей религии и «критической критики».

М-ше Жорж, на попечение которой Родольф отдает Флёр де-Мари, — жалкая, страдающая ипохондрией, религиозная женщина. Она с первой минуты встречает молодую девушку елейными словами, что «*господь* благословляет тех, которые его любят и боятся его, которые были несчастны и *покаялись*». Родольф, муж «чистой критики», призывает жалкого, поседевшего в предрассудках священника *Лапорта*. Он предназначен для того, чтобы завершить критическую реформу Флёр де-Мари.

Мария весело и простодушно встречает старого священника. С христианской грубостью *Эжен Сю* заставляет «изумительный инстинкт» нашептывать ей на ухо, что «*стыд* кончается там, где начинаются *раскаяние* и *покаяние*», а именно — в лоне единоспасающей церкви. Она забывает о веселом простодушии на прогулке, о радостном настроении, вызванном милосердными дарами природы и дружелюбным участием Родольфа, омраченном лишь мыслью о необходимом возвращении к хозяйке кабака преступников.

Священник *Лапорт* тотчас принимает *неземную* пову. Его первым словом было:

«Милосердие *божие* неистоцимо, мое дорогое дитя! Он доказал тебе это, не покинув тебя в твоих горьких испытаниях... Великодушный человек, который спас тебя от гибели, исполнил *слово Писания*» (заметьте: не человеческую цель исполнил, а слово *Писания*), «гласящее: господь печется о тех, которые призывают имя его; он услышит их стоны и спасет их... Господь свершит *свою* волю».

Мария не понимает еще *злого* смысла поповской проповеди. Она отвечает: «Я буду молиться за тех, которые оказали мне милосердие и возвратили меня к богу».

Ее первая мысль — не о боге, а о ее *человеческом* спасителе, и молиться она хочет о *нем*, а не об отпущении своих *собственных* грехов. Она ожидает от своей молитвы влияния на спасение других.

Мало того, она даже настолько наивна, что *уже* считает себя *возвращенной* к богу. Священник считает себя обязанным разрушить эту противную вере мечту.

«Скоро, — прерывает он ее, — скоро ты заслужишь отпущение, отпущение твоих великих грехов... ибо, как сказал пророк, господь выпрямляет всех тех, которые готовы упасть».

Не забудьте обратить внимание на нечеловечные обороты в речи священника. Скоро ты заслужишь отпущение грехов! *Еще не прощены* тебе твои грехи.

Если Лапорт при встрече с девушкой старается возбудить в ней *сознание греховности*, то Родольф, с своей стороны, преподносит ей при прощании *золотой крест*, символ предстоящего ей *христианского распятия*.

Мария живет уже в течение некоторого времени на ферме m-ше Жорж. Подслушаем прежде всего разговор священника Лапорта с m-ше Жорж. «Замужество» он считает для Марии невозможным, «потому что ни один человек, несмотря на свой обет, не будет иметь мужества противиться прошлому, которое загрязнило ее молодость». Он прибавляет, что она «должна искупить большие грехи» и что «нравственное чувство должно было поддержать ее». Он доказывает возможность нравственного самосохранения, как самый низкий буржуа: «В Париже есть много благодетельных людей». Лицемерный священник отлично знает, что эти благодетельные люди Парижа ежедневно проходят равнодушно мимо маленьких девочек 2 — 3-х лет, до полуночи продающих на самых оживленных улицах спички и т. п., как это некогда делала Мария, и будущая участь которых, почти без исключения — та же, что и Марии.

Поп поставил Марии задачу *искупления*. В душе своей он *осудил* ее. Последуем за Флёр де-Мари в ее вечерней прогулке с Лапортом, которого она провожает домой.

«Взгляни, дитя мое, — начинает он свою елейную речь, — на беспредельный горизонт, границы которого незаметны для глаз» (это было вечером). «Кажется мне, что тишина и беспредельность почти внушают нам идею вечности... Я говорю тебе это, Мария, потому, что ты восприимчива к красотам мироздания... Меня часто трогал тот религиозный восторг, вызываемый имп в тебе, — в тебе, которая так долго лишена была религиозного чувства».

Попу удалось уже превратить непосредственно-наивное, радостное восхищение Марии красотами природы в *религиозное* восхище-

ние. *Природа* уже принижена до ханжества, *христианизированной* природы. Она низведена на степень *творения*. Прозрачный воздушный океан развенчан и обращен в символ неподвижной *вечности*. Мария уже постигла, что все человеческие проявления ее существа были «земного» свойства, что они лишены религии, истинной святости, что они антирелигиозны, безбожны. Поп должен убедить ее в том, что ее душа нечиста; он должен повергнуть в прах природные и духовные силы и щедрые дары, чтобы сделать ее восприимчивой к сверхъестественному дару милосердия, которое он обещает ей, — к *крещению*.

Когда Мария хочет в чем-то признаться попу, прося его снисхождения, он отвечает:

«Господь доказал тебе, что он милосерден.»

Мария не должна видеть в снисхождении, оказываемом ей, естественное, само собой разумеющееся отношение родственного человеческого существа к такому же человеческому существу, а должна усмотреть в этом беспредельное, сверхъестественное, сверхчеловеческое милосердие и снисхождение, в *человеческом снисхождении* должна видеть *божественное милосердие*. Она должна превратить все человеческие, естественные отношения в *отношения к богу*. Ответ Флёр де-Мари на елейную проповедь попа о божественном милосердии показывает, насколько религиозная доктрина успела уже испортить ее.

Она говорит, что как только очутилась в своем новом положении, она почувствовала лишь свое *новое счастье*. «Каждую минуту я думала о господине Родольфе. Часто я устремляла свои взоры к небесам, но искала там не бога, а господина Родольфа, чтобы благодарить его. Да, я *обвиняю себя в этом*, отец мой; я думала *больше* о нем, чем о боге, ибо он сделал для меня то, что мог бы сделать один только бог... Я была *счастлива*, так счастлива, как человек, который навсегда избежал великой опасности». Флёр де-Мари считает уже дурным делом воспринимать новое счастливое жизненное положение просто как то, чем оно *действительно* является, как новую радость, т. е. относиться к нему естественно, а не сверхъестественно. Она уже обвиняет себя в том, что видела в человеке, который ее спас, то, чем он *действительно* был, — своего спасителя, и не поставила на место его мнимого спасителя — *бога*. Она уже находится под влиянием религиозного лицемерия, лишаящего *другого человека* того, чем я ему обязан, для того, чтобы передать это богу; словом, она уже усвоила религиозное лицемерие, которое вообще рассматривает человеческое в человеке как чуждое

ему, и все нечеловеческое в нем как его *истинную* собственность.

Мария рассказывает нам, что *религиозным переворотом* в своих мыслях и чувствах, своим отношением к жизни она обязана м-ше Жорж и Лапорту.

«Когда Родольф увозил меня из города, во мне уже шевелилось смутное сознание моего падения; но воспитание, советы, примеры, полученные мною от вас и м-ше Жорж, дали мне возможность постичь... что я была более виновна, чем несчастна... Вы и м-ше Жорж помогли мне *понять бесконечную глубину моего падения*». Это значит, что она обязана священнику Лапорту и м-ше Жорж тем, что переменяла человеческое, и потому выносимое, сознание своего прошлого унижительного положения на христианское, и потому невыносимое, сознание бесконечной отверженности. Поп и ханжа м-ше Жорж научили ее судить о себе с *христианской точки зрения*.

Мария чувствует, какую душевную драму создали в ней. Она говорит: «Если сознание добра и зла должно было встать в таком страшном виде, то почему меня не предоставили моей несчастной участи?.. Если бы меня оставили в той пропасти, где я находилась, нищета и побои сделали бы свое дело, и я, по крайней мере, умерла бы в неведении о той чистоте, к которой тщетно буду стремиться».

Бессердечный поп отвечает: «Даже самая благородная натура, если б хоть один день должна была прожить в той грязи, из которой тебя вытащили, вышла бы *оттуда с неуничтожаемым клеймом на челе*. В этом — *неизменный закон божеского правосудия*».

Флёр де-Мари, глубоко уязвленная этим медовым *поповским проклятием*, восклицает: «Ведь вы видите мое отчаяние!»

Поседевший раб религии отвечает: «Ты должна притти в отчаянье, вырвать из своей жизни эту печальную страницу, но ты должна надеяться на *бесконечное милосердие бога*. Здесь, на *земле*, дитя мое, выпали на твою долю слезы, раскаяние, покаяние; но настанет день, когда *там, там на небесах*, заслужишь прощение и обретешь *вечное блаженство*».

Мария не настолько еще потеряла рассудок, чтобы найти успокоение в вечном блаженстве и прощении в небесах.

«Пожалей меня, — восклицает она, — пожалей меня, господи! Я еще так молода... *malheur à moi!*»

И лицемерная софистика священника достигает своей высшей точки: «Напротив, счастье твое, Мария, счастье твое! Господь послал тебе мучение совести, полное горечи, но благодетельное мучение! Оно обнаруживает *религиозную* восприимчивость твоей

души... Каждое твое страдание будет сосчитано в небесах. Поверь мне, господь оставил тебя па миг па дурпом пути, чтобы предоставить тебе потом *славу раскаяния* и вечную награду, заслуженную *покаянием*».

С этого момента Мария становится *рабыней сознания своей греховности*. Между тем как прежде опа в несчастнейшей обстановке умела быть приветливой, живой личностью и при внешнем крайнем унижении сознавала *свою человеческую сущность* как *ее истинную сущность*, — теперь эта грязь современного общества, задевшая ее поверхностно, становится в ее глазах ее внутренней сущностью, а постоянное ипохондрическое самобичевание делается ее обязанностью, предначертанной самим богом жизненной задачей, самоцелью ее существования. Между тем как прежде она хвалилась: «*Je ne suis pas pleurnicheuse*», между тем как она знала: «*C'est qui est fait, est fait*», — теперь самотервание становится *добром*, а раскаяние — *славой*.

Впоследствии обнаруживается, что Флёр де - Мари — дочь Рольфа. Мы встречаемся с пей снова как с принцессой Герольштейнской. Мы подслушиваем ее беседу с отцом: «Тщетно я прошу бога освободить меня от этих соблазнов, наполнить мое сердце исключительно благочестивой любовью, святыми надеждами, ваять меня, наконец, всю целиком, потому что я хочу вся отдаться ему... Он не впишет моим обетам... без сомнения, потому, что мои *земные* ваяния делают меня недостойной общения с ним».

После того как человек понял, что его заблуждения суть *бесконечные* преступления против бога, он может быть уверен в своем спасении и милосердии бога лишь тогда, когда *совершенно* отдаст себя богу, *совершенно* отстранится от мира и мирских интересов. После того как Мария постигла, что освобождение из ее нечеловеческого положения есть *божеское чудо*, опа должна *сама* стать *святой*, чтобы быть достойной этого *чуда*. Ее человеческая любовь должна превратиться в религиозную любовь, стремление к счастью в стремление к вечному блаженству, мирское удовлетворение в святую надежду, общение с людьми в общение с богом. Бог должен ваять ее целиком. Опа сама раскрывает нам тайну, почему он не берет ее. Она еще не вся *отдалась* ему, ее сердце находится еще во власти земных вожделений. Это — последняя вспышка ее здоровой природы. Опа вся отдается богу, отказываясь совершенно от мира и поступая в *монастырь*.

Тот лишь к монастырской двери
Пусть идет, кто в должной мере
Нагрузил себя грехом,

Чтобы ночью он и днем
Мог вольготно наслаждаться —
Покаянью предаваться.

(Гете.)

В монастыре Мария, благодаря интригам Родольфа, удостоивается сана *игуменьи*. Она сначала отказывается принять этот пост, считая себя недостойной его. Старая игуменья уговаривает ее: «Скажу вам еще, моя дорогая дочь, если бы до вашего вступления в лоно церкви ваше существование было настолько же полно заблуждений, насколько оно в действительности было чисто и похвально... то *евангельские добродетели*, примеры которых вы показали здесь со времени вашего пребывания с нами, загладили бы и искупили в глазах всевышнего прошлое, каким бы греховным оно ни было».

Вы видите из слов игуменьи, что мирские добродетели Флёр де-Мари превратились в евангельские добродетели или, вернее, ее действительные добродетели должны принять евангельскую, карикатурную форму.

Мария отвечает на слова игуменьи: «Святая мать, считаю теперь возможным согласиться».

Монастырская жизнь не соответствует индивидуальности Марии: она умирает. Христианство утешает ее только в воображении, или же ее христианское утешение есть именно уничтожение ее действительной жизни и существа, — ее смерть.

Таким образом, Родольф сначала обратил Флёр де-Мари в кающуюся грешницу, затем кающуюся грешницу в монахиню и, наконец, монахиню в труп. При ее погребении, кроме католического священника, произносит еще надгробную речь *критический* священник Шелига.

Ее «невинное» существование он называет ее «бренным» существованием и противопоставляет его «вечной и незабвенной вине». Он хвалит ее за то, что ее «*последнее дыхание*» было «просьбой о забвении и прощении». Но подобно протестантскому священнику, который, изобразив сначала необходимость милосердия господя, участие покойника в первородном грехе и силу его сознания своей греховности, переходит затем к восхвалению *светских* добродетелей умершего, и Шелига употребляет такой оборот речи:

«И все-таки *лично* ее не за что прощать».

Наконец, он бросает на могилу Марии самый увядший цветок пасторского красноречия:

«Внутренне чистая, как редко бывает человек, она уснула вечным сном». — Аминь!

3. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ТАЙН ПРАВА.

а) *Мастак, или новая теория наказания. Разоблаченная тайна системы одиночного заключения. Медицинские тайны.*

Мастак — преступник геркулесовского сложения и колоссальной духовной энергии. По воспитанию своему он — образованный и знающий человек. Он, страстный атлет, приходит в столкновение с законами и привычками буржуазного общества, для которого общей меркой служит посредственность, хрупкая мораль и скрытность действий. Он становится убийцей и предается всем излишествам, на какие только способен колоссальный темперамент, нигде не находящий для себя соответствующей человеческой деятельности.

Родольф захватил этого преступника. Он хочет критически переделать его, он хочет создать из него пример для *юридического* мира. Он спорит с юридическим миром не о самом «наказании», а о *роде* и *форме* наказания. Он изобретает — по характерному выражению врача-негра Давида — теорию наказания, которая была бы достойна *«величайшего немецкого криминалиста»* и которая с тех пор удостоилась счастья найти себе по-немецки серьезного и по-немецки основательного защитника в лице одного немецкого криминалиста. Родольф даже не подозревает, что можно стать *выше* криминалистов; его честолюбие направлено на то, чтобы стать *«величайшим криминалистом»*, *primus inter pares*. Он приказывает врачу-негру Давиду *ослепить* Мастака.

Сначала Родольф повторяет все тривиальные возражения против смертной казни: она не производит никакого действия на преступника, она не производит никакого действия на народ, для которого она служит только развлекающим зрелищем.

Далее Родольф проводит различие между Мастаком и *душой* Мастака. Он заботится не о спасении человека, *действительного* Мастака, *но о духовном спасении его души...*

«Спасение души, — учит он, — святое дело... Каждое преступление, сказал спаситель, может быть *искуплено*, но только тем, кто искренно стремится к покаянию и *раскаянию*. Переход от суда к эшафоту короток... Ты (Мастак) преступным образом злоупотребил своей *силой*, я *парализую* твою силу... ты будешь дрожать перед самым слабым... твоё наказание будет столь же велико, как и твоё преступление... но это страшное наказание открывает тебе, по крайней мере, безграничный горизонт *покаяния...*

Я тебя отделию только от внешнего мира, чтобы ты, *наедине* с воспоминанием о твоих поворных деяниях, погрузился в непроницаемый мрак ночи... Ты вынужден будешь заглянуть в себя... Твое сознание, тобою униженное, проснется и приведет тебя к покаянию».

Так как Родольф считает *душу святой*, *тело* же человека *низменным*; так как он, следовательно, только душу рассматривает как истинное существо, потому что она принадлежит небу, — критическому обозначению человечества у Шелиги, — то тело, сила Мастака, принадлежит не человечеству; ее жизненное проявление не должно быть человечески регулируемо и рассматриваемо как принадлежность человечества; с ней не должно обращаться, как с человеческой сущностью, служащей самой себе целью. «Мастак» злоупотребил своей силой, Родольф парализует, притупляет, уничтожает эту силу. Не существует более *критического* средства освободиться от извращенных проявлений человеческой живненной силы, чем уничтожение этой силы. Это и есть христианское средство, когда вырывают глаз, если глаз творит соблазн, отсекают руку, если рука творит соблазн, — *одним* словом, убивают тело, если тело творит соблазн, ибо глаз, рука, тело суть собственно только излишние, греховные приатки человека. Необходимо убить человеческую природу, чтобы излечить ее болезни. Таким же образом и «массовая» юриспруденция, соглашаясь в данном случае с «критической», считает *изувечение*, парализование человеческих сил противоядием против разрушительных проявлений этих сил.

Родольфа, мужа чистой критики, смущает в низменной криминалистике лишь слишком скорый переход от суда к эшафоту. Он хочет, напротив, соединить *месть* преступнику с *покаянием* его и *сознанием* своей греховности, физическое наказание с духовным, чувственные пытки с нечувственными пытками раскаяния. Мирское наказание должно быть в то же время христиански-моральным воспитательным средством.

Эта теория наказания, соединяющая *юриспруденцию* с *теологией*, эта «разоблаченная тайна тайны» есть не что иное, как теория наказания *католической* церкви, как то пространно доказал уже *Бентам* в своем произведении «Теория наказаний и наград». В том же произведении Бентам доказал также моральную ничтожность нынешних наказаний. Он называет законные наказания «*судебными пародиями*».

Наказание, которому Родольф подвергает Мастака, — то же, которому подверг сам себя *Ориген*. Он *лишает* его *мужественности*, отнимает у него *производительный орган* — *глаз*.

«Глаз — светило тела». То, что Родольф прибег к *ослепению*, делает честь его религиозному инстинкту. Это то самое наказание, которое было обычным во всем христианском государстве Византии и процветало в юношеский период христианско-германского государства Англии и Франции. Изолирование человека от чувственного внешнего мира, насильственное погружение его в его отвлеченный внутренний мир, чтобы заставить его исправиться, — ослепление есть необходимое следствие христианской доктрины, согласно которой полное осуществление этого отделения, чистое изолирование человека от жизни и сосредоточение на его спиритуалистическом «я» есть *само благо*. Если Родольф не помещает Мастака в настоящий монастырь, как это делалось в Византии и империи франков, то он его, по крайней мере, заточает в идеальный монастырь, в монастырь непроницаемой, не рассекаемой светом внешнего мира ночи, — в монастырь бездеятельной совести и сознания своей греховности, населенный только приврачными воспоминаниями.

Некоторый спекулятивный стыд не позволяет господину Шелиге откровенно признать теорию наказания своего героя Родольфа, соединение мирского наказания с христианским раскаянием и покаянием. Он подсовывает ему, напротив, как впервые разоблачаемую перед миром тайну, теорию, согласно которой наказание должно делать преступника *«судьей»* над *«собственным»* преступлением.

Тайна этой разоблаченной тайны есть *гегелевская* теория наказания. По Гегелю, наказание есть приговор, который преступник произносит над самим собой. *Ганс* пространнее развил эту теорию. У Гегеля эта теория являлась *спекулятивным покрывалом* древнего *jus talionis*, которое *Кант* развил как *единственную правовую* теорию наказания. У Гегеля самоосуждение преступника остается только *«идеей»*, спекулятивным истолкованием *ходячих эмпирических уголовных наказаний*. Он представляет выбор формы наказания данной ступени развития государства, т. е. оставляет наказание таким, каково оно есть на самом деле. Именно в этом он является большим критиком, чем его критический последователь. *Теория наказания*, которая в преступнике признает в то же время человека, может это делать только в *абстракции*, в воображении, именно потому, что *наказание, принуждение*, противоречат *человеческому поведению*. Кроме того выполнение такой задачи оказалось бы невозможным. Место абстрактного закона занял бы чисто субъективный произвол, ибо каждый раз зависело бы от официальных «почтенных и приличных» особ согласовать наказание с индивидуальностью

преступника. Уже Платон понимал, что закон должен быть односторонним и абстрагировать от индивидуальности. Напротив, при человеческих отношениях наказание действительно будет не более, как приговором, который провинившийся произносит над самим собою. Его не смогут убедить в том, что внешнее насилие, произведенное над ним другими, есть насилие, произведенное им самим над собой. В других людях он, напротив, будет видеть естественных спасителей от наказания, которое он сам наложил на себя, т. е. отношение примет как раз обратную форму.

Родольф высказывает свою сокровенную мысль, — т. е. открывает цель ослепления, — говоря «Мастаку»:

Каждое твое слово будет молитвой.

Он хочет научить его *молиться*. Он хочет превратить разбойника-геркулеса в монаха, вся работа которого будет заключаться в молитвах. Как гуманна, в сравнении с этой христианской жестокостью, обычная теория наказания, которая просто обезглавливает человека, когда желает уничтожить его! Само собой разумеется, наконец, что когда массовидное законодательство серьезно ставило себе задачу исправления преступников, оно поступало несравненно разумнее и гуманнее, чем немецкий Гарун-аль-Рашид. Четыре голландские земледельческие колонии, колония преступников Оствалд в Эльвасе представляют собой истинно-человеческие попытки по сравнению с ослеплением Мастака. Точно так же, как Родольф убивает Флёр де-Мари, отдавая ее на растерзание пону и мучительному сознанию своей греховности; как он убивает Реваку, лишая его человеческой самостоятельности и отводя ему унижительную роль бульдога, — точно так же он убивает Мастака, выкалывая ему глаза, с целью научить его *«молиться»*.

Впрочем, *такую* представляется всякая действительность после переработки ее «чистой» критикой: именно искажением и бессмысленным отвлечением от действительности.

Тотчас после ослепления Мастака совершается по предписанию господина Шелиги моральное чудо.

По его рассказу, «страшный школьный Мастак внезапно» постигает силу честности и прямоты; он говорит Реваке: «Да, тебе я доверяю, ты никогда не воровал».

К несчастью, у Эжена Сю сохранилось замечание Мастака, сделанное последним относительно Реваки и включавшее в себе вышеприведенное признание. Оказывается, что оно не могло быть следствием ослепления, так как оно предшествовало последнему. Мастак, оставшись с глазу на глаз с Родольфом, говорит

ему о Реваче: «Впрочем, он не способен продать друга. Нет, в нем есть что-то хорошее... у него всегда были какие-то странные идеи».

Этим сводится к нулю моральное чудо господина Шелиги. Мы будем говорить лишь о *действительных* результатах *критического* лечения господина Родольфа.

Прежде всего, мы видим «Мастака» совершающим вместе с Сычихой поевдку в имение Букваль с целью учинить там пакость Флёр де-Мари. Мысль, владеющая им, есть, конечно, мысль о *мести* Родольфу, и он мстит ему чисто метафизическим образом, придумывая и разрабатывая в своем представлении, на зло Родольфу, одно лишь «*дурное*». «Он лишил меня зрения, но не лишил меня мысли о зле». Он рассказывает «Сычихе», почему он велел разыскать ее: «*Я скучаю, скучаю, совершенно одинокий среди этих честных людей*».

Если Эжен Сю, в удовлетворении своего монашеского, своего скотского сладострастия при виде человеческого *самоунижения*, доходит до того, что заставляя Мастака ползать на коленях перед старой ведьмой Сычихой и маленьким кобальдом Хромушкой, умоляя их не покидать его, то этот возвышенный моралист забывает, что сам он и является виновником дьявольского самоуслаждения Сычихи. Подобно тому как Родольф *насильственным ослеплением* преступника доказал последнему могущество *физического насилия*, в ничтожности которого он хотел его убедить, точно так же здесь Эжен Сю научает Мастака ценить настоящим образом могущество *полной чувственности*. Он научает его понимать, что без последней человек *перестает быть мужчиной*, лишается всякой силы сопротивления и становится мишенью для насмешек детей. Он убеждает его в том, что мир заслужил его преступления, потому что стоило ему только потерять зрение, чтобы подвергнуться истязаниям с его стороны. Он лишает его последней человеческой иллюзии, ибо Мастак верил в привязанность к нему Сычихи. Он сказал однажды Родольфу: «Она бросится за меня в огонь». Но зато Эжен Сю добивается того, что, к его полному удовлетворению, Мастак в порыве крайнего отчаяния восклицает:

«*О боже, о боже, о боже!*»

Он научился «*молиться*»! И господин Сю видит «в этом *непроизвольное* обращение к господнему милосердию (руку провидения)».

Первым следствием родольфовской критики является именно эта *непроизвольная молитва*. За этим непосредственно следует *недобровольное покаяние* на ферме в Буквале, где Мастак видит во сне привраки своих жертв.

Мы оставим в стороне подробнейшее описание этого сна и обратимся к критически реформированному Мастаку, которого мы находим в погребе Красной руки, прикованного цепями, полусъеденного крысами, полумертвого от голода, рычащего, как зверь, готового сойти с ума от мучительств Сычихи и Хромушки. Хромушка отдал в его руки Сычиху. Посмотрим на него в тот момент, когда он совершает свою операцию над Сычихой. Он не только внешним образом *копирует* героя *Родольфа*, вырывая Сычихе глаза, но и *морально* подражает ему, повторяя лицемерные речи Родольфа и украшая свое жестокое действие ханжескими фразами. Как только Сычиха очутилась во власти Мастака, он выражает «ужасающую радость»; его голос дрожит от бешенства.

«Ты отлично понимаешь, — говорит он, — что я не хочу покончить с тобой тут же сейчас... Пытка за пытку... Мне необходимо долго говорить с тобой, прежде чем убить тебя... Тебе станет страшно. Прежде всего, видишь ли... с того времени, как мне приснился тот сон на ферме в Буквале, — сон, в котором пред моим взором предстали все наши преступления, сон, который чуть не свел меня с ума... который сводит меня с ума... с того времени во мне произошла странная перемена... Я испытывал страх перед своей прошедшей жестокостью... Я прежде всего не позволил тебе мучить Певунью, но то еще были пустяки... Ты заманила меня в этот погреб, ты обрекла меня на холод и голод... Ты оставила меня одного с моими ужасными мыслями... О, ты не знаешь, что значит быть одиноким... Одиночество очистило мою душу. Я не считал бы это возможным... доказательство, что я менее преступен, нежели раньше... что смогу испытывать глубокую радость, держа тебя так... тебя, чудовище... держа тебя не для того, чтобы мстить за себя, но... но чтобы отомстить за наши жертвы... Да, я исполню свой долг, наказав собственными руками свою сообщницу... Мне страшно теперь за мои прежние убийства, и однако не находишь ли ты этого странным? — я без всякого страха, с чувством уверенности совершу над тобой страшную казнь с страшными утонченностями... Скажи же... скажи же... понимаешь ты это?»

В этих немногих словах Мастак пробегает целую скалу *моральной казуистики*.

Его первые слова были *откровенным* выражением жажды мести. Он обещает пытку за пытку. Он хочет убить Сычиху, он хочет увеличить ее страх смерти при помощи длинной проповеди и — какая изумительная софистика! — речь, которой он ее замучивает на смерть, есть *моральная проповедь*. Он утверждает, что сон в Бук-

вале исправил его. Он раскрывает перед нами истинное действие этого сна, совнаваясь, что чуть не сошел с ума, что сон этот еще сведет его с ума. В доказательство своего исправления он приводит тот факт, что воспрепятствовал мучительству Флёр де-Мари. У Эжена Сю действующие персонажи (Резака, Мастак) должны выдавать его собственное писательское намерение — заставить их действовать тем или иным образом — за результат их внутреннего размышления, за сознательный мотив их действия. Они должны постоянно твердить: вот в том-то я исправился, в том еще и в том и т. д. Так как они не живут действительной, содержательной жизнью, то им ничего не остается, как усиленно подчеркивать значение совершенно несущественных поступков, как в данном случае — защиты «Флёр де-Мари».

Оповестив нас о *благодетельном* действии сна в Буквале, Мастак должен еще объяснить нам, почему Эжен Сю запер его в погребе. Он должен показать, что поведение романиста было разумно. Он должен сказать Сычихе: «Тем, что ты меня заперла в погребе, тем, что ты отдала меня на съедение крысам, тем, что ты обрекла меня на голод и холод, — всем этим ты только завершила мое исправление. Одиночество *очистило* мою душу».

Животное рычание, неистовое бешенство, страшная жажда мщения, наблюдаемые в тот момент, когда Сычиха попадает в руки Мастака, являются злой насмешкой над этой моральной фразеологией. Они рисуют нам в истинном свете те размышления, которым Мастак предавался в своей темнице.

Он и сам как будто чувствует это, но, как *критический моралист*, он старается объединить в одно целое все эти противоречия.

Именно свою «безграничную радость», когда Сычиха очутилась в его власти, он провозглашает признаком своего исправления. Его жажда мести — не *естественная* жажда мести, а *моральная*. Он хочет отомстить не за себя, а за общие *жертвы* — свои и Сычихи. Убивая ее, он не совершает *убийства*, а исполняет *долг*. Он не *мстит* ей, а лишь в качестве беспристрастного судьи *наказывает* свою сообщницу. Он испытывает чувство ужаса перед своими прошлыми убийствами, и однако (он сам удивляется своей казуистике), — и однако он спрашивает Сычиху: «Не находишь ли ты это странным, — я убью тебя без страха, без печали!» По неизвестным моральным причинам он наслаждается воображаемой картиной убийства, которое он намерен совершить, ужасного убийства, убийства с ужасными утонченностями!

Тот факт, что Мастак убивает Сычиху, вполне отвечает его характеру, в особенности после того, как она проявила такую жестокость по отношению к нему. Но то, что убийство это он совершает по моральным мотивам, что он дает моральное толкование своей варварской радости при представлении убийства и его утонченностей, что он выражает свое покаяние в совершенных раньше убийствах совершением нового убийства, что он из простого убийцы превращается в *двусмысленного, морального убийцу*, — все это является славным результатом родольфовского критического лечения.

Сычиха пытается выскользнуть из рук Мастака. Он замечает это и держит ее крепко.

«Постой-ка, Сова, я должен тебе рассказать до конца, каким образом я постепенно дошел до того, что покаялся... Тебе будет противно это объяснение... но оно тебе докажет, что я должен быть безжалостен в той мести, которую я собираюсь совершить над тобой во имя наших жертв... Мне нужно поспешить... Радость при совнании, что я держу тебя в руках, волнует мою кровь... У меня хватит времени сделать для тебя ужасным приближение смерти, заставляя тебя слушать меня... Я слеп... и моя мысль принимает телесную форму, чтобы беспрестанно рисовать перед моим воображением видимым, почти осязательным образом... черты моих жертв. Идеи почти материально отражаются в моем мозгу. Когда к раскаянию присоединяется ужасающее своей строгостью искупление... искупление, которое преобразует нашу жизнь в долгую бессонную ночь, наполненную мстительными галлюцинациями или же размышлениями отчаявшегося ума... может быть, тогда прощение людей вступает место угрызения совести и покаяния».

Мастак продолжает свои лицемерные разглагольствования, которые каждую минуту обнаруживают лицемерность. Сычиха должна выслушать, как он постепенно дошел до раскаяния. Это раваблечение должно вызвать в ней неприятное чувство, ибо оно докажет, что его *долгом* является жестокое отомщение ей не за него самого, а во имя их общих жертв. Вдруг Мастак обрывает свою дидактическую лекцию. Ему необходимо, как он выражается, «спешить», потому что его радость слишком волнует его кровь: моральная причина сокращения лекции! Затем он снова успокаивает свою кровь. Долгое время, употребленное на проповедь морали, не потеряно для его мести: эта продолжительность «сделает для нее страшным приближение смерти». Новая моральная причина продолжать ткать паутину моральной проповеди! И на основании этих

моральных причин Мастак может преспокойно вернуться к тому месту проповеди, на котором он ее на миг оборвал.

Мастак правильно описывает состояние человека, насильственно оторванного от внешнего мира. Человек, для которого *чувственный мир* превратился в *голую идею*, превращает, обратно, *голые идеи* в *чувственные существа*. Призраки его мозга принимают телесную форму. В его представлении обрывается мир осязаемых, ощущаемых призраков. В этом именно заключается тайна всех благочестивых видений, это есть в то же самое время всеобщая форма безумия. Мастак, повторяющий фразы Родольфа о «могуществе раскаяния и искупления, соединенных со страшными муками», повторяет их уже поэтому как полупомешанный, наглядно доказывая на своем примере, что между христианским сознанием греховности и безумием существует действительная связь. Точно так же Мастак, рассматривая превращение *жизни* в *ночь сновидений*, полную призраков и грез как истинное следствие раскаяния и покаяния, раскрывает пред нами истинную тайну чистой критики и христианского исправления. Тайна эта заключается в том именно, что человек превращается в призрак, а жизнь его в *ряд сновидений*.

Эжен Сю чувствует в данном случае, насколько поведение слепого разбойника по отношению к Сычихе компрометирует те *душеспасительные мысли*, которые Родольф внушил работнику. Он влагает поэтому в уста Мастака следующие слова:

«Спасительное влияние этих мыслей таково, что бешенство мое теряет свою силу».

Мастак сознается, таким образом, что его *моральное негодование* есть не более, как *низменное бешенство*.

«У меня нехватает... мужества... силы... решимости убить тебя... нет, я не могу пролить твоей крови... это было бы... *убийством*...» Он называет вещь ее настоящим именем. «...Быть может, простительным убийством... но все-таки это было бы *убийством*».

В подходящий момент Сычиха ранит Мастака своим стилетом. После этого Эжен Сю может ему предоставить убить Сычиху, не вставляя его вдаваться при этом в дальнейшую моральную казуистику.

«Он вскрикнул от боли... Это неожиданное нападение вмиг пробудило в нем и зажгло страшным огнем всю его, затихшую было, жажду мести, весь его неистовый гнев, все его кровожадные инстинкты. В одном бурном порыве все это с внезапной, страшной силой вырвалось наружу. Ум его, уже раньше потрясенный, окончательно

помутился... О, вмяя подколодная!.. Я почувствовал твои зубы... Какая ты будешь *без глаз...*» Он выцарапывает ей глаза.

В ту минуту, когда Мастак сбрасывает с себя оковы, которыми Родольф сковал его природу, и разрывает душивший его покров, сотканный из лицемерия, софистики и аскетизма, *вспышка* оказывается тем разрушительнее и ужасней. Привлечение Эжена Сю, говорящее о том, что разум Мастака достаточно уже потрясен был всеми событиями, подготовленными Родольфом, достойно благодарности.

«Последний луч его разума погас в этом крике ужаса, в этом крике осужденного... (он видит тени убитых им). Мастак бьется и рычит, как *беснующийся зверь...* Он замучивает Сычиху до смерти».

Господин Шелига бормочет в свою бороду: «С Мастаком не может проивойти столь *быстрое (!) и счастливое (!) превращение (!)*, как с Ревакою».

Как Родольф сделал Флёр де-Марп обительницей монастыря, так он теперь делает Мастака обитателем дома умалишенных — *Vicêtre*. Он парализовал не только его физическую, но и его *духовную* силу. И с полным правом: ибо он грешил не только своей физической силой, но и духовной, а по теории наказания Родольфа *греховные силы* подлежат уничтожению.

Но в этом не находят себе полного завершения предопределенные Эженом Сю «покаяние и раскаяние, связанные с страшной мезтью». К Мастаку снова возвращается рассудок; но из боязни попасть в руки правосудия он остается в *Vicêtre*, *притворяясь* сумасшедшим. Господин Сю забывает, что «каждое его слово должно было быть *молитвой*» и что, в конце концов, его речи скорее всего похожи на нечленораздельное завывание и бред сумасшедшего. Или же, может быть, господин Сю ироническим образом ставит этот способ жизненного проявления на *одну* доску с молитвой?

Идея наказания, нашедшая себе приложение в ослеплении Мастака по приказу Родольфа, — это изолирование человека от внешнего мира и насильственное погружение в глубокое душевное одиночество, соединение юридического наказания с теологическим мучительством, — получает законченное, совершенное выражение в системе одиночного заключения. Господин Сю воспекает поэтому систему одиночного заключения.

«Сколько столетий прошло, прежде чем люди поняли, что существует *только* одно средство побороть заразу, поражающую социальный организм и распространяющую свой яд с невероятной быстротой

(именно испорченность нравов в тюрьмах); это — изолирование преступника».

Господин Сю разделяет мнение всех добропорядочных господ, объясняющих распространение преступлений устройством тюрем. Чтобы освободить преступника от дурного общества, они оставляют его в обществе с самим собой.

Господин Эжен Сю объясняет:

«Я счел бы себя счастливым, если бы мой слабый голос услышан был вместе с голосами всех тех, которые с столь несомненным правом и с такой настойчивостью добиваются *полного и абсолютного* применения системы одиночного заключения».

Желание господина Сю осуществилось лишь *отчасти*. В нынешней сессии палаты депутатов, при обсуждении вопроса о системе одиночного заключения, даже официальные защитники этой системы вынуждены были признать, что следствием ее применения является рано или поздно умопомешательство заключенного. Все наказания, превышающие десятилетний срок, должны были поэтому быть заменены ссылкой.

Если бы господин Токвиль и господин Бомон основательно изучили роман Эжена Сю, они, без сомнения, добились бы полного и абсолютного применения системы одиночного заключения.

Изолируя от общества преступников, сохраняющих еще здравый рассудок, с целью лишить их рассудка, Эжен Сю, наоборот, доставляет сумасшедшим общество людей, чтобы возвратить им рассудок. «Опыт показывает, что одиночество столь же губительно для сумасшедших, как оно спасительно для преступников».

Если господин Сю и вместе с ним его критический герой Родольф не сумели посредством *католической теории наказания и методистской системы одиночного заключения* сделать право беднее хотя бы на одну тайну, то зато они обогатили медицину новыми тайнами, а ведь в конечном итоге *открытие новых тайн* является такой же заслугой, как и *разоблачение старых тайн*. В полном согласии с господином Сю критическая критика сообщает по поводу ослепления Мастака следующее:

«Он даже не верит, когда ему говорят, что он лишен света своих очей».

Мастак не мог верить в потерю зрения, потому что он действительно еще видел: г. Сю описывает новый вид катаракта, он сообщает действительную тайну для массовидной, некритической *офтальмологии*.

Зрачок после операции принимает *белую окраску*. Очевидно, мы имеем дело с *бельмом хрусталика*. До сих пор, правда, такого рода

бельмо могло быть произведено лишь путем поранения оболочки хрусталика, и при этом почти без боли, если не совсем безболезненно. Но так как медики достигали этого результата *естественным*, а не *критическим* способом, то ничего другого не оставалось, как, по совершении поранения, подождать воспаления с его пластическим выпотеванием, чтобы получить помутнение хрусталика.

Еще большее *чудо* и *тайна* приключается с Мастаком в третьей главе третьего тома. Ослепленный вновь обретает *зрение*. «Сычиha, Мастак и Хромушка *увидели* священника и Флёр де-Мари».

Если мы не захотим, по примеру «Критики синоптиков», объяснить это явление как *писательское чудо*, то мы должны будем допустить, что Мастак снова оперировал свое бельмо. Впоследствии он снова оказывается слепым. Он, стало быть, слишком рано открыл свой глаз, световое раздражение вызвало воспаление, которое привело к параличу *сетчатой оболочки* и неизлечимой *слепоте*. То, что здесь весь процесс занял всего *одну секунду*, составляет новую *тайну* некритической офтальмологии.

б) Воздаяние и наказание. Двойное правосудие (с таблицей).

Герой Родольф раскрывает нам новую теорию, ставящую себе целью поддержание общества путем *награждения добродетельных деяний* и *наказания дурных поступков*. С некритической точки зрения теория эта — не что иное, как теория современного общества. Упускает ли оно когда-нибудь из виду вознаградить добрых и наказывать злых? По сравнению с этой разоблаченной тайной, сколь некритичным является массовидный коммунист Оуэн, рассматривающий систему наград и наказаний как освящение общественных ранговых отличий и полное выражение рабской отверженности.

Новым разоблачением может показаться то, что Эжен Сю влагает распределение наград в руки специфического правосудия, — *особого придатка* уголовной юстиции: недовольный *единой* судимостью, он изобретает *двойную*. К сожалению, и эта разоблаченная тайна — не больше, как повторение старого учения, очень пространно изложенного в вышеназванной книге *Бентама*. Нельзя, однако, отказать господину Эжену Сю в чести несравненно более критического рассмотрения и мотивировки своего предложения, нежели это сделано Бентамом. Между тем как массовидный англичанин все время остается на поверхности земли, дедукция господина Сю вдвигается высоко в критические сферы небес. Господин Сю рассуждает следующим образом:

«Чтобы устрашать злых, люди заранее облачают в материальную форму предполагаемые проявления небесного гнева. Почему бы не облакать аналогичным образом в материальную форму божеское награждение добрых и не предупреждать этого вознаграждения на земле?»

Согласно *некритическому* воззрению, дело происходило как раз наоборот: в небесной теории криминалистики идеализирована земная теория, подобно тому как в божеском вознаграждении идеализирована система наемного труда. Если общество не вознаграждает всех добрых, то это безотлагательно должно быть сделано божеской справедливостью, ибо последняя должна иметь преимущество над человеческой справедливостью.

В своем изображении критически награждающего правосудия господин Эжен Сю показал нам «пример того *женского*» (изобличенного господином Эдгаром, с полным «спокойствием познания», в лице Флоры Тристан) «*догматизма*, который добивается формулы и находит таковую в категориях *существующего*». Господин Эжен Сю присовокупляет к каждому пункту существующей *криминальной юстиции*, которую он целиком сохраняет, в подробностях скопированный соответствующий пункт *награждающей юстиции*. Для наглядности мы изобразили проектируемую систему вместе с соответственными пунктами *криминальной юстиции* в прилагаемой таблице [см. стр. 222].

Г-н Сю, взволнованный представившейся его воображению картиной, восклицает: «Увы, это утопия! Но предположите, что какое-нибудь общество *организовано* таким именно образом!» Это была бы, следовательно, *критическая организация общества*. Мы вынуждены взять под свою защиту эту организацию против упрека Эжена Сю, будто она оставалась до сих пор утопией. Сю совершенно забыл про «премию добродетели», которая ежегодно раздается в Париже и о которой он сам упоминает. Премия эта даже двойным образом организована: материальная премия, Prix Monthion за благородные деяния мужчин и женщин, и prix civique для девиц совершеннейшей нравственности. Здесь даже нет недостатка в требуемом Эженом Сю *венце* из роз.

Что касается надвора за добродетелью (espionage de vertu), равно как попечительства высокого морального милосердия (surveillance de la haute charité morale), то все это давно организовано иезуитами. Кроме того, газеты «Journal des débats», «Siècle», «Petites affiches de Paris» и др. по подходящим ценам ежедневно анонсируют и прославляют добродетели, благородные поступки

Таблица критически завершенной юстиции.

Существующая юстиция

Название: *Уголовная юстиция.*

Символ: Держит в руке *меч*, чтобы снимать им головы злых.

Цель: Наказание злых, тюремное заключение, лишение чести, лишение жизни.

Народ узнает о страшном наказании, уготованном для злых.

Средства для открытия злых: Полицейское шпионство, сыщики, чтобы подкарауливать злых.

Решение вопроса о том, принадлежит ли данное лицо к числу злых: *Les assises du crime*, уголовный суд. Министерство уголовной юстиции объявляет о преступлениях обвиняемого и предает их публичной мести.

Состояние преступника после приговора: Он находится под надзором высшей полиции. Прокормление в тюрьме. Государство расходует на него.

Исполнение приговора: Преступник стоит на *эшафоте*.

Критическая дополненная юстиция

Название: Юстиция *добродетельного поведения.*

Символ: Держит в руке *венз*, чтобы украшать им головы добрых.

Цель: Награждение добрых, даровой стол, почести, поддержание жизни.

Народ узнает о блестящем триумфе, уготованном для добрых.

Средства для открытия добрых: *Шпионское наблюдение за добродетелью*, сыщики, чтобы подкарауливать добродетельных.

Решение вопроса о том, принадлежит ли данное лицо к числу добрых: *Assises de la vertu*, суд над добродетелью. Министерство юстиции добродетельного поведения объявляет о благородных поступках обвиняемого и предает их публичной признательности.

Состояние добродетельного после приговора: Он находится под надзором высшей моральной благотворительности. Прокормление в собственном доме. Государство расходует на него.

Исполнение приговора: Как раз напротив эшафота преступника возвышается *пьедестал*, на который восходит великий добродетельный муж: *столп добродетели.*

и заслуги всех парижских биржевых спекулянтов, не говоря уже о том, что каждая партия имеет свой собственный орган для анонсирования и прославления политических благородных деяний своих членов.

Еще старый Фосс заметил, что Гомер лучше своих богов. Мы можем поэтому сделать ответственным за идеи Эжена Сю «равноблагочинную тайну всех тайн» — Родольфа.

Сверх того, господин *Шелига* сообщает нам: «В романе встречаются, кроме того, частые отступления от главной нити рассказа, различные вставки и эпизоды, — и все это представляет собой критику».

в) *Упразднение одичания среди цивилизации и бесправия в государстве.*

Юридическое *предупредительное средство* для упразднения преступлений и вместе с тем одичания среди цивилизации заключается в «защитительной опеке государства над детьми каменных преступников и приговоренных к бессрочным наказаниям». Сю желает организовать распределение преступлений более либеральным способом. Отныне никакая семья не должна обладать наследственной привилегией на преступление, свободная конкуренция преступлений должна взять верх над монополией.

«Бесправие в государстве» господин Сю упраздняет при посредстве реформы Code répal в отделе о «злоупотреблении доверием» (*abus de confiance*), а именно — путем назначения *получающих постоянное вознаграждение адвокатов для бедных*. Повтому господин Сю считает бесправие упраздненным в Пьемонте, Голландии и др. государствах, где уже существуют адвокаты для бедных. Французское законодательство делает только ту ошибку, что оно не вознаграждает адвоката для бедных, не обявывает его консультировать исключительно бедных и слишком суживает законные рамки бедноты. Как будто бесправие начинается только в самом судебном *процессе* и как будто во Франции не известно уже с давних пор, что *право* ничего не дает, а только санкционирует существующие отношения. Ставшее уже тривиальным различие *права и факта* осталось, повидимому, «*парижской тайной*» для критического романиста.

Если к критическому разоблачению правовых тайн присовокупить еще те великие реформы, которые Эжен Сю думает произвести в профессии *швейцаров*, то не трудно будет понять парижский журнал «*Сатана*». На столбцах этого журнала обитатели одного городского квартала обращаются к «великому реформатору по всей линии» с жалобой на то, что на их улицах нет газового освещения. Господин

Сю отвечает, что он поможет этой беде в шестом томе своего «Вечного жидка». Другой квартал жалуется на недостатки первоначального обучения. В десятом томе «Вечного жидка» он обещает провести реформу первоначального обучения в этом квартале.

4. РАЗОБЛАЧЕННАЯ ТАЙНА «ТОЧКИ ЗРЕНИЯ».

«Родольф не останавливается на своей возвышенной (!) *точке зрения*... Он не жалеет труда, чтобы усвоить себе по свободному выбору *точку зрения*, с одной стороны, с другой, — сверху и снизу» (*Шелига*).

Главную тайну критической критики составляет *«точка зрения»* и суждение *с точки зрения точки зрения*. Каждый человек, как и каждый духовный продукт, превращается в ее глазах в точку зрения.

Нет ничего легче, как проникнуть в тайну точки зрения, если только вы однажды постигли общую тайну критической критики, заключающуюся в том, чтобы заново подогревать старую спекулятивную дребедень.

Пусть, прежде всего, сама критика устами патриарха, господина *Бруно Бауэра*, выскажется о своей теории «точки зрения».

«Наука... никогда не имеет дела с *определенным, отдельным индивидуумом* или с *определенной, данной точкой зрения*... Она, конечно, не преминет *упразднить пределы какой-нибудь точки зрения*, если только это стоит труда и пределы эти действительно имеют общечеловеческое значение; но она их рассматривает как *чистую категорию и определенность самосознания* и обращается, ввиду этого, только к тем, кто имеет смелость возвыситься до *всеобщности самосознания*, т. е. к тем, которые не хотят во что бы то ни стало оставаться в этих самых пределах» (*Anekdoty*, Т. II, р. 27).

Тайну этой бауэровской смелости составляет *гегелевская феноменология*. Так как Гегель ставит в ней *самосознание* на место *человека*, то самая *разнообразная* человеческая действительность представляется лишь как *определенная форма*, как *определенность самосознания*. Но голая определенность самосознания есть *«чистая категория»*, голая *«мысль»*, которую я, стало быть, могу упразднить в *«чистом» мышлении* и путем чистого мышления преодолеть. В феноменологии Гегеля *оставлены в стороне материальные, чувственные, предметные* основы различных образов, отчуждаемых самосознанием. Поэтому вся разрушительная работа привела в результате к *консервативной философии*, так как подобная точка зрения предполагает, что *предметный, чувственно действительный мир* побежден, коль скоро

он превращается в «мыслительную вещь», в простую *определенность самосознания*. Над действительным противником, превращенным, таким образом, в *эфирное* существо, легко одержать победу «в *эфире чистого мышления*». Поэтому феноменология вполне последовательно кончает тем, что она на место всей человеческой действительности ставит «*абсолютное знание*», — *знание* потому, что это есть единственная форма существования самосознания, а также потому, что самосознание рассматривается как единственная форма существования человека, — *абсолютное* же знание потому, что только самосознание знает *само себя* и не стесняемо более никаким предметным миром. Гегель делает человека *человеком самосознания*, вместо того чтобы сделать самосознание *самосознанием человека*, — действительного человека, т. е. живущего в действительном, предметном мире и им обусловленного. Он ставит мир на *голову* и по этой причине уничтожает в своей *голове* все пределы, что им, однако, нисколько не мешает существовать для *дурной чувственности*, для *действительного* человека. Кроме того он необходимым образом считает рамками все то, что обнаруживает *ограниченность всеобщего самосознания*, — *всю* чувственность, действительность, индивидуальность людей и их мира. Вся феноменология имеет свою цель доказать, что *самосознание есть единственная и всеобщая реальность*.

В последнее время господин Бауэр окрестил абсолютное знание именем *критики*, а определенность самосознания более вульгарно звучащим термином *точки зрения*. В «Анекдотах» оба термина стоят еще рядом, и точка зрения комментируется еще при помощи определенности самосознания.

Так как «*религиозный мир, как таковой*», существует только как мир *самосознания*, то критическому критику — теологу *ex professo* — не может прийти в голову, что существует мир, в котором отличимы *сознание* и *бытие*, — мир, который остается неизменным, когда я упражняю его мысленное существование, его существование как категорию, как точку зрения, другими словами: когда я видоизменяю свое собственное субъективное сознание, не изменяя предметной действительности действительно предметным образом, т. е. не изменяя своей собственной *предметной* действительности и действительности других людей. Спекулятивное *мистическое тождество бытия и мышления* повторяется поэтому в критике рядом с одинаково мистическим тождеством *практики и теории*. Этим объясняется ее раздражение против практики, которая хочет быть чем-то отличным от теории, и против теории, которая хочет быть чем-то отличным от растворения определенной категории в «*беспредельной всеобщности*»

самосознания». Ее собственная теория ограничивается тем лишь, что объявляет все определенное противоречием беспредельной всеобщности самосознания, а потому ничтожным, как, например, государство, частную собственность и т. д. Следовало бы, наоборот, показывать, как государство, частная собственность и т. д. превращают людей в абстракции или же представляют собой продукты *абстрактного* человека, вместо того чтобы быть действительностью индивидуальных, конкретных людей.

Наконец само собой разумеется, что если феноменология Гегеля, вопреки своему спекулятивному первородному греху, дает по многим пунктам элементы действительной характеристики человеческих отношений, то гг. Бруно и К², напротив, дают бессодержательную карикатуру, которая, удовлетворяясь извлечением из какого-нибудь духовного продукта или же из реальных отношений и движений какой-нибудь определенности, обращает эту определенность в мысленную определенность, в *категорию*, рассматривая эту категорию как *точку зрения* продукта, отношения и движения. И все это делается для того, чтобы получить возможность со старческой мудростью снисходительно рассуждать об этой определенности с точки зрения абстракции, всеобщей категории и всеобщего самосознания.

Как для Родольфа люди руководствуются в своих действиях либо принципом добра, либо принципом зла и, стало быть, должны оцениваться сообразно этим неизменным категориям, так для гг. Бауэра и К² одни исходят из точки зрения *массы*, другие — из принципа *критики*. Но все они превращают *действительных людей* в *абстрактные точки зрения*.

5. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ТАЙНЫ УТИЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВЛЕЧЕНИЙ, ИЛИ КЛЕМЕНЦИЯ ДАРВИЛЬ.

До сих пор Родольф по-своему вознаграждал добрых и по-своему наказывал злых. Теперь мы, например, увидим, как он извлекает пользу из *страстей* и «дает надлежащее развитие прекрасным природным задаткам Клеменции Дарвиль».

«Родольф, — говорит Шелига, — указывает ей на *развлекающую* сторону *благотворительности*, — мысль, свидетельствующая о таком знании людей, которое свойственно *лишь* уму, прошедшему через такие глубокие испытания, как ум Родольфа».

Выражения, употребляемые Родольфом в его беседе с Клеменцией Дарвиль, как-то: «делать *привлекательным*, использовать *природный вкус*, регулировать *интригу*, использовать *склонность к хитрости и притворству*, преобразить властные неискоренимые

инстинкты в благородные качества» и т. д., — все эти выражения, равно как и сами *склонности*, которые здесь по преимуществу приписываются женской природе, *выдают* тайный источник мудрости Родольфа — *Фурье*. К нему в руки попало популярное изложение учения *Фурье*.

Приложение учения *Фурье* в такой же мере является критической собственностью Родольфа, как и его переделка теории Бентама.

Не в самой благотворительности, *как таковой*, должна молодая маркиза искать удовлетворения своих человеческих потребностей, не в ней самой она должна находить человеческое содержание и цель деятельности и потому также и развлечения. Нет, благотворительность представляет, наоборот, лишь внешний повод, лишь *предлог*, лишь *материю* развлечения, которое может быть достигнуто посредством другого, какого угодно, занятия. Нищета сознательно эксплуатируется, чтобы доставить благодетелю «пикантное романическое удовольствие, удовлетворение любопытства, всякого рода приключения с переодеваниями, нервные потрясения и проч., наслаждение своим собственным превосходством над другими».

Тем самым Родольф бессознательно открыл давно открытую тайну, что сама человеческая нищета, бесконечная отверженность, вынужденная принимать милостыню, должна служить *игрой* для аристократии денег и образования, должна существовать для удовлетворения их самолюбия, для щекотанья их гордости, для развлечения.

Многочисленные благотворительные общества в Германии, многочисленные благотворительные учреждения во Франции, многочисленные благотворительные дон-кихотские предприятия в Англии, концерты, балы, спектакли, обеды для бедных, даже сбор пожертвований для потерпевших несчастье, — все это имеет лишь вышеуказанный смысл. В этом виде и благотворительность давно уже *организована* как развлечение.

Внезапное, ничем не мотивированное превращение маркизы при одном только звуке слова «*amusant*» заставляет нас сомневаться в прочности ее излечения, или же, вернее, ее превращение только повидимому внезапно и не мотивировано, только повидимому вызвано изображением благотворительности как развлечения. Маркиза *любит* Родольфа, и Родольф ватеает с *ней* разные переодевания, интригует вместе с *ней*, пускается с *ней* во всякие благотворительные приключения. Впоследствии при благотворительном посещении маркизой тюрьмы St. Lazare обнаруживается ее ревность к Флёр де Мари, и из благотворительного отношения к своей ревности она

замалчивает перед Родольфом арест Марии. В лучшем случае Родольфу удалось научить несчастную женщину играть пошлую комедию с несчастными существами. Тайну изобретенной Родольфом *филантропии* равоблачает нам тот парижский фат, который после танца приглашает свою даму к ужину следующими словами: «Ах, мадам, недостаточно танцевать в пользу этих бедных поляков... будем благотворительны до конца... пойдемте *ужинать в пользу этих бедняков*»?

6. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ТАЙНЫ ЖЕНСКОЙ ЭМАНСИПАЦИИ, ИЛИ ЛУИЗА МОРЬЛЬ.

По случаю ареста *Луизы Морель* Родольф пускается в рассуждения, которые можно резюмировать следующим образом: «Господин часто губит служанку, пуская в ход страх, неожиданный натиск или пользуясь всеми обстоятельствами, вытекающими из природы *отношений слуги*. Он ввергает ее в несчастье, обрекает на повор и преступление. *Закон не затрагивает* этих отношений... Преступник, фактически принудивший девушку к детоубийству, не *карается законом*».

Рассуждения Родольфа не простираются даже настолько далеко, чтобы подвергнуть пресветлейшей критике само *положение слуги*. В качестве *мелкого* властителя он — *великий* сторонник существования слуг. Еще менее Родольф возвышается до понимания бесчеловечности общего положения женщины в современном обществе. Ему, всецело верному своей прежней теории, не хватает лишь *закона, карающего* соблазнителя и соединяющего с раскаянием и покаянием страшные физические мучения.

Родольфу следовало бы только присмотреться к существующему законодательству других стран. *Английское* законодательство удовлетворяет всем его требованиям. В своей нежной чувствительности, столь прославляемой *Блекстоном*, оно доходит до того, что предъявляет обвинение в вероломстве даже тому, кто соблазнил *проститутку*.

Господин Шелига трубит *тут*:

«*Это!* — *думает!* — *Родольф!* — А теперь сравните *эти мысли* с вашими *фантазиями* о *женской эмансипации*. В этих мыслях вы почти осягаете руками дело эмансипации, между тем как вы, по самой вашей природе, слишком практичны и поэтому так часто терпели крушение с вашими пустыми попытками».

Во всяком случае, мы обязаны благодарностью господину Шелиге за разоблачение той тайны, что дело может быть «осягаемо руками» в мыслях. Что касается его сравнения Родольфа с людьми,

проповедывавшими до сих пор эмансипацию женщины, то попробуйте сравнить *мысли* Родольфа с следующими фантазиями *Фурье*:

«Нарушение супружеской верности, обольщение девушки приносят соблазнительно честь, считаются хорошим тоном. Но бедная девушка! Детоубийство, какое преступление! Если она дорожит своею честью, она должна уничтожить следы своего бесчестия, а если она жертвует своим ребенком во имя предрассудков этого мира, то она подвергается еще большему повору и делается жертвой предрассудков закона. Вот *порочный круг*, который описывается механизмом цивилизации.

«Разве молодая девушка не является товаром, предлагаемым первому встречному покупателю, желающему приобрести ее в свою исключительную собственность?.. Точно так же, как в грамматике два отрицания составляют утверждение, так и в *брачной сделке две проституции составляют добродетель*...

«Развитие данной исторической эпохи лучше всего определяется отношением между прогрессом женщины и свободой, так как в отношениях между женщиной и мужчиной, слабым и сильным, наиболее отчетливо выявляется победа человеческой природы над зверством. Степень женской эмансипации представляет естественное мерило всеобщей эмансипации... Унижение женского пола есть существенная отличительная черта как цивилизации, так и варварства, с тем только различием, что порок, который практикуется варварством без всяких прикрас, цивилизация поднимает на степень сложного, двусмысленного, непристойного, лицемерного бытия... Никого не унижает более глубоко такое преступление, как содержание женщины в рабстве, чем самого мужчину» (*Фурье*).

Совершенно излишне противопоставить рассуждениям Родольфа мастерскую характеристику *брака*, данную Фурье, равно как и взгляды материалистической фракции французского коммунизма.

Жалкие отбросы социалистической литературы, подобранные романистом, все еще раскрывают критической критике неизвестные «тайны».

7. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТАЙН.

а) Теоретическое разоблачение политико-экономических тайн.

Первое разоблачение: Богатство часто приводит к расточительности, расточительность к разорению.

Второе разоблачение: Только-что описанные следствия богатства вытекают из недостаточности морального воспитания богатой молодежи.

Третье разоблачение: Наследование и частная собственность неприкосновенны и священны и таковыми должны быть.

Четвертое разоблачение: Богатый морально обязан отдавать рабочим отчет в употреблении своего состояния. Большое состояние есть наследственный вклад, *феодалный лен*, вложенный в умные, твердые, ловкие, великодушные руки, которым поручено также сделать это состояние плодотворным и пользоваться им таким образом, чтобы всё, на долю чего выпало счастье находиться в сфере блестящего и спасительного лучеиспускания большого состояния, испытало на себе плодотворное, оживляющее, улучшающее влияние последнего.

Пятое разоблачение: Государство должно преподавать неопытной богатой молодежи *первоначальные основы индивидуальной экономики*. Оно должно морализировать богатство.

Шестое разоблачение: Наконец, государство должно заняться разрешением вопроса громадной важности, — вопроса об *организации труда*. Оно должно показать спасительный пример *ассоциации капиталов и труда*, и именно — такой ассоциации, которая была бы честна, интеллигентна, справедлива, которая обеспечивала бы благосостояние *рабочего*, не нанося в то же самое время вреда *владениям богатых*, которая связала бы *оба эти класса узами взаимного благоволения, признательности и тем самым навсегда* обеспечила бы спокойствие государства.

Так как государство пока еще не желает считаться с этими теориями, то Родольф сам дает некоторые практические примеры. Примеры эти обнаруживают ту тайну, что для гг. Сю, Родольфа и критической критики самые известные *экономические отношения* остались «*мистериями*».

б) Банк для бедных.

Родольф учреждает *банк для бедных*. Устав этого *критического* банка для бедных следующий:

Он имеет своею целью оказывать поддержку добропорядочным семейным рабочим в период безработицы. Он должен заменить собою милостыню и ссудные кассы. Он располагает ежегодным доходом в 12 000 франков и дает вспомогательные ссуды в размере от 20 до 40 фр. без процентов. Для начала он распространяет свою деятельность только лишь на *седьмой* парижский округ, где живет большая часть рабочих. Рабочие или работницы, добивающиеся помощи, должны иметь свидетельство от своего последнего патрона, в котором заверяется добропорядочность их поведения и указывается причина

и срок перерыва работы. Эти ссуды должны быть покрываемы ежемесячными взносами получателей по шестой или двенадцатой части всей следуемой суммы, по выбору самих рабочих и начиная с того дня, как они вновь стали на работу. Гарантией ссуды служит обязательство под честное слово. Двое других рабочих должны, кроме того, поручиться за честное слово получателя ссуды. Так как цель критического банка заключается в том, чтобы помочь одной из худших бед рабочей жизни, *перерыву в работе*, то помощь может быть оказана, стало быть, лишь безработным *ремесленникам*. Господин Жермен, заведующий этим учреждением, получает годовой оклад в 10 000 франков.

Бросим теперь массовидный взгляд на практику критической политической экономии. Ежегодный доход равняется 12 000 франков. Ссуды выдаются в размере от 20 до 40 фр., в среднем равняются 30 фр. Число официально признанных «нищими» рабочих 7 округа, по меньшей мере, равно 4 000. Следовательно, ежегодно может быть оказана помощь 400 рабочим, т. е. десятой части нуждающихся рабочих седьмого округа. Для Парижа мало будет определить *продолжительность безработицы* в 4 месяца, т. е. 16 недель: цифра эта слишком низка. Если распределить 30 франков на 16 недель, то получится на неделю 37 су и 3 сентима, т. е. меньше 27 сантимов в день. Ежедневный расход на *одного арестанта* во Франции составляет, в среднем, несколько больше 47 сент., из которых на пищу уходит больше 30 сент. Но рабочий, которому помогает Родольф, имеет семью. Если считать, что, кроме мужа и жены, в семье имеется еще, в среднем, двое детей, то выходит, что 27 сент. должны быть распределены между четырьмя лицами. Квартира обходится минимум в 15 сент. в день, остаются еще 12 сент. *Хлеб*, съедаемый, в среднем счете, *одним арестантом*, обходится приблизительно в 14 сент. Следовательно, на полученную из критического банка сумму денег рабочий со своей семьей, не считая вовсе других потребностей, сумеет купить меньше, чем четвертую часть нужного ему хлеба, и должен будет умереть с голоду, если он не прибегнет к тем средствам, которые и имел в виду устранить банк для бедных, т. е. к ссудной кассе, к попрошайничеству, воровству и проституции.

Зато муж беспощадной критики блестяще устраивает заведующего банком. Доход, подлежащий заведыванию, равняется 12 000 фр., доход заведующего — 10 000 фр. Заведывание обходится в 45%, приблизительно втрое больше, чем управление массовидными учреждениями для бедных в Париже, которое обходится приблизительно в 17% всего расходуемого капитала.

Но признаем на минуту, что помощь, оказываемая банком для бедных, есть действительная, а не иллюзорная только помощь; все же учреждение равноблаченной тайны всех тайн покоится на фантастическом представлении, что достаточно изменить *распределение* вознаграждения за труд, чтобы рабочий получил возможность жить целый год.

Выражаясь прозаически, доход 7 500 000 французских рабочих составляет 91 франк на человека, доход других 7 500 000 французских рабочих составляет 120 фр. на человека. Итак, уже 15 000 000 рабочих получают меньше, чем абсолютно необходимо для поддержания жизни.

Мысль критического банка для бедных, если держаться разумного толкования, сводится к тому, чтобы вычитывать из заработка рабочего в тот период, когда у него есть занятие, столько, сколько необходимо ему выдать в ссуду в период безработицы. Даю ли я ему во время безработицы определенную сумму денег с тем, чтобы он вернул мне ее, когда начнет работать, или же он мне в период работы дает определенную сумму денег, а я ему возвращаю ее в период безработицы, — это все равно. В том и другом случае он всегда дает мне в рабочее время то, что потом получает в безработное время.

«Чистый» банк для бедных отличается от массовидных *сберегательных* касс лишь двумя очень оригинальными, очень критическими особенностями: во-первых, тем, что банк ссужает свои деньги *à fond perdu*, в нелепом предположении, что рабочий может возвратить ссуду, если хочет, и что он всегда хочет заплатить, если может; во-вторых, тем еще, что банк не платит никаких *процентов* за вложенные рабочим суммы. Потому только, что вложенная сумма принимает здесь форму аванса, банк считает уже великим делом одно то, что он не требует процентов с рабочего.

Критический банк отличается, стало быть, от массовидных сберегательных касс тем, что рабочий теряет свои проценты, а банк свой капитал.

в) Буквальское образцовое хозяйство.

Родольф устраивает *образцовое хозяйство в Буквале*. Место это выбрано тем более удачно, что оно хранит еще следы феодального времени, именно — феодальный замок.

Каждый из шести рабочих-мужчин, внятых на этой ферме, получает 150 экю, или 450 франков, каждая работница 60 экю, или 180 фр. ежегодной заработной платы. Кроме того им полагается даровой стол и даровая квартира. Обычная ежедневная пища буквальских рабочих состоит из «основательнейшего» куска ветчины, из не менее

страшного куска баранины и, наконец, из не менее массивного куска телятины, к чему, в качестве побочных блюд, присоединяется двойного рода зимний салат, два больших сыра, картофель, сидр и т. д. Каждый из шести рабочих-мужчин работает *вдвое* больше, чем обыкновенный французский сельский батрак.

Так как вся сумма ежегодного дохода во Франции, при равном разделе, равняется в среднем 93 фр. на человека; так как число жителей, непосредственно занятых в сельском хозяйстве, равняется двум третям всего населения Франции, то можно отсюда заключить, какую революцию не только в распределении, но и в производстве национального богатства произвело бы всеобщее подражание образцовому хозяйству немецкого калифа.

Из вышеуказанного следует, что Родольф добился такого огромного увеличения производства только тем, что он заставляет каждого рабочего работать вдвое больше прежнего и поглощать пищи в шесть раз больше прежнего.

Так как французский крестьянин очень прилежен, то рабочие, работающие *вдвое* больше, должны быть *сверхчеловеческими атлетами*, на что, повидимому, указывают мясные блюда «внушительных» размеров. Мы в праве, стало быть, принять, что каждый из этих шести рабочих потребляет ежедневно, по меньшей мере, 1 фунт мяса.

Если бы все производимое во Франции мясо было разделено поровну, то на человека едва ли пришлось бы по $\frac{1}{4}$ фунта мяса. Отсюда видно, какую революцию мог бы и в этом отношении произвести пример Родольфа. *Одно* только земледельческое население потребляло бы больше мяса, чем производится во всей Франции, так что эта критическая реформа совершенно уничтожила бы скотоводство во Франции.

Пятая часть валового дохода, которую Родольф, по отчету управляющего буквальской фермой, отца Шателена, предоставляет рабочим, кроме высокой заработной платы и роскошного стола, есть не что иное, как его *земельная рента*. По среднему расчету принимается обыкновенно, что, в общем, за вычетом всех издержек производства и прибыли на затраченный в производстве капитал в пользу французского земельного собственника остается еще пятая часть валового дохода, или же, другими словами: что доля, представляющая ренту, равна пятой части валового дохода. Хотя Родольф, бесспорно, чрезмерно понижает прибыль на затраченный капитал, увеличивая сверх нормы расходы на оплату труда (по Шапталю, «De l'industrie française», I, p. 230, средний размер ежегодного дохода французского крестьянина, работающего по найму, равняется 120 фр.), хотя он

дарит всю свою ренту рабочим, тем не менее отец Шателен утверждает, что *monveigneur* увеличивает, благодаря этой методе, свой доход и этим утверждением старается побудить других, некритических земельных собственников, ввести у себя такое же хозяйство.

Образцовое хозяйство в Буквале — не более, как фантастический призрак; его *скрытый фонд* заключается не в *естественном* богатстве буквальской почвы, а в сказочном мешке фортуны Родольфа.

Критическая критика шумит по этому поводу: «*С первого взгляда видно, что весь этот план не утопия*». Только критическая критика способна при первом взгляде на *сказочный мешок фортуны* увидеть, что он не утопия. Критический первый взгляд есть «дурной взгляд»!

8. РОДОЛЬФ, «РАЗОБЛАЧЕННАЯ ТАЙНА ВСЕХ ТАЙН».

Чудесное средство, дающее возможность Родольфу совершить все свои спасительные акты и все свои чудесные превращения, заключается не в его прекрасных словах, а в *звонком металле*. Таковы моралисты, — говорит Фурье. — Нужно быть миллионером, чтобы подражать их героям.

Мораль — это *«impréissance, mise en action»*, обращенное в действие бессилие. Коль скоро она сражается с пороком, она терпит поражение. И Родольф даже не возвышается до точки зрения самостоятельной морали, которая, по крайней мере, покоится на сознании *человеческого достоинства*. Его мораль, напротив того, покоится на сознании человеческого бессилия. Он — представитель *теологической* морали. Мы рассмотрели во всех подробностях геройские подвиги, совершенные им при помощи его *христианских idées fixes*, посредством которых он спасает мир; мы рассмотрели весь арсенал этих идей: его «charité» (благотворительность), «dévouement» (беззаветная преданность), «abnégation» (самоотречение), «repentir» (раскаяние), «bons et méchants» (добрые и злые), «récompense et punition» (вознаграждение и наказание), «châtiments terribles» (страшные наказания), «isolement» (уединение), «salut de l'âme» (спасение души) и т. д., и в то же время мы показали, что все это — не более, как шутовство. Нам остается еще только разоблачить личный характер Родольфа, этой «разоблаченной тайны всех тайн», или разоблаченной тайны «чистой критики».

Противоречие «добра» и «зла» предстало перед нашим критическим Геркулесом еще в период его юности, олицетворенное в двух образах, — *Мурфа* и *Полидори*, двух учителей Родольфа. Первый

из них воспитывает его в духе добра и есть «добрый», второй — для зла и есть «злой». Для того чтобы этот способ понимания противоречия добра и зла не уступал в тривиальности другому подобному пониманию, которое обыкновенно имеет место в нравоучительных романах, «добрый» Мурф должен быть изображен не ученым, не «особенно выдающимся в интеллектуальном отношении». Но зато он честен, прост, односложен в своих речах, величественно третирует зло короткими аттестациями в роде: *позорно, низко*, испытывая чувство ужаса перед *низким*. Чтобы выразиться по Гегелю, — он на честный манер переводит мелодию добра и истины в равенство тонов, т. е. в *одну ноту*.

Напротив, *Полидори* — чудо ума, знаний и образования, но при этом человек «опаснейшей безнравственности» и склонен к «самому крайнему скептицизму, чего не мог забыть Эжен Сю, как выходец молодой благочестивой буржуазии Франции. О духовной энергии и образовании Эжена Сю и его героя можно судить по тому паническому ужасу, который в них вызывает *скептицизм*.

«Мурф, — говорит господин Шелига, — в одно и то же время и увековеченная вина 13 января, и вечное искупление этой вины за свою высокую любовь и самопожертвование для особы Родольфа».

Подобно тому как Родольф представляет собой *deus ex machina* и посредника мира, так и Мурф представляет собой личного *deus ex machina* и посредника Родольфа.

«Родольф и спасение человечества, Родольф и осуществление в действительности совершенств человеческого существа составляют для Мурфа единое, нераздельное целое, единое целое, которому он служит не с бессознательной собачьей преданностью раба, а с полным сознанием и самостоятельно».

Мурф, стало быть, просвещенный, сознательный и самостоятельный раб. Как и всякий княжеский слуга, он видит в своем господине олицетворение спасения человечества. *Граун* льстит Мурфу, называя его «бесстрашным телохранителем». Сам Родольф называет его *образом слуги*, и он действительно *образцовый слуга*. Эжен Сю сообщает нам, что он очень аккуратно *tête-à-tête* называет Родольфа *monseigneur*. В присутствии других он, ради сохранения инкогнито, губами произносит слово *monsieur*, сердцем же *monseigneur*.

«Мурф помогает сорвать покров с тайн, но только ради Родольфа. Он принимает участие в работе по разрушению могущества тайн».

О густоте покрова, скрывающего от Мурфа самые простые мировые отношения, можно составить себе представление по его беседе с посланником Грауном. Из закона, разрешающего самоващиту в случаях крайней необходимости, он делает вывод, что Родольф в праве был, в качестве *тайного уголовного судьи*, ослепить скованного и «безоружного» Мастака. Его изображение, как Родольф станет рассказывать перед судом о своих «благородных» поступках, какие прекрасные речи произнесет и как он будет изливать свое великое сердце, достойно гимназиста, прочитавшего только-что «Равбойники» Шиллера. Единственная тайна, которую Мурф предоставляет разрешить миру, это вопрос о том, чем он замазал свое лицо, когда разыгрывал роль угольщика, — угольной ли пылью или же сажей?

«Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных» (Ев. Матфея, 13, 49). «Скорбь и страх душам всех людей, творящих зло; слава, честь и мир всем творящим добро» (Посл. Павла к Римл. 8, 7).

Родольф сам себя производит в такие *ангелы*. Он отправляется в мир, чтобы отделить злых от праведных, чтобы накавать злых и награждать добрых. Представление о добре и зле с такой силой запечатлелось в его слабом мозгу, что он готов верить в телесный образ сатаны и хочет поймать дьявола живым, как некогда профессор *Жак* в Бонне. С другой стороны, он, наоборот, пытается скопировать в миниатюре противоположность дьявола — *бога*. Он любит «играть до некоторой степени роль провидения». Как в *действительности все* различия все более и более сливаются в различии между бедностью и *богатством*, так в *идеи все* аристократические различия растворяются в противоречии между *добром и злом*. Это различие есть последняя форма, придаваемая аристократом своим предрассудкам. Себя Родольф относит к числу добрых, злые же существуют для того, чтобы он мог наслаждаться своим собственным превосходством. Приглядимся к «доброму» несколько ближе.

Господин Родольф проявляет благотворительность и расточительность в размерах, напоминающих багдадского калифа в «Тысяче и одной ночи». Он не может вести такой образ жизни без того, чтобы не высосать, как вампир, все соки из своего маленького немецкого княжества. По сообщению самого господина Сю, он принадлежал бы к числу медиатизированных немецких князей, если б его не спасло от вынужденного отречения покровительство одного французского *маркиза*. О размерах его княжества можно судить по этому последнему факту. Насколько Родольф *критически* судит о своем поло-

женин, можно видеть еще из того, что он, мелкий немецкий «серениссимус», считает необходимым сохранять в Париже полу-инкогнито, чтобы не обращать на себя внимание. Он возит с собой собственного канцлера с той критической целью, чтоб этот последний представлял «le côté théâtral et puéril du pouvoir souverain»: точно мелкий немецкий «серениссимус» нуждается еще, кроме себя и своего зеркала, в третьем представителе «театральной и детской стороны верховного могущества». Родольф сумел внушить своим людям столь же критическое непонимание своей роли и значения. Так, например, слуга Мурф и посланник *Graun* не замечают, как насмехается над ними парижский *homme d'affaires*, г. Бадино, делая вид, что он принимает их частные поручения за дела государственной важности, или же саркастически беседуя о «скрытых отношениях, могущих существовать между самыми разнообразными интересами и судьбами государств». «Да, — сообщает посланник Родольфа, — у него хватает иногда бесстыдства сказать мне: «Сколько неизвестных для народа осложнений в деле управления государством! Кто сказал бы, барон, что доставляемые мною вам отчеты имеют какое-либо влияние на ход европейской политики, а между тем это, несомненно, так». Посланник и Мурф не видят бесстыдства в том, что им приписывают влияние на европейские дела, но находят бесстыдным, что Бадино до такой степени идеализирует свое низкое занятие.

Прежде всего вспомним одну сценку из домашней жизни Родольфа. Родольф рассказывает Мурфу, что он «переживает теперь мгновения горделивого счастья и блаженства». Сейчас же вслед за этим он выходит из себя, потому что Мурф не хочет ответить на один вопрос. «Я приказываю вам говорить», — обращается он к Мурфу. Мурф просит не приказывать. Родольф говорит ему: «Я не терплю умалчиваний». Он забывается до того, что совершает низость, напоминая Мурфу, что платит ему за его услуги, и он не успокаивается до тех пор, пока Мурф не напоминает ему о 13 января. Уже после этого инцидента сказывается рабская натура Мурфа, который раньше позволил себе на минуту забыть. Он рвет на себе «волосы», которых, к счастью, у него нет; он приходит в отчаяние от того, что несколько грубо обошелся с своим высокопоставленным господином, который называет его «образцом слуги», «своим добрым, старым, верным Мурфом».

Не смущаясь этими проявлениями дурного характера, Родольф повторяет свои излюбленные идеи о «дobre» и «zле» и сообщает об успехах, которые он делает на поприще «добра». Он называет

милостыню и сострадание целомудренными и благочестивыми утешительницами *своей* раненой души. Проституировать их перед отверженными, недостойными существами было бы чем-то ужасным, нечестивым, — *святотатством!* Само собой разумеется, сострадание и милостыня — утешительницы *его* души. Осквернить их было бы святотатством! Это значило бы «породить сомнения в боге; тот же, который дает, должен внушить веру в бога». Подать милостыню отверженному, — такая мысль прямо непостижима!

Каждому движению своей души Родольф приписывает бесконечную важность. Он поэтому постоянно наблюдает и оценивает их. Так, в нашем примере протак утешается по поводу своей выходки против Мурфа тем, что Флёр де-Мари тронула его своим положением. «Я был до слез тронут, а меня еще обвиняют в том, что я равнодушен, жесток, непоколебим». Доказав, таким образом, *свою собственную доброту*, он раздражается негодованием против «зла», против злого поведения неизвестной матери Марии, и со всевозможной торжественностью обращается к Мурфу: «Ты знаешь, некоторые акты мести мне очень дороги, некоторые страдания — очень ценны». При этом он строит такие дьявольские гримасы, что верный слуга в испуге восклицает: «Ах, monseigneur!» Этот высокопоставленный господин походит на сынов *молодой Англии*, которые тоже хотят реформировать мир, совершают благородные подвиги и подвержены аналогичным истерическим припадкам.

Объяснение приключений и положений, в которые ставит себя Родольф, мы прежде всего находим в его *жадной к приключениям натуре*. Он любит «романические пикантности, развлечения, приключения, переодевания»; его «любопытство» «ненасытно»; он чувствует «потребность в живительном, щекочущем нервы возбуждении», он «жаден к *сильным нервным потрясениям*».

Эти природные наклонности находят себе поддержку в его страстном стремлении *играть роль провидения* и устроить мир согласно со своими неизменными представлениями.

Его отношение к другим людям определяется либо какой-нибудь абстрактной *idée fixe*, либо совершенно личными, случайными мотивами.

Так, он освобождает врача-негра Давида и его возлюбленную не из непосредственного чувства человеческого участия, вызываемого судьбой этих людей, не для *их* освобождения, а для того, чтобы по отношению к рабовладельцу Виллису сыграть роль *провидения* и наказать его за его *неверие в бога*. Так, Мастак является для него искомым объектом, чтобы на нем *испытать* свою давно со-

тканную теорию наказания. Беседа Мурффа с посланником Грауном дает нам возможность, с другой стороны, глубже присмотреться к чисто личным мотивам, определяющим благородные деяния Родольфа.

Интерес *monseigneur'a* к Флёр де-Мари проистекает, как говорит Мурфф, — если оставить «в стороне» сострадание, вызываемое участью бедняги, — из того, что дочь Родольфа, которую он так горько оплакивал, в это время была бы такого же самого возраста. Участие Родольфа к маркизе Дарвиль, — если «оставить в стороне» его человеколюбивые капризы, — объясняется той причиной личного характера, что без старого маркиза Дарвиль и его дружбы с императором Александром отец Родольфа был бы изъят из сонма немецких суверенов.

Его покровительство *m-me* Жорж и его интерес к ее сыну Жермену объясняются той же причиной. *M-me* Жорж принадлежит к семье Дарвиль. «Бедная *m-me* Жорж обязана за беспрестанные проявления милости его высочества не в меньшей степени своим несчастьям и добродетели, чем *этому родству*». Апологет Мурфф старается затушевать двусмысленность мотивов Родольфа такими оборотами речи, как «*surtout, à part, non moins que*» и т. д.

Весь характер Родольфа сказывается, наконец, в том «чистом» лицемерии, с которым он ухитряется выставить, перед самим собой и другими, *пыл своих дурных страстей как пыл против страстей дурных людей*. Эта манера напоминает нам аналогичную манеру критической критики, которая *свои собственные глупости* выдает за *глупости массы*, свои коварные нападки на развитие мира вне ее за коварные нападки мира на развитие; наконец, свой эгоизм, который мнит, что поглотил весь дух, выдает за эгоистическое сопротивление массы духу.

Мы изобличим «чистое» лицемерие Родольфа в его отношениях к Мастаку, к графине *Саре Мак-Грегор* и к нотариусу *Жаку Феррану*.

Родольф убедил Мастака совершить воровское нападение на свою квартиру с целью завлечь его в ловушку и завладеть им. При этом он руководствуется далеко не общечеловеческим, а чисто личным интересом. Дело в том, что Мастак обладает *портфелем графини Мак-Грегор*, а Родольф очень заинтересован в том, чтобы получить *этот портфель* в свои руки.

По поводу *tête-à-tête* Родольфа с Мастаком в романе сказано буквально следующее: «Родольф испытывал мучительный страх. Если б он *пустил этот удобный случай завладеть особой* Мастака,

он, без сомнения, потерял бы эту возможность навсегда. Этот разбойник *унес бы с собой все те тайны*, в обладании которыми Родольф был так сильно заинтересован». Завладевая особой *Мастака*, Родольф, стало быть, завладевает *портфелем* графини Мак-Грегор. Он *завладевает* особой Мастака из личного интереса. Он *ослепляет* его, движимый личной страстью.

Когда Резака рассказывает Родольфу про борьбу Мастака с Мурфом и объясняет его сопротивление тем, что он предугадывал свою участь, Родольф отвечает: «Он не знал этого». И он произносит эти слова «с мрачным видом, с лицом, искаженным тем почти жестоким выражением, о котором мы говорили». Мысль о мести ошеломляет его, он предвкушает то дикое наслаждение, которое ему доставит варварское наказание Мастака.

Так, при появлении врача-негра Давида, которому Родольф предназначил роль орудия его мести, он восклицает: «*Месть!.. Месть!..*» Родольф выкрикивает эти слова с «*холодным и сосредоточенным бешенством*».

Его охватило холодное и сосредоточенное бешенство. Затем он тихо шепчет на ухо врачу свой план и, когда последний вздрагивает от ужаса, он тотчас же ухитряется подставить, вместо чувства *личной мести*, «чистый» теоретический мотив. Речь идет, — говорит он, — о «*применении идеи*», которая уже часто мелькала в его возвышенном мозгу, и он не забывает присовокупить в елейном тоне: «Он будет еще иметь перед собой безграничный горизонт раскаяния». Он подражает испанской инквизиции, которая, отдавая осужденного в руки светского правосудия для сожжения на костре, присовокупляла при этом лицемерную просьбу о милосердии к кающемуся грешнику.

Само собой разумеется, что, когда происходит допрос и должна совершиться казнь Мастака, Родольф сидит у себя в чрезвычайно комфортабельном кабинете, в длинном, чрезвычайно черном халате, с чрезвычайно интересной бледностью на лице, и, чтобы вполне точно скопировать обстановку суда, видит перед собой длинный стол с вещественными доказательствами. Теперь, конечно, должно исчезнуть с его лица выражение дикости и мести, выступавшее наружу, когда он сообщал Резака и врачу о своем плане. Теперь он должен предстать «спокойный, печальный, сдержанный», с высоко-комическим торжественным видом мирового судьи собственного изобретения.

Чтобы не оставить никаких сомнений насчет «чистоты» мотива ослепления, глупый *Мурф* признается посланнику Грауну: «Жестокое

наказание Мастака имело преимущественно своей целью *отомстить* за меня *коварному убийце*».

В tête-à-tête с Мурфом Родольф высказывается следующим образом: «Моя ненависть к злодеям... стала более живой, мое отвращение к *Саре* растет, без сомнения, вместе с печалью, которую причиняет мне смерть дочери».

Родольф сообщает нам о большой живости, приобретенной его ненавистью к злым. Разумеется, его ненависть — критическая, чистая, моральная ненависть, ненависть к злым, *потому что* они злы. Вследствие этого он рассматривает эту ненависть как шаг вперед, сделанный им в сфере добра.

В то же время обнаруживается, что этот рост моральной ненависти — не что иное, как *лицемерная санкция*, которую он стремится прикрасить увеличением своего личного отвращения к *Саре*. Неопределенное моральное представление — увеличение ненависти против злых — оказывается лишь покрывалом для определенного неморального факта — увеличения отвращения к *Саре*. Это отвращение объясняется весьма естественной, весьма индивидуальной причиной — его личной печалью. Эта печаль есть мерило его отвращения. *Sans doute!*¹

Еще более отвратительное лицемерие сказывается при свидании Родольфа с умирающей графиней Мак-Грегор.

После разоблачения тайны, что Флёр де-Мари — дочь Родольфа и графини, Родольф подходит к последней «с угрожающим, безжалостным видом». Она молит его о пощаде. «Нет вам пощады», — отвечает он. — «Проклятие вам... вам... моему злому гению и злому гению моей расы». Итак, он хочет отомстить за «расу». Далее он рассказывает графине, как он, в искупление своего покушения на жизнь отца, возложил на себя крест хождения в мир, где он награждает добрых и наказывает злых. Родольф терзает графиню, он отдается весь чувству *раздражения*, но в своих *собственных глазах* он выполняет только задачу, которую он поставил себе после 13 января — «преследовать зло».

Когда он уходит, Сара восклицает: «Пожалейте меня, я умираю!» «Умри, проклятая! — говорит Родольф, задыхаясь от бешенства».

Последние слова — «задыхаясь от бешенства» — открывают нам чистые, критические и моральные мотивы его поступков. Именно это самое бешенство заставило его поднять меч на его блаженной памяти *высокого* родителя, как выражается господин Шелига. Вместо того,

¹ Без сомнения!

чтобы бороться с этим злом в себе самом, он, как чистый критик, старается побороть его в других.

В заключение Родольф сам оправдывает свою католическую теорию наказания. Он хотел отменить смертную казнь, обратить наказание в покаяние, но лишь постольку, поскольку убийца убивает чужих людей и не трогает членов семьи Родольфа. Родольф допускает смертную казнь, лишь только смерть поражает одного из его присных; ему нужно двойное законодательство: одно для своей собственной особы, другое для низменных.

От Сары он узнает, что Жак Ферран виновен в смерти Флёр де-Мари. Он говорит самому себе:

«Нет, этого мало!.. огнем горит во мне жажда мести!.. какая жажда крови!.. какое спокойное, продуманное бешенство!.. *Пока я не знал, что одной из жертв этого чудовища было мое дитя, я говорил себе: смерть этого человека была бы неплодотворна... Жизнь без денег, жизнь без удовлетворения его бешеной чувственности будет долгой и двойной пыткой... Но это моя дочь!.. Я убью этого человека!*» — И он стремительно направляется, чтобы убить его, но находит его в таком состоянии, которое делает убийство излишним.

«Добрый» Родольф! Лихорадочный пыл его мстительности, его жажда крови, его спокойное, продуманное бешенство, его лицемерие, кавуистически прикрашивающее всякое его злонамеренное движение, — все это такие *дурные* страсти, в наказание за которые он другим выкалывает глаза. Только счастливые случайности, деньги и ранг избавляют этого «доброго» от *каторги*.

«*Могущество критики*» делает этого Дон-Кихота, в награду за его ничтожность, «добрый жильцом», «добрый соседом», «добрый другом», «добрый отцом», «добрый гражданином», «добрый принцем», и как там еще гласит скала тонов в хвалебном песнопении Шелиги. *Это нечто большее, чем все результаты, добытые человечеством во всей его истории.* Этого достаточно, чтобы господин Родольф мог дважды спасти мир от *гибели*.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

КРИТИЧЕСКИЙ СТРАШНЫЙ СУД.

Критическая критика дважды через *Родольфа* спасала мир от гибели, но только для того, чтобы теперь *самой* решиться провозгласить близость *светопреставления*.

И я слышал и видел, как вознесся над Цюрихом могучий ангел, по имени *Гирцель*, и пустился в даль, прорезывая небесную сферу. И в своих руках он держал раскрытую книжку, как будто пятый номер «Всеобщей литературной газеты». И поставил правую ногу на массу, а левую ногу на Шарлоттенбург. И он закричал могучим голосом, словно лев зарычал, и слова его поднялись, как голуби — ципп, ципп! — в сферу пафоса и к громоподобным аспектам *критического страшного суда*.

«Когда, наконец, *все* соединится против критики, и — истинно, истинно, говорю вам, срок этот недалек — когда весь разрушающийся мир — судьбой ему предназначено бороться со святыми — сгруппируется вокруг нее для последнего натиска, *тогда* мужество критики и ее значение удостоятся величайшего признания. Исход борьбы не должен нас тревожить. Все сведется к тому, что мы подведем счеты с отдельными группами (и мы отделим одних от других, подобно тому как пастух отделяет козлищ от овец, и мы поставим овец одесную, а козлищ ошую нас) и выдадим всеобщее свидетельство о бедности вражескому рыцарству (это духи дьяволов, они обходят все пределы мира и собирают их на борьбу к великому дню господа, великому дню всемогущего творца), и изумлены будут живущие на земле».

И когда ангел так кричал, гремели голоса семи громов:

Dies irae, dies illa
Solvat saeculum in favilla.
Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, apparebit,
Nul inultum remanebit,
Quid sum, miser, tunc dicturus? etc.

Вы увидите войны и услышите крики воинств. Все это прежде всего должно проивойти. Ибо восстанут лжехристос и лжепророки,

господа *Бюше* и *Ру* из Парижа, господ *Фридрих Ромер* и *Теодор Ромер* из Цюриха, и скажут: се есть Христос! Но тогда явится знамение братьев *Бауэр* в критике, и на *бауэровском творении* скажется слово Писания:

Когда волы идут попарно в ряд,
Идет работа более на яд.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Как мы после узнали, погиб не мир, а погибла критическая «Литературная газета».

ОТВЕТ НА АНТИКРИТИКУ
Б. БАУЭРА

ОТВЕТ НА АНТИКРИТИКУ Б. БАУЭРА.

Брюссель, 20 ноября. — Бруно Бауэр что-то лепечет в «Трехмесячнике Виганда», III том, стр. 138 и сл., в ответ на сочинение Энгельса и Маркса «Святое семейство, или критика критической критики. 1845 г.» С самого начала Б. Бауэр объявляет, что Энгельс и Маркс не поняли его, повторяет с полнейшей наивностью свои старые претенциозные, давно превратившиеся в ничто, фразы и высказывает сожаление, что оба названные писателя не знают его словечек о «непрестанных боях и победах, уничтожении и созидании критики», о том, что она — «единственная сила истории», о том, как «единственно только критик сокрушил религию в ее целом и государство в его различных проявлениях», как «критик работал и работает» и т. д., все в том же тоне широковещательных заверений и патетических излияний. В самом своем возражении Бауэр дает непосредственно новый, равительный образец того, «как критик работал и работает». А именно «трудолюбивый» критик находит более соответствующим своей цели сделать предметом своих восклицаний и цитат, вместо самой книги Энгельса и Маркса, посредственную и путаную рецензию на эту книгу в «Вестфальском пароходе» (Westphälischer Dampfboot, майский выпуск, стр. 208 и сл.), — подтаковка, которую он с критической осторожностью скрывает от читателя. — Списывая со страниц «Парохода», Бауэр прерывает этот «тяжеский труд» копирования только односложным, но многозначительным пожиманием плеч. К пожиманию плеч свелась вся критическая критика, с тех пор как ей больше нечего сказать. Она находит спасение для себя в плечевых мышцах, несмотря на свою ненависть к чувственности, которую она не умеет представить себе иначе, как в форме «палки» (см. «Трехмесячник Виганда», стр. 130), в форме орудия наказания за свои теологические промахи. — Вестфальский рецензент, в поверхностной торопливости, передает содержание реферируемой им книги в смехотворных сводках, прямо противоречащих самой книге. «Трудолюбивый» критик списывает эту пацотную рецензента, подсовывает ее Энгельсу и Марксу и,

торжествуя, восклицает, обращаясь к некритической массе, которую он одним взглядом повергает в прах, а другим кокетливо приманивает к себе: *«Смотрите, каковы мои противники!»* — Сопоставим же документальные данные дословно. Рецензент *«Вестфальского парохода»*: *«Чтобы убить евреев, он (Б. Бауэр) превращает их в богословов, а вопрос политической эмансипации — в вопрос эмансипации человеческой; чтобы уничтожить Гегеля, он превращает его в господина Гинрихса; а чтобы разделаться с французской революцией, коммунизмом, Фейербахом, он вопиет: «масса, масса, масса!» и еще раз: «масса, масса, масса!» и распинает эту массу во имя духа, каковым является критика, это истинное воплощение абсолютной идеи в Бруно из Шарлоттенбурга»* (*«Вестфальский пароход»*, там же, стр. 212). *«Трудолюбивый»* критик: Критик критической критики *«становится»* под конец ребячливым, *«он выступает арлекином на мировой сцене»* и *«хочет уверить нас»*, будто *«он вполне серьезно утверждает, что Бруно Бауэр, чтобы убить евреев, и т. д. и т. д.»* — следует дословно все только-что приведенное место из *«Вестфальского парохода»*, совершенно отсутствующее в *«Святом семействе»* (*«Трехмесячник Виганда»*, стр. 142). Сравните с этим, как излагается отношение критической критики к еврейскому вопросу и к политической эмансипации в *«Святом семействе»*, между прочим на стр. 163 — 185, ее отношение к французской революции, стр. 185 — 195, к социализму и коммунизму, стр. 22 — 74, стр. 211 и сл., стр. 243 — 244, а также весь отдел о критической критике в образе Родольфа, князя Герольштейнского, стр. 258 — 333. Об отношении критической критики к Гегелю смотри тайну *«спекулятивной конструкции»* и последующее изложение, стр. 79 и сл., далее стр. 121 и 122, стр. 126 — 128, стр. 136 — 137, стр. 208 — 209, стр. 215 — 227 и стр. 304 — 308; об отношении критической критики к Фейербаху смотри стр. 138 — 141 и, наконец, о результатах и тенденции критических битв против французской революции, материализма и социализма — стр. 214 — 215. — Из этих цитат станет ясно, что вестфальский рецензент делает из всего этого самое превратное, до смешного неправильное и чисто воображаемое резюме, — резюме, которое *«чистый»* и *«трудолюбивый»* критик *подсовывает* подлиннику с *«творческой и разрушительной»* ловкостью. — Далее! — Рецензент *«Вестфальского парохода»*: *«На его (именно Б. Бауэра) глупую самоапологию, в которой он старается доказать, что там, где он прежде был в плену у предрассудков массы, эта плененность была только необходимой иллюзией критики, Маркс возражает предложением прочесть следующий схоластический трактатец: «Почему зачатие девы Марии должно было*

быть доказано именно господином *Бруно Бауэром* и т. д.» («Пароход», стр. 213). «Трудолюбивый» критик: «Он (критик критической критики) хочет *доказать нам* — и под конец сам начинает верить в свой обман, — что там, где Бауэр прежде всего в плену у предрассудков массы, он желает представить эту плененность только как необходимую иллюзию критики, а не как результат необходимого хода развития критики, и предлагает поэтому, в качестве *возражения* на эту «глупую самоапологию», следующий схоластический трактатец: «Почему зачатие девы Марии и т. д. и т. д.» («Трехмесячник Виганда» стр. 142 — 143). В «Святом семействе» на стр. 150 — 163 читатель найдет особый отдел о *самоапологии Бруно Бауэра*, но, к сожалению, в этом отделе нет *ни иоты* об упомянутом схоластическом трактатце, который, следовательно, вовсе и не предлагается в качестве возражения на самоапологию *Бруно Бауэра*, как то воображает вестфальский рецензент и послушливо списывает у него *Бруно Бауэр* под видом цитат из «Святого семейства», местами даже с применением *кавычек*. В действительности же о трактатце говорится в другом отделе и в совсем другой связи. («См. Святое семейство», стр. 164 и 165.) В какой именно, пусть читатель справится сам и еще раз подивится «чистому» хитроумию «трудолюбивого критика». — В заключение «трудолюбивый критик» восклицает: «*Все это* (т. е. рассуждения, заимствованные *Бруно Бауэром* из «Вестфальского парохода» и *подсунутые* им авторам «Святого семейства»), разумеется, основательно затыкает рот *Бруно Бауэру* и наставляет критику на путь истинный. *Наоборот*, *Маркс* явил нам достойное зрелище, выступив под конец сам в роли забавного комедианта» («Трехмесячник Виганда», стр. 143). Чтобы понять это «наоборот», нужно знать, что *вестфальский рецензент*, у которого *Бруно Бауэр* работает в качестве *переписчика*, диктует своему критическому и трудолюбивому писцу следующее: «Всемирно-историческая драма (именно борьба *бауэровской* критики против массы) разрешается без особого искусства в *забавнейшую комедию*» («Вестфальский пароход», стр. 213). Тут злополучный переписчик вскакивает с места: переписать свой собственный приговор — выше его сил. «*Наоборот*, — перебивает он диктовку вестфальского рецензента, — *наоборот... Маркс... забавнейший комедиант*», — и он отирает со лба холодный пот. — Прибегнув к неискуснейшей *подтасовке*, к самой плачевной поддержке, *Бруно Бауэр* только подтвердил в последней инстанции смертный приговор, вынесенный ему *Энгельсом* и *Марксом* в «Святом семействе».

**ОПИСАНИЕ ВОЗНИКШИХ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
И ЕЩЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ
КОЛОНИЙ**

ОПИСАНИЕ ВОЗНИКШИХ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ И ЕЩЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ КОЛОНИЙ.

Когда беседуешь с людьми о социализме или коммунизме, то оказывается очень часто, что ваши собеседники по существу дела согласны с вами и готовы признать коммунизм прекрасной вещью, «но, — говорят они, — невозможно осуществить что-нибудь подобное в действительности». Это возражение повторяется так часто, что автору этих строк показалось полезным и необходимым ответить на него указанием на ряд фактов, которые еще мало известны в Германии и которые являются уничтожающими для этого возражения. Коммунизм, общественная жизнь и деятельность на основе общности имущества не только возможны, но уже фактически осуществлены в некоторых общинах Америки и в одной местности в Англии и осуществлены, как мы увидим, с полным успехом.

Между прочим, если присмотреться внимательнее к этому возражению, то окажется, что оно распадается на два других. Во-первых, говорят, что не найдется охотников заниматься низкими и неприятными физическими работами; во-вторых, при наличии равного права на общую собственность, общинники станут спорить из-за нее, и благодаря этому коммуна также распадется. Не трудно ответить на первое возражение: эти работы, раз они носят общественный характер, перестают быть низкими; кроме того от них можно будет почти совсем избавиться, улучшив приспособления, машины и т. п. Так, например, в Нью-Йорке, в одной богатой гостинице, башмаки чистятся силой пара, а в коммунистической колонии Гармони в Англии (о ней речь будет ниже) устроенные по-английски удобно отхожие места не только очищаются сами собой, но и снабжены трубами, отводящими нечистоты прямо в большую навозную яму. Что касается второго соображения, то заметим, что до настоящего времени все коммунистические колонии за 10 — 15 лет так страшно разбогатели, что они не в силах потребить всего, что имеют, и, значит, у них не может быть поводов для споров.

Читатель найдет, что большинство из описанных в дальнейшем поселений были основаны последователями всякого рода религиозных

сект, имеющих, по большей части, вздорные и нелепые представления о целом ряде вещей. На это автор заметит лишь коротко, что эти их представления не имеют никакого отношения к коммунизму. Ведь, очевидно, безразлично, верят ли лица, доказывающие делом осуществимость коммунизма, в одного бога, в двадцать богов, или совсем не верят в бога. Если они придерживаются нелепой религии, то это только препятствие на пути к жизни в коммуне, и если, тем не менее, последняя осуществлена ими в жизни, то насколько легче это должно происходить у людей, свободных от подобных бессмысленных взглядов. Из новейших колоний почти все совершенно свободны от религиозных бредней, а английские социалисты, хотя и очень терпимы, почти все нерелигиозны, почему их и осыпают клеветой и бранью в ханжеской Англии. Но даже сами противники их, когда только дело доходит до доказательств, должны признать, что все это злословие не имеет под собой никакой почвы.

Первые, кто основали в Америке и вообще в мире общество на основе общности имущества, были шекеры. Это особая секта, с очень своеобразными взглядами, не признающая брака и вообще половых отношений и т. п. Но это нас здесь не касается. Секта шекеров возникла лет семьдесят назад. Основателями ее были бедняки, которые объединились, чтобы жить вместе в братской любви, имея общее имущество, и чтобы почитать бога по-своему. Несмотря на их религиозные воззрения и на запрещение брака, отпугивавшее многих, у них нашлись приверженцы, и теперь у них *десять крупных общин*, каждая из которых насчитывает 300 — 800 членов. Каждая из этих общин представляет красивый, правильно распланированный городок, с жилыми домами, фабриками, мастерскими, домами для собраний, зернохранилищами; у них имеются в избытке цветники, огороды, фруктовые деревья, леса, виноградники, луга и пахотная земля; кроме того они имеют всякого рода скот: лошадей, коров, овец, свиней, домашних птиц, больше, чем им нужно, и притом лучшего сорта. Их закрома всегда полны зерном, их кладовые — материями для платья, так что один английский путешественник, посетивший их, сказал, что не понимает, почему эти люди, имеющие все в избытке, еще продолжают работать, — разве только ради времяпрепровождения, ибо им ровно нечего делать. Среди этих людей нет ни одного человека, который бы работал вопреки своему желанию, и ни одного, который искал бы напрасно работы. У них нет домов для бедных и богаделен, ибо нет ни одного бедняка и нуждающегося, ни одной беспомощной вдовы или сироты; они не знают нужды и не боятся ее. В их десяти городках нет ни одного жандарма

или полицейского; нет судей, адвокатов или солдат; нет тюрем или исправительных домов; и, однако, все идет как следует. Законы страны, если бы иметь только их в виду, могли бы свободно быть отменены, и никто не почувствовал бы даже перемены, ибо это спокойнейшие граждане, *не давшие тюрьмам никогда ни одного преступника*. Как уже сказано, у них царит полная общность имущества; в сношениях друг с другом они не знают ни торговли, ни денег. В прошлом году один английский путешественник, Финч, посетил один из этих городков, Плевант-Хилл у Лерингтона в штате Кентукки. Вот как он описывает его:

«Плевант-Хилл состоит из множества больших красивых кирпичных и каменных домов, фабрик, мастерских, конюшен, зернохранилищ. Все эти здания находятся в полном порядке и принадлежат к лучшим во всем Кентукки. Пашни шекеров легко было узнать по прекрасной окружающей их каменной стене и по замечательной обработке; множество откормленных коров и овец паслось на полях, а многочисленные жирные свиньи питались в фруктовых садах упавшими плодами. Шекеры владеют здесь почти четырьмя тысячами американских моргенов земли, из которых около двух третей возделывается. Эта колония была основана в 1806 г. членами одной лишь семьи; затем к ним присоединились другие, и так они постепенно увеличились в числе; некоторые принесли с собой немного денег, другие же ничего не принесли. Им пришлось бороться со многими трудностями, и так как в большинстве они были очень бедны, то вначале они должны были терпеть большие лишения; но трудом, бережливостью, умеренностью они преодолели все; теперь у них имеется все в избытке, и они никому не должны ни копейки. В настоящее время община эта насчитывает около трехсот членов, из которых пятьдесят или шестьдесят — дети ниже шестнадцатилетнего возраста. У них нет ни господ, ни слуг, и уж, конечно, нет рабов; они свободны, богаты и счастливы. У них две школы: одна для мальчиков, другая для девочек; в них обучают чтению, письму, счету, английскому языку и начаткам религии; они не обучают детей наукам, ибо думают, что последние не необходимы для спасения. Так как у них не существует брака, то они должны были бы вымереть, если бы к ним не прибывали постоянно новые члены; но хотя запрещение браков отпугивает многих и многих и некоторые из лучших их членов из-за этого даже уходят, но всегда прибывает так много новых членов, что число их постоянно растет. Они занимаются скотоводством и земледелием, изготовляют сами лен, шерсть и шелк, который прядут и ткнут на собственных фабриках. Излишки

своего производства они продают или выменивают у своих соседей. Обыкновенно они работают до тех пор, пока светло. Совет управления имеет открытое для всех бюро, в котором ведутся книги и счетоводство, и каждый член общины имеет право в любой момент просмотреть это счетоводство. Они сами не знают счета своим богатствам, так как у них нет инвентаря их имущества; они довольны тем, что все, что они имеют, принадлежит им, так как они никому ничего не должны. Лишь раз в году они подсчитывают суммы, которые им должны их соседи.

«Община подразделяется на пять семейств (отделов) в сорок — восемьдесят членов каждое; каждое семейство имеет свое отдельное хозяйство и живет вместе в большом красивом доме; *каждый получает бесплатно все, что ему нужно, и в том количестве, в каком ему необходимо, из общего склада общины.* Их одежда, как у квакеров, проста, чиста и опрятна; их пища разнообразна и наилучшего качества. Всякий новоприбывающий член должен, по законам общины, отдать все, что он имеет, в общину, и уж не получает своего взноса обратно, даже если выступит из нее; но, несмотря на это, община возвращает всякому, покидающему ее, столько же, сколько он принес с собой. Если уходит член, не принесший с собой ничего, то, по законам общины, он не в праве требовать никакого вознаграждения за свой труд, так как он кормился и одевался на общий счет все то время, пока работал; но обыкновенно и в этом случае всякому дают на дорогу подарок, если он уходит без ссор.

«Управление у них устроено по образцу первых христиан. У каждой общины есть два священнослужителя — один мужчина и одна женщина, имеющие двух заместителей. Эти четыре священнослужителя стоят во главе общины и решают все споры. У каждой семьи общины есть опять-таки двое старейшин с двумя заместителями и один диакон, или управитель. Имуществом общины распоряжается Совет управления, который состоит из трех членов, надзирает за всем делом, руководит работами и ведет торговлю с соседями. Он не имеет права покупать или продавать землю без согласия общины. Кроме того имеются, конечно, надзиратели и заведующие в различных отраслях работы, но у них положено за правило: *никогда не отдавать никому приказов, а действовать уговорами.*»

Другой английский путешественник, Питкетли, посетил в 1842 г. другое поселение шекеров, Нью-Либапон в штате Нью-Йорк. Господин Питкетли тщательнейшим образом осмотрел городок, насчитывающий около восьмисот жителей и владеющий семью — восемью тысячами моргенов земли; он исследовал его мастерские и фабрики,

его кожевенные заводы, лесопилы и пр. и нашел все обвведение *замечательным*. Он также удивляется богатству этих людей, начавших с ничего, а теперь богатееющих с каждым годом, и говорит: «Они счастливы и веселы у себя; у них нет раздоров; наоборот, во всей колонии царят дружелюбие и любовь, а во всех частях ее наблюдается такой порядок и аккуратность, как нигде».

Таковы факты, касающиеся шекеров. Они живут, как сказано, при полной общности имущества; у них десять подобных общин в Соединенных штатах Северной Америки.

Кроме шекеров в Америке имеются еще и другие колонии, основанные на общности имущества. Прежде всего назовем здесь *раппистов*. Рапп был вюртембергским священником; в 1790 г. он вместе со своими прихожанами отделился от лютеранской церкви; преследуемый правительством, он уехал в 1802 г. в Америку. Его приверженцы последовали за ним в 1804 г., и, таким образом, он, вместе с приблизительно ста семействами, поселился в Пенсильвании. У них было сообща около 25 000 талеров, на которые они купили землю и орудия. Купленная ими земля представляла собой девственный первобытный лес и стоила им столько, сколько у них было всего денег; но они выплачивали эту сумму в рассрочку. Они объединились в общину и заключили между собой следующий договор:

1) Всякий вносит в общину все, что имеет, не требуя за это себе никаких преимуществ. В общине все равны.

2) Законы и правила общины одинаково обязательны для всех.

3) Все работают только для блага общины, а не каждый для себя самого.

4) Тот, кто покидает общину, не может требовать вознаграждения за свой труд, но получает обратно все, что внес; а тот, кто не внес ничего и уходит мирно и дружелюбно, тот получает на дорогу добровольный дар.

5) За это община обязывается снабжать каждого члена и его семью всем необходимым для жизни и оказывать необходимый уход в болезни и старости; если же родители умрут или выступают из общины, оставив своих детей, то община станет воспитывать этих детей.

В первые годы существования общины, когда ей приходилось возделывать дикое место и выплачивать сверх того ежегодно семь тысяч талеров за землю, членам ее приходилось, конечно, круто. Это устрасило кое-кого из более богатых, и они выступили и забрали свои деньги, что еще значительно увеличило трудности поселенцев.

Но большинство из них держалось стойко, и уж через пять лет, в 1810 г., они выплатили все свои долги. В 1815 г. они, в силу различных соображений, продали свое поселение и снова купили двадцать тысяч моргенов девственного леса в штате Индиана. Через несколько лет они построили здесь красивый городок «Нью-Гармони», возделали большую часть земли, развели виноградники, вспахали поля под верновые хлеба, построили шерстяную и хлопчатобумажную фабрику и становились с каждым днем все богаче. В 1825 г. они продали всю свою колонию за двести тысяч талеров господину Роберту Оуэпу и в третий раз переселились в первобытный лес. На этот раз они поселились на берегу большой реки Огайо и построили городок Экономи, который больше и красивее, чем все те, в каких они раньше жили. В 1831 г. в Америку приехал граф Леон с группой немцев, человек в тридцать, чтобы присоединиться к ним. Они охотно приняли новопришельцев; но граф восстановил часть колонистов против Рапна, почему на собрании всей общины было решено, что Леон со своими приверженцами должен уйти. Оставшиеся выплатили недовольным свыше *ста двадцати тысяч талеров*; на эти деньги Леон основал вторую колонию, которая, однако, распалась из-за дурного управления; участники ее затем рассеялись, а граф Леон вскоре после того умер *бродягой* в Техасе. Колония же Рапна процветает по нынешний день. Вышеупомянутый путешественник Финч сообщает о ее теперешнем положении следующее:

«Городок Экономи состоит из трех длинных и широких улиц, пересекаемых пятью столь же широкими поперечными улицами; он имеет церковь, гостиницу, шерстяную, хлопчатобумажную и шелковую фабрики, заведение для разводки шелковичных червей, общественный магазин для пользования членов общины и для продажи товаров чужим, естественно-научный кабинет, мастерские для различных ремесел, хозяйственные постройки и прекрасные большие жилые дома для различных семейств, с большим садом при каждом доме. Принадлежащие городу угодья — длиною в два часа ходьбы, а шириною в четверть часа; в них находятся большие виноградники, огород в тридцать семь моргенов, хлебные поля и луга. Число членов общины около четырехсот пятидесяти; все они прекрасно одеты, хорошо питаются, живут великолепно; это веселые, довольные, счастливые и добродетельные люди, уже много лет не знающие никакой нужды.

«И они были одно время очень настроены против брака, но теперь они женятся, имеют семьи и очень хотели бы увеличения числа членов общины, если бы к ним явились подходящие люди. Их религия

включается в Новом завете, но у них нет особого исповедания веры и они предоставляют каждому иметь свои собственные взгляды, лишь бы он не мешал другим и не заводил споров из-за вопросов веры. Они называют себя *гармонистами*. У них нет платных священнослужителей; господин Рапп, которому свыше восьмидесяти лет, не только священнослужитель, но и управитель, и судья. Они охотно занимаются музыкой, устраивают иногда концерты и музыкальные вечера. За день до моего приезда, перед приступом к жатве, в поле был устроен большой концерт. В их школах обучают чтению, письму, счету и языку; но у них не обучают наукам, как и у шекеров. Они работают гораздо больше, чем им необходимо: зимой и летом от восхода солнца до захода солнца; работают все, а кто зимой не работает на фабриках, тот находит работу при молотьебе, уходе за скотом и т. д. У них 75 молочных коров, большие стада овец, много лошадей, свиней и птицы, а из своих сбережений они ссудили большие суммы купцам и менялам, и хотя вследствие банкротств они потеряли значительную часть этих вкладов, но все же у них много *беспольных денег*, увеличивающихся с каждым годом.

«Их стремлением было с самого начала производить самим все то, в чем они нуждаются, чтобы покупать как можно меньше у других и под конец производить больше, чем им нужно; впоследствии они приобрели стадо из ста испанских овец для улучшения овцеводства, уплатив за это пятнадцать тысяч талеров. Они первыми начали в Америке изготовлять шерстяные товары. Затем они стали разводить виноградники, начали возделывать лен, построили хлопчатобумажную фабрику и стали заниматься шелководством. Но во всех случаях они раньше всего думают о том, чтобы обеспечить достаточно самих себя, прежде чем продавать что-нибудь.

«Они живут семьями в двадцать — сорок человек, каждая из которых имеет собственный дом и собственное хозяйство. Семья получает все, в чем она нуждается, из общественных магазинов. *Запасов у них хватает с избытком для всех и они получают все бесплатно, сколько им нужно.* Когда они нуждаются в одежде или обуви, они отправляются к портному, портнихе или сапожнику и им изготовляют вещи по их вкусу. Мясо и другие пищевые продукты выдаются каждой семье по числу ее членов, и у них всего *в обилии и избытке*».

Другая община, признающая общность имущества, поселилась в Зоаре в штате Огайо. И они также — вюртембергские сепаратисты, которые отделились от лютеранской церкви одновременно с Раппом; после десятилетних преследований со стороны государственных и церковных властей, они тоже эмигрировали. Они были

очень бедны и могли достигнуть своей цели только благодаря поддержке со стороны филантропов-квакеров в Лондоне и Америке. Осенью 1817 г. они прибыли в Филадельфию под руководством своего священника Беймлера и купили у одного квакера семь тысяч моргенов земли, которыми владеют и поныне. Шесть тысяч талеров покупной платы они должны были выплачивать по частям. Когда они прибыли на место и сосчитали свои деньги, то оказалось, что на каждого человека приходилось ровно по шести талеров. Это было все, что они имели; из денег за землю не было еще уплачено ни полупенни, а на эти несколько талеров они должны были купить семена, земледельческие орудия и жизненные припасы до ближайшей жатвы. Они имели перед собой лес с несколькими блокгаузами, и этот лес они должны были сделать пригодным для обработки; но они бодро принялись за работу, вскоре привели свои поля в пригодное для возделывания состояние и уже на следующий год построили зерновую мельницу. *Вначале они разделили свою землю на небольшие участки, каждый из которых обрабатывался отдельной семьей, за ее собственный счет и как ее частная собственность. Но они вскоре увидели, что это не годится:* так как каждый работал только для себя, то они не могли с достаточной быстротой вырубить лес и сделать землю пригодной для обработки; они вообще не могли *как следует помогать друг другу*, благодаря чему многие впали в долги и им грозила опасность совершенно обнищать. Поэтому через полтора года, в апреле 1819 г., они постановили устроить общину с общностью имущества, составили конституцию этой общины и единогласно выбрали директором ее своего священника Беймлера. Они выплатили теперь все долги членов общины, получили двухгодичную отсрочку для уплаты денег за землю и стали работать с удвоенным рвением и объединенными силами. При новых порядках дела у них пошли так хорошо, что они уже за четыре года до назначенного срока могли уплатить за землю всю сумму с наросшими процентами; о том, как им вообще живется, может дать представление следующее описание, принадлежащее двум очевидцам.

«Один американский купец, очень часто наезжающий в Зоар, описывает это место как образец чистоты, порядка и красоты; в нем имеется великолепная гостиница, дворец, в котором живет старый Беймлер, прекрасный общественный сад в два моргена величиной, с большой оранжереей, и прекрасные удобные дома и сады. Он рассказывает, что люди эти очень счастливы и довольны, трудолюбивы и честны. Его описание было помещено в питтсбургской газете (Огайо) («Pittsburg Daily Advocate and Advertiser», July 17, 1843).

Не раз уже упомянутый Финч заявляет, что эта община — совершеннейшая из всех американских общин, придерживающихся общности имущества. Он приводит длинный список их богатств, рассказывает, что они имеют льнопрядильню и шерстяную фабрику, кожевенный завод, чугунно-литейни, две верховые мельницы, две лесопилки, две молотилки и массу мастерских для всевозможных ремесл. К этому он прибавляет, что их поля обработаны лучше, чем все те, которые он видел в Америке. — «Pfennig-Magazin» оценивает имущество сепаратистов в 170 000 — 180 000 талеров; деньги эти были заработаны за 25 лет, а начали они с того, что имели только по 6 таллеров на душу. Их около двухсот человек, и они одно время воздерживались от супружеской жизни, но, подобно раппитам, отказались от этого и теперь вступают в браки.

Финч приводит конституцию этих сепаратистов, которая в существенных чертах сводится к следующему:

Все должностные лица общины выборные; они выбираются всеми членами общины старше 20 лет из собственной среды. Эти должностные лица следующие:

1) *Три управителя*, из которых ежегодно один выбирается наново и которые в любое время могут быть смещены общиной. Они управляют всем имуществом общины и снабжают членов ее необходимыми припасами, жилищем, одеждой, пищей в таких размерах, как это позволяют обстоятельства, и одинаково для всех. Они назначают лиц, заведующих различными отраслями работы, разрешают мелкие ссоры и могут, вместе с общинным советом, издавать новые правила, которые, однако, не должны противоречить конституции.

2) *Директор*, который остается на своем посту до тех пор, пока пользуется доверием общины, и который ведет все дела ее в качестве высшего должностного лица; он имеет право покупать и продавать, заключать контракты, но во всех важных случаях поступать только с согласия троих управителей.

3) *Общинный совет*, состоящий из пяти членов, из которых ежегодно выбывает один, и представляющий высшую власть общины; вместе с управителями и директором он издает законы, контролирует прочих должностных лиц и разрешает споры, если стороны недовольны постановлением управителей; и, наконец,

4) выбираемый на 4 года *казначей*, который один из всех членов и должностных лиц имеет право держать у себя *деньги*.

Сверх того, согласно конституции, должно быть устроено воспитательное заведение; все члены общины отдают свое имущество

навсегда в общину без права возврата; новые члены принимаются лишь по единогласному решению всех членов после того, как они прожили год в общине; конституция может быть изменена лишь в том случае, если за это высказывается $\frac{2}{3}$ членов.

Не трудно было бы умножить эти описания, ибо почти все путешественники, посетившие внутренние области Америки, заезжали в одну или другую из упомянутых колоний и почти во всех описаниях путешествий говорится о них. Но ни один путешественник не был в состоянии сказать ничего дурного об этих людях; наоборот, все хвалят их, и единственное, в чем могут упрекнуть их, — в особенности шекеров, — так это в религиозных предрассудках, не имеющих, однако, ничего общего с учением об общности имущества. Так, я мог бы привести еще сочинения мисс Мартино, господ Мелиша и Букингема и многих других, но так как вышеприведенные сообщения достаточно полны и все авторы повторяют одно и то же, то нет нужды делать это.

Успех шекеров, гармонистов и сепаратистов, а также всеобщая потребность в новом устройстве человеческого общества и вытекающие отсюда усилия социалистов и коммунистов побудили за последнее время много других лиц в Америке предпринять подобные попытки. Так, г. Гиналь, немецкий священник в Филадельфии, образовал общество, закупившее 37 000 моргенов леса в штате Филадельфия, построившее там свыше 80 домов и насчитывающее уже свыше 500 человек, по большей части немцев. У них большой кожевенный завод и гончарное производство, много мастерских и складов, и дела идут у них очень хорошо. Само собой разумеется, что они придерживаются общности имущества, как и все те общины, о которых идет речь ниже. Некий господин Гизби, железозаводчик из Питтсбурга (Огайо), основал в своем родном городе подобную же общину, которая закупила в прошлом году около 4 000 моргенов земли вблизи Питтсбурга и которая намерена устроить колонию на основе общности имущества. Далее, в штате Нью-Йорк, у Скенителса, существует подобное же поселение, основанное весной 1813 г. Дж. Коллинсом, одним английским социалистом, вместе с 30 единомышленниками. Затем в Миндене, в штате Массачусетс, где, начиная с 1842 г., поселилось 100 человек; затем две общины в Пайк-Каунти, в штате Пенсильвания, которые были основаны тоже недавно; затем одна в Брук-Фарме (Массачусетс), где на 200 моргенах земли живут 50 членов общины и 30 учеников, построивших отличную школу под руководством унитариянского священника Рипли; далее — одна община в Нотгэмптоне, в том же

штате, существующая с 1842 г. и насчитывающая 120 членов, которые на своих 500 моргенах занимаются земледелием, скотоводством и имеют лесопилки, шелковые фабрики и красильные заведения; и, наконец, колония эмигрировавших английских социалистов в Эквалити у Мильвоки, в штате Висконсин, заложенная в прошлом году Томасом Хентом и быстро развивающаяся. Кроме этих колоний в последнее время, как говорят, было основано еще несколько коммун, но об этом пока нет сведений. Достоверно, во всяком случае, то, что американцы и особенно бедные рабочие больших городов Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона и т. д. очень интересуются этим делом и основали много обществ для устройства подобных колоний и что то и дело учреждаются новые коммуны. Американцам надоело быть больше рабами немногих богачей, питающихся трудом народа, а при энергии и неутомимости этого народа очевидно, что общность имущества скоро будет введена в значительной части их страны.

Но не в одной лишь Америке, а и в Англии были сделаны попытки осуществить общность имущества. Здесь это учение проповедывал в течение 30 лет человеколюбивый Роберт Оуэн, который израсходовал все свое большое состояние без остатка на основание существующей теперь колонии Гармони в Гэмпшире. Устроенное им для этой цели общество закупило кусок земли в 1 200 моргенов и основало там коммуну по планам Оуэна. Она насчитывает теперь свыше ста членов, живущих вместе в большом здании и занимающихся до сих пор главным образом земледелием. Так как при основании этой коммуны имелось в виду сделать из нее образец нового общественного строя, то для этого был необходим значительный капитал; до сих пор в дело вложено уже около 200 000 талеров. Часть этой суммы была взята взаймы и должна была выплачиваться частями; это вызвало ряд затруднений, и из-за недостатка денег многие предприятия не могли быть довершены и стать доходными. А так как члены общины не являлись единственными собственниками предприятия, но во главе всего стояла дирекция общества социалистов, которой оно принадлежит, то благодаря этому тоже получились недоразумения и недовольство. Но, несмотря на все это, дело идет своим чередом вперед; члены общины, по свидетельству всех посетителей, относятся друг к другу отлично, и, вопреки всем затруднениям, существование предприятия теперь все же обеспечено. Главное же то, что все затруднения происходят не из общности имущества, но из того, что эта общность еще не проведена полностью. Будь это сделано, члены общины не должны были бы

употреблять весь свой заработок на выплату занятой ссуды и процентов по ней, а могли бы вложить его в предприятие для улучшения его; кроме того они могли бы выбрать собственное управление, а не зависеть от дирекции общества.

О самом предприятии один экономист-практик, объехавший всю Англию с целью ознакомиться с состоянием земледелия и описавший свои впечатления в лондонской газете «Morning Chronicle» под псевдонимом: «Тот, кто посвистывал за плугом», сообщает следующее («Morning Chronicle» Dec. 13, 1842 г.):

Проехав скверно возделанную, поросшую скорее бурьяном, чем злаками, местность, он впервые в своей жизни услышал в одной деревне кое-что о социалистах из Гармони. Один зажиточный человек рассказывал ему там, что они возделывают, и очень хорошо возделывают, большую площадь земли, что все распространяемые о них дурные слухи — неверны, что приход мог бы только гордиться, если бы хотя половина его жителей вела себя так порядочно, как эти социалисты, и что было бы также очень желательно, чтобы соседние помещики давали столько выгодной работы беднякам, сколько дают эти люди. У них свои особенные взгляды на собственность, но, при всем том, они ведут себя очень хорошо и показывают хороший пример всей округе. Он к этому прибавил: их религиозные взгляды различны: одни ходят в одну церковь, другие — в другую, и они никогда не говорят о религии или политике с людьми из деревни. На наш вопрос двое ответили, что у них нет никаких определенных взглядов и каждый может верить во что он хочет. Мы все были очень поражены, когда услышали, что они прибыли сюда, но теперь мы находим, что они очень хорошие соседи, подают нашим односельчанам хороший пример нравственности, дают работу многим нашим беднякам, и так как они никогда не стараются навязать нам своих взглядов, то у нас нет никаких оснований быть недовольными ими. Они все отличаются порядочностью и воспитанностью, и никто в окрестностях не может ничего сказать дурного об их поведении.

Наш автор услышал от других то же самое и отправился тогда в Гармони. Сперва он должен был снова проходить по дурно возделанным полям, потом ему встретилось очень хорошо обработанное, хорошо уродившее свекловичное поле, и он сказал своему приятелю, тамошнему арендатору: если это социалистическая свекловица, то всходы хороши. Вскоре затем они встретили семьсот социалистических овец, которые тоже были великолепны, а потом пришли к большому, солидному и построенному со вкусом зданию. Однако не все еще было закончено в нем: стены были выведены до половины вы

ямы не закопаны, еще валялись кирпичи и строевой лес. Они вошли во двор, где их вежливо и дружески приняли и ввели в здание. В нижнем этаже была большая столовая и кухня, откуда подавались в столовую, с помощью машины, полные блюда, передававшиеся потом пустыми в кухню. Эту машину пришьельцам показали дети, которые были одеты в чистые платья, выглядели хорошо и вели себя прилично. Женщины на кухне имели тоже очень чистый и пристойный вид; гость очень удивлялся, что они среди грязной посуды — обед только-что кончился — могли выглядеть такими опрятными. Сама кухня была замечательно устроена, и лондонский архитектор, построивший ее, сказал, что даже в Лондоне найдется очень мало так хорошо оборудованных кухонь, — с чем согласен и наш рассказчик. Около кухни были расположены удобные прачечные, ванны, погреба и отдельные помещения, где каждый член коммуны может умыться по возвращении с работы.

На втором этаже помещался большой зал, а над ним очень удобно устроенные спальни.

Сад, в двадцать семь моргенов величиною, был в отличном порядке; вообще повсюду была заметна кипучая деятельность. Колонисты готовили кирпичи, жгли известь, прокладывали улицы; они уже засеяли пшеницей сто моргенов и должны были вспахать под пшеницу еще больше земли; был вырыт пруд для стока жидких нечистот, а из леска, принадлежавшего имению, был собран черномем для удобрения, — словом, было сделано все, чтобы повысить урожайность почвы.

Наш автор заканчивает свой рассказ следующим образом: «Я думаю, что их земля должна стоить арендной платы в год три фунта (двадцать один талер) за морген, а они платят только пятнадцать шиллингов (пять талеров). Они сделали прекрасное дело, если они будут только разумно хозяйничать, и что бы ни думать об их общественных домах, надо сознаться, что они превосходно обрабатывают свою землю».

Прибавим к этому описанию еще несколько слов о внутреннем устройстве этой коммуны. Члены ее живут вместе в большом доме, причем у каждого своя особая спальня, устроенная удобнейшим образом; общее домашнее хозяйство ведется лишь частью женщин, благодаря чему сберегается много расходов, времени и труда, пропадающих при ведении многих маленьких хозяйств, и получают такие удобства, которые совершенно невозможны в маленьких хозяйствах. Так, например, огонь с кухни служит в то же время для нагревания всех комнат в доме теплым воздухом; по трубам

в каждую комнату проведена холодная и теплая вода, и вообще там имеется ряд преимуществ и удобств, которые возможны лишь при общем хозяйстве. Дети отдаются в школу, связанную с предприятием, и воспитываются там на общественный счет. Родители могут видеть их, когда хотят, а воспитание имеет в виду физическое и духовное развитие и общественную жизнь. Детей не мучат религиозно-богословскими тонкостями, латынью и греческим языком, но тем больше внимания они уделяют изучению природы, своего собственного тела и своих духовных способностей и отдыхают в поле от сидения — правда, непродолжительного — за партами; дело в том, что обучение происходит так же часто под открытым небом, как и в закрытых помещениях, и работа является частью воспитания. Нравственное воспитание сводится к приложению одного правила: чего ты не хочешь, чтоб другие тебе делали, не делай им сам, т. е. оно сводится к проведению полного равенства и братской любви.

Колония находится, как сказано, под руководством председателя и дирекции общества социалистов; эта дирекция выбирается ежегодно конгрессом, на который каждая группа посылает одного члена; ответственная перед конгрессом, она обладает неограниченными полномочиями в рамках статута общества. Следовательно, коммуна управляется людьми, живущими вне ее, и при таких условиях дело не может обойтись без недоразумений и дряг; однако если бы опыт с Гармони не удался из-за этого и из-за денежных затруднений (чего, впрочем, нет основания ожидать), то это было бы только лишним аргументом в пользу общности имущества, ибо причиной в обоих случаях служит то, что общность не проведена до конца. Но, несмотря на все это, существование колонии обеспечено, и хотя она не развивается так быстро, но все же противники коммуны не будут иметь случая торжествовать по поводу ее гибели.

Итак, мы видим, что общность имущества не представляет ничего невозможного и что, наоборот, все эти попытки вполне удались. Мы видим также, что люди, живущие коммуной, живут лучше, затрачивая меньше труда, имеют больше свободного времени для развития своего духа и что они лучше и нравственнее, чем их соседи, сохранившие частную собственность. Все это уже поняли американцы, англичане, французы и бельгийцы, а также масса немцев. Во всех странах имеются люди, занимающиеся распространением этого учения и стоящие на стороне коммунизма.

Если вопрос этот важен для всех вообще, то особенно он важен для бедных рабочих, которые не имеют ничего, которые заработанные ими сегодня деньги завтра съедают и в любой момент могут остаться

без куска хлеба из-за непредвиденных и неизбежных случайностей. Рабочим здесь открываются виды на независимое, обеспеченное и беззаботное существование, на полное равноправие с теми, которые в настоящее время, благодаря своему богатству, могут превратить рабочих в своих рабов. Этих рабочих данный вопрос затрагивает больше всего. В других странах рабочие образуют ядро партии, добывающейся общности имущества, и на немецких рабочих также лежит долг серьезно задуматься над этим.

Когда рабочие объединены между собой, организованы и преследуют одну цель, то они бесконечно сильнее, чем богачи. Само собой разумеется, что если они будут иметь в виду такую разумную, направленную на благо всех людей, цель, как общность имущества, то лучшие и более рассудительные из богачей заявят о своей солидарности с рабочими и будут их поддерживать. Имеется уже очень много состоятельных и образованных людей во всех частях Германии, которые открыто высказались в пользу общности имущества и которые защищают права народа на блага этой земли, захваченные богатым классом.

ЭЛЬБЕРФЕЛЬДСКІЕ РЕЧИ

ЭЛЬБЕРФЕЛЬДСКИЕ РЕЧИ.

(Февраль 1845 г.)

I.

Господа! Как вы только-что слышали и как я и без того должен считать общеизвестным, мы живем в мире свободной конкуренции. Рассмотрим же несколько подробнее эту свободную конкуренцию и созданный ею порядок. В современном обществе каждый работает на свой собственный риск и страх, каждый ищет путей для своего собственного обогащения и совершенно не заботится о том, что делают другие. О разумной организации, о распределении работ нет и речи, — наоборот, каждый старается перехватить работу у другого, использовать для своей частной выгоды благоприятный случай и не имеет ни времени, ни охоты подумать о том, что его собственные интересы в сущности совпадают с интересами всех остальных людей. Отдельный капиталист ведет борьбу со всеми остальными капиталистами, отдельный рабочий — со всеми остальными рабочими, все капиталисты вместе ведут борьбу против всех рабочих, вместе взятых, также как и масса рабочих в свою очередь необходимо приходится вести борьбу против массы капиталистов. В этой войне всех против всех, в этом всеобщем беспорядке и всеобщей эксплуатации состоит сущность современного буржуазного общества. Но такое беспорядочное ховяйство должно в конце концов привести общество к самым печальным результатам, лежащий в основе беспорядок, пренебрежение действительным общественным благом рано или поздно должны с треском обнаружиться. Разорение мелкого среднего класса, того сословия, которое составляло главную основу государств прошлого столетия, является первым результатом этой борьбы. И мы каждый день наблюдаем, как этот класс общества терпит гнет капитала, как, например, отдельные ховяева-портные благодаря магазинам готового платья, мебельные мастера благодаря мебельным магазинам теряют своих лучших заказчиков и из мелких капиталистов, из членов *имущего* класса превращаются

в зависимых, работающих на других, пролетариев, в членов класса *неимущих*. Разорение среднего класса есть результат столь восхваляемой свободы промышленности, необходимый результат тех преимуществ, которые имеет крупный капиталист пред своим менее имущим конкурентом, самый сильный признак жизненности тенденции капитала концентрироваться в немногих руках. Эта тенденция капитала признается с различных сторон, отовсюду слышатся жалобы, что собственность с каждым днем все более и более скопляется в немногих руках, огромное же большинство нации с каждым днем становится все беднее. Так возникает резкое противоречие между немногими богатыми, с одной стороны, и многочисленными бедными — с другой; противоречие, которое в Англии и во Франции достигло уже угрожающей остроты, с каждым днем принимает и у нас все более острый характер. И до тех пор, пока сохраняется современная основа общества, до тех пор невозможно будет сдерживать это прогрессирующее обогащение немногих единиц и обнищание больших масс; противоречие будет становиться все сильнее, пока, наконец, нужда не принудит общество к реорганизации на более разумных началах.

Но это, господа, далеко еще не все результаты свободной конкуренции. Так как каждый производит и потребляет на свой собственный страх и риск, нисколько не заботясь о производстве и потреблении других, то очень скоро должно с необходимостью наступить ужасное несоответствие между производством и потреблением. Так как современное общество доверяет распределение произведенных товаров купцам, спекулянтам и лавочникам, из которых каждый опять-таки имеет в виду только свою собственную выгоду, то и в распределении, — не принимая в расчет невозможности для неимущего приобрести достаточное количество, — то и в распределении продуктов наступит такое же несоответствие. Каким путем может фабрикант установить, какое количество его фабрикатов соответствует емкости того или другого рынка? А если бы он и мог даже это узнать, то какое количество послано на каждый из этих рынков его конкурентами? Как может он, который по большей части даже совершенно не знает, куда пойдет только-что произведенный им товар, как может он еще знать, какое количество доставят его заграничные конкуренты на каждый из соответствующих рынков? Обо всем этом он ничего не знает, он производит, подобно своим конкурентам, наугад и утешается тем, что и другие должны поступать точно так же. У него нет другого мерил, кроме вечно колеблющегося состояния цен, которые на отдельных рынках в тот момент, когда он отсылает

свой товар, уже совершенно не соответствуют тем ценам, какие были в тот момент, когда было писано письмо, сообщавшее ему об этом, и которые в момент прибытия товара опять-таки изменились в сравнении с ценами в момент отправки товара. При такой беспорядочности производства вполне естественно, если каждый раз наступает застой в торговле, который, конечно, должен быть тем значительнее, чем более развиты промышленность и торговля страны. Страна самой развитой промышленности, Англия, дает нам поэтому здесь самые яркие примеры. Благодаря развитию торговли, благодаря большому числу спекулянтов и комиссионеров, стоящих между производящими фабрикантами и действительными потребителями, английскому фабриканту становится еще труднее, чем немецкому, узнать хоть что-нибудь об отношении между запасами и производством, с одной стороны, и потреблением — с другой; он снабжает почти все рынки в мире — он почти никогда не может узнать, куда идет его товар, и потому, при необычайной производительной силе английской промышленности, очень часто бывает, что все рынки вдруг оказываются переполненными. Торговля останавливается, фабрики работают половину времени или совсем не работают, наступает масса банкротств, запасы должны продаваться по чрезвычайно низким ценам, и значительная часть с трудом накопленного капитала, благодаря такому торговому кризису, погибает. Мы имели в Англии целый ряд таких торговых кризисов с начала этого столетия, а за последние двадцать лет, — один в каждые пять или шесть лет. Большинство из вас, господа, вероятно, еще хорошо помнит последние кризисы 1837 и 1842 гг. И если бы наша промышленность была так же развита, наш сбыт так же широко разветвлен, как промышленность и торговля Англии, то мы переживали бы такие же последствия, между тем как теперь у нас действие конкуренции в промышленности и в торговле проявляется во всеобщем длительном состоянии депрессии всех отраслей промышленности, в злополучном среднем состоянии между известным процветанием и совершенным упадком, в состоянии слабого застоя, т. е. устойчивости.

В чем же действительная причина этого злополучия? Отчего происходит разорение среднего класса, резкий контраст между богатством и бедностью, застой в торговле и проистекающее отсюда расхищение капитала? Ни от какой другой причины, кроме раздробленности интересов. Мы все работаем, имея в виду только свою собственную выгоду, не заботясь о благе других, а между тем это ведь очевидная, сама собою понятная истина, что интерес, благо, счастье каждого в отдельности неразрывно связаны с счастьем его

близких. Мы должны все сознаться, что никто из нас не может обойтись без своих близких, что уже один интерес приковывает нас друг к другу, и все же мы всеми своими действиями свидетельствуем против этой истины, и все же мы так устраиваем наше общество, как будто наши интересы не только не совпадают, но прямо противоположны одни другим. Мы видели результаты этой основной ошибки. Если мы хотим устранить ее дурные последствия, то мы должны ее исправить. И именно это имеет в виду коммунизм.

В коммунистическом обществе, где интересы отдельных людей не противоречат одни другим, а объединены, конкуренция исчезает. О разорении отдельных классов, о классах вообще, как в настоящее время о богатых и бедных, само собою разумеется, и речи больше быть не может. Подобно тому как при производстве и распределении необходимых для жизни товаров отпадает частное присвоение, стремление отдельных личностей обогащаться на свой собственный страх и риск, подобно тому отпадают также сами собой торговые кризисы. В коммунистическом обществе легко будет знать как производство, так и потребление. Так как известно, сколько необходимо в среднем каждому в отдельности, то легко вычислить, сколько потребляет известное число лиц, а так как производство не будет тогда больше находиться в руках отдельных частных собственников, а будет находиться в руках общины и ее управления, то легко будет *регулировать производство соответственно потребностям*.

Мы видим таким образом, как в коммунистической организации отпадают все основные бедствия современного социального состояния. Но если мы вдадимся в некоторые детали, то мы увидим, что преимущества подобной организации не ограничиваются этим, но простираются также и на устранение массы других зол, из которых я сегодня упомянул лишь некоторые экономические. Современное устройство общества в экономическом отношении безусловно является самым неразумным и непрактичным, какое только можно себе представить. Противоположность интересов ведет к тому, что огромное количество рабочей силы употребляется так, что общество не получает от этого никакой пользы, что значительное количество капитала растрачивается совершенно бесполезно и не воспроизводится. Мы наблюдаем это уже при торговых кризисах. Мы видим, как массы продуктов, которые все были произведены человеческим трудом, продаются по ценам, дающим убыток продавцам; мы видим, как вследствие банкротства массы с трудом накопленных капиталов исчезают из рук их владельцев. Но рассмотрим несколько подробнее современную торговлю. Подумайте, через сколько рук должен

пройти каждый продукт, раньше чем он попадает в руки действительного потребителя, — подумайте, сколько спекулирующих и излишних посредников находятся между производителем и потребителем! Возьмем для примера кипу хлопка, который производится в Северной Америке. Кипа переходит из рук плантатора в руки комиссионера на какой-нибудь станции Миссисипи; она направляется вниз по реке до Нового Орлеана. Здесь она продается, — во второй раз, так как комиссионер купил ее уже у плантатора, — продается, допустим, спекулянту, который опять-таки продает ее экспортеру. Кипа отправляется примерно в Ливерпуль, где опять-таки жадный спекулянт протягивает к ней руки и тянет ее к себе. Последний опять-таки продает ее комиссионеру, который покупает, скажем, для немецкого торгового дома. Таким образом кипа путешествует в Роттердам, затем вверх по Рейну еще через дюжину рук экспедиторов, она еще раз двенадцать погружается и разгружается — и тогда только она попадает в руки не потребителя, а фабриканта, который сперва превращает хлопок в годное для потребления состояние, его пряжа идет, может быть, ткачу, этот передает ткань печатнику, затем она переходит к оптовику, тот продает ее розничному торговцу, который, наконец, доставляет товар потребителю. И все эти миллионы посредников, спекулянтов, агентов, экспортеров, комиссионеров, экспедиторов, оптовых и розничных торговцев, которые сами не участвуют в производстве товара, все они хотят жить и получать на этом прибыль, и — обыкновенно действительно получают ее, ибо иначе они не могли бы существовать. Разве нет более простого и более дешевого пути для доставки кипы хлопка из Америки в Германию и изготовленного из него товара в руки действительного потребителя, чем этот долгий путь десятикратной продажи, стократной перегрузки и перевозки из одного магазина в другой? Разве это не является блестящим доказательством расхищения рабочей силы, происходящей вследствие раздробленности интересов? — В разумно организованном обществе не может быть и речи о таком сложном транспорте. Подобно тому как легко узнать, сколько отдельная колония потребляет хлопка или хлопчатобумажных фабрикатов, — чтобы держаться уже этого примера, — подобно этому легко будет центральному управлению узнать, сколько потребляют все местности и общины страны. Если такая статистика будет организована, что легко может быть выполнено в один или два года, то средняя величина ежегодного потребления будет изменяться пропорционально росту населения; поэтому легко в надлежащее время заранее определить, какое количество каждого отдельного

товара потребуется для удовлетворения потребностей народа, все большее количество его будут заказывать прямо на месте, их можно будет получать прямо без посредников, без других перегрузок и издержек, кроме тех, которые действительно вытекают из природы сообщения, следовательно, с большим сбережением рабочей силы; не надо будет давать прибыль разным спекулянтам, крупным и мелким торговцам. Но это еще не все — эти посредники, таким образом, не только не будут приносить вреда обществу, но они даже станут ему полезны. Между тем как теперь они исполняют работу во вред всем остальным, работу, которая в лучшем случае является излишней и все же дает им достаточно для поддержания жизни, а во многих случаях приносит даже большие богатства, в то время как теперь они приносят прямой вред общему благу, они тогда будут иметь свободные руки для полезной деятельности и будут иметь возможность найти себе занятие, в котором они проявят себя как действительные, а не только кажущиеся, лицемерные члены человеческого общества и участники во всей его деятельности.

Современное общество, ставящее отдельного человека во враждебные отношения ко всем остальным, создает таким образом социальную войну всех против всех, которая необходимым образом у отдельных людей, особенно необразованных, должна принять грубую, варварски-насильственную форму — форму преступления. Чтобы оградить себя от преступлений, общество нуждается в широком, сложном организме административных и судебных учреждений, требующем бесконечного множества рабочих сил. В коммунистическом обществе и это будет значительно упрощено, и именно потому, — как бы это ни казалось странным, — именно потому, что в этом обществе управление будет распоряжаться не только отдельными сторонами общественной жизни, но и всей общественной жизнью во всех ее действиях, во всех направлениях. Мы уничтожаем антагонизм между отдельным человеком и всеми остальными, мы противопоставляем социальной войне социальный мир, мы подрываем самый *корень* преступления и этим делаем излишней большую часть деятельности административных и судебных учреждений. И теперь уже преступления под влиянием чувства все больше уступают место преступлениям, совершенным по расчету, из интереса — число преступлений против *личности* уменьшается, количество же преступлений против *собственности* увеличивается. Развитие цивилизации смягчает уже в современном обществе, находящемся в состоянии войны, насильственные проявления страсти; насколько же больше будет это в коммунистическом мирном обществе? Престу-

пления против собственности сами отпадают там, где каждый получает то, что ему необходимо для удовлетворения своих физических и духовных потребностей, где отпадают социальные перегородки и различия. Уголовная юстиция сама исчезает, гражданская юстиция, которая разбирает почти исключительно имущественные отношения или, по крайней мере, такие отношения, которые имеют предпосылкой социальные условия, также отпадает; тяжбы тогда могут быть только редкими исключениями, между тем как теперь они являются естественными результатами всеобщей вражды, и легко будут улаживаться третейскими судами. Административные органы в настоящее время имеют источником своей деятельности точно так же непрерывное состояние войны — полиция и вся администрация заняты только заботой о том, чтобы война оставалась скрытой, косвенной, чтобы она не выродилась в открытое насилие, в преступления. Но если гораздо легче сохранить мир, чем ввести войну в известные границы, то также и бесконечно легче управлять коммунистической, чем конкурирующей общиной. И если уже теперь цивилизация научила людей видеть свой интерес в поддержании общественного порядка, общественной безопасности, общественного интереса и таким образом сделать полицию, администрацию и юстицию по возможности излишними, то насколько больше будет это в таком обществе, в котором основным принципом будет общность интересов, в котором общественный интерес не будет больше отличаться от частного. Насколько чаще будет повторяться то, что теперь уже существует *вопреки* социальным учреждениям, если эти учреждения не будут мешать ему, а, наоборот, поддерживать. — Мы должны, следовательно, и с этой стороны рассчитывать на значительное увеличение рабочих сил, которые отнимает современное социальное состояние общества.

Одним из самых дорогих учреждений, без которых современное общество не может обойтись, являются постоянные армии, которые отнимают у наций самую сильную, самую необходимую часть населения и принуждают кормить эту ставшую таким образом производительной часть его. Мы знаем по нашему собственному государственному бюджету, во что обходится нам постоянная армия — двадцать четыре миллиона в год и изъятие двухсот тысяч самых сильных людей из производства. — В коммунистическом обществе никому не придет в голову думать о постоянной армии. Да и зачем? Для охраны внутреннего спокойствия страны? Но мы уже видели, что никому и в голову не придет нарушать это внутреннее спокойствие. Боязнь революций — ведь только результат противополож-

ности интересов; там, где интересы всех совпадают, там не может быть и речи о подобных опасениях. — Для наступательной войны? — Но каким образом может коммунистическое общество дойти до того, чтобы предпринять наступательную войну, — оно, которое очень хорошо знает, что на войне оно только потеряет людей и капитал, между тем как оно может получить максимум несколько недовольных провинций, которые повлекут за собой только нарушение социального порядка. — Для оборонительной войны? Для этого оно не нуждается в постоянной армии, так как легко будет научить каждого способного члена общества наряду с его другими занятиями настолько владеть оружием, насколько это необходимо для защиты страны, а не для парадов. И примите при этом во внимание, господа, что член такого общества в случае войны, которая, конечно, может вестись только *против антикоммунистических* наций, должен защищать *действительное* отечество, *действительный* очаг, что он, следовательно, будет бороться с воодушевлением, со стойкостью, с храбростью, пред которыми должна разлететься, как солома, механическая выучка современной армии. Вспомните, какие чудеса совершал энтузиазм революционных армий от 1792 до 1799 г., которые боролись только за *иллюзию*, за *мнимое отечество*, и вы должны будете понять, как сильна должна быть армия, которая борется не за иллюзию, а за реальную действительность. Эти бесчисленные массы рабочих сил, следовательно, которые теперь отнимаются у цивилизованных народов армиями, были бы в коммунистической организации возвращены труду; они не только производили бы столько, сколько они потребляют, но могли бы производить гораздо больше продуктов, чем необходимо для их содержания, и поставлять их в общественные магазины.

Еще большее расхищение рабочих сил наблюдается в существующем обществе в способе эксплуатации богатыми своего социального *положения*. Я вовсе не намерен здесь касаться огромной и совершенно бесполезной, даже смешной роскоши, источником которой является мания отличиться и которая занимает массу рабочих рук. Но найдите когда-нибудь в дом, во внутреннее святилище богатого человека и скажите мне, не есть ли это самая безумная растрата рабочей силы, если масса людей занята прислуживанием одному человеку и проводит время в правдоности или, в лучшем случае, занята такими работами, источником которых является изолирование каждого человека в четырех стенах. Вся эта масса слуганок, кухарок, лакеев, кучеров, дворников, садовников и всяких других, — чем они собственно заняты? Как *мало времени* в течение дня заняты

они тем, чтобы *действительно* сделать приятной жизнь своих господ, чтобы облегчить своим господам свободное образование и развитие их человеческой природы и их природных сил, — и *сколько часов* в течение дня заняты они работами, причина которых лежит в плохой организации наших общественных отношений — стоять на запятках кареты, прислуживать шутам господ, носить ва ними комнатных собачек и всякие другие унивательные занятия. В разумно организованном обществе, где для каждого существует возможность жить, не будучи рабом господских шутов и не думая о таких шутах, — в таком обществе, конечно, растрачиваемая таким образом рабочая сила обслуживания роскоши может быть употреблена на общую пользу и для ее собственной пользы.

Дальнейшее расхищение рабочей силы происходит в современном обществе непосредственно под влиянием конкуренции, создающей огромное число безработных, которые охотно *работали бы*, но *не могут* получить работы. Так как общество вовсе не так устроено, чтобы оно могло учитывать действительное приложение рабочих сил, так как каждому приходится самому находить себе источник заработка, то совершенно естественно, что при распределении действительно полезных или кажущихся полезными работ значительная часть рабочих остается без работы. Это происходит тем легче, что борьба конкуренции принуждает каждого наиболее напрягать свои силы, использовать все представляющиеся ему возможности заменять дорогие рабочие силы более дешевыми, а рост цивилизации ежедневно дает все больше средств для этого, или, другими словами, каждый должен стремиться к тому, чтобы лишиться хлеба других, тем или другим способом вытеснить работу других. Таким образом, во всяком цивилизованном обществе находится большое число безработных, которые охотно работали бы, но не находят работы, и число это больше, чем обыкновенно думают. И мы видим этих людей, которые тем или иным образом *проституируют себя*: нищенствуют, подметают улицы, стоят на углах, различными мелкими и случайными услугами с трудом поддерживают свое существование, торгуют всевозможными мелкими товарами, или, как мы видели это сегодня вечером на примере нескольких бедных девушек, переходят с гитарой с места на место, играют и поют за деньги, принуждены выслушивать всякую наглую речь, принимать всякое оскорбительное предложение, чтобы только заработать несколько копеек. А сколько есть таких, которые становятся жертвами *настоящей проституции*. Господа, число тех, которым не остается ничего другого, как в той или иной форме заниматься проституцией, очень

велико, — наши учреждения для призрения бедных многое могли бы об этом рассказать, — и не забывайте, что общество в той или другой форме все-таки кормит этих людей, несмотря на их беспомощность. Если, таким образом, общество должно нести расходы по их содержанию, то оно должно было бы также позаботиться и о том, чтобы безработные *честно* зарабатывали свое содержание. Но этого *не может* сделать современное общество, основанное на конкуренции.

Если вы, господа, подумаете обо всем этом, — а я мог бы привести еще массу других примеров того, как современное общество растрчивает свои рабочие силы, — если вы подумаете об этом, то вы найдете, что человеческое общество располагает избытком производительных сил, которые ждут разумной организации, упорядоченного распределения, чтобы стать активными с величайшей пользой для них. На основании этого вы в состоянии будете судить, как мало основательно опасение, что при справедливом распределении общественной деятельности на долю каждого выпало бы такое бремя труда, при котором сделалось бы для него невозможным занятие всякими другими вещами. Наоборот, мы можем признать, что при такой организации установленное теперь рабочее время каждого, вследствие использования рабочих сил, которые теперь не применяются или применяются беспомощно, сократится наполовину.

Однако преимущества, которые дает коммунистическое устройство посредством использования *расшищаемых рабочих сил*, еще не самые значительные. Самое большое сбережение рабочей силы заключается в соединении отдельных сил в социальную коллективную силу и в устройстве, основанном на этой концентрации, до сих пор противоположавшихся друг другу сил. Я здесь хочу присоединиться к предложениям английского социалиста Роберта Оуэна, так как они наиболее практичны и наиболее разработаны. Оуэн предлагает вместо теперешних городов и сел с их отдельными мешающими друг другу домами построить большие дворцы на площади, приблизительно 1 650 кв. футов, с садами, в которых могли бы с удобствами помещаться от двух до трех тысяч человек. Что подобное здание, дающее жителям удобства самых лучших современных квартир, может быть построено дешевле и с большей легкостью, чем может быть при теперешней системе построено необходимое для такого количества жителей число отдельных квартир, — очевидно. Большое число комнат, которые в настоящее время почти в каждой приличной квартире стоят пустыми или употребляются два раза в год, отпадает, не причиняя никакого неудобства; экономия места для кладовых, погребов и т. д. точно так же очень велика. — Но

если мы рассмотрим детали домашнего хозяйства, то именно там мы увидим все преимущества общественного хозяйства. Какая масса труда и материалов растрачивается при современном раздробленном хозяйстве — например, при отоплении. В каждой комнате надо иметь отдельную печку, каждую печку приходится отдельно топить, поддерживать в ней огонь, следить за ней. Топливо приходится приносить во все эти места, золу надо убирать. Гораздо проще и дешевле было бы вместо этого индивидуального отопления установить прекрасное центральное отопление, например с паровыми трубами и одним центром для отопления, как это уже в настоящее время практикуется в больших общественных зданиях, фабриках, церквях и т. д. Затем газовое освещение, которое в настоящее время еще обходится дорого, потому что даже самые тонкие трубы должны находиться под землей и трубы вообще, вследствие большого пространства, которое приходится освещать в наших городах, должны быть непомерно длинны, между тем как в предлагаемом устройстве все сконцентрировано на пространстве в 1 650 кв. футов, число же горящих газовых рожков однако так же велико. Результат, таким образом, по крайней мере так же удовлетворителен, как в городе средней величины. Затем возьмем приготовление пищи, — сколько затрачивается места, материала и рабочей силы при современном раздробленном хозяйстве, когда каждая семья отдельно готовит свою пищу, имеет свою отдельную посуду, нанимает свою отдельную кухарку, должна отдельно закупать продукты на рынке, в зеленой, мясной, у булочника. Можно смело допустить, что, при общественном приготовлении пищи и обслуживании ею можно сэкономить две трети занятых при этом в настоящее время рабочих сил, а оставшая треть, однако, будет лучше и внимательнее исполнять свою работу, чем это происходит в настоящее время. И, наконец, домашние работы. Разве не бесконечно легче чистить и содержать аккуратно такое здание, если эта работа точно так же будет организована и правильно распределена, чем двести или триста отдельных домов, составляющих при совершенном устройстве квартиры такого же числа людей?

Это, господа, только некоторые преимущества из бесконечного их числа, которые в экономическом отношении должны вытекать из коммунистической организации человеческого общества. Невозможно в несколько часов и кратко разъяснить вам наш принцип и надлежащим образом всесторонне его обосновать. И это вовсе не является нашей задачей. Мы можем и хотим лишь разъяснить несколько пунктов и побудить к изучению его тех, которым дело

это еще чуждо. Но одно по крайней мере — мы надеемся — мы разъяснили вам сегодня вечером, а именно, что коммунизм не только не противоречит человеческой природе, разуму и сердцу, но и не составляет теории, которая, не считаясь с действительностью, живет в одном лишь воображении.

Могут спросить, как провести эту теорию в действительную жизнь, какие меры можем мы предложить, чтобы подготовить ее проведение? Есть различные пути для достижения этой цели. Англичане, вероятно, начнут с основания отдельных колоний и предоставят каждому вступать в них или нет; французы, наоборот, вероятно, будут готовить и проводить коммунизм в национальном масштабе. Как поступят в этом отношении немцы, об этом при новизне социального движения в Германии трудно что-нибудь сказать. Пока я из многих способов приготовления его упомяну только об одном, о котором много говорили в последнее время, а именно о проведении трех мероприятий, которые необходимо должны иметь результатом практический коммунизм.

Первый из них — это *всеобщее обучение*; все дети без исключения одинаково обучаются на государственный счет до того возраста, когда они в состоянии выступать как самостоятельные члены общества. Эта мера явилась бы только актом справедливости по отношению к нашим неимущим братьям, так как, очевидно, каждый человек имеет право на полное развитие своих способностей, и государство вдвойне совершает преступление против личности, если оно делает невежество необходимым результатом бедности. Что общество извлекает больше пользы из образованных людей, чем из невежественных членов, очевидно. И если образованный пролетариат, как этого следует ожидать, не склонен будет оставаться в угнетенном положении, в котором находится наш современный пролетариат, то, с другой стороны, только от *образованного* рабочего класса можно ожидать спокойствия и благоразумия, которые необходимы для мирного преобразования общества. Но что и *невежественный* пролетариат точно так же не склонен оставаться в своем положении, это доказывают нам силезские и богемские беспорядки в Германии, — не говоря уже о других народах.

Другая мера должна состоять в полной *реорганизации* дела *призрения бедных* в том смысле, чтобы все бедные граждане были поселены в колониях, где бы они занимались земледелием и промышленностью и где труд их был бы организован в интересах всей колонии. До сих пор все капиталы на призрение бедных отдавались в рост, что давало богатым новые средства эксплуатации неимущих.

Пора, наконец, употребить эти капиталы действительно в пользу бедных, пора употребить, наконец, весь доход от этих капиталов, а не три процента его, для бедных, пора, наконец, показать прекрасный пример ассоциации капитала и труда. Таким образом вся рабочая сила бедных была бы использована для блага общества, сами же бедные были бы превращены из деморализованных, угнетенных пауперов в нравственных, независимых, активных людей и поставлены в такое положение, которое очень скоро вызвало бы зависть отдельных рабочих и подготовило бы полную реорганизацию общества.

Для обеих этих мер нужны деньги. Чтобы получить их и чтобы в то же самое время заменить взимавшиеся до сих пор несправедливо распределенные налоги, в настоящем плане реформы предлагается всеобщий прогрессивный налог на капиталы, процент которого возрастает с величиной капитала. Таким образом каждый нес бы тяжесть общественного управления пропорционально тому, что он может, и тяжесть этого не ложилась бы, как это до сих пор происходит во всех странах, на плечи тех, которые менее всего в состоянии платить их. Ведь в сущности принцип обложения является чисто коммунистическим принципом, так как право обложения во всех странах вытекает из так называемой национальной собственности. В таком случае, либо частная собственность священна, — тогда нет национальной собственности, и государство не имеет права взимать налоги; либо государство имеет это право, — тогда частная собственность не священна, тогда национальная собственность выше частной собственности, и государство является настоящим собственником. Этот последний принцип общепризнан. — Итак, господа, мы требуем прежде всего только, чтобы государство объявило себя всеобщим собственником и, как таковой, управляло бы общественным имуществом на общее благо и чтобы в виде первого шага оно ввело такой способ обложения, который считался бы только со способностью каждого платить налоги и с действительным общественным благом.

Вы видите, таким образом, господа, что речь идет не о немедленном введении общности имущества против воли нации, но что прежде всего речь идет только об установлении *цели, а также средств и путей*, какими мы можем достигнуть этой цели. Но что принципы коммунизма являются принципами будущего, за это говорит ход развития всех цивилизованных наций, за это говорит быстрое разложение всех существовавших до сих пор социальных учреждений, за это говорит человеческий здравый смысл и прежде всего человеческое сердце.

II.

Милостивые государи!

На последнем нашем собрании мне был сделан упрек в том, что все мои примеры и ссылки относились почти исключительно к другим странам, в особенности к Англии. Мне говорили, что Франция и Англия нас не касаются, что мы живем в Германии, и наша задача — доказать необходимость и преимущества коммунизма для Германии. Нас упрекали в то же время и в том, что мы вообще далеко не достаточно доказали историческую необходимость коммунизма. Это вполне справедливо, да иначе и не могло быть. Историческую необходимость нельзя доказать так же быстро, как равенство двух треугольников; она может быть доказана только изучением и исследованием самых широких предпосылок. Тем не менее, я приложу сегодня все старания, чтобы устранить оба эти упрека; я постараюсь доказать, что коммунизм для Германии является, если не исторической, то экономической необходимостью.

Остановимся сначала на современном социальном положении Германии. Всем известно, как велика существующая у нас нищета. Силезия и Богемия сами заявили о себе. О нищете в округах Мозеля и Эйфеля подробно рассказывала «Рейнская гавета». В Рудных горах с незапамятных уже времен господствует не прекращающаяся страшная нужда. Не лучше обстоит дело в Зенне и в вестфальском льнопромышленном округе. Из всех концов Германии несутся жалобы, да иначе и быть не могло. Наш пролетариат многочислен и не может не быть таковым, в чем мы должны будем убедиться при самом поверхностном изучении нашего социального положения. Что в *промышленных округах* должен быть многочисленный пролетариат, — это в природе вещей. Промышленность не может существовать без большого количества рабочих, которые были бы всецело к ее услугам, работали бы только для нее и не занимались бы ничем иным; при существовании конкуренции, промышленный труд делает невозможным какое-либо другое занятие. Поэтому мы во всех промышленных округах находим пролетариат, который слишком многочислен, слишком очевиден, чтобы его можно было отрицать.

В *сельских округах*, напротив того, не должно быть пролетариата, — так утверждают многие. Но как это возможно? В местностях, где преобладает крупное землевладение, пролетариат необходим: крупные хозяйства нуждаются в батраках и прислуге, они не могут существовать без пролетариев. В местностях, где земля разбита на мелкие участки, тоже нельзя избежать возникновения неимущего класса: имения дробятся до известного предела, и затем дальнейшее дробление прекращается, и так как тогда имение переходит в руки одного лишь члена семьи, то остальным не остается ничего другого, как превратиться в пролетариев, неимущих рабочих. При этом дробление имения заходит обыкновенно так далеко, что участки оказываются слишком мелкими для того, чтобы досыта прокормить семью, и таким образом образуется класс людей, который, подобно несостоятельному среднему классу городов, составляет переходную ступень от имущего класса к неимущему; обладание земельным участком удерживает этот класс людей от других занятий и в то же время оказывается недостаточным, чтобы обеспечить его существование. И среди этого класса также царит сильная нужда.

Что существующий пролетариат должен постоянно увеличиваться в числе, — за это ручается нам возрастающее обнищание среднего класса и тенденция капитала концентрироваться в немногих руках. Мне не приходится сегодня вновь возвращаться к рассмотрению этих пунктов; замечу лишь, что причины, безостановочно создающие пролетариат и увеличивающие его ряды, остаются теми же и будут вызывать те же последствия, пока будет существовать конкуренция. До тех пор, пока мы будем вести производство каждый на собственный страх и риск и в противоречии со всеми остальными, пролетариат должен, при всяких обстоятельствах, не только существовать, но непрерывно разрастаться и становиться все более грозной силой в современном обществе. Но настанет пора, когда пролетариат достигнет такой ступени могущества и сознания, когда он не пожелает больше поддерживать всего социального здания, вечно давящего на его плечи, когда он потребует более справедливого распределения социальных тягот и прав; и тогда — если человеческая натура до той поры не изменится — социальная революция станет неизбежной.

На этом вопросе наши экономисты до сих пор совсем не останавливались. Их не интересует распределение, а исключительно лишь создание национального богатства. Однако отвлечемся на мгновение от того указанного уже нами факта, что социальная революция вообще вытекает уже из наличности конкуренции; остановимся

пока на отдельных формах, в которых проявляется конкуренция, на различных экономических возможностях для Германии, и рассмотрим, каковы должны быть последствия каждой из них.

Германия, или, точнее говоря, германский таможенный союз, имеет в настоящее время средний, умеренный тариф волотой середины. Наши пошлины слишком низки для настоящих покровительственных пошлин и слишком высоки для свободы торговли. Имеются, следовательно, три возможности: или мы перейдем к полной свободе торговли, или защитим свою промышленность достаточно высокими пошлинами, или останемся при теперешней системе. Рассмотрим каждый случай в отдельности.

Если мы провозгласим *свободу торговли* и отменим наши пошлины, то вся наша промышленность, за исключением немногих отраслей, будет раворена. О бумагопрядильном производстве, о механическом ткачестве, о большинстве отраслей хлопчатобумажной и шерстяной промышленности, о главнейших отраслях шелковых изделий, о всей почти добыче железа и обработке его *тогда* не может быть даже и речи. Занятые во всех этих отраслях промышленности рабочие, оставшись внезапно без куска хлеба, нахлынули бы тогда массами в область сельского хозяйства и уцелевших отраслей индустрии; пауперизм быстро возрос бы, централизация собственности в руках немногих, благодаря такому кризису, ускорила бы и, судя по событиям в Силезии, необходимым следствием такого кризиса явилась бы социальная революция.

Предположим теперь, что мы введем *покровительственные пошлины*. В последнее время эти пошлины сделались любимым коньком большинства наших промышленников и заслуживают поэтому более внимательного рассмотрения. Господин Лист привел желания наших капиталистов в систему, и этой системы, которую почти все они признали своим *sredo*, я и буду держаться. Господин Лист предлагает ввести постоянно возрастающие охранительные пошлины; они постепенно должны повыситься до такого уровня, который обеспечил бы за фабрикантами внутренний рынок; в течение известного времени эти пошлины остаются на одной и той же высоте, а затем постепенно понижаются, так что, в конце концов, после целого ряда лет, покровительственная система будет уничтожена. Допустим, что этот план будет проведен и повышающиеся пошлины декретированы. В таком случае индустрия будет быстро развиваться, свободный еще капитал будет вложен в промышленные предприятия, возрастет спрос на рабочих, а вместе с тем и заработная плата их, дома для бедных

освободятся, и, по всем видимостям, настанет золотая эра. Это будет продолжаться до тех пор, пока наша индустрия не будет достаточно развита, чтобы удовлетворить внутренний рынок. Больше этого она не может расширяться, ибо, раз она не в состоянии удержать за собою *внутреннего рынка* без таможенной защиты, то еще менее она может выдержать иностранную конкуренцию на нейтральных рынках. К этому времени, полагает господин Лист, — отечественная промышленность уже настолько окрепнет, что будет меньше нуждаться в покровительстве, и можно будет начать понижать пошлины. Допустим на мгновение, что это будет так. Пошлины понижаются. Если не при первом, то при втором или третьем понижении таможенных ставок неизбежно наступит такой момент, когда иностранная, хотя бы английская, промышленность сумеет конкурировать на немецком рынке с нашей собственной индустрией. Господин Лист желает того же самого. Каковы же будут последствия этого? С этого момента немецкой промышленности придется участвовать во всех колебаниях, во всех кризисах английской промышленности. Как только заморские рынки окажутся переполненными английскими товарами, англичане поступят точно так же, как и теперь: они, как это трогательно описывает г. Лист, все свои запасы выбросят на немецкий, ближайший из доступных им рынков и, таким образом, вновь сделают таможенный союз своей «толкучкой». Тогда английская промышленность скоро вновь оправится, так как весь мир служит для нее рынком и так как без нее он обойтись не может, между тем как без немецкой может обойтись даже ее внутренний рынок, и она должна бояться английской конкуренции даже у себя дома; во время кризиса она страдает от избытка доставляемых ее покупателям английских товаров. Тогда нашей индустрии придется испытать до дна всю горечь периодов застоя в английской промышленности и принимать лишь самое слабое участие в периодах ее расцвета, словом: мы будем тогда совершенно в таком же положении, как и сейчас. И — чтобы сразу дойти до конечного вывода — тогда наступит такое же подавленное состояние, в каком ныне находятся полузащищенные отрасли промышленности; тогда будет погибать одно предприятие за другим, и новые не будут возникать; тогда наши машины окажутся устаревшими, и мы не будем в состоянии заменить их новыми, улучшенными; застой превратится тогда в регресс и, по собственному утверждению господина Листа, одна отрасль промышленности за другой будет разоряться и в конце концов совсем погибнет. Но тогда у нас окажется многочисленный пролетариат, созданный промышленностью, без средств к жизни, без

работы, и тогда этот пролетариат предъявит имущим классам требование работы и хлеба.

Это произойдет в том случае, если будут понижены таможенные пошлины. Теперь допустим, что они не будут понижены, что они останутся высокими, и мы будем ждать, пока конкуренция отечественных фабрикантов между собою не сделает их призрачными, и их можно будет понизить. Результатом этого будет то, что немецкая промышленность, как только она окажется в состоянии обеспечить внутренний рынок, остановится в своем развитии. Новые предприятия не нужны, так как существующих достаточно для удовлетворения рынка, а о новых рынках, как выше было указано, нечего и думать до тех пор, пока промышленность вообще нуждается в покровительстве. Но индустрия, которая не *расширяется*, не может также и *совершенствоваться*. В ней воцарится застой как внешний, так и внутренний. Усовершенствования машин для нее не существует. Старые машины нельзя же выбросить, а для новых нет новых предприятий, в которых они могли бы найти применение. Но в это время другие нации прогрессируют, а застой в нашей промышленности опять же превращается в регресс. Пройдет немного времени, и англичане, благодаря прогрессу, окажутся способными производить так дешево, что смогут конкурировать с нашей отсталой промышленностью на нашем собственном рынке, *несмотря* на охранительные пошлины; и так как в конкуренции, как и во всякой другой борьбе, побеждает сильнейший, то конечное поражение наше не подлежит сомнению. Тогда опять-таки наступит то самое, о чем я говорил выше: искусственно созданный пролетариат потребует от имущих классов того, чего они не могут дать ему, пока хотят оставаться исключительно имущими, и наступит социальная революция.

Возможен еще один случай, самый невероятный, именно тот, что нам, немцам, удастся при помощи покровительственных пошлин довести нашу промышленность до такого состояния, когда она сможет конкурировать с англичанами и без покровительственных пошлин. Допустим это. Каков же будет результат? Как только мы начнем конкурировать с англичанами на нейтральных рынках, возгорится борьба на жизнь и на смерть между нашей и английской промышленностью. Англичане напрягут все свои силы, чтобы удалить нас с тех рынков, которые до того находились в их распоряжении; они будут вынуждены к этому, ибо в данном случае будет затронут их жизненный нерв, самый источник их существования. И с теми средствами, которые находятся в их распоряжении, со

всеми преимуществами столетней индустрии, им удастся побить нас. Они заставят нашу промышленность ограничиться собственным рынком и этим сделают ее неподвижной, — и тогда наступит тот случай, о котором мы говорили выше: мы остаемся на месте, англичане уходят вперед, и наша промышленность, при неизбежном ее упадке, не будет в состоянии прокормить искусственно созданный ею пролетариат, — наступит социальная революция.

Но если даже допустить, что мы победили бы англичан и на нейтральных рынках, что мы бы оторвали от них один из их рынков за другим, — что бы мы выиграли даже и в этом почти невозможном случае? На лучший конец, мы бы еще раз проделали тогда ту промышленную карьеру, которую до нас проделала Англия, и через некоторое время мы достигли бы того самого пункта, на котором сейчас остановилась Англия, именно: мы оказались бы накануне социальной революции. Но, по всем вероятностям, дело кончилось бы гораздо скорее. Беспрестанные победы немецкой индустрии неизбежно разорили бы английскую промышленность и ускорили бы и без того неизбежно предстоящее англичанам массовое восстание пролетариата против имущих классов. Быстро развивающаяся безработица толкнула бы английских рабочих на революцию, и, при настоящем положении вещей, такая социальная революция оказала бы огромное влияние и на континентальные страны, именно на Францию и Германию; и это влияние было бы тем сильнее, чем многочисленнее был бы пролетариат, искусственно созданный в Германии форсированным развитием промышленности. Подобный переворот тотчас же стал бы общеевропейским и весьма неделикатно разрушил бы мечты наших фабрикантов о промышленной монополии Германии. Допустить же, чтобы английская и немецкая индустрии могли мирно уживаться рядом, невозможно по законам конкуренции. Каждая промышленность, я повторяю, должна развиваться, чтобы не регрессировать и не погибнуть; она должна расширяться, приобретать новые рынки, непрерывно увеличивать число новых предприятий, иначе она не может прогрессировать. Но так как с тех пор, как открыты китайские порты, новые рынки не приобретаются, а можно лишь лучше эксплуатировать старые; так как, следовательно, расширение промышленности в будущем будет совершаться медленнее, чем до сих пор, то Англия теперь может еще меньше терпеть конкурентов, чем то было раньше. Для того, чтобы защитить свою промышленность от гибели, она должна давить промышленность всех других стран; сохранение промышленной монополии не является уже для Англии вопросом большей или меньшей

прибыли: оно стало для нее *вопросом жизни*. И вообще конкуренция между нациями гораздо сильнее, решительнее, чем борьба между индивидуумами, ибо это — борьба концентрированная, борьба между массами, которая может кончиться лишь полной победой одной и полным поражением другой стороны. И поэтому подобная борьба между нами и англичанами, каковы бы ни были ее результаты, не принесла бы выгоды ни нашим, ни английским промышленникам, а лишь повлекла бы за собой, как я излагал выше, социальную революцию.

Итак, мы рассмотрели, чего может ожидать Германия как от свободы торговли, так и от покровительственной системы при всех возможных случаях. Остается единственная экономическая возможность, а именно: сохранение ныне существующих пошлин золотой середины! Но мы уже выше видели, каковы были бы последствия и в данном случае. Наша промышленность, отрасль за отраслью, должна была бы погибнуть, промышленные рабочие остались бы без хлеба, а когда нужда достигла бы известных пределов, они ринулись бы в революцию, направленную против имущих классов.

Таким образом, частности вполне подтверждают то, что я излагал вначале в общих чертах, беря за исходную точку законы конкуренции; а именно: неизбежным следствием существующих у нас социальных отношений, при всех условиях и во всех случаях, будет *социальная революция*. С той же уверенностью, с какой мы из известных математических аксиом можем вывести новое положение, с тою же уверенностью мы можем из существующих экономических отношений и из принципов политической экономии сделать заключение о грядущей социальной революции. Рассмотрим, однако, этот переворот несколько ближе: в какой форме он проявится, каковы будут его результаты, чем он будет отличаться от всех бывших до сих пор социальных переворотов? Социальная революция есть нечто совершенно иное, чем бывшие до сих пор политические революции: она не направлена, как эти последние, против собственности монополистов, а против монополии собственности; социальная революция — это *открытая война бедных против богатых*. И такая война, в которой явно и открыто выступают наружу все пружины и причины, действовавшие во всех бывших до сих пор исторических конфликтах неясно и скрыто, — такая война грозит, во всяком случае, быть более жестокой и кровавой, чем все предшествовавшие ей. Результат этой войны может быть двойкий. Или восставшие обратят внимание лишь на видимость, а не на сущность, лишь на форму, а не на дело; или же они доберутся до сущности и вырвут зло с корнем. В первом

случае частная собственность останется существовать, и лишь произойдет перераспределение ее, так что сохранятся все причины, которые вызвали теперешнее положение вещей и которые, через известное, более или менее короткое время, опять вызовут такое же положение, а вместе с ним новую революцию. Но разве это возможно? Где мы видели революцию, которая действительно не добилась бы того, к чему она стремилась? Английская революция осуществила как религиозные, так и политические принципы, борьба против которых со стороны Карла I вызвала ее; французская буржуазия достигла в своей борьбе против дворянства и старой монархии всего, к чему она стремилась, уничтожила все злоупотребления, побудившие ее к восстанию. И неужели же восстание бедных уляжется раньше, чем будет уничтожена нищета и ее причины? Это невозможно. Допустить нечто подобное значит не считаться с историческим опытом. Также и уровень развития рабочих, в особенности в Англии и Франции, дает нам основания считать это возможным. Не остается, следовательно, предположить ничего иного, как вторую альтернативу, — т. е., что грядущая социальная революция займется истинными причинами нужды и бедности, невежества и преступления, что она осуществила настоящую социальную реформу. А это возможно лишь путем провозглашения коммунистического принципа. Изучите мысли, владеющие умами рабочих в тех странах, где и рабочий мыслит; посмотрите во Франции на различные фракции рабочего движения, — не коммунистического ли они направления? Ступайте в Англию и послушайте, какие проекты предлагаются рабочим для улучшения их положения — не покоятся ли все они на принципе общественной собственности? Изучайте различные системы социальной реформы, — много ли из них вы найдете не-коммунистических? Из всех систем, и ныне еще сохранивших свое значение, единственная не-коммунистическая, — это система Фурье, обратившего свое внимание больше на социальную организацию человеческой деятельности, чем на распределение производимых ею продуктов. Все эти факты оправдывают тот вывод, что грядущая социальная революция окончится проведением коммунистического принципа, и едва ли допускают другую возможность.

Если эти выводы верны, если социальная революция и практический коммунизм являются необходимым результатом существующих у нас отношений, то нам прежде всего придется заняться теми мероприятиями, при помощи которых мы можем предотвратить насильственное и кровавое преобразование социальных отношений. А для этого имеется лишь *одно* средство, именно — мирное

проведение или, по крайней мере, подготовка коммунизма. Итак, если мы не желаем кровавого разрешения социального вопроса, если мы не хотим довести увеличивающееся с каждым днем противоречие между умственным уровнем и жизненным положением наших пролетариев до крайности, при которой, судя по всему, что мы знаем о человеческой природе, это противоречие будет разрешено грубой силой, отчаянием и жаждой мести, — тогда мы должны серьезно и беспристрастно заняться социальным вопросом; тогда мы должны приложить все усилия к тому, чтобы сделать более человеческим положение современных илотов. И если кому-нибудь из вас, быть может, покажется, что возвышение униженных прежде классов не может совершиться без понижения вашего собственного положения, то следует помнить, что дело идет о том, чтобы создать для всех людей такие условия жизни, при которых каждый будет иметь возможность свободно развивать свою человеческую природу, жить с своими ближними в человеческих отношениях и не бояться насильственного разрушения своего благосостояния; следует помнить, что то, чем придется пожертвовать каждому, есть не истинно-человеческая радость жизни, а лишь созданное нашим скверным строем подобие наслаждения жизнью, нечто такое, что противно собственному разуму и собственному сердцу тех, кто ныне пользуется этими мнимыми преимуществами. Именно человеческое существование, со всеми его условиями и потребностями, мы не только не хотим разрушить, а, наоборот, всячески стремимся создать его. И даже помимо этого, если вы захотите серьезно подумать над тем, к чему может привести современное положение в его последствиях, в какой лабиринт противоречий и неурядиц оно нас заводит, — тогда вы наверно согласитесь, что стоит заняться серьезным и основательным изучением социального вопроса. И если я могу побудить вас к этому, тогда цель моего реферата будет вполне достигнута.

**ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА
В АНГЛИИ**

К рабочему классу Великобритании.

Рабочие!

Вам я посвящаю свой труд, в котором я постарался нарисовать перед своими немецкими земляками верную картину вашего положения, ваших страданий и борьбы, чаяний и намерений. Я достаточно долго жил среди вас, чтобы ознакомиться с вашим положением. Я изучал его с самым серьезным вниманием, разбирался в самых разнообразных официальных и неофициальных документах, поскольку мне только удавалось раздобыть их, но все это меня не удовлетворяло. Меня не удовлетворяло одно отвлеченное знание предмета, я хотел видеть вас в ваших собственных домах, наблюдать вас в вашей повседневной жизни, беседовать с вами о вашем положении и ваших нуждах и лично наблюдать вашу борьбу с социальной и политической властью ваших угнетателей. Я так и сделал. Я оставил общество, обеды, портвейн и шампанское средних классов и посвятил часы досуга почти исключительно сношениям с настоящими рабочими. Я рад и горд этим — рад потому, что получил таким образом возможность провести не мало приятных часов в изучении действительной жизни, между тем как иначе я потратил бы их на соблюдение тягостных приличий и салонную болтовню; горд потому, что имел возможность воздать должное угнетенному и оклеветанному классу людей, которые, при всех своих недостатках и невыгодах своего положения, вызывают уважение во всяком человеке, кроме разве английского торгаша; горд еще потому, что это дало мне возможность оградить английский народ от растущего на континенте к нему презрения — необходимого последствия жестокой своекорыстной политики и всего поведения ваших правящих средних классов.

Имея в то же время полную возможность наблюдать вашего врага, — средние классы, — я очень скоро убедился в том, что вы правы, вполне правы, не ожидая от них никакой поддержки. Их интересы диаметрально противоположны вашим, хотя они постоянно

утверждают противное и уверяют вас в самой сердечной симпатии к вашей судьбе. Против них вопиют их дела. Надеюсь, я собрал более, чем достаточные доказательства того, что средние классы — что бы они ни говорили — на деле стремятся только к собственному обогащению за счет вашего труда, пока могут торговать его продуктом, и оставляют вас умирать с голода, как только у них исчезает возможность извлекать выгоды из этой скрытой торговли человеческим мясом. Что они сделали, чтобы доказать на деле свое расположение к вам, о котором они так много толкуют? Обращали ли они когда-либо достаточное внимание на ваши нужды? Сделали ли они для вас что-нибудь, кроме уплаты расходов по содержанию полдюжины комиссий для обследования вашего положения, — комиссий, объемистые отчеты которых навсегда осуждены дремать среди груды ненужных бумаг в архиве министерства внутренних дел? Постарались ли они состряпать из этих истлевающих Синих книг хоть одну удобочитаемую книгу, из которой всякий мог бы без труда почерпнуть сведения о положении громадного большинства «свободнорожденных» бритов? Конечно, этого они не сделали; все это — вещи, о которых они не любят говорить. Они предоставили иностранцу оповестить цивилизованный мир о тех унижительных условиях, в которых вам приходится жить.

Но этот иностранец, надеюсь, чужой им, а не вам. Хотя мой английский язык может быть недостаточно чист, вы, я надеюсь, все же узнаете в нем честный английский язык. Ни один рабочий в Англии, как и во Франции, к слову сказать, никогда не смотрел на меня как на иностранца. Я с величайшим удовольствием убеждался в том, что вы свободны от этого губительного проклятия — национальных предрассудков и национального тщеславия, которые являются в конце концов лишь голым эгоизмом. Я видел, что вы сочувствуете всякому, англичанин ли он или нет, кто готов честно отдать свои силы на служение прогрессу человечества, что вы преклоняетесь перед всем великим и добрым, безразлично, возросло ли оно на вашей родной почве или в другом месте. Я убедился в том, что вы больше, чем только англичане, члены одной обособленной нации, что вы *люди*, члены одной великой человеческой семьи, понимающие, что ваши интересы совпадают с интересами всего человечества. И как таковых, как членов одной семьи «единого и неделимого» человечества, как людей в самом лучшем смысле этого слова, я и многие другие на материке приветствуем вас и все ваши стремления вперед и желаем вам скорейших успехов. — Продолжайте же и впредь, как до сих пор, двигаться вперед. Много

терний предстоит вам еще встретить на вашем пути. Но будьте мужественны и отважны: успех ваш верен, и ни один шаг, сделанный вами в этом движении вперед, не будет потерян для нашего общего дела — дела всего человечества.

Фридрих Энгельс.

Бармен (Прярейнская Пруссия),
15 марта 1845 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Вопросу, составляющему предмет настоящей книги, я хотел сначала посвятить лишь одну главу большой работы по социальной истории Англии. Но я скоро увидел себя вынужденным посвятить ему, в виду его важности, особую самостоятельную книгу.

Положение рабочего класса есть действительная основа и исходный пункт всех социальных движений современности, будучи высшим и наиболее обнаженным проявлением наших современных социальных бедствий. Французский и немецкий рабочий коммунизм прямо из него вытекают, а фюреризм и английский социализм, как и коммунизм немецкой образованной буржуазии, косвенно обязаны ему своим происхождением. С одной стороны, чтобы обосновать социалистические теории, с другой — чтобы дать твердую почву суждениям о праве этих теорий на существование и чтобы положить конец всем мечтаниям и фантазиям pro и contra, изучение положения пролетариата является неизбежной необходимостью. Но эти условия существования пролетариата имеются в их *классически совершенной форме* только в Великобритании и именно в собственной Англии, и вместе с тем только в Англии необходимый для этого материал собран с достаточной полнотой и подтвержден официальными исследованиями, как это необходимо для сколько-нибудь исчерпывающего исследования вопроса.

Я имел возможность изучать английский пролетариат в течение 21 месяца, знакомиться путем личных наблюдений и личного общения с его стремлениями, радостями и горестями, а также дополнить этот личный опыт сведениями из достоверных источников. В настоящей книге я и изложил то, что я видел, слышал и читал. Я заранее знаю, что не только моя точка зрения, но и приведенные в настоящей книге факты будут оспариваться со всех сторон, в особенности, если моя книга попадет в руки англичан. Я прекрасно знаю, что мне смогут указать на те или другие незначительные ошибки, которые при обширности предмета и его чрезвычайной сложности были бы неизбежны даже и у англичанина, тем

более, что и в Англии нет еще ни одного сочинения, в котором обсуждалось бы положение *всех* рабочих, как в моей книге. Но я ни на минуту не задумываюсь сделать следующий вызов английской буржуазии: пусть она мне докажет на основании таких же документальных данных, какие привел я, неточность хотя бы одного единственного факта, имеющего какое-либо значение для общей точки зрения.

Для Германии изображение условий жизни пролетариата в их классической британской форме имеет — в особенности в настоящий момент — чрезвычайно важное значение. Немецкий социализм и коммунизм более, чем всякий другой, исходил из теоретических предпосылок; мы, немецкие теоретики, слишком мало знали еще мир действительности, чтобы реальные условия жизни непосредственно возбудили в нас стремление к реформам этой «скверной действительности». Из открытых сторонников таких реформ почти ни один не пришел к коммунизму иначе, чем через фейербаховское преодоление гегелевской философии. Действительные условия жизни пролетариата так мало у нас известны, что даже вдохновляемые наилучшими намерениями «Союзы для улучшения положения рабочих классов», в которых наша буржуазия в настоящее время так треплет социальный вопрос, не перестают исходить из самых смешных и вздорных суждений о положении рабочих. Мы, немцы, больше всех нуждаемся в знании фактов по этому вопросу. И если условия жизни пролетариата Германии не достигли такого классического развития, как в Англии, то по существу ведь у нас тот же социальный строй, что и там, — строй, который рано или поздно достигнет такой же степени развития, какой он достиг по ту сторону Северного моря, если только разум нации во-время не примет мер, которые создадут новую основу для всей социальной системы. Те же основные причины, которые привели в Англии к нищете и угнетению пролетариата, существуют и в Германии и должны дать надолго те же результаты. Покуда же установленная английская нищета даст нам повод выявить и немецкую нищету и послужит масштабом для измерения распространения и силы той опасности, уже обнаружившейся в силевских и богемских волнениях, которая с этой стороны непосредственно грозит покою Германии.

В заключение мне остается сделать еще два замечания. Во-первых, выражение *«средний класс»* я постоянно употребляю в смысле английского middle-class (или, как почти всегда говорят: middleclasses), обозначающего, так же, как и французское слово

«bourgeoisie», имущий класс специально для отличия его от так называемой аристократии, — класс, который во Франции и Англии прямо, а в Германии косвенно, в качестве «общественного мнения», обладает государственной властью. Точно так же я употреблял, как равнозначущие, выражения: рабочие (working men) и пролетарии, рабочий класс, неимущий класс и пролетариат. — Во-вторых, я, приводя цитаты, в большинстве случаев указывал на партию, к которой принадлежит автор. Делал я это потому, что либералы почти всегда указывают на нищету в земледельческих округах и отрицают ее в округах фабричных, а консерваторы, наоборот, признают наличие нужды в фабричных округах, но не хотят признать ее в земледельческих местностях. По этой же причине в тех случаях, когда у меня нехватало официальных документов, я, при описании положения промышленных рабочих, предпочитал всегда пользоваться свидетельствами *либералов*, стараясь бить либеральную буржуазию ее собственными свидетельствами; на консерваторов же или чартистов ссылался вообще только в тех случаях, когда я или знал настоящее положение дела из собственного опыта, или мог быть убежден в истинности приводимых свидетельств на основании личного или литературного характера авторов.

Ф. Энгельс.

Бармен, 15 марта 1845.

ВВЕДЕНИЕ.

История рабочего класса в Англии начинается во второй половине XVIII столетия с изобретения паровой машины и машин для обработки хлопка. Эти изобретения дали, как известно, толчок промышленной революции, — революции, которая произвела полный переворот в буржуазном обществе и историческое значение которой начинает выясняться лишь в настоящее время. Англия есть классическая страна этого переворота, тем более мощного, чем бесшумнее он совершался, и поэтому Англия является также классической страной развития его главного результата — пролетариата. Пролетариат может быть изучен во всех отношениях и со всех сторон только в Англии.

Мы покуда не будем здесь останавливаться на истории этой революции, на ее огромном значении для настоящего и будущего. Это должно послужить темой будущего, более обширного труда. В настоящей книге мы ограничимся тем немногим, что является необходимым для уразумения последующих фактов, для понимания современного положения английского пролетариата.

До введения машин вся работа превращения сырого хлопка в пряжу и ватем в ткань совершалась в доме рабочего. Жена и дочери его пряли пряжу, которую отец семейства ткал, или, если он сам этого не делал, они ее продавали. Эти семьи ткачей жили большей частью в деревнях близ городов, их заработная плата была вполне достаточна для удовлетворения их нужд, так как местный рынок имел еще решающее значение для спроса на ткани и даже был почти единственным рынком, а господство конкуренции, проложившее себе дорогу впоследствии в связи с завоеванием чужих рынков и развитием торговли, не производило еще заметного давления на заработную плату. К этому присоединялось постоянное усиление спроса на местном рынке, соответствовавшее медленному росту населения и поглощавшее все рабочие силы, а вследствие разбросанности жилищ рабочих по деревням сильная конкуренция их между собой была невозможна. В большинстве случаев ткач

был даже в состоянии кое-что откладывать про черный день и арендовать небольшой участок земли, который он и обрабатывал в часы досуга (а их у него было сколько угодно, так как он мог ткать когда и сколько хотел). Правда, земледelec он был плохой, его хозяйство велось небрежно и не приносило существенного дохода; но все же он не был, по крайней мере, пролетарием, он вбил, как выражаются англичане, столб в родную землю, он был оседлым человеком и в обществе стоял на одну ступень выше, чем теперешний английский рабочий.

Так рабочие вели растительное и уютное существование, жили честно и спокойно в мире и почете, и материальное положение их было значительно лучше положения их потомков; им не приходилось переутомляться, а работали они сколько хотели и все же зарабатывали сколько им было нужно; у них был досуг для здоровой работы в своем саду или поле, — работы, которая сама была уже для них отдыхом, — и, кроме того, они имели еще возможность принимать участие в развлечениях и играх соседей; а все эти игры в кегли, в мяч и т. п. содействовали сохранению их здоровья и укреплению тела. Они были большей частью сильными людьми, с хорошим телосложением, и в этом отношении мало или даже вовсе не отличались от своих соседей — крестьян. Дети их росли на здоровом деревенском воздухе и, если они помогали в работе родителям, то это все же случалось лишь время от времени, а о восьми или двенадцати-часовом рабочем дне их и речи не было.

Каков был моральный и интеллектуальный уровень этого класса, догадаться не трудно. Отрезанные от городов, где они никогда не бывали, так как пряжу и ткани они сдавали разъезжающим агентам, уплачивавшим им их заработную плату, — до того отрезанные, что даже люди, прожившие до старости вблизи городов, никогда их не видали вплоть до того момента, когда машины отняли у них заработок и заставили их искать работы в городе, — они в моральном и интеллектуальном отношении стояли на ступени развития местных крестьян, с которыми они большей частью были и непосредственно связаны благодаря своей небольшой аренде. В своем *сквайре* — самом значительном землевладельце местности — они видели своего естественного начальника, советовались с ним о своих делах, представляли на его суд свои мелкие споры и воздавали ему весь тот почет, который связан был с такими патриархальными отношениями. Они были «почтенными» людьми и хорошими отцами семейства, вели нравственную жизнь, потому что у них не было поводов вести безнравственную жизнь — кабаков

и домов терпимости вблизи их не было, а трактирщик, у которого они временами утоляли жажду, сам был почтенным человеком и большей частью крупным арендатором, любил хорошее пиво, строгий порядок и рано закрывал свое заведение. Весь день дети оставались дома при родителях и воспитывались в повиновении к ним и страхе божием. Патриархальные семейные отношения не нарушались до самой свадьбы детей; молодые люди росли в идиллической невинности и близости со своими товарищами по играм до самой свадьбы, и хотя половые сношения до брака были почти обычным явлением, но происходило это только тогда, когда обе стороны признавали за собой моральное обязательство ко вступлению в брак, и заключение брака снова приводило все в порядок. Одним словом, тогдашние английские промышленные рабочие жили, мыслили и чувствовали так же, как это мы встречаем и теперь еще в некоторых местностях Германии, в полной замкнутости и обособленности, без духовной деятельности и без резких колебаний в условиях своей жизни. Они редко умели читать и еще реже писать, посещали регулярно церковь, не занимались политикой, не конспирировали, не рассуждали, забавлялись физическими упражнениями, с благочестием, привитым с детства, слушали чтение Библии и, при своем непритязательном смирении, прекрасно уживались с другими классами общества, стоявшими выше их на общественной лестнице. Но зато они были мертвы в духовном отношении, жили только ради своих мелких частных интересов, ради своего ткацкого станка и садика, и не знали ничего о том мощном движении, которым за пределами их деревень было охвачено все человечество. Они чувствовали себя уютно в своей тихой растительной жизни и, не будь промышленной революции, они никогда не оставили бы этого образа жизни, правда весьма романтического и приятного, но все же недостойного человека. Они были не людьми, а рабочими машинами на службе немногих аристократов, до этого времени делавших историю. Промышленная революция лишь сделала все выводы из этого положения, окончательно превратив рабочих в простые машины и лишив их последнего остатка самостоятельной деятельности, но она тем самым заставила их думать и требовать достойного человека существования. Как во Франции политика, так в Англии промышленность и движение буржуазного общества вообще увлекли в водоворот исторических событий последние оставшиеся еще равнодушными к общечеловеческим интересам классы.

Первым изобретением, вызвавшим значительное изменение в положении английского рабочего, была прялка «Дженни» (Jenny) ткача

Джемса Харгривса из Стандхила близ Блекбурна в северном Ланкашире (1764). Эта машина была грубым прототипом позднейшей мюль-машины и приводилась в движение рукой, но вместо одного веретена, как в обыкновенной ручной прялке, имела 16—18 веретен, приводимых в движение одним работником. Вследствие этого явилась возможность поставлять гораздо больше пряжи, чем раньше: раньше на одного ткача приходились три прядильщицы и пряжи всегда не хватало, так что ткачу часто приходилось ждать, пока не накопится пряжа, а теперь пряжи всегда бывало больше, чем могли использовать наличные рабочие-ткачи. Спрос на ткани, который и без того рос, еще более усилился вследствие понижения цен на них, вызванного уменьшением, благодаря новой машине, издержек производства пряжи. Понадобилось больше ткачей, и заработная плата их повысилась. Так как ткацкий станок стал давать больше заработка ткачу, он в результате совершенно забросил свои земледельческие занятия и занялся исключительно ткацким делом. Около этого времени семья из четырех взрослых и двух детей, занятых наматыванием пряжи, могла, при десятичасовой работе в день, выработать в неделю четыре фунта стерлингов и часто даже больше, если дела шли хорошо и работы было достаточно; нередко бывало, что один ткач зарабатывал за своим станком два фунта стерлингов в неделю. Так исчезал постепенно класс ткачей-земледельцев и превращался в новый класс ткачей, живших только заработной платой, лишенных всякой собственности, даже кажущейся, в виде арендуемого клочка земли, и являвшихся, таким образом, *пролетариями* (working men). К тому же изменились и старые отношения прядильщика к ткачу. До сих пор работа прядильщика и ткача совершалась там, где это было возможно, — под одной крышей. Теперь, когда для новой прялки «Дженни» в такой же мере потребовалась сильная рука, как и для ткацкого станка, начали заниматься пряжей и мужчины, и целые семьи стали жить одним прядением; другие же семьи, забросив устаревшую ручную прялку и не имея средств для покупки новой прялки, были вынуждены жить одним заработком, который давал отцу семейства его ткацкий станок. Отсюда началось столь бесконечно развившееся впоследствии разделение труда в ткачестве и прядении.

Но появление этой первой и весьма еще несовершенной машины вызвало к жизни не только *промышленный*, но и *земледельческий пролетариат*. До этих пор существовала масса мелких землевладельцев, так называемых именов, которые вели такую же непо-

движущую, растительную жизнь, как и их соседи ткачи-земледельцы. Они обрабатывали свой небольшой участок земли старыми несовершенными способами, унаследованными от отцов, и противились всякому новшеству с упорством, свойственным людям привычки, выработавшейся в целом ряде поколений. Было среди них и много мелких арендаторов, но не арендаторов в современном смысле этого слова, а людей, которые в силу договорной наследственной аренды или в силу обычая унаследовали от отцов и дедов свои мелкие участки и сидели на них так крепко, как будто бы они были их собственностью. Теперь, после того как промышленные рабочие забросили свои участки, освободилось много земли, и на ней-то свил себе гнездо новый класс *крупных арендаторов*, арендовавших пятьдесят, сто, двести и больше акров, так называемых *tenants-at-will*, т. е. арендаторов, которым каждый год могли отказать в аренде, но которые сумели повысить доходность земли лучшей обработкой и ведением более крупного хозяйства. Они были в состоянии продавать свои продукты дешевле, чем мелкий иомен, и этому последнему, так как его участок не мог уже кормить его, ничего более не оставалось, как продать его и купить себе или прялку «Дженни», или ткацкий станок, или наняться к крупному арендатору в качестве поденщика, сельского батрака. При своей прирожденной косности и небрежной обработке своего участка, унаследованной им от отца и деда, — обстоятельствах, выше которых он стать не мог, — ему ничего другого и не оставалось делать, раз ему приходилось конкурировать с людьми, обрабатывавшими свою землю на более разумных основаниях и имевшими на своей стороне преимущества, которые дают крупное хозяйство и затрата капитала на увеличение производительности почвы.

Но на этом развитие промышленности не остановилось. Некоторые капиталисты стали устанавливать прялки «Дженни» в больших зданиях и приводить их в движение *силой воды*; это дало им возможность сократить число рабочих рук и продавать пряжу дешевле, чем прядильщику, работавшему в одиночку и приводившему машину в движение собственными руками. Прядильная машина постоянно совершенствовалась, так что приходилось очень часто переделывать машины или даже совсем заменять их новыми; и если капиталист, применявший водяную силу, мог еще держаться даже при несколько устаревших машинах, то для прядильщика-одиночки это было невозможно. Так зародилась фабричная система, которая еще дальше развилась с изобретением ватер-машины. Изобрел ее в 1767 г. Ричард Аркрайт, цырюльник из *Престона* в северном Ланкашире. Рядом с паровой машиной эта машина есть важнейшее изобретение

XVIII столетия в области механики. Она с самого начала была рассчитана только на *механический* двигатель и построена на совершенно новых принципах. Соединив особенности прялки «Дженни» с машиной Аркрайта, Самуэль Кромптон из Фервуда (в Ланкашире) изобрел в 1785 г. мюль-машину, и, когда около того же времени Аркрайт изобрел *чесальную* и *грубопрядильную* машину, хлопчатобумажная пряжа стала изготовляться только фабричным путем. Мало-по-малу стали применять эти машины, сделавши в них некоторые незначительные изменения, и к прядению шерсти, а впоследствии (в первом десятилетии XIX столетия) и к прядению льна, вытесняя таким образом и отсюда ручную работу. Но и на этом дело не остановилось. В последние годы XVIII столетия д-р Картрайт, сельский священник, изобрел *механический ткацкий станок* и около 1804 г. так его усовершенствовал, что он с успехом мог конкурировать с ручными ткачами. Значение этих машин удвоилось благодаря *паровой машине*, изобретенной Джемсом Уаттом в 1784 г. и приспособленной с 1785 г. к приведению в движение прядильных станков.

Благодаря этим изобретениям, которые с этих пор с каждым годом все более и более совершенствовались, была решена *победа машинной работы над ручной* в главных отраслях английской промышленности, и вся последующая история этой последней повествует лишь о том, как ручная работа уступала машине одну позицию за другой. В результате — с одной стороны, быстрое падение цен на все мануфактурные товары, расцвет торговли и промышленности, завоевание почти всех незащищенных высокими пошлинами чужих рынков, быстрый рост капиталов и национального богатства, а с другой — еще более быстрый рост пролетариата, исчезновение у рабочего класса всякого имущества, всякой уверенности в заработке, деморализация, политические волнения и все те неприятные имущим классам Англии факты, о которых мы расскажем ниже. После того как мы видели выше, какой переворот в общественных отношениях низших классов вызвала такая несовершенная машина, как прялка «Дженни», нас не удивят результаты, достигнутые целой системой приспособленных одна к другой сложных машин, получающих от нас сырой материал и возвращающих нам готовую ткань.

Проследим однако же развитие английской промышленности ¹

¹ По книге Porter, Progress of the Nation, London 1836 — I т., 1838 — II т., 1843 — III т. (из официальных данных) и по другим большей частью тоже официальным источникам. — (1892) Данный здесь исторический очерк промышленного развития в некоторых подробностях не совсем точен, но в 1843—1844 гг. лучших источников не было.

немного подробнее, начавши с главной ее отрасли—*хлопчатобумажной промышленности*. В 1771—1775 г.г. в среднем ежегодно ввозилось в Англию *менее* 5 миллионов фунтов сырого хлопка; в 1841 г. было ввезено 528 миллионов, а в 1844 г. ввоз составил не менее 600 миллионов фунтов. В 1834 г. Англия вывезла 556 миллионов ярдов хлопчатобумажной ткани, 76½ миллионов фунтов хлопчатобумажной пряжи и на 1 200 000 фунтов стерлингов хлопчатобумажных вязаных изделий. В том же году работало в хлопчатобумажной промышленности свыше 8 миллионов веретен, 110 000 механических и 250 000 ручных ткацких станков, не считая ватерных машин Аркрайта, и, по вычислениям Мак-Куллоха, во всем Соединенном королевстве этой отрасли промышленности питалось прямо или косвенно почти 1½ миллиона человек, из которых на фабриках работало 220 000 человек; двигательной энергии на этих фабриках расходовалось: паровой — 33 000 лошадиных сил и водяной — 11 000. Теперь все это значительно увеличилось, так что можно смело принять, что в 1845 г. число рабочих и машин, а также количество двигательной энергии, возросло наполовину сравнительно с 1834 г. Центром этой промышленности является Ланкашир, где она и зародилась; она насквозь революционизировала это графство, превратив его из глухой, плохо обработанной болотистой низменности в оживленную, полную кипучей деятельности местность, в течение восьмидесяти лет удесятирила его население и, как бы по мановению волшебного жезла, создала такие гигантские города, как *Ливерпуль* и *Манчестер* с населением в обоих в 700 000 человек, и их пригороды: *Болтон* (60 000 жит.), *Рочдель* (75 000 жит.), *Ольдгем* (50 000 жит.), *Престон* (60 000 жит.), *Аштон* и *Сталибридж* (40 000 жит.) и целый ряд других фабричных городов. Историк южного Ланкашира мог бы рассказать о величайших чудесах нового времени, но никто о них не говорит, и все эти чудеса создала хлопчатобумажная промышленность. Кроме того *Глазго* образует второй центр для хлопчатобумажного района в Шотландии, охватывающего *Ланаркшир* и *Ренфрюшир*, и здесь население центрального города возросло со времени введения этой промышленности с 30 000 до 300 000 человек. *Чулочно-вязальное производство Ноттингема* и *Дерби* получило новый толчок благодаря пониженным ценам на пряжу и второй толчок благодаря вязальной улучшенной машине, давшей возможность вязать сразу два чулка на одной машине. *Производство кружесев* тоже стало важной отраслью промышленности с 1777 г., когда была изобретена *тюлевая машина*; вскоре после этого *Линдлей* изобрел *кружесевную* машину, а затем *Хискот* (в 1809 г.)—

бобинетовую машину. Изготовление кружев было бесконечно упрощено, и спрос на них с их удешевлением настолько возрос, что теперь в этом производстве занято не менее 200 000 человек. Главными центрами его являются *Ноттингам*, *Лейстер* и западная Англия (*Уилтшир*, *Девоншир* и др.). Такое же развитие произошло в отраслях труда, находящихся в зависимости от хлопчатобумажной промышленности, каково белиение, крашение и печатание. Благодаря замене кислорода *хлором* в белинии, благодаря быстрому развитию химии, оказавшей влияние на *крашение* и *печатание*, и целому ряду самых блестящих изобретений в области механики, повлиявших на развитие печатания, и, наконец, благодаря усилению спроса на эти работы, обусловленному ростом хлопчатобумажной промышленности, в этих отраслях промышленности произошел небывалый расцвет.

Такая же усиленная деятельность началась и в *переработке шерсти*. Она и до этих пор была одной из главных отраслей английской промышленности, но производство прежних лет — ничто в сравнении с тем, что производится теперь. В 1782 г. весь запас шерсти предыдущих трех лет лежал переработанным за недостатком рабочих и продолжал бы лежать, если бы на помощь не подоспели новоизобретенные машины, которые выпрямили его. Приспособление этих машин к прядению шерсти увенчалось блестящим успехом. С тех пор шерстяная промышленность начала так же быстро развиваться, как и хлопчатобумажная. В 1738 г. в *западном* округе *Йоркшира* было произведено 75 000 кусков шерстяных тканей, а в 1817 г. — 490 000, и развитие шерстяной промышленности пошло таким быстрым темпом, что в 1834 г. было произведено на 450 000 кусков ткани больше, чем в 1825 г. — В 1801 г. был переработан 101 миллион фунтов шерсти (из них 7 миллионов привозной), а в 1835 г. было переработано 180 миллионов фунтов (из них 42 миллиона привозной). Главным центром этой промышленности является западный округ Йоркшира, где в *Брэдфорде* длинная английская шерсть перерабатывается в шерсть для вязания и т. п., а в остальных городах, как *Лидс*, *Галифакс*, *Геддерсфильд* и др., короткая шерсть перерабатывается в крученую пряжу и идет на производство сукна; далее, в соседней с Йоркширом части Ланкашира, в окрестностях Рочделя, на ряду с выработкой хлопчатобумажных изделий производится много фланели и, наконец, в *западной Англии* производятся самые тонкие сукна. Интересен здесь также рост населения:

		в 1801 г.	в 1831 г.
Брэдфорд	имел	29 000 жит.	77 000 жит.
Галифакс	»	63 000 »	110 000 »

	в 1801 г.	в 1831 г.
Геддерсфильд имел	15 000 жит.	34 000 жит.
Лидс »	53 000 »	123 000 »
и весь западный округ		
Йоркшира имел.	564 000 »	980 000 »

С 1831 г. население это должно было возрасти по меньшей мере на 20 — 25%. В 1835 г. прядением шерсти было занято во всех трех королевствах 1 313 фабрик с 71 300 рабочих; но последние составляли лишь небольшую часть населения, прямо или косвенно жившего переработкой шерсти, и в это число не входят все ткачи.

Льняная промышленность развилась позже, ибо здесь естественные свойства сырья значительно затрудняли применение прядильных машин. Попытки подобного рода применения были, правда, предприняты в Шотландии в последние годы XVIII столетия, но только в 1810 г. французу *Жирарду* удалось практически поставить машинное прядение льна, и даже его машины получили подобающее им признание на британской почве лишь после улучшений, введенных в них в Англии, и благодаря обширному применению, которое они нашли в *Лидсе*, *Дэнди* и *Бельфасте*. Но с этих пор началось быстрое развитие льняной промышленности Англии. В 1814 г. было ввезено в Дэнди 3 000 тонн¹ льна, в 1833 г. — 19 000 тонн льна и 3 400 тонн пеньки. Вывоз ирландских полотен в Великобританию возрос с 32 миллионов ярдов (1800 г.) до 53 миллионов (1825 г.), большая часть была вывезена далее; вывоз английских и шотландских льняных тканей возрос с 24 миллионов ярдов (1820 г.) до 51 миллиона (1833 г.). Число льнопрядилен доходило в 1835 г. до 347 с 33 000 рабочих; из них около половины было в южной Шотландии, свыше 60 — в западном округе Йоркшира (Лидс и окрестности), 25 — в Бельфасте (в Ирландии) и остальные — в Дорсетшире и Ланкашире. Лен ткнут в южной Шотландии, в некоторых местностях Англии, но в особенности в Ирландии.

С таким же успехом англичане занялись *обработкой шелка*. Материал они получали в виде готовой пряжи из южной Европы и Азии, и главной работой было кручение тонких нитей. До 1824 г. высокая пошлина на шелк сырец (4 шиллинга на фунт) сильно стесняла развитие английской шелковой промышленности, и только рынок Англии и ее колоний был к ее услугам благодаря покровительственным пошлинам. Теперь ввозная пошлина была понижена до одного пенса, и число фабрик тотчас же значительно

¹ Английская тонна равна 2 240 англ. фунтов, т. е. приблизительно 1 000 килограмм.

возросло. В течение одного года число тростильных веретен возросло с 780 000 до 1 180 000, и если торговый кризис 1825 г. на некоторое время остановил развитие этой отрасли промышленности, то уже в 1827 г. производство здесь значительно возросло, так как благодаря изобретательности и опыту англичан их шелкокрутильные станки были гораздо лучше примитивных станков их конкурентов. В 1835 г. Великобритания насчитывала 263 шелкокрутильные фабрики с 30 000 рабочих, устроенные большей частью в Чeshire (*Мекльсфильд, Конгльтон* и их окрестности), *Манчестере* и *Сомерсетшире*. Кроме того есть еще множество фабрик, занимающихся обработкой охлопков шелкового кокона: из них готовят особую пряжу (*spunsilk*), которым англичане снабжают даже парижские и лионские ткацкие фабрики. Ткут этот шелк главным образом в Шотландии (*Пэзли* и др.) и Лондоне (*Спитальфильдс*), но также и в Манчестере и некоторых других местах.

Но этот гигантский расцвет английской промышленности, начавшийся в 1760 г., не ограничился одной только текстильной промышленностью. Раз данный толчок к развитию распространился на все отрасли промышленной деятельности, и множество изобретений, не находившихся ни в какой связи с упомянутыми выше, получили именно в виду этого расцвета промышленности особенное значение. Далее, после того как было практически доказано огромное значение механической силы в промышленности, были приняты все меры, чтобы всесторонне использовать эту силу и извлечь из нее все возможные выгоды для отдельных изобретателей и фабрикантов; кроме того спрос на машины, топливо и сырье дал работу массе рабочих и целым отраслям промышленности. Только с появлением паровой машины обширные *угольные копи* Англии получили значение; только теперь зародилось *производство машин*, а с ним усилился интерес к *железным рудникам*, поставлявшим сырой материал для машин; повышенное потребление шерсти подняло английское овцеводство, а усилившийся ввоз шерсти, льна и шелка вызвал рост английского торгового флота. Более всего усилилось *производство железа*. Богатые железом рудники Англии до этих пор мало разрабатывались. При плавлении железной руды всегда употребляли древесный уголь, который, по мере истребления лесов и развития хлебопашества, становился все дороже и реже. Только в XVIII столетии стали употреблять для этого смешанный с серою каменный уголь (кокс), а с 1780 г. был открыт новый метод превращать расплавленное коксом железо, из которого до тех пор получали только чугуны, — в ковкое железо. Этот метод, заключающийся в извлечении

углерода, примешивающегося во время плавления к железу, называется пудлингованием. Он открыл совершенно новую арену деятельности для английской железодельательной промышленности. Стали строить доменные печи в 50 раз большими, чем раньше, при помощи вдувания горячего воздуха было упрощено плавление руды, и производство железа так удешевилось, что оказалось возможным массу вещей, которые раньше изготовлялись из дерева или камня, делать из железа. В 1788 г. *Томас Пен*, известный демократ, построил в Йоркшире первый железный мост, за которым последовало множество других, и в настоящее время почти все мосты, и в особенности железнодорожные, делаются из чугуна, а в Лондоне построен даже мост (Саутверкский) из этого материала через Темзу; железные столбы, железные подставки для машин и т. д. стали обычным явлением, а с введением газового освещения и железных дорог английскому железодельательному производству открылись новые области сбыта. Постепенно стали делать при помощи машин винты и гвозди. В 1790 г. *Гентсман* из Шеффилда открыл способ литья стали, значительно упростивший работу и сделавший возможным производство новых дешевых товаров. Только теперь, благодаря лучшему качеству материала, усовершенствованным орудиям производства, новым машинам и детальному разделению труда, фабрикация металлических изделий в Англии достигла значительных размеров. Население *Бирмингама* возросло с 73 000 (1801 г.) до 200 000 (1844 г.), население *Шеффилда* возросло с 46 000 (1801 г.) до 110 000 (1844 г.), и потребление угля в одном этом последнем городе достигло в 1836 г. 515 000 тонн. В 1805 г. было вывезено 4 300 тонн железных товаров и 4 600 тонн необработанного железа, а в 1834 г. — 16 200 тонн железных товаров и 107 000 тонн необработанного железа, и, наконец, вся добыча железа в 1740 г. не превышала 17 000 тонн, а в 1834 г. достигла почти 700 000 тонн. На одно плавление железной руды тратится ежегодно свыше 3 миллионов тонн угля, и трудно себе представить, какое важное значение приобрели в течение последних шестидесяти лет угольные копи. В настоящее время эксплуатируются все английские и шотландские копи, и одни копи Нортемберленда и Дургамы доставляют ежегодно свыше 5 миллионов тонн для экспорта и занимают 40 — 50 тысяч рабочих. По сведениям «*Durham Chronicle*» эксплуатировалось в двух названных графствах:

	в 1753	году	14	копей.
	» 1800	»	40	»
	» 1836	»	76	»
и	» 1843	»	130	»

Притом все копи эксплуатируются теперь гораздо энергичнее, чем раньше. Подобная же усиленная деятельность наблюдается в *оловянных, медных и свинцовых рудниках*, и рядом с развитием *фабрикации стекла* зародилась новая отрасль промышленности — гончарное производство, получившее особое значение около 1763 г. благодаря *Иосии Уеджсвуду*. Он построил всю фабрикацию гончарных изделий на научных принципах, способствовал улучшению вкуса и основал гончарные заводы (potteries) в *северном Стаффордшире*, округе в восемь английских квадратных миль, бывшем раньше бесплодной пустыней, а теперь усеянном фабриками и жилыми домами и дающем пропитание 60 000 человек.

В этот водоворот было вовлечено решительно все. Произошел полный переворот и в земледелии, и дело не только в том, что, как мы это видели выше, владеть землей и обрабатывать ее стали другие люди: произошли и другого рода перемены. Крупные арендаторы затрачивали капитал на улучшение почвы, сносили ненужные перегородки, осушили и удобряли почву, употребляли лучшие орудия и вели систематическое плодoperемное хозяйство (cropping by rotation). Воспользовались они и прогрессом науки; сэр *Г. Деви* с успехом применил химию к земледелию, широко использованы были в земледелии успехи механики. К тому же спрос на земледельческие продукты с ростом населения так возрос, что от 1760 до 1834 года было превращено в пашню 6 840 540 акров невозделанной земли, и при всем том Англия из страны, вывозящей хлеб, стала страной, ввозящей его.

Такая же кипучая деятельность проявилась и в устройстве *путей сообщения*. От 1818 до 1829 года в Англии и Уэльсе было построено 1 000 английских миль шоссеиных дорог, нормальной ширины в 60 футов, и почти все старые шоссе были перестроены по системе *Мак-Адама*. В *Шотландии* ведомство общественных работ с 1803 г. соорудило 900 миль шоссеиных дорог и построило свыше 1 000 мостов, благодаря чему жители горной Шотландии сразу были приобщены к цивилизации. До этих пор горцы занимались большей частью контрабандой и браконьерством; теперь они стали трудолюбивыми земледельцами и ремесленниками, и хотя были устроены гальские школы для сохранения их языка, гальско-кельтское наречие и нравы стали быстро уступать влиянию английской цивилизации. То же самое происходило и в *Ирландии*. Между графствами *Норк, Лимерик и Керри* лежала до сих пор пустынная местность без всяких проезжих дорог, бывшая вследствие своей непроходимости местом убежища для всех преступников, как и оплотом кельто-

ирландской национальности в южной Ирландии; эту местность прорезали дорогами и таким образом открыли доступ цивилизации в эту глушь. Вся Великобритания и в особенности Англия, имевшая лет шестьдесят тому назад такие же плохие дороги, как тогдашняя Германия и Франция, покрыта теперь сетью прекраснейших шоссе, и все они, как и почти все в Англии, являются делом рук частных лиц, так как государство ничего или почти ничего для этого не сделало.

До 1755 г. Англия почти не имела каналов. В 1755 г. в Ланкашире был проведен канал от *Сенки-Брука* до *С.-Геленса*, а в 1759 г. *Джесем Бриндли* построил первый большой канал, канал герцога Бриджуотера, идущий от Манчестера и окрестных каменноугольных копей к устью *Мерсея* и проведенный возле *Бартона* через реку *Ирвель* при помощи акведука. С этих пор началось устройство каналов, получивших особенно важное значение со времени Бриндли. Было устроено множество каналов по всем направлениям и многие реки были сделаны судоходными. В одной Англии имеется 2 200 миль каналов и 1 800 миль судоходных рек; в Шотландии был устроен *Каледонский канал*, прорезывающий всю страну в поперечном направлении, и в Ирландии тоже прорыто не мало каналов; все эти сооружения, подобно железным дорогам и шоссе, являются делом рук частных лиц и компаний.

Железные дороги были устроены лишь в последнее время. Первая крупная железная дорога была проведена от *Ливерпуля* до *Манчестера* (открыта в 1825 г.); с тех пор были соединены друг с другом рельсовыми путями все крупные города: Лондон с Саутгемптоном, Брайтоном, Дувром, Кольчестером, Кембриджем, Экзетером (через Бристоль) и Бирмингамом; Бирмингам с Глостером, Ливерпулем, Ланкастером (через Ньютон и Виган и через Манчестер и Больтон), далее с Лидсом (через Манчестер и Галифакс и через Лестер, Дерби и Шеффилд), а Лидс — с Гуллем и Ньюкастлом (через Йорк). Сюда следует присоединить еще множество мелких железных дорог, строящихся и проектированных линий, благодаря которым скоро сделается возможным совершить поездку из Эдинбурга в Лондон в один день.

Но пар произвел переворот в путях сообщения не только на земле, но и на воде. Первый пароход был спущен в 1807 г. на реке Гудзон, в Северной Америке, а в Великобритании первый пароход был спущен в 1811 г. на Клайде. С тех пор было в Англии построено свыше 600 пароходов, и в 1836 г. работало в английских гаванях свыше 500.

Такова в кратких чертах история английской промышленности за последние шестьдесят лет, — история, не знающая себе равной в анналах человечества. Лет шестьдесят или восемьдесят тому назад это была страна, как другие страны, с небольшими городами, незначительной и мало развитой промышленностью и с редким, преимущественно земледельческим населением. Теперь это страна, не знающая себе равной, со столицей, насчитывающей два с половиной миллиона жителей, с колоссальными фабричными городами, с промышленностью, снабжающей своими изделиями весь мир и производящей почти все при помощи самых сложных машин; трудолюбивое, интеллигентное и густое население, две трети которого заняты в промышленности, состоит теперь из совершенно других классов, — мало того: является совершенно другой нацией, с другими нравами, другими потребностями. Промышленная революция имеет для Англии то же значение, что политическая революция для Франции и философская — для Германии, и разница между Англией 1760 г. и Англией 1844 г., по меньшей мере, столь же велика, как разница между Францией старого порядка и Францией после июльской революции. Но самым важным детищем этого промышленного переворота является английский пролетариат.

Мы уже видели, как введение машин вызвало к жизни пролетариат. Быстрое развитие промышленности создало потребность в рабочих руках; заработная плата повышалась и вследствие этого толпы рабочих приходили из земледельческих округов в города. Население росло с невероятной быстротой, и почти весь прирост приходился на рабочий класс. К тому же только с началом XVIII столетия в Ирландии наступил порядок; и здесь население, уменьшившееся вследствие варварства англичан во время прежних волнений, быстро стало увеличиваться в особенности с тех пор, как расцвет промышленности стал привлекать множество ирландцев в Англию. Так возникли крупные фабричные и торговые города Великобритании, в которых, по меньшей мере, три четверти населения принадлежит к рабочему классу, а мелкая буржуазия состоит только из лавочников и очень, очень немногих ремесленников. Современная промышленность лишь потому так разрослась, что она заменила инструменты машинами, мастерские фабриками и вследствие этого превратила трудовые элементы среднего класса в рабочий пролетариат и прежних крупных торговцев в фабрикантов; далее она оттеснила мелкую буржуазию и разделила все население на два противоположных лагеря — рабочих и капиталистов. Но то самое, что произошло в области индустрии в тесном смысле слова, совер-

шилось и в области ремесла и даже торговли. Вместо прежних мастеров и подмастерьев появились крупные капиталисты и рабочие, не имеющие никакой надежды выйти из своего класса; ремесло превратилось в фабричное производство, стало строго проводиться разделение труда, и мелкие мастера, не имевшие возможности конкурировать с крупными мастерскими, были оттеснены в ряды пролетариата. Но в то же время с уничтожением прежнего ремесленного производства и с исчезновением мелкой буржуазии для рабочего пропадает всякая возможность стать самому буржуа. До этих пор у него всегда была надежда осесть где-нибудь, обзавестись своей мастерской и даже впоследствии нанять подмастерьев; теперь, когда сами мастера вытеснены фабрикантами, когда для устройства самостоятельного дела необходимы большие капиталы, пролетариат стал вполне определенным устойчивым классом населения, между тем как раньше состояние пролетария часто бывало лишь этапом на пути к состоянию буржуа. Кто теперь рождается рабочим, должен остаться им навсегда. Вот почему лишь теперь пролетариат был в состоянии создать свое собственное самостоятельное движение.

Таким образом выросла эта громадная, наполняющая теперь всю Британскую империю, масса рабочих, социальное положение которых с каждым днем все более и более привлекает внимание цивилизованного мира.

Вопрос о положении рабочего класса, т. е. о положении огромного большинства английского народа, вопрос о том, какова должна быть участь этих миллионов пролетариев, потребляющих сегодня то, что они заработали вчера, создавших своими изобретениями и своим трудом величие Англии, с каждым днем все более сознающих свою силу и все настоятельнее требующих своей доли в выгодах, доставляемых существующим общественным строем, — этот вопрос со времени билля о реформе стал вопросом национальным. Все мало-мальски важные парламентские дебаты могут быть сведены к этому вопросу, и если средний класс Англии до настоящего времени этого признать не хочет, если он пытается замолчать этот великий вопрос и выставить свои собственные интересы как интересы истинно национальные, то это ему совсем не удастся. С каждой парламентской сессией рабочий класс приобретает все больше значения, а интересы средних классов отступают на задний план, и хотя средний класс является главной и даже единственной силой в парламенте, но все же последняя сессия 1844 года представляла собой непрерывный ряд дебатов по рабочему вопросу (билль о бедных, фабричный билль, билль об отношениях между господами и слугами). Томас

Денкомб, защитник рабочего класса в нижней палате, был центральной фигурой сессии, между тем как либеральный средний класс, с его хлопотами относительно отмены пошлин на хлеб, и радикальный средний класс, с его предложениями об отказе платить налоги, играли очень жалкую роль. Даже дебаты по поводу Ирландии были по существу лишь дебатами о положении ирландского пролетариата и средствах ему помочь. Да и давно уже пора английскому среднему классу сделать уступки рабочим, которые не просят, а угрожают и требуют; быть может скоро будет уже слишком поздно.

При всем том средний класс Англии и в особенности фабриканты, обогащающиеся на счет нужды рабочих, и знать не хотят об этой нужде. Считая себя самым могущественным классом, — классом, представляющим нацию, они стыдятся вскрыть пред глазами мира большое место Англии; они не хотят признать бедственное положение рабочих, потому что *именно они*, имущий промышленный класс, должны нести моральную ответственность за это бедственное положение. Отсюда та насмешливая улыбка, которой образованные англичане — а ведь только они, т. е. средний класс, известны на континенте — отвечают на все разговоры о положении рабочих; отсюда полное невежество во всем, что касается рабочих, которое столь характерно для всего среднего класса; отсюда те смешные промахи, которые делает этот класс в парламенте и вне его, когда заходит речь о положении пролетариата; отсюда та веселая беззаботность, с которой он живет на земле, уходящей из-под его ног и грозящей каждый день обрушиться под ним, хотя близость этой катастрофы так же несомненна, как любой механический или математический закон; отсюда то поразительное обстоятельство, что англичане не имеют еще ни одного капитального труда о положении их рабочих, несмотря на то, что они уже бог знает сколько лет производят по этому вопросу всевозможные расследования. Но отсюда также и то глубокое возмущение всего рабочего класса от Глазго до Лондона против богачей, которые систематически эксплуатируют их и затем безжалостно предоставляют своей судьбе. Возмущение это очень скоро — момент этот можно почти что вычислить — выльется в революцию, в сравнении с которой первая французская революция и 1794 год покажутся детской забавой.

I.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЛЕТАРИАТ.

Изложенной выше историей зарождения пролетариата сам собой определяется порядок, в котором нам придется изучать его различные группы. Первые пролетарии появились в промышленности и были ее прямым детищем. Поэтому мы прежде всего обратимся к *промышленным рабочим*, т. е. тем, которые занимаются обработкой сырья. Добыча промышленного материала, т. е. сырья и топлива, получила значение лишь вследствие промышленного переворота и только тогда она могла создать новый пролетариат, а именно *рабочих в угольных копях и рудниках*. В третью очередь развитие промышленности повлияло на *земледелие* и в четвертую — на *Ирландию*, чем и определяется последовательность, с которой мы будем изучать соответствующие категории пролетариата. Наши исследования покажут нам также, что, за исключением разве ирландцев, уровень развития различных рабочих находится в прямом соответствии к положению их в промышленности, т. е., что промышленные рабочие всего лучше сознают свои интересы, рудокопы уже меньше, а земледельческие рабочие еще почти совсем их не сознают. Это различие в степенях развития мы найдем даже среди промышленного пролетариата: мы увидим, как фабричные рабочие — это самое старое детище промышленной революции — с самого своего появления и до настоящего времени составляют ядро рабочего движения и что остальные в такой же мере примыкали к движению, в какой их ремесло захватывается промышленным переворотом. Таким образом, на этом примере Англии, на этом соответствии между рабочим движением и промышленным развитием, мы научимся понимать историческое значение промышленности.

Но так как в настоящий момент почти что весь промышленный пролетариат охвачен движением и положение отдельных групп именно в силу принадлежности их всех к промышленному пролетариату имеет много общего, мы сначала познакомимся с общим положением всего пролетариата, чтобы потом тем резче могла выступить та или другая особенность отдельных групп.

Уже выше мы показали в кратких чертах, что промышленность концентрирует собственность в руках немногих. Она требует крупных капиталов, при помощи которых она создает колоссальные предприятия и тем разоряет мелкую ремесленную буржуазию и, подчиняя себе силы природы, вытесняет с рынка ручной труд. Разделение труда, пользование силой воды и в особенности пара и применение машин — вот те три великих рычага, при помощи которых промышленность с середины XVIII столетия пытается распатать старые устои мира. Мелкая промышленность создала средний класс, а крупная создала рабочий класс и немногих избранных из среднего класса возвела на трон, но с тем, чтобы тем вернее когда-нибудь их низвергнуть. Покуда же остается неоспоримым и легко объяснимым фактом, что многочисленная мелкая буржуазия «доброе старого времени» с развитием промышленности исчезла и ее место заняли богатые капиталисты, с одной стороны, и бедные рабочие — с другой.¹

Но централизующая тенденция промышленности на этом не останавливается. Население так же централизуется, как и капитал, что вполне естественно, ибо в промышленности человек, рабочий, рассматривается лишь как своего рода капитал, которому фабрикант за пользование им платит проценты под видом заработной платы. Крупные промышленные предприятия требуют совместного труда многих рабочих в одном помещении; последние должны жить вместе, и уже при незначительной фабрике они образуют целый поселок. У них есть известные потребности, и для их удовлетворения требуются другие люди: всевозможные ремесленники, портные, сапожники, пекари, каменщики, столяры и т. п. Жители этого поселка и в особенности молодое поколение свыкаются с фабричной работой, срастаются с ней, и, когда первая фабрика не может, как это вполне естественно, дать работу всем, то заработная плата понижается, и в результате возникают новые фабрики. Так поселок превращается в маленький город, и маленький город — в большой. Чем больше город, тем выгоднее в нем селиться: под рукой железные дороги, каналы и шоссе; все больше становится обученных рабочих; благодаря конкуренции в строительном деле и в производстве машин организация новых предприятий там, где все это под рукой, обходится дешевле, чем в более отдаленных местностях,

¹ См. мои «Очерки критики политической экономии» в «Немецко-французских летописях». Здесь я исхожу из «свободной конкуренции», но промышленность есть лишь практика свободной конкуренции, а эта последняя — лишь принцип промышленности.

куда надо еще перевозить строительный материал и машины, строительных и фабричных рабочих; есть рынок, биржа, куда собираются покупатели; имеется непосредственное сношение с рынками сырья и сбыта готовых товаров. Отсюда поразительно быстрое увеличение количества крупных фабричных городов. Правда, и деревня имеет преимущество перед городом, заключающееся в том, что в ней труд обыкновенно дешевле. Таким образом, существует постоянная конкуренция между деревней и фабричным городом, и если сегодня преимущество на стороне города, то завтра заработная плата в деревне падает настолько низко, что становится более выгодным строить новые фабрики в деревне. Но централизирующая тенденция промышленности остается при этом в полной силе, и всякая новая фабрика, построенная в деревне, носит в себе зародыш фабричного города. Если бы эта бешеная пляска промышленности могла так продолжаться еще сотню лет, каждый из промышленных округов Англии стал бы одним громадным фабричным городом, и Манчестер и Ливерпуль, разрастаясь навстречу друг другу, встретились бы где-нибудь у Уоррингтона или Ньютона. Эта централизация населения идет тем же путем и в торговле, и потому несколько гаваней, как Ливерпуль, Бристоль, Гулль и Лондон, монополизуют почти всю морскую торговлю Великобритании.

Так как в этих крупных городах промышленность и торговля наиболее развиты, то последствия этого развития по отношению к пролетариату здесь наиболее ясно выступают наружу. Здесь централизация богатств достигает наиболее высокого развития; обычаи и условия жизни доброго старого времени здесь всего основательнее исчезли; здесь дело зашло так далеко, что слова *old merry England* не возбуждают более никаких представлений, потому что *old England* никто ничего не знает даже из воспоминаний и рассказов стариков. Здесь имеется только богатый и бедный класс, потому что мелкая буржуазия с каждым днем все более исчезает. Она, этот наиболее неподвижный некогда класс, стала теперь классом наиболее подвижным; она состоит еще из немногих обломков прошлой эпохи и из людей, мечтающих о богатствах, в полном смысле рыцарей наживы и спекуляции, из которых на 99 банкротов обогащается один, причем и из этих 99 более половины живет только банкротством.

Но огромное большинство в этих городах образует пролетариат, и мы рассмотрим в следующих главах, как ему живется, какое влияние оказывают на него крупные города.

II.

КРУПНЫЕ ГОРОДА.

Такой город, как Лондон, где можно блуждать часами, не приходя даже к началу конца, не встретив ни малейшего признака, указывающего на близость деревни, есть нечто совсем особенное. Эта колоссальная централизация, это скопление двух с половиной миллионов людей в одном месте, увеличили силу этих двух с половиной миллионов людей в сотню раз; они превратили Лондон в главный коммерческий город мира, создали гигантские доки и собрали те тысячи кораблей, которые всегда покрывают Темзу. Я не знаю ничего более внушительного, чем вид Темзы, когда с моря подъезжаешь к Лондонскому мосту. Эти массы домов, верфи с обеих сторон и в особенности со стороны Вульвича, бесчисленное множество кораблей вдоль обоих берегов, все плотнее и плотнее смыкающихся и к концу оставляющих лишь узенький проход по середине реки, по которому постоянно снуют сотни пароходов, — все это столь величественно, столь грандиозно, что и опомниться нельзя, и приходится изумляться величию Англии еще раньше, чем вступить на ее почву.¹

Но каких жертв все это стоило, узнаешь лишь впоследствии. Только пространствовав несколько дней по главным улицам, с трудом пробиваясь сквозь толпы людей, бесконечные ряды экипажей и телег, только попавши в «худшие кварталы» мирового города, начинаешь замечать, что лондонцы пожертвовали лучшей частью своего существования, чтобы создать все эти чудеса цивилизации, которыми полон их город, что сотни сил, дремавших в них, были подавлены для того, чтобы немногие из них развились полнее и могли еще более увеличиться через соединение их с силами других. Уже в одной уличной толкотне есть что-то отталкивающее, — что-то, чем возмущается

¹ (1892 г.) Это писалось почти пятьдесят лет тому назад, в эпоху живописных парусных судов. В настоящее время такие суда — если они и являются в Лондон — остаются в доках, а Темзу покрывают закоптелые уродливые пароходы.

природа человеческая. Разве эти сотни тысяч, представители всех классов и всех сословий, толпящиеся на улицах, разве не все они — люди с теми же свойствами и способностями и тем же стремлением к счастью? И разве для достижения этого счастья у них не одни и те же средства и пути? И тем не менее они пробегают друг мимо друга, как будто у них нет ничего общего, как будто им и дела нет друг до друга, и только в одном между ними установилось безмолвное соглашение, что каждый, идя по тротуару, должен держаться справа, чтобы встречные толпы не задерживали друг друга, и при этом никому и в голову не приходит хотя бы взглянуть на встречаемых. Это жестокое равнодушие, это бесчувственное сосредоточение каждого человека исключительно около своих частных интересов тем противней и оскорбительней, чем более эти отдельные лица скопляются в одном небольшом пространстве. И если мы и знаем, что эта обособленность каждого, этот ограниченный эгоизм есть основной принцип нашего современного общества, то нигде это не выступает так обнаженно и нагло, как именно здесь, в сутолоке большого города. Раздробление человечества на монады, из которых каждая имеет свой особый жизненный принцип, свою особую цель, на этот мир атомов, здесь достигло высшего своего апогея.

И вот почему здесь открыто провозглашена социальная война, война всех против всех. Подобно нашему приятелю Штирнеру, люди смотрят друг на друга только как на субъектов, которые могут быть им полезными. Каждый эксплуатирует другого, и при этом получается тот результат, что сильный топчет ногами более слабого и что небольшая кучка сильных, т. е. капиталисты, присваивает себе все, а массе слабых, т. е. беднякам, едва оставляет одну только жизнь.

И то, что происходит в Лондоне, происходит и в Манчестере, и в Бирмингеме, и в Лидсе, происходит во всех крупных городах. Везде варварское равнодушие, беспощадный эгоизм, с одной стороны, и беспредельная нищета — с другой, везде социальная война, дом каждого в осадном положении, везде взаимный грабеж под охраной закона, и все это делается с такой бесстыдной откровенностью, что приходишь в ужас от последствий нашего общественного строя и удивляешься только тому, что вся эта безумная скачка может все еще продолжаться.

Так как оружием в этой социальной войне является капитал, прямой или косвенный владелец средств производства и потребления, то ясно, что все невыгоды такого положения падают на бедняка. О нем не заботится никто; брошенный в этот водоворот, он должен

пробиваться собственными силами, как умеет. Когда ему улыбнется счастье найти работу, т. е. когда буржуазия оказывает ему честь согласием обогащаться за счет его труда, его ждет заработная плата, едва хватающая на то, чтобы удержать душу в теле; если же он не достанет работы, он может красть, если не боится полиции, или умереть с голода, и полиция позаботится о том, чтобы он умер тихо, не нарушая покоя буржуазии. За время моего пребывания в Англии умерло прямо от голода при самых возмутительных условиях по меньшей мере 20 — 30 человек, и при осмотре трупов редко находилось жури, которое осмелилось бы открыто признать голодную смерть. Как бы ни были ясны, как бы ни были недвусмысленны свидетельские показания, буржуазия, из которой выбиралось жури, всегда находила лазейку, чтобы уклониться от страшного вердикта: «умер от голода». Буржуазия *не может* в таких случаях сказать правду: иначе она произнесла бы свой собственный приговор. Но множество людей умерло от голода косвенно (и таких еще больше, чем умерших прямой голодной смертью): у них постоянное недоедание вызывало смертельные болезни, оно настолько ослабило их, что случаи, которые при других условиях сошли бы довольно благополучно, приводили к тяжелым заболеваниям и смерти. Английские рабочие называют это социальным убийством и обвиняют в этом непрерывном преступлении все общество. Разве они не правы?

Правда, умирают от голода всегда только отдельные личности. Но какая же гарантия у рабочего, что завтра не наступит его черед? Кто гарантирует ему прочность его положения? Кто ему поручится, что, если завтра хозяин по какому-либо поводу или без всякого повода откажет ему от места, он сможет с семьей как-нибудь перебиться до тех пор, покуда он не найдет другого хозяина, который «даст ему хлеб»? Кто поручится рабочему в том, что доброго желания работать будет достаточно, чтобы найти эту работу, что честность, прилежание, бережливость и все прочие добродетели, рекомендуемые ему мудрой буржуазией, на самом деле приведут его к счастью? Никто. Он знает, что сегодня у него кое-что есть, и не от него зависит, будет ли он иметь что-нибудь завтра; он знает, что каждый пустяк, доброе или недоброе расположение духа работодателя, всякая торговая заминка могут снова толкнуть его в тот водоворот, из которого он на время спасся и в котором трудно, часто даже невозможно, оставаться на поверхности. Он знает, что если у него сегодня есть возможность жить, то он далеко еще не может быть уверен в том, что она у него будет и завтра.

Перейдем, однако, к более подробному исследованию того состояния, в которое приводит немущий класс социальная война. Рассмотрим, какое вознаграждение рабочих получает у общества за свою работу в виде жилища, одежды и пищи, какие условия существования общество предоставляет тем, от кого больше всего зависит существование всего общества. Начнем с жилищ.

В каждом крупном городе имеется один или несколько «худших кварталов», в которых ютится рабочий класс. Правда, часто нищета ютится в тесных закоулках, в непосредственной близости от дворцов богачей, но в общем ей отведен совершенно отдельный участок, в котором, вдали от глаз более счастливых классов, она должна сама перебиваться, как умеет. Эти «худшие кварталы» имеют во всех городах Англии в общем один и тот же вид: это — сквернейшие дома в самой скверной части города, длинный ряд большей частью двухэтажных или одноэтажных кирпичных зданий, почти всегда расположенных в беспорядке, с жилыми подвалами во многих. Эти домики, состоящие из 3 — 4 комнат и одной кухни, называются коттэджами и составляют во всей Англии, за исключением некоторых частей Лондона, обычные жилища рабочего класса. Улицы здесь обыкновенно немощенные, грязные, с ухабами, покрыты растительными и животными отбросами, без сточных канав, но зато со стоячими лужами, распространяющими зловоние. Беспорядочное устройство всех таких частей города затрудняет вентиляцию улиц, и так как множество людей живет здесь на небольшом пространстве, то легко представить себе, какой здесь воздух. Но всему этому улицы в хорошую погоду служат еще для сушки белья: от одного дома к другому, поперек улицы, протягиваются веревки, на которых развешивается мокрое белье.

Изучим некоторые из этих рабочих кварталов. Начнем с Лондона,¹ с его знаменитого «вороньего гнезда» (гоокегу) Сент-Джайльа, которое теперь, наконец, прорезано несколькими широкими улицами и таким образом обречено на уничтожение. Расположена эта местность посреди самых населенных частей города, окружена блестящими, широкими улицами, по которым фланирует лондонский бомонд, в непосредственной близости от Оксфорд-стрита и Риджент-

¹ Когда это описание было уже составлено, мне попала статья о рабочих кварталах Лондона в «Illuminated Magazine» (октябрь, 1844), которая во многих местах почти дословно совпадает с моим описанием и по существу везде вполне с ним сходится. Заглавие статьи «The Dwellings of the Poor; from the note-book of an M. D.» (Medicinae Doctor).

стрита, от Трафальгар-сквера и Странда. Это — беспорядочная куча высоких трех- или четырехэтажных домов с узенькими, кривыми и грязными улицами, на которых, по меньшей мере, столько же жизни, сколько на главных улицах города, с тем только различием, что здесь живет исключительно рабочий класс. На улицах идет торговля; расположенные здесь корзины с овощами и фруктами — все это, конечно, дурного качества и почти несъедобно — еще более загромождают улицу, и от всего этого, как и от мясных лавок, исходит отвратительное зловоние. Дома битком набиты жильцами от подвала до самой крыши, грязны снаружи и внутри так, что кажется, что ни один человек не пожелает в них жить. Но все это ничто в сравнении с домами в тесных дворах и переулках между улицами, куда можно попасть через крытые ходы между домами и где грязь и ветхость не поддаются описанию; в них нет почти ни одного целого оконного стекла, стены осыпаются, дверные косяки и оконные рамы сломаны и еле держатся, двери сбиты из старых досок или совершенно отсутствуют, ибо в этом воровском квартале нечего украсть, а потому и двери не нужны. Повсюду кучи мусора и волю, выливаемые у дверей помой образуют зловонные лужи. Здесь живут беднейшие из бедняков, рабочие, получающие самую низкую плату, вперемежку с ворами, мошенниками и жертвами проституции. Большинство из них — ирландцы или потомки ирландцев, и те, кто сам еще не погиб в водовороте морального упадка, окружающем его — с каждым днем опускается все ниже, с каждым днем все более и более теряет силы противиться деморализующему влиянию нужды, грязи и ужасной среды.

Но Сент-Джайльз не единственный «худший квартал» Лондона. В огромном лабиринте улиц есть сотни и тысячи скрытых переулков и закоулков, дома которых слишком плохи для всех, кто имеет возможность жить по-человечески, и такие пристанища тягчайшей нищеты можно найти часто в непосредственной близости от прекрасных домов богачей. Так, недавно, по случаю осмотра мертвого тела, одна местность у самого Портман-сквера, у площади, представляющей очень приличное место для гулянья, была охарактеризована как местожительство «массы ирландцев, деморализованных грязью и нищетой». Так, на улицах, в роде Лонг-Акра и др., если не аристократических, то все же приличных, имеется множество подвалов, из которых выглядывают больные детские фигурки и полуголодные, одетые в отрепья женщины. В непосредственной близости от Дрюриленского театра, второго в Лондоне, расположены неко-

торые из худших улиц всего города: Чарльз-стрит, Кинг-стрит и Паркер-стрит, дома которых тоже битком набиты от подвалов до самых крыш бедными семьями. В приходах св. Иоанна и св. Маргариты в Вестминстере в 1840 г. жило, согласно данным «Журнала Статистического общества», 5 366 рабочих семейств в 5 294 «квартирах», если их можно так назвать; мужчины, женщины и дети, всего 26 830 человек, были скучены вместе, невзирая на возраст и пол, и из этих семейств три четверти имели лишь по одной комнате. В аристократическом приходе св. Георга на Ганноверском сквере жило, согласно тому же источнику, 1 465 рабочих семейств, всего до 6 000 человек, в тех же условиях; и здесь две трети всего числа семейств имели каждое не более одной комнаты. И как имущие классы эксплуатируют на законном основании нищету этих несчастных, у которых даже вора́м нечего ваять! В этих отвратительных домах у Дрюриленского театра, о которых мы уже упомянули выше, плата за наем выражается в следующих цифрах: две комнаты в подвале стоят 3 шиллинга в неделю, комната в первом этаже — 4 шиллинга, во втором этаже — $4\frac{1}{2}$ шиллинга, в третьем этаже — 4 шиллинга и под самой крышей — 3 шиллинга. Таким образом одни голодные обитатели Чарльз-стрита платят домовладельцам ежегодный налог в 2 000 фунтов стерлингов, а упомянутые выше 5 366 семейств в Вестминстере платят вместе 40 000 фунтов стерлингов.

Но самый крупный рабочий округ лежит к востоку от Тауэра, в Уайтчепеле и Бетналь-Грине, где сконцентрирована главная масса рабочих Лондона. Послушаем, что говорит о состоянии своего прихода Г. Ольстон, проповедник при церкви св. Филиппа в Бетналь-Грине. «Здесь 1 400 домов, в которых живет 2 795 семейств, или приблизительно 12 000 человек. Пространство, на котором живет это большое население, имеет в квадрате меньше 400 ярдов (1 200 футов), и при такой тесноте очень часто семья из мужа, жены, 4 — 5 детей, а иногда и бабушки и дедушки, ютится в одной комнате, в 10 — 12 кв. футов, и здесь работает, ест и спит. Я думаю, что до того момента, как епископ Лондонский обратил внимание общества на этот до чрезвычайности бедный приход, о нем здесь, в западной части города, столь же мало знали, как о дикарях Австралии и южной Океании. Стоит только увидеть собственными глазами страдания этих несчастных, посмотреть, как они скудно питаются, как они надломлены болезнью и безработицей, и перед нами раскроется такая картина беспомощности и нищеты, что нация, подобная нашей, должна была бы устыдиться одной возможности ее. Я был

священником близ Геддерсфильда в течение тех трех лет, когда фабрики всего хуже работали, и тем не менее я никогда там не видел такой беспомощной нищеты, как в Бетналь-Грине. В этом районе из десяти рабочих едва ли один имеет другую одежду, кроме своего рабочего костюма, да и тот состоит из одних лохмотьев; многие из них не имеют ничего, чем покрыться на ночь, кроме этих лохмотьев, а постелью им служит лишь мешок с соломой или стружками».

Уже из одного этого описания ясно, какой вид имеют сами квартиры. Для более полной картины мы последуем еще за некоторыми английскими чиновниками, которым приходится иногда попадать в такие пролетарские жилища.

По случаю осмотра серрейским следователем г. Картером трупа 45-летней Анны Гэлвей 14 ноября 1843 г., в газетах была описана квартира умершей. Она жила с своим мужем и 19-летним сыном в маленькой комнатке в Уайт-Лайон-Корте № 3, по Бермондсе-стриту в Лондоне; там не было ни кровати, ни постельных принадлежностей, ни какой-либо мебели. Она лежала мертвая рядом с своим сыном на куче перьев, рассыпанных по ее почти голому телу, ибо не было ни одеяла, ни простыни. Перья так крепко пристали ко всему телу, что врач не мог исследовать труп, пока его не очистили от перьев, и потом нашел, что он страшно худ и весь искусан насекомыми. Часть пола в комнате была сорвана, и вся семья пользовалась этим отверстием как ретирадным местом.

В понедельник 15 января 1844 г. два мальчика предстали пред полицейским судом на Уоршип-стрите, в Лондоне, по обвинению в том, что они, мучимые голодом, украли из лавки полусваренную говяжью голяшку и на месте же съели ее. Полицейский судья нашел нужным расспросить о подробностях и узнал от полицейских служащих следующее. Мать этих мальчиков была вдовой отставного солдата, впоследствии полицейского, и со смертью ее мужа, оставившего ее с девятью детьми, ей жилось очень плохо. Она жила в № 2, Пульс-плэс, Квакер-стрит, в Спитальсфильд, в большой нищете. Когда полицейский явился к ней, он нашел ее с шестью детьми буквально сбившимися в маленькой задней комнатке без всякой мебели, кроме двух старых плетеных стульев без сидений, маленького столика с двумя поломанными ножками, рабитой чашки и маленькой миски. На очаге ни следа огня, а в углу — куча лохмотьев в таком количестве, что одна женщина могла бы собрать все в своем переднике, но они служили постелью для всей семьи. Укрывались они своей нищенской одеждой. Бедная женщина рассказала ему, что

в прошлом году ей пришлось продать свою кровать, чтобы достать еды; простыни свои она оставила в бакалейной лавке в виде залога за съестные припасы, и ей пришлось вообще все продать, чтобы только достать хлеба. — Судья выдал этой женщине значительное пособие из кружки для бедных.

В феврале 1844 г. полицейскому судье Марльборо-стрита указали на вдову Терезу Бишоп, 60 лет, с ее 26-летней больной дочерью, которые нуждались в пособии. Жили они в № 5 на Броун-стрите у Гросвенорского сквера в небольшой задней комнате, размерами не больше шкафа, в которой совсем не было мебели. В одном углу лежала куча лохмотьев, служивших постелью для обеих; ящик служил одновременно столом и стулом. Мать кое-что зарабатывала уборкой комнат. Как показал хозяин квартиры, они жили в таком положении с мая 1843 г., постепенно все продавая или закладывая, и тем не менее никогда за квартиру не платили. — Судья выдал им один фунт стерлингов из кружки для бедных.

Я не думаю утверждать, что все лондонские рабочие живут в такой нищете, как упомянутые здесь три семейства. Я прекрасно знаю, что если одного общество совсем затоптало ногами, десятерым все же лучше живется, чем ему. Но я утверждаю, что в этом недостойном человека положении находятся тысячи трудолюбивых и честных семей, гораздо более честных, более достойных уважения, чем все богачи Лондона, взятые вместе, и что каждого пролетария — каждого без исключения — может постигнуть такая судьба без всякой вины с его стороны и вопреки всем его стараниям ее избежать.

При всем том счастлив еще тот, кто имеет хоть какой-нибудь кров, счастлив в сравнении с тем, кто вовсе не имеет приюта. В Лондоне 50 000 человек, просыпаясь утром, не знают, где они проведут следующую ночь. Счастливейшие из них, которым удастся к вечеру съэкономить пару пенсов, отправляются в так называемую ночлежку (lodginghouse), которых во всех больших городах множество, и где они за эти деньги находят себе приют. Но какой приют! Дом сверху донизу наполнен постелями; в каждой комнате четыре, пять, шесть постелей — вообще сколько влезет. В каждую постель набивают пять, шесть человек, тоже сколько влезет — больных и здоровых, старых и молодых, мужчин и женщин, пьяных и трезвых, как случится. Начинаются всевозможные споры, драки, избиения, а если товарищи по постели столкнутся между собой, то результаты бывают еще худшие: сговариваются относительно совместных краж или совершаются вещи столь животного

характера, что для них нет слов на языке цивилизованного человека. А те, которые не могут заплатить и за такой ночлег? Они спят, где находят место — в пассажах, под арками или в каком-нибудь углу, где полиция или домохозяева дадут им спать. Некоторым удается попасть в приюты, устроенные кое-где средствами частной благотворительности, другие спят в парках на скамейках, чуть ли не под окнами королевы Виктории. Послушаем, что газета «Таймс» писала в октябре 1843 года.

«Помещенный у нас вчера полицейский отчет показывает, что каждую ночь спит в парках в среднем человек пятьдесят, спит без всякой другой защиты от непогоды, кроме деревьев и арок некоторых мостов. Большинство из них молодые девушки, соблазненные солдатами, привезенные в столицу и оставленные там на произвол судьбы, на голод и нужду в большом городе, во всей беспечности и необузданности раннего порока.

«Это поистине ужасно. Бедность должна быть везде. Нужда везде найдет себе дорогу и во всем своем отвратительном виде всегда сумеет поселиться в сердце большого и богатого города. В тысяче узеньких улиц и переулков многомиллионной столицы должно быть всегда, как нам кажется, много страданий, много такого, что оскорбляет глаз, или такого, о чем никто не знает.

«Но что в черте, которою окружили себя богатство, веселье и блеск, что вблизи королевской резиденции Сент-Джемса, вблизи роскошного Бейсуотерского дворца, где встречаются старый и новый аристократические кварталы, где современное утонченное строительное искусство не оставило ни единой хижины бедняков, в местности, посвященной, кавалось бы, исключительно наслаждению богачей — что *здесь* поселились нужда и голод, болезни и всевозможные пороки со всеми их ужасами, со всем тем, что так разрушает и тело, и душу, — это поистине ужасно.

«Положение просто чудовищно. Величайшие наслаждения, которые могут доставить физическое здоровье, духовная деятельность, невинные удовольствия, и рядом с этим полнейшая нищета! Богатства, блестящие салоны, веселый смех, беспечный, но жестокий смех рядом с неведомыми страданиями нужды! Веселье, бессознательно, но жестоко издевающееся над страданиями стонущих внизу! Здесь столкнулись, здесь борются все противоречия, кроме порока, вводящего во искушение, и порока, поддающегося искушению... Но пусть все люди помнят одно: что в самом блестящем квартале богатейшего в мире города каждую ночь, зимою, из года в год можно найти женщин, молодых летами, но старых пороками и страч

даниями, отверженных обществом, сгнивающих заживо вследствие голода, грязи и болезней. Пусть люди это помнят и научатся действовать, а не рассуждать. Видит бог — арена для таких действий в настоящее время имеется очень широкая!»

Я выше говорил о ночлежных домах для бесприютных. Насколько они переполнены, пусть покажут следующие два примера. Во вновь устроенном «убежище для бесприютных» на Оппер-Огль-стрите, рассчитанном на 300 человек, провели одну или несколько ночей от 27 января, дня его открытия, до 17 марта 1844 г. — 2 740 человек; и хотя наступило более благоприятное время года, число желающих попасть туда и в приюты на Уайт-Кросс-стрит и Уоппинге сильно возрастало, и каждую ночь приходилось многим бесприютным отказывать в приеме за недостатком места. В другом центральном приюте Плейгауз-Ярда за первые три месяца 1844 г. перебивало каждую ночь в среднем 460 человек, а всего 6 681 человек, и было роздано 96 141 порция хлеба. При всем том, согласно заявлению руководящего этим приютом комитета, последний мог бы в некоторой степени удовлетворить желающих только в том случае, если бы был открыт для бевдомных еще приют в восточной части города.

Оставим Лондон, чтобы посетить по порядку остальные крупные города Соединенного королевства. Возьмем сначала *Дублин*, город, въезд в который со стороны моря настолько красив, насколько величествен въезд с моря в Лондон. Дублинская бухта считается самой красивой на британских островах, и ирландцы любят даже сравнивать ее с Неаполитанской бухтой. Сам город тоже очень живописен, и аристократическая часть его лучше и с большим вкусом распланирована, чем в каком-либо другом английском городе. Но зато и бедные кварталы Дублина представляют собой самое ужасное и отвратительное место в мире. Конечно, виноват здесь отчасти и национальный характер ирландцев, которые чувствуют себя уютно именно в грязи, но разве мы во всяком крупном городе Англии и Шотландии не можем найти тысячи ирландцев и разве всякое бедное население не должно постепенно погрузиться в такую же грязь? Если же это так, то нищета в Дублине ничуть не есть нечто специфическое, присущее только ирландскому городу, она есть нечто общее всем крупным городам всего мира. Нищенские кварталы Дублина рассеяны по всему городу, и грязь и запущенность домов и улиц превосходит всякие описания. Чтобы составить себе хоть некоторое представление о том, насколько здесь скучены бедняки, нужно знать, что, согласно докладу инспекторов

рабочего дома, на Барраль-стрите¹ в 1817 г. жило в 50 домах с 390 комнатами — 1 318 человек, а на Чёрч-стрите и в ее окрестностях жило в 71 доме с 393 комнатами — 1 997 человек; согласно тому же докладу, «в этом и прилегающем квартале имеется целый ряд зловонных улочек и дворов, в некоторые подвалы свет попадает только через двери и во многих из них жители спят на голой земле, хотя большинство из них имеет, по крайней мере, кровати. Но зато, например, в Никольсон-Корт в 28 маленьких жалких комнатках живет 151 человек в такой нужде, что во всем дворе можно было найти только две кровати и два одеяла». Бедность в Дублине столь велика, что одно только благотворительное учреждение «Mendicity Association» ежедневно принимает у себя 2 500 человек, т. е. один процент всего населения, — кормит в течение дня и к вечеру выпускает.

Нечто подобное же рассказывает нам доктор Алисон и об *Эдинбурге*. Благодаря своему прекрасному местоположению этот город получил название современных Афин, но и здесь великолепный аристократический квартал в новом городе составляет вопиющий контраст с грязью и нищетой бедняков, населяющих старый город. По показаниям Алисона, эта старая часть города столь же грязна и отвратительна, как сквернейшие кварталы Дублина, и благотворительное учреждение «Mendicity Association», о котором мы говорили выше, нашло бы в Эдинбурге не меньше нуждающихся, чем в столице Ирландии. Он даже утверждает, что в Шотландии, и в особенности в Эдинбурге и Глазго, беднякам живется хуже, чем в какой бы то ни было другой местности Соединенного королевства, и более всех нуждаются не ирландцы, а шотландцы. Священник старой церкви в Эдинбурге, доктор Ли, дал в 1836 г. следующее показание перед специальной комиссией — Commission of Religions Instruction. «Мне нигде раньше не случалось видеть такой нищеты, как в этом приходе. Эти люди не имеют ни мебели, ни какого-либо другого имущества; часто живут в одной комнате две супружеские четы. В течение одного дня я посетил семь домов, в которых не нашлось ни одной кровати, а в некоторых не было даже и соломы; восьмидесятилетние старики спали на бревенчатом полу, и почти все оставались ночью в своей одежде. В одном подвале я нашел

¹ Цитируется у Dr. W. P. Alison, F. R. S. E., fellow and late President of the Royal College of Physicians etc. etc, «Observations on the Management of the Poor in Scotland and its Effects on the Health of Great Towns». Edinburgh, 1840. — Автор — религиозно-настроенный торий и брат историка Арчибалда Алисона.

две шотландских семьи, недавно приехавших из деревни; двое детей умерло вскоре после их приезда в город, а третий ребенок во время моего посещения был при смерти; для каждой семьи лежало в углах по грязной куче соломы, и тут же помещался еще осел; в подвале было так темно, что даже днем трудно было в нем узнать человека. Сердце каждого должно изойти кровью при виде такой нищеты, какая существует здесь, в Шотландии». То же сообщает доктор Геннен в «*Edinburgh Medical and Surgical Journal*». Из одного парламентского отчета ¹ видно, какая грязь — что при таких условиях вполне понятно — царит в домах эдинбургских бедняков. Куры располагаются на ночлег на постелях, собаки и даже лошади спят в одной комнате с людьми, так что в этих кварталах, естественно, страшная грязь и вонь, а также множество насекомых всякого рода. Расположение самого Эдинбурга как нельзя более благоприятствует такому отвратительному состоянию жилищ. Старый город расположен по обоим склонам холма, а по гребню его проходит главная улица (High-street). От нее отходит в обе стороны множество увенных кривых улиц, названных, благодаря массе извилин «wunds»; в этих улицах живет городской пролетариат. Дома в Шотландии вообще строятся высокими, в пять и шесть этажей, как в Париже, и в противоположность Англии, где каждый по возможности стремится жить в особняке, населены множеством семейств; крайняя скученность людей на одном небольшом пространстве от этого еще усиливается. «Эти улицы, — говорится в одном журнале, в статье о гигиенических условиях жизни рабочих в городах, ² — часто так узки, что можно из окна одного дома перешагнуть в окно противоположного; и к тому же дома так высоки, состоят из такого множества этажей, что свет едва проникает во двор или улицу между домами. В этой части города нет ни канализации, ни отхожих мест, и поэтому вся грязь, все отбросы и экскременты, по меньшей мере 50 000 человек, каждую ночь выбрасываются в сточные канавы; вследствие этого, как ни метут улицы, все же остается масса сухой грязи и страшная вонь, что не только неприятно, но в высшей степени вредит здоровью жителей. Что же удивительного, если в таких местах находятся

¹ «Report to the Home Secretary from the Poor-Law Commissioners, or an Inquiry into the Sanitary Condition of the Labouring Classes of Great Britain». With Appendices. Presented to both Houses of Parliament in July 1842. — 3 vols in folio. — Материалы эти, состоящие из отчетов врачей, собраны и приведены в порядок Эдвином Чадвиком, секретарем комиссии по закону о бедных.

² «The Artizan», 1842, октябрьская книжка (ежемесячный журнал).

в пренебрежении не только здоровье и нравственность, но и самые общепринятые правила приличия? Все, близко знающие эту местность, могут много порассказать о болезнях, нищете и деморализации ее обитателей. Эти обитатели так низко пали, находятся в таком жалком состоянии, что и описать невозможно. Квартиры бедных классов в общем очень грязны и, повидимому, никогда не чистятся. В большинстве случаев они состоят из одной только комнаты, которая, несмотря на самую жалкую вентиляцию, все же всегда бывает холодной из-за разбитых стекол в плохо прилаженных окнах; нередко эти комнаты расположены ниже уровня земли, сыры, обстановка в них жалкая или отсутствует совершенно, так что одна охапка соломы служит постелью для целой семьи и на ней спят попеременно мужчины и женщины, молодые и старые. Воду можно достать только из общественных колодцев; трудность ее доставки способствует, конечно, накоплению всякой грязи».

В других крупных портовых городах дело обстоит не лучше. В *Ливерпуле*, при всей его торговле, роскоши и богатстве, рабочие живут в таких же варварских условиях. Пятая часть всего населения, т. е. свыше 45 000 человек, живет в тесных, темных, сырых и плохо вентилируемых подвалах, которых в городе насчитывается 7 882. Сюда нужно прибавить еще 2 270 дворов (courts), т. е. небольших пространств, обстроенных со всех четырех сторон, имеющих только один узкий, обыкновенно крытый вход, и потому совершенно не допускающих вентиляции, большей частью очень грязных и населенных почти исключительно пролетариями. Подробнее о таких дворах мы поговорим, когда у нас будет речь о Манчестере. В *Бристоле* было однажды обследовано 2 800 рабочих семейств, и оказалось, что у 46% из них было только по одной комнате.

Таково же положение дела и в фабричных городах. В *Ноттингеме* насчитывается всего 11 000 домов, и из них 7 000—8 000 построены так, что они задними стенами примыкают друг к другу, что значительно затрудняет вентиляцию; к тому же в большинстве случаев имеется только одно отхожее место для нескольких домов. Недавно было произведено обследование и оказалось, что целый ряд домов построен над неглубокими сточными канавами, прикрытыми всего только досками полов. В *Лейстере*, *Дерби* и *Шеффилде*—то же самое. О *Бирмингеме* вышеупомянутая статья «Artizan» говорит следующее: «В старых частях города есть не мало грязных и запущенных мест, с обилием стоячих луж и куч мусора. Дворов в *Бирмингеме* очень много, свыше 2 000, и в них живет большая часть рабочих. Они большей частью тесны, грязны, плохо вентил-

лируемы, с скверными сточными канавами; в каждом из них от 8 до 20 домов, которые можно вентилировать только с одной стороны, так как задняя стена их тесно примыкает к задней стене другого дома, а в заднем дворе устроена общая мусорная яма или что-нибудь в этом роде, грязь которой не поддается описанию. Нужно, однако, заметить, что более новые дворы устраиваются разумнее и лучше содержатся, и даже отдельные домики в этих дворах менее скучены, чем в Манчестере и Ливерпуле, вследствие чего во время эпидемических заболеваний в Бирмингеме насчитывалось гораздо меньше смертных случаев, чем, например, в Вольвергамптоне, Дедли и Бильстоне, отстоящих от него всего на несколько миль. Подвалы в Бирмингеме тоже нередко служат квартирами, иногда в них устраиваются мастерские. Ночлежек для пролетариев много (свыше 400); расположены они главным образом во дворах в центре города. Почти все они отвратительно грязны, с затхлым запахом и служат убежищем нищим, бродягам (trampers — о значении этого слова см. ниже), ворами, проституткам; все это население живет здесь, не соображаясь ни с какими требованиями приличий, без всякого комфорта, ест, пьет, курит и спит в атмосфере, которую могут выносить только эти опустившиеся люди.

Глазго имеет много сходства с Эдинбургом: те же извилистые улицы и переулки, те же высокие дома. Об этом городе в «Artizan» говорится следующее: «Рабочий класс составляет здесь около 78% всего населения (около 300 000) и живет в кварталах, которые по нищете и отвратительной грязи превосходят ужаснейшие закоулки Сент-Джайльса и Уайтченеля, Дублин и эдинбургские «wynds». Таких кварталов множество в центре города — южнее Тронгэта, западнее Соляного рынка, в Кольтоне, в сторону от Центральной улицы и т. д. Все они представляют бесконечные лабиринты узеньких и извилистых улиц и переулков, в которые на каждом шагу выходят дворы или тупики, обстроенные старыми, плохо вентилируемыми, многоэтажными, полуразрушенными домами, лишенными воды. Дома эти буквально набиты жильцами. В каждом этаже можно найти три или четыре семейства — иногда до 20 человек — а иногда весь дом сверху донизу сдается для ночлега, так что в одной комнате не помещается, а прямо набивается от 15 до 20 человек. В этих местностях живет беднейшая, наиболее деморализованная и опустившаяся часть населения, и она является источником тех страшных эпидемий лихорадки, которые, начавшись здесь, распространяются по всему Глазго». — Послушаем, как описывает эти части города И.-С. Саймонс, нравительственный

комиссар, исследовавший положение ручных ткачей: ¹ «Мне приходилось наблюдать нищету в самых худших ее видах как эдесь, так и на континенте, но до посещения этих извилистых переулков Глазго мне не верилось, чтобы в цивилизованной стране могло быть столько преступлений, нищеты и болезней. В худших квартирах спит в одной комнате 10, 12 и даже 20 человек, обою пола и всякого возраста, прямо на полу, наполовину или совсем раздетых. Дома эти обыкновенно (*generally*) так грязны, сыры и ветхи, что ни один человек туда и лошади своей не поместит». В другом месте он пишет следующее: «В этих закоулках Глазго живет постоянно меняющееся население от 15 000 до 30 000 человек. Вся эта часть города состоит из одних узеньких улиц и четырехугольных дворов с кучей мусора посередине. Как ни отвратителен был внешний вид этих домов, грязь и нищета внутри их превзошли все мои ожидания. В некоторых из этих домов, которые мы (начальник полиции канитан Миллер и Саймонс) посетили ночью, мы нашли в каждой комнате от 15 до 20 человек, лежавших на полу, одетых и нагих, мужчин и женщин вперемежку. Постелью им служили кучи полусгнившей соломы, перемешанной с тряпками. Мебели здесь совсем не было или было очень мало, и единственное, что этим ямам придавало кое-какой жилой вид, был огонь в камине. Главными средствами пропитания этого населения служат воровство и проституция. Никто, новидимому, и не подумал о том, чтобы очистить эти авгиевы конюшни, уничтожить это адское логово, это гнездо преступлений, грязи и заразы в сердце второго города в империи. Тщательное обследование беднейших кварталов других городов никогда не обнаруживало ничего подобного в смысле скученности населения и степени нравственного и физического упадка. Большинство домов в этих кварталах *Court of Guild* признан ветхими и непригодными для жилья, но именно они всего более населены, потому что по закону в них нельзя требовать квартирной платы».

Крунный промышленный округ в центре, густо населенная область *западного Йоркшира и южного Ланкашира*, со своим множеством фабричных городов, не уступает в этом отношении остальным крупным городам. Район шерстяной промышленности западного

¹ «*Arts and Artizans at Home and Abroad*» By *J. C. Symons*. Edinburgh 1839. — Автор сам, новидимому, шотландец, принадлежит к либеральной партии и, следовательно, фанатически выступает против всякого самостоятельного рабочего движения. Цитированные выше места находятся на стр. 116 и след.

Йоркшира представляет собой прекрасную холмистую, покрытую зеленым ковром местность, возвышенности которой к западу становятся все круче, пока не достигают своей высшей точки на обрывистом гребне Блэкстон-Эдж, являющемся водоразделом между Ирландским и Немецким морем. Долины реки Эйр, на берегах которой расположен Лидс, и реки Кольдер, которую пересекает железная дорога, соединяющая Манчестер с Лидсом, принадлежат к самым красивым местам Англии и густо усеяны фабриками, деревнями и городами. Дома, построенные из серого дикого камня, выглядят так красиво и чисто в сравнении с почерневшими кирпичными зданиями Ланкашира, что на них приятно смотреть. Но когда являешься в самый город, в нем находишь мало приятного. Как это описывает «Artizan» и как я сам нашел, Лидс расположен на отлогом склоне, спускающемся в долину реки Эйр. Река эта, извинаясь, прорезывает город на расстоянии приблизительно полутора миль ¹ и в периоды туманов или сильных дождей очень разливается. Западные части города, лежащие выше, довольно чисты для такого большого города, но низшие части, расположенные по берегам реки и нитающих ее ручьев, грязны, тесны и уже сами по себе способны сократить жизнь жителей и в особенности детей; если сюда прибавить еще отвратительное состояние рабочих кварталов около Киркгэта, Марш-Лэна, Кросс-стрита и Ричмонд-Рода, состоящих главным образом из немощеных, лишенных сточных канав, неправильных улиц, со множеством дворов и тупиков и полным отсутствием самых обычных и необходимых средств для поддержания чистоты, нам станут вполне ясны причины чрезмерной смертности в этих обездоленных очагах грязи и нищеты. Во время разлива реки Эйр (которая, необходимо прибавить, подобно всем рекам, омывающим фабричные города, с одной стороны входит в город чистой и прозрачной, а с другой стороны выходит из нее густой, черной и вонючей, загрязненной всевозможными нечистотами) «жилые дома и подвалы ² часто так заливаются водой, что ее приходится выкачивать; в такое время вода, даже там, где имеются клоаки для отвода нечистот, попадает из этих клоак в подвалы, образуя испарения, насыщенные сероводородом и полные миазмов, и оставляя отвратительный осадок, в высшей степени вредный для здоровья. После весеннего разлива 1839 г. результаты такой закупорки клоак были на-

¹ Везде, где в тексте говорится о милях, имеются в виду английские мили; 69½ английских миль приходится на 1 градус экватора и 5— на немецкую милю.

² Надо помнить, что эти «подвалы» — не кладовые, а человеческие жилища.

столько губельны, что, по отчету гражданского регистратора, в этой части города за весеннюю четверть года приходилось два рождения на три смертных случая, между тем как в других частях города отношение было обратное, т. е. три рождения на два смертных случая». Другие густо населенные части города совсем не имеют сточных канав, а если они их и имеют, то последние так плохо устроены, что не приносят никакой пользы. На некоторых улицах подвалы в домах редко просыхают, в других кварталах многие улицы покрыты толстым слоем липкой грязи. Население пытается иногда делать улицы более проезжими, засыпая ямы золой, но напрасно; везде кучи мусора и лужи, образующиеся от выливаемых из домов номоев, которые ждут, пока их не высушат ветер и солнце (см. отчет городского совета в «Statistical Journal», vol. 2, p. 404). Обычно коттедж в Лидсе занимает пространство величиною не более пяти квадратных ярдов и состоит из подвала, жилой комнаты и спальни. Эти тесные помещения, днем и ночью наполненные людьми, представляют величайшую опасность для нравственности и здоровья жителей. А как велика скученность населения в этих коттеджах, рассказывает нам выше цитированный отчет о гигиенических условиях жизни рабочего класса: «В Лидсе нам пришлось посетить квартиры, где братья и сестры и жильцы обоего пола спали в одной комнате с родителями; отсюда возникают последствия, неред мыслью о которых душа человеческая содрогается».

То же самое можно сказать о *Брэдфорде*, расположенном в семи милях от Лидса в центре нескольких сходящихся долин у маленькой, черной, как деготь, вонючей речки. В воскресный день, в хорошую погоду, — ибо в другие дни город окутан серым облаком дыма, — город представляет очень красивое зрелище с высоты окружающих холмов, но внутри его та же грязь, те же невозможные условия жизни, как и в Лидсе. Старые кварталы расположены на крутых склонах и улицы их узки и неправильны. В проулках, туниках и дворах кучи мусора и грязи; дома ветхи, грязны и мало пригодны для жилья, а в непосредственной близости реки и в глубине долины я нашел и такие дома, нижний этаж которых, наполовину врытый в склон горы, был совершенно негоден для жилья. Вообще нижняя часть долины, где между высокими зданиями фабрик, расположенными по склонам ее, скучены жилища рабочих, представляет самую грязную и скверно построенную часть всего города. В более новых частях Брэдфорда, как во всяком другом фабричном городе, коттеджи устроены лучше, правильными рядами, но и в них наблюдаются те же неблагоустройства, неравномерно связанные с традиционным

способом селить рабочих, о чем мы поговорим еще подробнее, когда у нас будет речь о Манчестере. — То же самое можно сказать и об остальных городах западного Йоркшира, именно *Барнслея*, *Галифаксе* и *Геддерсфильде*. Последний, хотя и считается красивейшим из всех фабричных городов Йоркшира и Ланкашира благодаря своему красивому местоположению и новейшей архитектуре, все же не лишен и своих дурных кварталов. Избранный в собрании горожан для осмотра города комитет в своем отчете от 5 августа 1844 г. говорит следующее: «Следует отметить, что в Геддерсфильде целые улицы и многие переулки и дворы немощены, не имеют клоак или стоков; здесь лежат целые кучи отбросов, грязи и мусора, разлагающегося и гниющего; всюду стояли лужи грязной воды, вследствие чего находящиеся здесь жилища плохи и грязны и делаются очагами болезней, угрожающих потом всему городу».

Перейдем теперь через Блэкстон-Эдж или проедем по железной дороге в классическую страну английской промышленности, где она создала свое совершеннейшее произведение, и в центр всех движений английских рабочих — юг Ланкашира с его центральным городом *Манчестером*. Перед нами вновь красивая холмистая местность, спускающаяся к западу от водораздела отлогими уступами к Ирландскому морю, с восхитительными, покрытыми зеленым ковром долинами рек Риббля, Ирвелля и Мерсея и их притоков, — местность, представлявшая собой еще лет сто тому назад в значительной своей части сплошное болото и мало населенная, а в настоящее время усеянная городами и деревнями и представляющая самую населенную местность Англии. Ланкашир и в особенности Манчестер являются и местом зарождения английской промышленности, и ее центром. Биржа Манчестера — это термометр для всех колебаний промышленной жизни, и в Манчестере современная техника достигла высшей степени совершенства. В хлопчатобумажной промышленности южного Ланкашира применение сил природы, вытеснение ручной работы машиной (главным образом в виде механического ткацкого станка и мюль-машины) и разделение труда достигли высшей точки развития, и если в этих трех элементах признать характерные признаки современной промышленности, то надо согласиться, что в этом отношении обработка хлопка от начала до конца шла впереди всех остальных отраслей промышленности. Но и последствия современной промышленности для рабочего класса тоже должны были здесь развиться всего полнее и в наиболее чистом виде и выработать промышленный пролетариат в его классической чистоте; принижение пролетариата, вызванное применением паровой силы, и машин, и

разделением труда, и попытки пролетариата выйти из этого униженного положения тоже должны были здесь достичь высшей степени напряжения и найти свое наиболее яркое выражение. Итак, в виду того, что Манчестер представляет собой классический тип современного промышленного города, а также в виду того, что я его знаю не хуже моего родного города и лучше, чем его знает большинство его жителей, — мы остановимся на этом городе немного подольше.

Города, расположенные вокруг Манчестера, мало отличаются в отношении рабочих кварталов от центрального города; только рабочие в них составляют еще большую часть населения, чем в последнем. Эти города имеют чисто промышленный характер, и все их коммерческие дела совершаются в Манчестере или через него; они во всех отношениях зависят от Манчестера и населены поэтому исключительно рабочими, фабрикантами и мелкими торговцами, между тем как в Манчестере все же имеется очень значительное чисто коммерческое население, много комиссионных контор и больших розничных магазинов. Вот почему все эти города, как *Болтон*, *Престон*, *Виган*, *Бёри*, *Рочдэль*, *Мидльтон*, *Гейвуд*, *Ольдгам*, *Аштон*, *Стэлибридж*, *Стокпорт* и т. д., хотя и насчитывают по тридцати, пятидесяти, семидесяти и даже по девяносто тысяч жителей, все же представляют собой почти исключительно крупные рабочие поселения, прерываемые лишь фабриками и несколькими главными улицами, вдоль которых тянутся магазины; кроме того вдоль шоссе дорог, ведущих в город, расположены в виде вилл дома и сады фабрикантов. Сами города плохо и неправильно построены, с грязными дворами, улицами и закоулками, полны дыма и производят особенно мрачное впечатление своими зданиями, построенными из ярко-красного, но с течением времени почерневшего кирпича, из которого здесь все строится. Подвальные квартиры представляют здесь обычное явление; эти ямы устраиваются, где только возможно, и в них живет очень значительная часть населения.

Самым худшим из этих городов считается, кроме Престона и Ольдгама, *Болтон*, лежащий в одиннадцати милях к северо-западу от Манчестера. Насколько я успел заметить во время своих неоднократных поездок туда, в городе этом имеется только одна и при этом довольно грязная главная улица Динсгэт, служащая одновременно и базаром; она и в самую лучшую погоду представляет мрачную дыру, хотя кроме фабрик на ней стоят только одно- и двухэтажные низенькие дома. Более старая часть города здесь, как и везде, особенно занущена и неприглядна. Через город

протекает какая-то черная жижа, о которой трудно сказать, ручей ли это или непрерывный ряд вонючих луж, и которая окончательно отравляет и без того далеко не чистый воздух.

Далее идет *Стокпорт*; хотя он и расположен на Чеширском берегу Мерсея, но все же принадлежит к промышленному округу Манчестера. Он раскинут в узкой долине вдоль Мерсея, занимая эту долину и оба круто спускающиеся к ней склона, и железнодорожная линия из Манчестера в Бирмингем проходит по высокому виадуку над всем городом и долиной. Город этот считается одним из мрачнейших и наиболее закопченных городов всего округа и на самом деле производит чрезвычайно неприятное впечатление, в особенности если смотреть на него вниз с виадука. Но еще более мрачное впечатление производят коттеджи и подвальные помещения рабочих, расположенные длинными рядами по всему городу от глубины долины и до гребня холмов. Насколько я помню, я ни в каком другом из городов этого округа не нашел сравнительно так много жилых подвалов, как здесь.

В нескольких милях к северо-востоку отсюда лежит *Аштон-ондер-Лайн*, один из новейших фабричных центров этой местности. Расположен он по склону холма, у подошвы которого протекают канал и река *Тэйм*, и в общем построен по новейшей, более правильной системе. Пять или шесть длинных параллельных улиц тянутся вдоль холма, переревываясь под прямым углом другими параллельными улицами, спускающимися в долину. При такой системе расположения улиц фабрики вытесняются из центра города, тем более, что ради близости к воде и речному сообщению они и без того сконцентрировались бы внизу в долине; здесь они все и скучились, выбрасывая из труб густой дым. Благодаря такому расположению, город этот производит гораздо более благоприятное впечатление, чем большинство других фабричных городов; улицы шире и чище, коттеджи имеют новый, свежий и уютный вид. Но эта новая система устройства коттеджей для рабочих имеет и свои дурные стороны: за каждой улицей имеется своя скрытая задняя улица, в которую ведет узенький боковой проход и которая крайне грязна. Хотя я здесь не видел ни одного здания, кроме нескольких на окраинах города, старше пятидесяти лет, однако и здесь имеются улицы с плохо устроенными и старыми коттеджами, в которых кирпичи расшатаны и еле держатся, стены потрескались и внутренняя штукатурка обвалилась, — улицы, грязный вид которых, мрачных от дыма, не уступает ни в чем остальным городам округа, но только здесь они составляют не правило, а исключение.

Милей дальше к востоку отсюда лежит *Стэлибридж*, тоже у реки Тэйм. Если идти от Аштона вверх в гору, то на вершине ее расположены справа и слева большие красивые сады с роскошными домами посередине, построенными наподобие вилл и большей частью в «стиле Елизаветы», который к готическому стилю относится так, как протестантско-англиканская религия к апостольской римско-католической. Если пройти сотню шагов далее, то пред глазами появляется в долине Стэлибридж. Но какой резкий контраст с этими роскошными виллами и даже с скромными коттеджами Аштона! Стэлибридж расположен в узкой и извилистой ложбине, еще более узкой, чем долина Стокпорта, и оба его склона покрыты коттеджами, домами и фабриками, разбросанными в полном беспорядке. С приближением к городу замечаешь, как уже первые коттеджи тесны, прокопчены, ветхи, и каковы первые дома, таков и весь город. Внизу, в узкой глубине долины, тянутся несколько улиц; большинство из них расположено по склонам ее, взаимно перекрещиваясь, и вследствие такого наклонного расположения подвалы почти во всех домах наполовину врыты в землю. Какая масса дворов, задних улиц и закоулков образуется при такой системе, можно видеть с гор, откуда город в некоторых местах виден почти как с высоты птичьего полета. Если сюда прибавить еще ужасную грязь, станет понятным, почему этот город, при всей красоте своих окрестностей, производит такое отвратительное впечатление.

Но довольно, однако, об этих менее значительных городах. Все они имеют свои особенности, но в общем и рабочие живут в них как в Манчестере. Вот почему я особенно останавливался при их описании только на своеобразиях их постройки и прибавлю лишь, что все замечания более общего характера о состоянии рабочих жилищ в Манчестере должны быть сполна отнесены и к окружающим его городам. Перейдем теперь к центру.

Манчестер лежит у подножья южного склона цепи холмов, которые тянутся от Ольдама между долинами рек Ирвелля и Медлока; последней вершиной этих холмов является *Керсаль-Мур*, представляющий одновременно гипсодром и «священную гору» Манчестера. Собственно Манчестер расположен на левом берегу Ирвелля между этой рекой и ее двумя притоками — Ирком и Медлоком, впадающими здесь в Ирвелль. На правом берегу этой речки и стиснутый сильным изгибом ее расположен город *Сэльфорд* и далее к западу лежит *Пендлтон*; к северу от этой реки находятся верхний и нижний *Брутоны*; к северу от Ирка — *Читам-Гилль*, к югу от Медлока лежит *Гульм*, далее к востоку *Чорльтон-он-Медлок*, а еще далее

к востоку от Манчестера — *Ардвик*. Все это вместе в просторечии называется Манчестером и включает в себе население свыше 400 000 человек. Расположение самого города очень своеобразно: можно прожить в нем много лет и ежедневно проходить через него, ни разу не попадая в рабочий квартал и не приходя в соприкосновение с рабочими, если только человек занят своими собственными делами или прогуливается. Объясняется же это главным образом тем, что, вследствие бессовзательного молчаливого соглашения, а также сознательного вполне определенного намерения, рабочие кварталы самым строгим образом отделены от частей города, в которых живет средний класс, а где это открыто сделать нельзя, там это достигается очень искусным способом. В центре Манчестера находится довольно обширный коммерческий квартал, охватывающий пространство в полмили в длину и столько же в ширину и почти весь состоящий из торговых складов и контор. Почти вся эта местность необитаема, ночью становится совершенно пустынной и безлюдной и только кое-где показываются в узеньких и темных улицах дежурные полицейские с своими потайными фонариками. Местность эта прорезывается несколькими главными улицами, на которых всегда толпится масса народу и где нижние этажи домов заняты блестящими магазинами; на этих улицах верхние этажи кое-где населены, и здесь уличная жизнь не прекращается до поздней ночи. За исключением этой коммерческой части весь собственно Манчестер, весь Сэльфорд и Гульм, значительная часть Пендльтона и Чорльтона, две третьих Ардвика и отдельные участки в Читам-Гилле и Броутоне — все это составляет один сплошной рабочий скруг, охватывающий коммерческий квартал тесным кольцом, шириной в среднем в полторы мили. За этим поясом живет высшая и средняя буржуазия — средняя в правильных улицах поблизости от рабочего квартала, именно в Чорльтоне и в ниже расположенных районах Читам-Гилля, а высшая — в более отдаленных районах Чорльтона и Ардвика с их домами посреди садов, устроенными наподобие вилл, или на возвышенностях Читам-Гилля, Броутона и Пендльтона — на чистом, здоровом деревенском воздухе, в роскошных удобных домах, мимо которых каждые четверть или полчаса проходят идущие в город omnibusy. И самое интересное во всем этом то, что эта богатая денежная аристократия, проезжая через все эти рабочие кварталы, чтобы ближайшим путем попасть в свои конторы в центре города, может даже не заметить, что вблизи, справа и слева, гнездится самая грязная нищета. Дело в том, что главные улицы, расходящиеся от биржи по всем направлениям к окраинам города, состоят из двух

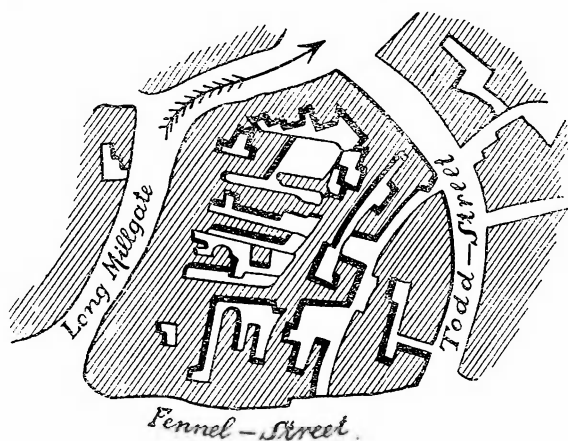
почти непрерывных рядов магазинов и населены, следовательно, средней и мелкой буржуазией, которая уже в собственных своих интересах заботится и может заботиться о приличном и чистом их виде. Эти магазины имеют, однако ж, некоторое сходство с квартирами, лежащими позади них, и потому вблизи кварталов, где живет буржуазия, и в торговом квартале они имеют более эlegantный вид, чем там, где за ними скрываются грязные коттеджи рабочих. Во всяком случае они достаточно чисты для того, чтобы скрыть от глаз богатых дам и кавалеров с крепкими желудками и слабыми нервами нищету и грязь, составляющие дополнение к их богатству и роскоши. Так, например, улица Динггэт, которая тянется от старой церкви в прямом направлении к югу, представляет собой сначала двойной ряд торговых складов и фабрик, которые затем сменяются магазинами второго сорта и несколькими пивными, и далее к югу, где торговый квартал кончается, более невзрачными магазинами, становящимися чем дальше, тем грязнее, и все более и более сменяющимися кабаками и трактирами, и, наконец, в южном конце улицы вид магазинов не оставляет никакого сомнения в том, что их клиентами являются рабочие и только рабочие. Такова же Маркет-стрит, которая тянется от биржи к юго-востоку: сначала идут блестящие магазины первого ранга, с конторами и торговыми складами, расположенными в верхних этажах; далее тянутся колоссальные отели и торговые склады (на Пиккадилли); еще далее (на Лондон-Роде) в окрестностях реки Меддлок расположены фабрики, трактиры и магазины для низшей буржуазии и рабочих; потом у Ардвик-Грина тянутся дома с квартирами для высшей и средней буржуазии и за ними большие сады и виллы наиболее богатых фабрикантов и купцов. Таким образом, можно, зная Манчестер, на основании главных улиц *умозаключать* о состоянии прилегающих сюда кварталов, но отсюда только редко случается увидеть *действительные* рабочие кварталы. Я прекрасно знаю, что эта лицемерная система постройки города есть явление, более или менее общее всем крупным городам. Я знаю также и то, что лавочки, торгующие в розницу, уже по самому характеру своей торговли должны размещаться на крупных улицах, где движение бывает наибольшее. Я знаю, что на таких улицах бывает всегда больше хороших домов, чем плохих, и что вблизи их стоимость земли выше, чем в более отдаленных местностях. Но при всем том я нигде не видал такого систематического отгораживания рабочего класса от главных улиц, такого заботливого укрывания всего того, что может оскорбить глаза и нервы буржуазии, как здесь, в Манчестере. И при всем том Манчестер, менее чем какой-либо другой

город, построен по полицейским предписаниям или определенному плану, и скорее в планировке его играл большую роль случай. Если я при этом вспоминаю страстные заверения среднего класса, что рабочим прекрасно живется, мне начинает казаться, что такая стыдливая планировка города произошла не без участия либеральных фабрикантов, манчестерских толстосумов («big wigs»).

Остается еще упомянуть, что почти все фабричные здания расположены вдоль трех рек или равных каналов, пересекающих город, и затем перейдем к описанию самих рабочих кварталов. Начнем с старого города Манчестера, расположенного между северной границей торгового квартала и рекой Ирк. Здесь улицы и даже лучшие из них, как Тодд-стрит, Лонг-Милльгэт, Уизи-Гров и Шёд-Гилль, узки и кривы, дома грязны, стары и ветхи, а постройки в переулках и совсем отвратительны. Если пойти от старой церкви вдоль улицы Лонг-Милльгэт, то справа сейчас же начинается ряд старомодных домов, у которых не осталось ни одного не покрывившегося фасада, — это остатки старого Манчестера, Манчестера допромышленной эпохи, обитатели которого и их потомки переселились в лучше устроенные кварталы, а эти дома, которые были для них слишком неудобны, предоставили рабочей массе, в которой теперь довольно большая примесь ирландской крови. Здесь уже почти неприкрытый рабочий квартал, ибо даже магазины и трактиры не блещут чистотой. Но все это ничто в сравнении с улицами и дворами, которые расположены позади этой улицы и куда можно попасть только через узенькие крытые проходы, в которых даже два человека разминуться не могут. Трудно представить себе эту скученность, эту беспорядочную, лишенную всякого разумного смысла систему устройства домов, эту тесноту, причем здесь дома буквально притиснуты друг к другу. И это можно сказать не только о домах, оставшихся от времен старого Манчестера. Теснота эта была доведена до крайности лишь в самое последнее время, когда всюду, где старая система устройства оставила хоть кусочек пространства, стали строить и пристраивать, пока, наконец, между домами не осталось ни пяди пространства, которое можно было бы еще застроить. Для подтверждения моих слов я даю здесь рисунок [стр. 344] небольшой части из плана Манчестера. Это — далеко не худшее место и составляет менее десятой части старого города.

Рисунок этот в достаточной мере дает представление о бессмысленном способе застройки всего района, особенно вблизи реки Ирк. Берег реки здесь, на южной ее стороне, очень крут и достигает от пятнадцати до тридцати футов вышины; по этому крутому склону

лепятся большей частью еще три ряда домов, из которых нижний выходит точно прямо из реки, а лицевая сторона верхнего ряда находится уже на уровне гребня холма и обращена на улицу Лонг-Милльгэт. Кроме того вдоль берега реки имеются еще фабрики, — одним словом, и здесь постройки так же тесно и беспорядочно расположены, как и в нижней части улицы Лонг-Милльгэт. Справа и слева множество крытых ходов ведет с главной улицы в многочисленные дворы и, войдя туда, попадаешь в такую отвратительную грязь, с которой ничто не сравнится, особенно в дворах, спускающихся к Ирку; здесь находятся безусловно самые ужасные жилища, которые мне когда-либо приходилось встречать. В одном из этих домов находится у самого входа, там, где кончается крытый ход,



отхожее место, не имеющее дверей и столь грязное, что обитатели двора могут попасть туда только через окружающую его стоячую лужу гниющей мочи и экскрементов. Это первый двор у реки выше моста Дюси-Бридж, — если кому-нибудь захочется убедиться в справедливости моих слов; ниже, у самой реки, находится несколько кожевенных заводов, наполняющих всю окрестность запахом разлагающихся животных отбросов. В дворы, находящиеся ниже моста Дюси-Бридж, спускаются большей частью по узким, грязным лестницам и, чтобы попасть в дома, нельзя миновать куч мусора и грязи. Первый двор ниже моста Дюси-Бридж называется Алленс-Корт; во время холеры он был в таком состоянии, что санитарная полиция приказала его очистить и окурить хлором; доктор Кей в одной брошюре ¹ дает описание тогдашнего состояния этого

¹ «The Moral and Physical Condition of the Working Classes, employed in the Cotton Manufacture in Manchester». By James Ph. Kay, Dr. Med. 2-nd

двора, — описание, которое страшно читать. С того времени часть его, повидимому, была снесена и заново отстроена; по крайней мере, если смотреть с моста Дюси-Бридж вниз, видны различные развалины и высокие кучи мусора рядом с несколькими домами более новой постройки. Вид, открывающийся с этого моста (этот вид заботливо скрыт от взоров невысоких смертных каменной стеной в человеческий рост), вообще характерен для всего района. Внизу, в глубине, течет или, вернее, застаивается Ирк, узенькая, черная, вонючая речка, полная грязи и отбросов, которые она выбрасывает на правый низменный берег. В сухую погоду на этом берегу остается целый ряд отвратительнейших зеленовато-черных, гниющих, покрытых плесенью луж, из которых постоянно поднимаются пузыри всевозможных гнилостных газов, распространяя запах, невыносимый даже наверху, на мосту, на высоте сорока или пятидесяти футов над уровнем реки. Сама река к тому же на каждом шагу перегорожена запрудами, задерживающими ил и отбросы, которые накаплиются толстым слоем и гниют. Над мостом расположены высокие кожевенные заводы; далее, еще выше, расположены красильни, костомольни и газовые заводы, отбросы которых сплавляются в ту же речку, куда еще стекается содержимое примыкающих сюда клоак и отхожих мест. Можно поэтому себе представить, что за осадки оставляет эта река. Ниже, за мостом, видны кучи мусора, грязи и отбросов во дворах на левом крутом берегу; один дом тесно примыкает к другому, и так как берег очень крут, то видны части всех домов; все они черны от дыма, ветхи, с разбитыми стеклами и расшатанными оконными рамами; на заднем плане виднеются старые казарменного вида фабричные здания. На правом, более низменном, берегу виден длинный ряд домов и фабрик. Второй дом с краю — развалина без крыши, наполненная мусором, а третий так низко построен, что нижний этаж необитаем и вследствие этого стоит без окон и дверей. Задний план образуют здесь кладбище для бедных, вокзалы Ливерпульской и Лидской железных дорог, а позади рабочий дом, манчестерская «Бастилия для бедняков», которая, подобно цитадели, грозно смотрит с холма из-за высоких зубчатых стен на расположенные на другом берегу рабочие кварталы.

Выше Дюси-Бриджа левый берег становится более отлогим, а правый, наоборот, крутым, но дома на обоих берегах Ирка становятся все хуже и хуже. Если здесь свернуть с главной улицы — все той же Лонг-Милльгэт — влево, — человек пропал:

edit. 1832. — Автор не делает различия между рабочим классом вообще и классом фабричных рабочих, но в остальном — это превосходная книга.

попадаешь из одного двора в другой, блуждаешь во всевозможных узеньких грязных переулках, тупиках и проходах и по истечении нескольких минут окончательно запутываешься и не знаешь, куда повернуть. Везде полу- или совсем разрушенные здания, некоторые совсем необитаемы, а это здесь очень много значит; в домах редко встретишь дощатый или каменный пол, но зато почти везде сломанные, плохо прилаженные окна и двери, и какая грязь! Везде кучи мусора, грязи и отбросов, стоячие лужи вместо отводных канав и запах, который один достаточен для того, чтобы человек, мало-мальски цивилизованный, решительно не мог там жить. При недавнем удлинении Лидской железной дороги, пересекающей здесь Ирк, некоторые из этих дворов и переулков были скрыты, но зато другие открылись взору наблюдателя. Так, в непосредственной близости от железнодорожного моста стоит двор, далеко превосходящий все другие своим грязным отвратительным видом именно потому, что он раньше был так застроен со всех сторон, что с трудом можно было в него попасть; не будь этого открытого места, созданного постройкой железнодорожного моста, я сам никогда не нашел бы этого дома, хотя мне и казалось, что я прекрасно знаю эту местность. По изрытому берегу, мимо колеи и протянутых на них веревок для сушки белья, попадаешь в этот хаос маленьких одноэтажных домиков, в которых редко встречаешь какой-нибудь искусственный пол и где одна единственная комната является и кухней, и жилой комнатой, и спальней — решительно всем. В одной такой дыре, имевшей не более шести футов в длину и пяти в ширину, я нашел две кровати — и что за кровати и постели! — которые вместе с лестницей и очагом как раз наполняли всю комнату. Во многих хижинах я не увидел *ничего*, хотя дверь была широко открыта и обитатели были на дворе. Перед дверьми везде грязь и мусор. Что под ногами имелся род мостовой, нельзя было видеть, она только чувствовалась то здесь, то там под ногами. Вся эта куча населенных людьми хлевов с двух сторон окружена домами и фабрикой, а с третьей — рекой. Кроме узкой тропинки вдоль берега оттуда ведет наружу только один узкий крытый проход — в другой, почти столь же плохо построенный и столь же плохо содержимый лабиринт домов.

Но довольно! Таким образом застроен и весь остальной берег Ирка. Это просто хаос домов, более или менее близких к разрушению, внутренняя грязь которых совершенно соответствует такой же грязной окрестности. Да и как может быть здесь чисто? Нет решительно ничего необходимого для удовлетворения самых естественных и самых повседневных потребностей. Отхожие места здесь столь редки,

что они или наполняются за день, или недоступны для большинства обитателей вследствие своей отдаленности. Как этим людям мыться, когда поблизости имеется только упомянутая грязная речка, а водопровод устроен лишь в «приличных» частях города. Поистине нельзя винить этих илотов современного общества, если их жилища не чище свиных хлевов, расположенных кое-где между их хижинами! Не стыдно же домовладельцам сдавать в наем такие жилища, как шесть или семь подвалов на набережной ниже моста Скотланд-Бридж, — подвалов, пол которых находится по меньшей мере на два фута ниже уровня воды — при низкой воде! — речки Ирк, протекающей не далее, как в шести футах отсюда, или как верхний этаж углового дома на противоположном берегу немного выше моста, нижний этаж которого необитаем и стоит без окон и дверей! А ведь подобные случаи не редки во всей этой местности! Нужно также заметить, что этот открытый нижний этаж служит обыкновенно для всех соседей отхожим местом за неимением ничего другого!

Оставив Ирк и отправившись на противоположную сторону улицы Лонг-Милльгэт, попадаешь в новый рабочий квартал, тянувшийся от церкви св. Михаила до Уизи-Гров и Чэдгилля. Здесь, по крайней мере, больше порядка. Вместо хаоса домов и хижин находишь хоть длинные прямые улицы и тупики или построенные по определенному плану обыкновенно четырехугольные дворы. Но если прежде произвольно строился каждый дом, то тут та же произвольность наблюдается относительно проулков и дворов, которые построены без всякого соответствия с остальными проулками и дворами. Прулок тянется то в том, то в другом направлении, на каждом шагу натыкаешься на тупик или угол, приводящий как раз туда, откуда пришел, и кто в этом лабиринте не прожил довольно долгое время, наверно отсюда не выберется. Из-за этого вентиляция улиц и дворов — если можно употребить здесь это слово — тут такая же плохая, как и в районе реки Ирк, и если эта местность тем не менее имеет кое-какие преимущества пред долиной реки Ирк, — и дома новее, и на некоторых улицах имеются, по крайней мере, сточные канавы, — то зато здесь почти во всяком доме есть подвальное помещение, что там встречается редко именно вследствие того, что дома стары и небрежно построены. Что касается остального, то грязь, кучи мусора и волю, стоячие лужи на улицах встречаются и тут, и там, а в квартале, о котором мы говорим теперь, мы, кроме того, находим еще одно обстоятельство, очень вредно отзывающееся на опрятности обитателей, — масса свиней прогуливается здесь по улицам, роется в грязи или сидит в устроенных во дворах

маленьких хлевах. Торговцы свиньями нанимают здесь, как и в большинстве других рабочих кварталов Манчестера, дворы и устраивают в них хлевы для откармливания свиней; почти в каждом дворе имеется один или несколько таких отгороженных углов, куда обитатели двора бросают все отбросы и нечистоты; свиньи, пожирая это, жиреют, а воздух, и без того скверный в этих обстроенных со всех сторон дворах, совсем портится от гниющих растительных и животных веществ. Через этот квартал проложена широкая, довольно приличная улица — Миллер-стрит — и тем довольно успешно прикрыт задний план, но стоит только любопытства ради войти в один из многочисленных ходов, ведущих во дворы, чтобы через каждые двадцать шагов наталкиваться на это буквальное свинство.

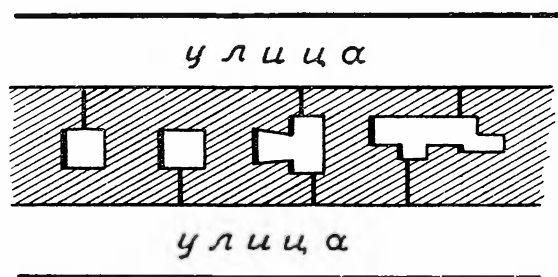
Таков старый город Манчестер. Перечитав свое описание, я должен признаться, что не только ничего не преувеличил, но, напротив, не дал достаточно ярких красок, которые бы наглядно представили всю грязь, ветхость и неприютность, всю беспорядочность постройки, являющуюся издевательством над всеми соображениями чистоты, вентиляции и здоровья этого квартала, в котором живет, по меньшей мере, от двадцати до тридцати тысяч жителей. И такой квартал находится в центре второго города Англии и первого фабричного города мира! Если кто хочет знать, какого небольшого пространства достаточно человеку для движения, как мало ему нужно воздуха — и какого воздуха! — для дыхания, при какой малой дозе цивилизации он может жить, тому надо лишь побывать в Манчестере. Правда, это — *старый* город, — и на это ссылаются люди, когда им говорят об отвратительном состоянии этого земного ада, — но что же из этого? Все, что наиболее сильно возбуждает наше отвращение и негодование, все это — новейшего происхождения, принадлежит к *промышленной эпохе*. Те немногие сотни домов, которые принадлежат старому Манчестеру, давным-давно оставлены своими первоначальными обитателями; только промышленность набила их толпами рабочих, живущими теперь в них, только промышленность застроила всякий уголок между старыми домами, чтобы дать кров массам, которые она привлекала из сельскохозяйственных местностей и из Ирландии, только промышленность дала владельцам этих хлевов сдавать их в наем для жилья людям за высокую плату, эксплуатировать нищету рабочих, разрушать здоровье тысяч людей, чтобы только себя обогатить; только промышленность сделала возможным то, что едва освобожденный из крепостной зависимости рабочий снова стал неодушевленным предметом, снова употребляется как *вещь*, загоняется в квартиру, которая для всякого другого слишком плоха

и в которой он за свои с таким трудом добытые деньги может жить, пока она не придет в совершенную ветхость; все это сделала только промышленность, которая без этих рабочих, без нищеты и рабства их никогда не могла бы существовать. Правда, квартал этот был плох с самого начала, и трудно было из него сделать что-нибудь приличное. Но предприняли ли землевладельцы или правительство что-либо, чтобы при перестройке его улучшить? Напротив того, где только был свободный уголок, там был построен дом, где был излишний выход, он был застроен. С развитием промышленности стоимость земли возросла, и чем более она росла, тем безумнее и беспорядочнее строили без всякого внимания к здоровью и удобствам жителей с одной только мыслью о возможно большей наживе, ибо *нет такой скверной лачуги, для которой не нашлось бы бедняка, не имеющего возможности заплатить за лучшую*. Но... это старый город, и на этом буржуазия успокаивается. Посмотрим же, как выглядит *новый город* (the new town).

Новый город, называющийся также ирландским городом, поднимается на глинистый холм между рекой Ирк и улицей св. Георга по ту сторону старого города. Здесь всякий признак города исчезает. На голой, непокрытой даже травой глинистой почве разбросаны в беспорядке отдельные дома или лабиринты улиц в виде маленьких деревень. Дома или, скорее, коттеджи — в скверном состоянии, никогда не ремонтируются, грязны, с сырыми и неопрятными подвальными помещениями. Улицы не мощены, не имеют сточных канав, но зато здесь имеются многочисленные колонии свиней, запертых в маленьких дворах и хлевах или свободно разгуливающих по склону холма. Грязь на улицах здесь столь велика, что только в очень сухую погоду есть надежда пробраться по ним, не увязнув по щиколотку. Близ улицы св. Георга отдельные застроенные места смыкаются плотнее, начинается непрерывный ряд улиц, переулков, тупиков и дворов, становящихся все теснее и беспорядочнее, чем ближе они подходят к центру города. Зато здесь чаще, конечно, встречаются мостовые или, по крайней мере, мощеные тротуары с водосточными канавами, но грязь, скверное состояние домов и в особенности подвалов остаются те же.

Сделаем, кстати, несколько общих замечаний о том, как обыкновенно строится рабочий квартал в Манчестере. Мы уже видели, что в старом городе группировка домов зависит большей частью от чистой случайности. Каждый дом строится без всякого соответствия с расположением других домов, и неправильные промежутки между отдельными домами называются, за недостатком другого названия,

дворами (courts). В немного более новых частях того же квартала и в некоторых других рабочих кварталах, возникших в первые годы расцвета промышленности, мы находим несколько более планомерное устройство домов. Пространство между двумя улицами разделяется на правильные, большей частью *четырёхугольные* двory приблизительно так, как это изображено на прилагаемом рисунке. Эти двory были устроены так с самого начала и к ним ведут с улицы крытые ходы. Если расположение домов, лишённое всякого плана, чрезвычайно вредно отзывается на здоровье их обитателей, значительно затрудняя вентиляцию, то ещё более вредны в этом отношении эти двory, окружённые со всех сторон зданиями. Никакое движение воздуха здесь невозможно: одни дымовые трубы, покуда в печах есть огонь, вентилируют затхлый воздух дворов.¹

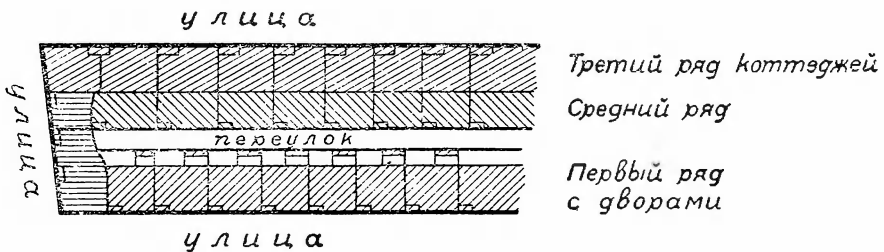


К тому же в большинстве дворов дома построены в два ряда так, что задние стены домов примыкают друг к другу, а это само по себе уже достаточно, чтобы сделать всякую хорошую вентиляцию невозможной.

Полиция совершенно не интересуется санитарным состоянием этих дворов; все, что выбрасывается из квартир, остается во дворах, и потому нет ничего удивительного, если везде находишь кучи грязи, воли и нечистот. Мне приходилось бывать во дворах, выходящих на Миллер-стрит, расположенных по меньшей мере на полфута ниже улицы и не имевших никакого стока для воды, скопляющейся в них в дождливую погоду! В позднейшее время возникла новая система стройки, сделавшаяся теперь всеобщей. Теперь рабочие домики (котэджи) редко строятся по одному, а всегда дюжинами и даже сотнями; один предпринима-

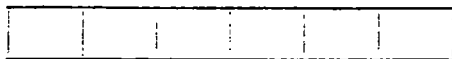
¹ И тем не менее один мудрый английский либерал утверждает — в отчете Children's Employment Commission, — что двory эти являются образцом городского благоустройства, ибо они, представляя как бы ряд маленьких открытых площадей, улучшают вентиляцию и содействуют движению воздуха. Оно, пожалуй, так и было бы, если бы в каждом дворе было два или четыре широких, открытых сверху и расположенных друг против друга выхода, через которые воздух мог бы свободно циркулировать, но они *никогда* не имеют двух ворот и очень редко одаи открытые ворота, а почти все имеют только узенькие крытые входы.

тель сразу строит одну или несколько улиц. Расположение домов при этом следующее: первый ряд образуют коттеджи первого ранга; квартирная плата здесь самая высокая, потому что здесь имеются и черныи ход, и маленький дворик; задние стены домов, двери которых выходят в эти дворики, обращены на узкую улицу, внутренний проулок (back-street), застроенный с обоих концов; в этот проулок ведет узенький проход, крытый или открытый; в коттеджах, двери которых ведут на эту улицу, квартирная плата наименьшая, и вообще здесь квартиры всего хуже; у них задняя стена общая с третьим рядом коттеджей, двери которых ведут на противоположную улицу; здесь квартирная плата ниже, чем в первом ряду, и выше, чем во втором. Таким образом, расположение улиц приблизительно таково, как на прилагаемом рисунке.



При таком расположении домов и улиц в первом ряду коттеджей получается довольно сносная вентиляция, а в третьем ряду вентиляция, по меньшей мере, не хуже, чем в подобных же коттеджах прежнего устройства; зато в среднем ряду вентиляция столь же плоха, как в домах старых дворов, а сам внутренний проулок не менее грязен и непригляден, чем улицы старого устройства. Предприниматели предпочитают такой способ постройки потому, что он дает экономию места и возможность повысить цены на квартиры в коттеджах первого и третьего ряда и таким образом поэксплуатировать рабочих, получающих высшую плату. — Эти три системы устройства коттеджей можно найти не только во всем Манчестере, но даже во всем Ланкашире и Йоркшире; часто эти три системы встречаются рядом, но большей частью они достаточно обособлены для того, чтобы по одному этому признаку можно было распознать приблизительно возраст той или другой части города. Третья система, система внутренних проулков, решительно преобладает в большом рабочем районе к востоку от улицы св. Георга по обеим сторонам Ольдгам-Род и Грейт-Энкот-стрита и наиболее часто встречается также и в остальных рабочих районах Манчестера и его предместий.

В упомянутом обширном районе, носящем название Энкотс (Ancoats), расположено вдоль каналов большинство крупнейших фабрик Манчестера — колоссальные шести- и семизэтажные здания, высоко возвышающиеся своими стройными трубами над низенькими коттеджами рабочих. Население этого района состоит поэтому главным образом из фабричных рабочих, а худшие его части населены ручными ткачами. Улицы, наиболее близкие к центру города, наиболее стары и потому хуже других, но все же здесь имеются мостовые и сточные каналы; я отношу сюда улицы, параллельные Ольдгам-Род и Грейт-Энкотс-стрит и наиболее к ним близкие. Далее, к северо-востоку, расположено несколько новых улиц; здесь коттеджи имеют довольно привлекательный и чистый вид, двери и окна новы и свежо выкрашены, помещения внутри чисто выбелены; на самих улицах больше воздуха, и неастроженные промежутки между домами больше и встречаются чаще. Но все это относится лишь к небольшому количеству коттеджей. К тому же следует прибавить, что почти в каждом коттедже имеется подвальное помещение, что на многих улицах нет мостовых и водосточных канав и — что важнее всего — этот красивый вид домиков есть лишь чистая иллюзия, от которой ничего не останется уже по истечении десяти лет. Дело в том, что постройка самих коттеджей не менее скверна, чем расположение улиц. Сначала все такие коттеджи имеют очень приятный и солидный вид, массивные кирпичные стены подкупают глаз, и если пройти по *новым* рабочим кварталам не заглянув в задние улицы и не присматриваясь к архитектуре домов, то придется согласиться с утверждением либеральных фабрикантов, что нигде рабочим не живет так хорошо, как в Англии. Но если присмотреться поближе, окажется, что стены этих коттеджей до-нельзя тонки. Наружные стены, стены подвала, нижнего этажа и стены, на которых покоится крыша, сложены в один кирпич, причем в каждом горизонтальном слое кирпичи расположены так, что примыкают друг к другу длинной стороной; но мне приходилось видеть коттеджи такой же высоты — некоторые даже во время их постройки, — в которых наружные стены были толщиной не более половины кирпича, т. е. кирпичи были расположены так, что примыкали друг к другу не длинной, а короткой стороной:



Делается это отчасти для экономии материала, но отчасти и потому, что предприниматель, строящий дом, не является собственником земли, а, согласно английскому обычаю, арендует место на двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят или девяносто девять лет, и по истечении этого срока земля со всеми постройками переходит к землевладельцу без всякого вознаграждения. Вот почему арендатор старается так строить дома, чтобы они по истечении арендного срока имели возможно меньшую стоимость, а так как такие коттеджи строятся всего только за двадцать или тридцать лет до истечения арендного срока, то ясно, что арендатор много на них тратить не желает. Кроме того эти арендаторы, большей частью владельцы строительных предприятий или фабриканты, мало или ничего не тратят на ремонт отчасти из-за нежелания понизить свой доход, отчасти вследствие краткости срока аренды; в эпохи торговых кризисов, когда множество рабочих лишается заработка, целые улицы пустуют, вследствие чего коттеджи очень быстро разрушаются и делаются негодными для жилья. Принято обыкновенно считать, что рабочие жилища в среднем служат лишь сорок лет. Это кажется странным, когда смотришь на эти красивые массивные стены новых коттеджей, обещающие просуществовать несколько столетий, но тем не менее оно так: скряжничество при первоначальном устройстве коттеджей, отсутствие всякого ремонта, то обстоятельство, что квартиры часто пустуют и квартиранты быстро меняются, наконец опустошения, которые производят квартиранты, большей частью ирландцы, в течение последних десяти лет до окончания срока аренды, часто ломая деревянные части, чтобы топить ими печи, — все это превращает эти коттеджи по истечении сорока лет в развалины. Этим объясняется тот факт, что в Энкотском квартале, строившемся лишь со времени расцвета промышленности, главным образом уже в течение XIX столетия, все же имеется множество старых развалившихся зданий, и даже большая часть домов находится теперь уже в последней стадии обитаемости. Я не буду говорить здесь о том, сколько капитала здесь тратится таким образом понапрасну, как много лет весь этот квартал мог бы оставаться чистым, приличным и обитаемым при несколько больших затратах на первоначальную постройку и позднейший ремонт. Меня здесь интересует только состояние домов и положение их обитателей, и я должен сказать, что нет более вредной, более деморализующей системы селить рабочих, чем именно эта. Рабочий вынужден жить в таком скверном коттедже потому, что он не может заплатить за лучший, или потому, что он не находит лучшего вблизи той фабрики, где он работает, а иногда и потому, что

коттэджи принадлежат фабриканту, и последний лишь тогда дает ему работу, когда он нанимает этот коттэдж. Разумеется, этот сорокалетний период не есть нечто безусловное: если дома расположены в оживленной части города и при дорогой аренде есть надежда всегда иметь жильцов, арендаторы кое-что делают для того, чтобы хоть до некоторой степени сохранить обитаемость домов и по истечении сорока лет: но делают они, без сомнения, лишь самое необходимое, и такие отремонтированные квартиры принадлежат к самым худшим. Временами, когда грозят какие-нибудь эпидемии, спящая обыкновенно совесть санитарной полиции немного просыпается, и тогда предпринимаются экскурсии в рабочие кварталы, запирается целый ряд подвалов и коттэджей, как это, например, случилось на многих улицах близ Ольдгам-Род; но все это продолжается недолго, квартиры, на которые наложен был запрет, скоро снова наполняются жильцами; арендаторы не зевают и отыскивают новых жильцов: кто же не знает, что санитарная полиция не так-то скоро вновь явится!

Только на этой восточной и северо-восточной стороне Манчестера буржуазия совершенно не живет. Не живет она здесь потому, что дующий в течение 10 — 11 месяцев в году западный и юго-западный ветер относит всегда в эту сторону дым всех фабричных труб (а его ведь не мало!). Этот дым могут вдыхать только рабочие!

К югу от Грейт-Энкотс-стрит лежит большой полузастроенный рабочий квартал — холмистый, голый участок земли с разрозненными и беспорядочно расположенными рядами или прямоугольниками домов. Между домами лежат свободные незастроенные участки, неровные, глинистые, без травы и в дождливую погоду едва проходимые. Все коттэджи здесь грязны и ветхи, часто бывают построены в глубоких ямах и вообще напоминают *новый город*. Участок, который прорезывает Бирмингамская железная дорога, наиболее густо заселен, а потому здесь квартиры наихудшие. Здесь протекает бесконечными извилинами речка Медлок по долине, местами не уступающей долине Ирка. По обеим сторонам этой, тоже черной, застоявшейся и распространяющей зловоние речки, от места, где она вступает в город, до ее соединения с речкой Ирвелль, тянется широкий пояс фабрик и рабочих жилищ; последние находятся в самом скверном состоянии. Берег здесь большей частью крутой и до самой реки застроен домами, как это мы видели на берегу речки Ирк, и расположение домов и улиц одинаково скверно как в участке, находящемся на стороне Манчестера, так и в местах, которые примыкают к городам Ардвигу, Чорльтону и Гульму. Но самый скверный участок, — я никогда не кончил бы, если бы пожелал подробно описать каждый отдельный

участок, — находится на манчестерской стороне к юго-западу от Оксфорд-Род и называется Малой Ирландией (Little Ireland). В довольно глубокой котловине, опоясанной излучиной речки Медлок и окруженной со всех четырех сторон высокими фабриками, насыпями и застроенными берегами, скучены в две группы около 200 коттэджей, большей частью с общей задней стеной для двух домов; здесь живет около 4 000 человек, почти исключительно ирландцев. Коттэджи ветхи, грязны и очень малы, улицы неровны, покрыты ртвинами, в некоторых местах не имеют ни мостовых, ни сточных канав. Массы нечистот, отбросов и отвратительной грязи, множество стоячих луж покрывают улицы, заражая отвратительными испарениями атмосферу, которая и без того темна и тяжела от дыма джужины фабричных труб. По этим улицам бродит масса оборванных детей и женщин, столь же грязных, как свиньи, валяющиеся в кучах мусора и лужах. Одним словом, все это гнездо производит такое отвратительное, такое отталкивающее впечатление, какого не производят самые худшие дворы на берегу речки Ирк. Люди, живущие в этих полуразрушенных коттэджах, за разбитыми окнами, в которых стекла заменены куском полотна, пропитанного маслом, за растрескавшимися дверьми с полусгнившими косяками или в темных сырых подвалах, в этой невообразимой грязи и вони и как будто намеренно спертой атмосфере, не могут не стоять на самой низкой ступени человечества, — таково впечатление, к такому заключению придет всякий, кто увидит лишь внешнюю сторону этого квартала. Но что же он скажет, когда он услышит,¹ что в каждом из этих домиков, состоящих — самое большее — из двух комнат и мансарды и разве еще подвала, живет в среднем человек двадцать, что во всем квартале приходится приблизительно на 120 человек одно отхожее место — почти всегда, разумеется, в невозможном состоянии — и что, несмотря на все проповеди врачей, несмотря на тревогу, которую забила санитарная полиция во время холеры в виду ужасного состояния Малой Ирландии, теперь, в 1844 г., она все в том же состоянии, как и в 1831 г.? — Д-р Кей рассказывает, что не только подвалы, но даже нижние этажи во всех домах сыры, что когда-то многие подвалы были засыпаны землей, но мало-по-малу они были освобождены от земли и снова населены ирландцами, что в одном подвале — пол которого ниже уровня воды в реке — вода постоянно просачивалась из отверстия, закрытого глиной, и жильцу, ручному ткачу, приходилось каждое утро вычерпывать воду и выливать ее на улицу.

¹ Dr. Kay, цитир. соч.

Несколько ниже, на левой стороне Медлока, расположен городок Гульм. Это собственно только большой рабочий квартал и по состоянию своему он совершенно не отличается от Энкотс. Гуще застроенные участки состоят по преимуществу из плохих жилищ, близких к разрушению, а менее населенные состоят из домов более новых, с лучшим воздухом, но зато большей частью они утопают в грязи. Почти все дома сырые и всюду одинаковая система задних проулков и подвальных помещений. — На противоположном берегу Медлока, в самом Манчестере, находится второй крупный рабочий квартал, который тянется по обеим сторонам Дингста до торгового квартала и во многих местах ни в чем не уступает старому городу. В непосредственной близости от торгового квартала, между Бридж-стритом и Кэй-стритом и между Принсесс-стритом и Питер-стритом, скученность построек во многих местах превосходит самые тесные дворы старого города. Мы здесь находим длинные узенькие улицы с тесными, полными закоулков, дворами и проходами, входы и выходы которых так беспорядочно устроены, образуют такой лабиринт, что если не знаешь хорошо каждого двора и каждого прохода, рискуешь ежеминутно попасть в тупик или совсем не туда, куда хотел попасть. В этой тесной, запущенной и грязной местности живет, по словам д-ра Кея, самый деморализованный класс всего Манчестера, живущий воровством или проституцией, и по всем видимостям это его утверждение справедливо и сейчас. Когда в 1831 г. здесь появилась санитарная полиция, она нашла грязь не меньше, чем в местности у речки Ирк или в Малой Ирландии (могу засвидетельствовать, что и в настоящее время дело обстоит не лучше); между прочим, на Парламент-стрите одно отхожее место приходится на 380 человек, а в Парламент-пассадже одно отхожее место — на 30 густо населенных домов.

Переpravившись через речку Ирвелль, мы попадаем в город Сэльфорд. Он расположен на образованном этой речкой полуострове, насчитывает 80 000 жителей и представляет собой в сущности лишь один большой рабочий квартал, прорезанный одной только широкой улицей. Когда-то город этот имел большее значение, чем Манчестер, будучи центром всей окружающей его местности, которой он и теперь еще дает свое название Salford Hundred. Поэтому и здесь имеется довольно старый и, следовательно, весьма нездоровый, грязный и запущенный участок; он расположен напротив старой церкви Манчестера и находится в таком же скверном состоянии, как старый город на другом берегу Ирвелля. Подальше от этой реки находится участок более новый, но существующий уже тоже больше сорока лет и потому тоже в достаточно плохом состоянии. Весь

город состоит из узеньких дворов и улиц, настолько тесных, что они мне напомнили самые узенькие улицы, которые мне когда-либо приходилось видеть, — переулки Генуи. В этом отношении Сэльфорд значительно хуже построен, чем Манчестер, и то же самое можно сказать о его чистоте. Если в Манчестере полиция, по крайней мере, время от времени — раз в 6 — 10 лет — появлялась в рабочих кварталах, запирала самые скверные жилища, настаивала на очищении самых грязных мест этой авгиевой конюшни, то в Сэльфорде она этого не делала, повидимому, никогда. Узенькие боковые улицы и дворы на улицах Чапель-стрит, Грингэт и Гравель-Лэн вряд ли были хоть раз очищены с самого момента их постройки. В настоящее время некоторые из наиболее грязных закоулков уничтожены и над этими улицами по высокому виадуку проходит ливерпульская железная дорога, но стало ли от этого лучше? Когда едешь в поезде по этому виадуку и смотришь оттуда вниз, все еще видишь достаточно грязи и нищеты, но если потрудиться пройти по этим узеньким улицам, посмотреть через открытые окна и двери внутрь этих домов и подвалов, то легко можно убедиться в том, что рабочие Сэльфорда живут в квартирах, в которых о чистоте и удобствах не может быть и речи. То же самое мы находим и в более отдаленных участках Сэльфорда, в Ислингтоне, в Риджент-Роде и позади Больтонской железной дороги. Рабочие жилища между улицами Ольдфильд-Род и Кросс-Лэн, где по обеим сторонам улицы Гоп-стрит множество дворов и улиц находится в самом скверном состоянии, могут соперничать по грязи и скученности с старым городом Манчестера. В этой местности я встретил человека, по виду лет шестидесяти, жившего в коровьем стойле: в этом четырехугольном ящике, без пола, немощеном, даже без окон, он устроил нечто в роде дымохода, поставил постель и жил там, хотя дождь свободно проходил через плохую полусгнившую крышу. Человек этот был слишком стар и слаб для того, чтобы быть способным к регулярной работе; он снискивал себе пропитание перевозкой навоза и т. п. в своей ручной тележке; у самого его стойла находилась навозная лужа.

Таковы различные рабочие кварталы Манчестера, которые мне самому приходилось наблюдать в течение двадцати месяцев. Обобщая все, что мы говорили об этих местностях, мы должны сказать, что 350 000 рабочих Манчестера и его предместий почти все живут в плохих, сырых и грязных коттеджах, что улицы, на которых расположены последние, большей частью находятся в самом плохом, самом грязном состоянии, построены без всякой мысли о вентиляции, с одной только мыслью о доходе строителя, одним словом, что в

рабочих коттеджах Манчестера невозможны никакая чистота, никакие удобства, а потому невозможен и никакой домашний уют, что здесь может чувствовать себя хорошо лишь физически нездоровая раса, потерявшая человеческий облик, интеллектуально и морально опустившаяся до состояния животных. И не я один это говорю: мы видели, что такое же описание дает д-р Кей, и я приведу еще слова либерала, признанного и высококочтимого авторитета фабрикантов и фанатического противника всякого самостоятельного рабочего движения, — г. *Сениора*.¹ «Осматривая жилища фабричных рабочих в ирландском городе», Энкоте и Малой Ирландии, я только изумлялся тому, что возможно сохранить сносное здоровье в таких квартирах. Эти города — ибо по площади, занимаемой ими, и числу жителей это действительно города — построены без всяких соображений о чем бы то ни было, кроме непосредственных выгод для спекулянта-строителя. Владельцы плотничьих и строительных предприятий входят в соглашение, покупают (т. е. арендуют на известное число лет) ряд земельных участков и покрывают их так называемыми домами. На одном месте мы находим целую улицу, построенную вдоль рва, чтобы без всяких затрат на выкапывание получить глубокие подвалы — подвалы не для кладовых и складов, а для человеческих жилищ. *Ни одного дома на этой улице не пощадила холера.* На улицах этих предместий, обыкновенно небогатых, то тут, то там видишь кучи навоза или лужи, дома построены так, что два дома имеют одну общую заднюю стену, лишены вентиляции и дренажа, и целые семьи ютятся в углу какого-нибудь подвала или мансарды».

Я говорил уже выше о той необычайной деятельности, которую санитарная полиция развила во время холеры в Манчестере. Когда эта эпидемия стала приближаться, ужас охватил всю буржуазию города. Сразу вспомнили об антисанитарном состоянии гнезд нищеты и дрожали при мысли, что каждый из этих рабочих кварталов может стать центром заразы, откуда она может распространить свое опустошающее действие по всем направлениям, забираясь и в жилища имущего класса. Была тотчас же избрана санитарная комиссия для осмотра этих кварталов и с поручением донести об их состоянии городскому совету. Д-р Кей, один из членов этой комиссии, специально осмотревшей каждый полицейский участок, за исключением одиннадцатого, напечатал некоторые извлечения из этого отчета. Был

¹ *Nassau W. Senior, Letters on the Factory Act to the Rt. Hon. the President of the Board of Trade (Chas. Poulett Thomson Esq.). London 1837, p. 24.*

осмотрен всего 6 951 дом, — и разумеется только в *собственно* Манчестере, за исключением Сэльфорда и других предместий; 2 565 из них было настоятельно необходимо выбелить внутри, в 960 не был своевременно произведен необходимый ремонт (were out of repair), в 939 не было достаточно хороших сточных канав, 1 435 были сыры, 452 были с плохой вентиляцией и 2 221 не имели отхожих мест. Из осмотренных 687 улиц 248 совершенно не имели мостовых, 53 были замощены лишь отчасти, в 112 была плохая вентиляция, на 352 были найдены стоячие лужи, кучи нечистот, отбросов и т. п. — Само собой разумеется, что очистить такие авгиевы конюшни до появления холеры было прямо-таки невозможно. Поэтому удовлетворились очисткой нескольких наиболее плохих закоулков, оставив остальное в прежнем состоянии, и само собой понятно, что на вычищенных местах, как, например, в Малой Ирландии, по истечении нескольких месяцев появилась прежняя грязь. Что касается внутреннего состояния этих жилищ, то о них та же комиссия сообщает приблизительно то же, что мы уже слышали о состоянии жилищ в Лондоне, Эдинбурге и других городах: «Часто целая ирландская семья спит вповалку в одной и той же постели: куча грязной соломы и простынь из старого мешочного холста служит ложем для целой массы людей, одинаково деморализованных нищетой, тупоумием и распутством. Инспектора часто находили в доме, состоящем из двух комнат, две семьи; в одной все спали, а вторая служила общей столовой и кухней; часто же одно и даже несколько семейств жило в сыром подвале, представляющем одну комнату, в отравленной атмосфере которой теснилось 12 — 16 человек; если все это могло быть уже серьезным источником болезней, то сюда присоединялось еще и то, что тут же держали и свиней и иным образом разводили отвратительнейшую грязь».¹ Сюда необходимо прибавить, что многие семьи, занимающие сами лишь одну комнату, принимают еще к себе за известную плату столовников и ночлежников, что такие столовники того и другого пола нередко спят вместе со всей семьей в одной и той же постели и что, например, такие случаи, когда муж спал с своей женой и взрослой свояченицей в одной постели, «Отчет о санитарном состоянии рабочего класса» в Манчестере констатирует более шести раз. Общие ночлежки встречаются и здесь очень часто. Д-р Кей насчитывал в 1831 г. 267 таких ночлежек в самом Манчестере, а с тех пор число их должно было значительно возрасти. В каждой из них находят себе ночью приют от 20 до 30 человек, так что

¹ Dr Kay, p. 32.

всего в них размещается ночью от 5 000 до 7 000 человек. Характер этих ночлежек и их посетителей тот же, что в других городах. В каждой комнате устроены на земле без всяких кроватей от пяти до семи постелей и на них укладывают столько людей, сколько можно уместить, и всех вперемежку. Мне нет надобности рассказывать, какая физическая и моральная атмосфера господствуют в этих гнездах порока. Всякая из этих ночлежек является очагом преступлений и ареной возмутительных деяний, которые без этой насильственной централизации порока никогда, может быть, не были бы совершены.¹ Лиц, живущих в подвалах в собственно Манчестере, Гаскелль насчитывает до 20 000. Журнал «Weekly Dispatch» полагает, что число таких лиц, «согласно официальным отчетам», составляет 12% всего рабочего класса, что в общем совпадает с числом, указанным Гаскеллем: если считать число всех рабочих равным 175 000, то 12% составят 21 000. В предместьях Манчестера подвальных помещений *по меньшей мере* столько же, так что число лиц, живущих в подвалах, насчитывается во всем Манчестере со всеми его предместьями до 40 000 — 50 000. Таковы жилища рабочих в больших городах. Но удовлетворение потребности в приюте может служить масштабом для оценки того, как удовлетворяются все остальные потребности рабочих. Что в этих грязных дырах может жить население лишь оборванное и плохо питающееся, разумеется само собой. И так оно и есть. Одежда у огромного большинства рабочих находится в самом скверном состоянии. Самый материал, из которого она делается, нерационален; полотно и шерсть почти совершенно исчезли из гардероба обоих полов и их место заняли бумажные материи. Рубашки шьются из беленого или пестрого ситца, женские платья большей частью из набивного ситца, а шерстяные нижние юбки редко

¹ P. Gaskell, The Manufacturing Population of England, its Moral, Social and Physical Condition, and the Changes, which have arisen from the Use of Steam-Machinery. With an Examination of Infant Labour. «Fiat justitia». 1833. В этой работе описывается главным образом положение рабочих в Ланкашире. Автор ее — либерал, но писал в такое время, когда еще не считалось обязательным для либерала превозносить «счастье» рабочих. Он поэтому еще беспристрастен и ясно видит недостатки теперешнего положения дел и в особенности фабричной системы. Но зато он и писал еще до Factories Inquiry Commission и заимствовал из ненадежных источников некоторые утверждения, впоследствии опровергнутые отчетом комиссии. По этой причине, а также потому, что автор, подобно Кею, смешивает рабочий класс вообще с фабричными рабочими в частности, работой этой, хотя она в общем хороша, все же следует пользоваться с некоторой осторожностью. — История развития пролетариата, изложенная нами во введении, основана главным образом на данных, взятых из этой работы.

можно увидеть на веревках для сушки белья. Мужские брюки делаются большей частью из плиса или других тяжелых бумажных материй, а сюртуки и пиджаки из той же материи. Плис (fustian) стал даже синонимом для обозначения рабочего: рабочие называются и сами себя называют fustian-jackets (плисовые пиджаки) в отличие от господ, щеголяющих в сукне (broad-cloth), каковое в свою очередь служит для обозначения среднего класса. Когда Фергюс О'Коннор, вождь чартистов, прибыл во время движения 1842 г. в Манчестер, он явился перед рабочими в костюме из плиса и вызвал бешеный восторг. — Шляпы составляют в Англии обычную часть костюма рабочих — шляпы самых различных форм: круглые, конусообразные или цилиндрические, с широкими или узкими полями или совсем без полей, и только молодые люди носят в фабричных городах шапки. Кто не имеет шляпы, делает себе из бумаги низенький четырехугольный колпак. Вся одежда рабочих — если она даже в хорошем состоянии — мало соответствует климату. Сырой климат Англии, с своей непостоянной, быстро изменяющейся погодой, более, чем всякий другой, вызывает простуды, и потому почти весь средний класс носит фланелевые шарфы, а также фланелевые рубашки и набрюшники на голом теле. Рабочий класс не только лишен этих вещей, предохраняющих от простуды, но и вообще не в состоянии делать себе шерстяное платье. Тяжелые же бумажные материи, хотя и толще, жестче и тяжелее шерстяных материй, тем не менее гораздо меньше защищают от холода и сырости, чем последние, вследствие своей толщины и качества самого материала дольше удерживают сырость и вообще уступают по плотности шерстяной материи. А если рабочий и в состоянии когда-нибудь купить себе для праздника суконный сюртук, он идет за этим в «дешевые лавки», где получает особую плохую материю, так называемую «devil's dust», сделанную «только для продажи, но не для носки», и через две недели рвущуюся или вытирающуюся до дыр; или он отправляется к старьевщику, чтобы купить полуистертый старый сюртук, лучшие времена которого давно прошли и который служит ему лишь несколько недель. Но у большинства гардероб в плохом состоянии, и к тому же рабочим время от времени приходится относить лучшую свою одежду в ломбард. У очень же большого числа рабочих, в особенности ирландцев, одежда представляет настоящие лохмотья; часто на ней и заплаты-то трудно делать, а иногда она состоит из одних заплат, так что нельзя узнать первоначального цвета одежды. Но англичане или англо-ирландцы все же умудряются ее чинить и удивительно наострились в этом искусстве: сделать заплату из сукна или грубого холста на

плисе или наоборот — для них ничем; но настоящие иммигрировавшие ирландцы никогда почти не чинят своего платья, разве в самой крайней нужде, если иначе платье грозит развалиться. Обыкновенно же лохмотья рубашки висят сквозь дыры куртки или брюк. «Они носят, — как говорит Томас Карлейль,¹ — костюм из лохмотьев, снять и надеть который есть одна из труднейших операций, предпринимаемая только в праздники и в особо торжественных случаях». Ирландцы же ввели неизвестный до тех пор в Англии обычай ходить босиком. В настоящее время можно встретить во всех фабричных городах множество людей, в особенности женщин и детей, которые ходят босиком, и мало-по-малу этому начинают подражать более бедные англичане.

Как обстоит дело с одеждой, так оно обстоит и с питанием. Рабочим достается то, что слишком плохо для имущего класса. В больших городах Англии можно достать все первосортное, но за большие деньги; рабочий же, весь бюджет которого исчисляется грошами, столько тратить не в состоянии. К тому же он получает свою заработную плату большей частью лишь в субботу вечером; правда, некоторые стали выплачивать ее в пятницу, но это очень хорошее обыкновение далеко еще не стало общим явлением. Таким образом, он является на базар в субботу вечером, в четыре, пять или семь часов, а средний класс еще до обеда успел себе выбрать самое лучшее. Утром базар изобилует первосортными продуктами, но когда туда является рабочий, они давно раскуплены, а если бы они и были, то оплатить их он был бы не в силах. Картофель, который покупает рабочий, бывает большей частью дурного качества, зелень не свежа, сыр стар и низкого качества, сало прогорклое, мясо без жира, старое, жесткое, от старых, часто больных или околевших животных, часто уже наполовину испорченное. Покупают они большей частью у мелких торговцев, скупающих плохой товар и именно в виду этого продающих его дешево. Беднейшим рабочим приходится прибегать к еще одному особенному приему, чтобы за свои небольшие деньги суметь закупить необходимые продукты, даже плохого качества: так как в субботу вечером в двенадцать часов все магазины должны быть закрыты, а в воскресенье ничего продавать нельзя, то между десятью и двенадцатью часами идет распродажа за баснословно дешевую цену тех товаров, которые до утра понедельника испортились бы. Но из того, что остается до десяти часов, девять десятых не годится уже и в воскресенье утром, и именно эти-то товары образуют воскресную еду

¹ *Thomas Carlyle, Chartism. London, 1840, p. 28.* — О Карлейле см. ниже.

беднейшего класса. Мясо, которое достается рабочим, очень часто невозможно есть, но раз они его купили, они его едят. 6 января (если я не очень ошибаюсь) 1844 г. одиннадцать мясников в Манчестере были привлечены к рыночному суду (court leet) за то, что они продавали негодное мясо. У одного был конфискован целый вол, у другого — свинья, у третьего — несколько баранов, у четвертого 50 — 60 фунтов мяса и т. д. У одного из них были конфискованы 64 гуся с начинкой, которые были приготовлены к рождественским праздникам в Ливерпуле, там во-время не проданы и потому отправлены в Манчестер, где они и появились на базаре протухшими и распространяющими сильное зловоние. Вся эта история была тогда рассказана в газете «Manchester Guardian» с упоминанием имен и размеров штрафов. В течение шести недель, от 1 июля до 14 августа, в той же газете отмечены еще три подобных же случая: в номере 3 июля рассказывается, что в Гейвуде была конфискована свинья в 200 фунтов, которая была найдена мертвой и тухлой, разрезана мясником на части и пущена в продажу; в номере от 31 июля сообщается, что два мясника в Вигане, из которых один уже раз понес наказание за такие вещи, были приговорены к штрафу в два и четыре фунта стерлингов за продажу негодного мяса; наконец, в номере от 10 августа рассказывается, что у одного лавочника в Больтоне были конфискованы 26 негодных окороков, покрытых плесенью, и публично сожжены, а лавочник был приговорен к штрафу в 20 шиллингов. Но здесь приведены далеко не все имевшие место случаи, и приведенные случаи далеко не могут рассматриваться как нечто среднее для периода в шесть недель, по которому можно было бы вычислить годовое среднее число. Часто бывает, что в каждом номере «Manchester Guardian», выходящего два раза в неделю, сообщается об аналогичных случаях, происшедших в Манчестере или в соседних фабричных городах. При этом надо помнить, что много случаев ускользает от внимания базарных инспекторов, при обширности базаров, тянувшихся вдоль всех главных улиц, и при небрежности надзора, — ибо иначе была бы совершенно немыслима такая наглость, с которой выносятся на продажу целые туши испорченного мяса. И если принять во внимание, как велико должно быть искушение у лавочников в виду поразительной ничтожности штрафов, приведенных нами выше, и сообразить, в каком состоянии должно уже быть мясо, чтобы инспектора конфисковали его как совершенно негодное, — вряд ли кто-нибудь скажет, что рабочие в среднем получают хорошее питательное мясо. Но они еще и иным образом страдают от алчности среднего класса. Купцы и фабриканты фальсифицируют все съестные припасы самым беззащитным

образом, совершенно не соображаясь с здоровьем тех, кому придется это есть. Выше мы приводили свидетельство газеты «Manchester Guardian»; послушаем теперь другую газету среднего класса, — я люблю приводить в свидетели своих противников, — послушаем «Liverpool Mercury». «Соленое масло продают вместо свежего, для чего или покрывают куски соленого масла слоем свежего, или дают попробовать от фунта свежего масла и после этой пробы дают соленое, или вымывают соль и продают масло как свежее. К сахару подмешивается толченый рис или другие дешевые вещи. Отбросы мыловаренных заводов также смешиваются с другими веществами и продаются как сахар. К молотому кофе примешивается цикорий и другие дешевые продукты; бывают подмеси даже и к немолотому кофе, при чем подделке придают форму кофейных бобов. Какао очень часто смешивается с мелко истолченной бурой глиной, растертой с бараньим жиром и тогда лучше смешивающейся с настоящим какао. Чай часто смешивается с терновым листом и другой подобной же гадостью или чай, бывший в употреблении, высушивается, поджаривается на горячих медных листах, чтобы придать ему цвет свежего чаю, и продается как свежий. К перцу подмешивается стручковая пыль и т. д. Портвейн прямо-таки фабрикуется (из красящих веществ, спирта и т. д.), потому что общеизвестно, что в одной Англии выпивается больше портвейна, чем могут дать все виноградники Португалии. К табаку во всех формах, в которых он встречается в продаже, подмешиваются разные тошнотворные вещества. (К этому я могу еще прибавить, что некоторые из наиболее видных табачных торговцев Манчестера прошлым летом открыто заявили, что без фальсификации их дело вестись не может и что ни одна сигара, стоящая менее трех пенсов, не состоит из чистого табаку.) Само собою разумеется, что фальсифицируются не только одни съестные припасы, примеры чего я мог бы привести еще дюжинами, — следует, между прочим, упомянуть о подломе подмешивании гипса или мела к муке. Надувают все торговцы: фланель, чулки и т. п. растягиваются, чтобы они казались длиннее, и после первой же стирки опять садятся; продают сукно, имеющее в ширину от полутора до трех дюймов менее, чем должно быть; посуда продается с такой тонкой глазурью, что последняя тотчас же лопается, и т. д. — Tout compte chez nous, но более всего страдают от всех этих надувательств рабочие. Богача не надувают: он может платить дорогие цены в крупных магазинах, владельцы которых дорожат своим реноме и сами себе повредили бы, если бы стали продавать плохие фальсифицированные товары; затем богач привык к хорошей пище и потому легче замечает

обман своим изощренным вкусом. Но бедняк рабочий, у которого каждый грош на счету, который должен получить за небольшие деньги много товара, которому не приходится обращать много внимания на качество товара и который порой и не может этого сделать, потому что ему негде и некогда было развить свой вкус для этого, — он получает все эти фальсифицированные, часто отравленные товары; ему приходится покупать у мелких лавочников, порой даже в кредит, а этим лавочникам, — которые при своем маленьком капитале и больших расходах на ведение дела не могут, при равном качестве товаров, продавать их столь же дешево, как крупные розничные торговцы, — приходится, уже в виду требований покупателями дешевизны товаров и в виду конкуренции других, сознательно или невольно заготавливать фальсифицированные товары. Далее, если крупный торговец, вложивший в дело крупный капитал, в случае обвинения в обманах лишается кредита и разоряется, то что может потерять какой-нибудь мелкий лавочник, снабжающий товарами одну какую-нибудь улицу, если он и будет уличен в обманах? Если ему перестают доверять в Энкотс, он переезжает в Чорльтон или Гульм, где его еще никто не знает, и снова начинает надувать народ. Наказываются же законом лишь очень немногие фальсификации, за исключением разве того случая, когда они связаны с нарушением акцизных правил. Но английских рабочих надувают не только на качество, но и на количестве товаров. Фальшивые мера и вес составляют у мелких торговцев обычное явление, и в полицейских отчетах можно прочесть о невероятном количестве наказаний за такое надувательство. Как обычен этот род надувательства в фабричных округах, будет видно из нескольких извлечений, которые мы заимствуем из газеты «Manchester Guardian»; у меня под рукой лишь несколько номеров, обнимающих очень короткое время, да и за это время у меня были не все номера.

«Guardian» 16 июня 1844 г. Рочдельская сессия. 4 торговца были приговорены к штрафу от 5 до 10 шиллингов за фальшивые гири. — Стокпортская сессия. Два торговца были оштрафованы на 1 шиллинг: у одного из них было найдено 7 фальшивых гирь и неправильные весы, и оба получали предостережение еще раньше.

«Guardian», 19 июня. Рочдельская сессия. 1 торговец был оштрафован на 5 и два крестьянина на 10 шиллингов.

«Guardian», 22 июня. Манчестерским мировым судьей 19 торговцев были приговорены к штрафам в размере от 2½ шиллингов до 2 фунтов стерлингов.

«Guardian», 26 июня. Аштонская сессия. 14 торговцев и крестьян были приговорены к штрафам в размере от 2½ шиллингов до 1 фунта

стерлингов. — Малая сессия в Гайде. Девять крестьян и торговцев были приговорены к штрафу в 5 шиллингов и уплате судебных издержек.

«Guardian», 9 июля. Манчестер. 16 торговцев были приговорены к уплате судебных издержек и к штрафам до 10 шиллингов.

«Guardian», 13 июля. Манчестер. 9 торговцев были приговорены к штрафам в размере от 2¹/₂ до 20 шиллингов.

«Guardian», 24 июля. Рочдель. 4 торговца были оштрафованы в размере от 10 до 20 шиллингов.

«Guardian», 27 июля. Больтон. 12 торговцев и трактирщиков были приговорены к уплате судебных издержек.

«Guardian», 3 августа. Больтон. 3 торговца были оштрафованы в размере от 2¹/₂ до 5 шиллингов.

«Guardian», 10 августа. Больтон. Один торговец был оштрафован на 5 шиллингов.

И по тем же причинам, по которым на качестве товаров всего больше надувают рабочих, их же всего больше надувают и на количестве.

Само собой разумеется, что обычная пища неодинакова у всех рабочих, изменяясь в зависимости от заработной платы. Рабочие, получающие лучшую плату, в особенности такие фабричные рабочие, в семьях которых всякий член семьи в состоянии кое-что заработать, питаются, покуда у всех есть работа, хорошо; едят ежедневно мясо, а вечером сало и сыр. Там, где заработок меньше, едят мясо два или три раза в неделю или даже только по воскресеньям, но зато едят больше хлеба и картофеля. Там, где заработок еще меньше, мясная пища сводится к кусочку сала, нарезанного в картофель; дальше исчезает и сало, и остаются только сыр, хлеб, овсянка (porridge) и картофель, и, наконец, у рабочих, заработок которых всего меньше, у ирландцев, картофель является единственной пищей. При этом везде пьют жидкий чай, иногда с сахаром, молоком или водкой; чай считается в Англии и даже в Ирландии питьем, столь же существенным и необходимым, как в Германии, например, кофе, и чаю не пьют только там, где властвует самая тягчайшая нужда. — Но все это бывает так при том условии, что у рабочего есть заработок; когда же у него работы нет, то все зависит от случая, и он ест, что ему дадут или что он выпросит, или что он украдет; если же он не достанет ничего, то умирает с голоду, как мы это видели выше. Вообще, само собой понятно, что качество, как и количество пищи, зависит от заработка и что рабочие, получающие низкую плату, голодают и тогда, когда у них есть заработок, в особенности, если семья очень.

велика; число же этих плохо оплачиваемых рабочих огромно. Многочисленна эта группа рабочих в особенности в Лондоне, где конкуренция рабочих растет в такой же мере, как и население, но можно их встретить и во всех других городах. Здесь хватаются за все и за неимением другой пищи едят картофельную шелуху, отбросы зелени, гниющие овощи ¹ и с жадностью набрасываются на все, что содержит хоть атом питательного вещества. Часто бывает и так, что недельный заработок истрачивается до конца недели, и тогда семья последние дни недели вовсе не ест или ест лишь столько, сколько необходимо, чтобы совсем не умереть с голоду. Такой образ жизни естественно вызывает множество болезней, и когда эти последние наступают, в особенности когда заболевает глава семьи, заработок которого составляет главную основу пропитания семьи, а напряженная деятельность требует всего больше пищи, вследствие чего он первый падает жертвой болезни, — тогда нужда становится особенно велика, тогда особенно ясно вырисовывается та жестокость, с которой общество оставляет своих сочленов на произвол судьбы тогда, когда они всего более нуждаются в его поддержке.

Резюмируем в заключение в кратких словах факты, приведенные в этой главе: крупные города населены главным образом рабочими, ибо в лучшем случае приходится один буржуа на двух, часто на трех и кое-где на четырех рабочих; эти рабочие не имеют никакой собственности и живут только своей заработной платой, почти всегда еле достаточной для пропитания; общество, состоящее из разрозненных атомов, совершенно о них не заботится, предоставляя им заботиться о себе и своих семьях, как знают, но не давая им средства обеспечить себя заработком хорошо и надолго; по этой причине каждый, даже самый лучший рабочий не обеспечен от безработицы, а следовательно и от голода, и многие от него умирают; жилища рабочих в общем плохо распланированы, плохо построены, содержатся в скверном состоянии, плохо вентилируются, сыры и нездоровы; живут в страшной тесноте; в большинстве случаев в одной комнате спит по меньшей мере одна семья; внутреннее убранство квартир очень бедно, хотя и не в одинаковой степени, а во многих нет и следа самой необходимой мебели; одежда рабочих тоже в среднем очень неудовлетворительна, а у многих состоит из одних отрепьев; пища в общем плоха, часто почти несъедобна, во многих случаях, по крайней мере

¹ «Weekly Dispatch» апрель или май 1844 г. Отчет д-ра Соутвуда Смита о положении бедных в Лондоне.

временами, имеется в недостаточном количестве, а в худших случаях дело доходит до голодной смерти. Таким образом, положение рабочего класса в больших городах можно представить в виде ряда постепенных переходов: в лучшем случае — временное сносное существование, хорошая заработная плата за напряженную работу, хорошая квартира и не совсем плохая пища — все это хорошо и сносно, разумеется, с точки зрения рабочих; в худшем случае — тягчайшая нужда, которая может дойти до того, что у рабочего нет никакого приюта и он умирает от голода; средняя же норма лежит гораздо ближе к худшему случаю, чем к лучшему. И эти различные ступени не являются чем-то характерным для различных, строго определенных групп рабочих, так, чтобы можно было сказать, что этой группе рабочих живется хорошо, а той плохо, что так оно было, есть и будет. Нет, если кое-где дело так и обстоит, если в общем некоторые отрасли работы находятся в преимущественном положении сравнительно с другими, то все же в каждой отрасли положение рабочих настолько неопределенно, что ни один рабочий не обеспечен от того, что ему не придется пройти через весь этот ряд переходов от сравнительного комфорта до самой крайней нужды и даже голодной смерти, и почти каждый английский рабочий может многое рассказать о пережитых им переменах счастья. Причины же этого явления мы рассмотрим ближе в следующей главе.

III.

КОНКУРЕНЦИЯ.

Мы видели уже во введении, как конкуренция в первую эпоху промышленного развития создавала пролетариат, повысив, при увеличившемся спросе на ткани, заработную плату ткача и тем заставив крестьян-ткачей забрасывать совсем свои земледельческие работы, чтобы отдаваться всецело работе на ткацком станке; мы видели, как она, при помощи системы крупных хозяйств, вытесняла мелких крестьян, низводила их до степени пролетариев и часть их затем погнала в города; мы видели также, как она разорила значительную часть мелкой буржуазии, превратив ее тоже в пролетариев, как она централизовала капитал в руках немногих и сосредоточила население в крупных городах. Таковы были различные пути и средства, которыми конкуренция, достигшая в современной промышленности полного расцвета и свободного развития всех своих последствий, создала пролетариат и все более и более увеличивала его численность. В настоящей главе мы рассмотрим ее влияние на пролетариат уже существующий. И здесь мы должны прежде всего рассмотреть последствия, вытекающие из конкуренции отдельных рабочих между собой.

Конкуренция есть наиболее полное выражение существующей в современном буржуазном обществе войны всех против всех. Эта война, война за жизнь, за существование, за все, а следовательно, в случае необходимости, и война на жизнь и на смерть, идет не только между различными классами общества, но и между различными членами внутри одного и того же класса; один стоит у другого на пути, и каждый старается поэтому всех стоящих на его пути вытеснить и занять их место. Конкурируют между собой и буржуа и рабочие. Ткач, работающий на механическом ткацком станке, конкурирует с ручным ткачем; последний, если у него нет работы или он получает низкую плату, конкурирует с другим ткачем, имеющим работу или получающим большую плату, и стремится его вытеснить.

Эта конкуренция рабочих между собой есть самое худшее явление в современном положении рабочих и лучшее оружие против пролетариата в руках буржуазии. Отсюда стремление рабочих уничтожить эту конкуренцию при помощи союзов и отсюда же — яростные нападки буржуазии на эти союзы и ее торжество, когда ей удается им повредить.

Пролетарий беспомощен; предоставленный самому себе, он не может прожить и одного дня. Буржуазия захватила в свои руки монополию на все средства к жизни в самом широком смысле этого слова. Все, что нужно пролетарию, он может получить только от этой буржуазии, монополия которой охраняется государственной властью. Таким образом, пролетарий является юридически и фактически рабом буржуазии; она властна над его жизнью и смертью. Она предлагает ему средства к жизни, но за некоторый «эквивалент» — за его труд: она даже оставляет ему иллюзию, будто он действует по доброй воле и свободно, без всякого принуждения, как человек совершеннолетний, заключает с ней договор. Хороша свобода, если у пролетария нет другого выбора, как только подписать условия, предлагаемые ему буржуазией, или умереть от голода, холода, жить нагишом среди животных в лесу! Хорош «эквивалент», размеры которого зависят от доброй воли буржуазии! — А если пролетарий так глуп, что он предпочитает умереть с голоду, чем согласиться на «справедливые» условия буржуа, своего *«естественного начальника»*¹, что же — не трудно найти и другого: есть много пролетариев на свете, и не все так глупы, чтобы предпочесть смерть жизни.

Такова конкуренция пролетариев между собой. Если бы *все* пролетарии согласились между собой и заявили, что они скорее умрут, чем будут работать для буржуазии, монополия последней была бы сведена на нет. Но на деле этого не бывает и вообще это почти невозможно, и поэтому дела буржуазии все еще идут недурно. Эта конкуренция рабочих между собой имеет лишь один предел: ни один рабочий не станет работать за плату, меньшую той, которая необходима для его существования; если уже ему суждено умереть от голода, то уже лучше умирать в бездействии, чем за работой. Конечно, предел этот есть нечто относительное: одному нужно для существования больше, чем другому, один более привык к удобствам, чем другой, более культурный англичанин имеет больше потребностей, чем ирландец, который ходит в отрепьях, ест картофель и спит в свином хлеву. Но это не мешает ирландцу конкурировать с англичанином и постепенно

¹ Так любят выражаться английские фабриканты.

понижать заработную плату, а с ней и степень культурности английского рабочего до уровня ирландского. Для некоторых работ требуется известная степень культурности, и к ним принадлежат почти все работы в промышленности; вот почему заработная плата должна быть здесь уже в интересах самой буржуазии настолько высока, чтобы рабочий мог оставаться на этой ступени. Недавно прибывший в Англию, поселившийся в первом попавшемся хлеву ирландец, которого выгоняют каждую неделю на улицу из мало-мальски сносной квартиры, потому что он все пропивает и не может заплатить за квартиру, будет плохим фабричным рабочим; вот почему приходится фабричным рабочим платить столько, чтобы они были в состоянии воспитывать своих детей так, чтобы те были способны на регулярную работу; но отнюдь не больше, чтобы они не могли обойтись без заработка этих детей и воспитали бы из них только рабочих. И здесь предел, минимум заработной платы, есть нечто относительное: если все члены семьи работают, то каждому из них можно платить меньше, и буржуазия использовала, насколько могла, представившуюся при машинной работе возможность занять в производстве женщин и детей с целью понижения заработной платы. Само собой разумеется, что не в каждой семье все члены работоспособны, и такой семье пришлось бы очень плохо, если бы она была вынуждена работать за минимум заработной платы, рассчитанный для семьи, состоящей из одних работоспособных членов; вот почему устанавливается некоторая средняя заработная плата, при которой семье, состоящей из одних работоспособных членов, живется довольно хорошо, а семье, насчитывающей в своей среде и неработоспособных членов, живется довольно плохо. Но в худшем случае всякий рабочий охотнее откажется от той ничтожной доли роскоши и цивилизации, к которой он привык, лишь бы кое-как просуществовать; он охотнее будет жить в свином хлеву, чем под открытым небом, охотнее будет носить отрепья, чем ходить совсем без одежды, охотнее будет есть картофель, чем голодать. Он охотнее, в надежде на лучшие времена, будет довольствоваться половиной заработной платы, чем обречет себя на бездомную жизнь и голодную смерть, подобно многим, лишившимся куска хлеба. И вот это немногое, это нечто большее, чем ничего, и есть минимум заработной платы. А если рабочих оказывается больше, чем нужно буржуазии, если поэтому в конце этой борьбы, этой конкуренции, все же остаются еще некоторые рабочие, для которых работы нет, то им уже ничего более не остается, как умереть с голоду: не даст же им, конечно, буржуазия работы, если она продукт их работы не сможет продать с выгодой для себя.

Итак, вот что такое минимум заработной платы. Максимум ее определяется конкуренцией буржуа между собой, ибо мы видели, что и они конкурируют. Буржуа может увеличить свой капитал только через посредство торговли или промышленности и в обоих случаях он нуждается в рабочих. Он нуждается в них косвенно даже тогда, когда он отдает свой капитал на проценты, ибо без торговли и промышленности никто ему не станет платить процентов, никто не сможет использовать капитала. Таким образом, буржуа нуждается всегда в пролетарие, но он нуждается в нем не непосредственно для жизни, — ведь он может проесть свой капитал, — а так, как нуждается в предмете торговли или во вьючном животном, т. е. для обогащения. Пролетарий вырабатывает для буржуа товары, которые тот продает с пользой для себя. Когда поэтому спрос на эти товары возрастает, так что все конкурирующие между собой рабочие бывают заняты или даже их не хватает, то конкуренция рабочих между собой исчезает, и начинается конкуренция в среде буржуазии. Отыскивающий рабочих капиталист прекрасно знает, что возросшие вследствие усиления спроса цены доставят ему больший барыш; поэтому он охотнее соглашается повысить немного заработную плату, чем совсем отказаться от барыша; чтобы получить большие выгоды, он готов кое-чем поделиться и с рабочим. Так один капиталист отбивает рабочих у другого, и заработная плата повышается. Но она повышается лишь настолько, насколько это допускает усилившийся спрос. Когда капиталисту, жертвовавшему кое-чем из своей чрезвычайной прибыли, приходится жертвовать из своей обычной, т. е. средней прибыли, он уже старается не платить больше средней заработной платы.

Отсюда можно определить, что такое средняя заработная плата, чем она определяется и от чего зависит. При условиях средних, т. е. когда ни рабочие, ни капиталисты не имеют оснований особенно конкурировать между собой, когда имеется *как раз столько* рабочих, сколько может быть занято в производстве, чтобы изготовленные ими товары сполна удовлетворяли спрос на них, заработная плата будет несколько выше минимума. Насколько она будет его превышать — зависит от средних потребностей и степени культурности рабочих. Если рабочие привыкли несколько раз в неделю есть мясо, капиталистам волей-неволей придется платить рабочим такую заработную плату, чтобы они могли иметь такую пищу. Меньше они платить не будут, потому что рабочие не конкурируют между собой и у них, следовательно, нет оснований довольствоваться меньшим; не будут они им платить и больше, потому что при отсутствии кон-

курении между капиталистами, у последних нет оснований привлекать к себе рабочих особыми прибавками.

Благодаря сложности условий современной английской промышленности, средний уровень потребностей и культурности является очень неопределенной величиной. Кроме того, как мы выше указали, он неодинаков для различных категорий рабочих. Но в большинстве случаев от промышленных рабочих требуется известная сноровка и регулярность, и так как для этого необходима известная степень культурности со стороны рабочего, то и средняя заработная плата должна здесь быть настолько высока, чтобы она побуждала рабочего приобретать эту сноровку и подчиняться этой регулярности в работе. Вот почему заработная плата промышленных рабочих в среднем выше заработной платы простых грузчиков, поденщиков и т. д. и выше заработной платы сельскохозяйственных рабочих, на что влияет еще, конечно, дороговизна съестных припасов в городе. — Другими словами, юридически и фактически рабочий есть раб имущего класса, буржуазии, настолько ее раб, что он продается, как товар, цена на который, как и на всякий другой товар, повышается и понижается. Повышается спрос на рабочих, они повышаются в цене; понижается спрос на них, и цена на них понижается; если спрос на них понижается настолько, что известное число рабочих не находит сбыта, «остается на складе», то им приходится лежать про запас, а так как этим не проживешь, то они умирают с голода. Ибо, говоря языком политической экономии, затраченные на поддержание их жизни суммы не «воспроизведут себя», будут выброшенными деньгами, а на это никто своего капитала не даст. В этом смысле г-н Мальтус с своей теорией населения совершенно прав. Все отличие от старого откровенного рабства состоит в том, что современный рабочий кажется свободным, потому что он продается не раз навсегда, а по частям, на день, неделю, год, и потому что не один собственник продает его другому, а он сам вынужден себя продавать, ибо он раб не одного человека, а всего имущего класса. Для него существо дела не меняется, и если эта иллюзия свободы и должна ему давать некоторую *реальную* свободу, то зато, с другой стороны, в теперешнем его положении имеется еще та невыгода, что никто не гарантирует ему средств существования и что буржуазия может его каждый момент лишить заработка и обречь на голодную смерть, если она не нуждается ни в его работе, ни в его существовании. — Для буржуазии же настоящее положение дела несравненно выгоднее, чем старое рабство: она может когда угодно отказать своим рабочим, не теряя при этом вложенного капитала, и вообще труд обходится ей гораздо дешевле,

чем обошелся бы труд рабов, как это рассчитал ей в утешение Адам Смит.¹

Отсюда следует, что Адам Смит совершенно прав, когда выставляет следующее положение: «Как спрос на какой бы то ни было *другой товар* регулирует его производство, так спрос на рабочих регулирует производство рабочих, количество производимых людей, ускоряя этот процесс, когда он идет слишком медленно, и задерживая его, когда он идет слишком быстро». *Тут происходит совершенно то же, что и со всяким другим товаром*: когда рабочих слишком мало, то цена на них повышается, т. е. повышается их заработная плата; рабочим живется лучше, число браков увеличивается, увеличивается рождаемость, уменьшается детская смертность, пока не получится достаточного количества рабочих; если их слишком много, то цены понижаются, наступает безработица, нищета, голод и в результате всевозможные болезни, устраняющие «излишнее население». И Мальтус, развивший вышеприведенное положение Смита, по своему прав, когда он утверждает, что всегда имеется излишнее население, что на свете всегда слишком много людей; он только тогда неправ, когда утверждает, что на свете больше людей, чем могут прокормить имеющиеся налицо средства к жизни. Излишек населения скорее создается конкуренцией рабочих между собой, — конкуренцией, заставляющей каждого отдельного рабочего работать ежедневно столько, сколько ему позволяют его силы. Допустим, фабрикант может ежедневно занять у себя десять рабочих в течение девяти часов; в таком случае, если рабочие будут ежедневно работать по десяти часов, у него найдут работу лишь девять человек, а десятый останется без хлеба. И если фабрикант, улучив момент, когда спрос на рабочих не очень высок, может заставить девять рабочих под угрозой отказа от работы работать за ту же плату, но часом в день больше, т. е. в нашем примере десять часов, то он отказывает десятому рабочему,

¹ «Говорят, что расходы на изнашивание раба лежат на его хозяине, а расходы на изнашивание свободного рабочего — на нем самом. На самом деле расходы на изнашивание свободного рабочего также лежат на его хозяине. Зарботная плата всякого рода рабочих должна быть настолько высока, чтобы она позволяла им в такой мере продолжать расу поденщиков и слуг, в какой этого требует возрастающий, стационарный или понижающийся спрос со стороны общества. Но если изнашивание свободного рабочего тоже происходит на счет его хозяина, то все же оно последнему стоит обыкновенно гораздо меньше, чем изнашивание раба. Фондом, назначенные которого воссоставить или возместить изнашивание раба, заведует обыкновенно нерадивый хозяин или невнимательный надсмотрщик» и т. д. (A. Smith, *Wealth of Nations*, I, 8, p. 133 в издании Мак-Куллоха).

заработная плата которого остается у него в кармане. Но дело не меняется, если вместо отдельного случая мы возьмем нацию в целом. Производительность труда рабочего, доведенная до своего максимума конкуренцией рабочих между собой, разделение труда, введение машин, использование сил природы, — все это оставило без работы множество людей. Но этого мало: эти безработные уходят с рынка; они ничего более покупать не могут, и то количество товаров, на которое они раньше предъявляли спрос, теперь более не требуется и потому его не надо производить; занятые изготовлением их рабочие тоже остаются без работы, тоже уходят с рынка, и так дело идет все далее, все в таком же круговороте, или, скорее, шло бы, если бы здесь не было еще и других обстоятельств. Дело в том, что с введением упомянутых выше средств, увеличивающих производство, цены на произведенные продукты понижаются, что приводит к усилению потребления, вследствие чего значительная часть безработных после долгих, конечно, страданий в конце концов пристраивается в новых отраслях труда. Если сюда присоединяется еще, как это было в Англии в течение последних шестидесяти лет, завоевание чужих рынков, вследствие чего спрос на мануфактурные товары быстро и непрерывно возрастает, то растет и спрос на рабочие руки, а с ним возрастает и население в той же пропорции. Таким образом, вместо того, чтобы уменьшаться, население Великобритании изумительно быстро увеличилось, увеличивается еще теперь, и при всем развитии промышленности, несмотря на усиление в общем спроса на рабочие руки, в Англии, как это признают все официальные партии (т. е. тории, виги и радикалы), все же постоянно имеется излишнее население, все же конкуренция *между* рабочими в общем больше, чем конкуренция *из-за* рабочих.

Чем же объясняется это противоречие? Самой сущностью промышленности и конкуренции и вытекающими отсюда торговыми кризисами. При современной беспорядочной системе производства и распределения продуктов, регулируемой не непосредственным удовлетворением потребностей, а жадной наживы, при господстве системы, когда каждый работает и обогащается на свой собственный риск и страх, каждый момент может возникнуть застой. Англия, например, снабжает целый ряд стран самыми разнообразными товарами. Если какой-нибудь фабрикант и знает, сколько потребляется ежегодно в каждой отдельной стране того или другого товара, то он все же не знает, как велики там запасы этого товара в тот или другой момент и сколько его пошлют туда его конкуренты. Только по вечно колеблющимся ценам он может сделать более или менее

вероятное заключение о существующих запасах и потребностях, и ему приходится отправлять свои товары наугад; все делается вслепую, на авось, и более или менее зависит от случая. На основании первого благоприятного сведения о состоянии какого-нибудь рынка каждый начинает туда посылать все, что может; не успеешь осмотреться, как рынок этот переполняется товарами, в продаже наступает застой, оборот задерживается, цены падают, и английская промышленность не имеет больше работы для своих рабочих. В начале промышленного развития застой эти ограничивались отдельными отраслями промышленности или отдельными рынками; но при централизующем действии конкуренции рабочие, лишившись работы в одной отрасли, бросаются на другие, не требующие особого навыка; товары, не проданные на одном рынке, перебрасываются на другие, и вследствие этого отдельные мелкие кризисы мало-по-малу сближаются друг с другом и из их постепенного слияния получается единый ряд периодически возвращающихся крупных кризисов. Такой кризис наступает обыкновенно каждые пять лет, после короткого периода процветания и общего благосостояния; внутренний рынок, а также все рынки иностранные, переполняются английскими фабрикатами, которые могут лишь медленно найти сбыт; промышленное развитие останавливается почти во всех отраслях; мелкие фабриканты и купцы, которые не в состоянии переждать, пока к ним вернутся их капиталы, разоряются, более крупные прекращают дела на время, останавливают свои машины или работают «неполное время», т. е. лишь полдня; вследствие конкуренции безработных, сокращения рабочего дня и недостаточно выгодного сбыта товаров, заработная плата понижается; среди рабочих все более и более распространяется нищета, и если у кого-нибудь и были какие-нибудь сбережения, он их быстро растрчивает; благотворительные учреждения осаждаются со всех сторон, налог в пользу бедных удваивается, утраивается и все же оказывается недостаточным, число умирающих от голода растет, и вдруг оказывается ужасающее количество «излишнего» населения. Так продолжается некоторое время: «слишние» так или иначе пробиваются или им это не удается, и тогда они погибают; при помощи благотворительности и благодаря законам о бедных многие кое-как влачат жалкое существование; другие кое-как прозябают, пристроившись там, где слабее дает себя чувствовать конкуренция, где-нибудь подальше от крупной промышленности; много ли нужно человеку, чтобы как-нибудь некоторое время перебиться! Мало-по-малу положение улучшается: скопившиеся запасы товаров потребляются, общее подавленное настроение купцов и промышлен-

ников мешает слишком быстрому пополнению этих запасов, пока, наконец, повысившиеся цены и благоприятные вести снова не вызовут усиленной деятельности. Но рынки сбыта находятся большей частью далеко от мест производства товаров. Пока туда прибывают новые запасы товаров, спрос на них растет, а с ним вместе растут и цены; первые транспорты товаров берутся нарасхват, первые продажи еще больше оживляют рынок, дальнейшие транспорты товаров обещают еще более высокие цены; в ожидании этого дальнейшего повышения начинают покупать для спекуляции, и товары, предназначенные для потребления, в самое нужное время извлекаются из обращения; так как спекуляция вызывает у других желание покупать и выхватывает из обращения прибывающие товары, то от этого еще более повышаются цены; обо всем этом сообщается в Англию, и фабриканты снова начинают усиленно работать, строят новые фабрики, стараясь изо всех сил использовать благоприятный момент. Тогда наступает спекуляция и здесь, и с теми же последствиями, как и на других рынках, т. е. повышаются цены, извлекаются товары из обращения, причем то и другое доводит производство до высшего напряжения. Затем появляются «несолидные» спекулянты, работающие фиктивным капиталом, живущие кредитом и разоряющиеся, если им не удастся быстро перепродать закупленные товары. Они вперегонку бросаются в эту общую беспорядочную погоню за наживой, своей неукротимой жадностью безумно повышают цены, усиливают производство и создают еще больший беспорядок и суету. Начинается какая-то безумная скачка, захватывающая самого спокойного и опытного человека, начинают ковать, прясть, ткать, производить в огромном количестве всевозможные товары, как будто надо заново снабдить всем все человечество, как будто где-то на луне открыт новый рынок в несколько тысяч миллионов новых потребителей. В один прекрасный день несолидные фабриканты, нуждаясь в деньгах, начинают продавать — ниже, конечно, рыночных цен, ибо им надо спешить; за одними следуют другие, цены начинают колебаться, испуганные этим спекулянты выбрасывают свои товары на рынок, рынок приходит в замешательство, кредит поколеблен, один торговый дом за другим приостанавливает платежи, одно банкротство следует за другим, и оказывается, что на месте и в дороге товаров втрое больше, чем это необходимо для потребления. Известия об этом доходят до Англии, где до этого момента все еще продолжают производить изо всей силы, панический ужас охватывает и здесь всех и каждого, банкротства за границей ведут за собой банкротства и в Англии, наступивший застой

совершенно разоряет множество торговых домов, в ужасе выбрасываются и здесь на рынок все запасы, а это производит еще большее смятение. Таково начало кризиса, который затем протекает, как описано уже выше, и по истечении некоторого времени вновь сменяется периодом процветания. Так дело продолжается без перерыва, кризис сменяется периодом расцвета, за которым следует новый кризис, и этот вечный круговорот, в котором находится английская промышленность, повторяется обыкновенно, как уже сказано, каждые пять или шесть лет.

Отсюда ясно, что английская промышленность должна иметь всегда, за исключением коротких периодов высшего расцвета, целые резервы безработных: не будь их, она в наиболее оживленные месяцы не была бы в состоянии произвести всей массы товаров, требуемой на рынке. Резервы эти более или менее многочисленны, смотря по тому, какая часть их находит работу при данном положении рынка. И если в эпоху наибольшего расцвета сельскохозяйственные округа, Ирландия и менее захваченные расцветом отрасли промышленности могут освободить некоторые кадры рабочих, то, во-первых, таких меньшинство, а во-вторых, и они принадлежат к резервам, с той только разницей, что только расцвет обнаруживает существование этих резервов. Когда они переходят в более оживленные отрасли промышленности, то в местах их прежней работы, чтобы восполнить образуемый ими пробел, сжимаются, начинают работать дольше, привлекают к работе женщин и подростков, и, когда они с наступлением кризиса теряют свои места и возвращаются домой, то находят все места занятыми, и тогда они — по крайней мере большая часть их — становятся в ряды избыточного населения. Вот эти-то резервы, в эпохи кризисов возрастающие неизмеримо и в периоды, которые можно принять за нечто среднее между расцветом и кризисом, тоже насчитывающие изрядное число людей, и составляют «избыточное население» Англии; оно попрошайничает и крадет, метет улицы, собирает лошадиный навоз, перевозит клади на ручных тележках и на ослах, занимается мелкой розничной торговлей и всякими мелкими случайными работами поддерживает свое жалкое существование. Во всех крупных городах видишь множество таких людей, которые всякими мелкими случайными заработками «не дают душе расстаться с телом», как выражаются англичане. Прямо изумительно, какие заработки находит это «избыточное население». Лондонские чистильщики улиц (*crossing sweeps*) всемирно известны, но до сих пор безработные чистили не только перекрестки, но и главные улицы во всех крупных городах и на-

нимались для этого попечительствами о бедных или городскими управлениями; теперь же для этого употребляется машина, которая ежедневно громыкает по улицам, лишая безработных этого заработка. На больших дорогах, ведущих в города, там, где большое движение телег, можно видеть множество людей с маленькими тележками, с опасностью для жизни подбирающих среди катящихся по всем направлениям карет и омнибусов свежий лошадиный навоз, который они собирают для продажи. Часто им приходится за это выплачивать несколько шиллингов в неделю управлению, заведующему очисткой улиц, а во многих местах последнее им даже запрещает это, потому что иначе оно не может продать в качестве удобрения собираемый сор, в котором оказывается слишком мало лошадиного навоза. Счастливы те «лишние», которым удается обзавестись ручной тележкой для перевозки небольших кладей, еще счастливее те, которым удается обзавестись не только тележкой, но и ослом; последний должен сам отыскивать себе пищу или получает кое-какие отбросы, и все же он может принести кое-какой доход. — Большинство «лишних» занимается мелкой торговлей в разнос. В субботу вечером, когда все рабочее население высыпает на улицу, эти торговцы снуют среди него по всем направлениям. Шнурки для ботинок, подтяжки, тесемки, апельсины, печения и всевозможные другие вещи предлагаются наперерыв бесчисленным количеством мужчин, женщин и детей. Да и в иное время встречаешь на каждом шагу таких продавцов, предлагающих апельсины, печения, джинджер-бир и негльбир.¹

Предметом торговли этих людей являются также спички, сургуч, патентованные зажигалки и тому подобные вещи. Другие, так называемые *jobbers*, ходят по улицам, отыскивая себе какие-нибудь случайные мелкие работы, некоторым из них удается достать поденную работу, но такое счастье выпадает на долю немногим. «У ворот всех лондонских доков, — рассказывает В. Чемпи, священник в восточном округе Лондона, — можно видеть каждое утро зимой, еще до рассвета, сотни бедняков, поджидающих открытия ворот в надежде на получение поденной работы, и когда самые сильные и молодые и наиболее известные администрации доков наняты, сотни других с обманутой надеждой уныло плетутся домой в свои бедные жилища». Что остается делать этим людям, как не просить милостыню, если они не находят работы и не хотят восстать против

¹ Два излюбленных прохладительных и пшпучих напитка у рабочих, особенно трезвенников. Первый изготовляется из сахара, инбиря и воды, а второй из сахара, воды и крапивы.

существующего общества? Не следует поэтому удивляться тому, что всюду много нищих, в большинстве случаев работоспособных людей, — нищих, с которыми полиция постоянно воюет. Но нищенство этих людей носит особый характер. Обыкновенно они ходят по улицам целыми семьями, останавливаясь то тут, то там, чтобы пропеть жалобную песню или попросить о сострадании соседей. И замечательно то, что таких нищих можно встретить только в рабочих кварталах и что поддерживают они свое существование почти исключительно подаванием рабочих. Иногда вся семья молча стоит на какой-нибудь оживленной улице, действуя на людей одним видом своей беспомощности. И здесь рассчитывают только на участие рабочих, которые по собственному опыту знают, что такое голод, и в любой момент могут попасть в такое же положение. И, действительно, с этим немым, но таким выразительным призывом встречаешься почти исключительно на таких улицах, на которых часто бывают рабочие, и в такие часы, когда рабочие по ним проходят; чаще всего в субботу вечером, когда вообще «тайны» рабочих кварталов раскрываются на главных улицах, и средний класс по возможности избегает этих оскверненных мест. А кто из «лишних» достаточно смел, чтобы открыто восстать против общества, и на *скрытую* войну, которую против него ведет буржуазия, ответить *открытой* войной против буржуазии, — тот отправляется красть, грабить и убивать.

Согласно отчетам комиссаров по закону о бедных, таких «лишних» насчитывается в Англии и Уэльсе в среднем около полутора миллиона; в Шотландии, за отсутствием закона о бедных, число их не установлено, а об Ирландии у нас будет речь особо. Впрочем, в эти полтора миллиона входят только те, кто действительно обращался за помощью к приходским управлениям, но сюда не включены те многочисленные бедняки, которые как-нибудь перебиваются, не прибегая к этой столь непопулярной форме помощи; но зато значительная доля в упомянутом выше числе падает на земледельческие округа и потому не может быть принята здесь во внимание. Во время кризиса число это, естественно, значительно возрастает, и нужда принимает ужасающие размеры. Возьмем, например, кризис 1842 г., который был последним, а потому и наиболее сильным: ведь интенсивность кризисов растет с повторением их, и ближайший кризис, который должен наступить не позже 1847 г., по всем видимостям будет еще сильнее и продолжительнее. Во время этого кризиса налог в пользу бедных возрос во всех городах в небывалой еще степени. Так, в Стокпорте платили с каждого фунта стерлингов, уплачиваемого за наем квартиры, восемь шиллингов в пользу бед-

ных, так что один этот налог составляет 40% квартирной платы; к тому же пустовали целые улицы, так что в городе было, по крайней мере, на 20 000 жителей меньше обыкновенного, и на дверях пустовавших домов появлялись надписи: «Stockport to let» — Стокпорт отдается в наем. В Больтоне, где в обычные годы квартирная плата, с которой взимался налог в пользу бедных, составляла в среднем 86 000 фунтов стерлингов, упала до 36 000 фунтов стерлингов, а число бедняков, нуждающихся в помощи, возросло до 14 000, т. е. составило свыше 20% всего населения. В Лидсе у попечительства о бедных имелся резервный фонд в 10 000 фунтов стерлингов, который вместе с собранными по подписке 7 000 фунтов стерлингов был совершенно исчерпан еще раньше, чем кризис достиг своего апогея. И так было везде. В отчете о состоянии промышленных округов в 1842 г., составленном комитетом Лиги борьбы против хлебных законов в январе 1843 г. и основанном на подробных показаниях фабрикантов, говорится, что налог в пользу бедных был в среднем вдвое выше, чем в 1839 г., а число нуждающихся в помощи с тех пор увеличилось в три и даже в пять раз; что множество нуждающихся состоит из людей, которые до этого времени никогда не нуждались в такой помощи и т. д.; что рабочий класс получил на две третьих меньше средств к жизни, чем в 1834—1836 гг.; что потребление мяса значительно уменьшилось — в одних местах на 20%, а в других до 60%; что даже обыкновенные ремесленники, как кузнецы, каменщики и т. д., которые даже в самые худшие периоды находили еще, бывало, достаточно работы, не мало страдали от отсутствия работы и понижения заработной платы и что даже теперь, в январе 1843 г., эта заработная плата не перестает падать. И таковы отчеты фабрикантов! Множество безработных, хозяева которых позакрывали свои фабрики и не могли им дать работы, стояли на улицах, прося подаяния в одиночку или толпами, массами осаждали проезжие дороги, прося у прохожих помощи, но они не вымаливали, как обыкновенные нищие, а требовали, угрожая жестами, речами и самой своею численностью. Так обстояло дело во всех промышленных округах от Лейстера до Лидса и от Манчестера до Бирмингама. То тут, то там возникали беспорядки, как это было, например, в июле на гончарных заводах в северном Стаффордшире; среди рабочих царил страшное возбуждение, пока оно, наконец, не прорвалось в августе в общем восстании в фабричных округах. Когда я в конце ноября 1842 г. прибыл в Манчестер, я нашел еще везде толпы безработных, стоявшие на перекрестках улиц, и множество фабрик, еще не работавших; в следующие месяцы до середины 1843 г. эти недовольные

праздношатающиеся стали исчезать, и фабрики начали постепенно работать.

Мне нет надобности рассказывать, какую массу нужды и лишений терпят безработные во время такого кризиса. Налога, собираемого в пользу бедных, не хватает, далеко не хватает; благотворительность богачей есть удар по воде, действие которого немедленно прекращается; просящих много, и милостыня может помочь лишь немногим. Если бы мелкие лавочники не продавали в такое время рабочим в кредит, покуда они в силах, — они взимают, конечно, за это порядочные проценты! — и если бы рабочие не поддерживали друг друга, покуда у них есть чем помочь, масса «излишних» в такие кризисы умерла бы с голода. Но так как самый тяжелый период все же не очень длинен, — он продолжается год, самое большее два или два с половиной, — большинство все-таки пробивается, хотя и потеряв все и пройдя сквозь тяжелые лишения. Что косвенно, вследствие болезней и т. д., каждый кризис пожирает множество жертв, мы увидим ниже. Покуда же мы обратимся к другой причине тяжелого положения английских рабочих, — причине, продолжающей еще и в настоящее время все более и более ухудшать это положение.

IV.

ИРЛАНДСКАЯ ИММИГРАЦИЯ.

Нам не раз уже приходилось упоминать по тому или другому поводу об ирландцах, переселившихся в Англию. В настоящей главе мы ближе рассмотрим причины и последствия этой иммиграции.

Английская промышленность не могла бы развиваться так быстро, если бы Англия не нашла в многочисленном и бедном населении Ирландии резерва, готового к ее услугам. Ирландцу дома нечего терять, зато в Англии он может много выиграть; и с тех пор, как в Ирландии стало известно, что по ту сторону канала св. Георга сильные руки могут найти верную работу за хорошую плату, толпы ирландцев двинулись в Англию. Полагают, что до настоящего времени таким образом переселилось более одного миллиона ирландцев и ежегодно переселяется до 50 000; почти все они направляются в промышленные районы, в особенности в крупные города, и там образуют самый низший класс населения. Так, в Лондоне насчитывают 120 000 бедных ирландцев, в Манчестере — 40 000, в Ливерпуле — 34 000, в Бристоле — 24 000, в Глазго — 40 000 и в Эдинбурге — 29 000.¹ Эти люди, выросшие почти вне всякой цивилизации, привыкшие с детства к всевозможным лишениям, грубые, с склонностью к пьянству, не привыкшие думать о будущем, при своем появлении вносят все свои грубые нравы в тот класс английского населения, в котором и без того мало склонности к образованию и нравственности. Послушаем, что говорит об этом Томас Карлейль.² «Эти дикие милезийские³ лица, на которых написаны хитрость, буйность, глупость, нищета и зубоскальство, встречаются на всех больших и второстепенных дорогах. Англичанин-кучер, проезжая

¹ *Archibald Alison, High Sheriff of Lanarkshire. «The Principles of Population, and their connection with Human Happiness» 2, vols, 1840.* Автор — историк французской революции и, подобно брату своему, д-ру В. П. Алисону, религиозно-настроенный торий.

² «*Chartism*», стр. 28, 32 и след.

³ Милезий — имя древних кельтских королей Ирландии.

мимо, бьет милезийца кнутом; этот проклинает его на своем языке, но тут же снимает шляпу и попрошайничает. Это худшее зло, с которым приходится бороться нашей стране. В своих отрешках, с своим диким смехом, он всегда под рукой, готовый делать всякую работу, требующую сильных рук и крепкой спины, за плату, достаточную лишь, чтобы купить картофеля. Ему нужна только соль для приправы; он спит, вполне довольный, в первом же попавшемся свином хлеву или в собачьей конуре, устраивается в сарае и носит одежду из лохмотьев, надевать и снимать которую есть одна из труднейших операций, которую он предпринимает только в праздники или в особо торжественных случаях. Человек саксонского происхождения, который не может работать на таких условиях, лишается куска хлеба. Нецивилизованный ирландец не силой своей, а ее противоположностью, вытесняет туземцев саксонского происхождения и занимает их место. Он живет в своей грязи и беспечности, пьянствуя, надувая и бесчинствуя, яркое воплощение падения и распущенности. Кто старается еще плыть, держась кое-как на поверхности, может здесь видеть примеры того, как человек может существовать, не держась на поверхности, а опускаясь ниже ее... Положение низших категорий английских рабочих все более и более приближается к положению ирландских рабочих, конкурирующих с ними на всех рынках. Всякая работа, которая может быть выполнена одной физической силой, для которой много сноровки не требуется, выполняется не за английскую заработную плату, а за плату, приближающуюся к ирландской, т. е. за плату немногим больше той, за которую можно получить картофель худшего сорта в течение тридцати недель в году; с каждым парходом из Ирландии она все более приближается к этой норме».

Если исключить преувеличения и односторонности в оценке национального характера ирландцев, то Карлейль здесь вполне прав. Эти ирландские рабочие пробираются повсюду. Переезд в Англию стоит им не более четырех пенсов — на палубе корабля, куда их набивают плотно, как скот. Самые худшие квартиры для них еще достаточно хороши; об одежде они мало заботятся, покуда она хоть кое-как держится на теле; обуви они не знают; пищу их составляет картофель и только картофель; что они сверх того зарабатывают, они тотчас же пропивают; зачем таким людям высокая плата? Самые худшие кварталы во всех крупных городах населены ирландцами; везде, где какой-нибудь квартал особенно выделяется своей грязью и разрушением, можно заранее быть уверенным, что встретишь там преимущественно кельтские лица, которые с первого взгляда можно

отличить от саксонских физиономий туземцев, услышишь певучий гортанный ирландский говор, от которого настоящий ирландец никогда не отвыкает. Мне даже случалось слышать иро-кельтскую речь в самых густо населенных частях Манчестера. Большинство семейств, живущих в подвалах, почти всюду ирландского происхождения. Одним словом, ирландцы открыли, как говорит д-р Кей, что такое минимум жизненных потребностей, и учат этому английских рабочих. Привезли они с собой также грязь и пьянство. Эта грязь, ставшая у ирландцев второй натурой, в деревне, где население живет не так тесно, не очень вредна, но здесь, в больших городах, при столь сильной скученности населения, она внушает ужас и грозит многими опасностями. Милевиец выбрасывает всевозможные отбросы и нечистоты у самых дверей, как он это делал дома, и заводит лужи грязи и кучи навоза, загрязняя весь рабочий квартал и варажая воздух. Как и в своей деревне, он пристраивает свинюй хлев к самому дому, а если ему это не удастся, он просто оставляет свинью у себя в комнате. Этот новый безобразный способ откармливания свиней в больших городах исключительно ирландского происхождения. Ирландец так же привязан к своей свинье, как араб к своему коню, с тою лишь разницей, что он продает ее, когда она становится достаточно жирной; а до тех пор он и ест, и спит с ней, его дети играют с ней, ездят на ней верхом и валяются с ней в грязи, как это тысячу раз можно видеть во всех крупных городах Англии. А какая грязь, какое отсутствие всякого уюта царит в самих домах — трудно себе и представить. К мебели ирландец не привык; охапка соломы, несколько тряпок, совсем уже не годных для одежды — вот его постель. Обрубок дерева, поломанный стул, старый ящик вместо стола — больше ему ничего не нужно. Чайник, несколько горшков и черепков — вот все, что нужно, чтобы обставить его кухню, служащую также и спальней, и жилой комнатой. А если ему нечем затопить камин, он отправляет туда все, что находится под рукой и что может гореть — стулья, дверные рамы, карнизы, полы, если они имеются. Да и зачем ему много места? В Ирландии его мазанка состояла из одной только комнаты, в которой помещалось все; более одной комнаты не нужно семье и в Англии. Таким образом, скученность многих в одной комнате, которая теперь стала столь общим явлением, тоже введена главным образом ирландцами. А так как и у этого бедняка должно быть какое-нибудь наслаждение, а все другое общество сделало для него недоступными, то он отправляется в трактир и пьет там водку. Водка — вот что делает ирландцу сносной его жизнь, — водка да еще его беззаботный,

веселый характер, и потому он напивается до бесчувствия. Южный, легкомысленный характер ирландца, грубость, ставящая его почти на одну доску с дикарем, его презрение ко всем человеческим наслаждениям, на которые он неспособен вследствие именно этой дикости, его грязь и нищета, — все это усиливает в нем стремление к пьянству; искушение слишком велико, чтобы он мог ему противостоять, и как только он получает какие-нибудь деньги, он их пропивает. Да и может ли быть иначе? Как может общество, ставящее его в такое положение, в котором он почти неизбежно должен стать пьяницей, обрекающее его на одичание, как оно может осуждать его, если он на самом деле становится пьяницей?

Вот с каким конкурентом приходится бороться английскому рабочему, — с конкурентом, стоящим на самой низкой ступени развития, какая только возможна в цивилизованной стране, и готовым поэтому работать за самую низкую плату. Вот почему вполне естественно, что, как говорит Карлейль, во всех отраслях труда, в которых английскому рабочему приходится выдерживать конкуренцию с ирландским, заработная плата падает все ниже и ниже. И таких отраслей много; все те, где требуется мало сноровки или вовсе ее не требуется, открыты для ирландца. Конечно, в тех отраслях труда, для которых необходимо долговременное обучение или требуется постоянная регулярная деятельность, распутный, пьяный и ненадежный ирландец не годится. Чтобы стать механиком (механиком называется в Англии всякий рабочий, работающий на заводах по изготовлению машин), фабричным рабочим, он должен воспринять сначала английскую цивилизацию и английские нравы, т. е. в сущности стать англичанином. Но где дело идет о более простой, менее аккуратной работе, где физическая сила более важна, чем сноровка, там ирландец так же хорош, как и англичанин. Вот почему все эти отрасли труда осаждаются ирландцами; ручные ткачи, каменщики, носильщики, искатели случайного заработка и т. д. насчитывают в своей среде множество ирландцев, и это значительно содействовало как понижению заработной платы, так и ухудшению положения рабочего класса. Ирландцы, проникшие и в другие отрасли труда, должны, правда, стать более цивилизованными, но все же они не цивилизуются настолько, чтобы, — рядом с влиянием, которое вообще должна производить среда ирландцев, — не действовать деградирующим образом на своих английских товарищей. В самом деле, если принять во внимание, что почти в каждом крупном городе пятая или четвертая часть рабочих состоит из ирландцев или выросших в ирландской грязи детей ирландцев, не будешь уди-

вляться тому, что жизнь всего рабочего класса, его нравы, интеллектуальное и моральное развитие, весь его характер в значительной степени приняли ирландские черты, и станет понятным, как и без того возмутительное положение английских рабочих, вызванное современной промышленностью и ее ближайшими последствиями, могло еще более ухудшиться.

V.

ВЫВОДЫ.

Познакомившись более или менее подробно с условиями жизни английского рабочего класса в городах, нам пора сделать из приведенных фактов некоторые выводы и эти выводы вновь сопоставить с действительными фактами. Посмотрим же, что при этих условиях случилось с самими рабочими, что это за люди, каково их физическое, интеллектуальное и моральное состояние.

Если один человек наносит другому физический вред, и такой вред, который влечет за собой смерть потерпевшего, мы называем это убийством; если убийца заранее знал, что вред этот будет смертельным, то мы называем его действие умышленным убийством. Если же общество ¹ ставит сотни пролетариев в такое положение, что они неизбежно обречены на преждевременную неестественную смерть, на смерть столь же насильственную, как смерть от меча или пули; если оно тысячи своих членов лишает необходимых условий жизни, ставит их в условия, в которых они жить *не могут*; если оно сильной рукой закона принуждает их жить в этих условиях, пока не наступит смерть, как необходимое последствие; если оно знает, очень хорошо знает, что тысячи должны пасть жертвой таких

¹ Когда я здесь, как и в других местах, говорю об обществе, как о некотором ответственном целом, имеющем известные права и обязанности, то я, разумеется, имею в виду ту часть общества, которая обладает властью, т. е. тот класс, которому принадлежит в данное время политическое и социальное господство и который поэтому ответствен за положение тех, кто не имеет этой власти. Этим господствующим классом является в Англии, как и во всех других цивилизованных странах, буржуазия. Но то, что общество и специально буржуазия обязаны охранять, по меньшей мере, *жизнь* каждого члена общества, обязаны заботиться, например, о том, чтобы никто не умирал с голода, это положение мне нет надобности доказывать моим *немецким* читателям. Пиши я это для английской буржуазии, дело обстоит бы, конечно, иначе. — (1892). Как все изменилось за эти пятьдесят лет! В настоящее время есть не мало английских буржуа, признающих обязанности общества по отношению к его отдельным членам; а как обстоит дело в Германии?!

условий и все-таки этих условий не устраняет, — то это в такой же мере убийство, как и убийство отдельного лица, но только убийство скрытое, коварное, от которого никто оградить себя не может, которое не имеет вида убийства, потому что не виден убийца, потому что этим убийцей являются все и никто, потому что смерть жертвы имеет вид естественной смерти и потому что это не столько грех содеянный, сколько грех попущенный. Но тем не менее он остается убийством. И я попытаюсь доказать, что это социальное убийство, как его с полным правом навывают английские рабочие газеты, общество в Англии совершает ежедневно и ежечасно; что оно поставило рабочих в положение, в котором они не могут быть здоровыми и не могут долго жить, что оно, таким образом, постепенно, частями подтачивает жизнь этих рабочих, доводя их до преждевременной смерти. Далее я постараюсь доказать, что общество *знает*, как вредно отзывается такое положение на здоровья и жизни рабочих, и тем не менее ничего не предпринимает, чтобы улучшить это положение. Что общество *знает*, каковы последствия созданных им условий, и что дело идет здесь, следовательно, не о непредумышленном убийстве, а об убийстве сознательном, это я докажу тем, что приведу в доказательство факта убийства официальные документы, правительственные и парламентские отчеты.

Что класс людей, живущий в описанных выше условиях и так скудно обеспеченный самыми необходимыми средствами к жизни, не может быть здоровым и жить долго, ясно само собой. Рассмотрим, тем не менее, еще раз каждое из этих условий специально с точки зрения их влияния на состояние здоровья рабочих. Уже одна концентрация населения в больших городах имеет очень неблагоприятные последствия; атмосфера Лондона никогда не может быть столь чистой, столь богатой кислородом, как атмосфера какого-нибудь сельского округа; $2\frac{1}{2}$ миллиона легких и $2\frac{1}{2}$ сотни тысяч печей, стиснутые на 3 — 4 географических квадратных милях, потребляют необъятное количество кислорода, который возмещается лишь с большим трудом, так как сама распланировка города затрудняет вентиляцию. Образующийся от дыхания и горения углекислый газ, благодаря своему большому удельному весу, остается на улице, а главное воздушное течение проносится над крышами домов. Легкие населения не получают достаточного количества кислорода и следствием этого является физическое и духовное ослабление и понижение жизнедеятельности. Поэтому хотя жители больших городов менее, чем польвующиеся свежим, нормальным воздухом деревенские жители, подвержены острым заболеваниям, в особенности

сопровождающимся воспалительными процессами, но зато они в тем большей степени страдают от хронических болезней. Если же жизнь в больших городах уже сама по себе плохо влияет на здоровье, то как велико должно быть это вредное влияние загрязненной атмосферы в рабочих кварталах, где, как мы это видели, все как бы соединяется для того, чтобы сделать эту атмосферу как можно хуже. В деревне, где воздух свободно циркулирует по всем направлениям, может быть совсем не так вредно, если у самого дома находится грязная лужа; но посреди большого города, на улицах и дворах, со всех сторон застроенных и отрезанных от всякого притока свежего воздуха, дело обстоит совсем иначе. Всевозможные гниющие животные и растительные вещества развивают газы, абсолютно вредные для здоровья, и если эти газы не имеют выхода, они не могут не заражать атмосферы. Таким образом грязь и стоячие лужи в рабочих кварталах больших городов являются всегда сильнейшей угрозой общественному здоровью, так как именно они развивают газы, вызывающие болезни; то же самое можно сказать об испарениях загрязненных рек. Но это далеко еще не все. Поистине возмутительно, как современное общество обращается с огромным множеством бедняков. Их привлекают в крупные города, где они дышат атмосферой, худшей, чем в их родной деревне. Их направляют в кварталы, которые вследствие их распланировки хуже вентилируются, чем все остальные. Их лишают всех средств содержать себя в чистоте, их лишают воды, прокладывая водопроводные трубы только за деньги, и настолько загрязняют реки, что пользоваться ими в целях чистоты совершенно невозможно; их заставляют выкидывать тут же на улице всякие отбросы и сор, выливать всю грязную воду и часто самые отвратительные нечистоты и навоз, так как им не дают никакой возможности освободиться от них как-нибудь иначе; их заставляют таким образом самих заражать свои собственные кварталы. Но этого еще мало. На головы бедняков сыплются всевозможные злоключения. Население городов вообще слишком скучено, но рабочих заставляют жить еще теснее. Мало того, что их заставляют дышать испорченным воздухом на улице; их набивают еще дюжинами в одну комнату, так что воздух, которым они дышат ночью, становится совершенно невозможным. Им дают сырые квартиры, подвалы, куда вода проникает снизу, или мансарды, куда вода проникает сверху. Для них строят дома так, что испорченный воздух не вытягивается и не может заменяться хорошим. Их снабжают плохой, рваной или непрочной одеждой и плохими, фальсифицированными и трудно перевариваемыми съестными припасами. В них возбуждают самые сильные и противоположные настроения, самые силь-

ные переходы от страха к надежде и обратно, их травят, как диких эверей, и не дают им покоя, не дают спокойно прожить ни минуты. Их лишают всех наслаждений, кроме половых и пьянства, но зато заставляют их ежедневно работать до полного истощения всех духовных и физических сил и тем самым постоянно готовят их к самым безумным излишествам в единственно доступных им наслаждениях. И если всего этого мало, если все это они пересиливают, они падают жертвами безработицы во время кризиса, теряя при этом то немногое, что у них остается еще от такой жизни.

Возможно ли, чтобы при таких условиях беднейший класс сохранил здоровье и долговечность? Какой может быть от этого результат, как не чрезмерный процент смертных случаев, постоянные эпидемии, неизбежное прогрессивное физическое ослабление рабочего класса? Посмотрим, как дело обстоит в действительности.

Что жилища рабочих в плохих кварталах, в связи с общими условиями жизни рабочих, являются причинами множества болезней, этому мы имеем самые различные доказательства. Автор цитированной выше статьи в журнале «Artizan» вполне прав, когда он говорит, что такие условия жизни должны иметь своим необходимым последствием легочные болезни, и они на самом деле наиболее часто встречаются среди рабочих. Что скверный воздух Лондона и в особенности его рабочих кварталов в высшей степени благоприятен для развития чахотки, доказывает чахоточный вид очень многих людей, встречающихся там на улицах. Когда ходишь по улицам рано утром в то время, когда все спешат на работу, прямо изумляешься, какое множество встречается наполовину или совсем чахоточных людей. Даже в Манчестере люди выглядят лучше; эти бледные, долговязые, узкогрудые привидения с впавшими глазами, которые встречаешь на каждом шагу, эти бессильные, вялые, лишенные всякой энергии лица я видел в таком поразительно громадном количестве только в Лондоне, хотя в фабричных городах севера чахотка тоже ежегодно пожирает не мало жертв. С чахоткой конкурирует еще, если не считать других легочных болезней и скарлатины, прежде всего тиф — болезнь, производящая самые страшные опустошения среди рабочих. В официальном отчете о санитарных условиях жизни рабочего класса это общераспространенное зло прямо изображается как следствие плохой вентиляции, сырости и грязи рабочих жилищ. В этом отчете, — не следует забывать, что он составлен известнейшими английскими врачами на основании показаний других врачей, — говорится, что один единственный двор с плохой вентиляцией, один тупик без сточных канав, — в особенности, если жители живут

скученно и поблизости разлагаются органические вещества, — может служить очагом горячки и почти всегда является таковым. Эта последняя имеет почти везде один и тот же характер и почти всегда переходит в ясно выраженный тиф. Ее можно найти в рабочих кварталах всех больших городов и даже в некоторых плохо устроенных и содержимых улицах меньших городов, и наибольшее распространение она получает в худших кварталах, хотя, конечно, отыскивает некоторые отдельные жертвы и в лучших. В Лондоне она неистовствовала довольно долгое время; ее чрезвычайная сила и опустошения в 1837 г. вызвали упомянутый официальный отчет. Согласно годовому отчету д-ра Саутвуда Смита, в лондонской больнице для горячечных перебивало в 1843 г. 1 462 больных, на 418 больше, чем в какой бы то ни было из прежних годов. Эта болезнь страшно сильно свирепствовала в сырых и грязных местностях восточных, северных и южных районов Лондона. Значительную часть пациентов составляли рабочие, приехавшие недавно из деревни, претерпевшие самые жестокие лишения дорогой и, по прибытии в Лондон, спавшие полунагими и полумертвыми от голода на улицах за неимением работы и в конце концов павшие жертвой горячки. Люди эти по прибытии в больницу были так слабы, что понадобилось необыкновенно большое количество вина, коньяку, нашатырных препаратов и других возбуждающих средств, чтобы несколько оживить их. Из всех больных умерло 16,5%. Знает эту ужасную болезнь и Манчестер; из худших рабочих кварталов старого города, Энкотского района, Малой Ирландии и т. д. она не исчезает почти никогда, но все же она здесь, как и вообще в *английских* городах, не свирепствует с такой силой, какую можно было бы ожидать. Напротив того, в Шотландии и Ирландии тиф свирепствует с невероятной жестокостью. В Эдинбурге и Глазго он особенно свирепствовал в 1817 г. после наступившего вадорожания съестных припасов, в 1826 и 1837 гг. после торговых кризисов, и каждый раз, пробушевав около трех лет, на некоторое время немного затихал. В Эдинбурге пострадало в эпидемию 1817 г. около 6 000 человек, в эпидемию 1837 г. — около 10 000, и с каждым возвратом эпидемии не только увеличивалось число больных, но возрастали и сила болезни, и процент смертных случаев.¹ Но сила болезни во все предыдущие периоды ничто в сравнении с силой, с которой она свирепствовала после кризиса 1842 г. От нее пострадала одна шестая часть всех бедняков во всей Шотландии, и странствующие нищие разносили болезнь с поразительной быстро-

¹ Dr Alison, Management of Poor in Scotland.

той из одного места в другое; но она не захватила средних и высших классов общества. За два месяца заболело тифом больше людей, чем за двенадцать лет до этого. В Глазго переболело этой болезнью в 1843 г. 12% населения, всего 32 000 человек, из которых 32% умерло, между тем как смертность в Манчестере и Ливерпуле не превышает обыкновенно 8%. При этой болезни на седьмой и пятнадцатый день наступает кризис; во время последнего у пациента обыкновенно цвет кожи становится желтым; это обстоятельство цитируемый нами автор считает доказательством того, что причину болезни следует искать также в душевном возбуждении и страхе.¹ В Ирландии эта эпидемия тоже довольно частое явление. В течение двадцати одного месяца 1817 — 1818 гг. в Дублинском госпитале перебивало 39 000 больных горячкой и в один из последующих годов, по свидетельству шерифа Алисона (во втором томе «Principles of Population»), даже 60 000 больных. В Корке перебивала в больнице в эпидемию 1817 — 1818 гг. седьмая часть населения, в Лимерике перебивала в больнице в это время четвертая часть, а в *худших кварталах* Уотерфорда переболело этой болезнью девятнадцать двадцатых всего населения.²

Если вспомнить условия, в которых живут рабочие, если иметь в виду, как тесны их квартиры, как битком набит в них людьми каждый угол, как в одной комнате на одной постели спят и больные и здоровые, можно будет удивляться только тому, что такая заразительная болезнь, как эта горячка, не распространяется еще более. И если принять во внимание, что медицинская помощь заболевшим крайне недостаточна, что многие совершенно лишены медицинских советов и незнакомы с самыми обычными предписаниями диеты, то смертность окажется еще незначительной. Д-р Алисон, хорошо изучивший эту болезнь, видит причину ее в нужде и жалком положении бедняков, как и цитированный выше отчет: лишения и недостаточное удовлетворение жизненных потребностей делают, по его словам, организм восприимчивым к заразе и вообще создают плодотворную почву для развития и распространения эпидемии. Он доказывает, что в Шотландии и Ирландии всякой эпидемии тифа предшествовал период лишений — вследствие торгового кризиса или неурожая — и что болезнь свирепствовала почти исключительно среди рабочего класса. Замечательно еще то, что, согласно его показаниям, большинство лиц, заболевших тифом, были отцы семейств,

¹ Dr Alison — в реферате, прочитанном в заседании Британской ассоциации для развития науки в октябре 1844 г.

² Dr Alison, Management of Poor in Scotland.

т. е. именно те, кто особенно необходим своей семье; о том же свидетельствует большинство цитированных им ирландских врачей.

Другой ряд болезней имеет своей непосредственной причиной не столько жилища, сколько питание рабочих. Пища рабочих, вообще очень трудно перевариваемая, для маленьких детей совсем уже не годится; и тем не менее у рабочего нет ни средств, ни времени, чтобы доставать своим детям более подходящую пищу. Кроме того следует упомянуть еще об очень распространенном обычае давать детям водку или даже опиум. Все это, вместе с остальными условиями жизни, вредно действующими на физическое развитие детей, вызывает самые различные болезни органов пищеварения, оставляющие свои следы на всю жизнь. Почти у всех рабочих более или менее слабый желудок, и тем не менее они вынуждены питаться той пищей, которая довела их до этого. Как им знать, что этому виной? А если бы они это и знали, как им держаться более подходящей диеты, если условия их жизни не меняются и образование их не улучшается? Плохое пищеварение становится источником новых болезней, развивающихся уже во время детства. Золотухой страдают почти все рабочие; золотушные родители имеют золотушных детей, в особенности, если первоначальная причина болезни продолжает влиять на этих детей, родившихся уже с задатками золотухи. Вторым последствием этого недостаточного питания тела во время роста ребенка является рахит (английская болезнь, узловатые наросты на сочленениях), тоже очень часто встречающийся у детей рабочих: отвердевание костей при этом замедляется, развитие скелета вообще задерживается, и рядом с обычными явлениями рахита встречаются часто искривления ног и спинного хребта. Мне нет надобности упоминать о том, как усиливаются эти болезни во время перемен, которые наступают в жизни рабочего в периоды торговых застоев, безработицы и падения заработной платы во время кризисов. Последствия дурного, но зато, по крайней мере, хоть достаточного питания еще более усиливаются в период недостаточного питания, — период, который почти каждому рабочему приходится переживать, по меньшей мере, хоть раз в жизни. Дети, не наедающиеся досыта как раз в то время, когда питание им наиболее необходимо, — а сколько бывает таких детей во время каждого кризиса и даже в период расцвета промышленности, — не могут не стать крайне слабыми, золотушными и рахитичными. Что они такими становятся, показывает действительность. Отсутствие ухода, на что обречена громадная масса детей рабочих, оставляет неизгладимые следы и ведет к ослаблению всего рабочего населения. Если сюда прибавить еще нецелесообразную одежду рабочих и обусловлен-

ную ею невозможность защищать себя от простуды, необходимость работать до тех пор, пока болезнь окончательно не свалит с ног, жестокую нужду семьи во время болезни работника и обычное отсутствие всякой врачебной помощи, можно будет создать себе приблизительно представление о состоянии здоровья английских рабочих. Я здесь еще вовсе не упоминаю о вредных последствиях работы в некоторых отраслях труда при нынешних условиях.

Есть еще и другие причины, ослабляющие здоровье значительного числа рабочих. Первой из них является пьянство. Всевозможные соблазны и искушения соединяются для того, чтобы сделать рабочего пьяницей. Водка есть почти единственный источник радостей для них, и все как будто толкает их к этому источнику. Усталый и истощенный рабочий возвращается с работы домой. Он приходит в свое неуютное, сырое, непривлекательное и грязное жилище. Ему настоятельно необходимо развлечение, ему нужно *что-нибудь*, ради чего стоило бы работать, что смягчало бы для него перспективу завтрашнего тяжелого дня. Его усталость, недовольное и мрачное настроение, вызванное отчасти его нездоровым состоянием, именно несварением желудка, усиливается до крайней степени всеми остальными условиями его жизни, мыслями о небезопасности существования, о зависимости от всевозможных случайностей и невозможности самому что-нибудь сделать для улучшения своего положения. Тело его, ослабленное плохим воздухом и дурной пищей, настоятельно требует какого-нибудь стимула извне. Его потребность в обществе может быть удовлетворена только в трактире; у него нет другого места, где он мог бы встретить своих друзей. Как же ему при таких условиях устоять против искушения и не отправиться в трактир? Напротив того, в силу моральной и физической необходимости при этих условиях большая часть рабочих *должна* предаться пьянству. Но помимо этих скорее физических причин, заставляющих рабочего пьянствовать, здесь влияет еще пример большинства, небрежное воспитание, невозможность оградить молодых людей от искушения, во многих случаях прямое влияние предающихся пьянству родителей, которые сами дают водку детям, уверенность, что под влиянием винных паров забудешь на несколько часов нужду и гнет жизни, как и сотни других обстоятельств; поэтому пристрастие рабочих к водке, действительно, не представляет ничего удивительного. Пьянство перестало здесь быть пороком, за который можно обвинять того, кто им заражен: оно становится необходимым явлением, неизбежным последствием известных условий, влияющих на безвольный объект, — безвольный, по крайней мере, в этих

условиях. Пусть за это отвечают те, кто сделал рабочего таким объектом. Но если для значительного большинства рабочих пьянство неизбежно, то так же неизбежны те разрушающие следствия, которые пьянство производит на тело и душу своих жертв. Оно усиливает предрасположение к болезням, вызываемое условиями жизни рабочего, оно содействует развитию легочных и желудочных заболеваний и чрезвычайно благоприятствует развитию и распространению тифа.

Другая причина физических недугов рабочего класса заключается в невозможности в случаях болезни пользоваться помощью искусных врачей. Верно то, что этой беде старается помочь множество благотворительных учреждений, что, например, Манчестерская больница оказывает в год помощь 22 000 больных, из которых часть лечится в самой больнице, а другая пользуется лишь советами врача и лекарствами. Но какое это может иметь значение в городе, где, по вычислениям Гаскелля,¹ три четверти населения нуждаются в течение года во врачебной помощи? Английские врачи требуют больших денег за визит, а рабочие столько платить не в состоянии. Они вынуждены повторму или совсем отказаться от врача, или прибегать к помощи дешевых шарлатанов и шарлатанских лекарств, которые, в конце концов, им скорее вредят, чем помогают. Нет такого английского города, где не было бы целой кучи таких шарлатанов, которые при помощи всевозможных афиш, объявлений и тому подобных уловок приобретают клиентов среди бедных классов. Кроме того существует в продаже множество всевозможных патентованных средств на всякие возможные и невозможные случаи: пилюли Морисона, д-ра Мэнвэринга, жизненные пилюли Парра и тысячи других пилюль, эссенций, бальзамов и т. п., лекарств, обладающих способностью излечивать от всех болезней мира. Эти лекарства, правда, редко содержат вредные вещи, но если принимать их часто и много, они все же действуют вредно на организм, а так как во всех объявлениях несведущим рабочим толкуют, что чем больше принимать таких лекарств тем лучше, то неудивительно, что они поглощают их в больших количествах без всякой надобности. Часто случается, что изготовитель жизненных пилюль Парра в течение недели продает их в количестве 20 000 — 25 000 коробок; и принимают их против всевозможных болезней: один против запора, другой против поноса, третий против слабости, лихорадки и т. д. Как немецкие крестьяне любят в определенное время года ставить себе банки, пускать кровь, так английские рабочие принимают всевозможные патентованные

¹ «Manufacturing Population of England», p. 8.

средства, нанося себе этим вред, но зато наполняя карманы фабриканта, изготовляющего эти лекарства. Одним из наиболее вредных среди этих патентованных средств является питье, изготовленное из опиатов, в особенности лауданума, и известное в продаже под названием «Godfrey's Cordial». Женщины, работающие на дому и вынужденные нянчить собственных или чужих детей, поят их этим питьем, чтобы они не кричали или, как многие из них думают, чтобы укрепить их. Часто детей начинают лечить чуть ли не со дня их рождения, не подумывая, как вредно это «укрепляющее сердце» средство, и лечат их до тех пор, пока дети не умирают. Чем менее восприимчивым становится организм ребенка к действию опия, тем в больших количествах его поят им. Если перестает помогать это питье, ребенку дают и чистый лауданум, часто 15 — 20 капель на один прием. Коронер в Ноттингэме свидетельствовал пред правительственной комиссией,¹ что один аптекарь, по собственным его словам, в течение года израсходовал на приготовление «Godfrey's Cordial» 15 центнеров сиропа. Каковы последствия такого лечения для детей, легко себе представить. Они бледнеют, вянут и слабеют и большей частью умирают, не достигнув и двухлетнего возраста. Лекарство это находит очень широкое распространение во всех крупных городах и промышленных округах Англии.

Результатом всего этого является общая физическая слабость рабочих. Редко встретишь среди них сильных, правильно сложенных и здоровых людей, по крайней мере, среди промышленных рабочих, работающих в закрытых помещениях, а у нас речь идет ведь только о них. Почти все они слабы, с угловатым, но не крепким скелетом, худы, бледны, с слабо развитыми мышцами, кроме разве тех, которые особенно напрягаются в работе. Почти все они болеют несварением желудка и вследствие этого более или менее страдают ипохондрией и вообще бывают мрачны и неприветливы. Их ослабевший организм не в состоянии бороться с болезнью, и они очень часто заболевают. Поэтому они рано стареются и умирают в молодых летах. Таблица смертности доказывает это с неопровержимой очевидностью.

¹ «Report of Commission of Inquiry into the Employment of Children and Young Persons in Mines and Collieries and in the Trades and Manufactures in which Numbers of them work together, not being included under the Terms of the Factories Regulation Act.» First and second Reports. Grainger's Rept., second Rept. Цитируется обыкновенно как «Children's Employment Commission's Rept.». Это один из лучших официальных отчетов, содержащий целую массу драгоценнейших, но и самых ужасных фактов. Первый отчет вышел в 1841 году, а второй два года спустя.

Согласно отчету генерального регистратора Г. Грвэма, смертность во всей Англии и Уэльсе составляет ежегодно немного менее $2\frac{1}{4}\%$, т. е. из 45 человек ежегодно умирает один.¹ Такова, по крайней мере, была средняя норма в 1839—1840 гг.; в следующем году смертность несколько уменьшилась, так что умирал один человек из 46. Но в больших городах процент смертности получается совсем другой. У меня под руками официальные таблицы смертности (заимствованные из газеты «Manchester Guardian» от 31 июля 1844 г.), согласно которым смертность в больших городах выражается в следующих цифрах: в Манчестере, включая Сальфорд и Чорльтон, приходится один смертный случай на 32,72 жителя, а без Сальфорда и Чорльтона — 1 на 30,75; в Ливерпуле, включая предместье Уэст-Дерби, приходится 1 на 31,90, а без этого предместья — 1 на 29,90; во всех же округах Чешира, Ланкашира и Йоркшира, о которых имеются сведения, — а сюда входит много сельских или полусельских округов и множество маленьких городов с 2 172 506 человек, — приходится один смертный случай на 39,80 человек. Как неблагоприятны условия жизни рабочих в городах, показывает смертность в Прескотте (Ланкашир); это — округ, населенный углекопами, и так как работа в копях не очень-то хорошо влияет на здоровье, то по своим гигиеническим условиям он стоит ниже земледельческих округов. Но рабочие живут в деревне, и вот среди них смертность выражается в отношении 1 на 47,54, т. е. почти на $2\frac{1}{2}$ ниже средней цифры для всей Англии. Все эти данные взяты из таблиц смертности за 1843 г. Еще выше процент смертности в городах Шотландии: в Эдинбурге в 1838—1839 гг. отношение было 1 : 29, а в 1831 г. в старом городе даже 1 : 22, в Глазго, согласно данным д-ра Коуана («Vital statistics of Glasgow»), с 1830 г. отношение в среднем составляло 1 : 30, а в некоторые годы — 1 : 22 или 24. — Что это чрезвычайное сокращение средней продолжительности жизни падает главным образом на рабочий класс и что эта средняя цифра, взятая для всех классов, слишком еще высока по отношению к рабочему классу, ибо смертность высших и средних классов ниже, об этом свидетельствуют всевозможные данные. Одним из новейших свидетельств этого рода является свидетельство врача в Манчестере П. Г. Голланда, исследовавшего по официальному поручению² предместье Манчестера — Чорльтон на

¹ «Fifth Annual Report of Registrar General of Births, Deaths and Marriages».

² См. «Report of Commission of Inquiry into the State of large Towns and populous Districts», first Report, 1844. Appendix.

Медлоке. Он разделил улицы на три класса, дома в каждом из них тоже на три класса и получил следующие данные:

I класс улиц.	I класс домов.	Смертность	= 1 : 51
» » »	II » »	»	= 1 : 45
» » »	III » »	»	= 1 : 36
II » »	I » »	»	= 1 : 55
» » »	II » »	»	= 1 : 38
» » »	III » »	»	= 1 : 35
III » »	I » »	Данных нет	
» » »	II » »	Смертность	= 1 : 35
» » »	III » »	»	= 1 : 25

Из многих других таблиц Голланда явствует, что смертность в *улицах* второго класса на 18% и в улицах третьего класса на 68% выше, чем в улицах первого класса; что смертность в *домах* второго класса на 31% и в домах третьего класса на 78% выше, чем в домах первого класса; что смертность в грязных улицах, после очистки их, уменьшилась на 25%. Заключает он свой доклад следующими словами, в устах английского буржуа весьма откровенными: «Раз оказывается, что смертность в некоторых улицах в четыре раза больше, чем в других, и в целых категориях улиц вдвое больше, чем в других; рав, далее, оказывается, что эта высокая смертность в улицах, находящихся в скверном состоянии, и низкая смертность в улицах с хорошими условиями остается всегда почти на одном уровне, то нельзя не сделать того вывода, что масса наших собратьев, сотни наших ближайших соседей ежегодно истребляются (*destroyed*) вследствие отсутствия самых обычных предохранительных мер». В отчете о гигиенических условиях жизни рабочих классов содержится одно указание, доказывающее тот же факт. В Ливерпуле средняя продолжительность жизни составляла в 1840 г. для высших классов (*Gentry, professional men* и т. д.) 35 лет, для торговцев и более обеспеченных ремесленников 22 года, а для рабочих, поденщиков и слуг вообще только 15 лет. В парламентских отчетах можно найти множество подобных же фактов.

Большие размеры смертности обуславливаются главным образом высокою смертностью среди маленьких детей рабочего класса. Нежный организм ребенка всего менее в состоянии бороться с неблагоприятными воздействиями плохих условий жизни. Отсутствие ухода, на которое он часто бывает обречен, когда и отец и мать работают или один из них умер, очень скоро мстит за себя; нет поэтому ничего удивительного в том, если, например, в Манчестере, согласно только-что упомянутому нами отчету, свыше 57% детей

рабочих умирает, не достигнув пяти лет, между тем как из детей высших классов до пятилетнего возраста умирает только 20%, а в сельских округах средняя цифра детей всех классов, умирающих до пятилетнего возраста, составляет менее 32%.¹ В не раз уже цитированной нами статье журнала «Artizan» можно найти по этому поводу более точные указания; здесь сопоставлены по отдельным детским болезням цифры смертных случаев в городах и в деревне. Этим способом автор доказывает, что во время эпидемий процент смертных случаев в Ливерпуле и Манчестере в три раза выше, чем в сельских округах, что в городах заболевания нервными болезнями встречаются в пять раз чаще и болезнями желудка в два раза чаще, чем в деревне, а число смертных случаев от легочных заболеваний в городах относится к тому же числу в деревне, как 2½ : 1. От оспы, кори, коклюша и скарлатины умирает в городах в четыре раза больше детей, чем в деревнях, от водянки мозга втрое больше, а от судорог в десять раз больше. — Чтобы сослаться еще на один выдающийся авторитет, я приведу здесь таблицу, которую д-р Уэд дает в своей «History of the Middle and Working Classes» (London 1835, 3-rd ed.), заимствовав ее из отчета парламентской фабричной комиссии 1832 года.

Из 10 000 человек умирает:	Моложе 5 лет	5—19	20—39	40—59	60—69	70—79	80—89	90—99	100 и более
В графстве Ретленд—здоровом земледельческом округе.	2865	891	1275	1299	1189	1428	938	112	3
В графстве Эссекс—земледельческом округе с болотистой почвой.	3159	1110	1526	1413	963	1019	630	177	3
В городе Карляйле 1779—87 гг., до появления фабрик	4408	921	1006	1201	940	826	533	153	22
В городе Карляйле, после появления фабрик.	4738	930	1261	1134	677	727	452	80	1
В Престоне, фабричном городе	4947	1136	1379	1114	553	532	298	38	3
В Лидсе, фабричном городе	5286	927	1228	1198	593	512	225	29	2

¹ «Factories Inquiry Commissions Report, 3 rd vol. Report of Dr Hawkins on Lancashire». — Здесь цитируется в качестве сведущего человека д-р Робертон, «первый авторитет по статистике Манчестера».

Кроме всех этих болезней, представляющих неизбежное последствие отсутствия ухода и общего тяжелого положения бедных классов, есть еще и другие причины, содействующие возрастанию смертности среди маленьких детей. Во многих семьях жена работает вне дома, так же как и муж, вследствие чего дети остаются совершенно без ухода: их или запирают в доме, или отдают куда-нибудь под надзор. Что удивительного, если при таких условиях сотни детей гибнут вследствие всевозможных несчастных случаев. Нигде в другом месте не гибнет под колесами экипажей и под копытами лошадей, не утопает и не сгорает столько детей, как в больших городах Англии. Особенно часты смертные случаи от ожогов или от опшаривания горячей водой: в Манчестере в течение зимних месяцев бывает почти каждую неделю один случай и в Лондоне так же часто, но об этом редко прочтешь в газетах; у меня под рукой лишь одно сообщение газеты «Weekly Dispatch» от 15 декабря 1844 г., по которому за неделю от 1 до 7 декабря было *шесть* таких случаев. Эти бедные дети, гибнущие столь ужасным образом, — жертвы исключительно нашего общественного неустройства и заинтересованных в сохранении этого неустройства имущих классов. И при всем том трудно сказать, не является ли даже эта страшная мучительная смерть благодеянием для них, освобождая их от долгой жизни, полной мучений и нищеты, богатой всевозможными страданиями и бедной наслаждениями. Вот как обстоят дела в Англии, а буржуазия ежедневно читает об этом в газетах, и в ус себе не дует. Она вато не в праве протестовать, если я, после всех приведенных мной официальных и неофициальных свидетельств, которые *должны* быть ей известны, обвиняю ее в социальном убийстве. Пусть она или повзбоится о том, чтобы этому ужасному положению дела был положен конец, или уступит заведывание общественными делами рабочему классу. Но сделать последнее она не имеет ни малейшего желанья, а для первого она — покуда остается буржуазией и не может освободиться от буржуазных предрассудков — не имеет сил. В самом деле, если она, наконец, теперь, после гибели сотен тысяч жертв, принимает некоторые мелкие меры для предупреждения этого в будущем, издает так называемый «Metropolitan Buildings Act», хоть немного ограничивающий беспорядочную скученность жилищ, если она хвастает принятием мер, которые не только не затрагивают корней зла, но даже не удовлетворяют самым обычным требованиям санитарной полиции, то не сможет же она этим снять с себя обвинение. Английской буржуазии остается только одно из двух: или удерживать в своих руках бразды правления с неопровержимым обвинением в убийстве

на своей совести и *несмотря* на это обвинение, или отказаться от власти в пользу рабочего класса. До настоящего времени она предпочитала первое.

Перейдем от физических условий жизни рабочих к их духовному состоянию. Если буржуазия дает им жить лишь постольку, поскольку это ей необходимо, то не должно удивляться, если она и образования дает им лишь постольку, поскольку это в ее интересах. И это, право, не так уж много. Сравнительно с количеством населения, образовательных учреждений в Англии очень мало. В немногочисленные школы, доступные рабочему классу, могут попасть очень немногие. Кроме того и эти школы очень плохо поставлены: учителя в них — инвалиды или другие ни на что не годные люди, которые идут в учителя, чтобы иметь какой-нибудь заработок, и сами большей частью лишены самых необходимых и самых элементарных сведений, не имеют нужных для учителя нравственных качеств и не подвергаются никакому общественному контролю. И здесь властвует свободная конкуренция, и, как везде, богачи от этого в барыше, а бедняки, для которых конкуренция как раз несвободна, которые не имеют нужных сведений, чтобы судить об этом, остаются в накладе. Обязательного школьного обучения нет нигде; на фабриках оно, как мы это увидим, существует лишь по имени, и когда в сессию 1843 г. правительство пыталось эту мнимую обязанность обучения превратить в действительную, промышленная буржуазия боролась с этим всеми силами, хотя рабочие решительно высказывались *за* обязательность школьного обучения. Кроме того огромное множество детей работает всю неделю на фабриках и дома и потому школу посещать не в состоянии. *Вечерние же школы*, предназначенные для тех, кто днем работает, почти вовсе не посещаются и не приносят никакой пользы. Было бы чересчур много требовать, чтобы молодые рабочие, промучившись в течение двенадцати часов, еще оставались в школе от восьми до десяти часов вечера. А те, которые это и делают, большей частью во время занятий засыпают, как это констатировано сотнями свидетельств в отчете «Children's Employment Commission». Правда, были устроены и воскресные школы, но и в них очень мало учителей, и могут они принести некоторую пользу лишь тем, кто кое-чему научился уже в обычных школах. Промежуток времени от одного воскресенья до другого слишком велик, чтобы ребенок, совершенно неразвитой, мог до второго урока помнить, что он учил на первом, т. е. неделю тому назад. Приводя тысячи свидетельств для доказательства своего мнения, упомянутая комиссия самым решительным образом высказывается за то, что ни обычные, ни воскресные школы и в отдаленной

степени не удовлетворяют потребности народа в образовании. В этом отчете собраны доказательства такого невежества рабочего класса Англии, какого трудно было бы ожидать даже в таких странах, как Испания или Италия. Но может ли быть иначе? Образование рабочих ничего хорошего для буржуазии обещать не может, оно может внушить только кое-какие опасения. Из огромного бюджета своего в 55 000 000 ф. ст. правительство уделяет на народное просвещение не более 40 000 ф. ст. И не будь фанатизма религиозных сект, который причиняет не меньше вреда, чем пользы, приносимой им кое-где, расходы на образование были бы еще ничтожнее. Но в виду множества различных сект англиканская церковь устраивает свои *национальные школы* (national schools), а каждая секта — свои школы: все это делается исключительно с той целью, чтобы удержать в лоне своей церкви детей своих единоверцев, а если возможно, отбить ту или иную детскую душу у другой секты. В результате религия, и именно самая бесплодная ее область — полемика — стала важнейшим предметом преподавания, и память детей набивается непонятными догматами и различными теологическими тонкостями, сектантский дух и фанатичное ханжество развиваются с ранних лет раньше, а разумное духовное и нравственное развитие оставляется в полном пренебрежении. Рабочие не раз уже требовали от парламента чисто светского общественного воспитания, предлагая заниматься религией духовенству каждой секты, но до настоящего времени им не удалось найти министерства, которое согласилось бы на это. И это вполне понятно: министр — послушный раб буржуазии, а эта последняя делится на множество сект; каждая же секта тогда лишь согласна предоставить опасное в других отношениях образование рабочему, когда он вместе с просвещением возьмет и его противоядие в виде составляющих специальную принадлежность каждой секты догматов. А так как эти секты и до настоящего времени борются еще за верховенство, то рабочий класс остается покуда без образования. Правда, фабриканты хвастаются, что они научили чтению огромное большинство рабочих, но что это за грамотность, можно узнать из отчета все той же комиссии. Кто знает азбуку, тот говорит, что он умеет читать, и фабриканты на этом успокаиваются. А если принять во внимание запутанную английскую орфографию, при которой чтение является истинным искусством и может быть постигнуто лишь после долгого изучения, то невежество рабочего класса окажется весьма естественным. Писать вполне умеют лишь немногие, а писать орфографически правильно не умеют даже многие «образованные» люди. В воскресных школах высокой церкви, квакеров и кое-каких

других сект письму вовсе не учат, «ибо это слишком светское занятие для воскресенья». Относительно других сторон образования, доступного рабочим, мы приведем несколько примеров, заимствованных из отчета все той же «Children's Employment Commission», — отчета, не распространяющегося, к сожалению, на собственно фабричную промышленность.

«В Бирмингеме, — говорит комиссар Гранджер, — все дети, которых я проэкзаменовал, совершенно лишены всего того, что хоть в самой отдаленной степени могло бы быть названо разумным воспитанием. Хотя почти во всех школах дается *исключительно* религиозное образование, дети в общем и в этой области обнаружили грубейшее невежество». «В Вольвергамптоне, — рассказывает комиссар Горн, — я видел, между прочим, следующие примеры: девочка одиннадцати лет, побывавшая в обычной и воскресной школах, «никогда» не слышала об ином мире, о небе и о загробной жизни; мальчик семнадцати лет не знал, чему равняется дважды два, сколько включается фартингов ($\frac{1}{4}$ пенни) в двух пенсах, и не мог этого сказать, даже имея деньги в руках; некоторые мальчики никогда не слышали о Лондоне и даже о Уилленхолле, лежащем в часе езды от их города и постоянно сообщаемся с ним; некоторые никогда не слышали имени королевы или таких имен, как Нельсон, Веллингтон, Бонапарт. Но замечательно то, что те, которые никогда не слышали о св. Павле, Моисее и Соломоне, прекрасно были осведомлены о жизни, делах и характере разбойника на большой дороге Дика Турпина и, в особенности, вора, ловко убегавшего из тюрем, Джека Шепарда; мальчик шестнадцати лет не знал, сколько будет дважды два или сколько составляют четыре фартинга; другой мальчик, семнадцати лет, утверждал, что десять фартингов составляют десять полупенсов, а третий мальчик, тоже семнадцати лет, на некоторые очень простые вопросы коротко отвечал: «Я ни о чем ничего не знаю (he was ne judge of nothin)» (Horne, Rept., App. Part II, Q. 18, No 216, 217, 226, 233 etc). Дети эти, которых в течение 4 — 5 лет пичкают религиозными догматами, в конце концов знают столько же, сколько знали до поступления в школу. Ребенок «в течение пяти лет регулярно посещал воскресную школу и после этого он не знал, кто был Иисус Христос, но имя это слышал; он, однако, никогда не слышал ни о двенадцати апостолах, ни о Самсоне, Моисее, Аароне и др.» (ibid. Evid., p. 9. 39, 133). Другой ребенок «в течение шести лет регулярно посещал воскресную школу, он знает, кто был Иисус Христос, он умер на кресте, пролил свою кровь, чтобы искупить нашего искупителя; никогда не слышал о св. Петре или Павле»

(*ibid.*, p. 9. 36, l. 46). Третий ребенок «перебывал в течение семи лет в нескольких воскресных школах, умеет читать только в тонких книжках и только легкие односложные слова, об апостолах слышал, но не знает, был ли одним из них св. Петр или св. Иоанн; последний должно быть был св. Иоанн Уэслей (основатель секты методистов) и т. д.» (*ibid.* p. 9, 34, l. 58). На вопрос, кто был Иисус Христос, Горн между прочим получал такие ответы: «Это был Адам», «это был апостол», «это был сын Спасителя» (he was the Saviour's Lord's Son), а один шестнадцатилетний мальчик ответил: «Он был королем в Лондоне много, много лет тому назад». — В Шеффилде комиссар Саймонс заставлял учеников воскресных школ читать; после чтения они не были в состоянии сказать, о чем они читали, или не знали, кто были апостолы, о которых они только-что читали. Он расспрашивал об этом всех, одного за другим, и ни от одного не получил правильного ответа, как вдруг один лукавого вида малыш с большой уверенностью воскликнул: «Я знаю: это были прокаженные!» (Symons, Rept., App., Part I, p. p. E. 22 sqq.). Из округов гончарного производства и из Ланкашира сообщают то же самое.

Итак, мы видели, что сделали буржуазия и государство для воспитания и просвещения рабочего класса. К счастью, условия, в которых живет этот класс, таковы, что они дают ему практическое образование, не только заменяющее этот школьный хлам, но и обезвреживающее связанные с ним спутанные религиозные представления и даже ставящее рабочих во главе национального движения Англии. Нужда учит молиться и — что гораздо важнее — мыслить и действовать. Английский рабочий, едва умеющий читать и еще менее умеющий писать, тем не менее прекрасно знает, в чем заключаются его собственные интересы и в чем — интересы всей нации; он знает также, каковы специальные интересы буржуазии и чего он от последней может ожидать. Если он не умеет писать, то умеет говорить и говорить открыто в общественных местах; если он не знает арифметики, то все же настолько умеет оперировать политико-экономическими понятиями, сколько это необходимо, чтобы увидеть насквозь буржуа, хлопочущего об отмене пошлин на хлеб, и опровергнуть его; если, несмотря на все старания попов, вопросы небесного характера остаются для него совершенно неясными, зато он тем лучше разбирается в вопросах земных, политических и социальных. Нам придется еще к этому вернуться, а теперь охарактеризуем нравственный облик английских рабочих.

Моральное воспитание во всех школах Англии неразрывно связано с религиозным, и потому вполне ясно, что результаты первого

должны быть не лучше результатов второго. Элементарные принципы, регулирующие для человека отношения одного человека к другому, не могли не запутаться до чрезвычайности при социальных условиях, характеризующихся войной всех против всех; но эти принципы тем более должны были остаться непонятными и чуждыми необразованному рабочему, что они смешаны с религиозными, непонятными для него, догматами и выражены в религиозной форме произвольного и ни на чем не основанного приказания. Как это признают все авторитеты и в особенности Children's Employment Commission, школы не имеют почти никакого влияния на нравственность рабочего класса. Английская буржуазия так неразумна, так недальновидна в своем эгоизме, что она даже не старается привить рабочим современную мораль, — ту мораль, которую буржуазия состряпала в собственных интересах же и для собственной своей защиты. Даже и эта забота о собственных своих интересах слишком трудна для дряблой, ленивой буржуазии, даже она кажется ей излишней. Наступит, конечно, время, когда она раскается в этом, но будет уже поздно. Во всяком случае она не может жаловаться, если рабочие ничего не знают об этой морали и не руководствуются ею.

Итак, власть имущий класс оставляет без внимания рабочих не только в отношении физическом и интеллектуальном, но и в моральном. Единственный аргумент, к которому буржуазия прибегает против них, когда они ей слишком наступают на ногу, есть закон; как к неразумному скоту, к ним применяют только одно воспитательное средство — кнут, грубую, не убеждающую, но устрашающую силу. Что же удивительного, если рабочие, с которыми обращаются как со скотом, или на самом деле становятся скотом, или же сохраняют сознание и чувство своего человеческого достоинства только при помощи самой пламенной ненависти, непрестанного внутреннего возмущения против власть имущей буржуазии. Они остаются людьми, лишь пока они исполнены гнева против господствующего класса; они становятся скотом, как только безропотно подставляют шею под ярмо и в условиях подъяремной жизни пытаются устроить свою жизнь, совершенно не думая о свержении самого ярма.

Вот все, что буржуазия сделала для просвещения рабочего класса. Если же принять во внимание целый ряд других условий, в которых он живет, мы не сможем поставить ему в вину ту ненависть, которую он питает к господствующему классу. — Нравственное воспитание, которого рабочий не получает в школе, не прививается ему и прочими окружающими его условиями, — по крайней мере то нравственное воспитание, которое имеет некоторое значение в глазах

буржуазии. Все его положение, вся окружающая его обстановка должны развить в нем сильнейшую склонность к безнравственности. Он беден, жизнь не имеет для него прелести, все почти наслаждения ему недоступны, кары закона ему не страшны; к чему же ему стеснять себя в своих желаниях, зачем ему позволять богачу наслаждаться своими богатствами, вместо того чтобы присвоить себе часть их? Какие основания у пролетария не красть? Очень красиво звучит и очень приятно для слуха буржуазии, когда говорят о «святости частной собственности». Но для того, кто не имеет никакой собственности, святость частной собственности исчезает сама собой. Деньги — вот современный бог. Буржуа отнимает у пролетария деньги и, лишив его этого бога, превращает его в практического атеиста. Что же удивительного, если пролетарий, оставаясь таким атеистом, не питает никакого почтения к святости и мощи этого земного бога! И когда бедность пролетария доходит до настоящего недостатка в самых необходимых средствах к жизни, до нищеты и голода, то склонность к пренебрежению всем общественным порядком возрастает еще сильнее. Знает это в большинстве случаев и сама буржуазия. Саймонс замечает,¹ что бедность производит такое же разрушительное действие на душу, как пьянство на тело, а шериф *Алисон* рассказывает очень обстоятельно имущему классу, каковы должны быть последствия социального гнета для рабочих.² Нищета предоставляет рабочему на выбор: медленно умереть с голоду, сразу покончить с собой, либо брать себе все, что нужно, где только возможно, — попросту говоря, красть. И тут мы не должны удивляться, если большинство предпочитает воровство голодной смерти или самоубийству. Есть, конечно, и среди рабочих множество людей, достаточно моральных для того, чтобы не красть, даже когда они доведены до отчаяния, и вот эти и умирают с голоду или убивают себя. Самоубийство, бывшее до недавнего времени завидной привилегией высших классов, вошло в Англии в моду и среди пролетариев, и множество бедных людей убивает себя, чтобы избавиться от нищеты, из которой они не видят для себя иного выхода.

Но еще более деморализующим образом, чем бедность, действует на английских рабочих необеспеченность их существования, необходимость проедать изо дня в день весь свой заработок, одним словом то, что делает их *пролетариями*. И в Германии малоземельные крестьяне большей частью бедны и часто терпят нужду, но они менее зависят

¹ «Arts and Artizans».

² «Principles of Population», vol. II, p. 196, 197.

от случая, они имеют, по крайней мере, хоть какую-нибудь опору. Но пролетарий, не имеющий решительно ничего, кроме своих рук, проедающий сегодня то, что он заработал вчера, зависящий от всевозможных случайностей, лишенный всякой гарантии, что он всегда будет в состоянии добыть средства для удовлетворения самых необходимых своих потребностей, — ибо всякий кризис, всякий каприз мастера может лишить его куска хлеба, — этот пролетарий находится в самом возмутительном, самом бесчеловечном положении, которое только можно себе представить. Существование раба обеспечено личной выгодой его владельца; у крепостного есть, по крайней мере, кусок земли, которым он живет; оба они гарантированы, по меньшей мере, от голодной смерти; пролетарий же предоставлен исключительно себе самому и в то же время не в состоянии найти такого приложения своим силам, чтобы на них можно было рассчитывать. Все, что пролетарий в состоянии сделать сам для улучшения своего положения, исчезает, как капля в море, в потоке тех случайностей, от которых он зависит и над которыми он ни малейшим образом не властен. Он безвольный объект всевозможных комбинаций и стечений обстоятельств и может считать себя счастливым, если ему удастся даже на короткое время сохранить хотя бы только жизнь. И что само собой понятно, — этими обстоятельствами определяются и характер, и образ жизни его: или он пытается держаться на поверхности этого водоворота, спасти свое человеческое достоинство, — а это он может сделать только путем возмущения¹ против класса, который так беспощадно высасывает его последние соки, чтобы потом оставить его на произвол судьбы, который старается принудить его остаться в этом положении, не достойном человека, т. е. против буржуазии; или он отказывается от борьбы за свое положение, как от дела бесплодного, стараясь лишь использовать, насколько он в силах, благоприятные для него моменты. Копить ему незачем: самое большее, что он может, это — скопить на жизнь в течение нескольких недель, но, когда он лишается заработка, дело сводится не к нескольким неделям. Приобрести себе собственность надолго он не в состоянии, а если бы ему это удалось, он перестал бы быть рабочим, и другой стал бы на его место. Что же другое ему остается делать, когда он получает хорошую плату, если не жить хорошо? Английский буржуа удивляется широкой жизни рабочего в период, когда заработная плата высока, и возмущается до глубины души. А ведь это только вполне естественно и даже разумно со сто-

¹ Мы позже увидим, как возмущение пролетария против буржуазии уважняется в Англии при помощи права свободной ассоциации.

роны этих людей, если они наслаждаются жизнью, куда могут, вместо того чтобы собирать сокровища, которые им не принесут никакой пользы и в конце концов все же будут истреблены молью и ржавчиной, т. е. буржуазией. Но ничто не оказывает такого деморализующего действия, как подобная жизнь. То, что Карлейль говорит о бумагопрядильщиках, можно сказать обо всех промышленных рабочих Англии: «Сегодня у них дела блестящи, завтра плохи — постоянная авартная игра, и они живут, как игроки: сегодня в роскоши, а завтра в голоде. Мрачное мятежное недовольство, — самое несчастное чувство, какое только может жить в груди человека, — пожирает их. Английская торговля с ее конвульсивными колебаниями, распространяющимися на весь мир, с ее неизмеримой паровой силой, сделала ненадежными для них все пути и держит их как бы в заколдованном кругу; трезвость, твердость, прочное спокойствие, первые блага человека, им чужды. Этот мир для них не родной дом, а мрачная темница, полная бессмысленных и бесплодных мук, возмущения, злобы и ненависти против себя самих и всего человечества. Что же это — мир, утопающий в зелени и цветах, устроенный и управляемый богом, или это мрачно кипящий котел, наполненный купоросными парами, хлопчатобумажной пылью, пьяными криками, бешенством и мучительной работой — мастерская, устроенная и управляемая дьяволом?»¹ Несколько страницами ниже (р. 40) тот же автор говорит следующее: «Если несправедливость, измена истине, действительности и мировому порядку есть единственное зло на земле, и сознание, что с тобой поступают несправедливо, есть единственное невыносимое чувство, то наш великий вопрос о положении рабочих сводится к следующему вопросу: справедливо ли все это? И прежде всего: что они сами думают о справедливости такого положения дела? Их слова служат достаточно ясным ответом и особенно их поступки... Все более и более овладевает низшими классами чувство мятежа, быстро вспыхивающее мстительное стремление восстать против высших классов; все более и более падает у них уважение к светским властям и доверие к учениям духовных пастырей. Настроение это можно порицать, можно за него наказывать, но нельзя отрицать его существование: все должны знать, что такое явление печально, и, если все останется по-старому, оно чревато всевозможными бедствиями».

Что касается фактов, то Карлейль вполне прав, но он не прав, когда порицает дикую ненависть рабочих к высшим классам. Эта

¹ «Chartism», p. 34 и sq.

ненависть, этот гнев служит скорее доказательством того, что рабочие чувствуют все обезчеловеченность своего положения, что они не хотят допустить, чтобы их довели до положения скота и что они когда-нибудь свергнут иго буржуазии. Мы ведь видим на тех, которые не разделяют этого гнева, чем бы были рабочие без этого гнева: они или в смирении подчиняются судьбе, постигшей их, живут, как честные обыватели, изо дня в день, не интересуются вопросами общественными и мировыми, помогают буржуазии крепче сковать цепи рабочих и духовно мертвы, остановившись на точке зрения допромышленного периода; или же они становятся игрушкой судьбы, теряют и внутреннюю устойчивость, как они потеряли ее в отношении к внешней среде, живут изо дня в день, пьют водку и бегают за женщинами; в обоих случаях они — животные. Вот эти последние и содействуют главным образом «быстрому распространению порока», которым сентиментальная буржуазия так возмущается, после того как она сама создала вызывающие его причины.

Другим источником деморализации рабочих является принудительность их труда. Если добровольная производительная деятельность есть высшее из известных нам наслаждений, то работа вынужденная есть самое жестокое, самое унижительное мучение. Что может быть ужаснее необходимости каждый день с утра и до вечера делать то, что тебе противно! И чем рабочий более развит, более человек, тем более он должен ненавидеть свою работу, чувствуя всю вынужденность ее, всю бесполезность для него самого. Ради чего он работает? Чтобы удовлетворить свое естественное стремление к творчеству? Никким образом. Он работает ради денег, ради вещи, которая с самой работой ничего общего не имеет; он работает, потому что должен работать, и к тому же он работает так долго и работа эта так непрерывна и однообразна, что уже по одной этой причине она должна стать для него мучением в первые же недели, если в нем сохранилось хоть какое-нибудь человеческое чувство. С разделением труда это оупляющее действие обязательной работы еще более возросло. В большинстве отраслей труда деятельность рабочего ограничена мелкой, чисто механической манипуляцией, повторяющейся из минуты в минуту, из года в год.¹ Какие человеческие чувства и способности могут быть развиты у человека, который с самого детства ежедневно в течение двенадцати часов и больше зани-

¹ Приводить ли мне и здесь свидетельства буржуазных авторитетов? Я выбираю для этого только одно, которое всякому доступно, а именно книгу Адама Смита «Богатство народов», том III, книга 5, гл. 8, стр. 297 цитированного издания.

мался приготовлением булавочных головок или опиливанием зубчатых колес и все это в условиях жизни английского пролетария? Дело не изменилось, когда стали применяться машины и движущая сила пара. Труд рабочего становится легким, мускулы напрягать не приходится и самый труд упрощается, но зато он становится в высшей степени однообразным. Работа его исключает возможность какой-либо духовной деятельности и все же требует от него такого внимания, что для хорошего ее выполнения он ни о чем другом не должен думать. Как же этой работе, отнимающей у рабочего все имеющееся у него время, едва оставляющей ему время для еды и сна, но не оставляющей ему времени для движения на свежем воздухе, наслаждения природой, не говоря уже о духовной деятельности, не низводить человека до степени скота! И опять перед рабочим одна альтернатива: либо подчиниться судьбе, стать «хорошим рабочим», «верно» соблюдать интересы буржуа, — и тогда он несомненно становится скотом, — либо возмущаться, всеми силами защищать свое человеческое достоинство, а это он может сделать только в борьбе с буржуазией.

Если все эти причины уже и сами значительно способствовали деморализации рабочего класса, то сюда присоединяется еще одна новая причина, распространяющая эту деморализацию дальше и доводящая ее до высшего ее предела; эта причина — централизация населения. Буржуазные писатели Англии проливают горькие слезы по поводу развращающего влияния больших городов; эти Иеремии наизнанку плачутся не по поводу разрушения городов, а по поводу их расцвета. Шериф Алисон почти все сваливает на эту причину; еще более приписывает ей д-р Воган, автор книги: «The Age of Great Cities». И это вполне понятно. Остальные причины, действующие разрушающим образом на тело и душу рабочего, слишком тесно связаны с интересами имущего класса. Если бы эти авторы говорили, что главная причина заключается в бедности рабочего, его неуверенности в завтрашнем дне, чрезмерной и вынужденной работе, то каждый и даже они сами должны были бы сказать себе: необходимо дать беднякам собственность, гарантировать им средства к существованию, издать законы против чрезмерной работы; но на это буржуазия согласиться не может. А крупные города выросли сами собой, люди туда переселялись совершенно добровольно, и от вывода, что только промышленность и только средний класс, которому эта последняя служит, создали эти большие города, господствующий класс так далек, что ему не может не притти в голову мысль свалить все бедствия на эту будто бы неизбежную причину, а между тем в крупных городах лишь быстрее развивается то зло, которое уже раньше

существует, по меньшей мере в зародыше. Алисон, по крайней мере, настолько еще гуманен, что он признает это зло: он еще не вполне развившийся промышленный буржуа-либерал, а лишь полуразвившийся буржуа-торий, и потому он видит еще открытыми глазами то, на что истинный буржуа безнадежно слеп. Послушаем, что он говорит: «В крупных городах искушения порока и сладострастия раскидывают свои сети; в надежде на безнаказанность люди скорее решаются на преступление, и дурные примеры развивают лень. Сюда, в эти крупные центры человеческой испорченности, стекаются все дурные и развратные люди, уходя от простоты сельской жизни; здесь они находят жертвы для своей распущенности и легкую наживу в награду за опасности, которым они подвергаются. Добродетель остается в темноте и подавляется, порок развивается, вследствие трудности его раскрытия, а распущенность награждается немедленным наслаждением. Стоит кому-нибудь пойти ночью по кварталу Сент-Джайльз, по тесным людным улицам Дублина, бедным кварталам Глазго, и он увидит, что все это правда, и будет удивляться не тому, что так много преступлений на свете, а тому, что их еще так мало. Главная причина испорченности больших городов заключается в заразительности дурного примера и трудности уклониться от искушений порока, когда он так близко и постоянно соприкасается с подрастающим населением. Богачи поэтому не лучше бедняков: и они не могли бы при таких условиях противостоять искушению; особое несчастье бедняков заключается в том, что им приходится везде наталкиваться на приманки порока, на прелести запретных наслаждений... Доказанная невозможность скрыть в крупных городах от подрастающего поколения неимущего класса порок — вот причина деморализации». После пространныго описания нравов наш автор продолжает так: «Причиной этого является не чрезвычайная испорченность характера, а неодолимая сила искушений, которым подвержены бедняки. Богачи, порицающие поведение бедняков, под влиянием тех же причин не менее быстро поддавались бы искушениям. Есть такая степень нищеты, такая сила искушения, противостоять которой добродетель редко способна, и тем более не в состоянии этого сделать молодежь. Усиление порока при таких условиях почти столь же неизбежно и часто столь же быстро, как распространение физической заразы». И далее в другом месте автор говорит следующее: «Когда высшие классы для своей выгоды сосредотачивают рабочих большими массами в одном тесном пространстве, зараза преступления распространяется чрезвычайно быстро и неизбежно. При том уровне религиозного и морального развития, на котором на-

ходятся низшие классы, их часто с таким же основанием можно порицать за то, что они поддаются искушениям, как за то, *что они падают жертвой тифа*.¹

Довольно! Полубуржуа Алисон раскрывает перед нами, хотя и в близорукой форме, дурное влияние больших городов на нравственное развитие рабочих. Другой, настоящий буржуа, человек, который вполне по душе Лиге борьбы против хлебных пошлин, д-р Эндрю Юр,² раскрывает перед нами другую сторону. Он рассказывает нам, что жизнь в больших городах облегчает рабочим устройство всяких козлей и дает силу черни. Если не воспитывать рабочих надлежащим образом (т. е. не воспитывать в повиновении буржуазии), они будут смотреть на вещи односторонне, с точки зрения озлобленного вгоизма, и легко поддадутся увещаниям хитрых демагогов; они даже способны смотреть враждебно на своих *лучших благодетелей*, воздержных и предприимчивых капиталистов. Здесь может помочь только одно — хорошее воспитание, иначе должно наступить национальное банкротство и другие ужасы, ибо рабочая революция неизбежна. И наш буржуа вполне прав с своими опасениями. Если централизация населения оказывает возбуждающее и развивающее действие на имущие классы, то развитию рабочих она содействует еще больше. Рабочие начинают чувствовать себя классом, они узнают, что, будучи в одиночку слабы, они вместе образуют силу; они все более и более отделяются от буржуазии, и все более и более развиваются у них свои собственные классовые воззрения и идеи, появляется сознание своего угнетения, и рабочие получают социальное и политическое значение. Большие города — очаги рабочего движения: в них рабочие впервые стали задумываться над своим положением и бороться против него, в них впервые выяснилось противоречие интересов пролетариата и буржуазии, в них зародились рабочие союзы, чартизм и социализм. Большие города придали болезни социального тела, носившей в деревне хронический характер, острую форму и тем раскрыли как ее истинную сущность, так и способ ее излечения. Без больших городов и их ускоряющего влияния на повышение общего уровня развития рабочие не подвинулись бы настолько вперед, как теперь. К тому же они порвали последнюю нить патриархальных отношений между рабочим и работодателем, чему содействовала также крупная промышленность

¹ «Principles of Population», vol. II, p. 76, 135.

² «Philosophy of Manufactures», London 1835. — Об этой милой книге нам придется еще больше побеседовать. Приведенные здесь места находятся на стр. 406 и сл.

путем увеличения числа рабочих, находящихся в зависимости от одного буржуа. Буржуазия на это плачется, конечно; и она права, ибо при прежних отношениях она была обеспечена от возмущений рабочих. Буржуа мог эксплуатировать своих рабочих и властвовать над ними сколько угодно и встречал еще повиновение, благодарность и любовь глупого народа, если он, кроме платы, награждал его улыбкой, которая не стоила ему ничего, или делал ему какие-нибудь небольшие уступки, показывая при этом вид, будто все это делается исключительно по необычайной сердечной доброте, хотя это не составляло и десятой доли того, что он должен был бы сделать. Как единственный буржуа, поставленный в условия, которых он сам не создавал, он, конечно, мог, по крайней мере отчасти, выполнять свои обязанности, но как член правящего класса, ответственного за положение всей нации и обязанного соблюдать общие интересы, уже потому, что *в его руках государственная власть*, он не делал ничего, что он должен был бы сделать по своему положению, а грабил еще сверх того всю нацию в собственных своих частных интересах. При патриархальных отношениях, лицемерно прикрывавших рабство рабочих, рабочий должен был оставаться духовно мертвым, совершенно не понимать своих собственных интересов, жить отдельно сам по себе. Только когда между ним и его работодателем наступило отчуждение, когда стало очевидным, что все отношения между ними сводятся к частному интересу, к деньгам, когда кажущаяся нравственная связь, не выдержавшая ничтожнейшего испытания, совершенно исчезла, только тогда рабочий начал понимать свое положение и свои интересы и стал развиваться самостоятельно, только тогда он перестал быть рабом буржуазии и в своих идеях, чувствах и действиях. А этому содействовали, главным образом, крупная промышленность и большие города.

Другим моментом, в значительной мере повлиявшим на характер английских рабочих, была иммиграция ирландцев, о значении которой в этом смысле мы уже говорили выше. С одной стороны, она, как мы уже видели, способствовала деградации английского рабочего, оторвала его от цивилизации и ухудшила его положение, но зато, с другой стороны, она содействовала углублению пропасти между рабочим классом и буржуазией, а следовательно и ускорила приближение кризиса. Дело в том, что социальная болезнь, которой страдает Англия, протекает так, как протекает какая-нибудь физическая болезнь: она развивается согласно известным законам и имеет свои кризисы, из которых последний и самый сильный решает судьбу больного. Так как с наступлением этого последнего кризиса англий-

ская нация погибнуть не может, а напротив того, должна выйти из него обновленной и возрожденной, то нам следует радоваться всему, что обостряет течение болезни. Кроме того ирландская иммиграция содействует этому еще тем, что прививает английскому рабочему классу страстный, живой темперамент ирландца. Отношения между ирландцами и англичанами многими своими сторонами напоминают отношения между французами и немцами, и сожителство более легкомысленного, легко возбуждающегося, страстного ирландца с спокойным, выдержанным, разумным англичанином может в конце концов оказаться полезным для обоих. Черствый эгоизм английской буржуазии гораздо дольше сохранился бы в рабочем классе, если бы не примешался к нему великодушный до самоотверженности характер ирландцев, в котором чувство на первом плане, и если бы чисто рассудочный холодный английский характер не был смягчен, с одной стороны, смешением рас, а с другой стороны — постоянными сношениями с ирландцами.

В виду всего этого нет ничего удивительного, что английский рабочий класс с течением времени стал совсем другим народом, чем английская буржуазия. Буржуазия имеет со всеми другими нациями земли больше родственного, чем с рабочими, с которыми она живет бок-о-бок. Рабочие говорят на другом диалекте, имеют другие идеи и представления, другие нравы и нравственные принципы, другую религию и политику, чем буржуазия. Это два совершенно различных народа; настолько различных, насколько могут быть различны только две расы — два народа, из которых мы на континенте до настоящего времени знали только один — буржуазию. А между тем именно второй народ, состоящий из пролетариев, имеет гораздо больше значения для будущего Англии.¹

Что касается общественного характера английских рабочих, поскольку он выражается в их ассоциациях и политических принципах, то мы будем еще говорить об этом ниже. Здесь мы хотим рассмотреть только результаты действия изложенных выше причин, то влияние, которое они имели на личный характер рабочих. Рабочий гораздо более гуманен в повседневной жизни, чем буржуа. Я упоминал уже выше, что нищие обращаются обыкновенно почти исключительно к рабочим и вообще рабочие больше делают для поддержания бедняков, чем буржуазия. Этот факт, подтверждения которому можно встретить на каждом шагу, устанавливает, между

¹ (1892). Мысль, что крупная промышленность разделила англичан на две различные нации, была, как известно, около того же времени высказана Дизраэли в его романе: «Sybil, or the Two Nations».

прочим, Паркинсон, манчестерский каноник. Он говорит следующее: «Бедняки больше дают друг другу, чем богачи беднякам. В подтверждение моих слов я могу сослаться на свидетельство одного из наших старейших, опытнейших, наиболее наблюдательных и гуманных врачей, д-ра Бардслея. Последний открыто заявил, что общая сумма, которую бедняки ежегодно дают друг другу, превосходит ту, которую богачи дают за то же время беднякам».¹ Выражается гуманность рабочих и во многих других формах. Не баловала их самих жестокая судьба, и потому они могут сочувствовать тем, кому плохо живется. Для них каждый человек есть человек, — между тем как для буржуа рабочий не вполне человек. Вот почему они обходительнее, приветливее, и, хотя они более нуждаются в деньгах, чем имущий класс, они все же меньше до них жадны: для них деньги имеют ценность только ради того, что они могут на них купить, между тем как для буржуа они имеют особую присущую им ценность, ценность божества, и превращают его в нивкого, грязного «человека наживы». Рабочий, которому это чувство благоговения перед деньгами совершенно чуждо, не так жаден, как буржуа, готовый на все, чтобы заработать деньги, видящий свою жизненную цель в наполнении своего денежного мешка. Вот почему рабочий может быть гораздо более объективным, может смотреть гораздо более открытыми глазами на действительность, чем буржуа, и не на все смотрит сквозь призму собственных выгод. От религиозных предубеждений его предохраняет недостаточное воспитание: ничего не понимая в этих делах, он не мучится ими; ему чужд фанатизм, которым опутана буржуазия, и если он все же немного религиозен, то это религиозность только номинальная и даже не теоретическая, — практически же он живет только для настоящего мира и стремится устроиться в нем получше. Все буржуазные писатели сходятся на том, что рабочие не имеют религии и не посещают церкви. Отсюда во всяком случае следует исключить ирландцев, немногих стариков, ватем полубуржуазию, надсмотрщиков, мастеров и т. п. Но что касается массы, то она почти везде относится совершенно индифферентно к религии и исповедует разве кое-какой деизм, настолько смутный, что он может служить только для разговорного обихода или вызывать какой-то безотчетный страх перед такими выражениями, как неверующий, атеист. Духовенство всех сект на очень плохом счету у рабочих, хотя оно потеряло влияние на них лишь недавно;

¹ «On the present Condition of the Labouring Poor in Manchester etc.» by the Rev. Rd. Parkinson, Canon of Manchester. 3-rd. edit. London and Manchester 1841. Памфлет.

в настоящее время положение дел таково, что достаточно кому-нибудь в общественном собрании крикнуть: «he is a parson!» (это — поп!), чтобы оратор был вынужден оставить трибуну. И если общественное положение рабочего вообще делает его более объективным, более свободным от устаревших установившихся принципов и предвзятых мнений, чем буржуа, то этому не мало содействует также недостаток религиозного и прочего образования. Буржуа по уши погряз в своих классовых предрассудках, в принципах, привитых ему в детстве: с ним ничего поделать нельзя; он по существу консервативен, хотя бы и в либеральной форме; его интересы неразрывно связаны с существующим строем, и он для всякого движения вперед человек мертвый. Мало-по-малу он перестает стоять во главе исторического развития, и его место — сначала юридически, а со временем и фактически — займет рабочий.

Все это, как и вытекающая отсюда общественная деятельность рабочих, которую мы рассмотрим еще ниже, составляет хорошие стороны характера этого класса; дурные его стороны столь же легко наметить в общих чертах, причем они с такою же необходимостью вытекают из приведенных выше причин. Пьянство, половая распущенность, грубость и недостаток уважения к собственности — вот главные пороки, в которых его обвиняют буржуа. Что рабочие много пьют, вполне естественно и иначе быть не может. Шериф *Алисон* утверждает, что в Глазго каждую субботу вечером напиваются пьяными 30 000 рабочих, и это число, без сомнения, не малое; что один трактир приходился в этом городе в 1830 г. на двенадцать домов, а в 1840 г. на десять домов; что в Шотландии было уплачено акциза в 1823 г. с 2 300 000 галлонов водки и в 1837 г. с 6 620 000 галлонов, а в Англии в 1823 г. с 1 976 000 галлонов и в 1837 г. с 7 875 000 галлонов.¹ Пивной акт 1830 г., облегчивший устройство пивных, так называемых *Jerry Shops*, владельцам которых была разрешена только распивочная (*to be drunk on the premises*) продажа пива, облегчил также распространение пьянства, так как у каждого трактир оказался чуть ли не у порога дома. Почти на каждой улице можно найти несколько таких пивных, а если где-нибудь за городом стоят два-три дома, то можно быть уверенным, что там найдется и *Jerry-Shop*. Кроме того имеются во множестве *Hush-Shops*, т. е. тайные трактиры, не имеющие разрешения, и не мало тайных винокурен, которые в отдаленных, редко посещаемых полицией кварталах выкуривают водку в огромных количествах.

¹ «Principles of Population», *passim*.

Гаскелль насчитывает этих последних в одном Манчестере больше ста, и их годовое производство равно по меньшей мере 156 000 галлонов. В Манчестере имеется, кроме того, более тысячи трактиров и, следовательно, сравнительно с числом домов, по меньшей мере, столько же, сколько в Глазго. Во всех других больших городах дело обстоит точно так же. И если принять во внимание, что, помимо обычных последствий пьянства, мужчины и женщины всякого возраста и даже дети, часто матери с детьми на руках, сходятся в этих трактирах с наиболее низко павшими жертвами буржуазного режима — ворами, мошенниками и проститутками, если вспомнить, что иная мать дает водку грудному ребенку, которого она держит на руках, вряд ли кто-нибудь станет отрицать деморализующее действие этих трактиров на их посетителей. Пьянство это во всей его грубости можно наблюдать в особенности в субботу вечером, когда выдается заработная плата и работа прекращается немного раньше обыкновенного и когда весь рабочий класс выходит из своих ужасных кварталов на главные улицы. Мне редко удавалось в такой вечер выйти из Манчестера, не натолкнувшись на множество пьяниц, едва державшихся на ногах или валявшихся в канавах. В воскресенье вечером повторяются обыкновенно те же сцены, но шума бывает меньше. А когда все деньги истрачены, пьяница отправляется в первый попавшийся ломбард, которых в каждом большом городе множество — в Манчестере их свыше шестидесяти, а на одной только улице Сальфорда (Чапель-стрит) от десяти до двенадцати — и закладывает все, что у него есть. Мебель, праздничная одежда, если она имеется, посуда, — все это каждую субботу массами берется из ломбардов, чтобы почти всегда не позже среды вернуться туда же, и так дело продолжается до тех пор, пока какая-нибудь случайность не сделает выкуп невозможным и одна вещь за другой остается в руках ростовщика, или пока последний не откажется дать что-либо за вещь, ставшую никуда не годной. Кто собственными глазами наблюдал распространение пьянства среди рабочих Англии, тот охотно поверит лорду Эшли,¹ что они ежегодно тратят на спиртные напитки до двадцати пяти миллионов фунтов стерлингов. А насколько такое пьянство ухудшает положение рабочих, как разрушительно оно влияет на их физическое и нравственное здоровье, какую дезорганизацию оно вносит в семейные отношения, — все это каждому представить себе не трудно. Общества трезвости сделали, правда, не мало, но что могут значить несколько тысяч проповедников трезвости

¹ Заседание Нижней палаты 28 февраля 1843 г.

(«teetotalers») в сравнении с миллионами рабочих? Когда отец Мэтью, ирландский апостол трезвости, объезжает английские города, от тридцати до шестидесяти тысяч рабочих часто дают обет (pledge) не пить, но не проходит и четырех недель, как этот обет большей частью забывается. Если, например, сосчитать, сколько лиц в Манчестере дали в последние три-четыре года обет не пить, полученное число превысит общее число жителей города, а между тем незаметно, чтобы пьянство уменьшалось.

Другим пороком английских рабочих, рядом с невоздержностью в потреблении спиртных напитков является невоздержность в половых сношениях. И этот порок вытекает с неизбежной, железной необходимостью из общего положения этого класса, предоставленного самому себе, но не имеющего возможности надлежащим образом пользоваться своей свободой. Буржуазия предоставила ему только эти два наслаждения, возложив на него массу тяжкого труда и страданий. Чтобы хоть что-нибудь взять от жизни, рабочие набрасываются поэтому со всей страстью на эти два наслаждения, предаваясь им самым чрезмерным и беспорядочным образом. Когда людей ставят в положение, достойное только животного, им ничего более не остается, как или восстать против этого или на самом деле сделаться животными. А кроме того и буржуазия, даже честная ее часть, прямо содействует росту проституции. Сколько из 40 000 проституток, наполняющих каждый вечер улицы Лондона,¹ живет на счет добродетельной буржуазии? Скольким из них приходится продавать свое тело первому встречному, чтобы не умереть с голода, потому что их соблазнил буржуа? Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что буржуазия всего менее имеет право упрекать рабочих в половых излишествах.

Все пороки рабочих могут быть сведены к невоздержности в наслаждениях, отсутствию предусмотрительности и покорности существующему социальному строю, вообще к неспособности жертвовать наслаждениями данного момента ради более отдаленной выгоды. Но что же в этом удивительного? Класс, почти ничего не получающий в награду за свою тяжелую работу или получающий только самые низменные наслаждения, должен слепо и жадно набрасываться на эти наслаждения! Если никто не заботится о просвещении этого класса, если все его положение таково, что он зависит от самых равнообравных случайностей и не может быть уверен в завтрашнем дне, то какой смысл, какой интерес ему быть

¹ Alison, Principles of Population, vol II.

предусмотрительным, вести «солидную» жизнь и жертвовать наслаждением данного момента ради наслаждения в будущем, — наслаждения, которое именно для него с его вечно необеспеченным положением, весьма еще сомнительно? От класса, который получает в удел все невыгоды данного социального порядка и не пользуется ни одним из его преимуществ, от класса, которому этот социальный строй лишь враждебен, требуют еще, чтобы он относился к нему с почтением! Это уж поистине слишком много! Но куда этот социальный строй существует, рабочий класс уйти от него не может, и если отдельный рабочий против него возмущается, то от этого больше всего страдает он сам. Данный социальный строй делает и семейную жизнь рабочего почти невозможной. Какой может быть домашний уют в неопрятной, грязной квартире, едва пригодной даже для ночлега, плохо мебелированной, часто незащищенной от дождя и не отапливаемой, с тяжелым воздухом и набитой людьми? Муж, а часто и жена и старшие дети работают целый день, все в различных местах, видят друг друга только утром и вечером — и к тому же это постоянное искушение выпить. Какая может быть при таких условиях семейная жизнь? Тем не менее, рабочий не может уйти от семьи, и должен в ней оставаться. Отсюда постоянные семейные раздоры и споры, действующие деморализующим образом как на самих супругов, так в особенности на детей. Пренебрежение всеми семейными обязанностями — особенно пренебрежение детьми — слишком частое явление среди английских рабочих и обуславливается главным образом современным строем общества. И вот хотят, чтобы дети, вырастающие без призора в деморализующей среде, к которой часто принадлежат сами родители, были впоследствии нравственными людьми! Поистине наивные требования ставит рабочим самодовольный буржуа.

Неуважение к существующему социальному строю всего резко выражается в его крайнем проявлении — в преступлениях. Раз причины, приводящие к деморализации рабочего, действуют сильнее, более концентрированным образом, чем обыкновенно, он с такой же необходимостью должен стать преступником, с какой вода при 80° Реомюра переходит из жидкого состояния в газообразное. Своим грубым и жестоким обращением буржуазия превращает рабочего в столь же безвольную вещь, как вода, и он с такой же необходимостью подчинен законам природы, и вот наступает момент, когда у него всякая свобода действия исчезает. С ростом пролетариата возросло поэтому и число преступлений в Англии, и британская нация стала самой преступной нацией в мире. Из публикуе-

мых ежегодно «таблиц преступности» министерства внутренних дел видно, что число преступлений возрастало в Англии с невероятной быстротой. Число арестов за *уголовные* преступления составляло только в Англии в Уэльсе:

в 1805 году	4 605
» 1810 »	5 146
» 1815 »	7 898
» 1820 »	13 710
» 1825 »	14 437
» 1830 »	18 107
» 1835 »	20 731
» 1840 »	27 187
» 1841 »	27 760
» 1842 »	31 309

В течение 37 лет число арестов увеличилось в семь раз. Из этого числа приходится на один Ланкашир в 1842 г. 4 497 арестов, т. е. более 14 %, а на округ Миддльсекс (со включением Лондона) — 4 094, т. е. свыше 13 %. Таким образом, мы видим, что только на два округа, включающие больше города с многочисленным пролетариатом, приходится четвертая часть всех совершенных в стране преступлений, хотя население их далеко не составляет четвертой части всего населения страны. Из тех же таблиц преступности ясно вытекает, что почти все преступления совершаются пролетариатом: в 1842 г. 32,35% преступников не умели ни читать, ни писать, 58,32% плохо знали чтение и письмо, 6,77% хорошо читало и писало, 0,22% получило высшее образование и для 2,34% нельзя было установить степени образования. В Шотландии число преступлений возросло еще быстрее. В 1819 г. здесь было совершено только 89 уголовных преступлений, в 1837 г. — 3 176, а в 1842 г. даже 4 189 преступлений. В Ланкашире, официальный отчет о котором составлен самим шерифом Алисоном, население удвоилось в течение тридцати лет, а число преступлений — в течение пяти с половиной лет, т. е. в шесть раз быстрее, чем население. — Что касается самих преступлений, то значительное большинство их составляют, как во всех цивилизованных странах, преступления против собственности, т. е. обусловленные нуждой, ибо никто не крадет того, что у него есть. Отношение преступлений против собственности к числу населения составляло в Голландии 1 : 7 140, во Франции 1 : 1 804, а в Англии, — около того времени, когда Гаскелль писал свою книгу, — 1 : 799; число преступлений против личности относилось к числу населения в Голландии, как 1 : 28 904, во Франции — 1 : 17 573, а в Англии, как

1 : 23 395; число всех вообще преступлений относилось к числу населения в земледельческих округах как 1 : 1 043 и в фабричных округах как 1 : 840;¹ во всей Англии отношение это в настоящее время составляет едва 1 : 660,² а с того времени, как была обнародована книга Гаскелля, прошло не более десяти лет.

Этих фактов поистине более чем достаточно, чтобы заставить каждого, и даже буржуа, задуматься над последствиями такого положения дел. К чему же это может привести, если деморализация и преступность будут еще двадцать лет возрастать в той же пропорции? А если за эти двадцать лет дела английской промышленности будут в менее блестящем положении, чем раньше, то рост преступлений должен еще более увеличиться! И теперь уже мы видим в обществе полное равложение, и теперь уже нельзя взять газеты в руки, чтобы не натолкнуться на самые разительные примеры ослабления всех социальных связей. Из кучи лежащих передо мной английских газет я беру наудачу одну. Вот газета «Manchester Guardian» от 30 октября 1844 г., дающая нам отчет о происшествиях за три дня. Не давая себе труда сообщать нам подробные сведения о Манчестере, она сообщает нам лишь наиболее интересные факты: на одной фабрике рабочие приостановили работу, чтобы добиться повышения заработной платы, но мировой судья заставил их снова приняться за работу; в Сэльфорде несколько мальчиков совершили кражи, и обанкротившийся купец попытался надуть своих кредиторов. Более подробные сведения о ближайших городах: в Аштоне были две кражи, одна кража со взломом и одно самоубийство; в Бёри — одна кража; в Больтоне — две кражи и один случай уклонения от уплаты акциза; в Лидсе — одна кража; в Ольдгаме — прекращение работы с целью увеличения заработной платы, одна кража, драка между ирландцами; один шляпник, не принадлежавший к рабочему союзу, был побит членами союзу, и одна мать была побита сыном; в Рочделе — ряд драк, нападение на полицию, ограбление церкви; в Стокпорте — недовольство рабочих своей заработной платой, одна кража, один случай надувательства, драка, муж побил жену; в Уоррингтоне — одна кража и одна драка; в Вигане — одна кража и ограбление церкви. Хроника лондонских газет гораздо хуже. Здесь всевозможные виды надувательства, кражи, грабежи, семейные раздоры следуют одни за другими. Я беру наудачу газету «Times» от 12 сентября 1844 г., дающую отчет лишь

¹ «Manufacturing Population of England», chapt. 10.

² Число *уличных* преступников (22 733), деленное на число населения (около 15 миллионов).

о происшествиях одного дня. Здесь рассказывается об одной краже, о нападении на полицию, о присуждении отца к содержанию прижитого им вне законного брака ребенка, об изгнании родителями своего ребенка и об отравлении мужа женой. О подобных же происшествиях рассказывают нам все английские газеты. В Англии социальная война находится в полном разгаре. Каждый защищает себя и борется за себя против всех остальных, и вопрос о том, причинит ли он вред всем тем, кого он считает своими врагами, решается им с одной только эгоистической точки зрения: что ему выгоднее. Никому и в голову не приходит вступить в мирные соглашения со своими ближними: все разногласия решаются угрозами, самочинной расправой или судом. Одним словом, каждый видит в другом или врага, которого он должен удалить со своего пути, или в лучшем случае средство, которое он может использовать для своих целей. И эта война, как показывают таблицы преступности, становится год от году все резче, ожесточеннее и непримиримее; враждующие стороны постепенно делятся на два больших лагеря, борющихся друг с другом: один лагерь образует буржуазия, а другой — пролетариат. Эта война всех против всех и пролетариата против буржуазии не должна нас удивлять, ибо она есть лишь последовательное осуществление принципа, заложенного уже в свободной конкуренции. Но нас должно удивлять другое, а именно то, как буржуазия, на которую изо дня в день все более и более надвигается страшная гроза, остается столь спокойной, как она может изо дня в день читать обо всех этих вещах в газетах, не почувствовав — не скажу: негодования на существующий социальный строй, — но хотя бы только страха перед его последствиями, страха перед общим взрывом всего того, что изо дня в день проявляется в отдельных преступлениях. Но на то она буржуазия и со своей точки зрения она не может понять даже фактов, не говоря уже о вытекающих из них выводах. Изумительно только то, что классовые предрассудки и предвзятые мнения могут ослепить целый класс в такой высокой — я бы сказал: безумно высокой — степени. Но развитие нации идет своим путем, понимает ли это буржуазия или нет, и в один прекрасный день поразит имущий класс такими неожиданностями, о которых и не снилось его мудрецам.

VI.

ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ ТРУДА.

ФАБРИЧНЫЕ РАБОЧИЕ В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ.

Переходя теперь к исследованию наиболее важных групп английского промышленного пролетариата, мы, следуя установленному выше принципу, должны начать с фабричных рабочих, т. е. тех, которые находятся под защитой фабричного закона. Этот последний регулирует рабочее время на фабриках, на которых с помощью водяной или паровой силы прядут или ткнут шерсть, шелк, бумагу и лен, и распространяется поэтому на самые важные отрасли английской промышленности. Живущий ими класс является многочисленнейшим, старейшим, наиболее интеллигентным и энергичным, но зато и наиболее беспокойным и наиболее ненавистным буржуазии классом английских рабочих. Эти-то рабочие — в особенности занятые в хлопчатобумажной промышленности — стоят во главе рабочего движения, как их хозяева, фабриканты, в особенности фабриканты Ланкашира, стоят во главе буржуазной агитации.

Мы видели уже во введении, что именно эта часть рабочего класса впервые была вырвана из прежних условий своей жизни введением новых машин. Нет поэтому ничего удивительного в том, что и дальнейшие изобретения механики тоже больше и сильнее всего затрагивали именно ее. История хлопчатобумажной промышленности, изложенная Юром,¹ Бансом² и др., на каждой странице повествует о все новых и новых улучшениях, из которых большинство введено и в остальных из упомянутых выше отраслей промышленности. Ручная работа почти везде вытеснена машиной, почти все манипуляции производятся силой воды или пара, и при этом каждый год приносит новые улучшения.

При нормальном социальном строе все эти улучшения можно было бы только приветствовать; но там, где бушует война всех

¹ «The Cotton Manufacture of Great Britain», By Dr A. Ure. 1836.

² «History of the Cotton Manufacture of Great Britain», By E. Baines, Esq.

против всех, отдельные лица присваивают себе все выгоды и тем лишают большинство средств к существованию. Каждое улучшение в машине отнимает у рабочих кусок хлеба, и чем важнее улучшение, тем больше рабочих остается без работы; каждое улучшение, следовательно, вызывает для некоторой части рабочего класса те же последствия, какие вызывает кризис в промышленности, т. е. нужду, нищету и преступления. Приведем несколько примеров. Возьмем первое изобретение — прялку «Дженни» (см. выше). Приводимая в движение одним рабочим, она производит по меньшей мере в шесть раз больше, чем обыкновенная прялка за то же время, и, следовательно, каждая новая «Дженни» лишает куска хлеба пять прядильщиков. Ватерная машина, производящая еще больше, чем прялка «Дженни», и тоже требующая только одного рабочего, лишила заработка еще больше людей. Мюль-машина требовала еще меньше рабочих, сравнительно с количеством производимого продукта, и потому ее введение имело те же последствия, а каждое улучшение ее, каждое увеличение числа веретен опять-таки уменьшало число необходимых рабочих рук. Увеличение числа веретен имело особенно важное значение, так как оно лишало куска хлеба большие массы рабочих: если раньше один «прядильщик» с несколькими детьми-подручными (*pieces*) приводил в движение 600 веретен, то теперь он мог наблюдать за двумя мюлями с 1 400 — 2 000 веретен, и два взрослых прядильщика и часть занятых при них подручных остались без заработка. А с тех пор, как на значительном числе фабрик были введены сельфакторы (автоматические станки), значение прядильщика совершенно свелось на нет, и его заменила машина. Передо мной книга, написанная известным вождем чартистов в Манчестере, Джемсом Личем.¹ Человек этот работал в течение многих лет в различных отраслях труда, на фабриках и в угольных копях и лично мне знаком как человек честный, надежный и дельный. Благодаря своему положению в партии, он имел под рукой множество самых подробнейших сведений относительно различных фабрик, — сведений, собранных самими рабочими. На основании этих сведений он составил таблицы, из которых видно, что в 1829 г. на 35 фабриках было занято на 1 060 прядильщиков больше, чем в 1841 г., хотя число веретен на этих фабриках увеличилось за это время на 99 239. Он приводит далее пять фабрик, на которых нет более ни одного прядильщика, так как на них работают одни сельфакторы.

¹ «Stubborn Facts from the Factories, by a Manchester Operative». Published and dedicated to the working Classes, by Wm. Rashleigh, M. P. London, Ollivier, 1844, 28 sq.

В то время как число веретен увеличилось на 10%, число прядильщиков уменьшилось на 60% и больше. — И, — прибавляет Лич, — с 1841 г. было введено столько улучшений, как удвоение рядов веретен (double decking) и др., что на некоторых из названных фабрик вновь лишились работы половина прядильщиков; так, на одной только фабрике, где еще очень недавно работало 80 прядильщиков, число их уменьшилось до 20, а остальные были уволены или были вынуждены исполнять детскую работу за детскую плату. Подобные же сведения мы находим у Лича относительно Стокпорта, где в 1835 г. было занято 800 прядильщиков, а в 1843 г. осталось только 140, хотя промышленность в этом городе за эти 8 — 9 лет значительно развилась. В чесальных машинах также были введены различные улучшения, что тоже лишило заработка половину рабочих. На одной фабрике установлены усовершенствованные тростильные машины, вследствие чего из восьми девушек четыре остались без заработка, а остальным четырем фабрикант понизил плату с восьми на семь шиллингов. То же произошло и в ткацкой промышленности. Механический ткацкий станок захватил одну область ручного ткачества за другой, а так как он производит гораздо больше, чем ручной станок, и один рабочий может наблюдать за работой двух механических станков, то и здесь множество рабочих осталось без заработка. То же имело место и в других отраслях текстильной промышленности — в шерсто- и льнопрядильнях, на шелковых фабриках; механический станок начинает даже завоевывать отдельные отрасли на ткацких шерстяных и льняных фабриках; в одном Рочделе работает больше механических, чем ручных ткацких станков, при выделке фланели и других шерстяных изделий. — Буржуазия на это обыкновенно отвечает, что улучшения в машинах, уменьшая расходы на производство товаров, ведут к понижению цен на них, а понижение цен ведет к росту потребления, к постройке новых фабрик, на которых лишившиеся заработка рабочие могут вновь найти занятие. Буржуазия права в одном, а именно в том, что при известных условиях, благоприятных общему промышленному развитию, каждое понижение цен такого товара, сырой материал которого стоит *недорого*, ведет к значительному усилению потребления и устройству новых фабрик. Но что касается всего остального, она говорит вопиющую неправду. Она не принимает в расчет того факта, что проходит много лет, пока скажутся последствия понижения цен, и будут устроены новые фабрики. Она умалчивает о том, что усовершенствования машин ведут к тому, что действительная напряженная работа все более и более переносится на машину, а работа взрослых

мужчин сводится к простому наблюдению, что может сделать и слабая женщина и даже ребенок и что они и делают за половину или даже треть платы; таким образом, взрослые рабочие все более и более вытесняются из промышленности и, несмотря на рост производства, *не находят* вновь работы. Она умалчивает о том, что целые отрасли труда вследствие этого либо совершенно исчезают, либо настолько изменяются, что рабочим приходится изучать их заново; она осторожно обходит то, на чем она обыкновенно настаивает, когда хотят запретить работу малолетних: для того, чтобы быть хорошим рабочим на фабрике, необходимо приучиться к работе с самых ранних лет и еще до десятилетнего возраста (см., напр., «Factories Inq. Comm. Rept.» в различных местах). Наконец, она как будто забывает, что процесс развития техники продолжается, и если рабочему удастся найти занятия в новой отрасли труда, развитие техники вытесняет его и отсюда, лишая его последней надежды на обеспеченный заработок. Но буржуазии достаются все выгоды от улучшения машин в течение первых лет, когда на многих фабриках работают еще старые машины и улучшения не введены повсеместно; ей тогда представляется прекраснейший случай набить карманы, нельзя от нее требовать, чтобы она видела и невыгоды от улучшения машин.

Что с улучшением машин заработная плата понижается, это буржуазия тоже яростно опровергает, между тем как рабочие не перестают на этом настаивать. Буржуазия уверяет нас в том, что хотя с облегчением производства *поштучная плата* понизилась, недельная плата, тем не менее, в общем скорее повысилась, чем понизилась, и положение рабочих скорее улучшилось, чем ухудшилось. Трудно ответить точно на этот вопрос, так как рабочие большую часть ссылаются на падение *поштучной платы*. При всем том несомненно, что в различных отраслях труда и недельная плата понизилась с улучшением машин. Рабочие, изготовляющие тонкую пряжу, получают, правда, высокую заработную плату от 30 до 40 шиллингов в неделю, ибо они организованы в сильный союз для удержания на известном уровне заработной платы и работа их требует долгого обучения. Но рабочие, которые изготовляют грубую пряжу и которым приходится конкурировать с сельфакторами, не пригодными для изготовления тонкой пряжи, и союз которых с введением этих машин был обессилен, получают очень низкую плату. Один из таких рабочих мне говорил, что он зарабатывает не более 14 шиллингов в неделю, и с этим совпадают показания Лича, что на различных фабриках, изготовляющих грубую пряжу, рабочие зарабатывают в

неделю меньше $16\frac{1}{2}$ шиллингов, и что прядильщик, зарабатывавший тремя годами раньше 30 шиллингов, теперь едва в состоянии выработать $12\frac{1}{2}$ шиллингов и в последние годы в среднем больше не выработывал. Заработная плата женщин и детей, правда, меньше упала, но это только потому, что она с самого начала не была высока. Я знаю множество женщин, вдов с детьми, с трудом выработывающих в неделю от 8 до 9 шиллингов, а что на эти деньги невозможно сносно жить с семейством, со мной согласится всякий, знающий цены на самые необходимые жизненные продукты в Англии. Но что с усовершенствованием машин заработная плата вообще понижается, *единогласно* утверждают все рабочие; что утверждение промышленной буржуазии, будто с введением машин положение рабочего класса улучшилось, считается рабочими вопиющей ложью, можно услышать во всяком рабочем собрании в фабричных округах. Но если бы даже было верно, что упала только относительная заработная плата, именно поштучная плата, а абсолютная, т. е. выработываемая рабочим в неделю сумма, осталась без изменения, то что же из этого следует? Из этого следует только то, что рабочим приходилось спокойно смотреть, как господа фабриканты набивают карманы, извлекая выгоды из всякого улучшения машин и не уступая им, рабочим, и ничтожной части. Когда буржуазия выступает против рабочих, она забывает даже самые элементарные принципы своей собственной политической экономии. Она, которая в других случаях клянется Мальтусом, кричит рабочим: где нашли бы работу, не будь машин, те миллионы жителей, на которые увеличилось население Англии?¹ Как будто буржуазия сама не знает прекрасно, что не будь этих машин и вызванного ими расцвета промышленности, эти «миллионы» вовсе на свет не родились бы и не выросли бы! Если машины и принесли какую-нибудь пользу рабочим, то только ту, что они доказали им необходимость такой социальной реформы, после которой машины работали бы не *во вред* рабочим, а *на пользу* им. Пусть мудрые господа буржуа спросят когда-нибудь у людей, подметающих в Манчестере или где-нибудь в другом городе улицы (теперь, конечно, и этого уже нет, так как и для этого придуманы и введены машины), или у продающих на улицах соль, спички, шнурки для ботинок, апельсины и т. д., или у вынужденных просить милостыню, пусть у них спросят, чем они были раньше, и многие из них ответят: мы были фабричными рабочими, и машины лишили нас заработка. При современных социальных условиях совершенство-

¹ Этот вопрос задает, например, господин Саймонс в «Arts and Artizans».

ванне машин только невыгодно для рабочих и часто наносит им величайший вред. Каждая новая машина приносит с собой безработицу, нужду и нищету, а в такой стране, как Англия, в которой и без того почти всегда имеется «излишнее население», потеря места является в большинстве случаев самым худшим, что может постигнуть рабочего. И не говоря уже об этом, какое расслабляющее, обескураживающее действие должна иметь эта неуверенность в завтрашнем дне, вытекающая из непрерывного развития техники и связанной с ней безработицы, на рабочего, и без того уже обескураженного. Чтобы не впасть в отчаяние, рабочему и здесь остается только одно из двух: либо внутреннее и внешнее возмущение против буржуазии, либо пьянство и вообще распутство. И английские рабочие прибегают и к тому, и к другому. История английского пролетариата рассказывает нам о сотнях возмущений против машин и против буржуазии вообще, а о распутстве рабочих мы уже говорили. Оно представляет, конечно, лишь особый вид отчаяния.

Всего хуже положение тех рабочих, которым приходится конкурировать с вновь введенной машиной. Цена изготовляемого ими товара определяется ценой того же товара, изготовленного машиной, а так как продукт машинного производства стоит дешевле продукта ручного производства, то конкурирующий с машиной рабочий получает самую низкую плату. То же можно сказать о каждом рабочем, работающем при старой машине, если ему приходится конкурировать с более новыми, лучшими машинами. Конечно, кому же другому нести убытки? Фабриканту не хочется бросить свою старую машину, но ему и убытка терпеть не хочется; не может же он возмещать свои убытки на мертвой машине, и вот за них должен платиться живой рабочий, всеобщий козел отпущения. Из этих рабочих, которым приходится конкурировать с машинами, всего хуже живется ручным ткачам, работающим в хлопчатобумажной промышленности. Эти рабочие получают самую низкую плату, и, когда работы у них вполне достаточно, они зарабатывают не более 10 шиллингов в неделю. Во-первых, одну отрасль ткацкого дела за другой отбивает у них механический ткацкий станок, а во-вторых, ручной ткацкий станок является последним убежищем всех рабочих, лишившихся работы в других отраслях труда, так что предложение рабочих рук здесь всегда огромное. Вот почему ручной ткач в средние периоды чувствует себя счастливым, если он зарабатывает в неделю 6 — 7 шиллингов, а чтобы заработать эту сумму, ему приходится сидеть за своим станком 14 — 18 часов в сутки. Для большинства тканей требуется сырая мастерская, чтобы нить не рвалась

каждую минуту, и вот отчасти из-за этого, отчасти вследствие бедности рабочих, которые за лучшую квартиру платить не в состоянии, в мастерских ручных ткачей большей частью нет ни досчатого, ни каменного пола. Мне приходилось посещать не мало квартир ручных ткачей; помещались они в самых заброшенных грязных дворах и улицах, обыкновенно в подвалах. Часто с полдюжины этих ткачей, из которых некоторые женаты, живет в одном коттедже, состоящем из одной или двух рабочих комнат и большой спальни для всех. Пищу их составляет почти исключительно картофель, иногда немного овсяной каши, редко молоко и почти никогда мясо; очень многие из них ирландцы или ирландского происхождения. И эти бедняки, которым раньше всех и дольше всех приходится страдать от последствий всякого кризиса, должны служить буржуазии орудием, когда ей приходится отражать нападки на фабричную систему! Смотрите, — восклицает с торжеством буржуазия, — смотрите, как плохо приходится этим бедным ткачам, между тем как фабричному рабочему живется хорошо, а затем судите о фабричной системе!¹ Как будто не сама фабричная система с ее машиной виной тому, что положение ручных ткачей так плохо, и как будто буржуазия сама этого не знает так же хорошо, как и мы! Но буржуазия здесь заинтересована, а ей ничего не стоит еще раз солгать или слицемерить.

Присмотримся ближе к тому факту, что развитие машинного производства все более и более вытесняет работу взрослых мужчин. Работа при машинах, как прядильных, так и ткацких, сводится главным образом к связыванию разорванных нитей, а все остальное делает машина; для этой работы требуется не столько сила, сколько большая гибкость пальцев. Вот почему взрослые мужчины для этого не только не нужны, но даже, вследствие более сильного развития мышц и костей их рук, менее пригодны, чем женщины и дети, и потому из этой отрасли труда они почти совершенно вытеснены. Таким образом, чем больше деятельность рук, сила мышц заменяются с введением машин силой воды или пара, тем менее фабрикант нуждается во взрослых мужчинах, а так как женщины и дети получают более низкую плату и, как уже сказано, более пригодны к этой работе, то они и занимают место взрослых мужчин. В прядильных приватерных машинах работают только женщины и девушки, при мюльмашинах — прядильщик, взрослый мужчина (который при сельфакторах становится излишним) и несколько подручных, большей частью

¹ См., например, д-р Юр в «Philosophy of Manufactures».

женщин и детей, порой молодых мужчин 18 — 20 лет, иногда старых, лишившихся работы прядильщиков, для связывания нитей.¹ За механическими ткацкими станками работают большей частью женщины от 15 до 20 лет и старше, иногда и мужчины, которые, однако, редко остаются при этом занятии после 21 года. У ровничных машин тоже работают только женщины; мужчины лишь оттачивают и чистят чесальные машины. Кроме того на всех фабриках находят работу еще несколько детей и несколько взрослых мужчин: первые заняты сниманием и насаживанием катушек (doffers), а вторые служат в качестве надсмотрщиков, механика, машиниста при паровой машине, столяров, привратника и т. д. Но сама работа при машинах производится женщинами и детьми. Фабриканты и это отрицают и в прошлом году обнародовали даже пространные таблицы, которые должны были доказать, что машины взрослых мужчин не вытесняют. Из таблиц этих видно, что из всех фабричных рабочих более половины (52%) составляют женщины и около 48% — мужчины и что из всех этих рабочих более половины старше 18 лет. Все это совершенно верно, но господа фабриканты осторожно не говорят нам, сколько взрослых рабочих было мужского и женского пола, а в этом все дело. Они и без того, очевидно, внесли в таблицы всех взрослых мужчин, находящихся в каком-нибудь соприкосновении с фабрикой: механиков, столяров и даже, может быть, конторщиков, и тем не менее у них нехватает смелости сказать всю правду. Таблицы эти вообще пестрят извращенными цифрами, неверными данными и средними числами, импонирующими несведущему человеку и ничего не доказывающими человеку опытному; они умалчивают о важнейших вопросах и доказывают только слепой эгоизм и недобросовестность авторов-фабрикантов. Заимствуем из речи, произнесенной лордом Эшли 15 марта 1844 г. в Нижней палате, некоторые сведения о возрасте и поле рабочих, — сведения, не опровергнутые данными фабрикантов, которые, к тому же, касаются только части английской фабричной промышленности. Из 419 560 фабричных рабочих Великобритании (1839)—192 887 человек, т. е. почти половина, были моложе 18 лет и 242 296 человек было женского

¹ «В некоторых отраслях хлопчатобумажной промышленности в Ланкашире положение вещей в отношении заработной платы стало очень запутанным: сотни молодых мужчин от 20 до 30 лет работают в качестве подручных, выработывая не более 8 — 9 шиллингов в неделю, между тем как на той же фабрике дети 13 лет зарабатывают 5 шиллингов, а молодые девушки от 16 до 20 лет — 10 — 12 шиллингов в неделю». Отчет фабричного инспектора Л. Горнера октябрь 1844 г.

пола и из них 112 192 были моложе 18 лет. Таким образом, оказывается, что 80 695 мужчин рабочих было моложе 18 лет, а взрослых мужчин рабочих было 96 569, или 23%, т. е. *меньше одной четверти* всех рабочих. На хлопчатобумажных фабриках женщины составляли 56 $\frac{1}{4}$ %, на фабриках шерстяных изделий — 69 $\frac{1}{2}$ %, на шелковых фабриках — 70 $\frac{1}{2}$ %, на льнопрядильных — 72 $\frac{1}{2}$ %. Этих цифр, думается, достаточно, чтобы доказать вытеснение взрослых мужчин рабочих. Стоит, впрочем, зайти на первую попавшуюся фабрику, чтобы убедиться в этом. Отсюда тот переворот в существующем социальном строе, который благодаря своей вынужденности имеет самые губительные последствия для рабочих. Прежде всего работа женщин совершенно разрушает семью. Действительно, если жена проводит на фабрике 12 — 13 часов в день, а муж работает тут же или в другом месте, то что же может выйти из детей? Растут они, как сорная трава, или их отдают под надзор чужим за один или полтора шиллинга в неделю, а как с ними там обращаются, не трудно себе представить. Вот почему в фабричных округах так ужасающе часты несчастные случаи с малыми детьми вследствие недостатка надзора. Согласно записям коронера в Манчестере (согласно отчету «Fact. Inq. Comm.», Rept. of D-r Hawkins, p. 3) за девять месяцев там умерло 69 человек от ожогов, 56 утонуло, 23 умерло от падения и 77 человек от других несчастных случаев, т. е. всего было 225 несчастных случаев,¹ между тем как в нефабричном Ливерпуле в течение двенадцати месяцев было только 146 несчастных случаев со смертельным исходом. Несчастные случаи в угольных копях не приняты при этом во внимание в обоих городах и нужно иметь в виду, что коронер Манчестера не простирает своей власти на Сэльфорд, так что население обоих округов следует считать приблизительно равным. Газета «Manchester Guardian», почти в каждом номере рассказывает об одном или нескольких случаях смерти от ожогов. Что работа матерей является также одной из причин большой смертности малолетних детей, понятно само собой и с полной несомненностью доказывается фактами. Женщины возвращаются на фабрику часто уже через 3 — 4 дня после родов, оставив, конечно, ребенка дома. В свободные часы им приходится бегом пускаться домой, чтобы накормить ребенка и самим кое-что перехватить, но ясно, какое это может быть кормление. Лорд Эшли приводит показания нескольких работниц: М. Г., двадцати лет, имеет двоих детей,

¹ В 1843 году было в числе несчастных случаев, зарегистрированных в больнице в Манчестере, 189 случаев ожогов. Сколько из них закончилось смертью, неизвестно.

из которых один грудной ребенок и находится на попечении старшего; она уходит на фабрику после пяти часов утра и возвращается оттуда в восемь часов вечера; в течение дня молоко вытекает из груди, просачиваясь через платье. — Г. В. имеет троих детей, уходит из дому в пять часов утра в понедельник и возвращается лишь в субботу в семь часов вечера, и по возвращении ей так много приходится работать для детей, что раньше трех часов утра она спать не ложится. Приходя часто под проливным дождем, она вынуждена работать в промокшем платье. «Грудь у меня страшно болела, — говорила она, — и я бывала вся мокрая от выделявшегося молока». Применение наркотических средств, для того чтобы дети были спокойны, только поощряется этой подлой системой, и в самом деле оно распространено в фабричных округах в самых широких размерах. По мнению д-ра Джонса, главного регистратора манчестерского округа, этот обычай является главной причиной частых смертных случаев от судорог. Работа женщин на фабрике неизбежно разрушает семью, и при современном состоянии общества, основой которого служит семья, обстоятельство это имеет самые деморализующие последствия как для супругов, так и для детей. Мать, у которой нет времени заботиться о своем ребенке, дарить ему в первые годы жизни самую обыкновенную материнскую ласку, — мать, которой редко удается видеть своего ребенка, не может быть ему матерью, не может не относиться к нему равнодушно, без любви, без всякой заботливости, как к совершенно чужому ребенку. И дети, выросшие в таких условиях, совершенно потеряны для семьи, не могут чувствовать себя как дома в семье, которую они сами после заводят, потому что они слишком привыкли к жизни в одиночку, и этим еще более содействуют разрушению семьи в рабочей среде. Другой причиной разрушения семьи является работа детей на фабриках. Как только они начинают зарабатывать больше того, что стоит их содержание родителям, они начинают платить родителям за стол и квартиру, а остальное тратят на себя. Происходит это нередко уже на четырнадцатом и пятнадцатом году (Power, Rept. on Leeds, passim; Tufnell, Rept. on Manchester, p. 17, etc. фабричного отчета). Одним словом, дети становятся самостоятельными, смотрят на родительский дом как на постоянный двор, который они часто меняют на другой, если он им перестает нравиться.

Во многих случаях работа женщины на фабрике не разрушает семьи, а ставит ее вверх ногами. Жена работает на всю семью, а муж сидит дома, смотрит за детьми, убирает, стряпает и т. д. Таких случаев очень и очень много; в одном Манчестере можно насчитать

не мало сотен таких мужей, осужденных исполнять домашние работы. Не трудно себе представить, какое справедливое возмущение вызывает эта настоящая кастрация у рабочих и к какому радикальному изменению всех семейных отношений она приводит в то время, когда все остальные общественные отношения остаются без перемен. Предо мной лежит письмо одного английского рабочего, Роберта Паундера, он живет Wagons' Buildings, Woodhouse Moor-Side, в Лидсе (буржуазия может отыскать его, я ради нее и указываю точный адрес его); это письмо адресованно Остлеру. Наивность этого письма вряд ли удастся передать в переводе и наполовину, орфография же и иоркширский диалект исчезнут совершенно. В этом письме автор рассказывает, как другой рабочий, его знакомый, в поисках за работой попал в Сент-Хеленс в Ланкашире и там отыскал одного своего старого друга. «И вот, сударь, он нашел его, и когда он подошел к его бараку, как вы думаете, что это было? 'Сырой нивенький подвал, а мебель в нем следующая: два старых стула, круглый стол на трех ножках, один сундук, никакой постели, а только охалка старой соломы в углу, покрытая парой грязных простынь, и два полена дров у камина. Когда мой бедный друг вошел туда, бедняк Джек сидел на поленьях у огня и что бы вы думали он делал? Он штопал чулки своей жены толстой иглой. Увидя моего друга на пороге, он хотел было спрятать свою работу, но Джо — так зовут моего друга — увидел все и сказал: «Чорт возьми, Джек, что ты делаешь? где твоя жена? что у тебя за работа?» Бедный Джек был смущен и сказал: «Я знаю, что это не моя работа, но моя бедная жена на фабрике; она отправляется туда в половине шестого утра, работает там до восьми часов вечера и так утомляется, что, возвратившись домой, ничего более делать не может. Поэтому мне приходится за нее делать, что я могу. У меня нет работы, нет ее уже более трех лет, и во всю жизнь я ее не найду». Горько заплакав, он сказал: «Да, любезный Джо, есть достаточно работы для женщин и детей в этой местности, но нет работы для мужчин. Легче сто фунтов стерлингов найти на улице, чем найти работу. Но я никогда не поверил бы, чтобы ты или кто другой мог увидеть, как я моей жене чулки штопаю, потому что это нехорошая работа. Но жена моя почти не может уже стоять на ногах, и я боюсь, что она заболела, и я тогда не знаю, что с нами станется, потому что она уже давно стала мужем, а я женой. Нехорошая это работа, Джо. Не всегда это так было», — продолжал он с горьким плачем. — «Но скажи мне, Джек, — спросил Джо, — как же ты жил все это время, не имея никакой работы?» «Я скажу тебе, Джо, — ответил Джек: — я жил, как жилось, а жи-

лось очень плохо. Когда я женился, я, как ты знаешь, имел достаточно работы, и лентяем, как ты знаешь, я никогда не был». — «Нет, лентяем ты никогда не был». — «У нас была хорошая меблированная квартира, и Мэри работать не приходилось, я зарабатывал достаточно для двоих. Но теперь все перевернулось в мире: Мэри должна работать, а я должен оставаться дома, смотреть за детьми, мести пол, стирать, печь хлеб и починять платье. Когда моя бедная жена возвращается вечером домой, она вся разбита и ничего более делать не может. Знаешь, Джо, это очень трудно для человека, который привык к другому». — «Да, — ответил Джо, — это трудно». И Джек опять стал плакать; он говорил, что было бы лучше, если бы он никогда не женился, никогда на свет не родился; но когда он женился на Мэри, ему и в голову не приходило, что такое с ним случиться может. «Я не раз ревел по поводу этого», — сказал Джек. Ну, сударь, когда Джо все это услышал, — рассказывал он мне потом, — он проклинал фабрики, фабрикантов и правительство всеми проклятиями, которым научился на фабрике с детства».

Можно ли себе представить более нелепое, более бессмысленное положение, чем описанное в настоящем письме? И это состояние, отнимающее у мужчины его мужественность, а у женщины ее женственность и в то же время не развивающее у мужчины действительной женственности, а у женщины действительной мужественности, это состояние, самым поворным образом унижающее как тот, так и другой пол и в обоих — человеческое достоинство, — оно есть конечно следствие нашей хваленой цивилизации, последний результат всех тех напряжений, которые были сделаны сотнями поколений для улучшения своего собственного положения и положения своих потомков! При виде того, к какому издевательству привели все человеческие страдания и усилия, нам остается только или отчаяться в самом человечестве и его судьбе или признать, что человечество шло к своему счастью ложными путями. Мы должны признать, что такой переворот в отношениях полов мог произойти только потому, что отношения между ними были с самого начала поставлены на ложную почву. Если недостойно человека господство жены над мужем, являющееся необходимым следствием фабричной системы, то должно быть недостойно и первоначальное господство мужа над женой. Если господство женщины теперь, как некогда господство мужчины, основано на том, что она больше всего или даже все вносит в общую сокровищницу семьи, то отсюда с необходимостью следует, что эта общность имущества не истинна, не разумна, ибо один член семьи кичится тем, что он внес больше.

Если семья современного общества разрушается, то это доказывает, что связующей нитью ее была не семейная любовь, а частный интерес, сохранившийся, несмотря на кажущуюся общность имущества.¹ Такие же отношения существуют между родителями и детьми, поддерживающими безработных родителей, если они им не уплачивают, как упомянуто уже выше, за содержание. Д-р Гокинс свидетельствует в своем фабричном отчете, что такие отношения встречаются очень часто, и в Манчестере это обычное явление. Как в иных случаях жена, так тут дети — хозяйка в доме. Лорд Эшли приводит пример такого положения вещей в своей речи в заседании Нижней палаты 15 марта 1844 года. Один человек выругал своих двух дочерей за то, что они были в трактире, на что те заявили, что им надоело терпеть над собой команду. «Чорт вас возьми, нам приходится вас содержать»; надо же что-нибудь иметь за свою работу. Они выбрались из родительского дома, оставив отца и мать на произвол судьбы.

Незамужним женщинам, вырастающим на фабриках, не лучше, чем замужним. Само собой понятно, что девушка, с девяти лет работающая на фабрике, не может быть знакома с домашними работами, вследствие чего все фабричные работницы совершенно не в состоянии вести домашнее хозяйство. Они не умеют ни шить, ни вязать, ни готовить обед, ни стирать, незнакомы с самыми обычными домашними работами, а как обходиться с малыми детьми — понятия не имеют. Отчет «Fact. Inq. Comm.» доказывает это на множестве примеров, а д-р Гокинс, комиссар для Ланкашира, говорит об этом следующее (на странице 4 отчета): «Девушки выходят замуж рано и без зрелого размышления: у них нет ни средств, ни времени, ни возможности для изучения самых обычных обязанностей хозяйки, да и помимо всего прочего у них нет времени для выполнения этих обязанностей. Мать оторвана от своего ребенка ежедневно в течение двенадцати часов; ребенок находится под надзором девочки или старухи, нанятой за особую плату; к тому же квартирой фабричных рабочих бывает часто не уютный дом (home), а подвал, в котором не найдешь ни кухонной посуды, ни необходимых вещей для стирки, питья и починки, — ничего того, что могло бы

¹ Как много замужних женщин работает на фабриках, видно из показаний, данных самими фабрикантами: на 412 фабриках в Ланкашире работает 10 721 замужняя женщина; из их мужей только 5 314 человек тоже работали на фабриках, 3 927 имели посторонние занятия, 821 сидели без работы, а относительно 659 человек сведений не было. Таким образом, на каждую фабрику приходилось двое, если даже не трое мужчин, живущих трудом своей жены.

сделать жизнь приятной и родной очаг привлекательным. По этим и по другим причинам и в особенности ради уменьшения высокой смертности детей я могу лишь пожелать, чтобы наступило время, когда замужним женщинам работа на фабриках будет запрещена». — (Отдельные примеры и показания см. «Fact. Inq. Comm. Report.», Cowell, Evid. p. 37, 38, 39, 72, 77, 50. Tufnell, Evid. p. 9, 15, 35, 54 etc.)

Но все это еще сравнительно не так важно. Еще хуже моральные последствия работы женщин на фабриках. Совместное пребывание людей обоих полов и всякого возраста в одной мастерской, неизбежное сближение между ними, скопление людей, не получивших никакого интеллектуального и нравственного воспитания в одном тесном пространстве — все это не может иметь благоприятное влияние на развитие женского характера. Фабрикант, если даже он и следит за этим, может вмешаться только тогда, когда действительно происходит что-нибудь скандальное; о постоянном, но менее заметном влиянии более безнравственных людей на менее испорченных и в особенности на молодых он знать не может и предупредить, следовательно, тоже не может. Но именно это влияние и есть самое вредное. Разговоры, которые ведутся на фабрике, многими были названы перед фабричной комиссией 1833 г. «неприличными», «скверными», «грязными», и т. д. (Cowell, Evid., p. 35, 37 и во многих других местах). Здесь в малом масштабе происходит то, что в крупном масштабе мы видим в больших городах. Скопление населения имеет те же последствия для тех же людей, безразлично, происходит ли оно в большом городе или на маленькой фабрике. Если фабрика меньше, то сближение сильнее и неизбежнее. Последствия не заставляют себя долго ждать. Один свидетель в Лейстере говорил, что он охотнее послал бы свою дочь побираться, чем на фабрику, что фабрики — настоящие трущобы и что большинство проституток города обязаны им своей судьбой (Power, Evid., p. 8). Другой свидетель из Манчестера «не колеблясь утверждает, что три четверти молодых фабричных работниц в возрасте от 14 до 20 лет не девственницы» (Cowell, Evid., p. 57). Комиссар Кауелль утверждает вообще, что нравственность фабричных ниже среднего уровня нравственности всего рабочего класса (стр. 82), а д-р Гокинс говорит следующее (Rept. p. 4): «Оценку нравственной стороны половых отношений выразить в числах не легко, но если верить моим собственным наблюдениям, мнению всех тех, с которыми мне приходилось говорить об этом, а также общему впечатлению от всех полученных мною показаний, получается чрезвычайно печальная картина влияния фабричной жизни на нравственность женской молодежи». Само собой понятно, что служба на

фабрике, более чем какая-либо другая, дает хозяину *jus primaе noctis* (право первой ночи). И в этом отношении фабрикант властен над телом и прелестями своих работниц. Увольнение есть достаточная угроза для того, чтобы в девяти случаях из десяти, если не во всех девяносто девяти из ста, победить всякое сопротивление девушки, которая и без того не очень-то дорожит своим целомудрием. Если фабрикант достаточно для этого низок, — а отчет комиссии рассказывает нам о многих таких фабрикантах, — то его фабрика в то же время — его гарем; если не все фабриканты пользуются этим правом, то положение девушек по существу от этого не меняется. В начале развития фабричной промышленности, когда большинство фабрикантов были выскочками, не достаточно еще образованными для того, чтобы лицемерно вопить о нравственности, они преспокойно пользовались своим «благоприобретенным» правом.

Чтобы правильно оценить влияние фабричной работы на физическое состояние женщин, необходимо сначала рассмотреть работу детей, а также постановку всей вообще работы. Дети стали работать на фабриках с самого начала развития новой промышленности: сначала они работали там почти исключительно — вследствие небольших (впоследствии увеличенных) размеров машин. Поставляли этих детей главным образом дома для бедных, откуда они толпами нанимались фабрикантом на много лет в качестве «учеников». Фабрикант давал им всем стол и квартиру, одевал их, и они, разумеется, были полнейшими рабами хозяина, который обращался с ними с величайшим бессердечием и варварством. Уже в 1796 г. общественное мнение в лице д-ра Персиваля и сэра Р. Пиля, хлопчатобумажного фабриканта, отца теперешнего министра, высказалось в столь энергичных выражениях об этой возмутительной системе, что парламент в 1802 г. принял закон об учениках (*Apprentice-bill*), прекративший самые вопиющие злоупотребления. С течением времени наступила конкуренция свободных рабочих, которая и вытеснила всю систему ученичества. Постепенно фабрики стали все чаще и чаще строиться в городах, машины стали больших размеров, и мастерские начали устраиваться с большим соблюдением гигиенических требований; постепенно все более и более находилась работа для взрослых и молодых людей, относительное число занятых на фабриках детей несколько уменьшилось, и возраст, когда они начинали работать, повысился. Детей моложе 8—9 лет уже реже брали на работу. Как мы увидим ниже, законодательной власти впоследствии не раз приходилось брать на себя защиту детей от алчной буржуазии.

Высокая смертность среди детей рабочих, и особенно фабричных рабочих, есть достаточное доказательство тех антигигиенических условий, в которых они проводят свои ранние годы. Причины этой смертности влияют и на тех детей, которые остаются в живых, хотя, конечно, не с такой силой, с какой они действуют на тех, кого они доводят до гибели. В лучшем случае их результатом является предрасположение к какой-нибудь болезни или задержанное развитие, а потому физически такие дети слабее нормальных: девятилетний ребенок фабричного рабочего, выросший в нужде, всевозможных лишениях, в сырости, холоде, всегда плохо одетый и живший всегда в плохой квартире, обладает далеко не той работоспособностью, какой обладает ребенок, выросший в вполне здоровых условиях. Девяти лет его отправляют на фабрику, где он работает ежедневно 6½ часов (раньше 8, а еще раньше 12 — 14 и даже 16 часов) до тринадцатилетнего возраста, а с этого времени до восемнадцати лет — 12 часов. Причины, действующие неблагоприятно на его организм, не прекращаются, а работы прибавляется. Нельзя, конечно, отрицать, что девятилетний ребенок, и в особенности ребенок рабочего, может выдержать ежедневную работу в 6½ часов без того, чтобы вред от такой работы для его организма был заметным и ощутительным; но во всяком случае ясно, что пребывание в душной, часто сырой и жаркой фабричной атмосфере благоприятно влиять на здоровье не может. Как бы там ни было, непростительно то, что время детей, которое должно быть посвящено исключительно физическому и духовному воспитанию, приносится в жертву жадности бесчувственной буржуазии: детей лишают школы и чистого воздуха, чтобы извлекать из них прибыль для господ фабрикантов. Правда, буржуазия на это отвечает: дети рабочих останутся в условиях, не благоприятных для их развития и в том случае, если они на фабриках работать не будут. В общем это верно, но что же это значит, если вдуматься в сущность этих слов? Это значит только то, что буржуазия сначала ставит детей рабочих в дурные условия и затем эксплуатирует это положение в свою пользу. Другими словами, буржуазия здесь ссылается в свое оправдание на то, что в такой же мере есть ее вина, как и вся фабричная система, т. е. сегодняшнее преступление она оправдывает преступлением, совершенным вчера. И если бы фабричные законы, по крайней мере, до некоторой степени не связывали им рук, как бы эти «благожелательные», «гуманные» буржуа, которые и фабрики-то свои построили исключительно ради блага рабочих, защищали интересы этих рабочих! Послушаем, что у них делалось, когда фабричный инспектор

не стоял еще у них над душой. Уличим их свидетельством, авторитет которого они сами признают, — ответом фабричной комиссии 1833 г.

В отчете центральной комиссии рассказывается, что на фабриках дети начинают работать редко с пятилетнего возраста, чаще с шестилетнего, очень часто с семилетнего, большей частью с восьми-девятилетнего возраста, что рабочее время продолжается часто 14 — 16 часов (не считая времени на еду), что фабриканты позволяют надзирателям бить детей и часто сами дают волю рукам. Приводится даже один случай, когда фабрикант-шотландец поскакал верхом за обежавшим шестнадцатилетним рабочим и, догнав его, заставил вернуться и бежать все время впереди лошади, подгоняя его длинным бичом (Stuart, Evid. p. 35). В больших городах, где рабочие оказывают большое противодействие, такие случаи встречаются, конечно, реже. — Но даже и этим длинным рабочим днем алчность капиталистов не удовлетворялась. Было необходимо всеми возможными средствами сделать капитал, вложенный в здание и машины, более доходным, заставить его как можно больше работать, и фабриканты ввели поворную систему ночного труда. Некоторые завели две смены рабочих, чтобы фабрика могла быть в полном ходу целые сутки, причем одна смена работала двенадцать дневных часов, другая двенадцать ночных. Не трудно себе представить, какие последствия должно было иметь такое постоянное лишение ночного отдыха, которого никакой дневной заменить не может, для физического состояния не только малолетних, но даже и взрослых рабочих. Возбуждение всей нервной системы, связанное с общим ослаблением всего организма, — вот неизбежный результат такого труда. Другим последствием его является усиленное пьянство и большая распущенность в половых отношениях. Один фабрикант свидетельствует (Tuftnell, Evid. p. 91), что в течение двух лет, когда на его фабрике работали ночью, число незаконнорожденных удвоилось, и деморализация достигла такой степени, что ему пришлось прекратить ночную работу. Другие фабриканты поступали еще более варварским образом: они заставляли многих рабочих работать по 30 — 40 часов кряду, и это *по несколько раз в неделю*, ибо полной второй смены у них не было: она служила лишь для того, чтобы заменять по временам часть рабочих и давать им возможность соснуть час-другой. Отчеты комиссии о таком варварстве и его последствиях превосходят все, что мне когда-либо приходилось слышать о порядках такого рода. Таких гадостей, о которых рассказывается здесь, нет нигде, а между тем буржуазия, как мы ниже увидим, постоянно ссылается на свидетельство комиссии, толкая его в *свою пользу*. Последствия

такой системы обнаружались довольно скоро: комиссары рассказывают о множестве встреченных ими калек, обязанных этим исключительно слишком длинному рабочему дню. Калеки эти страдают обыкновенно искривлением позвоночника и ног. Фрэнсис Шарп (член королевской хирургической коллегии) в Лидсе описывает их следующим образом: «До своего приезда в Лидсе мне никогда не приходилось видеть такого своеобразного искривления нижних концов бедренной кости. Сначала я думал, что это рахит, но в виду того, что страдающих этой болезнью было так много и что больные были в возрасте 8—14 лет, т. е. в возрасте, в котором дети обыкновенно уже не подвержены рахиту, и что искривление начиналось после того, как дети поступали на фабрику, мне пришлось отказать от своего мнения. До настоящего времени я видел приблизительно сто таких случаев и решительно утверждаю, что они вызваны чрезмерным трудом; насколько я знаю, все больные были детьми, работающими на фабрике, и сами они приписывают свою болезнь чрезмерному труду». — «Число встретившихся мне случаев искривления позвоночника — очевидного следствия слишком продолжительного стояния на ногах — составляло не менее трехсот». (Dr Loudon, Evid. p. 12—13). Д-р Кей, прослуживший восемнадцать лет в больнице в Лидсе, пишет: «Ненормальный позвоночник очень часто наблюдается у фабричных рабочих; в одних случаях это следствие чрезмерного труда, в других — следствие влияния продолжительной работы на слабый от рождения или ослабленный вследствие дурного питания организм. Уродства всякого рода здесь, новидимому, чаще встречаются, чем эти болезни: колени вогнуты внутрь, связки суставов часто бывают ослаблены и дряблы и длинные кости ног искривлены; особенно искривлены и чрезмерно развиты головки этих костей; пациенты эти работали на фабриках, на которых был очень длинный рабочий день» (Dr Loudon, Evid. p. 16). О том же свидетельствуют хирурги Бомонт и Шарп из Брайфорда. В отчетах комиссаров Дринкуотера, Пауера и д-ра Лаудона описывается множество таких искривлений; приводят в своих отчетах некоторые примеры их также Тэфнелль и д-р сэр Давид Барри, обратившие меньше внимания на это явление (в отчете Дринкуотера, Evid. p. 69 два брата, p. 72, 80, 146, 148, 150 два брата, p. 155 и много других; в отчете у Пауера, Evid. p. 63, 66, 67 дважды, на стр. 68 трижды и на стр. 69 дважды; в отчете о Лидсе такие случаи описаны на стр. 29, 31, 40, 43, 53 и след.; в отчете д-ра Лаудона, Evid. p. 47 четыре раза, и на стр. 8 много раз и т. д.; у сэра Давида Барри стр. 6, 8, 13, 21, 22, 44, 55 трижды; у Тэфнелля на стр. 5, 16 и др.)-

Комиссары в Ланкашире, Кауелль, Тефнелль и Гокинс совсем не обратили внимания на эти последствия английской фабричной системы, хотя в Ланкашире не меньше калек, чем в Йоркшире. Мне редко приходилось пройти по Манчестеру, не встретив 3 - 4 калек, страдавших описанными выше искривлениями позвоночника и ног, и я не раз замечал именно этого рода искривления и мог их наблюдать. Я сам знаю одного калеку, вполне соответствующего описанию, данному д-ром Кей; нажил он эту болезнь на фабрике г-на Дугласа в Пендльтоне, которая еще теперь пользуется самой лестной репутацией среди рабочих за чрезмерную работу, в былые времена продолжавшуюся целые ночи напролет. Как только помотришь на такого калеку, можно сразу узнать, почему он сделался таким: колени у всех вогнуты внутрь и немного навад, ноги искривлены внутрь, сочленения неправильны и утолщены, позвоночник часто искривлен вперед или в сторону. Наиболее варварские условия были, новидимому, у человеколюбивых фабрикантов шелковых изделий Мекклсфильдского округа; это связано с тем, что на этих фабриках работали очень маленькие дети — от пяти до шести лет. В дополнительном отчете комиссара Тефнелля приведены показания фабричного надсмотрщика Райта (на стр. 26), две сестры которого были страшно изуродованы работой. Он же однажды вздумал сосчитать число калек в некоторых улицах Мекклсфильда, среди которых были самые чистые и красивые улицы; на Таунлей-стрит он насчитал 10 калек, на Джордж-стрит — 5, на Шарлотт-стрит — 4, на Уотеркотс — 15, на Банк-топ — 3, на Лорд-стрит — 7, на Миль-Лэн — 12, на Грейт-Джордж-стрите — 2, в доме для бедных — 2; на Парк-Грин — 1 и на Пикфорд-стрит — 2. Семьи этих калек единогласно утверждали, что уродства эти являются следствием чрезмерного труда на шелкопрядильных фабриках. На стр. 27 описан мальчик, настолько искалеченный, что он не мог подняться по лестнице; упомянуто там же несколько девочек с искривленным позвоночником и тазом.

Чрезмерный труд вызывает и другие уродливости, и особенно часто плоскую стопу, которую часто встречали сэр Д. Барри (например, на стр. 21 он упоминает о двух случаях) и врачи и хирурги Лидса (Loudon, p. 13, 16 etc.). Молодые люди с более крепким организмом, получавшие хорошее питание и вообще жившие в условиях, которые давали им возможность преодолеть эти результаты варварской эксплуатации, все-таки страдали болями в поясице, спине, ногах, опухолью в суставах, расширением кровеносных сосудов, или большими язвами на бедрах и икрах, с трудом поддающимися

лечению. Все эти страдания представляют почти общее явление для всех рабочих. В отчетах Стюарта, Макинтоша и Д. Барри приведены сотни примеров таких болезней. По их мнению, нет почти ни одного рабочего, который не страдал бы хотя одной из этих болезней. Свидетельствуют об этих последствиях чрезмерного труда многие врачи и в других отчетах. Бесчисленное множество примеров, приведенных в отчетах о Шотландии, доказывает с полной несомненностью, что тринадцатичасовая работа вызывает даже у 18—22-летних рабочих мужского и женского пола по меньшей мере *эти* последствия, и это относится как к льнопрядильням Дэнди Денферлина, так и к хлопчатобумажным фабрикам Глазго и Ланарка.

Все эти болезни легко объясняются самой природой фабричного труда, который действительно очень «легок», как говорят фабриканты, но именно вследствие этой легкости действует на организм более ослабляющим образом, чем всякий другой. Труд рабочих не велик, но они должны все время *стоять на ногах*, не имея возможности присесть. Если кто-нибудь садится на подоконник или на корзину, он подвергается штрафу. Это постоянное пребывание на ногах, постоянное механическое давление верхней части тела на позвоночник, так и ноги не может не вызвать описанных выше последствий. Для самой работы это постоянное пребывание на ногах не необходимо, как показывает пример Ноттингема, где, по крайней мере в двойных отделениях фабрик, устроены сидения (в результате — исчезновение болезней, а потому и согласие работниц на удлинение рабочего дня). Но на фабрике, где рабочий работает только для фабриканта и не заинтересован в том, чтобы работа была сделана хорошо, он, вероятно, чаще пользовался бы возможностью посидеть, чем это было бы приятно и выгодно фабриканту, и вот для того, чтобы у буржуа портилось возможно меньше сырого материала, рабочие должны жертвовать своим здоровьем.¹ Это продолжительное пребывание на ногах, в связи с большей частью дурной атмосферой фабрики, вызывает, кроме того, сильное ослабление всего организма, сопровождающееся всевозможными другими уже не столько местными, сколько общими страданиями. Воздух на фабриках обыкновенно сырой и теплый, большей частью теплее, чем это необходимо; при неважной вентиляции, он нечист, душен, содержит недостаточно кислорода, полон пыли и пропитан вонью машинного масла, почти повсюду разлитого по полу, впитавшегося

¹ Были устроены сидения также в прядильной мастерской одной фабрики в Лидсе (Drinkwater, Evid. p. 80).

в него и испорченного. Рабочие, уже вследствие духоты помещений, одеты легко и потому должны простужаться, при переменах температуры в помещении; поэтому они боятся сквозного ветра. Постепенное ослабление всех функций организма уменьшает животную теплоту и она должна поддерживаться извне; поэтому самому рабочему всего приятней оставаться в теплой фабричной атмосфере при совершенно закрытых окнах. Сюда присоединяются еще влияние частых и быстрых перемен температуры при выходе из жаркой фабричной атмосферы на холодный или сырой воздух улицы, невозможность для рабочих достаточно предохранить себя от дождя и переменить мокрое платье на сухое — обстоятельства, постоянно вызывающие простуду. — Если еще принять во внимание, что при всем этом почти ни одна мышца рабочего не напрягается, как следует, кроме разве мышц ног, что этому расслабляющему действию упомянутых выше причин ничто не противодействует, так как рабочий никогда и нигде не имеет возможности развить силу мускулов, упругость и крепость мышечных волокон, что с малолетства рабочий лишен возможности проводить время на свежем воздухе, то никто не будет удивляться почти единогласному утверждению докторов в фабричном отчете, что у фабричных рабочих они нашли особенно слабую способность организмов противостоять болезням, общее понижение жизнедеятельности и постепенное ослабление всех духовных и физических сил. Послушаем сначала сэра Д. Барри: «Неблагоприятное влияние фабричного труда на рабочих состоит в следующем: 1) в безусловной необходимости принаравливать свою физическую и духовную деятельность к движению машины, приводимой в действие равномерно действующей и постоянной силой; 2) в необходимости оставаться в стоячем положении в течение неестественно долгих и быстро следующих друг за другом промежутков времени; 3) в лишении сна (вследствие продолжительности рабочего времени, болей в ногах и общего недомогания всего организма). Часто сюда присоединяются еще низкие, тесные, пыльные или сырые мастерские, плохой воздух, слишком нагретая атмосфера и постоянное потение. Поэтому особенно мальчики, за очень немногими исключениями, очень быстро теряют свежий детский румянец и становятся бледнее и худее, чем другие мальчики. Даже ученик ручного ткача, стоящий босиком на глиняном полу в мастерской, сохраняет лучший вид, потому что кое-когда ему все же удается попадать на свежий воздух. Но у ребенка, работающего на фабрике, едва хватает времени, чтобы поесть, и он бывает на свежем воздухе только тогда, когда ходит обедать. Все взрослые прядильщики

мужчины бледны и худы, страдают несварением желудка и капризным аппетитом. Все они с малолетства работают на фабрике и среди них мало или совсем нет высоких, хорошо сложенных мужчин, откуда не без основания можно сделать тот вывод, что занятие их очень неблагоприятно влияет на развитие мужского организма. Женщины гораздо легче переносят этот труд (что вполне естественно, но они, как мы увидим ниже, подвержены своим специальным болезням). (General Report by Sir D. Barry.) Другой комиссар, Пауер, говорит следующее: «Я могу прямо сказать, что фабричная система в Брэдфорде создала множество калек... и что влияние продолжительности труда на организм выражается не только в разных уродствах, но еще гораздо чаще — в задержке роста, дряблости мускулов и слабости телосложения» (Power, Rept., p. 74). Цитированный уже выше хирург¹ Ф. Шарп в Лидсе говорит следующее: «Когда я переехал из города Скарборо в Лидс, мне тотчас же бросилось в глаза, что дети выглядят здесь гораздо бледнее, и мускулатура у них гораздо менее развита, чем у детей города Скарборо и его окрестностей. Я нашел также, что многие слишком малы для своего возраста. — Я видел множество случаев золотухи, легочных заболеваний, страданий брыжейки и несварения желудка, которые у меня, как у врача, не оставляли ни малейших сомнений в том, что они вызваны работой на фабрике. Я думаю, что продолжительный труд ослабляет нервную энергию организма, подготавливая почву для многих болезней. Не будь постоянного притока свежих сил из деревни, порода фабричных рабочих скоро совсем выродилась бы». Брэдфордский хирург Бомонт говорит следующее: «На мой взгляд система труда, практикуемая на здешних фабриках, вызывает специфическое ослабление всего организма, делает детей в высшей степени восприимчивыми к эпидемиям, как и к случайным болезням. — Я полагаю, что отсутствие всяких необходимых предписаний о вентиляции и соблюдении чистоты на фабриках безусловно является главной причиной той специфической восприимчивости к болезням, которую я столь часто встречал в моей практике». Д-р Кей удостоверяет: 1) что он имел случай наблюдать влияние фабричной системы на здоровье детей при самых благоприятных обстоятельствах (на фабрике Вуда в Брэдфорде, лучшей фабрики этого города, на которой он был фабричным врачом); 2) что это влияние даже при столь

¹ Так называемые хирурги (surgeons) такие же ученые медики, как и дипломированные врачи (physicians), и потому занимаются не только хирургической, но и общеврачебной практикой. По многим причинам их даже предпочитают этим врачам (physicians).

благоприятных условиях было безусловно и чрезвычайно вредно; 3) что в 1842 г. он оказал медицинскую помощь 60% всех занятых на фабрике Вуда детей; 4) что самым вредным последствием этой системы является не преобладание калек, а преобладание слабых и болезненных организмов; 5) что все это значительно улучшилось с тех пор, как продолжительность рабочего дня детей сократилась на фабрике Вуда до десяти часов. Сам комиссар д-р Лаудон, приводящий все эти показания, говорит следующее: «С достаточной ясностью, я думаю, доказано то, что детям приходилось работать безрассудно и немилосердно долго, а взрослые должны были выполнять такое количество работы, которое едва ли по силам человеку. Вследствие этого многие умерли преждевременно, другие на всю жизнь приобрели уродливое и слабое телосложение, и опасения, что от оставшихся в живых получится слабое потомство, с физиологической точки зрения более чем основательны». Наконец д-р Гокинс говорит относительно Манчестера следующее: «Я думаю, что большинству путешественников бросается в глаза малый рост, хилость и бледность, которые так часто встречаются в Манчестере и прежде всего среди фабричных рабочих. Ни в одном городе Великобритании или континента я не видел такого очевидного отклонения в сложении и цвете лица от нормального национального типа. Замужние женщины удивительно теряют все характерные особенности английской женщины и т. д. Я должен признать, что все мальчики и девочки, приведенные ко мне из фабрик Манчестера, имели подавленный вид и бледный цвет лица; в выражении их лиц не было и следа обычной подвижности, живости и веселости, свойственных юности. Многие из них мне говорили, что в субботу вечером и в воскресенье они не чувствуют ни малейшего желания поиграть на свежем воздухе, а предпочитают спокойно сидеть дома». Приведем здесь также другое место из отчета Гокинса, которое лишь отчасти сюда относится, но именно потому может быть приведено как здесь, так и в другом месте: «Неумеренность, всевозможные излишества и отсутствие заботы о будущем суть главные недостатки фабричного населения. Эти недостатки могут быть легко сведены к условиям, созданным современной фабричной системой и почти неизбежно из нее вытекающим. Всеми признано, что несварение желудка, ипохондрия и общая слабость — очень распространенное явление среди фабричных рабочих. После двенадцатичасового однообразного фабричного труда вполне естественно желание прибегнуть к тому или иному возбуждающему средству, а когда, наконец, появляются вышеупомянутые болевни, рабочий все чаще и чаще начинает искать забвения в спиртных напитках».

В отчете приведены сотни примеров, подтверждающих все эти показания врачей и комиссаров. Сотни показаний свидетельствуют о том, что работа задерживает рост молодых рабочих. Так Кауелль приводит вес 46 семнадцатилетних юношей, учеников одной воскресной школы. Из них 26 работало на фабрике, их средний вес был 104,5 английских фунтов, а у 20-ти не работавших на фабрике, но принадлежавших к рабочему классу, средний вес был 117,7 англ. фунтов. Один из самых крупных фабрикантов Манчестера, вожак враждебной рабочим партии фабрикантов, Роберт Гайд Грег, насколько я помню, однажды сказал, что если так будет продолжаться и дальше, то фабричные рабочие Ланкашира скоро превратятся в расу пигмеев.¹ Один офицер рекрутского присутствия (Tufnell, p. 59) свидетельствует, что фабричные рабочие мало пригодны для военной службы, что они худы и слабы, и врачи часто забраковывают их. В Манчестере ему трудно было найти людей в 5 футов и 8 дюймов роста, большинство достигает только 6 - 7 дюймов, между тем как в земледельческих округах большинство рекрутов было 5 футов и 8 дюймов ростом (английский фут несколько меньше прусского, и эта разница составляет на 5 футов приблизительно 2 дюйма).

Под влиянием всех этих условий мужчины-рабочие очень быстро изнашиваются. Большинство к 40 годам уже неработоспособно, некоторые держатся до 45 лет и очень немногие — до 50. Помимо общей слабости организма, неработоспособность вызывается еще ослаблением зрения — следствием работы у мюль-машины, когда рабочему приходится постоянно смотреть на длинный ряд тонких параллельных нитей, причем зрение сильно напрягается. Из 1 600 рабочих, занятых на нескольких фабриках в городах Гарпере и Ланарке, только десятерым было свыше 45 лет; из 22 094 рабочих, занятых на различных фабриках в Стокпорте и Манчестере, только 143 было свыше 45 лет. Из этих последних 16 человек держали из особой милости, а один из них исполнял детскую работу. В одном списке из 131 прядильщика только семерым из них было свыше 45 лет, и тем не менее им всем было отказано фабрикантом, к которому они обратились с просьбой принять их, по причине «слишком преклонного возраста». Из 50 прядильщиков, которым было отказано в Болтоне от места по причине старости, только двум было больше пятидесяти лет, а средний возраст остальных был ниже 40 лет. Крупный фабрикант Ашворт, в письме к лорду Эшли, сам признает, что к 40 годам прядильщик уже не в состоянии

¹ Слова эти заимствованы не из фабричного отчета.

выработать установленное количество пряжи и потому «иногда» получает расчет; сорокалетних рабочих он называет «стариками»!¹ Комиссар Макинтош в отчете 1833 г. говорит: «Хотя я и был уже подготовлен, зная, как работают дети, все же я был поражен, как рано старятся рабочие, и мне трудно было поверить их показаниям относительно возраста». Хирург Смелли в Глазго, пользовавшийся главным образом фабричных рабочих, тоже свидетельствует, что 40 лет для них уже преклонный возраст (old age) (Stuart, Evid. p. 101). О том же свидетельствует отчет Теффелля (Evid. p. 3, 9, 15), Гокинса (Rept., p. 4, Evid. 14 etc.). В Манчестере эта ранняя старость рабочих настолько обычное явление, что почти каждому сорокалетнему мужчине можно дать 50 — 55 лет. В то же время как мужчины, так и женщины состоятельных классов сохраняются очень хорошо, если только они не слишком много пьют.

Влияние фабричного труда на женский организм тоже очень своеобразно. Длинный рабочий день вызывает у женщины еще более серьезные аномалии, чем у мужчины. Труд этот причиняет часто аномалии таза — отчасти в форме неправильного положения и развития самих тазовых костей, отчасти в виде искривления нижней части позвоночника. «Хотя я сам и не встречал аномалий таза и некоторых других аномалий, — говорит д-р Лаудон в своем отчете, — я все же, как всякий врач, должен признать их вероятным последствием продолжительности рабочего дня детей, и, кроме того, о том же свидетельствуют наиболее известные авторитеты в медицине». — Что фабричные работницы рожают гораздо труднее, чем другие женщины, свидетельствуют многие повивальные бабки и акушеры, равным образом у них чаще бывают выкидыши (см., например, Dr. Hawkins, Evid. p. 11, 13). Кроме того женщины страдают общей слабостью организма — болезнью, общей для всех фабричных рабочих, независимо от пола. Беременные женщины работают на фабриках *до самого начала родов*, что вполне попятно: бросив работу раньше, они должны были бы опасаться, что место их будет занято, а их рассчитают; к тому же за дни, которые они не работают, они жалованья не получают. Часто случается, что женщины, работавшие до вечера, рожают на другое утро, а нередко они рожают на самой фабрике, среди машин. И если господа буржуа не видят в этом ничего особенного, то, может быть, жены их согласятся со мной, что косвенно заставляя беременную женщину до самого дня родов работать

¹ Все это позаимствовано из речи лорда Эшли в заседании Нижней палаты 13 марта 1844 года.

ежедневно 12 — 13 (раньше еще больше) часов стоя и часто нагибаясь, — жестокое и низкое варварство. Но это еще не все. Женщины рады и считают продолжительным сроком, если им позволяют не работать в течение двух недель после родов. Многие уже через неделю и даже 3 - 4 дня возвращаются на фабрику, чтобы проработать *полный* рабочий день. Я слышал однажды, как фабрикант спросил надсмотрщика: «Такая-то не пришла еще? — Нет. — А давно она родила? — Неделю тому назад. — Так она могла давно уже вернуться. Такая-то остается в таких случаях дома не более трех дней». — Все это вполне понятно: боязнь увольнения, боязнь безработицы заставляет работницу, несмотря на слабость, несмотря на боли, являться на фабрику; не в интересах фабриканта, чтобы его рабочие сидели дома по болезни; они не должны болеть, его работницы не имеют права рожать и лежать после родов, чтобы машины его не останавливались, чтобы ему не пришлось ломать свою умную голову над придумыванием временных изменений в ходе работы; чтобы не пришлось этого делать, он рассчитывает своих рабочих, если они позволяют себе хворать. Вот послушайте (Кауелль, Evid. p. 77): «Девушка чувствует себя очень плохо и едва в состоянии работать. — Почему вы не попросите разрешения уйти домой? — Ах, сударь, наш хозяин в этом отношении очень строг: за прогул четверти дня мы рискуем получить расчет». А вот еще одно показание (Sir D. Barry, Evid. p. 44). «Томаса Мак-Дерта, рабочего, немного лихорадит; он во всяком случае не может оставаться дома дольше четырех дней, потому что иначе он может лишиться заработка». И так обстоит дело почти на всех фабриках. — Труд молодых девушек вызывает в период их развития множество различных аномалий. У некоторых, в особенности у тех, кто хорошо питается, горячая атмосфера фабрик ускоряет развитие, так что некоторые девушки в 12 — 14 лет вполне развиты. Робертон, о котором мы говорили уже выше и которого фабричный отчет называет «выдающимся» акушером в Манчестере, рассказывает в журнале «North of England medical and surgical Journal», что он встретил одиннадцатилетнюю девочку, не только вполне развившуюся, но даже уже беременную, и что в Манчестере нередко пятнадцатилетние женщины уже рожали. В этих случаях жара на фабриках действует подобно жаре тропического климата, и, как это бывает в таком климате, за это чрезвычайно раннее развитие человек расплачивается ранней же старостью и слабостью. — Часто, однако, встречается и задержка полового развития женщины: грудь развивается поздно или вовсе не развивается. Такие примеры приводит Кауелль (p. 35). Менструации

часто начинаются лишь на семнадцатом или восемнадцатом, а иногда и на двадцатом году, а часто и вовсе не появляются (Dr Hawkins, Evid. p. 11; D-r Loudon, p. 14 etc.; Sir D. Barry, p. 5 etc.); очень часто бывают неправильные менструации, с сильными болями и страданиями, часто встречается анемия, о чем единогласно свидетельствуют все медицинские отчеты.

Рожденные такими женщинами дети не могут быть крепкими, в особенности, если эти женщины работают во время беременности. Напротив того, судя по отчетам, особенно манчестерским, они очень слабы, и только Барри утверждает, что они здоровы, но он же свидетельствует, что в Шотландии, где он производил осмотр, *почти ни одна замужняя женщина не работает*. К тому же большая часть тамошних фабрик, за исключением фабрик Глазго, расположена за городом, что не мало содействует здоровью детей: дети рабочих в ближайших окрестностях Манчестера почти все имеют цветущий и свежий вид, между тем как в городе они выглядят бледными и золотушными. Впрочем, на девятом году они все теряют румянец, потому что попадают на фабрику, и очень скоро их нельзя отличить от городских детей.

Кроме того существуют некоторые отрасли фабричного труда, которые особенно вредны для здоровья. Так, во многих помещениях бумаго- и льнопрядильных фабрик летает масса волокнистой пыли, вызывающей, в особенности в чесальных и ворсильных отделениях, легочные заболевания. Одни организмы переносят это, другие — нет. У рабочего нет выбора, и он должен поступать в то отделение, где он находит работу, как бы это ни влияло на его легкие. Самыми обычными последствиями вдыхания этой пыли является кровохаркание, тяжелое свистящее дыхание, боли в груди, кашель, бессонница, словом, все признаки астмы, кончающейся в худшем случае чахоткой!¹ Но особенно вредно прядение сырого льна, которым занимаются молодые девушки и дети. Вода с веретен брызжет на платье, которое спереди промокает насквозь, и на полу стоят лужи воды. То же самое, но в меньших размерах, происходит в тростильных отделениях бумагопрядильных фабрик, и последствием этого тоже являются постоянные простуды и легочные заболевания. У всех фабричных рабочих, но в особенности у прядильщиков мокрого льна и тростильщиков, хриплый сухой голос. Стюарт, Макинтош и сэр Д. Барри в самых резких выражениях отзываются о вреде этой работы,

¹ См. *Stuart*, p. 13, 70, 101; *Mackintosh*, p. 24 etc.; *Power Rept. on Nottingham, on Leedes*; *Cowell*, p. 33 etc; *Barry*, p. 12 (пять на одной фабрике), p. 17. 44, 52, 60 etc; также в его отчете; *Loudon*, p. 13 etc. etc.

равно как и о том, как мало большинство фабрикантов заботится о здоровье исполняющих эту работу девушек. Другим последствием льнопрядения является специфическая уродливость плеча, а именно выпячивание правой лопатки, вызываемое самой природой этого труда. Прядение льна, как и прядение бумаги на ватерной машине, часто вызывает болезни коленной чашки, которой пользуются для установки веретена, когда приходится связать оборвавшуюся нитку. Необходимость часто нагибаться при этих работах, равно как и живкое устройство машин, имеют вообще своим последствием недостаточное развитие роста. В отделениях хлопчатобумажной фабрики в Манчестере, где работали ватерные машины и где я занимался одно время, мне не приходилось встретить, насколько я помню, ни одной высокой, стройной девушки; они все были малого роста, плохого и очень некрасивого телосложения. Кроме всех этих болезней и уродливостей, рабочих калечат еще иным способом. Работа при машинах сопровождается множеством несчастных случаев более или менее серьезного характера, в результате которых рабочий делается нетрудоспособным на некоторое время или навсегда. Чаще всего у рабочего расплющивается какой-нибудь сустав пальца, режет колесо захватывает и размалывает целый палец, кисть руки или всю руку и т. д. После этих, иногда даже незначительных повреждений часто наступает столбняк, который влечет за собою смерть. Кроме множества калек, встречаешь в Манчестере громадное число увечных: у одного отхвачена целая рука или половина руки, у другого нет ступни, у третьего половины ноги; так и кажется, что живешь среди армии, только что вернувшейся с войны. Но самые опасные места машин — приводные ремни, передающие двигательную силу отдельным машинам, особенно, если на них есть пряжки, что теперь, впрочем, встречается редко. Подхваченный этими ремнями человек с быстротой молнии уносится машиной и с такой силой ударяется об пол или о потолок, что в нем ни одна кость не остается целой и смерть наступает мгновенно. За время от 12 июня до 3 августа 1843 г. газета «Manchester Guardian» сообщила о следующих *серьезных* несчастных случаях (о более легких она даже не упоминает): 12 июня умер в Манчестере мальчик от столбняка, наступившего после того, как колеса машины раздробили ему руку; 16 июня мальчик в г. Саддльворте захвачен колесом и разбит до смерти; 29 июня молодой человек, работавший на машиностроительном заводе в Грин-Акерс-Мур близ Манчестера, попал под точильный камень, который сломал ему два ребра и сильно изуродовал; 24 июля погибла в Ольдгаме девушка,

которую приводной ремень подхватил и перебросил пятьдесят раз, так что ни одна кость не осталась целой; 27 июля одна девушка в Манчестере попала в трепальную машину (первая машина, принимающая сырую хлопчатую бумагу); она умерла от полученных увечий. 3 августа был подхвачен ремнем в Деканфильде катушечный токарь: все ребра оказались переломанными, и он умер. — В манчестерской больнице перебивало за один только 1843 год 962 человека, искалеченных машинами, между тем как всех остальных несчастных случаев больница насчитывала 2 426, так что на пять несчастных случаев по всем остальным причинам приходилось два несчастных случая, вызванных машинами. В это число не входят несчастные случаи, происшедшие в Сэльфорде, равно как и те, в которых обращались к помощи частных врачей. — Фабриканты, даже если человек становится нетрудоспособным, оплачивают в лучшем случае врачебную помощь и крайне редко платят жалованье во время лечения, а до того, куда рабочий денется, сделавшись нетрудоспособным, им и дела нет.

Фабричный отчет говорит об этом следующее: надо было бы возложить на фабриканта ответственность за все несчастные случаи, ибо дети не могут быть осторожны, а взрослые были бы осторожны в своих собственных интересах. Но составители отчета — буржуа, и потому они сами же себе противоречат и разводят всевозможные рацеи о «преступном» безрассудстве (*culpable temerity*) рабочих. Это, конечно, дела не меняет. Суть дела такова: раз дети не *могут* быть осторожными, то необходимо запретить работу детей; раз взрослые не *бывают* в достаточной степени осторожными, то либо они дети, т. е. стоят на такой низкой ступени развития, что не понимают всей грозящей им опасности, — а кто тогда виноват в этом, если не буржуазия, когда держит их в таком положении, что они не могут учиться и развиваться? — либо машины плохо устроены и должны быть окружены барьерами и загородками, что, конечно, в тягость для буржуа; либо рабочим руководят мотивы, перевешивающие страх перед грозящей ему опасностью: он должен быстро работать, чтобы заработать побольше денег, и у него нет времени быть осторожным и т. д., — и в этом тоже виновата буржуазия. Многие несчастные случаи, например, происходят потому, что рабочие чистят машины, когда те еще на ходу. Почему же это? Потому, что буржуа заставляет чистить машины во время перерывов в работе, когда они останавливаются, а рабочим, конечно, не хочется терять хотя бы часть этого времени. Каждый свободный час так дорог рабочему, что он предпочитает дважды в неделю подвергать свою жизнь опасности, чем пожертво-

вать этот час буржуа. Заставьте фабрикантов включить время, необходимое для чистки машин, в рабочее время, и ни одному рабочему и в голову не придет чистить машины на ходу. Одним словом, во всех несчастных случаях вина в конечном счете падает на фабриканта, и от него следовало бы требовать, по меньшей мере, пожизненного содержания для потерявшего работоспособность рабочего, а в случае смерти его — для его семьи. В первое время после возникновения промышленности несчастные случаи происходили относительно гораздо чаще, чем теперь, потому что машины были хуже, меньше, размещались теснее и почти совсем не ограждались. Но, как показывают приведенные выше факты, число этих несчастных случаев все еще очень велико, настолько велико, что нельзя не задуматься серьезно над таким порядком вещей, при котором происходит столько увечий и ранений ради интересов одного единственного класса и столько трудолюбивых работников осуждается на нужду и голод из-за несчастного случая, постигшего их на службе буржуазии и по ее вине.

Какую славную коллекцию болезней создала эта отвратительная алчность буржуазии! Женщины лишаются способности рожать, калечатся дети, ослабляется организм мужчин, расплющиваются члены тела, целые поколения гибнут, изнуренные и зараженные всевозможными болезнями, — и все это для того, чтобы набивать карманы буржуазии. Когда же читаешь об отдельных случаях, о том, как надсмотрщики выгоняют детей из постелей раздетыми и гонят их ударами и пинками на фабрики с платьями в руках (например, Stuart, p. 39 etc.), как кулаками прогоняют у них сон, как они тем не менее засыпают за работой, как несчастный ребенок, заснувший за работой уже после остановки машины, при окрике надсмотрщика вскакивает и с закрытыми глазами проделывает обычные приемы своей работы; когда читаешь о том, как дети, слишком усталые для того, чтобы идти домой, забираются в сушильни и, спрятавшись под шерстью, укладываются спать и как только ударами ремней их можно оттуда выгнать; когда читаешь о том, как сотни детей каждый вечер приходят домой настолько усталыми, что от желания спать и недостатка аппетита не могут ужинать, что родители находят их на коленях у постелей, где они засыпают во время молитвы; когда читаешь обо всем этом и о сотне других подлостей и мерзостей, и читаешь в отчете, в котором все показания даны под присягой, подтверждены многими свидетелями, которых сами комиссары признали достойными доверия, если принять во внимание, что сам-то отчет — «либеральный», буржуазный, составленный для

того, чтобы опровергнуть предыдущие отчеты ториев и доказать чистоту сердца фабрикантов, что сами комиссары на стороне буржуазии и записывали все показания против собственной воли, — то нельзя не возмущаться, нельзя не возненавидеть этот класс, который кичится своей гуманностью и самоотверженностью, между тем как единственной его целью является набивание карманов во что бы то ни стало. Послушаем, однако, что говорит сама буржуазия устами своего избранного прислужника д-ра Юра.

В своей «Philosophy of Manufactures» он рассказывает (стр. 277 и сл.), что рабочим наговорили, будто вознаграждение, которое они получают, не соответствует приносимым ими жертвам, и этим были нарушены добрые отношения между ними и их хозяевами. Было бы лучше, если бы рабочие зарекомендовали себя прилежанием и добросовестным отношением к делу и радовались бы успехам своих хозяев, они могли бы тогда стать надсмотрщиками, управляющими и даже компаньонами, благодаря чему (о, мудрость, ты воркуешь, как голубь!) «усилился бы также на рынке спрос на рабочие руки»! — «Если бы рабочие не были так беспокойны, *развитие фабричной системы было бы еще благотворнее*». Затем следует длинная перемиада о строптивности этих рабочих, и по случаю забастовки прядильщиков тонкой пряжи, рабочих, получающих наибольшее вознаграждение за свой труд, высказывается следующая наивная сентенция: «Да, именно их высокая плата дала им возможность содержать на жалованье свой комитет и довела их до нервной гипертрофии слишком обильным и возбуждающим при их работе питанием» (стр. 298). Послушаем, как этот буржуа описывает детский труд. «Я посетил много фабрик в Манчестере и его окрестностях и нигде не видел, чтобы детей били или дурно с ними обращались, и даже не видел детей угрюмых. Все они казались *веселыми* (cheerful), *оживленными, наслаждающимися* (taking pleasure) легким напряжением своих мышц и *пользующимися в полной мере* присущей их возрасту подвижностью. Зрелище производства не возбуждало во мне никаких печальных эмоций, а наоборот, всегда действовало на меня *ободряющим образом*. Было *наслаждением* (delightful) смотреть, с какой ловкостью они связывали порвавшиеся нити, когда каретка возвращалась, и как, поработав своими нежными пальчиками несколько секунд, *завлались*, принимая всевозможные положения, пока вытягивание и наматывание ниток снова не было готово. Работа этих *живых* (lively) *эльфов* казалась *забавой*, в которой они проявляли большую легкость благодаря навыку. Сознавая эту свою ловкость, они с удовольствием показывали ее каждому

постороннему. Усталости не было и следа: оставив фабрику, они на первой же площадке для игр начинают резвиться с той же живостью, с какой на ней играют школьники, возвращающиеся из школы» (стр. 304). (Еще бы, как будто движение всех мышц не является непосредственной потребностью организма, онемевшего и ослабевшего за работой! Но автору следовало бы подождать, чтобы посмотреть, не исчезнет ли это кратковременное возбуждение уже через несколько минут. Затем автор мог это видеть ведь только в *обед*, после пяти- или шестичасового труда, а не *вечером*!) — Что касается здоровья рабочих, то, чтобы доказать его превосходное состояние, этот буржуа имеет бесконечную наглость сослаться на отчет 1833 г., который мы уже так много раз цитировали и приводили в выдержках. Отдельными, вырванными из контекста, цитатами он пытается доказать, что у рабочих нет и следа золотухи и — это совершенно верно — что фабричная система избавила их от всяких острых заболеваний (о том, что она зато награждает их всеми хроническими болезнями, автор, конечно, умалчивает). Чтобы понять бесстыдство, с которым этот господин преподносит английской публике самую грубую ложь, надо знать, что отчет состоит из трех толстых томов *in folio*, и изучить их основательно откормленному буржуа и в голову не придет. Послушаем еще, что он говорит о фабричном законе 1834 г., изданном либеральной буржуазией и, как мы увидим ниже, налагающим на фабриканта лишь самые необходимые ограничения. Закон этот и, в особенности, обязательность обучения есть, по его мнению, абсурдная и деспотическая мера, направленная против фабрикантов. Он лишил заработка всех детей моложе 12 лет, и к чему это привело? Освобожденные от своего легкого и полезного труда, дети не получают теперь никакого воспитания. *Изгнанные из теплого прядильного зала на холод*, они живут только нищенством и воровством, — жизнью, представляющей печальный контраст с их непрестанно улучшавшимся положением на фабрике и в воскресной школе! Под маской филантропии этот закон усугубляет страдания бедняков и будет крайне затруднять, если не совсем останавливать, *добросовестного* фабриканта в его полезной работе (стр. 405, 406 и сл.).

Разрушительное влияние фабричной системы давно уже стало привлекать к себе всеобщее внимание. О законе об ученичестве 1802 г. мы говорили уже выше. Позднее, около 1817 г., нью-ларнаркский фабрикант Роберт Оуэн, впоследствии родоначальник английского социализма, стал в петициях и докладных записках доказывать исполнительной власти необходимость законодательного

обеспечения здоровья рабочих и в особенности детей. К нему примкнули покойный сэр Р. Пиль и другие филантропы. Они последовательно добились фабричных законов 1818, 1825 и 1831 г., из которых два первых совсем не исполнялись, а последний исполнялся лишь изредка. Закон 1831 г., основанный на предложении сэра Дж. К. Гобгауза, постановляет, что ни на одной хлопчатобумажной фабрике не должны работать по ночам, т. е. от половины восьмого вечера до половины шестого утра, молодые люди моложе 21 г., и на всех фабриках молодые люди моложе 18 лет должны работать не более 12 часов ежедневно и 9 часов в субботу. Но рабочие не могли свидетельствовать против своих хозяев, чтобы совсем не лишиться заработка, и потому закон принес мало пользы. В больших городах, где рабочие были побеспокойнее, между крупными фабрикантами состоялось соглашение подчиниться закону, но даже здесь было не мало таких, которые, по примеру фабрикантов в сельских местностях, не обращали никакого внимания на закон. Между тем среди рабочих возникло желание добиться десятичасового билля, т. е. закона, запрещающего всем молодым людям моложе 18 лет работать больше 10 часов. Рабочие ассоциации путем агитации сделали это желание общим для всего фабричного населения, а гуманная секция партии ториев, с Михаилом Садлером во главе, заинтересовалась этим планом и внесла его на обсуждение в парламент. Садлер добился назначения парламентской комиссии для исследования фабричной системы, и эта комиссия представила свой отчет в парламентскую сессию 1832 г. Отчет этот был составлен в партийных интересах исключительно врагами фабричной системы. В пылу своей благородной страсти Садлер увлекся до самых неосновательных и неверных утверждений. Уже самой манерой ставить вопросы он вынуждал у свидетелей ответы, которые, если и не были ложными, то выражали истину в извращенной форме. Фабриканты пришли в ужас от такого отчета, изображавшего их извергами, и сами уже попросили назначения официального исследования. Они знали, что *теперь* точный отчет может им только принести пользу; они знали также, что у кормила правления стоят виги, настоящие буржуа, с которыми они были заодно, принципы которых были несовместимы с ограничениями промышленности. И действительно была назначена комиссия из одних либеральных буржуа, и она составила отчет, тот самый, который я так часто цитировал. Этот отчет *несколько* ближе к истине, чем отчет комиссии Садлера, но отклонение от истины здесь противоположного характера. Каждая его страница дышит симпатией к фабрикантам, недоверием к отчету Садлера, антипатией к самодеятельно-

сти рабочих и к сторонникам десятичасового билля. Ни на одной странице его не встретишь признания права рабочих на человеческое существование, на самостоятельную деятельность и свободу мнения. Он *упрекает* их за то, что они, агитируя за десятичасовой билль, думали не только о детях, но и о самих себе, называет этих агитирующих рабочих демагогами, злонамеренными, дурными людьми и т. д., — одним словом, все симпатии его на стороне буржуазии. И при всем том ему все же не удается обелить фабрикантов; все же он признает справедливость такого множества обвинений, выставленных против фабрикантов, что даже после этого отчета агитация в пользу десятичасового билля, ненависть рабочих против фабрикантов и самые резкие выражения комиссии Садлера о последних должны быть признаны вполне основательными. Вся равница заключалась в том, что отчет Садлера упрекал фабрикантов в открытой, неприкрашенной жестокости, а из второго отчета явствовало, что жестокость эта совершается большей частью под маской цивилизации и человеколюбия. Ведь д-р Гокинс, медицинский комиссар для Ланкашира, сам решительно высказался за десятичасовой билль в первых же строках своего отчета! А комиссар Макинтош сам заявляет, что в его отчете не раскрыта вся правда, ибо очень трудно было рабочих заставить свидетельствовать против их хозяев, а фабриканты — и без того вынужденные к большей уступчивости рабочим вследствие волнения среди них — часто готовились к посещению комиссии, чистили фабрики, уменьшали скорость движения машин и т. д. В Ланкашире, например, они прибегали к следующей уловке: они представляли комиссии надсмотрщиков под видом рабочих, и эти «рабочие» распространялись о гуманности фабрикантов, о здоровом действии на них работы, о равнодушии и даже отвращении рабочих к десятичасовому биллю. Но эти надсмотрщики — не настоящие рабочие, они дезертиры своего класса, продавшиеся за высокую плату буржуазии и борющиеся с рабочими в интересах капиталистов. Их интересы тождественны с интересами буржуазии, и потому рабочие их едва ли не более ненавидят, чем самих фабрикантов. И при всем том этого отчета вполне достаточно, чтобы раскрыть всю поворную беззастенчивость промышленной буржуазии, всю бесчеловечность и низость промышленной системы эксплуатации. Что может быть возмутительнее, чем противопоставление, которое мы находим в этом отчете, длинного ряда болезней и уродств, вызванных чрезмерной работой, с одной стороны, и с другой — холодной, расчетливой политической экономии фабриканта, доказывающего с цифрами в руках, что он и вся Англия с ним

разорится, если ему запретят такое-то количество детей превращать ежегодно в калек? Возмутительнее этого были бы только цитированные мной выше бесстыдные разглагольствования господина Юра, если бы они не были столь смешны.

Следствием этого отчета был фабричный закон 1834 г., запретивший ставить на работу детей моложе 9 лет (за исключением шелковых фабрик), ограничивший рабочее время детей от 9 и до 13 лет 48 часами в неделю или — самое большее — девятью часами в день, а работу подростков от 14 до 18 лет — 69 часами в неделю или — самое большее — двенадцатью часами в день, установивший минимальный перерыв в полтора часа для еды и еще раз запретивший ставить на ночную работу рабочих и работниц моложе 18 лет. Одновременно с этим было введено обязательное посещение школы в течение двух часов в день для всех детей моложе 14 лет и был установлен штраф для фабриканта, если он примет на работу детей без удостоверения от фабричного врача о возрасте или без удостоверения от учителя о посещении школы. За это он мог удерживать еженедельно из жалования ребенка 1 пенни на учителя. Кроме того были назначены фабричные врачи и инспектора, которым предоставлено было право во всякое время являться на фабрику, допрашивать рабочих под присягой и которые в случае нарушения закона должны были возбуждать жалобу против фабриканта перед мировым судьей. Таков был закон, по поводу которого д-р Юр так безудержно бранится!

Закон этот и в особенности назначение инспекторов привели к тому, что рабочий день сократился в среднем до 12 — 13 часов, и дети, по мере возможности, были заменены взрослыми. Некоторые из наиболее вопиющих зол были этим устранены почти совершенно. Уродства стали появляться лишь у очень слабых организмов, и вредное влияние работы стало вообще менее заметно. При всем том можно найти в фабричном отчете достаточно доказательств того, что более легкие страдания, как опухоли на суставах, слабость и боли в ногах, в тазу и позвоночнике, расширение кровеносных сосудов, язвы на ногах, общая слабость, слабый желудок, склонность к рвоте, отсутствие аппетита, сменяющееся неестественным чувством голода, дурное пищеварение, ипохондрия, различные легочные страдания, вызванные вдыханием пыли и дурным воздухом фабрик и т. д., и т. д., встречались и на тех фабриках и у тех рабочих, которые, согласно закону сэра Дж. К. Гобгауза, работали 12 — 13 часов. Особенно интересны в этом отношении отчеты о фабриках Глазго и Манчестера. Болезни эти не исчезли и после закона 1834 г. и продолжают и до настоящего времени подрывать здоровье рабочего класса. Были

приняты меры, чтобы грубое корыстолюбие буржуазии приняло лицемерно-культурную форму, чтобы фабриканты, удерживаемые законом от слишком грубых низостей, имели тем больше мнимых оснований самодовольно кичиться своей якобы гуманностью. Но этим дело и ограничилось. Будь сегодня назначена новая фабричная комиссия, она нашла бы, что по большей части все осталось по-старому. Что касается импровизированной обязательности обучения, то распоряжение о ней осталось совершенно бесплодным, ибо правительство не позаботилось рядом с этим об открытии хороших школ. Фабриканты приглашали в качестве учителей потерявших трудоспособность рабочих и к ним-то посылали детей ежедневно на два часа: буква закона была соблюдена, но дети не учились ничему. — Даже отчеты фабричных инспекторов, которые ограничивались только прямым исполнением своих обязанностей, т. е. следили за соблюдением фабричного закона, с достаточной полнотой доказывают, что все упомянутое выше зло продолжало существовать и не могло не существовать. В своих отчетах за октябрь и декабрь 1844 г. инспектора Горнер и Саундерс рассказывают, что в тех отраслях, где можно обойтись без детского труда или заместить его трудом оставшихся без работы взрослых, — работают 14 — 16 часов и более. Здесь работает особенно много молодых людей, едва вышедших из охраняемого законом возраста. Другие фабриканты прямо нарушают закон, сокращая время перерыва, заставляя детей работать дольше узаконенного времени, и не боятся судебного преследования, ибо штраф, которому они рискуют подвергнуться, слишком ничтожен сравнительно с теми выгодами, которые доставляет нарушение закона. Соблазн особенно велик теперь, когда дела идут так хорошо.

Агитация за десятичасовой билль не прекращалась, однако, среди рабочих. В 1839 г. она вновь разгорелась, и место умершего Садлера занял в нижней палате лорд Эшли, а вне палаты — Ричард Остлер — оба тории. Остлер, постоянно агитировавший в рабочих округах и известный там еще во времена Садлера, был любимцем рабочих. Они называли его не иначе, как своим «добрым старым королем», «королем детей фабрики», и во всех фабричных кварталах не было ни одного ребенка, который не знал бы и не почитал бы его и вместе с другими не отправлялся бы встречать его, когда он приезжал в город. Он энергично боролся также против нового закона о бедных, за что был засажен за долги в тюрьму неким Торнли,¹ вигом.

¹ Энгельс неправильно пишет это имя; хозяин Остлера назывался Торнхилль (Thornhill). — Прим. ред.

в имени которого он был управляющим и которому он задолжал некоторую сумму. Виги неоднократно предлагали ему уплатить его долги и вообще взять его под свое покровительство, если он прекратит свои нападки на закон о бедных, но все это было напрасно. Он остался в тюрьме и оттуда рассылал свои «Fleet papers», направленные против фабричной системы и закона о бедных.

Правительство ториев 1841 г. снова обратило свое внимание на фабричные законы. Сэр Джеймс Грэхэм, министр внутренних дел, внес в палату в 1843 г. билль, ограничивавший рабочий труд детей 6½ часами и усиливавший требование обязательности обучения, но самым главным в нем было требование устройства лучших школ. Билль этот потерпел поражение из-за религиозной ревности диссентеров: хотя обязательность обучения для детей диссентеров не распространялась на религиозное воспитание, но все же школы были поставлены под надзор господствующей церкви, и так как Библия должна была быть обязательной для всех книгой для чтения, вследствие чего религия делалась основой всего обучения, то в этом диссентеры увидели для себя опасность. К ним пристали фабриканты и либералы вообще, рабочие в церковном вопросе не были солидарны и потому бездействовали, и хотя оппозиция против билля и потерпела поражение в больших фабричных городах, как Сальфорд, Стокпорт, а в других, как Манчестер, из страха перед рабочими она решалась нападать только на некоторые пункты билля, но все же она собрала под своей петицией около двух миллионов подписей, и это так испугало Грэхэма, что он взял весь свой билль навад. В следующем году он отказался от пунктов законопроекта, которые касались школ, и предложил лишь ограничить работу детей от *восьми* до тринадцати лет 6½ часами ежедневно, и притом так, чтобы у них оставалось совершенно свободным или дообеденное или послеобеденное время; работу подростков от 13 до 18 лет, а также женщин, ограничить 12 часами и, кроме того, ввести некоторые ограничения, которые сделали бы невозможным столь частый до этого времени обход закона. Как только он выступил с этим предложением, агитация за десятичасовой рабочий день снова разгорелась, и притом сильнее, чем когда-либо раньше. Остлер был освобожден — благодаря некоторым его друзьям и сбору денег среди рабочих долги его были уплачены — и целиком отдался движению. Число сторонников десятичасового билля в Нижней палате стало возрастать, масса петиций в его пользу, поступавших со всех сторон, доставляла ему много новых сторонников, и 19 марта 1844 г. лорд Эшли добился большинством в 179 голосов против 170 постановления, чтобы слово «ночь» в фа-

бричном билле означало время между шестью часами вечера и шестью часами утра. В виду запрещения ночной работы это означало, что рабочее время, включая перерыв, могло быть не больше двенадцати часов, а не считая перерыва — не больше десяти часов. Но министерство на это не согласилось. Сэр Джемс Грэхэм стал грозить отставкой кабинета, и при следующем голосовании одного параграфа билля палата незначительным большинством голосов отвергла как десяти-так и двенадцатичасовой рабочий день. После этого Грэхэм и Пиль заявили, что они внесут новый билль, и если он не пройдет, они выйдут в отставку. Новый билль был тот же старый двенадцатичасовой билль, только в другой форме, и та же палата, которая в марте отвергла его в главных его пунктах, теперь, в мае, приняла его без всяких изменений. Произошло это потому, что большинство сторонников десятичасового билля были тории, которые предпочитали провал билля провалу министерства. Но каковы бы ни были причины этих противоречивых, взаимно исключаящих друг друга голосований, Нижняя палата добилась ими только того, что все рабочие стали относиться к ней с величайшим презрением, и блестяще была доказана необходимость реформы самой палаты, чего добивались чартисты. Три члена палаты, голосовавшие раньше против министерства, потом голосовали за него и тем спасли его. При всех голосованиях оппозиция в массе голосовала за министерство, а сторонники его — *против*.¹ Таким образом, предложение Грэхэма о 6½-часовом и 12-часовом рабочем дне получило силу закона, и благодаря этому, а также и ограничению работы в счет потерянного времени (в случае поломки машины или недостатка водной силы вследствие засухи или мороза) и некоторым другим менее важным ограничениям, рабочий день, превышающий 12 часов, стал почти невозможным. Не подлежит, однако, сомнению, что в очень скором времени пройдет и десятичасовой билль. Фабриканты, разумеется, почти все против него; вряд ли среди них найдется десять его сторонников; они употребили все честные и нечестные средства против этого ненавистного им предложения, но это им не поможет, а только еще более увеличит ненависть к ним рабочих. Билль пройдет, несмотря ни на что. Чего рабочие *захотят*, они могут добиться, а что они хотят добиться десятичасового билля, они доказали минувшей весной. Политико-экономические аргументы фабрикантов, что десятичасовой билль увеличит стоимость производства, что он лишит английскую

¹ В ту же сессию Нижняя палата, как известно, еще раз оскандалилась в вопросе о сахаре, высказавшись сначала против министерства, а потом, после применения «правительственного кнута», — за него.

промышленность возможности бороться с иностранной конкуренцией, что заработная плата должна из-за него непременно повыситься и т. д., конечно, *наполовину верны*, но это лишь доказывает, что промышленная мощь Англии построена только на варварском обращении с рабочими, на разрушении здоровья, на социальном, физическом и духовном вырождении целых поколений. Разумеется, если бы все дело ограничилось проведением десятичасового билля, это привело бы к разорению Англии, но все же этот билль является шагом вперед, так как он не может не повлечь за собой и других мероприятий, которые должны направить Англию на совершенно иной, новый путь.

Обратимся теперь к другой стороне фабричной системы, которую труднее устранить предписаниями закона, чем обусловленные ею болезни. Мы достаточно говорили уже в общем о характере работы, чтобы из сказанного можно было сделать дальнейшие выводы. Надзор за машинами, связывание разорванных нитей есть такая работа, которая не занимает ума рабочего, но в то же время мешает ему думать о других вещах. Мы видели также, что работа эта не требует напряжения мускулов, не дает простора физической деятельности. Труд этот, таким образом, не труд, а одна скука — самое убийственное, самое утомительное, что только можно придумать. Фабричный рабочий осужден губить в этой скуке все свои физические и духовные силы; его призвание — с восьмилетнего возраста томиться от скуки целый день. К тому же ему нельзя отлучиться ни на одну минуту: паровая машина работает целый день, колеса, ремни и веретена непрерывно гудят ему в уши, и стоит ему на минуту отвлечься, как за его спиной немедленно является надсмотрщик со штрафной книгой в руках. Эта проклятая необходимость живо похоронить себя на фабрике, все время внимательно следить за неутомимой машиной, является тяжчайшей пыткой для рабочих. Она действует самым притупляющим и ослабляющим образом как на тело, так и на дух рабочего. И, действительно, трудно было придумать лучший способ для притупления умственных способностей человека, чем фабричный труд, и если тем не менее фабричный рабочий не только сохранил здравый рассудок, но даже развил его более, чем другие, то в этом ему помогло возмущение против своей судьбы и против буржуазии, единственное чувство, единственная мысль, которые возможны при его работе. В тех случаях, когда это негодование против буржуазии не становится преобладающим чувством у рабочих, они неизбежно предаются пьянству и вообще всему тому, что обыкновенно называют

деморализацией. Уже одного физического расслабления и вызываемых фабричной системой болезней было достаточно, по мнению официального комиссара Гокинса, для того чтобы сделать неизбежной деморализацию. Но тем более она должна быть неизбежной, если сюда присоединяются еще духовное расслабление и все те выше упомянутые нами обстоятельства, которые влияют деморализующим образом на *каждого* рабочего. Поэтому нет ничего удивительного и в том, что именно в фабричных городах пьянство и разврат достигли размеров, описанных нами раньше.¹

Дальше. Цепи рабства, которыми буржуазия сковала пролетариат, нигде не выступают так ясно, как в фабричной системе. Здесь исчезает и юридически и фактически всякая свобода. В половине шестого утра рабочий должен быть на фабрике. Опаздывает он на две минуты, его ждет штраф, а если он опаздывает на десять минут его вовсе не пускают до конца перерыва, и из заработной платы высчитывается плата за четверть дня (хотя он не работал только 2¹/₂ часа из двенадцатичасового рабочего дня). Он ест, пьет и спит по команде. Для удовлетворения самых настоятельных потребностей ему дается лишь минимальное время, необходимое для этого. Фабриканту нет дела до того, живет ли рабочий на расстоянии получаса ходьбы от фабрики или целого часа. Деспотический колокол отрывает его от сна, от завтрака, от обеда.

А что делается на самой фабрике! Здесь фабрикант — неограниченный владыка! Он издает фабричные правила, какие ему заблагорассудится, изменяет и дополняет их, как ему вздумается, и как бы ни были нелепы эти правила, суд всегда говорит рабочему:

¹ Послушаем еще одного компетентного свидетеля: «Если к дурному влиянию ирландцев прибавить непрерывный труд рабочих занятых в хлопчатобумажной промышленности, то царящая среди них ужасная деморализация будет удивлять нас гораздо меньше. Постоянный изнурительный труд изо дня в день, из года в год не может содействовать развитию интеллектуальных и нравственных способностей человека. Бесконечная, скучная, нудная и мучительная работа (*drudgery*), в которой непрестанно повторяется все один и тот же механический процесс, похожа на муки Сизифа; подобно камню этого последнего, работа всей своей тяжестью все снова и снова обрушивается на измученные плечи рабочего. При постоянной и вечной работе одних и тех же мышц ум не приобретает ни знаний, ни способности мыслить; человек все более и более тупеет, но зато пышно развивается грубая сторона его природы. Осудить человека на такой труд значит развить в нем животные наклонности. Он становится равнодушным ко всему, оставляет в пренебрежении свойственные его природе нравственные стремления, пренебрегает удобствами и более утонченными радостями жизни, живет в грязи и нищете, скудно питается и тратит свой заработок на разные излишества» (Dr J. P. Kay, *ibid.*).

«Вы сами себе господин, вы могли соглашаться на этот контракт или не соглашаться, но раз вы добровольно на него согласились, вы нарушить его не можете». Таким образом, над рабочим издевается еще мировой судья, который сам принадлежит к буржуазии, и закон, изданный все той же буржуазией. Такие решения судей — довольно частое явление. В октябре 1844 г. рабочие фабриканта Кеннеди в Манчестере забастовали. Фабрикант подал на них жалобу, ссылаясь на вывешенное на фабрике правило, что из одной мастерской более двух человек не может сразу откататься от работы. Судья признал фабриканта правым, дав рабочим вышеприведенный ответ («Manchester Guardian», 30 октября). Посмотрим, каковы обыкновенно бывают фабричные правила: 1) Ворота фабрики закрываются через десять минут после начала работ, и до завтрака никто не впускается; кто в это время отсутствовал, платит по 3 пенса штрафа с каждого станка. 2) Каждый ткач (при механическом станке), не оказавшийся на месте в то время, когда машина была на ходу, платит 3 пенса штрафа за каждый час с каждого находящегося под его наблюдением станка; кто во время работы уходит из мастерской без разрешения надсмотрщика, тоже подвергается штрафу в 3 пенса. 3) Ткач, не имеющий при себе ножниц, платит по 1 пенсу штрафа в день. 4) Ткач уплачивает за все сломанные им челноки, щетки, масленки, колеса, разбитые окна и т. д. 5) Ткач не может бросить работы, не предупредив об этом за неделю вперед; фабрикант может рассчитать рабочего за плохую работу или дурное поведение без предупреждения. 6) За разговор, пение и свист рабочий платит 6 пенсов штрафа; кто во время работы оставит свое место, тоже платит 6 пенсов штрафа.¹ Есть у меня еще под руками и другие фабричные правила, по которым с каждого опоздавшего на три минуты высчитывается плата за четверть часа, а с опоздавшего на двадцать минут — плата за четверть дня, а кто не является до самого завтрака, платит по понедельникам 1 шиллинг, а в остальные дни по 6 пенсов штрафа и т. д. Таковы, например, правила, вывешенные на заводе «Феникс» на Джерси-стрит в Манчестере. — Мне могут сказать, что такие правила необходимы для того, чтобы на крупной благоустроенной фабрике обеспечить необходимую плановость различных манипуляций, что такая строгая дисциплина здесь не менее необходима, чем в армии. Пусть так, отвечу я, но что же это за социальный строй, когда без такой поворной тирании не может существовать? Одно из двух: или цель оправдывает средства, или низменность средств доказывает низменность

¹ «Stubborn Facts», p. 9 sq.

цели. Далее, кто был солдатом, тот знает, что значит хотя бы и короткое время подчиняться военной дисциплине. Рабочие же осуждены с девятилетнего возраста до самой смерти жить физически и духовно под постоянной палкой. Они в большей степени рабы, чем чернокожие в Америке, потому что они находятся под более строгим надзором. И при всем том от них еще требуют, чтобы они жили, мыслили и чувствовали по-человечески! Да, они могут чувствовать — чувствовать самую жгучую ненависть к своим угнетателям и к тому порядку вещей, который ставит их в такое положение и низводит их до состояния машин! Но есть еще нечто более поворное: по свидетельству *всех* рабочих многие фабриканты с самой бессердечной строгостью взыскивают с рабочих наложенные на них денежные штрафы, чтобы увеличить свой доход грошами, отнятыми у неимущих пролетариев. Лич утверждает, что иные фабриканты передвигают часы на фабрике утром на четверть часа; рабочие, придя на фабрику, находят поэтому двери на запоре, а конторщик со штрафной книгой обходит мастерские и записывает отсутствующих, которых, конечно, набирается очень много. Лич однажды сам насчитал 95 рабочих, стоявших перед запертыми воротами фабрики; на этой фабрике часы вечером *отставали* на четверть часа, а утром были *впереди* на четверть часа сравнительно с городскими часами. О подобных же вещах рассказывается и в фабричном отчете. На одной фабрике часы во время работы передвигались назад, так что рабочие работали больше, чем следовало, а жалованье получали прежнее. На другой фабрике прямо работали на четверть часа больше. На третьей фабрике были обыкновенные часы и машинные часы, показывающие число поворотов главного вала. Когда машина работала медленно, работали по машинным часам до тех пор, пока машина не делала то количество оборотов, которое она должна была сделать, согласно расчетам, в течение двенадцати часов. Если же работа шла хорошо, так что рассчитанное число оборотов получалось раньше двенадцати часов, рабочие все-таки должны были работать целых двенадцать часов. Свидетель прибавляет, что он знал некоторых девушек, которые имели хороший заработок и сверхурочные работы и все же предпочли проституцию этой тирании (Drinkw., Evid. p. 80). Вернемся, однако, к денежным штрафам. Лич рассказывает, что ему не раз случалось видеть, как женщины в последнем периоде беременности подвергались штрафу в 6 пенсов за то, что они на минуту присели во время работы. — Штрафы за плохую работу совсем произвольны. Продукт осматривается в складе, и заведующий складом записывает штрафы, *даже не призвав рабочего*; последний

узнает об этом только тогда, когда надсмотрщик выплачивает ему заработную плату, когда товар уже может быть продан и, во всяком случае, убран. У Лича имеется такой список штрафов, длиной в десять футов, итог которого составляет 35 ф. ст. 17 шил. 10 пенс. Он рассказывает, что на фабрике, где был вывешен этот список, был уволен новый заведующий складом за то, что он записывал слишком мало штрафов, лишая таким образом фабриканта 5 ф. ст. в неделю («Stubborn Facts», стр. 13 — 17). Повторяю при этом еще раз, что я считаю Лича человеком, вполне заслуживающим доверия и не способным на ложь.

Но и помимо этого рабочий — раб своего хозяина. Если жена или дочь рабочего нравятся богачу, ему стоит только распорядиться, мигнуть, и она должна отдаться ему. Если фабриканту нужно покрыть подписями петицию в защиту буржуазных интересов, он посылает ее на свою фабрику. Желает он добиться выбора данного депутата в парламент, он посылает голосовать всех своих рабочих, имеющих право голоса, и — хотят ли они этого или нет — они должны голосовать за буржуа. Хочет он добиться большинства в публичном собрании, он отпускает их на полчаса раньше обыкновенного, приготовив им заранее места возле самой трибуны, где он может хорошо следить за ними.

Затем есть еще два приема, особенно сильно содействующие порабощению рабочих фабрикантами — truck-system и cottage-system.

Truck называется у рабочих уплата заработка товарами, и этот способ расплаты был раньше общепринятым в Англии. «Для удобства рабочих и чтобы оградить их от высоких цен, назначаемых лавочниками», фабрикант открывал лавку, в которой и продавались всевозможные товары в его пользу; а для того, чтобы рабочий не мог пойти в другую лавку, где можно все купить дешевле, — ибо цены в «Tommy-Shop» всегда бывали на 25 — 30% дороже, чем в других местах, — ему в счет жалованья вместо денег выдавали чек на фабричную лавку. Всеобщее негодование на эту поворную систему вызвало в 1831 г. издание так называемого Truck-act, которым уплата товарами была признана для большинства рабочих недействительной и незаконной и за нее налагался штраф. Но этот закон, как и большинство английских законов, получил фактическую силу лишь в некоторых местах. В городах он, конечно, соблюдается довольно точно, но в деревнях Truck-system прямо или косвенно еще вполне процветает. Встречается она очень часто еще и в городе Лейстере. У меня под руками около дюжины судебных приговоров по этому поводу, постано-

вленных за время от ноября 1843 г. до июня 1844 г. Отчеты о них появились частью в «Manchester Guardian» и частью в «Northern Star». Само собой разумеется, в настоящее время эта система так открыто не применяется. Рабочие получают большей частью свои деньги на руки, но у фабриканта все же остается достаточно средств, чтобы принудить их покупать товары в его лавке, а не в других местах. Вот почему теперь трудно накрыть такого фабриканта; он обделывает свои преступные делишки под охраной закона, раз только он выдает деньги рабочему на руки. В газете «Northern Star» от 27 апреля 1844 г. было напечатано письмо рабочего из Гольмфёрса близ Геддерсфильда в Йоркшире. Говорится в этом письме о фабриканте Боуерсе. «Прямо поражаешься, как эта проклятая truck-system может существовать в таких размерах, какие она приняла в Гольмфёрсе, и нет ни одного смельчака, у которого хватило бы смелости положить конец этим злоупотреблениям. Здесь страдает от этой проклятой системы огромное множество честных ручных ткачей. Вот один образчик деятельности великодушной фритредерской клики.¹ Здесь есть фабрикант, которого вся окрестность проклинает за его отвратительное обращение с бедными ткачами. За кусок, стоящий 34—36 шиллингов, он дает только 20 шилл. деньгами, а в счет остальных отпускает сукно или готовое платье, назначая цену за нее на 40—50% больше, чем она стоит у других купцов. А часто эти товары бывают еще гнилыми. Но фритредерский Меркурий² говорит: «Они не обязаны принимать товары», «это вполне зависит от их воли». О, да, но они должны их брать, если не хотят умереть с голоду. Если они хотят получить деньгами больше 20 шилл., им приходится ждать 8—14 дней, пока они получают основу; если же они берут 20 шилл. и товары, основа всегда к их услугам. Такова их свободная торговля. Лорд Брум говорит, чтобы мы кое-что откладывали в молодые годы, чтобы на старости лет нам не приходилось прибегать к помощи прихода. Не откладывать ли нам эти гнилые товары? Будь это не лорд, можно было бы подумать, что у этого человека мозг так же подгнил, как товары, которыми оплачивается наш труд. Когда появились газеты, не уплачивавшие гербового сбора, нашлось множество людей, доносивших об этом полиции в Гольмфёрсе, были Блайсы, Иствуды и др., а где они теперь? Здесь, конечно, дело другое: наш фабрикант — набожный фритредер; он по воскресеньям два раза ходит в церковь и с большим усердием повторяет за

¹ Фритредеры — сторонники лиги, ратующей за отмену хлебных законов.

² «Leeds-Mercury» — буржуазно-радикальная газета.

священником: «Мы не делали того, что должны были делать, и делали то, чего не следовало делать, и для нас нет спасения; но помилуй нас, всеблагий господи» (слова англиканской молитвы). Да, помилуй нас до завтра, и мы снова заплатим нашим ткачам гнилыми товарами».

Cottage-system имеет гораздо более невинный вид и гораздо более невинный источник происхождения, хотя не менее поработает рабочего, чем truck-system. В деревнях часто не оказывается жилищ для рабочих вблизи от фабрик. Фабриканту поэтому часто приходится строить такие жилища, что он делает очень охотно, так как они приносят ему большую прибыль на затраченный капитал. Если собственник коттеджей для рабочих получает с своего капитала 6% ежегодно, то можно считать, что фабриканту коттеджи приносят вдвое больше. Ведь у него, покуда только его фабрики не останавливаются совсем, всегда имеются жильцы, и притом жильцы, которые платят очень аккуратно. Таким образом, он застрахован от двух главных потерь, которые могут постигнуть других домовладельцев: коттеджи его никогда не пустуют, и он не подвергается риску не получить платы. Но квартирная плата обыкновенно рассчитывается так, чтобы она могла покрыть возможные убытки, и поэтому, если фабрикант взимает такую же плату, как и другие владельцы коттеджей, он получает с вложенного капитала 12—14% и, следовательно, устраивает блестящую аферу за счет своих рабочих. Ясно, что фабрикант не прав, наживаясь сдачей в наем коттеджей, извлекая из этого большую, вдвое большую выгоду, чем его конкуренты, которых он к тому же лишает всякой возможности конкурировать с ним. Но он вдвойне не прав, извлекая эту выгоду из карманов неимущего класса, который дорожит каждым грошом. Впрочем, к этому он привык: ведь все его богатство создано за счет его рабочих. Но эта неправота становится нивостью, когда фабрикант, как это нередко случается, заставляя рабочих, которые *обязаны* жить в его домах под угрозой расчета, *платить* за квартиру больше обычной цены или даже платить за квартиру, в которой они вовсе не живут. Газета «Halifax Guardian», которую цитирует либеральная газета «Sun»,¹ утверждает, что в городах Аштон-ондер-Лайне, Ольдгаме, Рочделе и др. многие фабриканты заставляют своих рабочих платить за наем коттеджей, безразлично, живут ли они в них или нет. Система коттеджей очень распространена в деревенских фабричных округах и вызвала к жизни целые поселения. В большинстве случаев у фабриканта мало или вовсе нет конкурентов, так что ему

¹ «Sun» (лондонская газета) конца ноября 1844 г.

вовсе не приходится сообразовать плату за наем его cottadжей с существующей платой. И он может брать, сколько хочет. А какое могущественное оружие эта система дает в руки фабрикантов при их столкновениях с рабочими! Как только они бросают работу, фабрикант отказывает им от квартиры, а срок, который он должен им дать для очистки квартиры, не больше недели. По истечении этого срока, рабочие остаются не только без хлеба, но и без крова, превращаясь в бродяг, которых по закону можно отправить на месяц вертеть ножную мельницу в тюрьме.

Такова фабричная система! Я старался описать ее настолько подробно, насколько мне позволяли размеры книги, и настолько беспристрастно, насколько можно остаться беспристрастным, описывая геройские подвиги буржуазии в борьбе ее с беззащитными рабочими, — подвиги, при описании которых нельзя оставаться равнодушным, так как равнодушие было бы преступлением. Попробуем сравнить положение свободного англичанина в 1845 г. с положением крепостного сакса под игом норманского барона в 1145 г. Крепостной был прикреплен к земле (*glebae adscriptus*); свободный рабочий тоже к ней прикреплен — системой cottadжей. Крепостной обяван был предоставлять господину право первой ночи (*jus primae noctis*), свободный рабочий обяван предоставить своему хозяину право не только первой, но и *каждой* ночи; крепостной не мог приобретать никакой собственности, и все, что он имел, могло быть отнято его господином; свободный рабочий тоже не имеет собственности и не может ее приобретать вследствие конкуренции, и чего не делал даже норманн, то позволяет делать себе фабрикант: посредством truck-system он себе присваивает право распоряжаться употреблением того, что идет на удовлетворение повседневных нужд рабочего. Отношение крепостного к его господину регулировалось законами, которые исполнялись, потому что соответствовали обычаям, и самими обычаями; отношение свободного рабочего к его господину тоже регулируется законами, но такими, которые не исполняются, потому что не соответствуют ни обычаям, ни интересам хозяина. Землевладелец не мог оторвать крепостного от земли, не мог его продать без нее, а так как почти вся земля была родовой и неотчуждаемой и капитала не было, то он вообще не мог его продать; современная буржуазия заставляет рабочего продавать самого себя. Крепостной был рабом земли, на которой он родился; рабочий — раб самых насущных потребностей жизни и денег, при помощи которых он их может удовлетворить: оба они рабы *вещей*. Существование крепостного обеспечивалось феодальным общественным строем, в котором

каждый имел свое определенное место; свободному рабочему не гарантируется ничего, ибо он тогда лишь занимает определенное место в обществе, когда он нужен буржуазии, а в противном случае его игнорируют, как будто его и на свете нет. Крепостной жертвует своей жизнью для господина во время войны, фабричный рабочий — в мирное время. Хозяин крепостного был варваром и смотрел на крепостного, как на скотину; хозяин рабочего цивилизован; он смотрит на него, как на машину. Одним словом, положение того и другого приблизительно одинаково, и если одному хуже, чем другому, то несомненно хуже свободному рабочему. Рабы они оба, но только это рабство одного — нелицемерное, открытое, честное, а рабство другого — лицемерно и хитро скрыто от него самого и от всех других, рабство теологическое, худшее, чем старое крепостничество. Гуманные тории были правы, называя фабричных рабочих белыми рабами (white slaves). Но это лицемерное скрытое рабство признает, по крайней мере на словах, право на свободу; оно преклоняется перед свободолюбивым общественным мнением, и в этом его историческое преимущество перед старым рабством: признан, по крайней мере, принцип свободы, и угнетенные уже сами позаботятся о том, чтобы этот принцип был воплощен в жизнь. — В заключение приведу стихотворение, выражающее взгляд самих рабочих на фабричную систему. Оно написано Эдуардом П. Мидом из Бирмингама и верно передает господствующее среди рабочих настроение.¹

На свете есть царь, беспощадный тиран,
 Не сказки старинной забытый кошмар,
 Жестокий мучитель бесчисленных стран...
 Тот царь называется: Пар.

¹ У меня нет ни времени, ни места, чтобы подробно останавливаться на возражениях фабрикантов против обвинений, которые возводились на них в течение последних двенадцати лет. Этих людей ничто не научит, ибо их ослепляют их мнимые интересы. Так как на некоторые из их возражений я ответил попутно уже выше, то здесь мне остается еще сказать не много.

Вы приезжаете в Манчестер и хотите изучить условия жизни в Англии. У вас есть хорошие рекомендации, к «почтенным» людям, разумеется. Вы делаете несколько замечаний о положении рабочих. Вас знакомят с парой-другой крупнейших фабрикантов: с Робертом Гайдом, Грегом, Эдмундом Ашвортом, Томасом Аптоном и кем-нибудь другим. Вы рассказываете им о своих намерениях. Фабрикант вас понимает, он знает, что ему нужно делать. Он ведет вас на свою фабрику в деревню — господин Грег в Куэрри-Банк в Чeshire, господин Ашворт в Тортон близ Больтона, господин Аптон в Гайд. Он ведет вас в прекрасно устроенное здание, может быть даже снабженное вентиляторами, он обращает ваше внимание на высокие мастерские с массой воздуха, на прекрасные машины, на того или другого рабочего, имеющего цветущий вид. Он

Рука его грозно протянута в даль,
 Рука у него лишь одна,
 Но рабскую землю сжимает, как сталь,
 И тысячи губит она.

Как бешеный Молох, чудовищный бог,
 Он храм свой поставил на грудах костей,
 И пламенем вечным утробу зажег,
 И в пламени губит детей.

С толпой кровожадных жрецов-палачей,
 Людью он владеет, как вождь.
 Они претворяют кровавый ручей
 В чеканного золота дождь.

угощает вас прекрасным завтраком и предлагает вам посетить квартиры рабочих. Он ведет вас в коттеджи, имеющие новый, чистый и уютный вид, и даже сам с вами заходит в тот или другой. Ведет он вас, конечно, к надсмотрщикам, механикам и т. д., чтобы вы «видели семьи, живущие исключительно фабрикой». В других коттеджах вы могли бы узнать, что на фабрике работают только жена и дети, а муж сидит дома и штопает чулки. В присутствии фабриканта вы стесняетесь задавать нескромные вопросы, и оказывается, что рабочие все получают хорошую плату, живут с удобствами и, благодаря деревенскому воздуху, имеют сравнительно здоровый вид. Вы начинаете отказываться от своих представлений о нужде и голоде, царящих в Англии, начинаете находить их слишком преувеличенными. Но что система коттеджей превращает рабочих в рабов, что поблизости где-нибудь, может быть, находится лавка фабриканта, в которой рабочие вынуждены забирать, — об этом вы не узнаете ничего; что рабочие ненавидят фабриканта, они вам не скажут, потому что он тут же с вами. Он даже построил школу, церковь, читальню и т. д. Что школа нужна ему для того, чтобы приучить детей к дисциплине, что в читальню допускаются только книги, в которых защищаются интересы буржуазии, и что он дает расчет тем рабочим, которые читают чартистские или социалистические газеты и книги, — все это остается от вас скрытым. Вы видите уютные, патриархальные отношения, вы видите жизнь надсмотрщиков, вы видите то, что буржуазия *обещает* рабочим, если они согласятся и в духовном отношении стать ее рабами. «Сельская фабрика» с давних пор была любимым коньком фабрикантов, потому что здесь дурные стороны фабричной системы, в особенности санитарные условия, отчасти парализуются свежим воздухом и окружающей средой, а также потому, что патриархальные рабские условия жизни рабочих сохраняются здесь всего дольше. Д-р Юр поет ей дифирамб. Но горе рабочим, если им вздумается самостоятельно мыслить и сделаться чартистами: отеческая любовь и заботливость фабриканта сразу исчезают. Впрочем, если вы захотите отправиться в рабочие кварталы Манчестера, познакомьтесь с влиянием фабричной системы в фабричном городе, то вам придется долго ждать, пока вам окажут в этом содействие богатые буржуа. Эти господа не знают, чего хотят их рабочие, в каком положении они находятся. Они не хотят, не могут этого знать, потому что они рискуют узнать вещи, которые могут их встревожить, которые могут их заставить действовать против своих интересов. Впрочем, это в высокой степени безразлично; чего рабочие захотят, того они добьются собственными силами.

Они попирают ногами народ
Во имя влатого тельца.
Их тешат голодные слезы сирот
И вздохи больного отца.

Предсмертные стоны вокруг алтаря
Им нежат, как музыка, слух.
В чертогах свирепого Пара-царя
Там гаснет и тело и дух.

Там царствует ужас, там гибельный ад
В чертогах царя роковых,
Там тысячи мертвых положены в ряд,
Они поджидают живых...

Долой же слепую, бездушную власть!
Вы, полчища белых рабов,
Свяжите чудовища черную пасть
И силу железных зубов!...

И слуг его наглых, утративших честь,
И совесть продавших давно,
Пускай поравит их народная месть.
С тельцом золотым заодно.¹

¹ Перевод В. Г. Тана.

VII.

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ТРУДА.

Мы долго задержались на описании фабричной системы потому, что она является совершенно новым детищем промышленной эпохи. Зато нам гораздо меньше придется останавливаться на описании положения рабочих в остальных отраслях промышленности, ибо к ним может быть всецело или отчасти отнесено то, что было сказано о промышленном пролетариате вообще или о фабричной системе в частности. Нам останется, следовательно, лишь рассмотреть, в какой мере фабричная система проникла в отдельные отрасли труда и какими они отличаются особенностями.

Те четыре отрасли труда, на которые распространяется фабричный закон, относятся к текстильному производству. Для удобства исследования мы начнем с описания положения тех рабочих, которые получают материал для обработки от фабрик. Обратимся сначала к *вязальщикам* Ноттинггама, Дерби и Лейстера. В Children's Employment Report об этих рабочих говорится, что, вследствие продолжительности рабочего дня (являющейся необходимым следствием низкой платы), сидячего образа жизни и постоянного напряжения глаз, что требуется особенностями самой работы, весь организм становится болезненным и в особенности страдают глаза. Для работы вечером необходим очень сильный свет, и вот для концентрации света рабочие употребляют стеклянные шары, что очень вредно отражается на глазах. К сорока годам почти все рабочие вынуждены носить очки. Дети, занятые в этом производстве наматыванием и шитьем (подрубливанием), губят обыкновенно свое здоровье на этой работе. Работают они с шести-семи- и восьмилетнего возраста, в маленьких душных комнатах в течение 10—12 часов. Многие во время работы теряют сознание; они слишком слабы даже для обыкновенной домашней работы и настолько близоруки, что уже в детские годы вынуждены носить очки. У многих комиссары нашли все симптомы золотухи, и фабриканты в большинстве случаев отказываются принимать к себе на фабрику девушек, поработавших в этой

отрасли производства, находя их слишком слабыми. Отчет навывает положение этих детей «повором для христианской страны» и высказывает пожелание, чтобы их работа была поставлена под охрану закона (Grainger, Rept. App. Pt 1., p. F. 15, ss. 132—142). Фабричный отчет прибавляет к этому, что из всех рабочих Лейстера вязальщики получают наименьшее вознаграждение. Они зарабатывают 6 шиллингов, а при очень усиленной работе 7 шиллингов в неделю, при ежедневной работе в 16—18 часов. Когда-то они зарабатывали 20—21 шиллинг, но введение больших станков понизило их заработок; огромное большинство работает еще на старых, более простых станках и с большим трудом конкурирует с усовершенствованными машинами. Таким образом, и здесь всякий шаг вперед, сделанный в развитии техники, является шагом назад в положении рабочих. Но несмотря на все это,—рассказывает комиссар Пауэр,—вязальщики гордятся тем, что они *свободны*, что они не зависят от *фабричного колокола*, диктующего им, когда им есть, спать или работать. В отношении заработной платы положение этих рабочих и в настоящее время не лучше, чем оно было в 1833 г., когда фабричная комиссия составляла свой отчет; обуславливается это конкуренцией саксонских вязальщиков, которые сами живут впроголодь. Конкуренция эта побивает англичан не только на всех внешних рынках, но—низшими сортами товара—и на английском рынке. Какое счастье для немецкого вязальщика-патриота своим голодным существованием лишить куса хлеба английских вязальщиков, и он, конечно, с гордостью и наслаждением будет продолжать голодать во славу германской промышленности: честь Германии требует, чтобы этот бедняк никогда не наедался досыта! О, конкуренция и «соперничество наций»—прекрасная вещь! В «Morning Chronicle», газете либеральной и читаемой преимущественно буржуазией, были напечатаны в декабре 1843 г. несколько писем одного вязальщика из Гинкли, в которых он описывает положение своих товарищей. Сообщает он, между прочим, о пятидесяти семьях, насчитывающих всего 321 человек и работающих на 109 станках; с каждого станка получалось в среднем $5\frac{1}{6}$ шилл. в неделю заработка, и каждая семья в среднем зарабатывала 11 шилл. и 4 пенса в неделю. Из этого заработка расходовалось на наем квартиры и вязальной машины, на уголь, освещение, мыло, иголки 5 шилл. 10 пенсов, так что на пищу оставалось по $1\frac{1}{2}$ пенса (15 прусских пфеннигов) в день на человека, а на одежду не оставалось ничего. «Ни один глаз,—пишет вязальщик,—не видел, ни одно ухо не слышало, и никакое сердце перечувствовать не может и половины тех страданий, кото-

рые приходится переносить этим бедным людям». Постелей нет вовсе или их не хватает; дети бегают оборванные и босые. Мужчины со слезами на глазах говорили: мы давно, очень давно уже не ели мяса, мы почти забыли вкус его. В конце концов некоторые стали работать и по воскресеньям, несмотря на то, что общественное мнение никогда им этого не простит и громкий стук машин слышен всем соседям. «Посмотрите на моих детей, — сказал один из них, — и перестаньте спрашивать. Моя бедность заставляет работать меня по воскресеньям; я не могу и не хочу вечно слышать крики моих детей, просящих хлеба, не испытав последнего средства честным путем зарабатывать хлеб. В прошлый понедельник я встал в два часа и работал почти до полуночи, а остальные дни я работал от 6 часов утра до 11—12 часов ночи; но мне это надоело, я вовсе не желаю вколотить себя в гроб. Я работаю поэтому каждый вечер до 10 часов и за то наверстываю потерянное время по воскресеньям». С 1833 г. вознаграждение не повысилось ни в Лейстере, ни в Дерби и Ноттингаме, и — что самое худшее — в Лейстере очень распространена *truck-system*, о чем мы говорили уже выше. Нет поэтому ничего удивительного, что вявальщики этой местности принимали самое деятельное участие во всех рабочих волнениях, тем более, что работают на машинах большею частью мужчины.

Местность, в которой живут чулочницы, является также главным центром *кружевного* производства. В упомянутых трех графствах работает в общем 2 760 кружевных машин, а во всей остальной Англии — только 786. Вследствие строго проведенного разделения труда кружевное производство очень осложнилось, разбившись на множество отдельных отраслей. Сначала наматываются нитки, что составляет работу девушек лет 14 и старше (*winders*); затем катушки вставляются в машины, и нитка проводится через мелкие отверстия, которых на каждой машине бывает около 1 800, что составляет работу мальчиков (*threaders*) от 8 лет и старше; потом рабочий изготовляет кружево, которое выходит из машины в виде широкой полосы; совсем маленькие дети разделяют полосу на отдельные части, вытягивая соединяющие их нити; этот процесс называется *gunning* или *drawing lace*, а сами дети называются *lace-runners*. После этого кружево окончательно готовится к продаже. *Winders*, как и *threaders* не имеют определенного рабочего времени — в них нуждаются лишь тогда, когда катушки в машине приходят к концу; а так как работа продолжается и ночью, то они могут быть во всякое время потребованы на фабрику или в мастерскую кружевника. Эта нерегулярность в работе, частая работа ночью, ненормальный

образ жизни, вытекающий отсюда, — все это приводит ко множеству вол, физических и моральных, в особенности к беспорядочным и ранним половым сношениям, на чем сходятся показания всех свидетелей. Самый труд очень вреден глазам: хронических заболеваний у *threaders* в общем не замечается, но все же у них часто встречается воспаление глаз, а вдевание ниток вызывает боль в глазах, слезы, временную неясность зрения и т. п. Относительно же *winders* установлено, что труд их серьезно вредит глазам, вызывая частые воспаления роговой оболочки, а иногда катаракту. Работа самих кружевников очень тяжела. Машины делаются все более и более широкими, так что в настоящее время работают почти только такие машины, у которых заняты три работника; один сменяет другого каждые четыре часа, так что машина работает полные сутки и каждый рабочий работает ежедневно по восьми часов. Этим объясняется, почему эти *winders* и *threaders* так часто должны работать ночью, чтобы машина не останавливалась. Для продевания ниток в 1 800 отверстий требуется работа трех детей в течение двух часов. Многие машины приводятся в движение паровой силой, которая вытесняет труд мужчин. В отчете *Children's Employment Commission* всюду говорится только о «кружевных фабриках», где работают и дети, откуда следует, что в настоящее время или кружевники работают в больших фабричных помещениях, или применение силы пара к изготовлению кружев получило всеобщее распространение. И в том, и в другом случае перед нами прогресс фабричной системы. Но самым нездоровым следует признать труд *ginnera*, большей частью детей семи, даже пяти или четырех лет. Комиссар Грэнджер нашел даже рав за этой работой ребенка *двух лет*. Ребенку приходится сосредоточить свое зрение на одной и той же нитке, которую надо вытягивать при помощи иголки из кружевной ткани. Работа эта очень вредно влияет на глаза, в особенности, если она, как это обыкновенно бывает, продолжается 14 — 16 часов. В лучшем случае развивается очень сильная близорукость, а в худшем, который встречается довольно часто, — темная вода и неизлечимая слепота. Работая постоянно в согнутом положении, дети вырастают слабыми, узкогрудыми и — вследствие дурного пищеварения — волотушными. Аномалии в половой сфере, а также искривление позвоночника составляют почти общее явление у девушек, так что «*ginner'a* можно узнать по походке». Такие же последствия как для глаз, так и для всего организма имеет *вышивание кружев*. Все эксперты-медики единогласно свидетельствуют, что здоровье всех детей, занятых в кружевном производстве, сильно страдает от их работы, что дети эти бледны, слабы, خیلی, слишком

малы для своего возраста и гораздо менее в состоянии противостоять болезни, чем другие дети. Обычные их страдания — общая слабость, частые обмороки, головные боли, боли в боку, спине и в тазу, сердцебиение, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, искривление позвоночника, золотуха и истощение. Особенно сильно страдает женский организм: везде жалуются на бледную немочь, трудные роды и выкидыши (Grainger, Report — во многих местах). Тот же чиновник докладывал Children's Employment Commission, что дети очень часто дурно одеты и оборваны, плохо питаются, большею частью одним хлебом и чаем, и часто целыми месяцами не едят мяса. — Что же касается их нравственности, то он говорит об этом следующее: «Все обитатели Ноттинггема — полиция, духовенство, фабриканты, рабочие и сами родители этих детей — убеждены в том, что современная система труда является чрезвычайно обильным источником безнравственности. Threaders, большею частью мальчики, и winders, большею частью девочки, одновременно вызываются на фабрику, часто среди ночи, а так как родители их не могут знать, сколько времени они там будут заняты, они имеют полную возможность вступать в неподобающие отношения и после работы вместе шататься. Это не мало содействовало развитию безнравственности, принявшей в Ноттинггеме по всеобщему призыванию ужасающие размеры. Мы не говорим уже о том, что это в высшей степени неестественное положение вещей совершенно нарушает покой и домашнюю жизнь семей, к которым принадлежат эти дети и молодые люди».

Другой отраслью производства кружев, плетением их на коклюшках, занимаются в земледельческих графствах — Нортгемптоншире, Оксфордшире, Бедфордшире и Бекингемшире. Занимаются этим большей частью дети и молодые люди. Все они жалуются на дурное питание и редко едят мясо. Самый труд их крайне вреден для здоровья. Дети работают в небольших, плохо вентилируемых и душных комнатах, всегда в сидячем и изогнутом положении, согнувшись над подушкой. Чтобы как-нибудь поддержать тело в этом неудобном положении, девушки носят корсеты с деревянными планшетами, а так как большинство девушек начинает работать в раннем возрасте, когда кости еще очень мягки, корсеты эти вызывают полнейшее смещение грудной кости и ребер и вообще узкогрудость. Поэтому большинство из них, протомучившись от жестоких (severest) последствий дурного пищеварения, вызванного сидячей жизнью и дурной атмосферой, умирают в чахотке. Они не получают никакого образования, любят наряды, и не получают никакого нравственного воспитания, вследствие чего их нравственный уровень самый жалкий п

проституция среди них носит почти эпидемический характер (Ch. Empl. Comm., Burns, Report).

Такова цена, которой общество оплачивает удовольствие прекрасных буржуазных дам наряжаться в кружева! И разве эта цена не крайне дешева? Всего лишь несколько тысяч слепых рабочих, чахоточных дочерей пролетариата, только одно хилое поколение грубой черни, которое передает эту хилость своим таким же грубым детям и внукам, — имеет ли это какое-нибудь значение? Никакого, решительно никакого! Наша английская буржуазия равнодушно отложит в сторону отчет правительственной комиссии и попрежнему будет наряжать своих жен и дочерей в кружева. Что за чудесная вещь — душевное равновесие английского буржуа!

Большое число рабочих занято на ситценабивных фабриках Ланкашира, Дербишира и запада Шотландии. Ни в одной отрасли английской промышленности развитие механики не увенчалось такими блестящими результатами, как в этой, но и ни в какой другой оно не привело к такому ухудшению положения рабочих. Применение узорных цилиндров, приводимых в движение паром, изобретение способа при помощи таких цилиндров одновременно печатать в четыре и шесть красок совершенно вытеснили ручной труд, как он вытеснен машинами из прядильной и ткацкой хлопчатобумажной промышленности. Но в ситцепечатных фабриках новые изобретения вытеснили еще гораздо больше рабочих. Один взрослый человек вместе с ребенком-подручным исполняют на машине ту работу, которую раньше 200 рабочих делали руками. Одна машина дает в минуту 28 ярдов (80 футов) печатного ситца. Вследствие этого положение набойщиков очень скверное. Согласно петиции их в Нижнюю палату, графства Ланкастер, Дерби и Честер доставили в 1842 г. 11 миллионов кусков печатного ситца в 1 — 6 красок; 100 000 из них было изготовлено только ручным способом, 900 000 — машинным и ручным способом и 10 миллионов — только машинами. Так как машины большей частью введены недавно и к тому же постоянно совершенствуются, то число ручных набойщиков бывает всегда больше, чем нужно для производства, и многие из них — в петиции сказано четверть всего их числа — разумеется, остаются без работы, а остальные бывают заняты лишь один или два, самое большее три дня в неделю, и получают самую низкую плату. Лич говорит, что на одной ситценабивной фабрике (Deerly Dale около Бери в Ланкашире) ручные набойщики зарабатывали в среднем не более пяти шиллингов (Stubb. Facts, p. 47), между тем как работающие при машинах получают довольно хорошую плату. Таким обра-

вом, ситцепечатни вполне усвоили фабричную систему, но тем не менее на них не распространяются фабричные законы. Они производят модный товар и потому у них нет установленного рабочего времени. Когда у них мало заказов, они работают половину времени, а если какой-нибудь рисунок имеет успех и дела идут хорошо, фабрика работает 10—12 часов, а иногда круглые сутки. Вблизи моей квартиры в Манчестере была ситценабивная фабрика. Возвращаясь домой поздно ночью, я не раз находил ее вполне освещенной, и мне не раз говорили, что детям там часто приходится работать так долго, что они стараются отдохнуть и поспать минуту-другую на каменной лестнице или в углу прихожей. У меня нет *документальных* подтверждений этого, иначе я назвал бы фирму. О положении рабочих в этой отрасли промышленности упоминается в отчете Children Employment Commission лишь бегло. Здесь сообщается лишь, что в Англии, по крайней мере, дети большей частью довольно хорошо одеты и хорошо питаются (относительно, конечно, в зависимости от того, много ли зарабатывают их родители или нет), что они не получают никакого образования и в моральном отношении оставляют желать многого. Ограничившись указанием на то, что дети эти находятся во власти фабричной системы, и ссылкой на сказанное об этой системе выше, мы можем перейти к дальнейшему.

Об остальных рабочих, занятых производством тканей, нам остается сказать не много. Работа *белильщиц* очень нездорова, так как им приходится постоянно вдыхать хлор — вещество, самым разрушительным образом действующее на легкие. Работа *красильщиц* не столь вредна, во многих случаях даже очень здорова, потому что требует напряжения всех мышц тела. О том, какова оплата этих рабочих, имеется мало сведений, и это доказывает, что она не ниже средней, ибо иначе слышны были бы жалобы на нее. *Стригальщицы бархата*, число которых при большом сбыте плиса довольно велико, доходя до 3 000 — 4 000, косвенно очень сильно пострадали от фабричной системы. Товар, который раньше изготовлялся на ручных ткацких станках, бывал сработан не совсем равномерно, так что для срезывания отдельных рядов ниток требовалась умелая рука. С тех пор же, как были введены механические ткацкие станки, ряды ниток стали получаться довольно ровные, каждая нитка совершенно параллельна предыдущей, так что для срезывания большого искусства не требуется. На эту легкую сравнительно работу набросились рабочие, лишившиеся своего постоянного заработка с введением машин, и своей конкуренцией понизили заработную плату. Фабриканты открыли, что эту работу можно поручить и женщинам, и детям,

заработная плата упала до уровня заработной платы женщин и детей, а сотни мужчин и совсем были вытеснены последними. Далее фабриканты нашли, что им гораздо меньше придется платить рабочим, если работа будет производиться не в мастерской рабочего, за наем которой фабриканту приходилось тогда косвенно платить, а у него же на фабрике. С тех пор мансарды многих коттеджей, служившие раньше мастерскими, опустели или сдаются под квартиры, и стригальщик не может уже больше работать, когда ему вдумается, а зависит от фабричного колокола. Один стригальщик, которому на вид было не более 45 лет, говорил мне, что он помнит время, когда он за ту работу, за которую он теперь получает по 1 пенни за ярд, получал по 8 пенсов за ярд: правда, теперь работа легче, чем раньше, и ее можно сделать быстрее, но не вдвое быстрее, так что заработная плата его уменьшилась более, чем на три четверти. Лич дает (Stubb. F., p. 35) сравнительную таблицу вознаграждения за различные ткани в 1827 и 1843 гг. Из нее явствует, что за те ткани, за которые в 1827 г. стригальщик получал по 4 п., $2\frac{1}{4}$ п., $2\frac{3}{4}$ п., 1 п. с ярда, он в 1843 г. получал только $1\frac{1}{2}$ п., $\frac{3}{4}$ п., 1 п. и $\frac{3}{8}$ п. с ярда. Средний заработок в неделю составлял по Личу в 1827 г. 1 ф. ст. 6 ш. 6 п. или 1 ф. ст. 2 ш. 6 п., или 1 ф. ст., или 1 ф. ст. 6 ш. 6 п., а в 1843 г. за те же товары — 10 ш. 6 п., или 7 ш. 6 п., или 6 ш. 8 п., или 10 ш. Но есть еще сотни рабочих, которые получают и того меньше.— О ручных ткачах, занятых в хлопчатобумажной промышленности, мы уже говорили выше. Остальные ткани изготовляются почти исключительно ручными ткачами, которые, как и стригальщики, пострадали от конкуренции рабочих, вытесненных машинами из других отраслей промышленности, и кроме того, подобно фабричным рабочим, строго штрафуются за плохую работу. Возьмем *ткачей шелка*. Фабрикант шелковых материй Брокльгерст, один из крупнейших во всей Англии, представил парламентской комиссии таблицы из своих книг, из которых видно, что за те работы, за которые он в 1821 г. платил 30 ш., 14 ш., $3\frac{1}{2}$ ш., $\frac{3}{4}$ ш., $1\frac{1}{12}$ ш., 10 ш., он в 1831 г. платит только 9 ш., $7\frac{1}{2}$ ш., $2\frac{1}{4}$ ш., $\frac{1}{3}$ ш., $\frac{1}{2}$ ш., $6\frac{1}{4}$ ш.; а между тем в этой отрасли промышленности никаких усовершенствований в машинах не было сделано. Но то, что произошло на фабрике г. Брокльгерста, можно, мне кажется, рассматривать как норму для всей Англии. Из тех же таблиц можно усмотреть, что средний заработок ткача за всеми вычетами составлял в 1821 г. $16\frac{1}{2}$ ш., а в 1831 г. 6 ш., в неделю. С тех пор заработная плата еще более понизилась; за те ткани (так наз. *single yarnets*), за которые в 1831 г. платили по $\frac{1}{3}$ ш. или 4 п. с ярда, платят в 1843 г.

только $2\frac{1}{2}$ п., а множество ткачей, живущих в деревне, может достать себе работу, только соглашаясь брать по $1\frac{1}{2}$ —2 п. с ярда. Сюда присоединяется еще крайний произвол при расчете. Каждый ткач, получающий основу, получает тоже карточку, на которой бывает обыкновенно написано, что работа принимается в такие-то часы, что ткач, который не может работать по болезни, должен об этом известить контору в течение трех дней, иначе болезнь не может служить оправданием; что не может также служить достаточным оправданием указание ткача на то, что ему пришлось ждать точной пряжи; что за определенные недостатки работы (если, например, на определенную длину ткани употреблено больше точных нитей, чем предписано и т. д.) вычитывается не менее половины заработной платы, а за опоздание с работой к определенному сроку вычитается по одному пенни с каждого ярда. — Все эти штрафы до чрезвычайности сокращают заработную плату. Насколько это сокращение значительно, доказывает, например, тот факт, что приемщик, привозящий два раза в неделю в Ли в Ланкашире для приема готовой ткани, привозит каждый раз своему фабриканту не менее 15 ф. ст. штрафных денег. Об этом свидетельствует он сам, а он считается одним из самых снисходительных приемщиков. Когда-то такие вещи решались третейским судом, но так как рабочие, настаивавшие на таком суде, большей частью получали расчет, обычай этот мало-помалу исчез, и фабрикант стал поступать совершенно произвольно: он и обвинитель, и свидетель, и судья, и законодатель, и исполнитель — все в одном лице. Когда же рабочий обращается к мировому судье, он получает в ответ: принявши карточку, вы заключили контракт и теперь должны его выполнить. Говорят им то же самое, что, как мы видели, отвечают и фабричным рабочим. Кроме того рабочего всякий раз заставляют подписывать бумагу, в которой он заявляет, что «согласен на сделанные вычеты». Если же он задумает сопротивляться, то все фабриканты города тотчас же получают извещение, что он человек, который, — говоря словами Лича, — «не желает подчиняться установленному карточками порядку и законности и имеет наглость сомневаться в мудрости тех, кто, как это должно быть ему известно, является в глазах общества его начальством». (Stubb. Fact., 37—40). Ткачи, разумеется, совершенно свободны, фабрикант их ничуть не принуждает брать у него основу и карточки, он говорит им только, по превосходному выражению Лича: «Не хотите жариться на моей сковородке, так ступайте прямо в огонь» (If you don't like to be frizzled in my frying-pan, you can take a walk into the fire). — Ткачи шелковых тканей в Лондоне и в особенности

в Спитальфильсе уже с давних пор периодически терпят величайшую нужду, и тот факт, что они принимают самое деятельное участие во всех рабочих выступлениях в Англии и, в особенности, в Лондоне, доказывает, что в настоящее время они не имеют основания быть довольными своим положением. Царившая среди них нужда привела к эпидемии горячки, разразившейся в восточной части Лондона и повлекшей за собой назначение комиссии для исследования санитарных условий жизни рабочего класса. Впрочем, из последнего отчета лондонской больницы видно, что эта горячка продолжает свирепствовать попрежнему.

Второй важной отраслью английской промышленности после производства одежды является производство *металлических изделий*. Центром этого производства являются *Бирмингам*, где производятся более тонкие металлические изделия, *Шеффильд*, центр производства ножей, и *Стаффордшир*, в особенности *Вольвергамптон*, где производится более грубый товар: замки, гвозди и т. д. Начнем описание положения рабочих, занятых в этой отрасли промышленности, с Бирмингама. Организация производства здесь, как и в большинстве городов, где производятся металлические изделия, сохранила некоторые черты старого ремесленного строя. Сохранились мелкие мастера, работающие со своими учениками или дома в своей мастерской, или, — в тех случаях, когда нужен паровой двигатель, — и в больших фабричных зданиях, разделенных на маленькие мастерские, сдающиеся мастерам в наем; в каждую мастерскую проведен передаточный ремень от парового двигателя, которым и приводятся в движение механизмы в мастерской. Леон Фоше (автор ряда статей о положении английского рабочего класса в журнале «Revue des deux Mondes», — статей, показывающих, что автор, по крайней мере, знаком с вопросом, и во всяком случае более ценных, чем все то, что об этом до сих пор было написано как англичанами, так и немцами) называет эту организацию производства, в противоположность крупному производству Ланкашира и Йоркшира, *démocratie industrielle* (промышленной демократией). Он при этом замечает, что такой способ производства не особенно благоприятно отзывался на положении мастеров и подмастерьев. Замечание это совершенно правильно: прибыль, которая при других условиях попадает в руки одного крупного фабриканта, при этих условиях, уменьшившись вследствие большой конкуренции, распределяется среди множества мелких мастеров, которым поэтому не очень-то сладко живется. Централизованная тенденция капитала постоянно давит на них, на одного нажившегося приходится десяток разорившихся и сотня других, кото-

рым под давлением одного богача, продающего дешевле, чем они, живется хуже, чем раньше. Само собою разумеется, что в тех случаях, когда мелким мастерам приходится конкурировать с крупными капиталами, они лишь с трудом сводят концы с концами. Ученикам, как мы увидим ниже, живется у мелких мастеров, по меньшей мере, так же плохо, как и у фабрикантов, с той только разницей, что они современем могут сами стать мастерами и достигнуть некоторой самостоятельности; другими словами, они не так непосредственно эксплуатируются буржуазией, как на фабриках. Таким образом, эти мелкие мастера ни настоящие пролетарии, — ибо они отчасти живут трудом учеников и продают не труд, а готовый продукт, — ни настоящие буржуа, потому что они главным образом живут все-таки своим собственным трудом. Этим своеобразным промежуточным положением рабочих Бирмингама объясняется то, что они очень редко прямо и открыто примыкали к английскому рабочему движению. В политическом отношении Бирмингам радикальный, но не чисто чартистский город. — Но в Бирмингаме имеется также множество крупных фабрик, принадлежащих капиталистам, и в них фабричная система царит полновластно. Разделение труда, проведенное здесь до мельчайших деталей (например, в изготовлении иголок), как и применение паровой силы, позволяют дать работу множеству женщин и детей. Вот почему мы здесь находим (согласно отчету Children's Employment Commission) те же черты, которые нам уже знакомы из фабричного отчета: работу женщин вплоть до родов, невозможность для них вести домашнее хозяйство, запущенность этого хозяйства и отсутствие надзора за детьми, равнодушие и даже антипатию к семейной жизни и общую деморализацию, вытеснение мужчин из этой области труда, постоянное усовершенствование машин, раннюю самостоятельность детей, мужчин, живущих на счет жен и детей и т. д. Дети, по словам отчета, полуголодны и оборваны. *Половина из не знает, что значит быть сытым*, многие живут целый день таким количеством хлеба, какое можно купить за один пенни (10 прусских пфеннигов) или до обеда не получают никакой пищи; бывали даже случаи, когда дети с восьми часов утра до семи часов вечера не получали никакой пищи. Одежда их очень часто едва прикрывает их наготу; многие даже зимой ходят босиком. Поэтому они вялы и слабы для своего возраста и редко достигают нормального развития. Если принять во внимание, что к столь скудным средствам восстановления физических сил присоединяется еще тяжелый и продолжительный труд в душных помещениях, будет вполне понятно, почему в Бирмингаме оказывается так мало

взрослых людей, годных для военной службы. «Рабочие, — говорит один из врачей, свидетельствующих рекрутов, — малы, худы и очень слабосильны, и у многих еще наблюдается искривление грудной кости и позвоночника». По свидетельству одного унтер-офицера, присутствовавшего при наборе рекрутов, мужчины в Бирмингеме меньшего роста, чем где бы то ни было: они большей частью бывают не больше 5 футов 4-5 дюймов, и из 613 на вербованных рекрутов только 238 оказались годными. Что касается просвещения, то об этом я уже привел выше ряд показаний и примеров, к которым я отсылаю читателя. Впрочем, прибавлю еще, что в Бирмингеме, как это видно из отчета Ch. E. Comm., более половины детей между 5 и 15 годами не посещает никакой школы; дети, посещающие школу, часто меняются, так что более или менее основательное обучение их невозможно, и все дети очень рано покидают школу и принимаются за работу. Из того же отчета видно, каков состав учителей в школах. Одна учительница на вопрос, преподает ли она и мораль, ответила: «Нет, за три пенса в неделю этого нельзя требовать». Некоторые другие учительницы совсем не поняли вопроса, а иные не считали моральное воспитание детей своей обязанностью. Одна учительница ответила, что морали она не преподает, но старается внушить детям хорошие принципы, и при этом употребила совершенно неправильное выражение. В школах, по словам комиссара, постоянный шум и беспорядок. Вследствие всего этого нравственный уровень самих детей заставляет желать очень многого; половина всех преступников моложе 15 лет; в течение одного только года было осуждено 90 десятилетних преступников, из коих 44 за уголовные преступления. Беспорядочные половые сношения составляют, по мнению комиссаров, почти общее явление, и притом уже в очень молодом возрасте. (Grainger, Rept. and evid.)

В железоделательном округе Стаффордшира положение вещей еще хуже. Производится здесь главным образом грубый железный товар, и в этой отрасли труда невозможны ни особенно большое разделение труда (за некоторыми исключениями), ни применение паровой силы и машин. Поэтому здесь — в Вольвергамптоне, Уилленхоле, Бильстоне, Седжли, Уенсфильде, Дарластоне, Дедли, Уольсале, Уенсбери и других — фабрик немного, но очень много небольших кузниц, в которых работает мелкий мастер с одним или несколькими учениками, обязанными служить у него до 21 года. Положение мелких мастеров приблизительно то же, что и в Бирмингеме, но ученикам живется большей частью гораздо хуже. Кормят их почти исключительно мясом больных или павших животных,

протухшим мясом, тухлой рыбой, мясом выкидышей-телят или задохшихся на железной дороге свиней. И так делают не только мелкие мастера, но и более крупные фабриканты, у которых работают 30—40 учеников. В Вольвергамптоне это составляет, по видимому, общее явление. Естественным следствием такого питания являются частые желудочные и другие заболевания. Дети редко наедаются досыта, редко имеют лишнюю одежду, кроме той, в которой работают, так что уже по одной этой причине не могут посещать воскресную школу. Жилища плохи и грязны, часто до такой степени, что становятся очагами болезней и, несмотря на то, что самый труд по большей части не вреден для здоровья, дети — малы ростом, плохо сложены, слабы и во многих случаях страшно изуродованы работой. В городе Уилленхоле, например, есть множество людей, которые от вечной работы у станка для нарезки винтов получили горб и искривление *одной* ноги — заднюю ногу, *hind-leg*, как они это называют, так что ноги имеют форму буквы К; кроме того по меньшей мере треть тамошних рабочих страдает грыжей. Здесь, как и в Вольвергамптоне, очень часты случаи заповдавшей половой зрелости как у девушек, — и они работают в кузницах! — так и у юношей, иногда до 19-летнего возраста. — В городе Седжли и его окрестностях, где изготавливаются почти исключительно гвозди, люди живут и работают в жалких хижинах, похожих на хлевы и грязных до невероятности. Девочки и мальчики берутся за молот с 10—12-летнего возраста, и только тогда считаются настоящими рабочими, когда они изготавливают по 1 000 гвоздей в день. За 1 200 гвоздей они получают $5\frac{3}{4}$ пенса. Каждый гвоздь требует 12 ударов молота, а так как молот весит $1\frac{1}{4}$ фунта, то рабочему, чтобы заработать эту жалкую плату, приходится поднять 18 000 фунтов. При таком тяжелом труде и недостаточном питании дети неизбежно становятся малорослыми и слабыми, что и подтверждается свидетельствами комиссаров. О состоянии просвещения в этом округе мы уже дали некоторые сведения выше. Оно здесь в невероятно плачевном состоянии: половина всех детей не посещает даже воскресных школ, а вторая половина посещает их крайне неаккуратно; сравнительно с другими округами очень мало детей умеет читать и еще меньше писать. И в этом нет ничего удивительного: между седьмым и десятым годом, т. е. как раз в ту пору, когда они могли бы с пользой начать посещение школы, дети принимаются уже за работу, а учителя воскресных школ — из кузнецов или рудокопов — часто сами едва умеют читать и не умеют даже подписать свою фамилию. Нравственный уровень вполне соответствует этим воспитательным средствам. В городе

Уилленхоле, — говорит комиссар Горн, подтверждая свои слова множеством примеров, — рабочие совершенно не имеют нравственного чувства. Дети не сознают своих обязанностей по отношению к родителям и совершенно к ним не привязаны. Они были так мало способны рассуждать, так тупы и глупы, что, работая 12—14 часов в сутки, одетые в лохмотья, не наедаясь досыта и получая побои, которые они чувствовали еще через несколько дней, они часто говорили, что обращение с ними хорошее и что им живется превосходно. Они не знали никакого другого образа жизни, работали с утра до самого вечера, пока им не разрешали прекратить работу, и совершенно не понимали вопроса, которого они не слышали до этого: не устали ли они? (Horne, Rept. and evid.)

В Шеффилде вознаграждение лучше, а потому лучше и внешнее положение рабочих. Но зато здесь следует отметить некоторые отрасли труда, чрезвычайно вредно влияющие на здоровье рабочих. При некоторых операциях инструменты постоянно давят на грудь, что часто вызывает чахотку: другие, как, например, изготовление напильников, мешают общему развитию тела и вызывают желудочные заболевания; вырезывание костяных ручек (для ножей) вызывает головные боли, разлитие желчи, а у девушек, которые часто занимаются этой работой, малокровие. Но самым вредным для здоровья трудом является оттачивание ножей и вилок, неминуемо влекущее за собой раннюю смерть, в особенности, если работа производится на сухом камне. Работа эта столь вредна отчасти потому, что приходится работать в согнутом положении, при котором грудь и желудок подвергаются постоянному давлению, отчасти потому, что при оттачивании от металла отделяется масса острой металлической пыли, наполняющей атмосферу и неизбежно попадающей в легкие. Точильщики на сухом камне в среднем едва доживают до 35 лет, а точильщики на мокром камне редко живут дольше 45. Д-р Найт в Шеффилде говорит: «Чтобы хоть до некоторой степени ясно охарактеризовать вред от этой работы, я должен сказать, что горчайшие пьяницы среди точильщиков — самые долговечные среди них, потому что они меньше других сидят за работой. Всего в Шеффилде насчитывается около 2 500 точильщиков. Около 150 из них (80 взрослых мужчин и 70 мальчиков) оттачивают вилки: они умирают обыкновенно в возрасте от 28 до 32 лет. Точильщики брить, работающие как на сухом, так и на мокром камне, умирают между 40 и 45 годами, а точильщики столовых ножей, работающие на мокром камне, умирают между 45 и 50 годами». — Тот же врач следующим образом описывает течение их болезни, так называемой

астмы точильщиков: «Начинают они работать обыкновенно на четырнадцатом году, и если организм у них вполне здоров, они до двадцатого года особых недугований не чувствуют; затем начинают обнаруживаться симптомы этой своеобразной болезни: при самом малейшем напряжении, при поднятии на лестницу или на гору, они задыхаются; чтобы облегчить постоянную, все усиливающуюся одышку, они высоко поднимают плечи, всегда наклоняются вперед и вообще чувствуют себя, повидимому, всего лучше в том наклонном положении, в каком им приходится работать; цвет лица их становится грязно-желтым, черты лица выражают тоску, они жалуются на стеснение в груди, голос становится глухим и хриплым, они громко кашляют, и кашель их звучит, как из пустой бочки; то и дело они отхаркивают большие количества пыли, смешанной с мокротой, в виде цилиндрических или шарообразных масс, покрытых тонким слоем мокроты. Вскоре затем появляется кровохаркание, невозможность оставаться в лежачем положении, ночной пот, понос с коликами, необычайное исхудание всего тела со всеми обычными симптомами легочной чахотки, и, промучившись многие месяцы и часто годы, неспособные ничего заработать ни для себя, ни для семьи, они, наконец, умирают. Мне остается прибавить, что все предпринятые до сих пор попытки предупредить и излечить эту астму потерпели полную неудачу». Это было написано десять лет тому назад. С тех пор число точильщиков, как и распространение болезни, значительно возросло, но были также предприняты попытки предупредить болезнь устройством закрытых точильных камней и удалением пыли при помощи тяги. Попытки эти удались, по крайней мере, отчасти, но сами точильщики не желают этих предохранительных приспособлений, и в некоторых местах даже разбивают их: они боятся, чтобы это не привлекло больше рабочих к их профессии и не понизило их заработной платы; они предпочитают «короткую, но веселую жизнь». Д-р Найт часто говорил точильщикам, являвшимся к нему с первыми симптомами астмы: вы умрете, если вернетесь к точильному камню. Но его никогда не слушались: кто раз стал точильщиком, тот делался совсем отчаянным, как будто он продал душу свою чорту. — Образование стоит в Шеффилде на очень низкой ступени. Один священник, долго занимавшийся статистикой образования, полагал, что из 16 500 детей рабочего класса, которые в состоянии посещать школу, умеют читать не более 6 500 человек. Объясняется это тем, что дети на седьмом — и самое позднее на двенадцатом — году оставляют школу и что учителя никуда не годятся; один из них был пойманным на месте преступления вором, который по выходе из тюрьмы не

нашел никакого другого средства существования, кроме учительства! Безнравственность молодежи в Шеффилде больше, кажется, чем где бы то ни было (впрочем, трудно сказать, какой город заслужил пальму первенства в этом отношении; о каком городе ни читаешь в отчете, кажется, что именно он достоин ее). Молодые люди весь воскресный день проводят на улице, играя в орлянку или натравливая собак друг на друга. Они усердно посещают трактиры, где проводят время со своими возлюбленными до поздней ночи, после чего отправляются с ними на уединенные прогулки. Один комиссар, посетив трактир, нашел в нем 40—50 молодых людей обоего пола. Почти все окавались моложе 17 лет. Сидели они попарно. Некоторые играли в карты, другие пели и танцевали, и все пили. Между ними сидели явные профессиональные проститутки. Нет поэтому ничего удивительного, если, согласно показаниям всех свидетелей, ранние беспорядочные половые сношения и проституция, которой занимаются часто уже подростки 14—15 лет, составляют в Шеффилде чрезвычайно частое явление. — Преступления крайне дикого, отчаянного характера вполне обычны. За год до прибытия комиссара была арестована компания большей частью молодых людей, намеревавшихся поджечь город; они в изобилии запаслись горючими веществами и пиками. Ниже мы увидим, что рабочее движение носило в Шеффилде такой же дикий характер (Symons, Rept. and evid.).

Вне этих главных центров металлической промышленности имеются еще фабрики булавок в Уоррингтоне (Ланкашир), где среди рабочих и в особенности среди детей тоже царит чрезмерная нищета, безнравственность и невежество, и несколько гвоздильных заводов в окрестностях Вигана (Ланкашир) и в восточной части Шотландии. Отчеты об этих округах почти совершенно совпадают с отчетами о Стаффордшире.

Нам осталось рассмотреть еще одну отрасль металлической промышленности — *производство машин*. Оно распространено главным образом в фабричных округах и в особенности в Ланкашире. Особенность этой отрасли производства заключается в том, что машины изготавливаются машинами же; этим равнушается последнее убежище, которое остается у рабочих, лишившихся заработка: работа по изготовлению тех самых машин, которые лишили их средств к существованию. Строгальные и сверлильные машины, машины для изготовления винтов, колес, гаек и т. д., механические токарные станки и здесь вытеснили массу рабочих, имевших раньше хороший и постоянный заработок, а теперь оставшихся без

работы. Таких безработных во множестве можно видеть в Манчестере.

Обратимся теперь к промышленному округу, расположенному к северу от железнодорожного района Стаффордшира. Здесь процветает *гончарное производство* (potteries); центром его является городская община (borough) Сток с населением в 60 000 человек, включающая в себе также селения Генли, Борслем, Лэн-Энд, Лэн-Дельф, Этрурию, Кольридж, Ланпорт, Тэнстоль и Гольден-Хилль. Заимствуем о нем некоторые сведения из отчета Ch. E. Comp. В некоторых отраслях гончарного производства дети заняты легкой работой в теплых помещениях, между тем как в других отраслях они исполняют тяжелую напряженную работу, не получая ни достаточной пищи, ни хорошей одежды. Многие дети жалуются: «Я очень мало ем, большей частью получаю только картофель с солью, а мяса и хлеба не дают никогда; в школу не хожу, платья у меня нет». — «Сегодня ничего не было на обед, дома никогда у нас не обедают, большей частью ем только картошку с солью и редко хлеб». — «Одежда, которая на мне надета, — все, что у меня есть; праздничной одежды у меня нет». Из особенно вредных детских работ следует упомянуть о работе mould-гипсе'гов; работа эта заключается в том, что дети относят готовые вещи вместе с формой в сушильную и затем, когда вещи подсохнут, приносят форму навад в мастерскую. Так они целый день ходят из мастерской в сушильную и обратно с ношей, слишком тяжелой для их возраста, а высокая температура, в которой им приходится работать, делает работу еще более изнурительной. Дети эти почти без исключений, худы, бледны, слабы, малорослы и дурно сложены; почти все они страдают болезнями желудка, рвотой, отсутствием аппетита, и многие умирают от истощения. Почти столь же слабы мальчики, носящие название jigger'ов, по колесу (jigger), которое им приходится вращать. Но значительно вреднее работа тех, которые погружают готовые предметы в жидкость с большим содержанием свинца, а часто и мышьяку, равно как и тех, которым приходится брать в руки только-что вынутые из этой жидкости предметы. Руки и одежда этих рабочих, взрослых мужчин и детей, всегда мокры от этой жидкости, кожа размягчается и легко сходит от постоянного прикосновения к шероховатой поверхности этих товаров, так что пальцы часто бывают изранены до крови, что чрезвычайно благоприятствует всасыванию опасных для здоровья веществ. В результате — сильные боли и серьезные болезни желудка и кишечника, упорные запоры, колики, иногда истощение и у детей чаще всего эпилепсия. У взрослых мужчин наступает обыкновенно

частичный паралич мышц руки, *colica pictorum* и паралич целых конечностей. Один свидетель рассказывает, что два мальчика, работавшие вместе с ним, умерли во время работы в судорогах; другой рабочий, работавший два года в глазировочном отделении, рассказывает, что сначала у него были сильные боли в животе, затем с ним случился припадок судорог, уложивший его в постель на два месяца, потом судороги стали появляться все чаще, а теперь они бывают каждый день, и часто у него бывает от десяти до двадцати эпилептических припадков в день. Правая сторона его тела парализована, и, как скавали ему врачи, он никогда не сможет более владеть ни рукой, ни ногой. На одной фабрике работало в глазировочном отделении четверо мужчин — все эпилептики и страдавшие упорными коликами — и одиннадцать мальчиков, из которых некоторые тоже уже были эпилептиками. Одним словом, страшная болезнь составляет вполне обычное последствие этого занятия, конечно к вящей наживе буржуазии! — В мастерских, где гончарные изделия полируются, воздух наполнен мелкой минеральной пылью, вдыхание которой столь же вредно, как вдыхание стальной пыли шеффилдскими точильщиками. Рабочие страдают одышкой, они не могут спокойно лежать, в горле у них образуются раны, они сильно кашляют и совершенно теряют голос. Все они умирают от чахотки. — В этой местности сравнительно много школ, так что дети могли бы учиться, если бы они так рано не отправлялись на фабрику и не были вынуждены так долго там работать (большой частью двенадцать часов в день, а часто и больше). Поэтому три четверти опрошенных комиссаром детей не умели ни читать, ни писать, и во всем округе царил величайшее невежество. Дети, годами посещавшие воскресную школу, не умели отличить одну букву от другой. Не только интеллектуальное, но и нравственное и религиозное воспитание стоит во всем округе на очень низкой ступени (*Scriven, Rept. and evid.*).

Перейдем теперь к *производству стеклянных изделий*. И здесь есть отрасли труда, для взрослых мужчин, повидимому, не очень вредные, но очень тяжело отражающиеся на детях. Тяжелый труд, отсутствие установленного рабочего времени, частые ночные работы и в особенности высокая температура в мастерских (300° — 330° Фаренгейта) — все это вызывает у детей общую слабость и болезненность, плохой рост и в особенности болезни глаз, желудка, дыхательных органов и ревматизм. Многие дети бледны, имеют красные глаза, часто лишаются зрения на целые недели, страдают сильно тошнотой, рвотой, кашлем, склонностью к простудам и ревматизму.

Когда вынимают готовые товары из печей, детям часто приходится оставаться в такой высокой температуре, что доски, на которых они стоят, загораются под ногами. Выдувальщики из стекла большей частью умирают в раннем возрасте от истощения и чахотки. — (Leifchild, Rept. App. Pt. II, p. 2, L 2, ss. 11, 12; Franks, Rept. App., Pt. II, p. K 7, s. 48; Tancred, Evid. App. Pt. II, p. i 76 etc.; все — в Ch. E. Rept.)

В общем отчет отмечает постепенное, но неуклонное проникновение фабричной системы во все отрасли промышленности, что особенно выражается в привлечении к работе женщин и детей. Я не считаю нужным проследивать всюду прогресс техники и вытеснение взрослых мужчин; кто хоть до некоторой степени знаком с промышленностью, сам без труда дополнит все мною не досказанное. У меня же нехватает места проследить в деталях эту сторону современного способа производства, рассмотренную мною только как один из результатов фабричной системы. Повсюду вводятся машины, уничтожая последние следы независимости рабочего. Везде семья разрушается работой женщин и детей или переворачивается вверх ногами, когда муж остается без работы. Повсюду необходимость введения машин передает в руки крупных капиталистов предприятия, а вместе с ними и рабочих. Централизация собственности неудержимо возрастает, разделение общества на крупных капиталистов и неимущих рабочих с каждым днем становится все резче, и все промышленное развитие нации гигантскими шагами движется к неизбежному кризису.

Я упоминал уже выше, что в области ремесла могущество капитала, а иногда и разделение труда, привели к тем же результатам, вытеснили мелкую буржуазию, поставив на ее место крупных капиталистов и неимущих рабочих. Об этих ремесленниках остается сказать, в сущности, очень мало, так как все, их касающееся, было мной уже изложено, когда речь шла о промышленном пролетариате вообще. К тому же здесь, со времени начала промышленного переворота, произошло очень мало перемен как в способе работы, так и в ее влиянии на здоровье рабочих. Но соприкосновение с настоящими промышленными рабочими, гнет крупных капиталистов, дающий себя чувствовать гораздо сильнее, чем гнет мелких мастеров, с которыми подмастерье находился в личных отношениях, влияние жизни в крупном городе и, наконец, понижение заработка — все это сделало почти всех ремесленников деятельными участниками в рабочем движении. Об этом у нас будет речь впереди, а до этого нам остается еще заняться одной группой рабочего населения Лондона,

заслуживающей особого внимания в виду необычайного варварства, с которым она эксплуатируется алчной буржуазией. Я имею здесь в виду модисток и швей.

Замечательно то, что изготовление именно тех предметов, которые служат для украшения *дам буржуазного общества*, сопровождается самыми печальными последствиями для здоровья занятых этим рабочих. Мы видели это уже, когда у нас шла речь о производстве кружев, а здесь мы докажем это примером модных магазинов Лондона. В этих магазинах занято множество молодых девушек, — насчитывают их до 15 000; обыкновенно это девушки, приехавшие из деревни; они получают у хозяев стол и квартиру и таким образом находятся у них в полном рабстве. Во время фешенебельного сезона, который продолжается четыре месяца в году, число рабочих часов даже в лучших магазинах доходит до 15 в день, а в случае спешки — до 18. Но в большинстве магазинов работают весь сезон без всякого определенного времени, так что девушки никогда не спят более шести часов, часто лишь только четыре, а иногда и два часа в сутки. Таким образом, они работают от 19 до 22 часов, а иногда — и это бывает довольно часто — работают и всю ночь напролет! Единственным пределом продолжительности их работы является полнейшая физическая невозможность держать иголку в руках. Случается, что эти беспомощные существа по девяти дней к ряду не раздеваются и спят только урывками на матраце; еду им дают разрезанную на кусочки, чтобы они как можно скорее могли проглотить ее. Одним словом, при помощи морального кнута — угрозы расчета — этих несчастных девушек принуждают к такой долгой и непрерывной работе, какую не мог бы выдержать и крепкий мужчина, а тем более хрупкая девушка в возрасте от 14 до 20 лет. Если вспомнить еще душную атмосферу мастерских и спален, согнутое положение, в котором они работают, часто дурную, трудно перевариваемую пищу, но главным образом все-таки продолжительный труд и невозможность дышать свежим воздухом, станет понятным, что все это должно оказать самое губительное влияние на здоровье девушек. Очень скоро появляются утомление, истощение, слабость, потеря аппетита, боли в плечах, спине и в тазу, и в особенности головные боли, затем искривление позвоночника, высокие сутулые плечи, худоба, опухшие, слезящиеся и вообще больные глаза, близорукость, кашель, узкогрудость и одышка, равно как и всевозможные ненормальности в развитии женского организма. Во многих случаях зрение так сильно портится, что наступает неизлечимая слепота, а если зрение остается еще сносным настолько, что можно продол-

жать работу, то чахотка обыкновенно прекращает короткую печальную жизнь этих изготовительниц нарядов. Даже у тех, которые рано оставляют работу, физическое здоровье никогда не восстанавливается вполне; они постоянно хворают, особенно после брака, и рожают хилых детей. Все врачи, опрошенные комиссаром (Ch. Emp. Comm.), единогласно утверждали, что трудно придумать другой образ жизни, который так разрушал бы здоровье и приводил бы к столь ранней смерти, как жизнь модисток.

С не меньшей жестокостью, но только менее непосредственно, эксплуатируются в Лондоне швеи вообще. Труд девушек, занятых изготовлением корсетов, тяжел, утомителен и вреден для глаз. Каково же вознаграждение, которое они получают? Этого я не знаю, но мне известно, что предприниматель, ручающийся за выданный ему материал и распределяющий работу между швеями, получает по $1\frac{1}{2}$ пенса (15 пфеннигов) со штуки. Отсюда он оставляет еще себе известный процент, который составляет, по меньшей мере, $\frac{1}{2}$ пенса, так что на долю бедных швей достается не больше 1 пенса. Девушки, изготавливающие галстуки, обязаны работать 16 часов и получают в неделю по $4\frac{1}{2}$ шиллинга, т. е. $1\frac{1}{2}$ таллера на прусские деньги, но на эту сумму они могут купить не больше, чем на 20 вильбергрошей в самом дорогом городе Германии.¹ Но хуже всего живется тем, которые пьют рубахи. За обыкновенную рубаху они получают $1\frac{1}{2}$ пенса. Раньше они получали от 2—3 пенсов, но с тех пор как дом св. Панкратия для бедных с *буржуазно-радикальной* администрацией стал брать работу за $1\frac{1}{2}$ пенса, бедные женщины вынуждены были согласиться на эту низкую плату. За тонкие рубашки с вышивкой, на изготовление которых требуется восемнадцать часов труда, платят 6 пенсов. Таким образом, заработок этих швей составляет при очень напряженной и продолжающейся до глубокой ночи работе, $2\frac{1}{2}$ —3 шилл. в неделю, что подтверждается многочисленными показаниями работниц и предпринимателей. Но венцом этого позорного варварства является то, что швей принуждают оставлять залог в размере части стоимости выданного им материала, для чего им, конечно, приходится — о чем прекрасно знают и собственники — часть материала закладывать. Впоследствии они должны либо выкупить этот материал с некоторой потерей для себя, либо, если они этого сделать не в состоянии, отвечать за это перед мировым судьей, как это случилось с одной швеей в ноябре 1843 года. Другая бедная девушка, оказавшись в подобном положении и не зная, что предпринять,

¹ См. «Weekly Dispatch», 16 марта 1844 г.

утопилась в канале в августе 1844 года. Эти швеи обыкновенно сильно нуждаются и живут в маленьких мансардах, где в каждой комнате набивается их столько, сколько может поместиться, и где зимой единственным средством отопления является живая теплота самих жильцов. Здесь они сидят, склонившись над работой, и шьют с 4—5 часов утра до полуночи, быстро разрушают свое здоровье и рано умирают. Они не в состоянии удовлетворить и самых настоятельных своих потребностей,¹ между тем как внизу проносятся по улице блестящие экипажи высшей буржуазии, и, быть может, тут же вблизи какой-нибудь жалкий дэнди проигрывает в один вечер в фараон больше денег, чем они могут заработать в течение целого года.

Таково положение промышленного пролетариата в Англии. Повсюду, куда бы мы ни посмотрели, мы находим постоянную или временную нищету, болезни, вызванные этим положением или характером самого труда, деморализацию; везде мы находим медленное, но неуклонное разрушение физических и духовных сил человечества. Может ли такое положение долго длиться?

Нет, не может и не будет. Рабочие, огромное большинство народа, этого не хотят. Посмотрим же, что они говорят об этом.

¹ Томас Гуд, самый талантливый из всех современных английских юмористов и, подобно всем юмористам, с очень чуткой душой, но без всякой энергии, обнаружил в начале 1844 года, когда описание нужды швей наполняло все газеты, прекрасное стихотворение: «The Song of the shirt» (Песня о рубашке). Оно вызвало не мало жалостливых, но бесполезных слез у многих буржуазных девиц. У меня нет места, чтобы воспроизвести здесь это стихотворение. Первоначально оно было помещено в «Punch», а потом обошло все газеты. Положение швей обсуждалось тогда во всех газетах, и потому приводить специальные цитаты не стоит.

VIII.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ.

Что английские рабочие не могут чувствовать себя счастливыми в том положении, в котором они находятся, должно быть, мне кажется, ясно всякому, даже если бы я не доказывал этого таким множеством примеров. Всякий, я думаю, согласится, что в этом положении человек или целый класс людей не может по-человечески жить, чувствовать и мыслить. Ясно, что рабочие должны стремиться выйти из этого положения, превращающего их в животных, и добиться лучшего положения, более достойного человека. Добиться же этого они не смогут, не нападая на интересы буржуазии как таковой, интересы, заключающиеся в эксплуатации рабочих. Буржуазия защищает эти интересы всеми средствами, которые предоставляют ей ее собственность и находящаяся в ее распоряжении государственная власть. Поскольку рабочий хочет освободиться от теперешнего положения вещей, буржуа становится заклятым его врагом.

Кроме того рабочий каждую минуту видит, что буржуазия обращается с ним как с вещью, как с своей собственностью, и по одному этому он становится ее врагом. Я уже выше показал на множестве примеров, число которых я мог бы увеличить до бесконечности, что при современных условиях рабочий может сохранить свое человеческое достоинство, только ненавидя буржуазию и возмущаясь против нее. А чтобы он мог протестовать против тирании имущих классов с сильнейшей страстью, об этом заботится его воспитание или, скорее, отсутствие воспитания, равно как и та значительная примесь горячей ирландской крови, которая имеется у английского рабочего класса. — Английский рабочий уже не англичанин, не расчетливый коммерческий человек, как его имущий соотечественник; чувства у него сильнее, а природная холодность северянина уравновешивается страстями, имевшими возможность развиться и получить власть над ним. Рассудочность, столь сильно содействующая развитию эгоистических задатков у английского буржуа, сделавшая себялюбие его главной страстью и сосредоточившая всю силу его

чувства на одной только наживе, у рабочего совершенно отсутствует, благодаря чему страсти его так же сильны и могучи, как и у иностранцев. Черты английского национального характера у рабочих исчезли.

Мы говорили уже выше, что единственной ареной проявления человеческих чувств для рабочего остался протест против его положения. Поэтому вполне естественно, что именно в этом протесте рабочие должны обнаружить самые симпатичные, самые благородные, самые человеческие свои черты. Мы ниже увидим, что вся сила, вся энергия рабочих направляется именно в эту сторону и что даже все их старания приобрести общее образование находятся с этим в непосредственной связи. Нам придется, правда, сообщить об отдельных насилиях и даже жестокостях рабочих, но при этом всегда следует иметь в виду, что в Англии социальная война ведется открыто и что если в интересах буржуазии — вести эту войну под лицемерным покровом мира и даже филантропии, то в интересах рабочего — разрушение этой лицемерной личины, раскрытие истинного положения вещей. Другими словами, необходимо помнить, что даже самые насильственные враждебные действия рабочих против буржуазии и ее слуг представляют лишь прямое, ничем не прикрытое выражение тех чувств, которые буржуазия по отношению к рабочим проявляет скрыто и исподтишка.

Возмущение рабочих против буржуазии началось вслед за развитием промышленности и прошло через различные фазисы. Здесь не место подробно останавливаться на историческом значении этих фазисов для развития английского народа. Вопросом этим я, может быть, займусь в особой книге, а здесь ограничусь одним изложением фактов, поскольку они необходимы для характеристики положения английского пролетариата.

Первой, наиболее грубой и самой бесплодной формой этого возмущения было преступление. Рабочий жил в нужде и нищете и видел, что другим людям живется лучше, чем ему. Он не мог понять, почему именно он, который делает для общества больше, чем богатый лентяй, должен жить в таких условиях. Нужда к тому же победила его врожденное уважение к собственности, и он стал воровать. Мы видели, что, по мере развития промышленности, число преступлений возрастало и что годовое число арестов находится в постоянном отношении к числу перерабатываемых кип хлопка.

Но рабочие скоро заметили, что воровство не помогает. Преступники могли протестовать путем воровства против существующего общественного строя только как отдельные лица; вся мощь

общества наваливалась на каждого в отдельности и подавляла его чрезмерным превосходством своих сил. К тому же кража была самой некультурной, самой бессознательной формой протеста и уже по одному этому не могла стать всеобщим выражением общественного мнения рабочих, хотя бы они в душе одобряли ее. Как рабочий *класс* рабочие впервые восстали против буржуазии тогда, когда силой воспротивились введению машин, что произошло в самом начале промышленного переворота. Первых изобретателей, как Аркрайта и др., преследовали именно таким образом, и машины их разбивали. Впоследствии начался ряд восстаний против введения машин, происходивших почти так же, как происходили волнения богемских набойщиков в июне 1844 г.: ломались машины и разрушались фабрики.

Эта форма протеста носила также изолированный характер, ограничивалась известными местностями и была направлена только против одной стороны современного строя. Притом же едва рабочим удавалось достичь временного успеха, как сила общества всей своей тяжестью вновь обрушивалась на беззащитных преступников, подвергая их всевозможным карам, а машины все же вводились. Было поэтому необходимо найти новую форму протеста.

В это время подоспел закон, изданный старым нереформированным, олигархически-торийским парламентом, — закон, который впоследствии, когда билль о реформе узаконил противоречие между буржуазией и пролетариатом и сделал буржуазию правящим классом, никогда не прошел бы через Нижнюю палату. Закон этот прошел в 1824 г. и упразднил все акты, воспрещавшие до тех пор союзы рабочих. Рабочие получили *право ассоциаций*, — право, принадлежавшее до тех пор только аристократии и буржуазии. Тайные союзы существовали, правда, и раньше среди рабочих, но крупных результатов они никогда не могли дать. Так, например, в Шотландии произошла, как рассказывает Саймонс («Arts and Artizans», стр. 137 и сл.), уже в 1812 г. общая стачка ткачей в Глазго, подготовленная тайным союзом. В 1822 г. стачка повторилась. Двум рабочим, которые не пожелали примкнуть к союзу и были поэтому объявлены изменниками своему классу, облили лица серной кислотой, так что они оба ослепли. В 1818 г. ассоциация шотландских рудокопов была настолько уже сильна, что ей удалось провести всеобщую забастовку. Каждый член ассоциации давал обет верности и соблюдения тайны. Имелись у них списки членов, кассы, счетоводство и филиальные отделения. Но так как вся деятельность этих союзов совершалась подпольно, то они правильно развиваться не могли. Когда же рабочие в 1824 г. получили право свободной

ассоциации, союзы эти очень быстро распространились по всей Англии и сильно развились. Во всех отраслях труда образовались такие союзы (*trades-unions*), открыто стремившиеся к защите каждого отдельного рабочего от тирании и несправедливости буржуазии. Целью их было: установление заработной платы, ведение переговоров с работодателями всем коллективом, являвшимся *силой*, регулирование заработной платы сообразно с прибылью работодателя, повышение заработной платы при удобном случае и удержание ее в каждой отрасли труда во всех фабриках на одном и том же уровне. Поэтому они вели обыкновенно переговоры с капиталистами об установлении обязательной для всех нормы заработной платы, а если кто отказывался принять эту норму, они объявляли у него стачку.

Далее, путем ограничения приема учеников, они старались поддержать спрос на рабочих и тем удержать заработную плату на известной высоте, старались по мере возможности противодействовать фабрикантам, когда те пытались введением новых машин и инструментов обходным путем понизить заработную плату и, наконец, поддерживали денежной помощью безработных рабочих. Последнее делалось или прямо из кассы союза, или при помощи карточки, которой удостоверялась личность рабочего и с которой он переходил с места на место, получая от товарищей по профессии поддержку и указания, куда обратиться за работой. Эти скитания называются у рабочих *the tramp*, а странствующий называется *tramp*. Для осуществления всех этих целей избираются председатель и секретарь союза на жалованьи, — надо ожидать, что ни один фабрикант людям работы не даст, — и комитет, собирающий еженедельные взносы и наблюдающий за расходом их в интересах союза. Когда это было возможно и оказывалось выгодным, ассоциации отдельных округов объединялись в федеративные союзы и устраивали через определенные промежутки времени собрания делегатов. В отдельных случаях делались попытки объединить всех рабочих одной профессии в один большой союз, а несколько раз — впервые в 1830 г. — пытались создать общую ассоциацию рабочих всей Англии с тем, чтобы каждая профессия сохранила свою собственную организацию. Эти ассоциации редко, однако, оказывались долговечными и большей частью даже не осуществлялись, ибо только чрезвычайное общее возбуждение может создать такие союзы и сделать их жизнеспособными.

Средства, которые союзы эти применяют для достижения своих целей, состоят в следующем. Если один или несколько предпри-

мателей отказываются принять норму заработной платы, установленную союзом, к ним отправляют делегацию или им подается петиция (рабочие, как видите, умеют оценить власть фабриканта, неограниченного властелина в его маленьком государстве-фабрике). Если это не помогает, союз отдает приказ прекратить эту работу, и все рабочие уходят домой. Забастовка эта (turn-out или strike) может быть частичной, если один или несколько фабрикантов отказываются признать норму заработной платы, установленную союзом, или всеобщей, если отказываются все фабриканты данной отрасли труда. Таковы законные средства союза — законные лишь в том случае, если забастовке предшествовало предупреждение, что бывает не всегда. Но покуда есть рабочие, стоящие вне ассоциации или выходящие из нее ради минутных выгод, предлагаемых фабрикантом, эти законные средства оказываются мало действительными. Особенно при частичных забастовках фабриканту легко набрать рабочих из числа этих «шаршивых овец» (называемых knobsticks) и парализовать таким образом усилия объединенных рабочих. Члены союза обыкновенно осыпают этих knobstick'ов угрозами, бьют их, бранят и так или иначе стараются их запугать. Те жалуются в суд, а так как благоговейная перед законом буржуазия сохраняет в своих руках всю власть, первый же незаконный акт, первая судебная жалоба против членов союза почти всегда разрушает силу ассоциации.

История этих союзов есть повесть о длинном ряде поражений рабочих, прерываемом иногда отдельными победами. Само собой понятно, что все усилия союзов не в состоянии изменить того экономического закона, согласно которому заработная плата определяется взаимоотношением спроса и предложения на рабочем рынке. Поэтому союзы бессильны устранить *важнейшие* причины, влияющие на это взаимоотношение. Во время промышленного кризиса союзу приходится либо самому понижать заработную плату, либо совсем распаться, а в случае значительного спроса на труд он не может установить заработную плату выше того уровня, на котором она сама собой установилась бы, в результате конкуренции капиталистов. Но зато они могут влиять на более мелкие причины, носящие частный или местный характер. Если бы фабрикант не имел перед собой концентрированной массы рабочих, готовой на отпор, он в своих интересах постепенно все более и более понижал бы заработную плату; конкуренция, которую ему приходится вести с другими фабрикантами, даже заставила бы его это делать, и заработная плата скоро упала бы до минимума. Вот эта конкуренция

фабрикантов *между собой при нормальных условиях* может быть парализована оппозицией рабочих. Каждый фабрикант знает, что на всякое сокращение заработной платы, не оправдываемое условиями, в которых находятся и его конкуренты, рабочие ответят стачкой, которая несомненно нанесет ему вред, потому что вложенный в дело капитал будет лежать без оборота и машины заржавеют. При всем том он далеко не может быть уверен в том, что в конце концов он этого сокращения заработной платы добьется, но зато он вполне уверен в том, что если это ему удастся, его конкуренты последуют его примеру и в то же время понизят цены на вырабатываемый ими фабрикат, так что барыш, на который он надеялся, опять ускользнет из его рук. Если после кризиса заработная плата и без содействия союза повысилась бы, то под давлением союза это увеличение пойдет быстрее. Фабрикант, соблюдая свои интересы, не повысит заработной платы раньше, чем конкуренция других предпринимателей его к этому не принудит; между тем раз существует союз, рабочие сами требуют повышения заработной платы, как только положение дел на рынке улучшается, и фабриканты в виду незначительного предложения труда и во избежание забастовки часто уступают их требованиям. Но, как я уже сказал, против более важных причин, изменяющих условия рабочего рынка, союзы беспомощны. В таких случаях голод заставляет рабочих приступить к работе на каких угодно условиях, а как только приступят к работе немногие, сила союза сломлена, потому что эти немногие knobstick'и, при наличии на рынке некоторых запасов товара, дают возможность буржуазии устранить самые тяжелые последствия перерыва в ходе производства. Фонды союза быстро истощаются, так как множество членов нуждается в поддержке; лавочники, дававшие до тех пор товары в кредит за высокие проценты, отказывают теперь в кредите, и нужда заставляет рабочих снова подчиниться игу буржуазии. Но фабриканты в своих собственных интересах, — конечно, это стало их интересом только в виду оппозиции рабочих, — избегают всякого ненужного сокращения заработной платы, между тем как рабочие видят в каждом таком понижении, хотя бы оно было вызвано состоянием рынка, ухудшение своего положения, от которого они стараются по мере возможности оградить себя, и поэтому большинство стачек кончается неблагоприятно для рабочих. Является вопрос, почему же рабочие объявляют стачку в таких случаях, когда бесполезность этой меры ясна для всякого? Да просто потому, что они *должны* протестовать против понижения заработной платы, даже против необходимости этого

понижения, потому что они должны заявить, что они, как люди, не могут применяться к обстоятельствам, а обстоятельства должны быть приспособлены к ним, к людям; молчание их было бы примирением с этими обстоятельствами, признанием за буржуазией права в годы расцвета торговли эксплуатировать рабочих, а во время застоя давать им умирать с голода. Рабочие должны против этого протестовать, покуда они не потеряли окончательно своего человеческого достоинства. Протестуют же они именно *таким образом*, а не иначе, потому, что они — англичане, люди практические, и выражают свой протест действиями, а не отправляются спокойно спать, подобно немецким теоретикам, как только их протест занесен в протокол и приложен к делу, чтобы там так же мирно спать, как сами протестанты. Активный протест англичанина, напротив, не остается без влияния: он удерживает алчность буржуазии в известных границах и не дает заглухнуть среди рабочих духу протеста против общественного и политического всемогущества имущего класса, заставляя их в то же время признать, что для того, чтобы сломить могущество буржуазии, нужно нечто большее, чем рабочие союзы и стачки. Важны же эти союзы и вызываемые ими стачки главным образом потому, что они представляют собой первую попытку рабочих *уничтожить конкуренцию*. Наличие их предполагает уже понимание того, что господство буржуазии основывается только на конкуренции рабочих между собой, т. е. на отсутствии солидарности между ними, на противоположении интересов одних рабочих интересам других. И именно потому, что все усилия их направлены, хотя, правда, и односторонне и узко, против конкуренции, против жизненного нерва современного социального строя, именно потому они для этого строя опасны. Рабочий не мог бы найти более уязвимого места буржуазии и вместе с ней всего современного общественного строя. Когда конкуренция рабочих между собой прекратится, когда все рабочие согласятся между собой и примут решение не давать более буржуазии эксплуатировать их, царству собственности наступит конец; заработная плата только потому зависит от условий спроса и предложения, от случайного состояния рабочего рынка, что рабочие до сих пор позволяли обращаться с собой как с вещью, которую можно покупать и продавать. Когда рабочие решатся положить конец такому состоянию вещей, когда они при установлении стоимости труда будут выступать не как вещи, а как *люди*, обладающие не только рабочей силой, но и волей, всей современной политической экономии и законам заработной платы наступит конец. Конечно, если бы рабочие остановились на этом, если бы они удовлетворились

только уничтожением конкуренции между собою, законы заработной платы в конце концов снова проявили бы свое значение. Но они не могут на этом остановиться, не отказавшись от всего своего движения, не восстановив опять этой самой конкуренции. Одним словом, они этим ограничиться не могут. Они должны уничтожить не *часть* конкуренции, а конкуренцию вообще, и они это сделают. Рабочие уже и теперь с каждым днем все более и более начинают понимать, какой вред наносит им конкуренция, они лучше, чем буржуазия, понимают, что конкуренция имущих между собой давит и рабочего, вызывая торговые кризисы, и что ее тоже нужно устранить. Скоро они поймут, как это нужно сделать.

Нечего, я думаю, доказывать, что союзы эти в значительной мере содействуют усилению ненависти и озлоблению рабочих против имущего класса. От них поэтому исходят — с ведома или без ведома руководителей — в периоды особенного возбуждения отдельные поступки, которые можно объяснить ненавистью, доведенной до отчаяния, дикой страстью, ломающей все границы. К таким поступкам следует отнести упомянутые выше случаи обливания серной кислотой, как и ряд других, из которых я приведу здесь несколько. В 1831 г. во время бурного рабочего движения был застрелен однажды вечером в поле молодой Аштон, фабрикант из Гайда близ Манчестера, и убийца открыт не был. Нет никакого сомнения, что убийство это было делом мести со стороны рабочих. — Очень часто случаются поджоги и покушения на взрывы. В пятницу 29 сентября 1843 г. была сделана попытка взорвать мастерскую пил фабриканта Паджина на Говард-стрите в *Шеффилде*. Воспользовались для этого железной трубкой, наполненной порохом и наглухо закрытой. Убытки были довольно значительны. На другой день, 30 сентября, была сделана такая же попытка на фабрике ножей и напильников Ибетсона в *Шельсмуре близ Шеффилда*. Фабрикант этот возбудил ненависть рабочих деятельным участием в буржуазных организациях, низкой оплатой труда своих рабочих, которых он набирал исключительно из knobstick'ов, и спекуляцией законами о бедных в свою пользу (во время кризиса 1842 г. он, чтобы заставить рабочих согласиться на низкую заработную плату, сообщил попечительству о бедных имена всех, кто на нее не соглашался, представляя их людьми, которые могут получить работу, но не хотят, и потому не заслуживают поддержки). Взрыв причинил довольно значительный вред, и все рабочие, приходившие на место происшествия, сожалели только о том, что не вся фабрика взлетела на воздух. — В пятницу 6 октября 1843 г. была сделана попытка

поджечь фабрику Энсворта и Кромптона в *Болтоне*, не причинившая никакого вреда. Это была уже третья или четвертая попытка на этой фабрике за очень короткое время. — В заседании городского совета *Шеффилда* в среду 10 января 1844 г. полицейский комиссар продемонстрировал специально приспособленную для взрыва машину из чугуна, наполненную четырьмя фунтами пороха и с обожженным, но потухшим фитилем; она была найдена на фабрике г. Китчена на Эрлстрите в Шеффилде. — В воскресенье 20 января 1844 г. произошел взрыв на лесопильном заводе Бентли и Уайта в *Бери* (в Ланкашире). Произведен он был брошенным внутрь фабрики пакетом с порохом и причинил значительный вред. — В четверг 1 февраля 1844 г. был подожжен и сделался жертвой пламени колесный завод Сого в *Шеффилде*. — Вот вам шесть таких случаев за четыре месяца, и все они были вызваны овлблением рабочих против работодателей. Незачем мне указывать на то, каков должен быть социальный строй, при котором такие вещи возможны. Факты эти с достаточной ясностью доказывают, что в Англии объявлена и открыто ведется социальная война, причем она не прекращается даже в такие цветущие периоды, как конец 1843 г. И все же английская буржуазия не хочет образумиться! — Но самым красноречивым фактом является процесс *глазговских thug'ов*,¹ разбиравшийся в суде присяжных в Глазго от 3 до 11 января 1838 г. Из разбора дела выяснилось, что союз прядильщиков, существовавший там с 1816 г., имел совсем особую организацию и был чрезвычайно могущественным. Члены его обязывались клятвою подчиняться решению большинства. Во время стачек действовал тайный комитет, оставшийся неизвестным огромному большинству членов союза и неограниченно распоряжавшийся его денежными средствами. Комитет назначал премии за убийство knobstick'ов и ненавистных фабрикантов и за поджоги фабрик. При его содействии была подожжена фабрика, в которой вместо мужчин-прядильщиков были наняты knobstick'и-женщины; мать одной из этих прядильщиц, г-жа Мак-Ферсон, была убита, и двое убийц были отправлены на счет союза в Америку. — Уже в 1820 г. стреляли в одного knobstick'а, Мак-Куэрри, ранили его, а союз уплатил за это стрелявшему 15 ф. ст. Позже опять стреляли в некоего Грэхэма; стрелявший получил 20 ф. ст., но был открыт и отправлен в пожизненную ссылку. Наконец, в мае 1837 г. произошли вследствие стачки

¹ Рабочие эти были названы thug'ами по имени известного ост-индского племени, единственным занятием которого было убийство всех попадавших к нему в руки чужестранцев.

беспорядки на фабриках в От-Банк и Майль-Энд, причем около дюжины knobstick'ов подверглось насилиям; в июле того же года беспорядки еще продолжались и один knobstick, некий Смит, был так избит, что умер от побоев. Тогда комитет был арестован, и началось следствие. Президент и важнейшие члены комитета были признаны виновными в участии в незаконных союзах, в избивании knobstick'ов и поджоге фабрики Джемса и Френсиса Вуда и приговорены к семилетней ссылке. — Что скажут на это наши добрые немцы? ¹

Имуций класс и в особенности промышленная часть его, приходящая в непосредственное соприкосновение с рабочими, с величайшей страстностью агитирует против этих союзов, постоянно пытается доказать рабочим бесполезность их. Доказывают они им это соображениями, которые с точки зрения политической экономии совершенно верны, но которые именно поэтому частью ошибочны и на ум рабочего совершенно повлиять не могут. Уж одно усердие буржуазии свидетельствует о том, что она здесь заинтересована, ибо, не говоря о непосредственных убытках от стачки, положение дел таково, что все, что попадает в карман фабриканта, извлекается из кармана рабочего. Если бы даже рабочие не знали отлично, что союзы, по крайней мере до некоторой степени, держат в известных границах аппетит нанимателя к сокращению заработной платы, они потому уж не отказались бы от союзов, что они этим могут нанести вред своим врагам-фабрикантам. На войне ущерб одной стороны уже сам по себе является выгодой для другой, а так как рабочие находятся с фабрикантами в состоянии войны, то они в данном случае делают то же самое, что делают и могущественные монархи, когда они вцепятся друг другу в волосы. — Самым ярким противником всех рабочих союзов является опять наш старый знакомый д-р Юр. Он с пеной у рта от негодования говорит о «тайных судилищах»

¹ «Какого рода чувство «дикой справедливости» (wild-justice) должно было владеть сердцем этих людей, если они, собравшись на конклав, с холодной рассудочностью объявляли своего же товарища-рабочего дезертиром своего сословия и изменником своему делу, приговаривали его к смерти и казнили рукой тайного палача, потому что государственные судьи и палач этого не делают. Все это напоминает старинный суд фемы или тайные судилища времен рыцарства, как будто вдруг воскресшие и представшие перед изумленным взором людей, — судилища, члены которых одеты не в панцири, а в плюсовые куртки, и собираются не в вестфальских лесах, а на мощеной улице Галлоугэт в Глазго! — Такое чувство должно быть очень сильно распространено в *массе*, чтобы оно могло проявиться в столь острой форме у *меньшинства*!» (Carlyle. «Chartism», p. 40.)

бумагопрядильщиков, самой могущественной организации рабочих, — судилищах, хвастающих, что они могут парализовать всякого непокорного фабриканта «и разорить таким образом человека, который в течение многих лет давал им средства к жизни». Он говорит о времени, «когда изобретательная голова и дающее всему жизнь сердце промышленности поработены беспокойными низшими членами», — жаль только, о новоявленный Менений Агриппа, что английских рабочих не так-то легко успокоить твоей басней, как римских плебеев! — и, наконец, рассказывает следующую милую историю. Мюльщики тоже когда-то самым безобразным образом злоупотребляли своей силой. Высокая заработная плата вместо того, чтобы вызвать чувство благодарности по отношению к фабриканту и стремление к умственному развитию (само собой разумеется, в науках, безвредных или даже полезных для буржуазии), во многих случаях возбуждала в них гордыню и давала им средства для поддержки строптивного духа в стачках, которые были устроены одна за другой на различных фабриках совершенно без всякой причины. Во время одной такой злосчастной сумятицы в Гайде, Декинфильде и окрестностях фабриканты, опасаясь быть вытесненными с рынка французами, бельгийцами и американцами, обратились к машиностроительному заводу Шарп, Роберт и К^о с просьбой направить изобретательский талант г. Шарпа на конструкцию автоматической мюльмашины, чтобы «спасти производство от грозящей ему гибели и фабрикантов от рабства, отравляющего им существование». — «Через несколько месяцев была создана машина, обладающая как будто разумом, чувством и тактом опытного рабочего. Так *железный человек*, как называют его рабочие, *вышел по повелению Минервы из рук современного Прометейя*. Это было создание, предназначенное восстановить порядок среди промышленных классов и обеспечить за англичанами господство в промышленности. Весть об этом новом геркулесовом подвиге распространила ужас в рабочих союзах, и *прежде чем это чудесное создание вышло, так сказать, из своей колыбели, оно уже задушило гидру анархии*». Далее Юр доказывает, что изобретение машины, дающей возможность печатать одновременно четырьмя и пятью красками, было следствием беспорядков среди ситцепечатников и что стропливость шлихтовщиков на ткацких фабриках вызвала к жизни новую усовершенствованную машину для шлихтования, и приводит еще несколько подобных случаев.¹ Тот же Юр несколько раньше выбивался из сил, доказывая на многих

¹ *Ure, Philosophy of Manufactures, p. 366 sq.*

страницах, что введение машин выгодно для рабочих! — Впрочем, Юр не один. В фабричном отчете фабрикант Ашворт и многие другие не упускают случая излить свое негодование на союзы рабочих. Подобно некоторым правительствам, эти премудрые буржуа приписывают все движения, которые им непонятны, влиянию злонамеренных агитаторов, неблагонамеренных личностей, демагогов, крикунов и молодежи. Они утверждают, что агенты этих союзов, получая жалованье от последних, заинтересованы в агитации; как будто не сама буржуазия делает необходимым для союзов содержание агентов, раз она таких людей лишает работы.

Самые забастовки, участвовавшие в невероятной степени, всего лучше доказывают, как сильна уже социальная война в Англии. Не проходит недели, почти даже дня, чтобы то там, то здесь не возникла стачка — то вследствие сокращения заработной платы, то вследствие отказа от повышения ее, то из-за приема на фабрику knobstick'ов, то из-за отказа устранить злоупотребления или плохие порядки, то из-за введения новых машин или из-за бесчисленного множества других вещей. Конечно, эти стачки только передовые стычки, превращающиеся лишь иногда в более серьезные битвы: исход их еще не решает ничего, но они с несомненной ясностью доказывают, что решительная битва между пролетариатом и буржуазией приближается. Стачки являются для рабочих военной школой, в которой они подготовляются к великой борьбе, ставшей уже неизбежной; стачки, наконец, являются манифестацией отдельных отраслей труда, возвещающей об их присоединении к великому рабочему движению. Если взять газету «Northern Star», единственную газету, дающую отчет о всех движениях пролетариата, и сопоставить все его выступления за один год, то окажется, что все рабочие городов и деревенских промышленных округов объединились в союзы и от времени до времени протестуют против господства буржуазии забастовками. Как военная школа, стачки незаменимы. В них развивается своеобразное мужество англичанина. На континенте говорят, что англичане и в особенности рабочие — трусы, что они не могут произвести революции; мнение это основано на том, что они не пользуются, подобно французам, каждым случаем, чтобы устроить возмущение, что они как будто спокойно мирятся с буржуазным режимом. Но это мнение совершенно ошибочно. Английские рабочие не уступают никакой нации в мужестве, они столь же беспокойны, как французы, но они борются иначе. Французы — политики по натуре и с социальным злом тоже борются на политической арене. Англичане же находят, что политика служит лишь

жорыстным интересам буржуазного общества и потому борются не с правительством, а непосредственно с буржуазией, и эта борьба покуда могла вестись с успехом лишь мирным путем. Застой в промышленности и вызванная им нищета повели в 1834 г. в Лионе к восстанию во имя республики, а в Манчестере в 1842 г. к всеобщей забастовке с требованиями народной хартии и повышения заработной платы. Но ясно, что для стачки тоже требуется мужество и даже большее, часто гораздо большее мужество, гораздо более смелая и твердая решимость, чем для восстания. Если рабочий, знающий по опыту, что такое нищета, смело идет ей навстречу с женой и детьми, месяцами переносит голод и нужду и остается твердым и непоколебимым, то это поистине не бездельца. Что такое смерть, галеры, угрожающие французскому революционеру, в сравнении с медленной смертью от голода, в сравнении с необходимостью изо дня в день смотреть на голодающую семью, в сравнении с уверенностью, что буржуазия когда-нибудь отомстит, одним словом, в сравнении со всем тем, что английский рабочий готов предпочесть подчинению игу имущего класса? Мы ниже приведем пример такого упорного, неодолимого мужества английского рабочего, уступающего силе лишь тогда, когда всякое сопротивление бесполезно и не имеет смысла. И именно в этой спокойной выдержанности, в этой непоколебимой решимости, ежедневно выдерживающей сотни испытаний, — именно в них английский рабочий обнаруживает наиболее достойную уважения черту своего характера. Люди, выносящие так много, чтобы победить одного лишь буржуа, будут в силах также сломить и мощь всей буржуазии. Но и помимо этого английский рабочий не раз обнаруживал достаточно мужества. Если стачка 1842 г. не имела дальнейших последствий, то это произошло отчасти оттого, что сами рабочие не понимали ясно ее цели и не были между собой солидарны. В других же случаях, когда дело шло об определенных *социальных* целях, рабочие не раз доказали свое мужество. Не говоря уже о восстании 1839 г. в Уэльсе, во время моего пребывания в Манчестере (в мае 1843 г.), там произошло настоящее сражение. На одном кирпичном заводе (Полинга и Генффри) была увеличена форма кирпичей без повышения заработной платы, хотя большие кирпичи продавались, конечно, по более высокой цене. Рабочие потребовали повышения заработной платы и, получив отказ, оставили завод, а союз их объявил бойкот фирмы. С большими усилиями фирме удалось, однако, найти рабочих в окрестностях из числа knobstick'ов. Сначала союз попытался запугать последних. Для охраны завода фирма наняла двенадцать человек из отставных

солдат и полицейских и вооружила их ружьями. Когда попытки запугивания не удались, отряд рабочих в один прекрасный вечер, часов около десяти явившись в военном порядке с авангардом, вооруженным ружьями, напал на завод, расположенный всего в шагах 400 от солдатских казарм.¹ Проникнув во двор завода, рабочие стали стрелять по сторожам, растоптали выложенные для сушки кирпичи, разбросали сложенные в кучи готовые кирпичи, разрушили все, что им попало под руку и, проникнув в одно здание, поломали всю мебель и нанесли побои жившей там жене надсмотрщика. Тем временем сторожа укрылись за изгородью, из-за которой они могли безопасно обстреливать рабочих. Рабочие стояли перед пылающей обжигательной печью, ярко освещавшей их, так что сторожа могли стрелять наверняка, а рабочие стреляли наугад. Тем не менее перестрелка продолжалась полчаса, пока не были истрачены все заряды, и не была достигнута цель нападения, т. е. не было разрушено на заводе все, что можно было разрушить. Потом появились войска, и рабочие отступили к Эккельсу (в трех милях от Манчестера). Здесь они сделали переключку, причем каждый вызывался по номеру, под которым он был записан в своей секции, и потом рассеялись, но тем вернее, конечно, попали в руки надвигавшейся со всех сторон полиции. Раненых, должно быть, было очень много, но стало известным лишь число тех раненых, которые попали в руки полиции. Один из них был ранен тремя пулями — в бедро, икру и плечо — и тем не менее успел проташиться более четырех миль. — Эти люди показали, кажется, с достаточной ясностью, что они не лишены революционной отваги и не боятся пуль. Если же невооруженная масса, сама незнающая, чего она собственно хочет, запертая на площадях, может быть усмирена несколькими драгунами и полицейскими, занявшими все выходы, как это случилось в 1842 г., то это далеко не доказывает еще отсутствия у нее мужества; эта масса ничего не предприняла бы и в том случае, если бы этих слуг государственной, т. е. буржуазной, власти и не было здесь. Там же, где народ имеет перед собою определенную цель, он обнаруживает достаточно мужества, что доказывает, например, нападение на фабрику Бирли, которую пришлось потом защищать при помощи артиллерии.

Скажем тут же кстати несколько слов о том, как свято чтутся в Англии законы. Конечно, для буржуа закон свят: ведь он плод его собственной мощи и вздан с его согласия для защиты его самого и его интересов. Он прекрасно знает, что если один какой-нибудь

¹ На углу улиц Кросс-Лэн и Риджент-Род (см. план Манчестера).

закон для него и оказывается вредным, то в общем законодательство направлено к защите его интересов. Он знает прежде всего, что святость закона, неприкосновенность порядка, установленного активным волеизъявлением одной части общества и пассивным — другой, является самой твердой опорой его социального положения. Для английского буржуа закон свят потому, что в нем, как и в своем боге, он находит себя самого. Вот почему палка полицейского, которая есть ведь в сущности палка буржуа, имеет такое поразительно умиротворяющее действие на него. Но этого далеко нельзя сказать о рабочих. Рабочий слишком хорошо знает и слишком часто испытал на опыте, что закон для него — кнут, сплетенный буржуазией, и потому имеет с ним дело только тогда, когда его к этому вынуждают. Смешно утверждать, будто английский рабочий боится полиции, когда в Манчестере колотят полицию каждую неделю, а в прошлом году была даже сделана попытка взять штурмом полицейский участок, защищенный железной дверью и толстыми ставнями. Сила полиции во время стачки 1842 г. основывалась, как уже сказано, лишь на нерешительности самих рабочих.

Итак, рабочие не почитают закона, а лишь подчиняются ему, когда они не в силах изменить его. Поэтому вполне естественно, что они, по меньшей мере, вносят предложение об изменении закона и стремятся поставить на место буржуазного закона закон пролетарский. Этим законом, который предложен пролетариатом, и является *народная хартия* (people's charter), хартия по форме чисто политическая и требующая организации Нижней палаты на демократических началах. *Чартизм* есть концентрированная форма оппозиции против буржуазии. В союзах и забастовках оппозиция всегда проявлялась в разрозненной форме; отдельные рабочие или группы рабочих боролись с отдельными буржуа. Если борьба принимала иногда характер общий, то это редко зависело от намерения рабочих; если же это делалось намеренно, то в основе этого лежал чартизм. Но в чартизме против буржуазии поднимается весь рабочий класс, нападая прежде всего на ее политическую мощь, на ту стену законов, которой она себя окружила. Чартизм есть детище *демократической партии, развивавшейся в 80-х годах XVIII столетия одновременно с пролетариатом и внутри его*. Во время французской революции эта партия усилилась и после заключения мира выступила как партия «радикальная». Главным ее центром были тогда Бирмингем и Манчестер, а раньше Лондон. В союзе с либеральной буржуазией она вырвала у олигархов старого парламента билль о реформе и с тех пор стала все более и более выступать как партия рабочая,

действовавшая уже против буржуазии. В 1835 г. комитет всеобщей лондонской ассоциации рабочих (Working Men's Association), с Уильямом Ловеттом во главе, составил народную хартию, заключавшую в себе следующие «шесть пунктов»: 1) всеобщее избирательное право для всех совершеннолетних мужчин, находящихся в здравом уме и не совершивших никакого преступления; 2) ежегодно переизбираемый парламент; 3) вознаграждение членов парламента, чтобы и бедные люди могли принять депутатские полномочия; 4) выборы путем закрытой баллотировки для устранения подкупа и запугиваний со стороны буржуазии; 5) равные избирательные округа, чтобы обеспечить равномерное представительство, и 6) отмена и без того чисто формального земельного ценза в 300 ф. ст. для депутатов, чтобы каждый избиратель мог быть также и выбранным. — Эти шесть пунктов, ограничивающиеся организацией Нижней палаты, как они ни невинны на первый взгляд, достаточны все же для того, чтобы смести с лица земли английскую конституцию вместе с королевой и Верхней палатой. Так называемый монархический и аристократический элементы в конституции существуют лишь потому, что буржуазия заинтересована в их *призрачном* существовании, ибо существование обоих в настоящее время лишь призрачное. Но когда Нижняя палата будет иметь за собой общественное мнение всей страны, когда она будет выражать волю не одной буржуазии, но всей нации, она так сполна завладеет всей властью, что монарх и аристократия потеряют последние признаки ореола святости. Английский рабочий не питает уважения ни к лордам, ни к королеве, между тем как буржуазия, хотя и мало интересуется тем, что думают в том или другом случае королева и лорды, но перед их личностями она благоговевает. Английский чартист — в политическом смысле республиканец, хотя никогда или, по крайней мере, почти никогда не употребляет этого слова. Он симпатизирует, конечно, республиканским партиям всех стран, но охотнее называет себя демократом. Но он больше, чем чистый республиканец; его демократичность не ограничивается одной политической областью.

С самого своего возникновения в 1835 г. чартизм был, правда, главным образом рабочим движением, но он тогда не отделялся еще резко от радикальной мелкой буржуазии. Радикализм рабочих шел рука об руку с радикализмом буржуазии. Хартия была пробным камнем обоих, и они вместе устраивали ежегодно «национальные конвенты» и составляли, казалось, одну партию. Мелкая буржуазия, разочаровавшись около этого времени в результатах билля о реформе и понеся убытки вследствие застоя в делах в 1837 — 1839 гг., была

настроена очень воинственно и кровавадно, и потому усиленная агитация чартистов была ей очень по душе. О силе этой агитации не имеют в Германии никакого представления. К народу обращались с призывом вооружаться и даже восстать. Изготавливались пики, как некогда в эпоху французской революции. В 1838 г. в движении принимал участие между прочим некий Стивенс, методистский священник, который произносил перед населением Манчестера такие речи: «Вам нечего бояться силы правительства, вам нечего бояться солдат, штыков и пушек, которые имеются у ваших угнетателей, — в ваших руках средство гораздо более мощное, чем все это, — оружие, против которого ни штыки, ни пушки ничего поделать не могут. И этим оружием может владеть десятилетний ребенок. Вам стоит только взять несколько спичек и пучок соломы, облитый смолой, хотел бы я посмотреть, что сделает правительство с своими сотнями тысяч солдат против этого оружия, если только его смело пускать в дело».¹ Но в то же время обнаружился уже тогда своеобразный *социальный* характер чартизма рабочих. Тот же Стивенс на собрании из 200 000 человек на Керсаль-Муре, упомянутой уже нами «священной горе» Манчестера, сказал следующее: «Чартизм, друзья мои, не вопрос политический, в котором дело идет об избирательном праве и т. п., а *вопрос ножа и вилки*; хартия — это хорошая квартира, хорошие еда и питье, хорошая заработная плата и короткий рабочий день». Поэтому движение против нового закона о бедных и за десятичасовой билль находилось уже и тогда в самой тесной связи с чартизмом. На всех митингах той эпохи выступал торий Остлер и наряду с национальной петицией о народной хартии, принятой в Бирмингеме, были приняты сотни петиций об улучшении социального положения рабочих. В 1839 г. агитация велась с тем же оживлением, и когда она к концу года стала ослабевать, Басси, Тэйлор и Фрост поспешили организовать восстание одновременно на севере Англии, в Йоркшире и Уэльсе. Фросту пришлось начать дело слишком рано, так как его планы были предательски раскрыты, и потому он потерпел неудачу. Организаторы восстания на севере успели узнать о неудачном исходе попытки Фроста и во-время отказались от своей попытки. Два месяца спустя, в январе 1840 г., произошло в Йоркшире несколько так называемых полицейских мятежей (*spu-outbreaks*), между прочим в Шеффилде и Брэдфорде, и возбуждение мало-по-малу улеглось. Тем временем буржуазия накинулась на более практичные и более выгодные для нее проекты, именно на

¹ Мы видели, как рабочие воспользовались этим советом.

борьбу с хлебными законами. В Манчестере образовалась Лига для борьбы с хлебными законами, и следствием ее возникновения явилось ослабление связи между радикальной буржуазией и пролетариатом. Рабочие скоро поняли, что им отмена хлебных законов может принести мало пользы, между тем как для буржуазии она очень выгодна, а потому добиться от них поддержки проекта буржуазии не удалось. Начался кризис 1842 г. Агитация снова оживилась и велась с такой же страстностью, как в 1839 г. На этот раз в агитации приняла участие и богатая промышленная буржуазия, очень сильно страдавшая от этого кризиса. Лига борьбы против хлебных законов, как стала называться организованная фабрикантами Манчестера ассоциация, приняла очень радикальный и боевой характер. Их журналы и агитаторы заговорили открыто революционным языком, что объясняется между прочим и тем, что с 1841 г. у власти стояла консервативная партия. Как раньше чартисты, так теперь они стали призывать к открытому восстанию. Рабочие, больше всех страдавшие от кризиса, тоже не оставались без дела, как это показывает национальная петиция этого года, под которой было 3¹/₂ миллиона подписей. Одним словом, если обе радикальные партии раньше немного разошлись, то теперь они вновь соединились. 15 февраля 1842 г. был составлен в собрании либералов и чартистов проект петиции, требовавшей как отмены пошлин на хлеб, так и принятия хартии. На следующий день обе партии одобрили петицию и затем в течение весны и лета велась страстная агитация за нее; между тем нищета все более увеличивалась. Буржуазия решила добиться отмены пошлин на хлеб, воспользовавшись кризисом, нуждой и общим возбуждением. Так как у кормила правления были тории, то буржуазия готова была даже отказаться наполовину от почвы законности: она хотела устроить революцию, но руками рабочих. Она хотела, чтобы рабочие таскали для нее каштаны из огня и ради нее обжигали свои пальцы. Многие пытались возродить идею чартистов (1839 г.) о «священном месяце», всеобщем празднике рабочих. Но на этот раз хотели праздновать не рабочие, а фабриканты. Они хотели закрыть свои фабрики, разослать рабочих по деревням во владения земельной аристократии и таким образом заставить торийский парламент и правительство отменить хлебные пошлины. Это, разумеется, повело бы к восстанию, но буржуазия оставалась бы в тени, спокойно ожидая результатов и, на случай неудачи, не компрометируя себя. В конце июля деловое положение стало улучшаться; это был как раз перелом. Дальше ждать нельзя было, и, чтобы не упустить совсем момента, три фирмы в Стэлибридже *при улучшающейся конь-*

юнктуре (ср. торговые отчеты Манчестера и Лидса за конец июля и начало августа) вдруг понизили заработную плату. Сделали ли они это по собственному побуждению или в согласии с остальными фабрикантами и в особенности с лигой, я решать не берусь. Две фирмы, однако, скоро отказались от этого, но третья, Уильям Бэли с братьями, осталась непреклонна и пришедшим жаловаться рабочим сказала, что если это им не нравится, то будет, пожалуй, лучше для них погулять некоторое время. На это издевательство рабочие ответили криками возмущения, оставили фабрику и стали расхаживать по городу и призывать рабочих к забастовке. Через несколько часов все фабрики стали, и рабочие двинулись длинной процессией в Моттрам-Мур для устройства митинга. Это произошло 5 августа. 8 августа они в числе 5 000 человек двинулись в Аштон и Гайд, остановили все фабрики и угольные шахты и повсюду устраивали митинги, на которых говорилось, однако, не об отмене пошлин на хлеб, как надеялась буржуазия, а «о честной плате за честную работу» (a fair day's wages for a fair day's work). 9 августа они двинулись в Манчестер, были *впущены властями*, которые все состояли из либералов, и остановили там все фабрики. 11 августа они пришли в Стокпорт и здесь впервые им было оказано сопротивление, когда они брали приступом любимое детище буржуазии — дом для бедных. В тот же день начались в Болтоне всеобщая забастовка и беспорядки, которым власти и здесь не препятствовали. Скоро движение распространилось на все промышленные округа, и все работы, за исключением уборки хлеба и заготовления съестных припасов, были прекращены. Но рабочие, хотя и восставшие, оставались спокойными. Они были втянуты в это восстание помимо их воли. Фабриканты, за исключением одного — *тория Барли* в Манчестере, *против своего обыкновения* не противились забастовке. Движение началось, хотя рабочие не имели перед собой определенной цели. Если они все сходились в нежелании дать себя перестрелять ради фабрикантов, стремящихся к отмене хлебных пошлин, то в остальном у них единодушия не было: одни хотели добиться народной хартии, другие считали это преждевременным и только хотели добиться такой заработной платы, какая была в 1840 г. По этим причинам все движение потерпело неудачу. Будь оно с самого начала сознательным, организованным, рабочим восстанием, оно несомненно увенчалось бы успехом. Но массы, выгнанные на улицу хозяевами помимо своего желанья, не имевшие перед собой никакой определенной цели, ничего не могли сделать. Тем временем буржуазия, не шевельнувшая и пальцем для того, чтобы на деле подтвердить соглашение от 15 февраля, очень быстро

поняла, что рабочие не хотят служить орудием в ее руках и что непоследовательность, с которой она уклонилась от «законного» пути, угрожает опасностью ей самой. Поняв это, она вернулась на свою излюбленную почву законности и перешла на сторону правительства против рабочих, которых она сама сначала побуждала, а потом понуждала к восстанию. Она записала себя и своих верных слуг в число специальных констеблей (в Манчестере принимали участие в этом отряде и немецкие купцы, без всякой нужды парадировавшие по улицам города с своими толстыми палками в руках и сигарами в зубах); в Престоне она велела стрелять в народ, и таким образом рабочие, восставшие помимо своей воли, вдруг увидели перед собой не только военную силу правительства, но и весь имущий класс. Рабочие, и без того не видевшие никакой определенной цели перед собой, постепенно разошлись, и восстание окончилось без дурных последствий. После этого буржуазия совершила еще целый ряд нивостей; она пыталась обелить себя, высказывая отвращение к насильственным действиям народа, что плохо согласовалось с ее революционными речами весной, взваливала всю вину восстания на чартистских «подстрекателей» и т. д., хотя она сама сделала гораздо больше, чем они, для вызова восстания, и с несравненным бесстыдством снова стала на свою старую точку зрения святости закона. Чартисты, почти ничем не способствовавшие восстанию, хотевшие сделать лишь то, что намеревалась сделать и буржуазия, т. е. воспользоваться им в своих интересах, были привлечены к судебной ответственности и осуждены, между тем как буржуазия совсем не потерпела и даже во время остановки производства с выгодой продавала свои товары.

Последствием этого восстания был полный разрыв между пролетариатом и буржуазией. Чартисты до сих пор вовсе не скрывали, что они готовы добиться своей хартии всякими средствами, не отступая и перед революцией. Буржуазия же, сразу понявшая теперь всю опасность всякого насильственного переворота для своего социального положения, и слышать более не хотела о «физической силе», желая осуществить свои цели одной «моральной силой» (как будто эта последняя есть что-либо иное, как не прямая или косвенная угроза физической силой). Это был один из спорных пунктов, который, однако, впоследствии был устранен утверждением чартистов, — в такой же степени достойных доверия, как и либеральная буржуазия, — будто они тоже не призывали к физической силе. Вторым важнейшим спорным пунктом, ярко обрисовавшим чартизм во всей его чистоте, было отношение его к вопросу о хлебных законах. В отмене этих законов была заинтересована радикальная буржуазия,

но не пролетариат. Прежняя чартистская партия распалась поэтому на две партии, политические принципы которых были на словах совершенно сходны, но которые тем не менее были совершенно различны и составлять одну партию безусловно не могли. На бирмингамском национальном конвенте в январе 1843 года представитель радикальной буржуазии, Стердж, предложил исключить из статуты чартистской ассоциации название хартии, мотивируя свое предложение тем, что название это после восстания связано с воспоминаниями о насильственных революционных действиях (связь эта впрочем существовала уже давно, и до сих пор г-н Стердж не находил нужным против этого возражать). Рабочие не пожелали отказать от этого названия, и когда при голосовании вопроса Стердж оказался в меньшинстве, этот квакер, ставший вдруг лойяльным, покинул в сопровождении этого меньшинства залу заседания и организовал из радикальной буржуазии «Complete Suffrage Association» («Союз полного избирательного права»). Нашему буржуа, бывшему еще столь недавно якобинцем, эти воспоминания вдруг стали так неприятны, что даже название всеобщего избирательного права (universal suffrage) он заменил смешным названием: полное избирательное право (complete suffrage). Рабочие осмелили его и спокойно пошли дальше своим путем.

С этого момента чартизм стал чисто рабочим движением, совершенно свободным от всяких буржуазных элементов. Газеты, требовавшие «полного» избирательного права, «Weekly Dispatch», «Weekly Chronicle», «Examiner» и др., мало-по-малу впали в тот же бесцветный тон, что и остальные либеральные газеты, стали защищать свободу торговли, нападать на десятичасовой билль и на все специально рабочие требования и вообще обнаружили мало радикализма. Во всех столкновениях либералов с чартистами радикальная буржуазия становилась на сторону первых и вообще поставила главной своей задачей борьбу с хлебными законами, что для англичан означало то же, что борьбу за свободу конкуренции. Этим самым она совершенно подпала под влияние либеральной буржуазии и теперь играет крайне жалкую роль.

Зато чартисты-рабочие с удвоенной энергией приняли участие в борьбе пролетариата против буржуазии. Свобода конкуренции причинила рабочим не мало страданий и сделалась им ненавистной; сторонники ее, буржуа, являются их заклятыми врагами. Полная свобода конкуренции может причинить рабочим один только вред. Все требования, которые они выставляли до сих пор, — десятичасовой билль, защита рабочего от капиталиста, повышение заработной

платы, обеспеченное положение, отмена нового закона о бедных, — требования, по меньшей мере столь же существенные для чартизма, как и «шесть пунктов», направлены прямо против свободы конкуренции и свободы торговли. Поэтому нет ничего удивительного, — этого английская буржуазия понять не может, — что рабочие и слышать не хотят о свободе конкуренции, свободе торговли и отмене хлебных пошлин, к этим требованиям по меньшей мере чрезвычайно равнодушны и крайне озлоблены против их защитников. Этот вопрос и является пунктом расхождения пролетариата и буржуазии, чартизма и радикализма, и буржуазный рассудок этого понять не может, потому что он не в состоянии понять пролетариата.

Но в этом же заключается и различие между чартистской демократией и всяческой политической буржуазной демократией. *По существу своему чартизм есть явление социального характера.* Для радикального буржуа «шесть пунктов» — все и вся, и, в крайнем случае, они должны вызвать еще некоторые реформы конституции; для пролетария эти «шесть пунктов» — лишь средство. «Политическая власть — наше средство, социальное благоденствие — наша цель» — таков теперь ясно выраженный девиз чартистов. Что все это есть «вопрос вилки и ножа», как выражался священник Стивенс, было в 1838 г. истиной лишь для некоторых чартистов, а в 1845 г. оно стало истиной для всех. Нет больше чистых политиков среди чартистов. Правда, социализм их находится еще в зачаточном состоянии, если они еще до сих пор видят главное средство против нищеты в разделе земли (allotment-system), что уже потеряло смысл в виду развития промышленности (см. Введение); вообще большинство их практических предложений (защита рабочих и т. д.) носит как будто реакционный характер. Но, с одной стороны, сами эти средства их таковы, что они должны или вновь подпасть под власть конкуренции и возродить старый порядок, или должны привести к уничтожению самой конкуренции, а с другой стороны, теперешнее невыясненное состояние чартизма, его отделение от чисто политической партии неизбежно должны привести к развитию *отличительных признаков* чартизма, обусловленных его социальной сущностью. Сближение его с социализмом неизбежно, в особенности, при ближайшем кризисе, который должен последовать после теперешнего оживленного состояния промышленности и торговли не позже 1847¹ года, но вероятно уже в будущем году, — кризисе, который превзойдет все прежние по силе и остроте, и, в связи с нуждой рабочих, будет

¹ (1892 г.) Предсказание сбылось в точности.

все более толкать их искать выхода не в политической, а в социальной области. Рабочие добьются своей хартии — это само собою разумеется, но до тех пор им станет ясно, что они могут добиться при помощи хартии много такого, о чем они пока почти не подозревают.

Тем временем и социалистическая агитация продолжает развиваться. Об английском *социализме* может быть здесь речь лишь постольку, поскольку он влияет на рабочий класс. Английские социалисты требуют постепенного введения общности имущества во внутренних колониях из 2 000 — 3 000 человек; в этих колониях будут заниматься промышленностью и земледелием, будут предоставлены всем равные права и равное воспитание; далее они требуют облегчения развода и учреждения разумного правительства, полной свободы мнения и отмены наказаний, которые должны быть заменены разумным общением с преступниками. Таковы их *практические* предложения; теоретические их принципы нас здесь не интересуют. Родоначальником английского социализма был фабрикант Оуэн. Поэтому его социализм, выходя по существу за пределы противоречия между буржуазией и пролетариатом, по форме все же относится с большой терпимостью к буржуазии и очень несправедливо к пролетариату. Социалисты вполне смиренны и миролюбивы, признают существующий порядок, как он ни плох, поскольку они отрицают всякий иной путь к его изменению, кроме публичной проповеди. В то же время принципы их настолько абстрактны, что в теперешней своей форме они никогда не смогут завоевать общественное мнение. При этом социалисты постоянно жалуются на деморализацию низших классов, не замечают в разложении общественного порядка элементов прогресса и упускают из виду, что деморализация имущих классов, лицемерных и преследующих лишь свои частные интересы, гораздо значительнее. Они не признают исторического развития и хотят ввести коммунистический строй немедленно, не работая для этой цели в современном обществе до тех пор, пока оно само собой не распадется. Они, правда, понимают, почему рабочий озлоблен против буржуа, но они считают его озлобление, являющееся единственным средством для того, чтобы вести рабочих вперед, неплодотворным и проповедуют им филантропию и всеобщую любовь, что для современной английской действительности еще более бесплодно. Они признают только психологическое развитие, развитие абстрактного человека, стоящего вне всякой связи с прошлым, а между тем весь мир, а с ним и отдельный человек, выросли на почве своего прошлого. Поэтому они — слишком ученые, слишком метафизики и большого успеха не имеют. Они отчасти приобретают сторонников

в рабочем классе, где к ним тяготеет очень небольшая часть, но, правда, наиболее образованная и энергичная. В теперешней своей форме социализм не может получить широкого распространения в рабочем классе. Ему придется даже унизиться и на некоторое время вернуться к чартистской точке зрения. Но социализм, развившийся из чартизма, очищенный от своих буржуазных элементов, истинно-пролетарский социализм, обнаружившийся уже и теперь у многих социалистов и у многих чартистских вождей, которые уже почти все социалисты,¹ будет, и очень скоро, играть выдающуюся роль в истории развития английского народа. Английский социализм, основа которого гораздо шире французского коммунизма, но который в развитии своем остался позади него, должен будет на некоторое время вернуться к точке зрения французской, чтобы потом пойти дальше ее. Но к тому времени разовьются, конечно, дальше и французы. В то же время социализм является самым решительным выражением царящего среди рабочих упадка религиозности, и столь резким, что рабочие не религиозные только на деле, *бессознательно*, часто пугаются этой резкости. Но и здесь нужда заставит рабочих отказаться от веры, которая — в чем они все более и более убеждаются — служит лишь для того, чтобы сделать их слабыми и покорными своей судьбе, послушными и преданными имущему классу, высасывающему из них все соки.

Итак, рабочее движение распадается на два направления: на чартистов и социалистов. Чартисты очень отстали, очень мало развиты, но зато они настоящие, душой и телом, пролетарии, истинные представители пролетариата. Социалисты смотрят гораздо шире, предлагают практические средства против нужды, но они вышли из рядов буржуазии и потому не в состоянии слиться с рабочим классом. Слияние социализма с чартизмом, воспроизведение французского коммунизма на английской почве — вот что должно последовать в ближайшем будущем и частью уже началось. Лишь тогда, когда это случится, рабочий класс действительно станет властелином Англии. Политически-социальное развитие тем временем тоже подвинется вперед и будет благоприятствовать этой зарождающейся партии, этому преобразованному в прогрессивном направлении чартизму.

Эти то совпадающие, то различные группы рабочих — члены союзов, чартисты и социалисты — устроили множество школ и читален для поднятия уровня духовного развития рабочих. Такие учреждения имеются у каждой социалистической, почти у каждой чартист-

¹ (1892) Социалисты, конечно, в общем, а не в узко оуэнистском смысле.

ской группы, как и у многих отдельных профессиональных союзов. Здесь дети получают чисто пролетарское воспитание, свободное от всяких влияний буржуазии, а в читальнях имеются исключительно или почти исключительно пролетарские журналы, газеты и книги. Эти учреждения очень опасны для буржуазии, и ей удалось уже в некоторых из них, а именно в «Mechanic's institutions», устранить пролетарское влияние и превратить их в органы для распространения среди рабочих полезных для буржуазии знаний. Здесь им преподаются естественные науки, изучение которых отвлекает рабочих от оппозиции против буржуазии и может кое-кого из них натолкнуть на изобретение, которое увеличит доходы буржуазии. Для самого же рабочего изучение природы теперь совершенно бесполезно, потому что в большом городе, где он живет, и при большой продолжительности рабочего дня он и природы-то никогда не видит. Здесь проповедуется политическая экономия, идолом которой является свободная конкуренция; из нее рабочий может сделать лишь тот единственный вывод, что самое разумное для него умереть с голода в тихом примирении со всем существующим. Здесь воспитание учит смиреннию, здесь все гибко и приспособлено для надобностей господствующей политики и религии, так что рабочий слышит только проповедь повиновения, пассивности и покорности судьбе. Естественно, что масса рабочих этих школ и знать не хочет, идет в пролетарские читальни и занимается обсуждением вопросов, непосредственно касающихся их собственных интересов. И тогда самодовольная буржуазия говорит свое «dixi et salvavi» и с презрением отворачивается от класса, который «предпочитает солидному образованию страстные и озлобленные выходки злонамеренных демагогов». Впрочем, рабочие ценят и «солидное образование», если оно им не преподносится в соединении с мудростью буржуазии, приспособленной к ее интересам, что доказывает множество лекций на естественно-научные, эстетические и политико-экономические темы, — лекций, которые читаются во всех пролетарских учреждениях, в особенности социалистических, и очень хорошо посещаются. Мне случалось встречать рабочих в изорванных плисовых куртках, обнаруживавших больше знаний по геологии, астрономии и т. д., чем иной образованный буржуа в Германии. Насколько английскому пролетариату удалось добиться самостоятельного развития, доказывает особенно тот факт, что наиболее замечательные произведения новейшей философии, политической и поэтической литературы читаются почти исключительно рабочими. Буржуа — раб данного социального строя и связанных с ним предрассудков —

боятся всего, что действительно знаменует собой прогресс, и усердно отрещивается от него; пролетарий же смотрит на все новое открытыми глазами и изучает его с наслаждением и успехом. В этом отношении социалисты особенно много сделали для просвещения пролетариата; они перевели французских материалистов, *Гельвеция*, *Гольбаха*, *Дидро* и т. д., и распространили их в дешевых изданиях вместе с лучшими произведениями английских авторов. «Жизнь Иисуса» *Штрауса* и «Собственность» *Прудона* тоже циркулируют только среди пролетариев. Шелли, гениальный пророк *Шелли*, и *Байрон* с своим чувственным пылом и горькой сатирой на современное общество имеют больше всего читателей среди рабочих; буржуа читает только так называемые «семейные издания», оскопленные и приспособленные к современной лицемерной морали. — Оба величайших практических философа последнего времени, *Бентам* и *Годвин*, особенно последний, тоже читаются почти исключительно пролетариатом. Если среди радикальной буржуазии и существует школа Бентама, то ведь только пролетариату и социалистам удалось дальше развить его учение. На этих основах пролетариат создал свою собственную литературу, состоящую большей частью из современных изданий и брошюр и по содержанию своему далеко превосходящую всю литературу буржуазии. Но об этом поговорим в другой раз.

Мне остается сделать еще одно замечание. Ядро рабочего движения составляют фабричные рабочие и среди них в особенности рабочие хлопчатобумажных фабрик. Ланкашир и специально Манчестер — центр сильнейших рабочих союзов, центральный пункт чартизма, пункт, насчитывающий больше всего социалистов. Чем более фабричная система проникает в какую-нибудь отрасль труда, тем более принимают участие в движении рабочие этой отрасли труда. Чем более развивается противоречие между рабочими и капиталистами, тем более развивается, тем более проясняется пролетарское сознание рабочего. Мелкие мастера Бирмингама, хотя тоже страдают от кризисов, все же занимают влосчастнсе промежуточное положение между пролетарским чартизмом и радикализмом лавочников. В общем же все промышленные рабочие захвачены, в той или иной форме, борьбой против капитала и буржуазии. Все они сходятся на том, что они «working men» (рабочие), — звание, которым они гордятся и которое служит обычным обращением на собраниях чартистов, — самостоятельный класс с собственными интересами и принципами, с собственным мировоззрением, класс, противоположный всем имущим классам и хранящий в себе силы нации и способность к их дальнейшему развитию.

IX.

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЛЕТАРИАТ.

Добыча сырого материала и топлива для такой колоссальной промышленности, как английская, занимает тоже значительное число рабочих. Но из всех сырых материалов добываются в самой Англии — кроме шерсти, доставляемой земледельческими округами — только минералы, металлы и каменный уголь. В Корнуэле есть богатые медные, оловянные, цинковые и свинцовые рудники, в Стаффордшире, северном Уэльсе и других округах добывается много железа, а почти весь север и запад Англии, средняя Шотландия и некоторые округа Ирландии дают в изобилии каменный уголь.¹

В Корнуэле занято в горном промысле 19 000 мужчин и 11 000 женщин и детей, работающих частью под землей, частью на ее

¹ Согласно переписи 1841 г., число занятых в горных промыслах Великобритании (кроме Ирландии) рабочих составляло:

	Мужчин		Женщин		Всего
	Старше 20 л.	Моложе 20 л.	Старше 20 л.	Моложе 20 л.	
В каменноугольных копях . .	83 408	32 475	1 185	1 165	118 233
» медных рудниках	9 866	3 428	913	1 200	15 407
» свинцовых рудниках	9 427	1 932	40	20	11 419
» железных рудниках	7 733	2 679	424	73	10 949
» оловянных рудниках	4 602	1 349	68	82	6 101
» различных других, при которых не приведено было название добываемого минерала	24 162	6 591	472	491	31 616
Итого . .	139 238	48 454	3 102	3 031	193 825

Так как в угольных копях и железных рудниках работают большей частью одни и те же рабочие, то часть рабочих из тех, которые записаны за каменноугольными копями, должна быть отнесена к железным рудникам. Сюда же надо отнести значительную часть рабочих, записанных в последнюю рубрику.

поверхности. В самих рудниках работают почти исключительно мужчины и мальчики старше 12 лет. Судя по Children's Employment Report, материальное положение этих рабочих новидимому довольно сносно, и англичане часто хвастают своими сильными и смелыми корнуэльскими рудокопами, разрабатывающими рудные жилы даже под морским дном. Впрочем, Ch. E. Rept. дает о силе этих людей несколько иной отзыв. В умело составленном отчете д-ра Баргама доказывается, что вдыхание воздуха, находящегося в глубине рудников, содержащего мало кислорода и смешанного с пылью и дымом от взрывов употребляемого при работе пороха, серьезно вредит легким, нарушает деятельность сердца и ослабляет органы пищеварения; что напряженная работа и в особенности хождение вверх и вниз по лестницам, отнимающее в иных копиях даже у молодых, сильных мужчин ежедневно свыше часа до работы и после нее, тоже значительно содействует усилению упомянутых выше болезней, так что мужчины, рано начинающие работать в копиях, далеко не обладают той физической силой, какой обладают женщины, работающие на поверхности земли; что многие умирают в молодые годы от скоротечной чахотки, а большинство — в самом цветущем возрасте от медленной чахотки; что рабочие рано старятся и между 35 — 45 годами теряют способность к труду; что очень многие, сильно вспотев во время трудного подъема по лестнице, при переходе из теплого воздуха шахты на холодный воздух на поверхности земли, простуживаются, получают острые воспаления и без того болезненных дыхательных органов, часто приводящие к смерти. Работа на поверхности земли, разбивание и сортировка руды, производится девушками и детьми; Ch. E. Rept. называет эту работу очень здоровой, потому что она производится на свежем воздухе.

На севере Англии, на границе графств Нортемберлендского и Дургамского находятся богатые Ольстонмурские свинцовые рудники. Отчет об этой местности, помещенный в Ch. Emp. Rept., составлен комиссаром Митчелем и почти вполне совпадает с отчетом о Корнуэле. И здесь указывается на недостаток кислорода, на большое содержание нити, порохового дыма, углекислоты и сернистых газов в воздухе штолен. Вследствие этого рудокопы здесь, как и в Корнуэле, малы ростом и, начиная с 30 лет, почти все страдают легочными болезнями, которые в конце концов, в особенности, если большой, как это почти всегда и бывает, продолжает работать, переходят в настоящую чахотку, значительно понижая средний возраст этих людей. Если рудокопы этой местности живут несколько

дольше рудокопов корнуэльских, то это объясняется тем, что они начинают работать в шахтах лишь с 19 лет, тогда как в Корнуэле, как мы видели, работа эта начинается уже с 12 лет. Но и здесь большинство, по показаниям врачей, умирает между 40 и 50 годами. Из 79 рудокопов, смерть которых была занесена в официальные акты округа, 37 человек умерло от чахотки и 6 от астмы, а средний возраст всех их составлял 45 лет. В окрестных селениях, Оллендэла, Стэнгопе и Миддльтоне, средний возраст составлял 49, 48 и 47 лет, а смертность от легочных болезней составляла 48, 54 и 56% общей смертности. Необходимо при этом иметь в виду, что все эти показания относятся только к рудокопам, начавшим работать в шахтах *не раньше 19 лет*. Сравним с этим так называемые шведские таблицы, подробные таблицы смертности, относящиеся ко всему населению Швеции, которые в Англии до сих пор считаются самым верным масштабом средней продолжительности жизни британского рабочего класса. Согласно этим таблицам, средняя продолжительность жизни мужчин, перешедших за 19-летний возраст, составляет 57½ лет, и, следовательно, жизнь рудокопов северной Англии сокращается их трудом в среднем на десять лет. Но не следует забывать, что шведские таблицы считаются масштабом средней продолжительности жизни *рабочих*, т. е. представляют шансы жизни в неблагоприятных условиях существования пролетариата, и значит, дают продолжительность жизни ниже нормальной. В этой местности мы находим те же ночлежные приюты и углы, с которыми мы уже познакомились при изучении больших городов. Здесь они, по меньшей мере, столь же грязны, отвратительны и тесны. Митчель видел комнату в 18 футов длиной и 15 футов шириной, в которой получали приют 42 взрослых мужчин и 14 мальчиков, всего 56 человек, в 14 кроватях, из которых одна половина была устроена *над* другой, как на кораблях. Отдушин для вентиляции не было. Хотя уже три ночи никто там не спал, запах и атмосфера в ней были таковы, что Митчель не мог оставаться в ней ни одной минуты. Каково же должно быть там в жаркую летнюю ночь, когда там ночует 56 человек! И это не междупалубное пространство американского невольничьего корабля, а жилище «свободнорожденных британцев».

Перейдем теперь к самым важным отраслям английской горной промышленности — к железным рудникам и каменноугольным копям, которые Ch. E. Rept. рассматривает вместе, и притом очень подробно, как этого и требует важность предмета. Почти вся первая часть этого отчета касается положения рабочих, занятых в этих двух отраслях труда. Но я уже описал детально положение

промышленных рабочих вообще, и я могу здесь быть очень кратким, чтобы не выходить за пределы размеров этой книги.

В каменноугольных копях и железных рудниках, эксплуатируемых приблизительно одними и теми же способами, работают дети 4, 5, 7-и лет, но в большинстве старше 8 лет. Работа заключается в том, что они переносят выломанный материал с места его добычи в главную шахту или в такое место, откуда он может перевозиться дальше на лошадях. Другая работа их состоит в том, что они стоят у дверей, ведущих из одной части шахты в другую, чтобы открывать и закрывать их для пропуска рабочих и материала. Для последней работы употребляются большей частью самые маленькие дети. В течение 12 часов в день они одиноко сидят в темноте, в тесном, большей частью сыром, проходе, не имея даже столько работы, сколько это необходимо, чтобы спасти их от оупляющей скуки ничегонеделания. Зато переноска угля и железной руды — очень тяжелый труд, потому что материал приходится перетаскивать в довольно больших кузовах без колес прямо по неровному полу штолен, часто по сырой глине или по воде, по крутым подъемам и проходам, иногда столь тесным, что рабочим приходится пробираться по ним ползком. Для этой тяжелой работы употребляются дети постарше и девочки-подростки. Каждый кузов тащит или один взрослый рабочий, или двое детей, из которых один тащит корзину, а другой ее подталкивает. Откалывание руды — тоже очень утомительная работа: ею занимаются взрослые мужчины и сильные юноши 16 лет и старше. Обычный рабочий день 11 — 12 часов, часто работают и дольше, а в Шотландии работают по 14 часов. Очень часто работают двойное время, так что все рабочие проводят под землей 24, а нередко и 36 рабочих часов кряду. Определенного времени для еды по большей части нет, и рабочие для утоления голода должны улучать свободную от работы минуту.

С внешней стороны положение рудокопов в общем считается довольно хорошим, а заработная плата их даже высокой сравнительно с заработной платой их соседей, сельскохозяйственных рабочих (которые, впрочем, умирают с голоду). Исключение составляют некоторые части Шотландии и ирландский каменноугольный округ, где царит большая нищета. Ниже мы вернемся еще к этому благополучию — благополучию лишь сравнительно с положением беднейшего класса всей Англии. Теперь же мы займемся рассмотрением вол, вытекающих из современного способа эксплуатации копей и рудников, и предоставим решить читателю, может ли какая бы то ни было денежная плата вознаградить рабочего за такие страдания.

Дети и молодые люди, занятые перетаскиванием угля и железной руды, жалуются на большую усталость. Ни в одном промышленном заведении, как бы беспощадно ни эксплуатировались там рабочие, нельзя найти такого общего и такого крайнего утомления. Примеры этого встречаешь на каждой странице отчета. Очень часто случается, что дети, вернувшись домой, бросаются на каменный пол у очага и тотчас же засыпают, не будучи в состоянии даже кое-как поесть, и родителям приходится умывать их сонных и укладывать в постель. Часто они от утомления падают и засыпают по дороге к дому, и родителям приходится отыскивать их ночью и сонных отводить домой. По воскресеньям эти дети большую часть дня остаются в постели, чтобы хоть до некоторой степени отдохнуть от работы за неделю; это, повидимому, общее явление. Церковь и школа посещаются лишь немногими, и учителя жалуются, что дети, при всем их желании учиться, страшно сонны и тупы. В том же положении находятся девушки и женщины. Их самым варварским образом заставляют работать через силу. Эта усталость, почти всегда доведенная до крайне болезненного состояния, не остается без влияния на организм рабочих. Первым следствием такого чрезмерного труда является неравномерное развитие мышц, а именно чересчур развиваются мышцы рук и ног, спины, плеч и груди, наиболее деятельные при таскании и подталкивании грузов, между тем как остальные члены тела, страдая от недостатка питания, уродуются. Прежде всего задерживается рост: почти все рудокопы малы ростом, за исключением тех, которые работают в уорвикширском или лейстерском округе в особо благоприятных условиях. Потом очень задерживается как у мальчиков, так и у девочек наступление зрелости; у первых она часто задерживается до 18 лет. Комиссар Саймонс встретил даже одного 19-летнего юношу, у которого были достаточно развиты только зубы, а в общем он был физически развит не более, чем мальчик 11 — 12 лет. Это удлинение периода детства есть в сущности не что иное, как результат задержанного развития, и впоследствии неизбежно приносит свои плоды. При таких условиях и при таком ослаблении организма неестественное положение, почти всегда принимаемое телом при работе, приводит к искривлению ног, выгибанию колен внутрь и голеней наружу, искривлению позвоночника и другим уродствам. Все эти уродства составляют столь частое явление, что в Йоркшире и Ланкашире, как и в Нортемберланде и Дургаме, многие, и даже врачи, утверждают, что рудокопа можно узнать среди сотни людей по его сложению. Особенно страдают, повидимому, от этой работы женщины; сложение их бывает

вполне нормальным редко, может быть даже никогда. В отчете приведены также многие докзательства того, что работа в рудниках и копях вызывает у женщин ненормальности в строении таза, влекущие за собой тяжелые роды, часто даже кончающиеся смертью. Кроме этих местных уродливостей, углекопы страдают еще от целого ряда специальных болезней, которым подвержены и другие горнорабочие и которые легко объясняются особенностями их труда. Чаще всего они страдают от болезней желудка; аппетит исчезает, появляются боли в животе, тошнота и рвота, а также сильная жажда, которую приходится утолять грязной, часто теплой водой рудника. Деятельность пищеварительных органов задерживается, что усиливает и другие болезни. По свидетельству многих, углекопы часто страдают болезнями сердца, особенно гипертрофией его, воспалением сердца и околосердечной сумки, склерозом различных сосудов сердца и сокращением входа в аорту, что легко объясняется чрезмерным трудом. Грыжи тоже почти общее явление и являются прямым последствием чрезмерного напряжения мышц. Отчасти по этой же причине, отчасти вследствие дурного воздуха, наполненного пылью и смешанного с углекислотой и рудничным газом (чего здесь легко было бы избежать) возникает множество тяжелых и опасных легочных болезней, в особенности астма. В некоторых округах эти болезни являются у большинства углекопов к 40 году их жизни, а в других округах даже к 30 году и очень быстро делают их неспособными к труду. У тех, кто работает в сырых штольнях, астма наступает, конечно, гораздо раньше. В некоторых местностях Шотландии она наступает у рабочих в возрасте от 20 до 30 лет. В этом возрасте пораженные легкие чрезвычайно доступны всевозможным воспалениям. Совершенно своеобразную болезнь углекопов представляет «черная мокрота» (black spittle), когда все легкие пропитываются мелкою угольной пылью; выражается эта болезнь в общей слабости, головных болях, астме и выделении черной и густой мокроты. В некоторых местностях эта болезнь встречается в очень слабой форме, а в других, в особенности в Шотландии, она совершенно неизлечима. Кроме упомянутых выше симптомов этой болезни, выступающих здесь в усиленной форме, наблюдается еще короткое свистящее дыхание, частый пульс (свыше 100 ударов в минуту) и прерывистый кашель; больной все более и более худеет и слабеет и скоро становится неспособным к труду. Эта болезнь всегда кончается смертью больного. Д-р Макеллар в Пинкэсленде (Ист-Лотиан) свидетельствует, что в копях с хорошей вентиляцией болезнь эта вовсе не встречается, а рабочие,

которые переходят из хорошо вентилируемых копей в копи с плохой вентиляцией, очень часто заболевают ею. Таким образом, виной тому, что эта болезнь вообще существует, — корыстолюбие владельцев копей, не устраивающих шахт с хорошей вентиляцией. Ревматизм есть тоже общая болезнь углекопов, особенно часто развивающаяся в сырых шахтах; реже страдают ревматизмом углекопы Уорвикширского и Лейстерского округов. Вследствие всех этих болезней углекопы во всех *без исключения* округах рано старятся и после 40 лет — в одних округах раньше, в других позже — становятся неспособными к труду. Углекоп, который может заниматься своим делом в 45-летнем и даже 50-летнем возрасте, крайне редкое явление. По свидетельству всех, к 40 годам углекоп уже подходит к старости. Это относится к тем, которые откалывают уголь. Нагрузчики, которым постоянно приходится поднимать тяжелые корзины с углем, старятся уже в 28 — 30 лет, так что в каменноугольных округах существует даже поговорка: «нагрузчики делаются стариками раньше, чем успевают стать молодыми». Что такая ранняя старость углекопов влечет за собой раннюю смерть, понятно само собой, и потому 60-летние старики встречаются среди них крайне редко; даже в южном Стаффордшире, где гигиенические условия в коях сравнительно лучше, лишь немногие живут дольше 50 лет. Так как углекопы слишком рано старятся, то вполне естественно, что здесь, как и на фабриках, очень часты случаи, когда безработные родители живут на счет своих детей, иногда еще очень молодых. Резюмируем в кратких словах, к каким результатам приводит работа в каменноугольных коях. Общий результат можно выразить следующими словами одного из комиссаров, д-ра Саутвуда Смита: вследствие удлинения периода детства, с одной стороны, и вследствие ранней старости — с другой, значительно сокращается тот период их жизни, в котором человек находится в полном расцвете своих сил, вообще сокращается продолжительность жизни и наступает ранняя смерть. И это надо поставить в счет буржуазии!

Такова в общих чертах картина английских копей. Но есть не мало таких копей, где условия работы гораздо хуже. Сюда относятся те копи, в которых разрабатываются тонкие пласты угля. Если бы стали выбирать и часть прилегающих к углю пластов песку и глины, уголь обошелся бы слишком дорого, и владельцы заставляют выкапывать уголь, оставляя песок и глину на месте. Вследствие этого ходы, которые обыкновенно бывают в 4, 5 и более футов вышиной, здесь так низки, что прямо стоять в них невозможно. Рабочий отбивает своим кайлом уголь, лежа на боку и опираясь на свой локоть.

Такое положение вызывает воспаление локтевого сустава, а в тех случаях, когда рабочему приходится работать, стоя на коленях, у него образуется воспаление коленного сустава. Женщины и дети, вытаскивающие уголь, ползут на четвереньках по низким штольням, запряженные в кузова при помощи сбруи и цепи, проходящей иногда между ног, а свади кто-нибудь другой подталкивает кузов головой и руками. Подталкивание головой вызывает местные раздражения, болезненные опухоли и нарывы. Во многих случаях штольни бывают сыры, так что рабочим приходится ползти в грязной или соленой воде в несколько дюймов глубиной, что также вызывает раздражение кожи. Не трудно представить себе, насколько такая отвратительная рабская работа усиливает болезни, и без того свойственные углекопам.

Но это далеко еще не все злоключения, выпадающие на долю углекопа. Во всей Британской империи нет отрасли труда, в которой так часты были бы несчастные случаи, как именно здесь. Каменноугольная копь является ареной множества самых ужасных случаев, и именно их следует прямо отнести на счет алчности буржуазии. Рудничный газ, часто развивающийся в копиях, образует при смешении с атмосферным воздухом гремучий газ, который при соприкосновении с огнем воспламеняется и убивает всякого, кто находится поблизости. Такие взрывы случаются то там, то здесь чуть ли не ежедневно. 28 сентября 1844 года произошел такой взрыв в Гасвельских копиях (в Дургаме), убивший 96 человек. Углекислый газ, тоже часто развивающийся в копиях, скопляется в более низких местах, заполняя их выше человеческого роста, и всякий, кто туда попадает, задыхается. Двери, отделяющие друг от друга отдельные части копей, предназначены помешать распространению взрывов и движению газов, но так как они находятся под наблюдением маленьких детей, которые часто засыпают или вообще небрежно относятся к своим обязанностям, то это лишь мнимая предосторожность. Если бы копи хорошо вентилировались при помощи вентиляционных шахт, это вредное действие обоих газов было бы совершенно устранено, но на это буржуа тратить денег не станет. Он предпочитает давать рабочим лампочку Дэви, которая своим слабым светом часто не приносит им никакой пользы и которую они поэтому охотно заменяют простой свечой. Если же происходит взрыв, то виноват, конечно, рабочий своей небрежностью, а между тем если бы буржуа устроил хорошую вентиляцию, взрыв стал бы почти невозможным. Очень часто случающиеся в штольнях обвалы, полные или частичные, хоронят под собой рабочих или придавливают их. В интересах буржуа выби-

рать уголь из горизонтальных пластов по возможности дочиства, а это вызывает обвалы. Канаты, по которым спускаются рабочие в шахту, часто бывают плохи и рвутся, и несчастные рабочие падают на дно шахты и разбиваются. Все эти несчастные случаи (я не могу останавливаться на отдельных примерах) уносят ежегодно, по подсчету газеты «Mining Journal», около 2400 человеческих жизней. Газета «Manchester Guardian» сообщает еженедельно о двух или трех случаях, происходящих в одном Ланкашире. Почти во всех округах жюри для освидетельствования умерших находится в зависимости от владельцев копей, а там, где этого нет, произносится уже в силу привычки вердикт: «смерть от случайности». Кроме того, жюри не заботится о состоянии копей, ибо ничего в этом не понимает. Но зато Ch. E. Rept. открыто обвиняет владельцев копей в огромном большинстве этих несчастных случаев.

Что касается просвещения и нравственности рабочих горных промыслов, то, согласно Ch. E. Rept., то и другое находится в Корнуэлле в сноском, а в Ольстон-Муре даже в превосходном состоянии; зато в угольных районах и просвещение, и нравственность находятся в общем на очень низком уровне. Рабочие живут в глухих заброшенных деревнях, и покуда они исполняют свою тяжелую работу, никто, кроме полиции, о них не заботится. Вследствие этого, а также и потому, что дети начинают работать в очень юном возрасте, духовное развитие их находится на очень низком уровне. Обыкновенных школ они не могут посещать, вечерние и воскресные школы ничего не дают, — учителя никуда не годятся. Вследствие всего этого только немногие умеют читать и еще меньше писать. Единственное, что они, по показаниям комиссаров, понимают, это то, что они получают слишком ничтожное вознаграждение за свой тяжелый и опасный труд. Церкви они не посещают никогда или очень редко; все священники жалуются на необычайное отсутствие религиозности. И действительно, они обнаруживают такое невежество как в религиозных, так и в мирских вопросах, перед которым бледнеют приведенные нами выше примеры невежества промышленных рабочих. Религиозные понятия им знакомы только из ругательств. Нравственность их разрушается самим их трудом. Что переутомление всех углекопов неизбежно должно вызывать пьянство, ясно само собой. Что касается нравственности их в половом отношении, то достаточно сказать, что, вследствие высокой температуры в копиях, мужчины, женщины и дети работают во многих случаях совсем, а в большинстве случаев почти нагими. К каким это ведет последствиям в темных и уединенных коридорах копей, может каждый сам себе представить. Несоразмерно большое

число внебрачных детей достаточно ясно показывает, что происходит там среди этих полудиких людей; но этим доказывается также и то, что внебрачные половые сношения здесь не дошли еще, как в городах, до проституции. Труд женщины имеет те же последствия, какие он имеет на фабриках: он разрушает семью и делает женщин совершенно неспособными к исполнению своих обязанностей матери и хозяйки.

Когда отчет Ch. E. Commission был представлен в парламент, лорд Эшли поспешил внести билль, безусловно запрещающий в рудниках и конях труд женщин и очень ограничивающий труд детей. Билль прошел, но он остался в большинстве местностей мертвой буквой, потому что не были даже назначены горные инспектора, которые следили бы за его исполнением. К тому же в сельских округах, где находятся горные промыслы, обход закона и без того очень легок. Поэтому нечего удивляться тому, что в прошлом году союз углекопов официально уведомил министра внутренних дел, что в конях герцога Гамальтона в Шотландии работает свыше 60 женщин. В газете «Manchester Guardian» сообщалось как-то, что, кажется, близ Вигана погибла во время взрыва копи одна девушка, и никто и внимания не обратил на то, что этот факт раскрыл нарушение закона. В некоторых отдельных случаях закон, может быть, и соблюдается, но в общем все осталось по-старому.

Но и это далеко не все, что приходится выносить углекопам. Буржуазии мало того, что она разрушает здоровье этих людей или часто подвергает опасности их жизнь и лишает их всякой возможности получить какое-нибудь образование: она эксплуатирует их самым наглым образом еще и иначе. Truck-system здесь не исключение, а правило, и практикуется самым открытым и прямым образом. Система коттеджей тоже общее правило. Большею частью она, правда, вызывается необходимостью, но и ею пользуются для более полной эксплуатации рабочих. Кроме того, рабочих надувают еще и иным образом: продают уголь по весу, а рабочему платят большей частью померно, и если его корзина не совсем полна, он не получает *никакого вознаграждения*, а за излишек ему тоже не платят ни гроша. Если в корзине оказывается больше известного количества гравия, что зависит ведь не столько от рабочего, сколько от качества угольного пласта, он не только не получает никакого вознаграждения, но должен еще уплатить штраф. Вообще, система штрафов в конях развита в таком совершенстве, что порой какой-нибудь бедняк, проработав целую неделю и придя за своим вознаграждением, узнает от надсмотрщика, — а он штрафует по собственному своему усмотрению,

даже не предупреждая рабочего, — что он не только ничего не получит, но даже должен уплатить столько-то в виде штрафа. Вообще надсмотрщик распоряжается вознаграждением рабочего, как хочет; он записывает сданную ему работу и может заплатить рабочему, сколько хочет, а тот должен ему верить. В некоторых копах, где рабочим уплачивают по весу угля, употребляются неверные десятичные весы, а проверка гирь общественными властями необязательна. В одной копи существовало даже правило, что каждый рабочий, намеревающийся жаловаться на неверность весов, *должен об этом предупредить надсмотрщика за три недели вперед*. Во многих местностях, особенно в северной Англии, существует обычай нанимать рабочих на целый год. Они обязуются в течение этого времени работать только для своего хозяина, но тот вовсе не обязуется давать им работу. Таким образом, они могут целыми месяцами сидеть без работы, и если они вдумают искать работу в другом месте, их за самовольное оставление службы посылают на шесть недель в тюрьму вертеть ножную мельницу. В других договорах им гарантируют заработок в 26 шиллингов за каждые две недели, но обещанного не исполняют. В некоторых местах владельцы копей дают рабочим взаимы небольшие суммы с тем, чтобы они потом отработали, и таким образом прикрепляют их к своей копи. На севере вошло в обычай не доплачивать углекопам за одну неделю, чтобы удержать их. Чтобы довершить рабство этих прикрепленных рабочих, почти все мировые судьи каменноугольных округов — либо сами владельцы копей, либо родственники и друзья последних и пользуются почти неограниченной властью в этих бедных, малокультурных местностях, где мало газет — да и те находятся на службе у господствующего класса — и где политическая агитация мало развита. Трудно даже представить себе, как эти мировые судьи, разбирающие свои собственные дела, высасывают и тиранят несчастных углекопов.

Так обстояло дело в течение долгого времени. Горнорабочие думали, что с них должны сдирать шкуру, и иначе быть не может. Но мало-по-малу и среди них появился оппозиционный дух против поворного гнета *«угольных королей»*. Появился этот дух сначала в фабричных округах, где соприкосновение с более интеллигентными рабочими не могло не оказать известного влияния и на углекопов. Они стали объединяться в союзы и устраивать от времени до времени забастовки. В более культурных местностях они даже ревностно присоединились к чартистам. Но крупный каменноугольный округ на севере Англии, стоящий совершенно в стороне от промышленной жизни, не поддавался новым веяниям, и только в 1843 г., после многих усилий и

трудов как чартистов, так и более интеллигентных углекопов, проснулся в этом округе дух протеста. Движение настолько охватило рабочих Нортемберленда и Дургамы, что они стали во главе всеобщего союза углекопов всей Великобритании и назначили своим «генеральным поверенным» (attorney general) чартиста, адвоката *У. П. Робертса* из Бристоля, выдвинувшегося уже в прежних процессах чартистов. «Юнион» быстро распространился на большинство округов; всюду были назначены агенты, устраивавшие собрания и вербовавшие членов. Во время первого съезда депутатов в Манчестере в январе 1844 г. союз насчитывал свыше 60 000 членов, а во время второго съезда в Глазго, полгода спустя, свыше 100 000 членов. На этих съездах обсуждались все дела углекопов и принимались решения относительно более крупных забастовок. Было создано несколько новых повременных изданий для защиты прав углекопов; наиболее важным из них был ежемесячник «The Miner's Advocate» в Ньюкэстле на Тайне.

31 марта 1844 г. кончился срок договора о найме у всех углекопов Нортемберленда и Дургамы, и они поручили Робертсу составить новый договор, в котором они требовали: 1) уплаты вознаграждения по весу, а не по мере; 2) взвешивания при помощи обыкновенных весов и гирь, проверенных правительственными инспекторами; 3) полугодового срока найма; 4) отмены системы штрафов и уплаты за весь выполненный труд; 5) обязательства со стороны владельцев копей давать рабочим, находящимся на службе исключительно у них, работу по меньшей мере в течение четырех дней в неделю или гарантировать им вознаграждение за четыре дня в неделю. Договор был послан угольным королям, и была избрана депутация для переговоров с ними. Те ответили, что союз углекопов для них не существует, что они имеют дело с отдельными рабочими и союза никогда не признают. Зато, с своей стороны, они также предложили проект договора, в который, однако, вышеприведенные пункты не вошли. Рабочие, конечно, отвергли его, и война, таким образом, была объявлена. 31 марта 1844 г. 40 000 углекопов бросили свои кайлы, и все копи в обоих графствах стали. Средства союза были так значительны, что он мог гарантировать каждой семье еженедельное пособие в 2½ шилл. в течение нескольких месяцев. В то время как рабочие испытывали, таким образом, терпение своих хозяев, Робертс с неутомимой энергией организовывал стачку и агитацию. Он устраивал собрания, объездил Англию вдоль и поперек, собирал пожертвования для стачечников, увещевал соблюдать спокойствие и законность и в то же время начал небывалый еще в Англии поход против деспотизма

мировых судей и предпринимателей, практикующих truck-system. Открыл он этот поход уже в начале 1844 г. Как только какой-нибудь мировой судья осуждал углекопа, он тотчас же доставал себе в суде Королевской скамьи указ о Habeas corpus, приводил своего клиента в Лондон и всегда добивался его оправдания. Так, например, судья Уильямс оправдал 13 января в суде Королевской скамьи трех углекопов, осужденных мировым судьей в Бильстоне (в южном Стаффордшире). Преступление этих углекопов состояло в том, что они отказались работать в таком месте, которое грозило обвалом и действительно обвалилось, как только они удалились оттуда. Еще раньше судья Пэтсон оправдал шесть рабочих, так что мало-помалу имя Робертса стало страшным для мировых судей, владельцев копей. В Престоне тоже было посажено четверо его клиентов. В начале февраля он отправился туда, чтобы исследовать дело на месте, но когда он туда прибыл, оказалось, что осужденные были освобождены до истечения срока наказания. В Манчестере находилось в заключении семь человек; Робертс добыл Habeas corpus и добился у судьи Уайтмена полного оправдания подсудимых. В Прескоте сидели в заключении девять углекопов, ожидавших приговора за мнимое нарушение спокойствия с Сент-Геленсе (в южном Ланкашире). Как только Робертс прибыл туда, они были немедленно освобождены. Все это произошло в первой половине февраля. В апреле Робертс таким же образом освободил из тюрьмы одного углекопа в Дерби, четырех — в Уэкфильде (в Йоркшире) и четырех — в Лейстере. Так дело продолжалось некоторое время, пока «Dogberries» — как называли этих мировых судей по имени известного персонажа из пьесы Шекспира «Много шума из-за ничего» — немного не присмирели. Так же воевал он с truck-system. Одного за другим Робертс таскал в суд этих бесчестных владельцев копей и заставлял мировых судей, против своей воли, приговаривать их к наказаниям. Вследствие этого владельцев копей обуял такой страх перед этим быстрым, как молния, и всюду поспевающим генеральным поверенным, что в местности Бельпер близ Дерби, например, одна фирма, практиковавшая truck-system, как только приехал Робертс, вывела следующее объявление:

Извещение. Пентрическая каменноугольная копь.

«Господа Гаслам считают необходимым, во избежание всяких недоразумений, объявить, что все работающие у них углекопы будут получать свое вознаграждение сполна деньгами и могут тратить его, где и как им вздумается. — Если они будут покупать свои товары в лавке господ Гаслам, они будут получать их, как и раньше, по

оптовым ценам. Но вовсе не требуется, чтобы они покупали именно там и — будут ли они покупать в этой лавке или в какой-либо другой — они будут получать ту же работу и то же вознаграждение».

Эти победы возбуждали шумный восторг среди всего английского рабочего класса и привлекли к союзу массу новых членов. Тем временем забастовка на севере продолжалась. Не работал решительно никто, и Ньюкэстль, главный порт по вывозу угля, терпел такую нужду в нем, что туда приходилось привозить уголь из Шотландии, хотя у англичан *to carry coals to Newcastle* (возить уголь в Ньюкэстль) имеет такое же значение, как у греков имела пословица: «носить сов в Афины», т. е. делать нечто совершенно излишнее. Сначала, покуда у союза были еще средства, все шло хорошо. Но к лету борьба сделалась очень трудной для рабочих. Среди них царила величайшая нужда. У них не было денег, ибо взносы рабочих всех отраслей промышленности в Англии составляли слишком ничтожную сумму в сравнении с числом бастующих. Им приходилось обращаться за кредитом к лавочникам на очень невыгодных условиях. Вся пресса, за исключением немногих пролетарских изданий, была против них. Буржуазии, и даже тем немногим из ее числа, у которых хватило бы чувства справедливости для того, чтобы поддержать бастующих, продажные либеральные и консервативные газеты сообщали о ходе стачки одну ложь. Депутация из 12 углекопов, отправленная в Лондон, собрала среди тамошнего пролетариата некоторую сумму, но она тоже мало помогла в виду множества нуждающихся в поддержке. Несмотря на все это, углекопы оставались непоколебимыми и — что еще более характерно и важно — спокойными и мирными, несмотря на все враждебные и вызывающие выходки владельцев копей и их верных слуг. Не было ни одного акта мести, ни один ренегат не был избит и не была совершена ни одна кража. Так забастовка продолжалась уже четыре месяца, и у владельцев копей все еще не было ни малейшей надежды на победу. В их распоряжении оставалось еще одно средство. Они вспомнили про систему котэджей; они вспомнили, что жилища строптивых рабочих — собственность *хозяев*. В июле рабочим было отказано от квартир, и через неделю все 40 000 рабочих оказались на улице. Выселение производилось с возмутительной жестокостью. Больные и слабые, старики и грудные младенцы, даже рожающие женщины безжалостно вытаскивались из постелей и сталкивались в канавы возле шоссе. Один агент доставил себе удовольствие собственноручно вытащить за волосы из постели женщину, находившуюся в последнем периоде беременности, и выкинуть ее на улицу. Тут же стояли во множестве войска и поли-

ция, готовые при первой попытке сопротивления и по первому мановению мировых судей, руководивших всей этой жестокой процедурой, броситься с оружием на рабочих. Рабочие претерпели и это, не оказав никакого сопротивления. Надеялись, что они прибегнут к насилию, и старались всеми средствами вызвать их на сопротивление, чтобы иметь повод положить конец забастовке военной силой. Но углекопы, оставшись без крова, помнили увещания своего поверенного, не прибегали к насилиям, молча перетаскивали свою мебель на болотистые луга или сжатые поля и продолжали терпеливо ждать. Некоторые, не имея другого места, жили в канавах возле дорог, другие оставались на чужой земле, попадали за это под суд, присуждались к штрафу в 1 ф. ст. за то, что причинили «вред на сумму в полпенни» и, так как они этого штрафа не могли уплатить, попадали в тюрьму. Так они провели со своими семьями восемь и больше недель в дождливый конец лета прошлого года (1844) под открытым небом, без иного крова для себя и для своих малюток, кроме ситцевых занавесок своих постелей, без иной помощи, кроме скудного пособия союза и все сокращающегося кредита лавочников. Тогда лорд Лондондерри, владеющий в Дургаме значительными копиями, пригрозил лавочникам «своего города Сигема» своим сиятельным гневом, если они не перестанут оказывать кредит «его» строптивым рабочим. Этот «благородный лорд» стал вообще шутком всей стачки благодаря своим смешным напыщенным и нескладным «указам», которые он издавал от времени до времени для рабочих, не достигая этим ничего, кроме увеселения всей нации.¹ Когда все это не помогло, владельцы копей привезли с большими затратами рабочих из Ирландии и отдаленных местностей Уэльса, где рабочее движение было еще неизвестно, и заставили их работать в своих копиях. Когда, таким образом, опять началась конкуренция рабочих между собой, энергия стачечников сломилась. Владельцы копей заставили их отказаться от союза, отступить от Робертса и принять продиктованные ими условия. Так кончилась в начале сентября великая пятимесячная борьба углекопов с их хозяевами, — борьба, которая велась угнетенными с выдержкой, мужеством, сознательностью и рассудительностью, вызывающими величайшее изумление. Какую степень истинно человеческой культуры, воодушевления и силы характера предполагает такая борьба у массы в 40 000 человек, которых еще в 1840 г. Ch. E. Rept., как мы уже видели, изобразил

¹ (1892 г.). Ничто не ново под луной, по крайней мере, в Германии. Наши «короли Штуммы» тоже лишь сколки с английских образцов, давно забытых на своей родине и ставших там невозможными.

безусловно грубыми и безнравственными! Но как тяжел должен был быть гнет, заставивший этих 40 000 человек подняться единодушно и вести борьбу, подобно армии, не только дисциплинированной, но и воодушевленной одним желанием, одной волей, и вести ее с величайшим хладнокровием и спокойствием до того момента, когда дальнейшее сопротивление стало бессмыслицей! И борьба велась не против видимых смертельных врагов, а против голода и нужды, нищеты и бесприютности, против собственных страстей, доведенных жестокостью богачей до крайних пределов безумия. Если бы они пустили в ход насилие, то их, безоружных, расстреляли бы, и через несколько дней победа владельцев копей была бы обеспечена. Эта почва законности, на которой они стояли, была не плодом страха перед палкой полицейского, а делом рассудительности, лучшим доказательством сознательности и самообладания рабочих.

Таким образом, рабочие и на этот раз были побеждены капиталистами, несмотря на всю свою беспримерную стойкость. Но эта борьба все же не была бесплодна. Прежде всего эта стачка, продолжавшаяся 19 недель, раз навсегда вырвала рудокопов северной Англии из объятий духовной спячки, в которой они пребывали до сих пор. Они проснулись, сознали свои интересы и примкнули к культурному движению и в особенности к рабочему движению. Стачка, обнаружившая все варварство владельцев копей, раз навсегда пробудила дух протеста среди рабочих и по меньшей мере три четверти из них превратила в чартистов, а 30 000 таких энергичных и выдержанных людей представляют для чартистов не малое приобретение. Далее, продолжительность стачки, а также законное ее течение вместе с деятельной агитацией, сопровождавшей ее, все же привлекли внимание общества к положению углекопов. Воспользовавшись дебатами по поводу вывозных пошлин на уголь, Томас Денкомб, единственный чисто чартистский депутат в Нижней палате, поднял в парламенте вопрос о положении углекопов. Он заставил прочесть их петицию у стола палаты и путем одного доклада в парламенте принудил буржуазную прессу дать, по крайней мере в парламентских отчетах, верное изображение дела. Вскоре после этой стачки в Гасвеле произошел взрыв газов. Робертс съездил в Лондон, добился аудиенции у Пиля и в качестве представителя углекопов настаивал на тщательном расследовании всех обстоятельств взрыва. Он добился того, что на место происшествия были посланы первые в Англии знаменитости по геологии и химии, профессора Лайель и Фарадей. Вскоре после этого произошло еще несколько взрывов, и Робертс снова доставил составленные о них акты премьер-министру. Вследствие этого послед-

ний обещал Робертсу в ближайшую парламентскую сессию (т. е. в нынешнюю, 1845 г.) внести в парламент, если это будет возможно, проект необходимых для охраны рабочих мер. Всего этого не было бы, если бы углекопы не проявили себя во время стачки свободлюбивыми и достойными уважения людьми и если бы они не пригласили в свой союз Робертса.

Как только стало известно, что углекопы севера вынуждены распустить союз и отказаться от Робертса, углекопы Ланкашира числом около 10 000 объединились в союз и гарантировали своему генеральному поверенному содержание в 1 200 ф. ст. в год. Осенью прошлого года в союз поступало в месяц свыше 700 ф. ст., из которых около 200 ф. ст. тратились на жалованье, судебные издержки и т. д., а остаток шел большей частью на пособие рабочим безработным или бастующим вследствие столкновений с хозяевами. Так рабочие с каждым днем все лучше и лучше понимают, что, объединившись, они образуют достаточно солидную силу и в случае крайней нужды могут даже вступить в борьбу с буржуазией. Вот это-то сознание, результат рабочих движений, создалось у всех углекопов Англии благодаря союзу и стачке 1844 г. Пройдет еще немного времени, и углекопы, уступавшие до сих пор промышленным рабочим в сознательности и энергии, сравняются с ними и станут во всех отношениях их товарищами. Так, шаг за шагом, подкапывается почва под ногами буржуазии, и очень скоро все ее государственное и общественное здание рухнет вместе с фундаментом, на котором оно стоит.

Но буржуазия не обращает внимания на предостережения. Протест углекопов только еще больше ее ожесточил. Вместо того, чтобы увидеть в нем лишь шаг вперед всего рабочего движения, вместо того, чтобы опомниться, имущий класс нашел в нем лишь повод излить свой гнев на целый класс людей, которые оказались настолько глупыми, что не соглашались дольше терпеть прежнее обращение с ними. В справедливых требованиях неимущих буржуазия увидела лишь дерзкое недовольство, безумное возмущение против «установленного богом и людьми порядка» и, в самом лучшем случае, успех «влонамеренных демагогов, живущих агитацией и слишком ленивых для того, чтобы работать», — успех, который нужно подавить всеми имеющимися налицо средствами. Она пыталась — и, конечно, безуспешно — изобразить перед рабочими таких людей, как Робертс и агенты союзов, которые, конечно, должны были получать от него содержание, ловкими мошенниками, вырывающими у них, бедных рабочих, последний грош из кармана. В виду такого безумия имущего класса, в виду такого ослепления временными

выгодами, в виду такого непонимания самых красноречивых знамений времени, приходится действительно оставить все надежды на мирное разрешение социального вопроса в Англии. Единственным возможным выходом остается насильственная революция, и она несомненно не заставит себя долго ждать.

Х.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ.

Мы видели уже во введении, как одновременно с мелкой буржуазией и с рабочими, жившими до этого важнично, было разорено мелкое крестьянство, как было уничтожено существовавшее до тех пор сочетание промышленного и земледельческого труда, как опустевшие поля, оставленные мелкими крестьянами, побежденными конкуренцией крупных земледельческих хозяйств, объединились в руках крупных арендаторов. Мелкие крестьяне, владевшие небольшими участками земли или арендовавшие их, были вынуждены оставить свое хозяйство и наняться в качестве батраков к крупным арендаторам и землевладельцам. В течение некоторого времени это новое положение их было хотя и хуже прежнего, но все же сносно. Рост населения уравнивался развитием промышленности. Но с течением времени рост промышленности стал медленнее, а непрерывные усовершенствования машин делали все более и более невозможным занять излишек рабочих рук, притекавших из деревень в города. С этого момента нищета, существовавшая прежде, и то только временами, в фабричных округах, появилась также и в округах земледельческих. Сюда присоединилось еще то обстоятельство, что приблизительно около этого же времени прекратилась 25-летняя война с Францией. Уменьшившееся производство на местах военных действий, прекращение подвоза и необходимость снабжать продовольствием британские армии в Испании вызвали искусственный расцвет английского земледелия и, кроме того, оторвали от труда массу рабочих рук. И вот эта-то задержка в подвозе, необходимость вывоза и недостаток в рабочих руках сразу прекратились. Неизбежным результатом явилось то, что англичане называют *agricultural distress* (угнетенное состояние земледелия). Арендаторы вынуждены были продавать свой хлеб очень дешево и могли поэтому и рабочим своим платить очень мало. Чтобы поднять цены на хлеб, парламент в 1815 г. принял закон о хлебных пошлинах. Этим законом запрещался ввоз хлеба до тех пор, покуда цена на пшеницу будет ниже 80 шилл. за квартал. Впоследствии законы эти, конечно, совершенно

бесплодные, не раз изменялись, но нужду в земледельческих округах они, конечно, не уменьшили. Единственным результатом их было то, что болезнь, которая при свободной иностранной конкуренции стала бы острой и имела бы свой кризис, превратилась в болезнь хроническую, производившую равномерное, но все же тяжелое давление на положение земледельческих рабочих.

В первое время после появления земледельческого пролетариата здесь установились патриархальные отношения, которые только что были разрушены в промышленности, — те отношения между хозяином и его рабочими, которые теперь в Германии еще встречаются почти повсеместно. Покуда существовали эти отношения, нужда среди рабочих была меньше и реже, батраки разделяли участь хозяина-фермера и увольнялись лишь в случае самой крайней необходимости. Теперь все это изменилось. Рабочие — почти все поденщики: они получают работу у фермера, когда он в них нуждается, и потому они часто неделями, в особенности зимой, остаются совсем без работы. При патриархальных отношениях, когда рабочие жили со своими семьями во дворе арендатора и дети их вырастали тут же, причем арендатор старался, конечно, найти какую-нибудь работу для этого подрастающего поколения, а поденщики были исключением, а не правилом, — в каждом хозяйстве бывало больше рабочих, чем было, строго говоря, необходимо. Поэтому арендаторы старались в собственных интересах разрушить эти патриархальные отношения, прогнать батрака со двора и превратить его в поденщика. Это произошло почти по всей Англии к концу двадцатых годов XIX столетия. Результатом этого было то, что излишек населения, бывший до этого времени — употребляя выражение физики — в скрытом состоянии, теперь освободился, заработная плата упала и налог в пользу бедных очень повысился. С этого времени земледельческие округа сделались очагами *хронического пауперизма*, а фабричные округа — очагами *перемежающегося пауперизма*, и реформа законов о бедных была первой мерой, к которой вынуждена была прибегнуть общественная власть против все возрастающего обеднения сельских общин. К тому же, с непрерывным развитием системы крупного хозяйства, были введены молотилки и другие машины, работа взрослых мужчин была заменена работой женщин и детей, которая в настоящее время стала таким распространенным явлением, что его последствия недавно были даже предметом исследования специально для этого назначенной официальной комиссии. Итак, мы видим, что система промышленного производства проникла и сюда при посредстве крупных хозяйств, разрушения патриархальных отно-

пений — имевшего именно здесь величайшее значение — и введения машин, паровой силы и работы женщин и детей, а, проникнув сюда, она вовлекла и последнюю, наиболее консервативную часть трудящегося человечества в революционное движение. Но чем дольше земледелие сохраняло свою прежнюю устойчивость, тем большей тяжестью пало на плечи рабочих разрушение этой устойчивости, тем разрушительнее оказалась здесь деворганизация старых социальных связей. «Избыток населения» сразу выступил на свет божий и его нельзя было устранить расширением производства, как в промышленных округах. Раз только есть куда сбывать продукты, можно всегда устроить новые фабрики, но новую землю создать нельзя. Обработка пустующих общинных земель была слишком рискованной спекуляцией, чтобы после заключения мира многие пожелали вложить в нее свои капиталы. Неизбежным последствием этого было чрезвычайное усиление конкуренции рабочих между собой и падение заработной платы до минимума. Пока существовал старый закон о бедных, рабочие получали кое-какие прибавки к своему вознаграждению из кассы для бедных. Само собой разумеется, что это только еще больше понижало заработную плату, так как арендаторы старались возможно большую часть ее свалить на кассу для бедных. Повышение налога в пользу бедных, ставшее необходимым вследствие появления избыточного населения, пошло еще далее благодаря этой тенденции арендаторов, что и привело к изданию нового закона о бедных, о котором у нас еще будет речь впереди. Но закон этот делу не помог. Заработная плата не повышалась, избыточное население не исчезало, и жестокость нового закона лишь до крайности овлобила народ. Даже налог в пользу бедных, сначала уменьшившийся, достиг по истечении нескольких лет прежней высоты. Единственным результатом нового закона было то, что если раньше насчитывалось 3 — 4 миллиона полунищих, то теперь оказался миллион совершенно нищих, а остальные оставались полунищими и лишались всякой поддержки. Бедность в земледельческих округах с каждым годом возрастает. Люди живут в величайшей нищете, целые семьи должны прожить на 6, 7 или 8 шиллингов в неделю, а по временам и этого не имеют. Послушаем, как изображал положение этого населения уже в 1830 г. один либеральный член парламента: «Английский крестьянин (т. е. сельскохозяйственный рабочий) и английский паупер (нищий) — эти слова синонимы. Отец его был паупером, и молоко матери не имело питательной силы. С детских лет он плохо питался, никогда не наедался досыта и теперь еще он почти всегда испытывает муки неудовлетворенного голода,

если только не спит. Он полуодет, топлива у него еле хватает для приготовления скудной пищи, холод и сырость постоянные его гости, появляющиеся вместе с непогодой и исчезающие только вместе с нею. Он женат, но радости отца и мужа ему незнакомы. Жена его и дети, голодные, озябшие, часто больные и беспомощные, вечно такие же озабоченные и унылые, как он сам, разумеется, жадны, эгоистичны и надоедливы. Поэтому ему, выражаясь его собственными словами, ненавистен самый вид их (*hates the sight of them*), и он возвращается в свою лачугу только потому, что она все же является лучшей защитой от дождя и непогоды, чем забор. Он должен содержать семью, а сделать этого не может; он прибегает поэтому к нищенству, к неблагоприятным проделкам всякого рода и делается настоящим жуликом. Будь у него даже желание, у него нехватает смелости сделаться, подобно другим, более энергичным людям своего класса, настоящим браконьером или контрабандистом; он ворует при случае и учит своих детей лгать и воровать. Его раболепное отношение к более богатым соседям показывает, что они обращаются с ним грубо и подозрительно; поэтому он боится и ненавидит их, но никогда не решится совершить над ними насилие. Он испорчен до мозга костей и настолько унижен, что неспособен даже проявить энергию отчаяния. Его несчастная жизнь коротка, ревматизм и астма приводят его в рабочий дом, где он испустит последний дух без единого приятного воспоминания о прошлом и очистит место для другого несчастного, который так же жил и так же умрет, как он». Автор наш прибавляет, что кроме этого класса поденных сельскохозяйственных рабочих есть еще и другой класс, состоящий из людей более энергичных и лучше развитых в физическом, умственном и нравственном отношениях; эти люди так же бедно живут, как и первые, но они родились в лучших условиях. Они больше любят семью, но они—контрабандисты и браконьеры, часто вступают в кровавые стычки с лесной и береговой таможенной стражей. В тюрьмах, куда они часто попадают, они еще больше озлобляются против общества и в ненависти своей против имущих не уступают первому классу. «И из вежливости (*by courtesy*), — кончает, он — весь этот класс называется храбрым английским крестьянством (*bold peasantry of England*)» по Шекспиру.¹

Это описание может быть признано и в настоящее время верным для большей части рабочих в земледельческих округах Англии.

¹ E. G. Wakefield. M. P. «Swing unmasked, or the Cause of Rural Incendiarism», London 1831. Pamфлет. Приведенные выше цитаты находятся на стр. 9 — 13: в переводе мы опустили места оригинала, которые касаются еще существовавшего тогда старого закона о бедных.

В июле 1844 г. газета «Times» послала в эти местности корреспондента для исследования их положения, и отчет, который тот представил, вполне совпадает с этим описанием. В некоторых местностях вознаграждение не превышало 6 шилл. в неделю, т. е. было не выше, чем во многих местностях Германии, а между тем цены на съестные припасы в Англии по меньшей мере вдвое выше, чем в Германии. Не трудно представить себе, какова жизнь этих несчастных. Питаются они плохо и скудно, одежда состоит из одних лохмотьев, жилище тесно и убого, представляя собой жалкую лачугу без всякого комфорта, а молодые люди живут в общих помещениях, где мужчины и женщины почти не отделены друг от друга, что приводит к незаконным сожителствам. Если они несколько дней в течение месяца остаются без заработка, они впадают в крайнюю нищету. Объединяться в союзы для повышения заработной платы они не могут, потому что живут разрозненно. Стоит кому-нибудь из них отказаться работать за слишком низкую плату, чтобы на его место нашлись десятки безработных и выходцев из дома для бедных, которые рады получить хотя бы и самый ничтожный заработок, а отказавшийся от работы в качестве лентяя и бездельника уже не получит от попечительства иной поддержки, кроме отсылки в тот же ненавистный дом для бедных. В попечительстве о бедных заседают те же фермеры, у которых или у их соседей и знакомых он только и может получить работу. И таково положение дела не только в том или другом из земледельческих округов Англии. Нет, нужда одинаково велика на юге и востоке, севере и западе. Положение рабочих в Сеффольке и Норффольке ничем не отличается от положения их в Девоншире, Гамшире и Сессексе; заработная плата в Дорсетшире и Оксфордшире столь же низка, как в Кенте, Серри, Бекингемшире и Кембриджшире.

Законы об охоте нигде так не строги, как в Англии, хотя дичи там так много, что трудно себе представить. Законы эти являются крайним варварством по отношению к земледельческому пролетариату; на этом стоит остановиться особо. Английский крестьянин с давних пор привык видеть в браконьерстве лишь вполне естественное благородное проявление мужества и смелости, и еще более побуждает его к этому занятию контраст между собственной нищетой и *car tel est notre plaisir* (так нам угодно) лорда, разводящего в парках для собственного своего удовольствия тысячи зайцев и пернатой дичи. Крестьянин ставит силки, иногда и подстрелит какую-нибудь дичь; лорду он в сущности ничуть не вредит этим, ибо дичи у того слишком много, а крестьянину это дает жаркое

для голодающей семьи. Если его поймают, его сажают в тюрьму, а при повторении дают ему, по меньшей мере, семь лет ссылки. Такая строгость наказания ведет к частым кровавым стычкам с лесными сторожами, так что ежегодно происходит целый ряд убийств. Должность лесного сторожа становится поэтому не только опасной, но и пользуется дурной репутацией. В прошлом году два лесных сторожа пустили себе пулю в лоб, чтобы не заниматься своим ремеслом. Такова дешевая цена, которую земельная аристократия покупает себе благородную забаву охоты! Но какое дело до этого благородным «lords of the soil? (господам земли)? Не все ли равно, будет ли избыточное население на несколько человек больше или меньше, а если бы даже половина этого «избыточного» населения погибла из-за законов об охоте, — так рассуждают филантропы из имущего класса, — оставшейся половине только лучше жилось бы.

Но хотя условия деревенской жизни, разбросанность жилищ, косность среды, занятий, а следовательно и идей, очень мало благоприятствуют всякому развитию, бедность и нищета все же и здесь приносят свои плоды. Рабочие фабрично-заводской и горной промышленности быстро прошли первую стадию протеста против своего социального положения — стадию непосредственного протеста отдельных лиц, выражающегося в преступлениях; крестьяне же и до сих пор остались на этой стадии. Излюбленным приемом социальной войны являются поджоги. Зимой 1830 — 1831 гг., после июльской революции, поджоги эти впервые получили всеобщее распространение. Начались они еще в начале октября, когда в Сессексе и примыкающих к нему графствах произошли беспорядки из-за усиления береговой полиции (затруднившей контрабанду и разорившей, как выразился один фермер, все побережье), из-за реформы попечительства о бедных, низкой заработной платы и введения машин. Все население находилось в крайнем возбуждении. Зимой у арендаторов были подожжены скирды хлеба и сена на полях и даже риги и клева возле самого дома. Почти каждую ночь случалось несколько таких пожаров, распространявших ужас среди арендаторов и землевладельцев. Преступников не находили никогда или, по крайней мере, очень редко, и народ стал приписывать эти поджоги мифическому лицу, которое он называл «Swing». Ломали себе головы над тем, кто такой этот Суинг, откуда явился этот мятежный дух у бедного населения сельских округов; о великой движущей силе — *нужде*, гнете — думали очень немногие, а в самих земледельческих округах наверно никто. С тех пор поджоги повторялись каждую зиму, так как это сезон безработицы для поденщиков. Зимой 1843 — 1844 гг.

они вновь чрезвычайно участились. У меня под руками целый ряд номеров еженедельной газеты «Northern Star» за это время, и в каждом из них мы находим несколько отчетов о поджогах с указанием источника. Некоторых номеров в помещаемом ниже списке не хватает, но в них, вероятно, было не мало сообщений о поджогах. Кроме того в такой газете не могут же быть приведены все случаи. В номере от 25 ноября 1843 г. упоминается о двух случаях и о нескольких других, имевших место раньше. В номере от 16 декабря напечатано:

— В Бедфордшире царит уже в течение двух недель всеобщее возбуждение вследствие частых поджогов, которых в каждую ночь происходит несколько. За последние дни сгорели две большие фермы. В Кембриджшире сгорели *четыре* большие фермы, в Гертфордшире *одна*, и *пятнадцать* поджогов было еще в других местностях. — 30 декабря был в Норфольке *один* поджог, в Сеффольке — *два*, в Эссексе — *два*, в Гертфордшире — *три*, в Чешире — *один*, в Ланкашире — *один*, в Дерби, Линкольне и на юге — *двенадцать*. 6 января 1844 г. упоминается в общем о десяти поджогах, 13 января — о семи и 20 января — о четырех. С этого времени газета еженедельно отмечает в среднем три-четыре пожара, и это продолжается не до весны, как бывало в прежние годы, а до июля и августа. Что с приближением зимы 1844-1845 гг. преступления эти еще усилились, доказывают получаемые мною английские газеты и отчеты в немецких газетах.

Что вы скажете, читатель, о таком состоянии в идиллически-мирных сельских округах Англии? Социальная это война или нет? Естественное ли это состояние? Может ли оно долго продолжаться? И тем не менее арендаторы и землевладельцы здесь столь же закоsnели в своем тупом упрямстве, столь же слепы ко всему тому, что не может помочь им набивать карманы, как в промышленных округах фабриканты и буржуа вообще. Если последние хотят убедить своих рабочих, что все спасение *в отмене* хлебных законов, то землевладельцы и значительная часть арендаторов хотят убедить своих рабочих, что все спасение *в сохранении* этих законов. Но в обоих случаях имущим не удастся привлечь рабочих на свою сторону. Как фабричные, так и сельскохозяйственные рабочие относятся совершенно равнодушно как к отмене, так и к сохранению хлебных законов. Тем не менее вопрос этот для тех и для других очень важен. Дело в том, что с отменой хлебных законов свободная конкуренция и все вообще современное социальное хозяйство будут доведены до высшей степени своего развития; тогда дальнейшее развитие в пределах существующих условий сделается невозможным, и единственным возможным шагом вперед станет радикальный переворот во всем

социальном строе. Для сельскохозяйственных рабочих вопрос этот важен еще в другом отношении. Свободный ввоз хлеба обуславливает собой (почему обуславливает, на этом я здесь останавливаться не могу) эмансипацию арендаторов от землевладельцев, другими словами — превращение их из ториев в либералов. Лига борьбы против хлебных законов достаточно уже подготовила для этого почву, и это ее единственная заслуга. Но раз арендаторы станут либералами, т. е. сознательными буржуа, батраки должны стать чартистами и социалистами, т. е. сознательными пролетариями. Одно влечет за собой другое. Уже и теперь начинает замечаться среди сельскохозяйственных пролетариев новое движение. Доказывает это собрание, устроенное графом *Раднором*, либеральным землевладельцем, в октябре 1844 г. возле Хайверса, где находятся его имения. Устроил он это собрание для составления революции против пошлин на хлеб, но рабочие, отнесшись к этому вопросу совершенно равнодушно, заговорили совсем о других вещах, потребовали для себя мелких арендных участков за дешевую плату и вообще наговорили графу Раднору не мало горьких истин. — Так движение рабочего класса проникает в глухие, косные, погруженные в духовную спячку земледельческие округа и в виду царящей в них нужды скоро и здесь укрепится и разовьется так же, как в фабричных округах.

Что касается религиозности сельскохозяйственных рабочих, то у них ее, конечно, больше, чем у промышленных рабочих, но все же и они находятся в очень натянутых отношениях с церковью (в этих округах почти исключительно господствует Высокая церковь. В газете «*Morning Chronicle*» были недавно помещены статьи одного корреспондента, объехавшего земледельческие округа, за подписью: «Один из тех, кто сам ходил за плугом». Передает он, между прочим, следующий свой разговор с рабочими после церковной службы: «Я спросил одного из них, постоянный ли их священник тот, кто читал сегодня проповедь. — Yes, blast him (да ну его к чорту), — да, это наш собственный поп; он вечно попрошайничает и с тех пор, как я его знаю, всегда попрошайничал (в проповеди говорилось о миссии к язычникам). — И с тех пор, как я его знаю, тоже, — прибавил другой, — я никогда и не видел попа, который бы не выпрашивал то на то, то на другое. — Да, — сказала женщина, только что вышедшая из церкви, — смотрите, как плата рабочим все падает, а ваши попы едят и пьют и едят на охоту с этими богатыми разбойниками. Ей-богу, мы скорее пойдем в работный дом или подохнем с голоду, чем согласимся платить деньги попам, которые отправляются обращать язычников. — И почему, — сказала другая, — они не посылают

туда тех попов, которые хнычут каждый день в соборе в Сольсбери, где никто, кроме камней, их не слушает? Почему *эти* не отправляются к язычникам?.. — *Эти* туда не пойдут, — сказал старик, с которым я заговорил сначала. Они богаты, они имеют больше земли, чем им нужно, а им нужно собрать деньги, чтобы избавиться от бедных попов. Я прекрасно знаю, что им нужно; я их слишком хорошо для этого знаю. — Что же это, друзья мои, — спросил я, — неужели вы всегда выходите из церкви с таким горькими чувствами против священника? Зачем же вы вообще ходите в церковь? — Зачем мы ходим? — ответила женщина. Мы должны туда ходить, если не хотим потерять все, работу и все; конечно, мы должны. — Впоследствии я убедился в том, что если они ходили в церковь, то они получали некоторые преимущества в топливе и небольшой участок земли под картофель, за который они, впрочем, должны были платить». — Описав их бедность и невежество, наш корреспондент кончает свою статью следующими словами: «И я смело утверждаю, что положение этих людей, их бедность, их ненависть к церкви, их внешняя покорность и внутреннее овлобление против церковных властей *составляют правило во всех сельских общинах Англии*, а противоположное является лишь исключением».

Положение крестьянства собственно Англии показало нам, каково состояние деревенских округов там, где имеется многочисленный земледельческий пролетариат при наличии крупных хозяйств. В Уэльсе мы находим разоряющихся мелких арендаторов. Если в сельских округах Англии воспроизводится противоречие между пролетариями и крупными капиталистами, то состояние уэльских крестьян может быть сопоставлено с непрерывным разорением мелкой буржуазии в городах. В Уэльсе мы находим большей частью только мелких арендаторов, которые не в состоянии продавать свои земледельческие продукты с той же выгодой и столь же дешево, как крупные, находящиеся в лучших условиях, английские арендаторы, с которыми им приходится конкурировать на одном и том же рынке. К тому же по свойствам почвы во многих местах возможно только скотоводство, которое приносит мало прибыли. Кроме того уэльсцы уже из-за обособленности своей национальности, которую они ревниво охраняют, еще гораздо консервативнее, чем английские арендаторы. Но более всего их разорила конкуренция друг с другом и со своими английскими соседями и ее последствие — повышение арендной платы. Они теперь так разорены, что еле сводят концы с концами. Не понимая истинной причины своего тяжелого положения, они ищут ее во всевозможных мелочах, как высокие дорожные пошлины и т. д.,

которые, если и тормозят развитие сельского хозяйства и торговли, то принимаются ведь в расчет как постоянные расходы каждым арендатором при взятии земли в аренду, так что в конце концов они уплачиваются землевладельцем. К тому же новый закон о бедных страшно ненавистен арендаторам потому, что они сами постоянно рискуют попасть под него. В феврале 1843 г. недовольство уэльских крестьян проявилось в известном «бунте Ревекки». Мужчины надевали женские платья, мавали себе лица сажей и большими вооруженными отрядами нападали на ворота, имеющие в Англии значение застав, разбивали их при громких криках восторга и выстрелах, разрушали домики сборщиков дорожных пошлин, писали угрожающие письма от имени мифической «Ревекки» и однажды даже брали штурмом рабочий дом в Кермартене. Когда повже были присланы войска и усилена полиция, они с замечательной ловкостью заводили их на ложные пути, разрушали ворота в одном месте, в то время как войска, о передвижении которых подавались с гор сигналы рожками, двигались в противоположную сторону. Когда же войска были значительно усилены, начались поджоги и даже покушения на жизнь отдельных лиц. Эти крупные преступления, как это всегда бывает, повлекли за собой прекращение движения. Многие отстали от него вследствие недовольства приемами борьбы, другие из страха, и спокойствие восстановилось само собой. Правительство послало комиссию для расследования всей истории и ее причин, и тем дело и кончилось. Но нужда среди крестьян не прекратилась, и так как при существующих общественных отношениях она может стать лишь больше, но не меньше, то когда-нибудь она вызовет более серьезные явления, чем этот юмористический маскарад Ревекки.

Если в Англии мы видели результаты системы крупного хозяйства, а в Уэльсе результаты мелкой аренды, то в Ирландии перед нами последствия дробления земли. Огромная масса населения Ирландии состоит из мелких арендаторов, снимающих жалкую лачугу, построенную из глины и состоящую из одной комнаты, и участок земли под картофель, едва достаточный для того, чтобы снабдить их на зиму самым необходимым питанием. В виду сильной конкуренции, существующей между этими мелкими арендаторами, арендная плата достигла неслыханной высоты; она вдвое, втрое и вчетверо выше, чем в Англии. Каждый сельскохозяйственный рабочий старается стать арендатором, и хотя дробление земли и так уже очень значительно, тем не менее есть еще очень много рабочих, желающих получить землю в аренду. Хотя в Великобритании обрабатывается 32 миллиона акров земли, а в Ирландии только 14 миллионов, хотя Велико-

британия производит ежегодно земледельческих продуктов на 150 миллионов ф. ст., а Ирландия только на 36 миллионов, тем не менее в Ирландии сельскохозяйственных рабочих на 75 000 больше, чем в Великобритании.¹ Уже одно это чрезвычайное несоответствие достаточно ясно показывает, как велика должна быть конкуренция из-за земли в Ирландии. При этом необходимо иметь в виду, что и английские сельскохозяйственные рабочие живут в самой крайней нужде. При такой конкуренции арендная плата, естественно, очень высока, — так высока, что арендаторы живут немногим лучше, чем поденщики. Так живет ирландский народ в ужасающей нищете, из которой он при современных социальных условиях вырваться не может. Живет он в самых жалких лачугах, едва пригодных даже для скота, и зимой еле перебивается. В цитированном выше отчете между прочим говорится, что ирландцы имеют картофеля лишь столько, чтобы тридцать недель в году быть сытыми наполовину, а на остальные 22 недели у них не остается ничего. С наступлением весны, когда запас картофеля приходит к концу или, прорастая, становится несъедобным, жена с детьми отправляется нищенствовать и с чайным котелком в руках странствует по всей стране, а муж, посадивши картофель, отправляется искать работы или здесь же, или в Англии, а осенью к сбору картофеля возвращается. Таково положение девяти десятых всего сельского населения Ирландии. Они бедны, как церковные мыши, одеты в жалкие отрепья и стоят на самой низкой ступени развития, какая только возможна в полудивилизованной стране. Согласно цитированному нами отчету, из населения в 8½ миллионов человек 585 000 отцов семейства живут в полнейшей бедности (*destitution*), а по другим источникам, приводимым шерифом Алисоном,² в Ирландии насчитывается 2 300 000 человек, которые без общественной или частной помощи прожить не могут; другими словами 27% населения — пауперы!

Причина этой бедности — существующие социальные условия и именно конкуренция, которая здесь принимает только особую форму, — форму дробления земли. Пытались отыскивать и другие причины. Утверждают, что причиной этого является способ аренды: землевладелец сдает свою землю большими участками арендаторам, которые сдают эту землю более мелкими участками другим арендаторам, те в свою очередь сдают ее еще более мелкими участками третьим и т. д., так что между землевладельцем и арендатором,

¹ Отчет об Ирландии комиссии по закону о бедных. Парламентская сессия 1837 г.

² «Principles of Population», II vol.

действительно обрабатывающим землю, стоит иногда до десяти промежуточных арендаторов. Затем утверждали, что причиной нищеты является действительно поворный закон, по которому землевладелец в случае неуплаты денег лицом, непосредственно арендующим у него землю, имеет право прогнать с земли действительного земледельца, хотя бы последний уплатил арендные деньги тому арендатору, у которого он снимает землю. Но ведь все перечисленные здесь явления обуславливают только *форму*, в которой проявляется нищета. Допустим, что мелкие арендаторы сами станут землевладельцами; что из этого выйдет? Большинство не сможет прокормиться на своем участке, даже если ему не придется платить арендных денег, а если его положение и изменится немного, то непрерывный и быстрый прирост населения в несколько лет приведет все к прежнему уровню. У тех, которые попадут в лучшие условия, подрастут тогда дети, которые теперь вследствие нужды и лишений умирают в первые годы жизни. Утверждали также, что виной этой нищеты является позорное угнетение народа англичанами. Но этот гнет мог ускорить наступление такой бедности, но он не был причиной того, что она вообще наступила. Указывают также, как на причину бедности, на протестантскую государственную церковь, навязанную католической нации, но поделите между ирландцами все то, что она берет от них, и на каждого не придется и двух талеров. Кроме того десятина является налогом на *землевладельцев*, а не арендаторов, хотя уплачивали ее последние. Теперь, после акта о коммутации 1838 г., десятину платит сам землевладелец, но он на эту сумму увеличивает арендную плату, и положение арендатора не улучшилось. Приводятся еще сотни других причин, столь же мало доказательных. Бедность есть необходимое последствие современных социальных учреждений, и если с этим не считаться, можно искать лишь причин той или другой формы, в которой бедность проявляется, но не причин самой бедности. Причина же того, что в Ирландии бедность проявляется в данной, а не в какой-либо иной форме, заключается в национальном характере народа и его историческом развитии. Ирландцы по своему национальному характеру сродни романским народам, французам и в особенности итальянцам. Дурные стороны этой национальности мы охарактеризовали уже выше словами Карлейля. Послушаем теперь ирландца, который все-таки более прав, чем Карлейль, пытавший особые симпатии к германскому национальному характеру. «Они беспокойны и тем не менее ленивы (*indolent*), смыслены и несдержанны, вспыльчивы, нетерпеливы и непредусмотрительны; они храбры от природы, необдуманно великодушны; по первому же

побуждению мстят за обиды или прощают их, заключают дружбу и порывают ее; они щедро одарены способностями, но скупы — способностью рассуждать». ¹ У ирландцев чувство и страсти безусловно преобладают; разум должен им подчиняться. Их чувственный, легко возбудимый характер не дает развиться рассудительности и мешает спокойной выдержанной деятельности. Такой народ не годится для промышленной деятельности, какая требуется в настоящее время. Вот почему он остался земледельческим народом, и притом на самой низкой ступени развития. При небольших участках земли, существовавших здесь искони, не так, как во Франции и на Рейне, где они явились искусственно путем раздробления крупных поместий, ² нечего было и думать об улучшении почвы путем затраты капитала. По вычислениям Алисона, потребовалось бы 120 миллионов ф. ст. для улучшения почвы Ирландии настолько, чтобы она была так же производительна, как в Англии, где производительность вовсе не так уж высока. Английские эмигранты, которые могли бы поднять культурный уровень ирландского народа, ограничились самой жестокой эксплуатацией его, и в то время как ирландские эмигранты внесли в Англию элемент брожения, который современем принесет свои плоды, английская эмиграция принесла Ирландии мало пользы.

Попытки ирландского народа найти выход из теперешнего отчаянного положения проявляются, с одной стороны, в преступлениях, составляющих обычное явление в сельских округах и особенно часто встречающихся на юге и западе Ирландии. Почти все эти преступления выражаются в убийствах ближайших врагов — агентов и верных слуг землевладельцев, протестантских переселенцев, крупных арендаторов, владения которых составились из картофельных участков сотен прогнанных семейств и т. д. С другой стороны, они состоят в агитации за отмену (Repeal) унии с Великобританией. После всего сказанного ясно, что необразованные ирландцы должны видеть в англичанах своих ближайших врагов; они думают, что первый их шаг вперед заключается в достижении национальной независимости. Но столь же ясно, что бедность не может быть уничтожена никакой «отменой» (Repeal); она может лишь показать, что

¹ «The State of Ireland». London 1807; 2-nd edition. 1821. Pamфлет.

² (1892 г.). Это ошибка. Мелкое хозяйство было господствующей формой хозяйства в земледелии, начиная с средних веков. Мелкие крестьянские хозяйства существовали еще до революции. Последняя изменила только владельцев собственности: она отняла собственность у феодалов и, прямо или косвенно, передала ее в руки крестьян.

причину бедности следует искать не вне Ирландии, как это делается теперь, а внутри ее. Я, впрочем, не стану разбирать здесь, действительно ли нужно осуществление ирландской независимости для того, чтобы ирландцы это поняли. До сих пор в Ирландии не пользовались особым успехом ни чартизм, ни социализм.

На этом я закончу мои замечания об Ирландии, тем более, что агитация за Rereal в 1843 г. и процесс О'Коннелла привлекли внимание немцев к бедствиям Ирландии.

Мы рассмотрели положение пролетариата Британских островов во всех отраслях его деятельности и повсюду нашли нищету, нужду и совершенно невозможные условия жизни. Мы видели, как вместе с ростом пролетариата возникло и росло недовольство, как оно развивалось; мы видели открытую кровавую и бескровную борьбу пролетариата с буржуазией. Мы исследовали принципы, определяющие судьбу, надежды и опасения пролетариев, и нашли, что нет никаких надежд на улучшение их положения. Мы имели случай наблюдать кое-где поведение буржуазии по отношению к пролетариату и убедились в том, что она заботилась только о себе, только о своих собственных интересах. Но чтобы не быть несправедливым по отношению к ней, мы поближе рассмотрим ее образ действия.

ОТНОШЕНИЕ БУРЖУАЗИИ К ПРОЛЕТАРИАТУ.

Говоря в этой главе о буржуазии, я включаю сюда и так называемую аристократию, ибо она является аристократией, привилегированным классом только по отношению к буржуазии, но не по отношению к пролетариату. Пролетарий видит в обеих только имущий класс, т. е. буржуазию. Перед привилегией собственности все другие привилегии — ничто. Различие заключается лишь в том, что буржуа в тесном смысле слова противопоставляется фабричному и отчасти горнозаводскому пролетарию и в качестве *арендатора* — сельскохозяйственному рабочему, а так называемый аристократ приходит в соприкосновение лишь с частью горнозаводского пролетариата и с земледельческим пролетариатом.

Мне никогда не приходилось встречать класса, столь глубоко деморализованного, столь безнадежно испорченного своекорыстием, внутренне разлагающегося и совершенно неспособного к какому бы то ни было прогрессу, как английская буржуазия. И я здесь имею в виду прежде всего буржуазию в тесном смысле слова, особенно либеральную, агитирующую за отмену хлебных законов. Все, что существует в мире, существует, по ее мнению, только ради денег, и она сама не составляет здесь исключения: она живет только для того, чтобы наживать деньги, она знает только одно счастье — счастье быстрой наживы, и одно горе — горе денежной потери.¹ При такой алчности, при такой жадности к деньгам ни одно движение души человеческой не может оставаться незапятнанным. Конечно, английские буржуа — прекрасные супруги и отцы, обладают всевозможными другими так называемыми личными добродетелями и в личных отношениях не менее почтенные и приличные люди, чем

¹ В своей книге «Past and Present» (Лондон 1843) Карлейль превосходно рисует английскую буржуазию и ее отвратительную алчность; часть этой книги я перевел и поместил в «Немецко-французских летописях», куда и отсылаю читателя.

все другие буржуа. В торговле они даже лучше, чем немцы, не торгуются, не придираются так, как наши аршинники, — но что же из этого? В конце концов единственным решающим моментом остается все же личный интерес и особенно денежная нажива. Я шел однажды с таким буржуа в Манчестере и говорил с ним о дурной антисанитарной постройке рабочих кварталов, об отвратительном состоянии их и добавил, что мне никогда еще не приходилось видеть города, так скверно построенного, как Манчестер. Он все это спокойно выслушал, и прощаясь со мной на углу улицы, сказал: *and yet, there is a great deal of money made here.* — А все-таки здесь зарабатывают страшно много денег. До свидания, сударь! — Для английского буржуа совершенно безразлично, умирают ли его рабочие с голода или нет, лишь бы он заработал много денег. Все измеряется деньгами и все, что не приносит денег, — глупости, непрактичность, идеалистическая затея. Вот почему и политическая экономия, наука о способах наживания денег, любимейшая наука этих торгашей. Каждый из них политико-эконом. Отношение фабриканта к рабочему — не человеческое отношение, а чисто экономическое. Фабрикант есть «капитал», а рабочий — «труд». И когда рабочий не желает втиснуть себя в эту абстракцию, когда он утверждает, что он не «труд», а человек, который, правда, между прочим, имеет также способность трудиться, — когда он позволяет себе думать, что он вовсе не должен покупаться и продаваться на рынке как «труд», как товар, буржуа этого понять не может. Он не может понять того, что кроме отношений купли и продажи у него существуют с рабочими еще какие-то другие отношения. Он видит в них не людей, а только «руки» (*hands*), как он постоянно их называет в лицо; он не признает, как выражается Карлейль, никакой другой связи между людьми, кроме одной — *чистогана*. Даже связь между ним и его женой в девяносто девяти случаях из ста может быть выражена той же формулой. Это позорное рабство, в котором деньги держат буржуа, в виду господства буржуазии наложило свой отпечаток даже на язык. Деньги определяют стоимость человека: этот человек стоит 10 000 ф. ст. — *he is worth ten thousand pounds*, т. е. он имеет столько денег. У кого есть деньги, тот «*respectable*» (почтенный человек), принадлежит к «лучшему сорту людей» (*the better sort of people*), «пользуется влиянием» (*influential*), и все, что он делает, составляет эпоху в его кругу. Дух торгашества проникает весь язык, все отношения выражаются в торговых терминах, в экономических понятиях. Спрос и предложение (*supply and demand*) — такова формула, в которую логика англичанина укладывает всю человеческую жизнь.

Отсюда свобода конкуренции во всех областях жизни, отсюда режим невмешательства (*laissez faire, laissez aller*) в администрации, медицине, воспитании и, пожалуй, скоро и в религии, ибо господство государственной церкви все более и более падает. Свободная конкуренция не терпит никаких ограничений, никакого государственного контроля, все государство ей в тягость, для нее всего лучше отсутствие всякой государственности, — состояние, в котором каждый мог бы эксплуатировать другого, сколько ему вздумается, как, например, в «союзе» нашего друга Штирнера. Но так как буржуазия нуждается в государстве хотя бы для того, чтобы держать в узде необходимый ей пролетариат, то она и пользуется им против пролетариата и по возможности не позволяет ему вмешиваться в свои дела.

Не подумайте, однако, что «образованный» англичанин открыто признается в этом эгоизме. Напротив того, он скрывает его под маской самого постыдного лицемерия. — Как, английские богачи не заботятся о бедных? Они, устроившие благотворительные учреждения, каких нет ни в какой стране, не заботятся о них? — О да, благотворительные учреждения! Как будто пролетарию легче от того, что вы, высосав из него последние соки, упражняетесь потом на нем в благотворительности, приятно щекочущей вашу самодовольную фарисейскую душу, и представляете себя миру необычайными благодетелями рода человеческого, возвращая эксплуатируемым вами сотую часть того, что им следует по праву! Благотворительность, более деморализующая дающего, чем берущего, благотворительность, еще более унижающая и без того униженного, требующая, чтобы лишенный сблика человеческого, отверженный обществом парий отказался от последнего, что ему осталось — от звания человека, чтобы *он униженно просил милостыню*, пока она не наложит на него печать отсутствия человеческого достоинства! Но к чему все это? Послушаем, что говорит сама английская буржуазия. Менее года тому назад я встретил в газете «Manchester Guardian» следующее письмо в редакцию, напечатанное без всяких комментариев, как будто это вполне естественная и понятная вещь:

«Господин редактор!

С некоторых пор на главных улицах нашего города появилась масса нищих, пытающихся часто самым бесстыдным образом обратить на себя внимание и возбудить сострадание прохожих то своими лохмотьями, то болезненным видом, то отвратительными ранами и уродствами. Мне думается, что человек, уплативший не только налог в пользу бедных, но и вносящий не мало в кассу благотворительных

обществ, сделал с своей стороны достаточно для того, чтобы иметь право на защиту от такой неприятной и бесстыдной навойливости. Зачем же мы платим такой высокий налог на содержание городской полиции, если она не может даже гарантировать нам спокойную прогулку в город или обратно? — В надежде, что опубликование этих строк в вашей широко распространенной газете побудит городские власти принять меры к устранению этого зла (*puissance*), остаюсь

преданная вам одна дама».

Вот видите! Английская буржуазия занимается благотворительностью в собственных своих интересах; она ничего не дарит, а смотрит на свои подаяния, как на коммерческую сделку. Она заключает с бедняками *сделку*, говоря им: затрачивая столько-то и столько-то на благотворительные цели, я тем самым покупаю себе право не терпеть больше ваших приставаний, а вы тем самым обязуетесь оставаться в своих темных конурах и не раздражать моих чувствительных нервов видом вашей нищеты! Вы можете приходить в отчаяние, но делайте это у себя дома. Это я ставлю условием, это я оплачиваю пожертвованиями в 20 фунтов на больницу! О, будь она проклята, эта поворная благотворительность христианина-буржуа! — И так пишет «дама!» О да, дама, именно дама! Она хорошо сделала, что подписалась таким образом. Она, к счастью, не имеет смелости назвать себя *женщиной!* И если таковы «дамы», то каковы же должны быть «господа»? — Мне скажут, что письмо это — единичный случай. Нет, оно именно выражает взгляды огромного большинства английской буржуазии, ибо иначе и редакция не напечатала бы его, иначе на него последовало бы какое-нибудь возражение, которого я тщетно искал в последующих номерах газеты. А что касается результатов этой благотворительности, то ведь сам каноник *Паркинсон* говорит, что бедняки получают больше поддержки от своего брата, чем от буржуазии. К тому же поддержка честного пролетария, который сам прекрасно знает, что такое голод, который, делясь своим скудным обедом, приносит жертву, но делает это с радостью, — такая поддержка имеет совершенно другое значение, чем подачка, брошенная утопающим в роскоши буржуа.

Лицемерная буржуазия старается порисоваться своей мнимой беспредельной гуманностью и во всех других случаях, когда этого требуют ее собственные интересы. Лицемерит она и в политике, и в политической экономии. Уже пятый год она лезет из кожи, стараясь показать рабочим, что она желает отмены хлебных законов только ради них, пролетариев. В действительности же дело обстоит:

так. Хлебные законы, удерживающие цены на хлеб в Англии на более высоком уровне, чем в других странах, тем самым повышают заработную плату и затрудняют фабрикантам конкуренцию с фабрикантами других стран, в которых цены на хлеб, а с ними и заработная плата, ниже. Если хлебные законы будут отменены, цены на хлеб понизятся, и заработная плата, понизившись, приблизится к заработной плате остальных цивилизованных стран Европы. Все это должно быть ясно для всякого после изложенных выше принципов, регулирующих заработную плату. Фабриканту будет легче выдерживать конкуренцию, спрос на английские товары возрастет, а вместе с ним возрастет и спрос на рабочие руки. Вследствие этого усиления спроса заработная плата, правда, снова немного повысится, и безработные рабочие найдут себе занятие. Но как долго это может продолжаться? «Избыточного населения» Англии и в особенности Ирландии достаточно для того, чтобы снабдить необходимыми рабочими английскую промышленность, если даже ее размеры удвоятся. Не пройдет и нескольких лет, как ничтожные выгоды от отмены хлебных законов снова исчезнут, наступит новый кризис, и мы не подвинемся ни на шаг вперед, а между тем первый толчок, данный промышленности, ускорил бы также прирост населения. Все это пролетарии прекрасно понимают и много раз высказывали это буржуазии. Тем не менее эта буржуазная порода, видящая только ту *непосредственную выгоду*, которую принесет ей отмена хлебных законов, тупая настолько, что она не понимает даже того, что и ей мера эта не принесет *прочной* выгоды, ибо конкуренция фабрикантов между собой быстро доведет до прежнего уровня прибыль каждого в отдельности, — эта порода продолжает и теперь уверять рабочих, что все это делается ради них одних, что только ради голодающих миллионов людей богачи-либералы жертвуют сотни и тысячи фунтов в кассу Лиги борьбы против хлебных законов. А между тем, кто же не знает того, что они жертвуют малым, чтобы выгадать большее, что они рассчитывают вернуть свои пожертвования сторицей в первые же годы после отмены хлебных законов. Но рабочие не поддаются больше на удочку буржуазии, в особенности после восстания 1842 г. От каждого, кто выдает себя за человека, заботящегося об их интересах, они требуют, чтобы он в доказательство искренности своих намерений высказался за народную хартию. Тем самым они протестуют против всякой посторонней помощи, ибо в хартии они требуют только, чтобы им дана была возможность помогать себе *самим*. Кто на это не соглашается, тому они не без основания объявляют войну, кто бы он ни был, открытый ли

враг или лицемерный друг. — Впрочем, Лига борьбы против хлебных законов прибегала к самой униженной лжи, самым презренным уловкам, чтобы привлечь на свою сторону рабочих. Она пыталась внушить им, что цена на труд обратно пропорциональна цене на хлеб, что заработная плата высока, когда цена на хлеб стоит низко, и наоборот. Положение это она старалась доказать самыми смешотворными аргументами, да и само по себе оно является самым смешным положением, которое когда-либо высказывал какой-либо экономист. Когда это не помогало, рабочим обещали величайшие блага, которые должно принести с собой усиление спроса на рабочие руки. Не постыдились даже носить по улицам две модели хлеба — одну большую с надписью: *американский восьмипенсовый хлеб, заработная плата — четыре шиллинга в день*, и другую, гораздо меньшую, с надписью: *английский восьмипенсовый хлеб, заработная плата — два шиллинга в день*. Но рабочие не дались в обман: они слишком хорошо знают своих хозяев.

Но если вы хотите вполне распознать лживость этих прекрасных обещаний, обратитесь к практической жизни. Мы уже видели выше, как буржуазия всевозможными средствами эксплуатирует пролетариат в свою пользу. Но мы видели только, как отдельные буржуа в индивидуальном порядке эксплуатируют рабочих. Перейдем теперь к рассмотрению тех случаев, когда буржуазия выступает против пролетариата как партия или даже как государственная власть. — Что все законодательство направлено к защите имущего от неимущих, ясно само собой. Только потому, что есть неимущие, необходимы законы. Эта мысль находит прямое выражение только в немногих законах, например в законах против бродяг и бесприютных, в которых пролетариат объявляется противозаконным как таковой. Но враждебное отношение к пролетариату настолько вообще лежит в основе закона, что судьи очень легко добираются до этого смысла, особенно мировые судьи, которые сами принадлежат к буржуазному обществу и с которыми пролетариат больше всего приходит в соприкосновение. Когда богатый вызывается или, скорее, приглашается в суд, судья высказывает сожаление, что ему пришлось побеспокоить его, всячески старается повернуть дело в его пользу и если все-таки вынужден осудить его, он опять высказывает свои бесконечные сожаления и т. д. В результате получается незначительный денежный штраф, который буржуа с презрением бросает на стол и удаляется. Но если какому-нибудь бедняку надо предстать перед мировым судьей, он почти всегда должен провести ночь накануне суда в арестном доме с массой других, таких же, как он; на него с самого начала

смотрят как на виновного, покрикивают на него и на все его попытки оправдаться отвечают презрительно: «О, мы знаем эти отговорки!» Кончается дело штрафом, которого он уплатить не может и за который ему приходится расплачиваться несколькими месяцами принудительной работы в тюрьме. Если даже преступление его не может быть доказано, его все же отправляют в тюрьму как негодяя и бродягу (a rogue and a vagabond — эти выражения почти всегда употребляются рядом). Пристрастность мировых судей, особенно в сельских округах, действительно превосходит всякое описание и представляет собой такое обычное явление, что обо всех случаях, не выходящих из ряда вон, газеты сообщают совершенно спокойно без всяких комментариев. Да и как может быть иначе? С одной стороны, эти «Dogbergies» (мировые судьи) толкуют законы только в том смысле, который в них заключается, а с другой стороны, они сами — буржуа и главную основу всякого истинного порядка видят прежде всего в интересах своего класса. Каковы мировые судьи, такова и полиция. Что бы буржуа ни делал, полицейский всегда с ним вежлив и строго придерживается законов, но с пролетарием он обращается грубо и жестоко. Сама бедность уже навлекает на пролетария подозрение во всевозможных преступлениях, лишая его в то же время законных средств для защиты от произвола властей. Поэтому закон его не охраняет; полиция без всяких околичностей врывается в его дом, арестует его и расправляется с ним, как хочет. И только тогда, когда какой-нибудь рабочий союз приглашает защитника, как углекопы пригласили Робертса, только тогда становится ясным, как мало закон защищает пролетариев, как часто им приходится нести на плечах своих все бремя закона, не пользуясь предоставляемыми им выгодами.

Имуций класс и до настоящего времени не перестает бороться в парламенте с теми, кто еще не совсем впал в эгоизм, кто способен еще на лучшие чувства, и эту борьбу он ведет во имя одной цели — порабощения пролетариата. Один участок земли за другим вырывается у общин и поступает в обработку, что, конечно, повышает культуру, но сильно вредит пролетариату. Там, где имелись общинные земли, бедняк мог выпустить своего осла, свинью или несколько гусей, там дети и молодые люди могли играть и резвиться на свободе. Теперь это все более меняется, заработок бедняков уменьшается, и молодежь, лишившись места для игр, отправляется в кабак. В каждую сессию проходит масса парламентских актов, разрешающих обработку общинных земель. — Когда в сессию 1844 г. правительство решило заставить железнодорожные общества, монополизиро-

вавшие все средства сообщения, сделать путешествия по железным дорогам доступными и для рабочих, понизив соответственно проездную плату (до 1 пенса за милю), и предложило, чтобы на всех железных дорогах курсировал ежедневно один такой поезд третьего класса, то «почтенный отец во господе» епископ лондонский сделал предложение, чтобы такой поезд не курсировал по воскресеньям, т. е. в тот единственный день, когда занятые рабочие вообще *могут* ездить, чтобы по воскресеньям ездили только богачи, но не бедняки. Это предложение было, однако, слишком откровенно и бесцеремонно, и потому не было принято. — У меня нет места для того, чтобы перечислить замаскированные нападки на пролетариат хотя бы в течение одной только сессии. Приведу еще только один случай из той же сессии 1844 г. Совсем малоизвестный член парламента, некий г. Майльс, внес билль, регулирующий отношения между господами и слугами и носивший как будто довольно невинный характер. Правительство одобрило билль, и он был передан на рассмотрение комиссии. Тем временем началась стачка углекопов на севере Англии, и Роберте совершал триумфальные поездки по Англии с оправданными на суде рабочими. Когда билль вернулся из комиссии, оказалось, что в него было внесено несколько крайне деспотических пунктов, из которых особенно замечателен один: на основании этого пункта хозяин имел право всякого рабочего, заключившего с ним устно или письменно договор на какую-нибудь работу, хотя бы она носила характер мелкой услуги, потащить к какому угодно (ану) мировому судье в случае отказа от работы или вообще *дурного поведения* (*misbehaviour*), и судья на основании показаний под присягой работодателя или его агентов и надсмотрщиков, т. е. на основании показания истца, мог присудить рабочего к тюрьме или принудительным работам сроком до двух месяцев. Этот билль возбудил среди рабочих сильнейшее негодование, тем более, что как раз в это время в парламенте обсуждался десятичасовой билль и по этому поводу велась сильнейшая агитация. Были устроены сотни собраний, сотни петиций рабочих были посланы в Лондон защитнику пролетариата в парламенте, *Томасу Денкомбу*. Кроме «молодого англичанина» Ферранда последний был единственным энергичным оппонентом билля, но когда остальные радикалы увидели, что народ против билля, они один за другим повылезали из своих нор и пристали к Денкомбу, а так как и либеральная буржуазия в виду возбуждения рабочих не осмелилась высказаться за билль и так как вообще никто не был особенно заинтересован в том, чтобы отстаивать его вопреки воле народа, он с треском провалился.

Но самым явным объявлением войны пролетариату со стороны буржуазии является теория народонаселения Мальтуса и построенный на ней новый закон о бедных. О теории Мальтуса нам приходилось говорить уже не раз. Повторим здесь вкратце ее главные выводы. На земле имеется всегда избыток населения и поэтому на ней всегда должны царить нужда, нищета, бедность и безнравственность. Такова судьба и вечный удел людей, что их всегда бывает слишком много, и потому они распадаются на различные классы, из которых одни более или менее богаты, образованы и нравственны, а остальные более или менее бедны, невежественны и безнравственны. Отсюда вытекает следующий практический вывод, — и этот вывод делает сам Мальтус, — что благотворительность и кассы для бедных, в сущности, лишены всякого смысла, ибо они служат лишь для сохранения избыточного населения и для его увеличения, а оно своей конкуренцией понижает заработную плату других. Столь же бессмысленно снабжение бедняков работой попечительствами о бедных, ибо раз может быть потреблено только определенное количество продуктов труда, то вместо каждого безработного, получающего работу, лишается заработка другой рабочий, имевший до сих пор заработок, т. е. промышленность попечительств о бедных развивается за счет частной промышленности. В виду этого дело совсем не в том, чтобы прокормить избыточное население, а в том, чтобы тем или иным образом возможно более сократить его. Мальтус без всяких околочностей называет чистой бессмыслицей до сих пор признававшееся право каждого живого человека на средства к существованию. Он цитирует слова поэта: Бедняк садится за праздничный пир природы и не находит для себя свободного прибора и — прибавляет он сам от себя — природа приказывает ему убираться (*she bids him to be gone*), «ибо он не спросил у общества до своего рождения, желает ли оно его принять». Теория эта в настоящее время сделалась специальной теорией всех истинных английских буржуа. И это вполне естественно: она очень для них удобна, и, кроме того, при современных условиях она включает в себе много верного. Раз вопрос вовсе не в том, чтобы сделать «избыточное население» полезной частью общества, а только в том, чтобы как можно легче дать людям умереть с голода и помешать им наплодить слишком много детей, то дело, конечно, очень упрощается. Но при этом важно одно условие: чтобы избыточное население само признало себя таковым и согласилось умереть с голода. Но на это покуда нет надежды, несмотря на самые ревностные усилия гуманной буржуазии убедить в этом рабочих. Пролетарии, наоборот, вбили

себе в голову, что именно они со своими трудолюбивыми руками полезны и нужны, а избыточными, лишними являются, в сущности, богатые господа капиталисты, которые ничего не делают.

Но покуда власть находится в руках богачей, пролетарии ничего не могут поделать против этого, и если они сами не хотят признать этого добровольно, то это делает за них закон, который и объявляет их излишними. Как раз это и делает новый закон о бедных. Старый закон о бедных, основанный на акте 1601 г. (43-rd of Elizabeth), наивно исходил из того принципа, что забота о содержании бедных лежит на приходе. Кто не имел работы, получал вспомоществование, и с течением времени бедные совершенно справедливо стали считать приход обязанным защитить их от голодной смерти. Они требовали своего еженедельного пособия не как милости, а как права. Это буржуазии, наконец, надоело. В 1833 г., когда она благодаря биллю о реформах достигла власти и пауперизм в сельских округах достиг своего высшего развития, она немедленно приступила к реформе законов о бедных в своих интересах. Была назначена комиссия для расследования применения законов о бедных, раскрывшая массу злоупотреблений. Оказалось, что весь рабочий класс сельских округов превратился в пауперов и всецело или отчасти зависит от касс для бедных, которые при низкой заработной плате выдавали бедным некоторую прибавку. Нашли, что система, поддерживающая безработных, получающих малое вознаграждение и многодетных, ваставляющая отца незаконных детей платить на их пропитание, признающая вообще право бедняков на защиту, — что эта система разоряет страну, «тормозит развитие промышленности, награждает за необдуманные браки, содействует увеличению населения и парализует влияние роста населения на заработную плату; что она является национальным учреждением для деморализации прилежных и честных людей и для защиты лентяев, порочных и легкомысленных людей; что она разрушает семейные узы, систематически тормозит накопление капиталов, разлагает капиталы существующие и разоряет плательщиков налогов. Кроме того, обязуя отцов незаконных детей содержать их, она назначает как бы премию за незаконных детей» (слова отчета комиссии по закону о бедных)¹. — Влияние старого закона о бедных в общем и целом нарисовано здесь верно. Вспомоществования развивают леность и содействуют увеличению «избыточного» населения. При современных социальных

¹ «Extracts from Information received by the Poor Law Commissioners». Published by Authority. London, 1833.

условиях бедняк несомненно вынужден быть эгоистом, и если ему предоставляется выбор и это не может повлиять на условия его жизни, он предпочитает бездельничать, чем работать. Отсюда, однако же, следует только то, что современные социальные условия никуда не годятся, но вовсе не то, к чему приходят мальтузианцы-комиссары, а именно, что бедность — преступление и что с нею следует бороться путем устрашения.

Но эти мудрые мальтузианцы были так убеждены в непогрешимости своей теории, что они без всяких колебаний бросили бедняков на прокрустово ложе своих взглядов и обошлись с ними согласно этим взглядам с возмутительной жестокостью. Будучи вместе с Мальтусом и другими сторонниками свободной конкуренции убеждены, что лучше всего предоставить каждому самому заботиться о себе и проводить последовательно принцип невмешательства (*laissez faire*), они охотнее всего совсем отменили бы законы о бедных. Но они для этого не имели ни смелости ни авторитета, и потому они придали новому закону о бедных возможно более мальтузианский характер, что сделало его еще более варварским, чем принцип невмешательства, потому что там, где этот последний лишь пассивен, новый закон о бедных проявляет активность. Мы видели, что Мальтус объявляет бедняка или, вернее, не имеющего средств к жизни лишним и потому преступником, которого общество должно карать голодной смертью. До такого варварства комиссары, правда, не дошли: прямая, грубая голодная смерть представляет собою нечто ужасное даже в глазах члена комиссии по закону о бедных. Хорошо, — сказали они, — вы, бедные, имеете право существовать, но *только* существовать; но вы не имеете права размножаться и тем более не имеете права на *человеческое* существование. Вы — бич народный, и если мы не можем немедленно вас устранить, как всякий другой бич, то вы, по крайней мере, должны себя чувствовать таковым; вас необходимо держать в узде, лишить вас возможности производить других «излишних», законных и незаконных, обреченных на безработицу и голод людей. Вы можете жить, но только как предостережение всем тем, которые могли бы иметь повод тоже сделаться излишними.

Они предложили новый закон о бедных, принятый парламентом в 1834 г. и остающийся в силе и донныне. Все вспомоществования деньгами или продуктами были отменены; допускалась одна только помощь — прием в работные дома, которые и были немедленно повсюду построены. Эти работные дома (*workhouses*) или, как народ их называет, бастилии закона о бедных (*poor-law-bastilles*) таковы, что они должны отпугивать от себя всякого, у кого осталась хоть

малейшая надежда пробиться без этого благодеяния общества. Для того, чтобы бедняк обращался за помощью только в самых крайних случаях, чтобы он, прежде чем решиться на это, исчерпал все возможности обойтись без нее, из рабочего дома было сделано такое пугало, какое может придумать только утонченная фантазия мальтузианца. Питание в них хуже, чем питание самых бедных рабочих, а работа тяжелее: ведь иначе последние предпочли бы пребывание в рабочем доме своему жалкому существованию вне его. Мясо, в особенности свежее, обитатели рабочего дома получают очень редко, а большей частью получают картофель, хлеб самого плохого качества, овсяную кашу и немного пива, а иногда им пива вовсе не дают. Даже в тюрьмах питание в среднем лучше, так что обитатели рабочего дома часто нарочно совершают какой-нибудь проступок, чтобы попасть в тюрьму. Кто не исполняет назначенной ему работы, не получает и еды; если кто хочет пойти в город, должен предварительно просить разрешения, в котором инспектор может отказать, если поведение просителя было, по его мнению, неудовлетворительно. Курение табаку воспрещено. Воспрещено также принятие подарков со стороны друзей и родственников. Паузеры носят форму рабочего дома и совершенно зависят от произвола инспектора. Чтобы их труд не мог конкурировать с частной промышленностью, им дают большей частью совершенно бесполезную работу. Мужчин заставляют разбивать камни, и они должны разбить столько, «сколько может разбить сильный мужчина при некотором напряжении в течение дня»; женщины, дети и старики щиплют старые канаты, — не помню — для какой-то неважной цели. Для того, чтобы «излишние» не могли размножаться и чтобы «деморализованные» родители не могли влиять на своих детей, семьи разделяются: мужа поселяют в одном флигеле, жену в другом, а детей в третьем. Видеться они могут только изредка в определенное время и только с разрешения чиновника, который в случае их плохого поведения может им в этом отказать. И для того, чтобы совершенно изолировать в этих бастилиях заразу пауперизма от внешнего мира, обитатели их могут принимать посетителей только с разрешения начальства и в приемной, и вообще сношения с другими людьми допускаются только под надзором или с разрешения начальства.

При всем том по закону пища должна быть здоровая и обращение с обитателями человеческое. Но дух закона таков, что это требование никогда не исполняется. Комиссары по закону о бедных и с ними вся английская буржуазия ошибаются, если они думают, что можно провести принцип без его выводов. Обращение с обитателями рабочего

дома, предписанное буквой закона, противоречит всему его духу. Раз закон по существу дела рассматривает бедняков как преступников, работные дома — как исправительные тюрьмы, обитателей их — как людей, стоящих вне закона, вне человечества, как воплощение всякой скверны, то всякое декретирование иного отношения помочь не может, и на практике чиновники руководствуются в своих отношениях к беднякам не буквой, а духом закона. Приведу здесь из этой практики несколько примеров.

В работном доме в *Гринвиче* летом 1843 г. пятилетний мальчик в наказание за какой-то проступок был на три ночи заперт в мертвецкую, где ему пришлось спать на крышках гробов. В работном доме в *Хирне* то же самое проделали с маленькой девочкой, помочившейся ночью в постель. Этот способ наказания пользуется новидимому вообще большими симпатиями. Работный дом в *Хирне* находится в одной из прекраснейших местностей *Кента*, но все окна в нем выходят внутрь, во двор, и только недавно пробили два окна, позволяющие его обитателям взглянуть на внешний мир. Журналист, описавший этот работный дом в газете «*Illuminated Magazine*», заканчивает свою статью следующими словами: «Если господь бог наказывает человека за преступления так, как человек наказывает человека за бедность, то горе потомкам *Адама!*» В ноябре 1843 г. умер в *Лейстере* человек, выпущенный за два дня до этого из работного дома в *Конвентри*. Подробности обращения с бедняками в этом учреждении возмутительны. У человека, о котором идет здесь речь, *Джорджа Робсона*, была рана на плече, лечение которой было совершенно запущено. Его поставили у насоса и заставляли приводить его в движение здоровой рукой; кормили его обычной пищей работного дома, но, истощенный запущенной раной, он не мог переварить ее. Вследствие этого он все более и более слабел; но чем больше он жаловался, тем хуже с ним обращались. Когда его жена, тоже находившаяся в работном доме, хотела отдавать ему свою маленькую порцию пива, ее ругали и заставляли выпивать это пиво в присутствии надзирательницы. Он заболел, но и тогда обращение с ним не стало лучше. Наконец он был отпущен по его просьбе с женой и оставил работный дом, напутствуемый самыми оскорбительными выражениями. Два дня спустя он умер в *Лейстере*, и врач, свидетельствовавший его после смерти, удостоверил, что смерть произошла от запущенной раны и от пищи, которая в виду его состояния была совершенно для него непереварима. Когда он оставлял работный дом, ему выдали денежные письма, присланные на его имя; они лежали в канцелярии работного дома шесть недель и по правилам были вскрыты начальником дома.—

В работном доме в *Бирмингаме* происходили такие поворные вещи, что в декабре 1843 г. туда был послан чиновник для расследования дела. Он нашел, что четыре *trampers*'а (мы выше объяснили уже значение этого слова) были заперты голыми в собачью конуру (*blackhole*) под лестницей; их здесь продержали 8 — 10 дней, заставляли часто голодать, не давали пищи до обеда — и все это в самое суровое время года. Один маленький мальчик перебивал во всех карцерах этого дома: сначала он посидел в сырой, сводчатой и тесной кладовой, потом два раза в собачьей конуре, причем во второй раз он оставался в ней три дня и три ночи; затем он столько же времени посидел в старой собачьей конуре, еще худшей, чем первая, и, наконец, в комнате для *trampers*'ов, вонючей, отвратительной, грязной дыре с деревянными нарами для спанья, в которой чиновник при ревизии нашел еще двух оборванных скорчившихся от холода мальчиков, просидевших там уже четыре дня. В собачью конуру часто набивали до семи *trampers*'ов, а в отведенной для них комнате помещалось часто до двадцати. Женщин тоже сажали в собачью конуру в наказание за то, что они отказывались идти в церковь. Одну из них посадили даже на четыре дня в комнату для *trampers*'ов, где она нашла, конечно, бог знает какое общество. К тому же она тогда была больна и принимала лекарства. Другая женщина была в наказание отправлена в больницу для умалишенных, хотя она была в полном уме. В бэктонском работном доме в Сеффольке в январе 1844 г. тоже было произведено дознание, обнаружившее, что в качестве больничной сиделки служила здесь слабоумная женщина, делавшая с больными совершенно невозможные вещи, и больные беспокойные или часто встававшие ночью привязывались на ночь веревками к постели, чтобы сиделкам не приходилось дежурить; один больной, связанный таким образом, был найден мертвым. В доме для бедных св. *Панкратия* в Лондоне, где шьют дешевые рубахи, один эпилептик задохся во время припадка в кровати, и никто к нему не пришел на помощь. В том же доме спят в одной кровати четверо, шестеро, а иногда и восемь детей. В шордичском работном доме в Лондоне одного человека на ночь положили в постель вместе с больным сильнейшей горячкой, и к тому же постель была полна насекомыми. В работном доме в *Бетналь Грине*, в Лондоне, женщина, находившаяся на шестом месяце беременности, не была принята в рабочий дом; ее заперли вместе с ее ребенком, которому не было еще двух лет, в приемной, где она оставалась от 28 февраля до 20 марта 1844 г.; постелей и мест для удовлетворения естественных нужд в приемной, конечно, не было. Муж ее тоже был приведен в рабочий дом, и когда он по-

просил освободить его жену, он был посажен за эту дерзость в карцер на 24 часа на хлеб и воду. — В работном доме в *Слоу* близ Уиндзора один обитатель в сентябре 1844 г. лежал при смерти. Жена, узнав об этом, поехала туда и, прибыв на место в двенадцать часов ночи, поспешила в работный дом, но не была впущена. Только на следующее утро ей разрешили свидание с ним и то лишь на полчаса и в присутствии надзирательницы; та же надзирательница присутствовала и на последующих свиданиях и по истечении получаса напоминала ей, что пора уходить. — В работном доме в *Миддл-тоне* в Ланкашире спало в одной комнате двенадцать, а иногда до восемнадцати пауперов обоего пола. Это учреждение подчинено не новому, а старому исключительному закону о бедных (акт Гильберта). Инспектор устроил в этом доме свою собственную пивоварню. В *Стокпорте* 31 июля 1844 г. был притащен к мировому судье из работного дома семидесятидвухлетний старик. Он был обвинен в том, что отказывался разбивать камни. Оправдывался он тем, что он слишком стар для такой работы и что у него парализовано колено. Он просил дать ему какую-нибудь иную работу, более соответствующую его силам, но напрасно: он был присужден на две недели к принудительным работам в тюрьме. — В работном доме в *Басфорде* была произведена ревизия в феврале 1844 г. Оказалось, что простыни не менялись в течение тринадцати недель, рубахи — в течение четырех недель, а чулки — в течение времени от двух до десяти месяцев, так что из 45 мальчиков только трое были еще в чулках, а рубахи были у всех в лохмотьях. Постели были полны насекомыми, а миски для еды мылись в парашках. — В работном доме *западной части Лондона* был швейцар, больной сифилисом. Он заразил своей болезнью четырех девушек и тем не менее не был уволен. Другой швейцар увел из одного отделения глухонемую девушку и в течение четырех дней держал ее у себя в постели и спал с нею. Он тоже не был уволен.

С мертвыми обращаются не лучше, чем с живыми. Бедняков закапывают самым небрежным образом, как околевший скот. Кладбище *Сент-Брайде* в Лондоне, где хоронят бедняков, представляет собою обнаженное, болотистое место, служащее кладбищем со времени Карла II и усеянное кучами костей. Каждую среду там хоронят бедняков. Их бросают в яму в 14 футов глубиной, поп торопливо бормочет свои молитвы, яма слегка засыпается землей, чтобы в следующую среду ее можно было снова разрыть и бросить туда новых покойников. Так продолжается до тех пор, пока яма не наполнится до отказа. Запах гниющих трупов заражает поэтому всю

окрестность.—В *Манчестере* кладбище для бедных расположено против старого города на берегу Ирка; это—пустынная неровная местность. Года два тому назад здесь была проведена железная дорога. Будь это кладбище для «порядочных» людей, какой вопль подняли бы буржуазия и духовенство, как они кричали бы о святотатстве! Но это было кладбище для бедных, место последнего успокоения пауперов и излишнего населения—значит было нечего стесняться. Не дали себе даже труда перенести не вполне разложившиеся трупы в другую часть кладбища. Могилы раскапывались там, где казалось удобнее провести дорогу, сваи вбивались в свежие могилы, так что вода, насыщенная продуктами разложения, выступала из болотистой почвы, наполняя окрестность самыми отвратительными и вредными газами. Я не стану описывать здесь во всех подробностях неслыханную грубость, с которой все это делалось.

Можно ли удивляться тому, что бедняки отказываются при таких условиях прибегать к общественной помощи, что они предпочитают голодную смерть этим бастилиям? Я знаю пять случаев, когда люди действительно и буквально умерли с голода. Когда за несколько дней до их смерти попечительство о бедных отказало им выдать вспомоществование и предложило поступить в рабочий дом, они предпочли голодать, чем пойти в этот ад. С этой стороны комиссия по закону о бедных добилась своей цели вполне. Но зато никакая мера находящейся у власти партии не вызвала такого озлобления среди рабочего класса против имущих, большая часть которых превозносит этот новый закон о бедных, как именно рабочие дома. От Ньюкэстля до Дувра этот закон вызвал единодушный крик возмущения у всех рабочих. Буржуазия так ясно выразила в нем свое мнение о своих обязанностях по отношению к пролетариату, что самый ограниченный человек должен был это понять. Никогда еще так открыто, так беззастенчиво не заявлялось, что неимущие существуют для того, чтобы имущие могли эксплуатировать их, и что они должны умирать с голоду, если они более не нужны имущим. Вот почему новый закон о бедных в такой мере ускорил развитие рабочего движения и в особенности содействовал распространению чартизма. Так как этот закон всего более применяется в сельских округах, то он и там облегчит развитие пролетарского движения.

Прибавим еще, что в *Ирландии* существует с 1838 г. такой же закон о бедных, создавший такие же убежища для 80 000 пауперов. И здесь этот закон стал ненавистным и еще более возбудил бы против себя бедняков, если бы он мог иметь и здесь то значение, которое он получил в Англии. Но что значит дурное обращение с 80 000 проле-

тариев в стране, где их насчитывается 2 $\frac{1}{2}$ миллиона! — В Шотландии, за исключением некоторых отдельных местностей, совсем нет законов о бедных.

После приведенного здесь описания нового закона о бедных никто, я думаю, не найдет мои слова об английской буржуазии слишком резкими. В этом государственном акте, в котором она выступает *in corpore*, как власть, она ясно показывает, чего она собственно хочет и какое значение имеют все более мелкие поступки против пролетариата, набрасывающие будто бы тень только на отдельных лиц. И этот акт исходит не из одной какой-нибудь группы буржуазии, а одобряется всем классом, что, между прочим, доказывают парламентские дебаты 1844 г. Издавал новый закон о бедных либеральная партия; партия консервативная со своим министром Пилем во главе защищает его и вносит в него только некоторые мелкие поправки при помощи Poor Law Amendment Bill 1844 г. Либеральное большинство издавало этот закон, консервативное большинство его подтвердило и благородные лорды оба раза дали на него свое «согласие». Так пролетариат поставлен вне государства и общества; так открыто заявлено, что пролетарии — не люди и не заслуживают человеческого обращения. Но мы можем спокойно предоставить пролетариям Британской империи самим восстановить свои человеческие права.¹

* * *

Таково положение рабочего класса Великобритании, насколько я успел изучить его в течение двадцати одного месяца как путем собственных наблюдений, так и по официальным и иным достоверным отчетам. И если я не раз на предыдущих страницах называл это положение совершенно невыносимым, то этого взгляда придерживаюсь не я один. Еще в 1833 г. Гаскелль заявил, что он отчаялся

¹ Во избежание всяких недоразумений и могущих возникнуть отсюда возражений, я должен еще заметить, что я говорил о буржуазии как о *классе*, и все рассказы мои о поступках отдельных лиц я приводил только для характеристики образа мысли и поведения *класса*. По этой причине я не мог также вдаваться в разбор различий между отдельными секциями и партиями буржуазии, имеющими только историческое и теоретическое значение. Поэтому также я только вскользь могу упомянуть о немногих представителях буржуазии, являющихся достойными уважения исключениями. К этим исключениям относятся, с одной стороны, более решительные радикалы, почти чартисты, каковы члены Нижней палаты фабриканты Гиндли из Аштона и Фильден из Тодмордена (в Ланкашире) и, с другой стороны, гуманные тори, которые недавно организовались в *«Молодую Англию»*; из них особенно замечательны члены парламента Дизраэли, Бортвик, Ферранд, лорд Джон Манверс и др. Ближе к ним стоит и лорд Эшли. — Цель *«Молодой Англии»* — восстановление старой

в мирном исходе и что вряд ли удастся избежать революции. В 1838 г. Карлейль объясняет чартизм и революционное настроение рабочих нищетой последних и только удивляется, что они могли в течение долгих восьми лет спокойно сидеть за столом Бармекидов, позволяя либеральной буржуавии кормить их пустыми обещаниями. В 1844 г. он заявляет, что необходимо немедленно приступить к организации труда, если Европа или, по крайней мере, Англия «не желает превратиться в необитаемую пустыню». Газета «Times», «первая газета Европы», в июне 1844 г. прямо заявляет: *«Война — дворцам, мир — хижинам, — вот ужасный боевой клич, который может еще раз прозвучать в нашей стране. Остерегайтесь, богатые люди!»*

Рассмотрим, однако, еще раз шансы английской буржуавии. В худшем случае иностранной и, в особенности, американской промышленности удастся выдержать английскую конкуренцию и после отмены хлебных законов, которая через несколько лет окажется необходимой. Германская промышленность делает теперь большие усилия, а развитие американской промышленности идет гигантскими шагами. Со своими неисчерпаемыми природными богатствами, огромными залежами угля и железной руды, с беспремерным изобилием водяной силы и судоходных рек, но в особенности со своим энергичным и деятельным населением, в сравнении с которым и англичане — флегматичные колпаки, Америка менее чем в десять лет создала промышленность, конкурирующую уже теперь с Англией своими более грубыми хлопчатобумажными изделиями (главным продуктом английской промышленности), вытеснила ее из северо-американского и южно-американского рынка, а в Китае продает свои товары рядом с английскими. В других отраслях промышленности дело обстоит так же. Если какая-нибудь страна способна захватить в свои руки промышленную монополию, то это — Америка. Раз английская промышленность окажется таким образом побежденной, — что неиз-

«*mercy England*» с ее старым блеском и романтическим феодализмом. Цель эта, конечно, неосуществима и даже смешна, это — сатира на все историческое развитие. Но ценны уже добрые намерения, мужество, с которым эти люди восстают против существующего строя, против существующих предрассудков, мужество, с которым они признают всю низость существующего. Совершенно особняком стоит *Томас Карлейль*, бывший сначала торием и ушедший дальше, чем все упомянутые выше. Он глубже всех английских буржуа понял социальное неустройство и требует организации труда. Я надеюсь, что, найдя правильный путь, он будет в состоянии и следовать ему. Шлю ему мои и многих немцев лучшие пожелания! — (1892 г.). Февральская революция превратила его в настоящего реакционера; справедливым гнев на филистеров сменился у него кислым филистерским брюжжанием на историческую волну, выбросившую его на берег.

бежно должно случиться в течение ближайших двадцати лет, если современные социальные условия не изменятся, — то большинство пролетариата раз навсегда делается «излишним» и ему останется одна альтернатива: умереть с голода или — устроить революцию. Думает ли английская буржуазия об этой возможности? Ничуть не бывало. — Напротив, ее любимейший экономист Мак-Куллох проповедует ей из своего кабинета следующее: нечего и думать, чтобы такая молодая страна, как Америка, даже еще не населенная как следует, могла с успехом заниматься промышленностью и, тем более, конкурировать с такой старой промышленной страной, как Англия. Было бы безумием со стороны американцев даже делать попытки в этом направлении, ибо они только потеряли бы свои деньги. Нет, они должны заниматься земледелием, и, когда вся страна будет заселена и обработана, тогда, пожалуй, наступит для нее пора заниматься с успехом и промышленностью. — Так говорит премудрый экономист и вся буржуазия вторит ему, а американцы, зная, завоевывают один рынок за другим, и один американский спекулянт осмелился даже недавно послать партию американских товаров в — *Англию*, где они и были проданы для дальнейшего вывоза!

Но допустим, что англичане сохранят промышленную монополию и что фабрики их будут все возрастать в числе. К чему это приведет? Торговые кризисы останутся в силе и, по мере развития промышленности и роста пролетариата, будут все острее, все ужаснее. С непрерывным разорением мелкой буржуазии, с развивающейся в гигантских размерах централизацией капитала в руках немногих пролетариат будет возрастать в геометрической прогрессии и скоро составит всю нацию, если не считать немногих миллионеров. Но в ходе этого развития наступит момент, когда пролетариат увидит, как легко ему свергнуть существующий социальный порядок, и тогда произойдет революция.

Но не случится ни того, ни другого. Торговые кризисы, самый могущественный рычаг самостоятельного развития пролетариата, в связи с иностранной конкуренцией и все возрастающим разорением среднего класса ускорят весь процесс. Я не думаю, чтобы народ спокойно вынес еще больше одного кризиса. Уже ближайший кризис, который наступит в 1846 или 1847 г., повлечет за собой отмену хлебных законов и принятие хартии. Каким революционным движениям даст толчок хартия — неизвестно. По аналогии с предыдущими кризисами следующий кризис должен наступить в 1852 или 1853 г., но отмена хлебных законов может задержать его наступление. Другие причины, как, например, иностранная конкуренция, могут

ускорить его. И вот до наступления этого кризиса английскому народу надоеет, надеюсь, оставаться предметом эксплуатации для капиталистов и умирать с голода, когда капиталисты в нем не нуждаются. Если до этого времени английская буржуазия не образумится, — по всем видимостям с ней этого не случится, — то наступит революция, с которой ни одна из до сих пор бывших революций сравниться не может. Доведенные до отчаяния пролетарии примутся за поджоги, как им проповедывал это Стивенс; народная месть прорвется с такой яростью, перед которой события 1793 г. совершенно побледнеют. Война бедных против богатей будет самой кровавой войной, которая когда-либо велась между людьми. Не поможет даже переход части буржуазии на сторону пролетариата и даже исправление всей буржуазии. Ведь это изменение всего настроения буржуазии не может пойти дальше бледной золотой середины; более решительные, которые примкнут к рабочим, образуют новую жиронду, которая погибнет в насильственном перевороте. Предрассудки целого класса не сбрасываются как старые платья, и всего менее на это способна консервативная, преданная предрассудкам, эгоистическая английская буржуазия. Все это — выводы, которые можно делать с полной уверенностью, выводы из совершенно неоспоримых фактов исторического развития, с одной стороны, и человеческой природы — с другой. Нигде не обозначились с такой резкостью и ясностью общественные отношения как в Англии, и потому нет страны, где предсказание грядущих событий было бы так легко, как именно здесь. Мирный выход из создавшегося здесь положения уже невозможен, и потому революция *должна* наступить. Возможно здесь только одно: что грядущая революция не примет столь жестоких форм, в каких я ее нарисовал выше. Но это будет зависеть не столько от развития буржуазии, сколько от развития пролетариата. Чем более пролетариат проникнется социалистическими и коммунистическими идеями, тем менее революция будет кровавой, мстительной и жестокой. По принципу своему коммунизм стоит выше противоречия между буржуазией и пролетариатом, признавая лишь его историческое значение для настоящего, но отрицая его необходимость в будущем. Он хочет как раз уничтожения этого противоречия. Пока это противоречие существует, коммунизм видит в овлавлении пролетариата против своих поработителей нечто необходимое, самый важный рычаг рабочего движения на его ранних стадиях, но он идет дальше этого овлабления, ибо он является делом не одних рабочих, а всего человечества. Кроме того никакому коммунисту и в голову не придет мстить от-

дельному лицу или вообще думать, что тот или иной буржуа при существующих условиях может поступить иначе, чем он поступает. Английский социализм (т. е. коммунизм) именно исходит из принципа неотчетственности отдельного лица. Поэтому, чем более английские рабочие проникнутся социалистическими идеями, тем скорее потеряет значение их теперешнее озлобление, — которое, если оно будет проявляться в таких насильственных актах, как до сих пор, все равно ни к чему не приведет, — и тем меньше в их борьбе с буржуазией будет грубости и дикости. Если бы до начала революции весь пролетариат мог стать коммунистическим, она вся носила бы очень мирный характер. Но это теперь уже невозможно: слишком поздно! Я надеюсь, однако, что до начала *вполне* открытой прямой войны бедных против богатых, неизбежной теперь в Англии, удастся, по крайней мере, настолько ввести в среду пролетариата ясные идеи по социальному вопросу, что коммунистическая партия, воспользовавшись событиями, будет в состоянии прочно одолеть жестокие и грубые элементы революции и предотвратить повторение девятого термидора. К тому же опыт Франции не пропадет даром, да и теперь уже большинство вождей чартистского движения — коммунисты. Далее, так как коммунизм стоит выше противоречия между пролетариатом и буржуазией, то лучшей части последней, — которая, впрочем, крайне мала и может вербоваться только среди подрастающей молодежи, — легче будет примкнуть к нему, чем к исключительно пролетарскому чартизму.

Если скажут, что эти выводы здесь недостаточно обоснованы, то я надеюсь в другом месте иметь случай доказать, что они с необходимостью вытекают из исторического развития Англии. Но я настаиваю на одном: война бедных против богатых, которая теперь ведется уже косвенно и в виде отдельных стычек, получит в Англии всеобщий и прямой характер. Мирный выход из создавшегося положения уже невозможен: слишком поздно! Общественные классы все резче и резче обособляются друг от друга, дух протеста все более и более охватывает рабочих, ожесточение растет, отдельные партизанские стычки разрастаются в более крупные сражения и демонстрации, и скоро достаточно будет небольшого толчка для того, чтобы привести лавину в движение. Тогда действительно раздастся по всей стране боевой клич: «война дворцам, мир хижинам!» — но тогда для богатых будет слишком поздно принимать меры предосторожности.

**ОДНА ИЗ АНГЛИЙСКИХ ЗАБАСТОВОК
(TURNOUT)**

ОДНА ИЗ АНГЛИНСКИХ ЗАБАСТОВОК (TURNOUT).

(Дополнение к книге «Положение рабочего класса в Англии».)

В моей книге по названному в заголовке вопросу я не имел возможности привести фактических доказательств по отдельным пунктам. Чтобы не сделать книгу слишком толстой и неудобочитаемой, я должен был в своих рассуждениях довольствоваться тем, что приводил в их подтверждение доказательства из официальных источников, из незаинтересованных писателей или из сочинений сторонников тех партий, против интересов которых я выступал. Этого было достаточно, чтоб оградить себя от возражений в тех случаях, когда я не основывался на собственных наблюдениях, — поскольку мне приходилось вдаваться в изображение отдельных случаев из жизни. Но этого было недостаточно, чтобы породить в читателе ту непоколебимую уверенность, которая может быть создана лишь яркими неопровержимыми фактами и которая в наш век, доведенный бесконечной «мудростью отцов» до скептицизма, не может быть вызвана одними лишь рассуждениями, на какие бы авторитеты они ни опирались. Особенно это относится к тем случаям, когда дело идет о крупных выводах, когда факты поднимаются до степени принципов, когда приходится изображать положение не отдельных маленьких групп, а взаимоотношение целых классов. Но по вышеуказанным соображениям я в своей книге не всюду мог приводить факты. Здесь я хочу исправить этот неизбежный недостаток, приводя время от времени факты из имеющихся в моем распоряжении источников. Но чтобы доказать в то же время, что нарисованная мной картина верна еще и теперь, я останавливаюсь только на таких фактах, которые произошли после моего отъезда из Англии в прошлом году и стали мне известны только после напечатания моей книги.

Читатели моей книги должны помнить, что меня главным образом интересовало изображение взаимоотношений буржуазии и пролетариата и неизбежности борьбы между обоими этими классами;

особенно мне важно было доказать полную правомерность этой борьбы пролетариата и противопоставить прекрасным словам английской буржуазии ее отвратительные деяния. Книга моя, от первой страницы до последней, — обвинительный акт против английской буржуазии. Здесь я приведу еще некоторые обвинительные материалы. Но я уже достаточно попортил себе крови из-за английской буржуазии; теперь в этих дополнительных заметках я не намерен еще раз волноваться и постараюсь, поскольку это зависит от меня, сохранить душевное спокойствие.

Прежде всего мы встречаемся с почтенным гражданином и славным отцом семейства, — одним старым нашим приятелем или даже с двумя приятелями. Господа Полинг и Генффри уже в 1843 г. — бог знает в который раз — имели стычку со своими рабочими, которые, несмотря ни на какие доводы, непременно хотели получать за увеличенный труд увеличенную плату и поэтому прекратили работу. Господа Полинг и Генффри — крупные подрядчики по постройкам, и у них работало много плотников, обжигальщиков кирпича и т. д.; они вняли других рабочих. Это вызвало стычку, а под конец и настоящее кровопролитное сражение с ружьями и дубинами на кирпичном заводе Полинга и Генффри; закончилась вся история — как об этом можно подробнее прочесть в моей книге — ссылкой полудюжины рабочих в Вандименову землю. Но господа Полинг и Генффри не могут быть спокойны, если у них нет каждый год каких-нибудь столкновений с их рабочими, и вот в октябре 1844 г. они опять затеяли ссору с ними. На этот раз подрядчики-филантропы задумали благодетельствовать плотников. С незапамятных времен среди плотников Манчестера и окрестностей укоренился обычай не «зажигать света» от Сретения до 17 октября, т. е. в течение длинных дней работать от 6 утра до 6 вечера, а с наступлением коротких дней начинать работу, когда светает, и прекращать ее, когда темнеет. С 17 ноября зажигали свет и работали уже полное время. Полинг и Генффри, давно уже недовольные этим «варварским» обычаем, решили с помощью газового освещения уничтожить этот остаток «темных времен»; поэтому, когда однажды вечером плотники, которые из-за недостатка света не могли работать до 6 часов, положили инструменты и стали одеваться, то заведующий мастерской зажег газ и сказал им, что они должны работать до шести часов. Плотники, которым это не понравилось, созвали общее собрание рабочих своего цеха. Страшно изумленный, господин Полинг спросил своих рабочих, что вызвало их недовольство и побудило их созвать собрание. Некоторые из рабочих заметили, что собрание созвано не ими, а

бюро их союза. На это Полинг ответил, что ему наплевать на союз, но что он готов сделать им следующее предложение: если рабочие согласятся на зажигание света, то в субботу они будут освобождаться на три часа раньше урочного времени, и кроме того, — о, великодушные! — он разрешит им ежедневно четверть часа сверхурочной работы за особую плату. Но зато, правда, они должны, когда другие мастерские зажгут свет, работать на полчаса больше! Рабочие обдумали это предложение и рассчитали, что таким путем господ Полинг и Генффри за период коротких дней будут иметь ежедневно по лишнему часу, что каждый рабочий должен будет отработать безвозмездно в общем 92 часа, т. е. $9\frac{1}{4}$ дней, и что экономия на заработной плате всех занятых у фирмы рабочих составит на зимние месяцы для господ предпринимателей 400 ф. ст. (2 100 талеров). Рабочие созвали собрание и растолковали своим товарищам, что если одной какой-нибудь фирме удастся провести этот план, то за ней последуют и другие; в результате получится всеобщее косвенное понижение заработной платы, которое обойдется плотникам их округа приблизительно в 4 000 ф. ст. ежегодно. Было поэтому решено, что в ближайший понедельник все плотники фирмы Полинг и Генффри заявят о своем отказе от службы через три месяца и, если хозяева будут упорствовать, то прекратят работу по истечении этого срока. За это профессиональный союз обещал — в случае безработицы — поддержать их путем всеобщего обложения.

В понедельник 21 октября рабочие пошли и сделали свое заявление. На это им ответили, что они могут сейчас же уходить, что они, конечно, и сделали. В тот же вечер произошло другое собрание всех строительных рабочих, на котором все отрасли труда, занятые на стройках, обещали поддержку безработным. В среду и четверг все плотники в окрестности, занятые на работе у Полинга и Генффри, также прекратили работу, и, таким образом, забастовка пошла полным ходом.

Внезапно оказавшись на мели, хозяева немедленно расослали своих людей по всем направлениям — даже в Шотландию — нанимать рабочих, так как в окрестностях нельзя было найти ни одной души, готовой наняться к ним. Через несколько дней из Стафффордшира прибыло ровно тринадцать человек. Но когда стачечникам представился случай поговорить с ними и объяснить, почему была прекращена работа, то некоторые из новоприбывших отказались работать. Против этого у хозяев оказалось практическое средство: отказавшихся работать они вкупе с «соблазнителем» притянули к мировому судье Даниэлю Моду, эсквайру. Но, прежде чем

мы последуем туда за ними, мы обязаны достоподобным образом описать добродетели Даниэля Мода, эсквайра.

Даниэль Мод, эсквайр, является «stipendiary magistrate», т. е. «мировым судьей на жалованьи» в Манчестере. Обыкновенно английские мировые судьи — это богатые буржуа или помещики, а иногда и священники, назначаемые министерством. Но так как эти догберри ни аза не смыслят в законах, то они впадают в грубейшие ошибки, срамят буржуазию и вредят ей: если рабочего защищает ловкий адвокат, они очень часто попадают впросак и при осуждении нарушают законные формы, что дает повод к успешной апелляции, а иногда даже бывают вынуждены вынести оправдательный приговор. К тому же богатые фабриканты больших городов и промышленных округов вовсе не имеют времени ежедневно скучать в суде и предпочитают ставить вместо себя заместителей. Поэтому в таких городах, по большей части, по желанию самих этих городов назначаются оплачиваемые мировые судьи, ученые юристы, которые умеют использовать в пользу буржуазии все тонкости и крючкотворства английского права, в случае надобности со своими дополнениями и улучшениями. Как они себя при этом держат, можно судить по описываемому нами здесь примеру.

Даниэль Мод, эсквайр, — один из тех либеральных мировых судей, которые в большом количестве были назначены при министерстве вигов. Из его подвигов на арене манчестерского городского суда (Borough Court) и вне ее мы упомянем только о двух. В 1842 г. фабрикантам удалось довести рабочих южного Ланкашира до восстания, разразившегося в начале августа в Стэлибридже и Аштоне; 9 августа около 10 000 рабочих во главе с чартистом Ричардом Пиллингом тронулись оттуда в Манчестер, «чтобы вступить в переговоры с фабрикантами на манчестерской бирже и увидеть, как обстоит дело на тамошнем рынке». У входа в город их встретил Даниэль Мод, эсквайр, со всей достославной полицией, с отрядом кавалерии и со взводом стрелков. Но это было только для проформы, так как в интересах фабрикантов и либералов было дать восстанию распространиться и привести к отмене хлебных законов. Даниэль Мод, эсквайр, в этом пункте был вполне солидарен со своими достойными коллегами; он вступил в переговоры с рабочими и разрешил им войти в город под условием «срблюдать тишину» и идти определенной дорогой. Он отлично знал, что инсургенты не исполнят этого, да он этого и не желал: при малейшей настойчивости он в корне подавил бы спровоцированное восстание, но это было бы не в интересах его друзей, работавших над отменой хлебных законов, а в ин-

тересах господина Пиля; поэтому он распорядился об уходе войск, впустив в город рабочих, которые немедленно приостановили работу на всех фабриках. Но когда восстание стало решительно направляться *против* либеральной буржуазии и совершенно были забыты «адские хлебные законы», Даниэль Мод, эсквайр, вспомнил о своем судейском сане и стал без сожаления арестовывать дюжинами и отправлять в тюрьму рабочих за «нарушение мира»; сначала спровоцировав нарушение мира, он потом наказывал за него.

А вот другая характерная черта из карьеры этого манчестерского Соломона. После того как Лига борьбы с хлебными законами в Манчестере испытала не раз неприятности при своих публичных выступлениях, она стала устраивать закрытые собрания, вход на которые допускался лишь по билетам; но резолюции и петиции этих закрытых собраний выдавались перед широкой публикой за постановления публичных митингов, за выражение «общественного мнения» Манчестера. Чтобы положить конец этому лживому фанфаронству либеральных фабрикантов, три или четыре чартиста — среди них мой добрый приятель Джеймс Лич — раздобыли себе билеты на одно такое собрание. Когда господин Кобден поднялся, чтоб говорить, Джеймс Лич задал председателю собрания вопрос, является ли собрание публичным. Вместо всякого ответа председатель позвал полицию и приказал попросту арестовать Лича! Тот же вопрос задал второй чартист, за ним третий, четвертый, и все они были схвачены «невареными раками» (полицейскими), толпившимися у дверей, и отосланы в городскую думу. На следующее утро они предстали пред очи Даниэля Мода, эсквайра, который уже был осведомлен обо всем. Им предъявили обвинение в том, что они нарушили порядок на собрании; им едва дали вымолвить несколько слов, а затем они услышали торжественную речь Даниэля Мода, эсквайра, заявившего, что он знает их, что они политические бродяги, которые только тем и занимаются, что скандалят на всех собраниях, беспокоя порядочных людей, и что этому должен быть положен конец. Даниэль Мод, эсквайр, отлично знал, что он не может приговорить их к настоящему штрафу, и поэтому он на этот раз присудил их к уплате издержек.

К суду этого-то Даниэля Мода, эсквайра, буржуазные доблести которого мы только что нарисовали, и были привлечены непокорные рабочие Полинга и Генфри. Но из предосторожности они привели с собой адвоката. Прежде всего суд принял за новоприбывшего рабочего, который отказался работать там, где другие, в целях самозащиты, прекратили работу. Господа Полинг и Генфри принесли с собой письменное обязательство прибывших из Стаффордшира

рабочих¹ и передали его мировому судье. Защитник рабочих указал на то, что этот контракт подписан в воскресенье и, следовательно, не имеет силы. Даниэль Мод, эсквайр, с достоинством согласился, что «деловые договоры», заключенные в воскресенье, не имеют силы, но он не может поверить, чтобы господа Полинг и Генфри считали эту бумагу «деловым договором»! Поэтому он объяснил бедняге-рабочему (не интересуясь его мнением, «считает» ли он эту бумагу за «деловой договор»), что он должен или стать на работу, или плясать три месяца на ножной мельнице. — О, манчестерский Салмон! — Покончив с этим, господа Полинг и Генфри обратились к другому обвиняемому. Он назывался Салмоном; это был один из старых рабочих фирмы, прекративших работу. Его обвиняли в том, что он застращивал новых рабочих, подстрекая их тоже прекратить работу. Свидетель — один из этих новоприбывших — сказал, что Салмон схватил его за руку и говорил с ним. Даниэль Мод, эсквайр, задал вопрос, не употреблял ли обвиняемый угроз, не прибегал ли он к насилию. — Нет, сказал свидетель. — Даниэль Мод, эсквайр, обрадовавшийся случаю проявить свое беспристрастие (после того как он уже исполнил свою обязанность относительно буржуазии), объявил, что он не может ничего инкриминировать обвиняемому. Обвиняемый имеет полное право гулять по улицам и говорить с другими, пока он не прибегает к застращиванию словом или поступком — поэтому он свободен. Но господа Полинг и Генфри все же получили удовольствие продержать Салмона одну ночь в кутузке за неуплату судебных издержек — все-таки это лучше, чем ничего! Впрочем, радость Салмона длилась недолго. Освобожденный в четверг 31 октября, он во вторник 5 ноября стоял уже снова перед Даниэлем Модом, эсквайром, по обвинению в нападении на улице на господ Полинга и Генфри. Дело было так. В тот самый четверг, в который Салмон был оправдан, в Манчестер прибыла партия шотландцев, которую заманивали уверениями, что недоразумение уже улажено и что Полинг и Генфри не могут найти в своей местности достаточно рабочих для выполнения принятых ими на себя обширных обязательств. В пятницу к приезжим пришло несколько шотланд-

¹ Контракт этот гласил следующее: рабочий обязывается работать *шесть месяцев* для Полинга и Генфри и *довольствоваться платой, которую они ему дадут*, но Полинг и Генфри не обязаны держать его шесть месяцев и могут в *любое время* расчитать его, предупредив за неделю. Полинг и Генфри, правда, оплачивают его путевые издержки от Стаффордшира до Манчестера, но возвращают их себе путем еженедельных вычетов из его жалования в 2 шилл. (20 зильбергрошей). — Как вам нравятся такой контракт?

ских столяров, давно работавших в Манчестере, чтоб объяснить своим землякам истинное положение вещей. Около трактира, где помещались шотландцы, собралась большая толпа рабочих, человек 400. Но шотландцев там держали как заключенных, поставив у двери, в виде стражи, одного заведующего мастерской. Через некоторое время появились господа Полинг и Генфри, желавшие лично проводить своих новых рабочих к мастерским. Когда шествие двинулось, толпившиеся на улице рабочие стали убеждать шотландцев не работать вопреки профессиональным правилам Манчестера и не поворить тем своих земляков. Тогда двое из шотландцев отстали, и господин Полинг сам подбежал к ним, чтоб потащить их вперед. Толпа держала себя спокойно, мешая только быстрому движению шествия. Рабочие убеждали шотландцев не вмешиваться в чужие дела, вернуться домой и т. д. Под конец это разозлило господина Генфри. Он заметил нескольких своих старых рабочих, среди них Салмона. Желая положить конец истории, он схватил его за руку; господин Полинг схватил его за другую, и оба они изо всех сил стали звать на помощь полицию. Подошел полицейский комиссар и спросил, в чем они обвиняют Салмона? Этот вопрос поставил в тупик обоих компаньонов; но, сказали они, «мы знаем этого человека». О, ответил комиссар, этого достаточно, а пока его можно отпустить. Господин Полинг и Генфри, вынужденные предъявить какое-нибудь обвинение Салмону, ломали себе голову над этим несколько дней, пока, по совету своего адвоката, не остановились на указанной выше жалобе. Когда были выслушаны все свидетели, говорившие против Салмона, внезапно поднялся в защиту его У.-П. Робертс, «генеральный поверенный», гроза всех мировых судей, и спросил, не привести ли и ему своих свидетелей, так как против Салмона не выставлено никакого обвинения. Даниэль Мод, эсквайр, разрешил ему выставить своих свидетелей, которые показали, что Салмон держал себя спокойно, пока господин Генфри не схватил его за руку. Когда окончились все речи за и против, Даниэль Мод, эсквайр, заявил, что приговор он объявит в субботу. Очевидно, присутствие «генерального поверенного» Робертса заставило его отказаться от торопливого решения и дважды подумать, прежде чем произнести приговор.

В субботу Полинг и Генфри выставили еще новое, *уголовное*, обвинение в заговоре и застрачивании против трех своих старых рабочих, Салмона, Скотта и Меллора. Они хотели нанести таким образом смертельный удар профессиональному союзу, а чтобы обезопасить себя от страшного Робертса, они вызвали из Лондона

видного юриста, господина Монка. Господин Монк выставил в качестве свидетеля одного из новонаятых шотландцев, Гибсона, который выступал свидетелем против Салмона уже в прошлый вторник. Гибсон заявил, что когда в пятницу 1 ноября он с товарищами вышел из трактира, то их окружила толпа людей, тащившая и толкавшая их в разные стороны; в этой толпе он заметил трех обвиняемых. Тогда к допросу этого свидетеля приступил Робертс; он устроил Гибсону очную ставку с другим рабочим и задал ему вопрос, не сказал ли он, Гибсон, вчера вечером этому рабочему, что в прошлый вторник он при своем показании не знал, что *его допрашивали под присягой* и что он вообще не знал, как ему быть на суде и что там говорить. Гибсон ответил, что он не знает этого человека; вчера вечером он был с двумя людьми, но так как было темно, то он не может сказать, был ли этот человек один из них; но возможно, что он сказал нечто подобное, ибо форма присяги в Шотландии иная, чем в Англии, хотя он не помнит ее в точности. — Тут поднялся господин Монк и заявил, что господин Робертс не в праве задавать подобные вопросы; на это господин Робертс возразил, что такой упрек вполне уместен, когда защищаешь дурное дело, но что он имеет право задавать какие угодно вопросы, не только о том, где родился свидетель, но и о том, где он провел с тех пор каждый день и что он ел каждый день. Даниэль Мод, эсквайр, подтвердил, что господин Робертс имеет это право, но дал ему отеческий совет держаться возможно ближе к делу. После того, как господин Робертс установил, на основании слов свидетеля, что он начал работать у Полинга и Генффри лишь на следующий день после инкриминируемого события, т. е. 2 ноября, тот его отпустил. Тогда выступил в качестве свидетеля сам господин Генффри и рассказал об инциденте то же самое, что говорил и Гибсон. На это господин Робертс задал ему вопрос: «Не добиваетесь ли вы несправедливого преимущества перед вашими конкурентами?» Господин Монк опять выступил с возражением против подобных вопросов. «Хорошо, — ответил Робертс, я их сформулирую более точным образом. Не знаете ли вы, господин Генффри, что рабочий день плотников регулируется в Манчестере определенными правилами?»

Господин Генффри. Мне нет дела до этих правил, я имею право устанавливать собственные правила.

Господин Робертс. Отлично. Но, господин Генффри, скажите под присягой, не требуете ли вы от своих рабочих более продолжительного рабочего дня, чем прочие подрядчики по постройкам?

Господин Генффри. Да.

Господин Робертс. На сколько часов примерно?

Господин Генфри не знал этого в точности, но вынул свою записную книжку, чтобы произвести необходимый расчет.

Даниэль Мод, эсквайр. Вам нечего заниматься длинным подсчетом; скажите нам только приблизительные цифры.

Господин Генфри. Приблизительно час утром и час вечером в течение шести недель до того времени, когда обыкновенно зажигают свет, и столько же часов в течение шести недель после того дня, когда перестают зажигать свет.

Даниэль Мод, эсквайр. Значит, каждый рабочий должен добавочно работать 72 часа до того времени, когда зажигают свет, и 72 часа после того, т. е. 144 часа за 12 недель.

Господин Генфри. Да.

Это заявление было встречено публикой признаками сильного неудовольствия. Господин Монк взглянул яростно на господина Генфри, а господин Генфри смущенно на своего адвоката; господин Полинг стал дергать господина Генфри за полы его сюртука, но уже было поздно. Даниэль Мод, эсквайр, понявший, что сегодня ему придется равыгрывать роль беспристрастного судьи, уже принял к сведению заявление предпринимателя и объявил его во всеулышание.

После того как были допрошены еще два незначительных свидетеля, господин Монк сказал, что этим исчерпываются его материалы против обвиняемых.

Тогда Даниэль Мод, эсквайр, сказал, что жалобщики не основали своего обвинения подсудимых в уголовном деянии; они не доказали, что шотландцы, против которых были произнесены угрозы, поступили на службу к Полингу и Генфри до 1 ноября, ибо не было приведено доказательств, что с ними заключен договор найма или что они работали ранее *второго* ноября, между тем как жалоба была подана *первого* ноября; но в этот день шотландцы еще не были на службе у Полинга и Генфри, и обвиняемые были в праве склонять их всеми законными средствами не поступать к тем на службу. На это господин Монк ответил, что шотландцы должны считаться нанятыми с того момента, когда они покинули Шотландию и сели на пароход. Даниэль Мод, эсквайр, возразил, что хотя он и утверждал, будто бы был заключен подобный договор найма, но что соответствующий документ не был представлен. Господин Монк ответил, что этот документ находится в Шотландии и что он просит господина Мода приостановить дело, пока документы не будут представлены суду. Тут вмешался Робертс, заметив, что такая постановка вопроса для него новость, что, как было заявлено, обвинительный

материал исчерпан, а между тем жалобщик требует отложить дело до предъявления им новых документов. Он настаивает на продолжении дела. Даниэль Мод, эсквайр, заметил, что оба требования излишни, так как налицо не имеется обоснованного обвинения, — и на этом обвиняемые были отпущены.

Но и рабочие в это время не дремали. Каждую неделю устраивали они собрания в зале союза плотников или в зале социалистов, обращались за поддержкой к различным профессиональным союзам, щедро отзывавшимся на эти призывы, не переставали знакомить общественное мнение с поведением Полинга и Генфри и, наконец, равослали во все концы делегатов, чтобы повсюду, где Полинг и Генфри вербовали рабочих, разъяснить своим товарищам по работе причину этой вербовки и таким образом предостеречь их от поступления на службу к этой фирме. Уже несколько недель спустя после начала забастовки в пути было семь делегатов; на углах улиц во всех крупных городах были расклеены объявления, предупреждавшие безработных плотников относительно Полинга и Генфри. Девятого ноября некоторые из вернувшихся делегатов сделали доклад об исполнении ими своей миссии. Один из них, по имени Джонсон, вернувшийся из Шотландии, рассказывал, что агент Полинга и Генфри уже нанял тридцать рабочих в Эдинбурге; но, когда он им разъяснил положение вещей, они заявили, что лучше умрут с голода, чем отправятся при таких условиях в Манчестер. Другой делегат был в Ливерпуле и имел наблюдение над проходящими пароходами; но на них не прибыло ни одного человека, и ему там нечего было делать. Третий объехал Чешир, но куда он ни приезжал, делать ему было нечего, ибо «Northern Star», газета рабочих, разъяснила повсюду истинное положение вещей, и ни у кого не было охоты отправляться в Манчестер; в одном городе даже — в Меккльсфильде — плотники уже провели обложение в пользу стачечников и обещали, в случае нужды, собрать для них еще по шиллингу с человека. В других местах он убедил товарищей по ремеслу приступить к подобным сборам.

Чтобы дать еще раз возможность господам Полингу и Генфри притти к соглашению с рабочими, рабочие всех видов труда, занятые в строительном деле, собрались в понедельник 18 ноября в зале союза плотников, выбрали депутацию для передачи этим господам письменного обращения и двинулись процессией со знаменами и эмблемами к помещению фирмы Полинга и Генфри. Впереди шла депутация, затем комитет по организации забастовки, затем плотники, формовщики и обжигальщики кирпича, чернорабочие,

каменщики, пильщики дров, стекольщики, штукатуры, маляры, оркестр музыки, камнетесы, мебельщики. Они проходили перед отелом, где находился их «генеральный поверенный» Робертс, и приветствовали его громким «ура». Когда процессия прибыла к помещению фирмы, то депутация осталась, а вся процессия направилась дальше, чтобы устроить публичный митинг в Стивенсон-сквере. Депутацию встретила полиция, которая, прежде чем пустить ее дальше, потребовала имена и адреса членов ее. Когда они прибыли в контору, то компаньоны, господ Шарпе и Полинг, заявили им, что они не примут никакого письменного обращения от толпы, собранной только в целях застрашивания. Депутация отрицала это намерение процессии, так как последняя даже не сделала остановки, а сейчас же тронулась дальше. В то время как эта насчитывавшая 5 000 человек процессия шла вперед, депутация наконец была принята и введена в комнату в присутствии начальника полиции, одного офицера и трех гаветных корреспондентов. Господин Шарпе, компаньон Полинга и Генфри, самовольно занял председательское место, заметив, что депутация должна быть осторожной в своих выражениях, ибо все сказанное ею будет официально запротоколировано и, при случае, сможет быть употреблено на суде в качестве обвинительного материала. Затем стали расспрашивать депутацию, на что она жалуется, и т. д.; предприниматели заявили, что они дадут рабочим работу согласно правилам, обычным в Манчестере. Депутация спросила, работают ли набранные в Стаффордшире и Шотландии согласно принятым в Манчестере правилам. — Нет, — гласил ответ, — с этими людьми у нас особое соглашение. — Следовательно, ваши рабочие могут начать работу на обычных условиях? — О, мы не ведем переговоров ни с какой депутацией; пусть только придут рабочие, и им скажут, на каких условиях мы желаем дать им работу. — Господин Шарпе прибавил к этому, что все фирмы, в которых он участвует, всегда обращались хорошо с рабочими и давали наибольшую заработную плату. Депутация ответила, что фирма Полинг, Генфри и К^о, в которой, как они слышали, он является участником, резко выступила против существеннейших интересов рабочих. Одного из членов депутации, обжигательщика кирпичей, спросили, на что могут жаловаться его товарищи по профессии.

— О, в данный момент ни на что, но раньше было для этого довольно поводов.¹

¹ См. выше — о кровавом сражении на кирпичном заводе Полинга и Генфри

— Неужели было довольно поводов? — сказал насмешливо господин Полинг и принялся читать длинейшую лекцию о профессиональных союзах, забастовках и пр. и о нищете, до которой они доводят рабочих. На это один из депутатов заметил, что рабочие вовсе не склонны позволить отнять у себя по частям свои права и, например, работать, как теперь этого желает г. Полинг, даром в его пользу 144 часа ежегодно. Господин Шарпс заметил, что следует подсчитать и убытки участников процессии от потери рабочего дня, издержки на забастовку, потерю заработной платы и пр. На это один депутат ответил: «Это касается только нас, и мы не попросили из вашего кармана на это ни полушки». Вслед за тем депутация ушла, чтобы сделать обо всем доклад рабочим, собравшимся в зале союза плотников; при этом оказалось, что для участия в процессии явились не только все рабочие, работающие в этой местности на Полинга и Генфри (не плотники и потому не бастовавшие), но что в этот же день утром оставили работу и многие из прибывших шотландцев. Один маляр заявил, что Полинг и Генфри предъявили к их цеху такие же несправедливые требования, как и к столярам, и что они тоже намерены оказать сопротивление. Было решено в интересах упрощения дела и сокращения срока борьбы, что забастовать должны все строительные рабочие фирмы Полинг и Генфри. Так и случилось. В ближайшую субботу прекратили работу маляры, а в понедельник — стекольщики. Над новым театром, который Полинг и Генфри взяли, по контракту, выстроить, работало через несколько дней вместо 200 человек только два каменщика и четверо черно-рабочих. Точно так же прекратили работу многие из приезжих.

Полинг, Генфри и К⁰ неистовствовали. Когда же еще трое из приехавших рабочих присоединились к стачке, то в пятницу 22 ноября их потащили к Даниэлю Моду, эсквайру. Прежние неудачи не обескуражили их. Первым обвинялся в нарушении контракта некий Рид; при этом был предъявлен контракт, подписанный обвиняемым в Дерби. Робертс, снова выступавший в защиту стачечников, сейчас же указал, что никакой связи между контрактом и обвиняемым нет, что это две совершенно различные вещи. Даниэль Мод, эсквайр, тотчас это понял, — ведь это сказал грозный Робертс, — но ему стоило не малого труда разъяснить это поверенному противной стороны. Под конец последний попросил разрешения внести кое-какие изменения и через некоторое время пришел с новой просьбой, еще менее состоятельной, чем первая. Когда он сообразил, что и это не годится, он попросил о новой отсрочке, а Даниэль Мод, эсквайр, дал ему на размышление целую неделю, до пятницы 30 ноя-

бря. Имел ли он успех на этот раз, я не могу сказать, так как у меня нехватает как раз того номера газеты, в котором должен был находиться приговор. Между тем, Робертс перешел в наступление и, с своей стороны, привлек к суду нескольких из новонанятых рабочих и одного из мастеров Полинга и Генффри по обвинению во вторжении в дом одного стачечника и в дурном обращении с его женой; в двух других случаях забастовщики подверглись нападению. Даниэль Мод, эсквайр, вынужден был, к своему прискорбию, осудить всех обвиняемых, но он постарался обойтись с ними возможно мягче, потребовав от них лишь поручительства за хорошее поведение в будущем.

Наконец, в последних числах декабря господам Полингу, Генффри и К^о удалось добиться приговора для двух из своих противников также по обвинению в насильственных действиях по отношению к одному из их рабочих. Но на этот раз судья не был так мягок; он приговорил их к месяцу тюремного заключения и к залогу в обеспечение хорошего поведения по истечении срока ареста.

С этого момента известия о стачке становятся скудными. 18 января она была еще в полном разгаре. Позднейших сведений мне не удалось найти. Вероятно, она закончилась, как и большинство других стачек; с течением времени Полинг, Генффри и К^о набрали себе достаточное количество людей из отдаленных местностей и из отдельных перебежчиков из враждебного лагеря; большинство стачечников, пробастовав и победествовав более или менее продолжительное время (причем их должно было утешать сознание, что таким образом они не поступились своим достоинством и поддержали уровень заработной платы своих товарищей), — нашли себе занятия где-нибудь в другом месте. Что касается спорных пунктов, то Полинг, Генффри и К^о должны были убедиться, что нельзя целиком настоять на своем, так как и для них стачка была связана с крупными убытками; прочие же предприниматели, после такой упорной борьбы, не скоро, вероятно, решатся делать покушения на старые правила плотничьей работы.

Брюссель.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИПОЧЕРТ
«GESELLSCHAFTSSPIEGEL»

ПРОСПЕКТ

«Gesellschaftsspiegel» («Зеркало общества»).

К ЧИТАТЕЛЯМ И СОТРУДНИКАМ.

Благородное стремление прийти на помощь страждущему человечеству, которое к чести XIX столетия веде обнаруживается в настоящее время, не имеет в Германии еще центрального органа, в котором, с одной стороны, были бы указаны подлежащие устранению бедствия, с другой стороны — предлагаемые для помощи или приведенные в исполнение меры, и были бы освещены их благотворное влияние, а равно и их недостатки. Мы здесь предлагаем публике первый номер такого органа и надеемся, что каждый друг человечества сам почувствует желание поддерживать «Gesellschaftsspiegel» соответствующими корреспонденциями.

Чтобы изыскать и применить меры для основательного и окончательного устранения разнообразных зол нашей социальной жизни, к тому же еще искусственно скрываемых, прежде всего необходимо изучить это зло. «Gesellschaftsspiegel» поэтому подвергнет своему суду все болезни общественного организма, будет помещать общие описания, монографии, статистические заметки и описания отдельных характерных случаев, которые смогут правильно осветить общественные отношения всех классов и помочь *союзам*, возникающим для устранения общественных зол; он будет стоять исключительно на почве фактов, помещать только факты и основанные на фактах рассуждения, выводы из которых опять-таки являются очевидными фактами.

Прежде всего нас будет интересовать *положение рабочего класса*, так как из всех зол современного цивилизованного общества оно является самым вопиющим. Описания, статистические данные, отдельные характерные факты из всех частей Германии, в первую очередь из тех, где царствует необыкновенная нужда, особенно желательны нам. Точно так же желательны сведения о численном отношении нуждающихся в помощи, вообще неимущего класса, к имущему, о росте пауперизма и т. д.

Мы будем рассматривать духовное, умственное и моральное, а также и физическое положение рабочих и будем охотно принимать сообщения о состоянии их здоровья, поскольку оно зависит от общественных условий, и о состоянии образования и нравственности пролетариев. Статистика преступлений, проституции, в особенности если с этим связано сравнение различных эпох, местностей и условий жизни, также заслуживает особенного внимания.

Самыми интересными для целей «Gesellschaftsspiegel» в этом отношении являются:

1) *Большие города*, которые не могут существовать без многочисленного, скученного на небольшом пространстве неимущего класса. Кроме обычных следствий, которые вообще влечет за собой нищета, мы будем здесь иметь в виду влияние, оказываемое этой централизацией населения на физическую, умственную и нравственную жизнь трудящихся классов. Поэтому нам желательны описания, статистические, медицинские и другие сведения, а также отдельные факты, которые проливают свет на скрываемые по большей части во мраке «*дурные кварталы*» наших больших и маленьких городов.

2) *Промышленные и фабричные округа*, существование которых также предполагает наличие многочисленного неимущего класса. Здесь мы хотим обратить внимание наших сотрудников, помимо других, на следующие пункты:

а. *Характер труда* сам по себе; отдельные виды труда, которые, по своему характеру или по чрезмерной продолжительности, вредны для здоровья; детский и женский труд на фабриках и его последствия, небрежное отношение к работающим и не работающим детям и женам пролетариев, разложение семьи, вытеснение труда взрослых мужчин женским и детским трудом, несчастные случаи, причиняемые машинами, и т. д.

б. *Зависимость рабочих от своего работодателя*. В этом пункте мы в особенности будем считать своей обязанностью взять на себя защиту интересов беззащитного рабочего класса против власти и, в частности, против, к сожалению, слишком часто происходящих злоупотреблений капиталистов. Мы будем беспощадно предавать общественному осуждению каждый отдельный случай угнетения рабочих и будем очень благодарны нашим корреспондентам за самые точные сообщения по этому пункту с указанием имени, места и даты. Если на фабриках работа продолжается слишком долго или даже происходит по ночам, если рабочие в свободные часы должны заниматься чисткой машин, если фабриканты грубо или тирани-

чески обращаются со своими рабочими, издают тиранические регламенты труда, выплачивают заработную плату вместо денег товарами, — мы в особенности будем заниматься преследованием этой бессовестной «truck-system» во всех ее формах там, где она практикуется; — если рабочие работают в нездоровых помещениях или должны жить в плохих, принадлежащих фабриканту квартирах, одним словом, если где-нибудь капиталисты проявляют по отношению к рабочим какие-нибудь несправедливые действия, то мы просим всякого, кто имеет возможность нам об этом сообщить, присылать нам возможно скорее точные сведения. Мы будем предавать гласности с мельчайшими подробностями все вообще и каждое в частности нарушения законов, изданных для защиты бедных против богатых. Только таким способом могут действительно быть проведены в жизнь законы, до сих пор существующие только на бумаге.

с. *Пренебрежение рабочими со стороны общества вообще, когда они остаются без хлеба благодаря конкуренции или введению более усовершенствованных машин, применению труда женщин и детей или колебаниям в ходе торговли и иностранной конкуренции, или вследствие болезни, увечья или старости уже неспособны к труду, также как и всякое ухудшение положения рабочих вследствие падения заработной платы.*

Мы будем описывать не только внутреннее и внешнее положение *неимущего, но и имущего класса*. Фактами мы докажем, что *свободная конкуренция частных предпринимателей без организации труда и торговли ведет к обнищанию среднего класса, концентрируя собственность в руках немногих и косвенно восстанавливая таким образом монополию; что раздробление крупного землевладения разоряет мелкого землевладельца и косвенным образом восстанавливает опять крупное землевладение; что борьба конкуренции, в которую мы все втягиваемся, подкапывает основы общества и грубым своекорыстием деморализует все общество.*

«Gesellschaftsspiegel» будет описывать материальную нужду или духовную и моральную нищету не только там, где она идет рука об руку с материальной нуждой; он будет описывать нужду во всех ее формах, следовательно также и нужду более высоко стоящих классов. В своем изложении он не будет ограничиваться только статистическими заметками и действительными случаями из жизни, но откроет свои страницы также и художественным произведениям в прозе и в стихах, конечно — лишь таким, которые *верно* описывают жизнь. Очерки *на основании* жизни ему так же желательны, как и очерки *из* жизни.

Те, кому такие беспощадные разоблачения состояния нашего промышленного, земледельческого и остального населения,—до сих пор, по большей части, лицемерно прикрашенного или скрытого, — кому такое открытое изображение всего нашего общественного порядка, какое намерен дать «Gesellschaftsspiegel», причиняет слишком много душевных и сердечных страданий, чтобы они могли дружелюбно встретить наше начинание, пусть они подумают о том, что мужество, необходимое чтобы прямо смотреть в глаза злу, и успокоение, являющееся результатом ясного осознания его, в конечном счете гораздо благотворнее действуют на дух и чувство, чем трусливая идеализирующая сентиментальность, ищущая утешения от скорбной действительности в лживости своего идеала, не существующего и не могущего существовать, потому что он основан на иллюзиях. Такая идеализирующая сентиментальность лицемерно выставляет напоказ свое сочувствие страданиям человечества, когда они становятся предметом *политического скандала*, — как мы видели это во время силезских беспорядков, когда вдруг все газеты и журналы были полны так называемым социализмом, — но, как только беспорядки прекратились, *спокойно* снова предоставляет беднякам умирать с голода.

«Gesellschaftsspiegel» интересуется, наконец, также попытками положить конец общественным бедствиям и общественному беспорядку, — таким образом интересуется, с одной стороны, *деятельностью возникающих теперь союзов*, с другой стороны — теми принудительными мерами, которые ограничивают известные бедствия, но лишь с тем, чтобы создавать другие. Сюда относятся: пагубное действие позорящих честь приговоров, которые навсегда ставят преступника вне общества, обращение с закоренелыми преступниками в обыкновенных тюрьмах и одиночное заключение в пенсильванских тюрьмах, многочисленные убийства, сопровождающие закон о преследовании браконьерства, состояние и практика законов о бедных и санитарной полиции, характерные уголовные преступления и т. д.

Обращаясь за дружеским содействием ко всем тем, кто имеет возможность сообщать нам подобные сведения для «Gesellschaftsspiegel», в особенности к господам священникам, школьным учителям, врачам и чиновникам, в интересах дела мы гарантируем во всех случаях, где это необходимо, сохранение в тайне имен и возлагаем на наших корреспондентов только *ответственность за верность сообщаемых ими фактов*. Ответственность же за опубликование берет на себя редакция.

БОРЬБА ЯКОБИНЦЕВ С ЖИРОНДИСТАМИ

БОРЬБА ЯКОБИНЦЕВ С ЖИРОНДИСТАМИ.

Вместе с 10 августа 1792 года начинается междуцарствие. Бессильно Законодательное собрание, бессильно министерство, вышедшее из него. Правление переходит к *народным собраниям и муниципалитетам*. Последние, ставши вдруг центрами правления и будучи порождением анархии, должны были быть выразителями народного движения, ибо их властью была власть народного мнения (стр. 44, 45 и сл.).

Отсюда раскол между влиятельными партиями.

Одна партия желает восстановить рухнувший, благодаря 10 августа, строй и привести в действие существующие законы. Главные члены министерства и Законодательного собрания состоят вождями этой партии.

Другая партия видит в анархии единственную движущую силу событий, в вызываемом ею энтузиазме — замену готовой организации, единственную силу сопротивления во-вне и внутри. Члены этой партии являются господами положения в Парижской коммуне и почти во всех муниципалитетах Франции и имеют один голос (Дантон) в министерстве (стр. 45, 46).

Жирондисты (первая партия) не выставляют никакого реального средства против народного потока. Их теории ограничиваются на практике речами и декламациями, которые довершают их непопулярность, но не имеют ни малейшего влияния на развитие событий.

Тем временем Парижская коммуна посылает граждан на защиту границ. Грохот пушек, не прекращающийся ни на час, возвещает об общественных опасностях. Все граждане записываются в секции, чтобы выступить против неприятеля.

Сентябрьские дни разыгрываются в это время.

Если бы они были подавлены, утасла бы всякая общественная жизнь (стр. 46, 47).

В провинции клянут сентябрьские убийства, но выражают благодарность людям, которые поддерживают *повстанческую лихорадку*

для того, чтобы наполнить военные лагеря гражданами-солдатами. Выражают презрение жирондистам, у которых нехватает смелости, чтобы погнать граждан против чужих войск, и которые совершенно не умеют оказать энергичного сопротивления преступлениям; жирондисты их проклинают, но пользуются ими как источниками для встречных обвинений против своего могущественного противника.

В это бурное время происходят выборы.

Открытие Конвента. Повстанческое движение в Париже продолжается; Коммуна всесильна.

Жирондисты первыми отделяются от монтаньяров. Как мало ищут разрыва вновь прибывающие монтаньяры, показывает почти единогласное избрание Петиона в председатели Конвента. Точно так же и другие члены Бюро избираются среди влиятельных депутатов, членов последнего Законодательного собрания. Вновь прибывшие депутаты почти все ничего не знали о внутренних разногласиях. Робеспьер и Петион, Дантон и Гаде — одинаково пользовались их уважением.

Единственная партия, которая вступила в Конвент с готовой системой и с наперед выработанным планом (жирондисты), занимает места на правой стороне. Оставив свои прежние скамьи (на левой) и устремляясь всей массой на правую сторону, они объявляют войну вновь прибывшим республиканцам, которые бросаются на левую сторону, — традиционное место патриотизма.

Жирондисты имели большинство в Законодательном собрании и одновременно господствовали в Якобинском клубе. Ко времени событий 10 августа они считали, что Франция у них в руках. Созывая Национальный конвент, они ни на одно мгновение не предполагали, что может образоваться независимое от них большинство. Но семидневное междуцарствие изменило положение вещей и характер выборов. Законодательное собрание, — иначе говоря жирондисты, — обнаружило некоторую энергию в борьбе против королевского двора. Как только им безраздельно досталось в руки кормило правления, они обнаружили свою слабость и безволие. Они не сумели сдержать прорвавшегося 10 августа потока; они имели глупость противопоставить ему декламации. Они вооружили против себя общественное мнение, не будучи в состоянии устранить какой-либо беспорядок. Они сами лишили себя имевшихся у них в распоряжении средств для управления ходом событий. *Якобинский клуб* был тогда барометром общественного мнения. Некоторое время здесь диктовали законы жирондисты. Даже перед роспуском Учредительного собрания они свергли братьев Ламет и загнали конституционалистов в не-

популярные кабачки фельянов. После 10 августа они, в свою очередь, остались в хвосте; популярность их исчезла. Почти все они оставили Общество, о заслугах которого они трубили, пока оно поддерживало их взгляды; но, как только оно стало думать иначе, чем они, это Общество в их глазах стало теперь уже гнездом мятежников.

Далее, 10 августа жирондисты предоставили исполнительную власть временному совету министров. Этот совет министров, не имея опоры в нации, стал бессилён, как только партия, к которой он принадлежал, потеряла популярность. Исполнительная власть фактически была в руках Коммуны, и именно Парижской коммуны, которую составили крепкие люди из народа. Выборы в столице прошли под давлением Коммуны. Видные члены Коммуны были избраны в Конвент.

Отсюда враждебная позиция жирондистов с первых моментов Конвента. Все новые депутаты, известные сколько-нибудь своей энергией и патриотизмом, были по прибытии привлечены в Якобинский клуб, где Коммуна пользовалась большим влиянием. Эти-то депутаты заняли места на левой стороне. Достаточно было этого, чтобы отогнать жирондистов на правую сторону. Якобинцы стали их врагами, — поэтому они называли своих новых противников якобинцами. Первоначально относясь враждебно только к Парижской коммуне и парижским депутатам, они распространили свою ненависть на всех, кто сидел на той же стороне, встречался часто с якобинцами и был страстным республиканцем.

Итак, в начале сессии Конвент не был расколот; комплектная масса республиканцев была объединена одним общим чувством, но в остальном они расходились по многим пунктам. И вот внутри Конвента образовалась настойчивая клика, которая хотела навязать всему собранию свои мнения и готовилась к войне, чтобы отомстить за раны, нанесенные ее самолюбию, и удовлетворить свою личную злобу.

Большинство жирондистов — не изменники, но среди них скрывались изменники. Гибель Республики не была их целью, но была следствием их теорий. Поэтому немногочисленные роялисты Конвента присоединились к ним. Они были нападающей стороной, «Гора» долго занимала оборонительное положение. Жирондисты не сумели пожертвовать своим самолюбием для общественного дела (стр. 47 — 59).

21 сентября 1792 г. — открытие Конвента. *Петион* — президент. Дантон слагает с себя звание министра юстиции. Примирительная речь. Никакая конституция не может существовать иначе,

как при условии, что она принята большинством голосов на первичных собраниях. Декларация о неприкосновенности собственности должна быть декретирована. Оба эти проекта Дантона стали декретами (первые декреты Конвента). Дантон в своей речи рассматривает народное возбуждение как необходимое, но преходящее явление; теперь на его место должна вступить совидательная власть Конвента, излишества должны прекратиться.

Единогласная отмена королевской власти по предложению Грегуара.

По первому заседанию Конвента видно стремление Горы к общему примирению в интересах порядка и свободы. Жирондисты сейчас же обнаруживают жажду мщения.

24 сентября. Керсан, ссылаясь на опасность, грозящую столице, предлагает вызвать значительные *подкрепления из департаментов*. Это — первое объявление войны со стороны жирондистов, которые были очень овлблены против парижских депутатов: жирондисты, будучи членами Законодательного собрания, лишились всякого значения благодаря деятельности Коммуны и господству Дантона в Исполнительном совете.

Жан-Поль Марат и Жозеф Эгалите особенно доставляли случаи для враждебных обвинений против Горы в кровожадности и анархии, с одной стороны, и в честолюбии и роялизме — с другой.

24 сентября. Косвенное обвинение Парижской коммуны в стремлении к диктатуре.

25 сентября. Ребекки и Барбару называют Робеспьера кандидатом, намеченным в диктаторы. Дантон снова проповедует согласие, оправдывает Коммуну. Внезаконная власть была необходима при слабом руководстве Законодательного собрания; остается только вернуться теперь к законному порядку. Жирондисты не поддаются увещаниям Дантона, они все возвращаются к прошлому, чтобы непрерывно искать в нем материал для встречных обвинений.

Нападки Верньо и Буало на Марата. Смелое возражение Марата. Собрание переходит к очередным делам. Но начавшиеся враждебные действия продолжаются. В ожидании решительного события и разрыва между Роланом и Дантоном предлогом для этих бесполовых стычек являются мнимые превышения власти со стороны Коммуны и плакаты Марата. Победа почти всегда склоняется, по видимому, на сторону жирондистов. Во время этих первых столкновений еще не сорганизовалось большинство; значительное число энергичных республиканцев, колеблясь в нерешительности то туда, то

сюда, долгое время голосовало с правыми: таковы *Филиппо, Камбон, Камбасерес* и др.

29 сентября. Ролан, избранный депутатом от департамента Соммы, заявляет в Конвенте, что он намерен сложить с себя обязанности министра внутренних дел. Правая выражает свое сожаление. Бюво вносит предложение просить Ролана остаться на своем посту, Филиппо — о том, чтобы эту просьбу распространить на Дантона. Последний противится этому, — такое предложение было бы ниже достоинства Конвента; единственный способ удержать Ролана на его посту — аннулировать его выборы. Жирондисты принимают предложение Бюво. Валазе заявляет, что имя Ролана для него священо. Луваэ, Барбару осыпают его похвалами. На этот раз выступают против предложения Бюво депутаты центра Баррер, Лакруа, Тюрио, которые, не принадлежа к правым, часто доставляли им большинство.

30 сентября. Ролан пишет Конвенту письмо, в котором выражает желание остаться министром. Он очень хвалит себя в этом письме, педантически пробирает своих противников, косвенно винит Дантона. Все эти обвинения против Дантона и Коммуны основаны на фактах, предшествующих созыву Конвента, и свидетельствуют о ненависти побежденной партии к партии-победительнице.

Каждый день правая делает выпады против Коммуны; ее защищает группа депутатов от Парижа. Наконец, издается распоряжение о роспуске этого революционного правительства; оно задерживалось для представления отчета. Является новый спорный пункт. Наблюдательный комитет Коммуны заявляет о захвате важных бумаг, которые могут пролить свет на изменнические происки двора, причем оказываются скомпрометированными некоторые депутаты. Он требует, чтобы у него не забирали этих документов и предоставили ему продолжать свои функции, пока не наступит удобный момент для использования их. Жирондисты усмотрели в этом открытое желание Коммуны продолжать без конца свою деятельность. Монтаньяры в своих противниках видят людей, заинтересованных в том, чтобы задушить правду. Каждая партия ведет дебаты с точки зрения своих предубеждений. Наконец эти акты передаются комиссии из 25 представителей, среди которых нет ни членов Коммуны, ни депутатов от Парижа, ни от Учредительного и Законодательного собраний. Не обнаруживается ничего ни против Коммуны, ни против жирондистов. Даже доклад депутата Жозефа Делонэ (жирондист) говорит по существу в пользу Коммуны. Взаимные обвинения повторяются каждый день с новой яростью. Правая всегда начинает

атаку, опираясь на факты, предшествующие соыву Конвента. Свобода мнений всегда подавляется, когда хочет говорить член левой. Робеспьер криками и оскорблениями был согнан с трибуны. Марат только своим упорством добился возможности отвечать.

До сих пор правая постоянно имеет большинство. Гора голосует с нею, как только дело касается принципиальных вопросов, восстановления порядка, исполнения законов.

Ролан в своих докладах Конвенту беспрестанно повторяет, что преступления, совершенные во время междуцарствия, остались безнаказанными, примешивает сюда косвенные обвинения против Робеспьера и Дантона, против депутатов от Парижа.

Ролан — в ярости, что превосходство Дантона в Совете выявило его ничтожество.

29 октября. Ролан подает в Конвент доклад, в котором снова назван Робеспьер. Робеспьер всходит на трибуну, чтобы защищаться, но не может закончить из-за шума жирондистов и постоянных перерывов со стороны председателя Гадэ.

Нападки *Лувэ* на Робеспьера.

6 ноября. Ответ Робеспьера. Со всех сторон раздаются требования перехода к порядку дня; даже Верньо, Гадэ, Петийон поддерживают это. С Лувэ остаются только Салл, Барбару, Ланжюинэ, Ларивьер. Переход к очередным делам принят почти единогласно. Барбару требует еще слова, чтобы поддержать обвинение. Затем он спускается вниз к решетке и хочет говорить как проситель и даже как обвиняемый. Эта неприличная сцена слишком затягивается; она кончилась по обыкновению ничем, — Собрание не приняло никакого решения (стр. 60 — 83).

16 декабря. По предложению Тюрио провозглашается единство и нераздельность Республики. Бюзо высказывается за изгнание герцога Орлеанского и его сыновей; его поддерживают Лувэ и Ланжюинэ. Жирондисты делают таким образом попытку покончить с Национальным собранием. Впрочем, жирондисты в тесной дружбе с креатурами герцога — Дюмурье, Силлери, Бирон, Валанс.

Откровенное проявление министрами своей партийной приверженности к жирондистам. Когда Лувэ выступил с обвинением Робеспьера, Конвент постановил об отпечатании обвинительной и защитительной речей. Ролан распорядился широко распространить речь Лувэ с прибавлением слов: «Печатано по распоряжению Конвента», и ограничился распространением речи Робеспьера между членами Конвента. Таким образом у широкой публики должно было создаться впечатление, что против Робеспьера вынесено какое-то

порицание. Та же плутня повторилась с декретом об изгнании Бурбонов. Раньше чем был прочитан протокол, который констатировал принятие декрета, — т. е. прежде чем его редакция, по общему правилу, была принята большинством, — по распоряжению Ролана были быстро проведены его печатание и рассылка по 89 департаментам; в то же время отсрочка решения судьбы Филиппа Эгалите не была обнародована таким же способом. Таким образом можно было думать, что приверженцы герцога Орлеанского благодаря своему натиску добились на другой день отсрочки направленного против него декрета.

Несогласия, которые мешали работе Национального конвента, скоро передались в лоно Исполнительного совета. Серван, оставляя пост военного министра по болезни, предложил Конвенту на свое место, — по рекомендации Ролана, — Паша, служившего в бюро министерства внутренних дел. Паш желает быть самостоятельным, притом он часто встречается с якобинцами. Паш — хороший патриот, но плохой военный министр. Выдвинув против него обвинения в ивмене, жирондисты этим удвоили контр-обвинения, которые с давнего времени подымались против Ролана. *Ассигнации. Закон о выполнении культа* (ср. стр. 93). *Декрет о жизненных припасах* (см. речь Левассера, стр. 94 и сл.).

Вскоре после декрета о *жизненных припасах* — дебаты относительно процесса Людовика XVI. По этому случаю новое озлобление.

Конец января 1793 г. Как и в начале заседаний Конвента, — бевосновательные проявления враждебности. Но заметно значительное изменение в настроениях Собрания. Гора от обороны перешла к нападению. Война партий в разгаре. Чувствуется, что отныне нельзя приступить к какой-либо организации Республики, пока не будет совершенно уничтожена одна из обеих партий.

Убийство Мишеля Лепеллетье де-Сен-Фаржо привело к объяснению и открытому разрыву между крайними партиями.

Болото, утомленное интригами, капризами и тщеславием жирондистов, часто соединяется с Горой против них. Отставка Ролана принята.

28 января. Бюзо выступает с обвинением против Комитета общественной безопасности (в котором кроме жирондистов было несколько монтаньяров: Талльен, Шабо, Базир) из-за ареста одного члена центра и требует его освобождения. Жирондисты имели обыкновение скорее жертвовать учреждением, чем допустить его процветание в руках противников.

8 марта. Сильное возбуждение из-за военных неудач в Бельгии под начальством Дюмурье. Посланы комиссары во все секции Парижа, чтобы призвать граждан к оружию; тоже — в департаменты.

9 марта. Комиссары отдают отчет. Раздаются требования гарантий против заговоров внутри страны. Декрет об учреждении чрезвычайного трибунала без прав апелляции для суда над всеми изменниками, заговорщиками и контр-революционерами. Сильное возбуждение в столице. Типография Горваса разрушена, он обращен в бегство. Народ был так воодушевлен, что потребовался декрет Конвента, чтобы вернуть пекарей в их булочные и почтовых чиновников в почтамт.

10 марта. Дебаты об организации революционного трибунала.

Сильное возбуждение в Париже. Вечернее заседание Конвента в 9 часов. Скамьи правых почти пусты. После полуночи собравшиеся в Елисейских полях толпы принимают мятежный характер. Забираются в Якобинский клуб и клуб Кордельеров и призывают к восстанию против Конвента. Эти предложения отвергаются монтаньярами.

11 марта. Декрет о революционном трибунале.

12 марта. *Марат* возвышает голос против покушений 10 марта.

13 марта. Жалобы и нападки жирондистов по поводу 10 марта.

Повстанческое движение 10 марта в Париже создано было всеми партиями, потому что все они принимали участие в возбуждении народа. Это возбуждение было вызвано для того, чтобы двинуть народ к граицам. Сдены, имевшие место 10 марта, были необходимым следствием этого воодушевления. Гора, заседая одна в Собрании, в течение немногих часов успокоила волнение, имевшее грозный характер. Паш и Сантерр получили одобрение за свое усердие. Марат и Дюбуа Кранса умиротворили оба клуба, Якобинцев и Кордельеров, и убедили их отказаться от их мрачных планов. Марат первый выступил против авторов беспорядков 10 марта; он вызвал обвинительный декрет против Фурнье Американца, одного из зачинщиков. Ласурс, экзальтированный жирондист, рассыпается в похвалах ему в заседании 12 марта. Наконец, один депутат правой, который в этом именно заседании оскорбил Марата, единогласным постановлением Конвента получил замечание с занесением в протокол, несмотря на возмутительную партийную нетерпимость, которую обыкновенно проявляли по отношению к *ami du peuple* («другу народа», — Марату).

Комитет общественного спасения при своем возникновении был в значительном большинстве составлен из жирондистов.

Несколько дней спустя после 10 марта жирондисты желают взвалить ответственность за этот день на Гору.

Бурные заседания стали обычными в Конвенте. Шумные сцены. Трибуны часто вмешиваются в эти скандальные перерывы. И вот жирондисты начинают кричать, что они уже не чувствуют себя в безопасности в Париже; они призывают к себе на помощь департаментские силы. С своей стороны, монтаньяры обвиняют своих противников в проповеди гражданской войны. Так проходят дни и ночи в этих печальных дебатах.

До сих пор всеми сторонами признавалась внешняя неприкосновенность депутатов. Правая сторона первая отступает от этого правила. По инициативе Гадэ было возбуждено дело против Марата. Законодательный комитет редактировал обвинительный акт, в котором предвосхищалось осуждение его. Марат был единогласно оправдан революционным трибуналом и с триумфом отведен народом обратно в Конвент. Это событие имело важные последствия. Партийные споры депутатов привели к судебным разбирательствам, и преследование Марата было непосредственным прецедентом для событий 31 мая.

18 марта. Поражение Дюмурье при Неервиндене. Его письма к Исполнительному совету содержат оскорбления Конвента (мнение Дантона о Дюмурье, стр. 133). Жирондисты аплодируют его дерзким письмам.

29 марта. Новое письмо Дюмурье вызывает сильнейшее негодование. Декрет, вызывающий Дюмурье на суд и т. д. Измена Дюмурье.

3 апреля. Ласурс осмеливается объявить Дантона соучастником Дюмурье (стр. 157). Дантон объявляет жирондистам войну. Огромный эффект речи Дантона. Дантон раньше пытался добиться примирения между обеими сторонами Собрания.

Несмотря на то, что он находился на вершине Горы, он до известной степени был вождем Болота. Он часто порицал страстность монтаньяров. Преодолев недоверие Робеспьера, он вел такую линию: вместо того, чтобы вести войну с жирондистами, необходимо заставить их поддерживать Гору для того, чтобы общими усилиями спасти Республику. Еще за несколько дней до выпада Ласурса Дантон провел конференцию с виднейшими вождями правой, на которой пришли к соглашению об единодушной работе и о том, чтобы больше сосредоточить внимание на борьбе на военных фронтах и против

аристократов. Вся Гора любила Дантона, но большинство полагало, что он плохо разбирается в положении вещей, если он надеется добиться объединения Горы и Жиронды.

В конце апреля и в начале мая дебаты получили значительно более серьезный характер. Это уже не словесная перебранка с трибуны, а война не на жизнь, а на смерть. Каждая из обеих сторон начала искать поддержки во-вне, чтобы добиться победы. Но Гора, несмотря на эти внутренние раздоры, серьезно занималась создавшимся положением Франции, в то время как Жиронда думала только об уничтожении своих врагов и совершенно выпустила из рук бразды правления. В течение этих восьми месяцев занимались вопросом о *максимуме*. Правая борется против этих мер при помощи оскорблений. Она бросила обвинение в нарушении права собственности и в угрозе жизни собственников. Такие громогласные заявления имели целью поднять средний класс против Горы. Максимум был принят. Жирондисты всегда имели большинство, когда дело касалось партийных споров, — так, например, об обвинении Марата, мартовских беспорядках, петициях от секций, о комиссии 12-ти. Гора имела большинство в важных, общего интереса вопросах, каковы: о максимуме, о средствах революционного набора, о чрезвычайном трибунале, о принудительном вайме и пр.

Во время дебатов о максимуме был такой случай. *Дюко* на трибуне, выступая против предложенных мер, противопоставил санкюлотов средним классам. Поднялся страшный шум на одной из общественных трибун. Гадэ требует перенесения заседаний Конвента в Версаль. Громкое одобрение на правой стороне. Левассер напоминает о необходимости придерживаться регламента. Трибуны очищаются. Правые оказывают сопротивление. Филиппо, Дантон, Лакруа тщетно напоминают Собранию о его достоинстве, о его настоятельнейших обязанностях, напрасно требуют не оставлять важнейших вопросов из-за незначительного происшествия. Гнев жирондистов должен был излиться, чтобы остыть. Горячие дебаты. Нападки на парижские власти. Угрозы мести со стороны провинций. Таким-то образом звзвучал набатный колокол гражданской войны в такой момент, когда вопрос шел об интересах, которые довели народ до восстания. Было желание натравить оба класса народа друг на друга. Гора шла с партией народных масс, где находились жилистые руки, энергия и преданность.

Смуты в Вандее превратились в гражданскую войну. Понадобились новые наборы и новые затраты национальных средств. Дантон, Демулэн, Филиппо, Кутон ивыскивают способы добыть их. Един-

ственно возможным средством удовлетворить настоятельные нужды была мобилизация национальных имуществ. Принудительный заем (ср. стр. 162, 299), взятый у граждан, имевших избыток средств.

Жирондисты, осуждавшие мероприятия Горы, ни разу не противопоставили им какого-нибудь другого плана. Они совсем ничего не сделали.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ «СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА»**

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ «СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА».

1. [Частная собственность и труд.]

I ad pag. XXXVI. *Субъективная сущность* частной собственности, *частная собственность* как для-себя-сущая деятельность, как *субъект*, как *личность*, это — труд. Поэтому ясно, что только ту политическую экономию, которая признала в *труде* свой принцип, — Адам Смит, — т. е. которая уже не видела более в частной собственности только какое-то *состояние* вне человека, — ясно, что только такую политическую экономию приходится рассматривать и как продукт действительной *энергии* и *движения* частной собственности (она есть осознанное самостоятельное движение частной собственности, современная промышленность как самость), и как продукт современной *промышленности*; с другой же стороны, она ускорила и прославила энергию и развитие этой *промышленности*, сделала из нее <признанную>¹ силу *сознания*. Поэтому *фетишистами* и *католиками* кажутся этой просвещенной политической экономии, открывшей — при режиме частной собственности — субъективную сущность богатства, сторонники денежной и меркантилистской теории, видящие в частной собственности только некоторую *предметную сущность* для людей. Поэтому *Энгельс* справедливо назвал *Адама Смита Лютером политической экономии*. Подобно тому как Лютер признал за сущность действительного *мира* религию, *веру*, и поэтому выступил против католического язычества, подобно тому как он уничтожил *внешнюю* религиозность, сделав из религиозности внутреннюю сущность человека, подобно тому как он стал отрицать находящегося вне мирянина попа тем, что утвердил — внутреннего — попа в сердце мирянина, — подобно этому уничтожается и находящееся вне человека и независимое от него (т. е. подлежащее сохранению и утверждению только внешним путем) богатство, т. е. уничтожается эта его *внешняя бессмысленная предметность*, благодаря тому, что частная собственность воплощается в самом человеке и сам человек признается ее сущностью; но именно поэтому же сам

¹ Отдельные слова, фразы и целые абзацы, заключенные в скобки <>, вычеркнуты Марксом.

человек становится при определении частной собственности законом, как это было и у Лютера в случае с религией. И, значит, политическая экономия, принципом которой является труд, прикрываясь признанием человека, является скорее только последовательным проведением отрицания человека, поскольку сам человек не находится уже в отношении внешнего напряжения к внешней сущности частной собственности, а стал сам этой напряженной сущностью частной собственности. То, что раньше было фактом *внешнего* бытия относительно себя, реальным отрешением человека, стало теперь актом отрешения, отчуждением. И подобно тому как эта политическая экономия начинает с видимости признания человека, его самостоятельности, самостоятельности и т. д., подобно тому как она помещает пачало частной собственности в сущности самого человека и, не терпя более местных, национальных и т. д. *особенностей частной собственности*, как некоторой *находящейся вне нее сущности*, развивает всеобщую *космополитическую*, ломающую всякие преграды и узы энергию, чтобы утвердиться в качестве *единственной* политики всеобщности, — подобно этому при дальнейшем своем развитии она должна сбросить это *лицемерное обличье* и выступить во *всем своем цинизме*. Она так и поступает: не заботясь о всех кажущихся противоречиях, в которых запутывается эта теория, она выдвигает гораздо *одностороннее*, но поэтому резче и *последовательнее*, труд, как единственную сущность богатства, подчеркивает, в противоположность указанной первоначальной концепции, пагубный для человечества характер вытекающих из этого учения выводов и, наконец, наносит смертельный удар последней, *индивидуальной*, «естественной», независимо от движения труда существующей форме частной собственности и источнику богатства — именно *земельной ренте*, этому ставшему уже совершенно политико-экономическим, а поэтому способному сопротивляться политической экономии, выражению феодальной собственности (школа *Рикардо*). *Цинизм* политической экономии растет не только относительным образом, начиная от Смита через Сэя к Рикардо, Миллю и т. д., — поскольку последние могли видеть в более развитом и противоречивом виде результаты, к которым приводит промышленность, — они и в положительном смысле пошли сознательно по пути отчуждения человека дальше, чем их предшественники, но *только* потому, что их наука является более последовательной и правдивой. Поскольку они превращают частную собственность в ее активной форме в субъект, т. е. поскольку они в то же время делают из человека — притом из изуродованного человека — сущность, постольку наблюдаемые в действительности противоречия вполне

соответствуют противоречивой сущности, признанной ими в качестве принципа. Разорванная *действительность промышленности* не только не опровергает, но, наоборот, подтверждает их *разорванный в себе принцип*. Ведь их принцип и является принципом этой разорванности.

Физиократическое учение *доктора Кене* является переходным моментом от теории меркантилизма к Адаму Смиту. *Физиократическое учение* является непосредственным образом *политико-экономической* формы разложения феодальной собственности, но поэтому же оно является столь же непосредственным образом *политико-экономической* формой *преобразования*, восстановления ее, и только способ выражения носит уже не феодальный, а экономический характер. Все богатство сводится здесь к *земле* и к *обработке земли* (агрикультуре). Земля еще не есть *капитал*, она еще только *особенная* форма его, которая должна сохранять свою силу в своей естественной особенности и ради этой особенности. Но все же земля есть всеобщий, естественный *элемент*, в то время как теория меркантилизма знала, в качестве формы существования богатства, только <деньги> *благородные металлы*. Таким образом, здесь *предмет* богатства, его материя, достиг в *рамках природы* (поскольку это богатство, как часть *природы*, является непосредственно предметным богатством) своей высшей всеобщности. И земля существует для человека только благодаря труду, благодаря агрикультуре. Таким образом, субъективная сущность богатства уже помещается здесь в труде, но в то же время агрикультура есть *единственный производительный* труд. Следовательно, труд не взят еще в своей всеобщности и абстракции; он связан еще, как со своей материей, с особенным элементом природы. Поэтому же труд признается только в особенной, *определенной естественной форме*. Поэтому труд есть пока лишь определенная особенная форма отрешения человека, подобно тому как продукт его рассматривается еще как некоторое определенное, более причастное природе, чем самому труду, богатство. Земля рассматривается здесь еще как некоторый независимый от человека элемент природы, а не как капитал, т. е. не как момент самого труда.

Скорее, наоборот, труд является моментом *земли*. Но поскольку фетишизм прежнего внешнего, существующего только как предмет, богатства сведен к некоторому весьма простому элементу природы, поскольку уже сущность богатства признана — хотя частичным и особенным образом — в его субъективном существовании, постольку ва этим необходимо следует и дальнейший шаг вперед, заключающийся в том, что познается *всеобщая сущность* богатства и что *труд*

в его полной абсолютности, т. е. абстракции, возводится в *принцип*. Физиократической теории доказывают, что в экономическом, т. е. в единственно правомерном, отношении *агрикультура* ничем не отличается ни от какого другого вида промышленности, и, следовательно, доказывается, что сущностью богатства является не *определенный* вид труда, не связанная с некоторым особенным элементом особенная форма труда, а *труд вообще*.

Физиократическая теория отрицает *особенное* внешнее, только предметное богатство, объявив его *сущностью* труд. Но на первых порах труд есть для нее только *субъективная сущность* земельной собственности (она исходит из исторически господствующего и признанного вида собственности). У нее только земельная собственность становится *отрешенным* (entäussert) *человеком*. Она уничтожает феодальный характер земельной собственности, объявив ее *сущностью промышленности* (агрикультуру); но она относится отрицательным образом к миру промышленности; она признает феодализм, объявив *агрикультуру единственной* формой промышленности.

Ясно, что, поскольку рассматривается только *субъективная сущность* промышленности, конституирующей в противоположность земельной собственности (т. е. как промышленность), постольку эта сущность включает в себя свою противоположность, ибо, подобно тому как промышленность содержит в себе уничтоженную земельную собственность, так и ее *субъективная сущность* содержит в себе субъективную сущность *земельной собственности*.

Точно также, как земельная собственность является первой формой частной собственности, точно так же, как промышленность выступает исторически на первых порах против нее только в качестве особенного рода собственности, — или, вернее, в качестве вольноотпущенного раба земельной собственности, — точно так же повторяется это и при научном сведении *субъективной сущности* частной собственности к *труду*: труд выступает на первых порах только как *земледельческий труд*, но затем выступает как *труд вообще*, <выступая в то же время в качестве сущности промышленного богатства>.

Всякое богатство стало *промышленным богатством, богатством* труда, и *промышленность* является *завершенным трудом*, подобно тому как *фабричная система* является *завершенной сущностью промышленности*, т. е. труда, а *промышленный капитал* — *завершенной объективной формой частной собственности*.

Мы видим, как частная собственность может завершить свое господство над человеком и, приняв наиболее общую форму, стать всемирно-исторической силой.

2. [Частная собственность и коммунизм.]

Ad pag. XXXIX. Но противоположность между *отсутствием собственности* и *собственностью* есть еще недифференцированная, нерассматриваемая в своем *активном отношении* к своему *внутреннему* положению противоположность; она не есть еще противоречие, пока она не рассматривается как противоположность между *трудом* и *капиталом*. Эта противоположность может выражаться в *первой* форме и без наличия прогрессивного движения частной собственности (в древнем Риме, Турции и т. д.). В этом виде она еще не *кажется* вытекающей из самой частной собственности, но труд, субъективная сущность частной собственности, как исключаящий собственность момент, и капитал, объективированный труд, как исключаящий труд момент, — такова *частная собственность* как развитая до степени противоречия форма указанной противоположности, а поэтому как энергичная, побуждающая к разложению форма ее.

(Ad *ibid.*). Снятие самоотчуждения происходит таким же образом, как и само самоотчуждение. Сперва *частная собственность* рассматривается только со своей объективной стороны, но через труд как свою сущность. Поэтому формой бытия ее является капитал, «который должен быть уничтожен как таковой» (Прудон). Либо же особенный вид труда — например, нивелированный, раздробленный и поэтому несвободный труд — рассматривается как источник всех пагубных свойств частной собственности и ее отчужденной от человечества формы существования — Фурье, который, подобно физиократам, тоже считает *земледельческий труд*, по крайней мере, наилучшим видом труда, в то время как, наоборот, Сен-Симон считает *промышленный труд*, как таковой, сущностью богатства и желает только *единоличного* господства промышленников и улучшения положения рабочих. Наконец, *коммунизм* есть *положительное* выражение уничтоженной частной собственности, являясь на первых порах *всеобщей* частной собственностью. Рассматривая частную собственность в ее *всеобщности*, он 1) является в своей первой форме только *обобщением* и *завершением* ее. В качестве этого завершения он имеет двойкий вид: с одной стороны, он так переоценивает роль и господство *вещественной* собственности, что он хочет уничтожить *все*, что не может стать достоянием и *частной собственностью* всех; он хочет *насильственным* образом устранить таланты и т. д. Непосредственное физическое *обладание* является в его глазах единственной целью жизни; форма деятельности *рабочего* здесь не уничтожается, а распространяется на всех людей.

Отношение частной собственности остается отношением коллективности к миру вещей; наконец, это движение, стремящееся противопоставить частной собственности всеобщую частную собственность, выражается в совершенно животной форме, когда оно противопоставляет *браку* (являющемуся, конечно, известной *формой исключительной* частной собственности) *общность женщин*, когда, следовательно, женщина становится у него *общественной и низкой* собственностью. Можно сказать, что в этой идее об *общности женщин* высказана тайна этой еще совершенно грубой и бессмысленной формы коммунизма. Подобно тому как женщина покидает брак для царства всеобщей проституции, так и весь мир богатства, т. е. предметной сущности человека, переходят из состояния исключительного брака с частным собственником ко всеобщей проституции с коллективностью. Проституция есть лишь *особенное* выражение *всеобщей* проституции рабочего, и так как проституция захватывает не только проституируемого, но и проституирующего (низовость которого еще больше), то в эту категорию попадает и капиталист, и т. д. Этот коммунизм, отрицающий повсюду *личность* человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием. Всеобщая, ставшая силой, *зависть* есть лишь прикрытая форма того, как утверждает себя и как удовлетворяет себя *алчность*. Мысль каждой частной собственности, как таковой, обращена — *по крайней мере*, против *более крупной* частной собственности — стороной зависти и стремления к нивелированию, составляющих даже сущность конкуренции. Грубый коммунизм есть лишь *завершенная* форма этой зависти и этой жажды нивелирования, установления некоторого равного для всех минимума. У него *определенная, ограниченная* мера. Что это уничтожение частной собственности не есть вовсе действительное присвоение и обогащение, показывает присутствующее ему абстрактное отрицание всего мира, образования и цивилизации: оно есть лишь возвращение к *неестественной* простоте *нищего* и нуждающегося человека, который не только не переступил за грани частной собственности, но даже не достиг еще уровня ее.

Коллективность, согласно этой теории, есть лишь *общность труда* и равенство *заработной платы*, которую выплачивает *общинный* капитал, *коллективность* как всеобщий капиталист. Обе стороны отношения между трудом и капиталом возведены в степень *мнимой* всеобщности: *труд* — как удел каждого члена коллективности, капитал — как признанная всеобщность и сила коллективности.

В отношении к *женщине*, как к добыче и объекту, служащему для удовлетворения общественной похоти, выражена бесконечная деградация человека, когда он существует сам для себя, ибо тайна отношения между человеком и человеком находит свое *недвузначное*, решительное, *открытое*, явное выражение в отношении между *мужчиной* и *женщиной* и в подходе к этому *естественному, непосредственному* родовому отношению. Непосредственное, естественное, необходимое отношение человека к человеку, это — *отношение мужчины к женщине*. В этом естественном родовом отношении отношение человека к природе есть непосредственным образом его отношение к человеку, подобно тому как его отношение к человеку есть непосредственным образом его отношение к природе, его собственное *природное* свойство. Следовательно, в этом отношении проявляется в *чувственном, наглядно-фактическом* виде то, насколько стала для человека природой человеческая сущность или насколько природа стала человеческой сущностью человека. Поэтому на основании этого отношения можно вообще судить о степени развития человека. Из характера этого отношения видно, насколько *человек* стал *родовым существом*, стал *человеком*, до какой степени он это понимает. Отношение мужчины к женщине есть *естественнейшее* отношение человека к человеку. Следовательно, в нем обнаруживается, насколько *естественное* поведение человека стало *человеческим* или насколько *человеческая* сущность стала для него *естественной* сущностью, насколько его *человеческая природа* стала для него природой. В этом отношении обнаруживается также, насколько *потребность* человека стала *человеческой* потребностью, т. е. насколько *другой* человек стал для него, как человек, потребностью; в нем обнаруживается, насколько человек в своем индивидуальном бытии является в то же время общественным существом. Таким образом, первая положительная форма уничтожения частной собственности, *грубый коммунизм*, есть лишь *форма проявления* нивости частной собственности, желающей утвердить себя как *положительная* социальность.

2) Коммунизм: а) по политической своей природе демократический или деспотический, в) уничтоживший государство, но представляющий строй, еще не доведенный до конца и все еще сохраняющий частную собственность, т. е. отчуждение, человека. В обеих этих формах коммунизм является уже реинтеграцией, или возвращением человека к самому себе, уничтожением человеческого самоотчуждения; но так как он еще не понял положительной сущности частной собственности и *человеческой* природы потребности, то он еще находится под влиянием частной собственности. Он, правда, уже

постиг понятие частной собственности, но не понял еще сущности ее.

3) *Коммунизм*, в качестве *положительного* уничтожения частной собственности, рассматриваемой как *человеческое самоотчуждение*, и поэтому в качестве действительного *присвоения* человеческой сущности человеком и для человека, поэтому в качестве полного, происходящего сознательным образом и с сохранением всего богатства прежнего развития, возвращения человека к себе как к *общественному*, т. е. человеческому, человеку. Этот коммунизм, как законченный натурализм, совпадает с гуманизмом, как законченный гуманизм совпадает с натурализмом; он — *истинное* решение спора между человеком и природой и человеком и человеком, он — *истинное* решение спора между существованием и сущностью, между объективированием, опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение.

Поэтому все движение истории есть, с одной стороны, *действительный* акт порождения его — акт родов его эмпирического бытия, а с другой — оно является для его мыслящего сознания *постигнутым в понятии и познанным* движением его *становления*; вышеуказанный же, еще не совершенный, коммунизм извлекает из отдельных, противостоящих частной собственности исторических образований и из настоящего *историческое* доказательство в свою пользу, вырывая отдельные моменты движения (особенно любят пользоваться этим коньком Каба, Виллегардель (!) и т. д.) и указывая на них как на доказательство своей исторической зрелости; но этим он только и показывает, что несравненно большая часть исторического движения противоречит его утверждениям и что если он и существовал когда-нибудь, то это его *прошлое* бытие опровергает претензии его сущности.

Не трудно увидеть необходимость того, что в движении *частной собственности* дан как эмпирический, так и теоретический фундамент не только политической экономии, но и всего революционного движения.

Материальная, непосредственно *чувственная* частная собственность есть материальное, чувственное выражение *отчужденной* человеческой жизни. Ее движение, производство и потребление, это — *чувственное* откровение движения всего прежнего производства, т. е. осуществление или действительность человека. Религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и т. д. — это только *особенные* формы производства, подчиняющиеся его всеобщему закону. Поэтому положительное уничтожение *частной собственности* —

этого элемента жизни человеческой действительности — как присвоения *человеческой* жизни, есть положительное уничтожение, снятие всякого отчуждения, т. е. возврат человека из религии, семьи, государства и т. д. к своему *человеческому*, т. е. *общественному*, бытию. Религиозное отчуждение, как таковое, происходит только в области *сознания*, в сфере внутреннего человека, но экономическое отчуждение, это — отчуждение *действительной жизни*: повтому уничтожение его охватывает обе стороны. Само собой разумеется, что вопрос о том, когда *впервые* начинается движение у различных народов, зависит от того, как протекает их истинная признанная жизнь: более ли в сфере сознания или во внешнем мире, является ли она более идеальной или реальной жизнью. Коммунизм начинает сперва (Оуэн) с атеизма, но атеизм на первых порах далеко не *коммунизм*, как и вообще этот атеизм является скорее еще абстракцией. Поэтому филантропия атеизма есть на первых порах только *философская* абстрактная филантропия, филантропия же коммунизма носит с самого начала *реальный* характер и направлена непосредственно на *действие*.

Мы видели, что при допущении положительного уничтожения частной собственности человек производит человека, производит самого себя и другого человека; что предмет, который есть непосредственное осуществление его индивидуальности, есть в то же время его собственное бытие для другого человека, бытие которого есть для него. Но таким же образом и материал труда, и человек как субъект являются результатом и исходным пунктом движения (историческая *необходимость* частной собственности заключается именно в том, что они должны быть этим *исходным пунктом*). Следовательно, всеобщий характер всего движения означает его *общественный* характер: *подобно тому*, как общество производит человека как человека, так оно и *производится им*. Деятельность труда и дух как по своему содержанию, так и по *способу возникновения общественны*: это — *общественная* деятельность и *общественный* дух. *Человеческая* сущность природы существует только для *общественного* человека: только в обществе природа является для него *связью* с человеком, бытием его для другого и другого для него, только в обществе природа является *основой* его собственного *человеческого* бытия. Только в обществе его *естественное* бытие есть его *человеческое* бытие, а природа становится для него человеком. Таким образом, *общество* есть законченное существенное единство человека с природой, подлинное воскресение природы, заверченный натурализм человека и заверщенный гуманизм природы.

Общественная деятельность и общественный дух проявляются не только в форме непосредственно коллективной деятельности и непосредственно коллективного духа, хотя коллективная деятельность и коллективный дух, т. е. деятельность и дух, обнаруживающиеся и утверждающие себя непосредственно в действительном общении с другими людьми, окажутся повсюду там, где вышеуказанное непосредственное выражение общественности обосновано в сущности <деятельности> ее содержания и соответствует его природе.

Но даже и тогда, когда я занимаюсь научной и т. д. деятельностью, — деятельностью, которую я могу выполнить сам, без непосредственного общения с другими, — я все же действую общественным образом, ибо действую как человек. Мне не только дан, в качестве общественного продукта, материал для моей деятельности — в том числе и сам язык, при помощи которого проявляется деятельность мыслителя, — но и мое собственное бытие есть общественная деятельность; поэтому то, что я делаю из себя, я делаю из себя для общества, сознавая себя как общественное существо.

Мое всеобщее сознание есть лишь теоретическая форма того, живой формой чего является реальная коллективность, общественное существо, между тем как в настоящее время реальное общее сознание является абстракцией от действительной жизни и, как таковая, противостоит враждебно последней. Поэтому и деятельность моего всеобщего сознания, как таковая, есть мое теоретическое бытие как общественного существа.

Особенно следует избегать того, чтобы снова противопоставлять «общество», как абстракцию, индивиду. Индивид есть общественное существо. Поэтому его проявление жизни (если бы оно даже не выражалось в непосредственной форме коллективного, происходящего одновременно с другими, выражения жизни) есть проявление и выражение общественной жизни. Индивидуальная и родовая жизнь человека не отличаются друг от друга, хотя бы неизбежным образом форма бытия индивидуальной жизни была более или менее частной или всеобщей формой родовой жизни, или хотя бы родовая жизнь была более или менее частной или всеобщей индивидуальной жизнью.

Человек утверждает в качестве родового сознания свою реальную общественную жизнь и повторяет в мышлении только свое реальное бытие, как и, наоборот, родовое бытие утверждает себя в родовом сознании и существует в своей всеобщности, как мыслящее существо, для себя.

Поэтому, хотя человек и есть некоторый *особенный* индивид, — и именно его особенность делает из него индивида и действительное *индивидуальное* общественное существо, — но он есть также и *целокупность*, идеальная целокупность, субъективное бытие мыслимого и ощущаемого общества для себя, подобно тому как он существует и в действительности, с одной стороны, как созерцание и действительный дух общественного бытия, а с другой — как целокупность человеческого проявления жизни.

Таким образом, хотя бытие и мышление и *отличны* друг от друга, но в то же время они находятся в единстве друг с другом.

Смерть, в качестве суровой победы рода над индивидом, кажется чем-то противоречащим этому единству, но определенный индивид есть только *определенное родовое существо* и, как таковое, смертен.

4) Подобно тому, как *частная собственность* есть лишь чувственное выражение того, что человек становится *предметным* для себя и в то же время становится для себя чужим и нечеловеческим предметом, что его проявление жизни становится его отрешением от жизни, что его осуществление становится его рассуществлением, *чуждой* действительностью, — подобно этому приходится рассматривать положительное уничтожение частной собственности, т. е. *чувственного* присвоения человеческого существа и жизни, присвоения предметного человека, созданных человеком и для человека человеческих *вещей*, не в смысле *непосредственного*, одностороннего *наслаждения*, не только в смысле *владения*, в смысле *обладания*. Человек присваивает себе свою разностороннюю сущность разносторонними способами, т. е. как целостный человек. Каждое из его человеческих отношений к миру — зрение, слух, обоняние, вкус, чувство, мышление, созерцание, ощущение, хотение, деятельность, любовь, — словом, все органы его индивидуальности, равно как и те органы, которые даны непосредственно в форме общественных органов, являются в своем *предметном* отношении, или в своем *отношении к предмету*, присвоением последнего. Присвоение *человеческой* действительности и его отношение к предмету, это — *осуществление человеческой действительности*. Поэтому оно столь же многосторонне, как многосторонни *существенные свойства* человека и *формы деятельности* его. Человеческая деятельность и человеческое *страдание*, рассматриваемые по-человечески, это — самонаслаждение человека.

Частная собственность сделала нас столь тупыми и односторонними, что какой-нибудь предмет является *нашим* лишь тогда, когда мы им обладаем, т. е. когда он существует для нас как капитал, когда мы им непосредственно владеем, едим его, пьем, носим на своем

теле, живем в нем и т. д., когда мы, говоря коротко, потребляем его. Но с точки зрения частной собственности все эти непосредственные формы владения являются, в свою очередь, только *средствами к жизни*, а жизнь, для которой они служат средствами, есть *жизнь частной собственности* — труд и капитализирование.

Поэтому на место *всех* физических и духовных чувств стало простое отчуждение *всех* этих чувств, чувство *обладания*. До такой вот абсолютной нищеты должна была быть доведена человеческая сущность, чтобы она могла породить из себя свое внутреннее богатство! (О категории обладания см. Гесса в «Двадцати одном печатном листе»).

Поэтому уничтожение частной собственности представляет полное *освобождение* всех человеческих чувств и свойств, но оно является этим освобождением именно потому, что эти чувства и свойства стали *человеческими* как в субъективном, так и в объективном смысле. Глаз стал *человеческим* глазом, подобно тому, как его *предмет* стал общественным, *человеческим* предметом, *созданным* человеком для человека. Поэтому *чувства* стали непосредственно в своей практике теоретиками. Они имеют отношение к *вещи* ради вещи, но сама вещь есть *предметное человеческое* отношение к вещи и к человеку, и наоборот. Я могу на практике относиться к вещи только по-человечески, если вещь относится к человеку по-человечески. Поэтому потребность или наслаждение утратили свою *эгоистическую* природу в природе, утратили свою голую полезность, поскольку польза стала *человеческой* пользой.

Точно так же чувства и дух других людей стали моим *собственным* присвоением. Поэтому, кроме этих непосредственных органов, образуются *общественные* органы, в *форме* общества: так, например, деятельность непосредственно в обществе с другими и т. д. стала органом *проявления жизни* и способом присвоения *человеческой* жизни.

Ясно, что *человеческий* глаз видит иначе, чем грубый, нечеловеческий глаз, что человеческое *ухо* слышит иначе, чем грубое ухо, и т. д.

Мы видели, что человек не теряется лишь тогда в своем предмете, когда последний становится для него человеческим предметом, или предметным человеком. Это возможно лишь постольку, поскольку этот предмет становится для него *общественным* предметом, а он сам для себя общественным существом, подобно тому как общество становится для него существом в этом предмете.

Поэтому, поскольку повсюду для человека в обществе предметная действительность становится действительностью человеческих

сущностных сил, становится человеческой действительностью, а значит и действительностью собственных его существенных сил, постольку для него все *предметы* становятся *опредмечиванием* его самого, утверждающими и осуществляющими его индивидуальность предметами, становятся *его* предметами, т. е. предметами *его самого*. То, как они становятся его предметами, зависит от *природы предмета* и природы соответствующей ей *сущностной силы*, ибо именно *определенный характер* этого отношения создает особенную *действительную* форму утверждения. Для *глаза* какой-нибудь предмет имеет иной вид, чем для *уха*, и предмет глаза — иной, чем предмет уха. Специфический характер каждой существенной силы составляет именно ее *собственную сущность*, а значит, и *специфическую форму* ее опредмечивания, ее *предметного, действительного, живого бытия*. Поэтому человек утверждает в предметном мире не только через посредство мышления, а и через посредство *всех* чувств.

Выразим это иначе, с субъективной стороны: только музыка пробуждает музыкальное чувство человека; для немзыкального уха прекраснейшая музыка не имеет *никакого* смысла, она для него не есть предмет, потому что моим предметом может быть только утверждение одной из моих существенных сил, и, следовательно, предмет может существовать для меня только так, как существует для себя, в качестве субъективной способности моя, существенная сила — потому что смысл какого-нибудь предмета для меня (имеет смысл только для какого-нибудь соответствующего ему чувства) в точности соответствует *моему* чувству; поэтому *чувства* общественного человека *иные*, чем у необщественного; только благодаря (предметно) объективно развернутому богатству человеческой сущности получается богатство субъективной *человеческой* чувственности, получается музыкальное ухо, глаз, умеющий понимать красоту формы, — словом, отчасти впервые порождаются, отчасти развиваются человеческие, способные наслаждаться *чувства*, чувства, которые утверждаются как *человеческие* существенные силы. Не только обычные пять чувств, но и так называемые духовные чувства, практические чувства (воля, любовь и т. д.), одним словом, *человеческое* чувство, человечность органов чувств, возникают только благодаря бытию *их* предмета, благодаря *очеловеченной* природе. *Образование* пяти чувств, это — продукт всей всемирной истории. *Чувства*, находящиеся в плену грубой практической потребности, обладают только *ограниченным* смыслом. Для изголодавшегося человека не существует человеческой формы пищи, а существует только ее абстрактное бытие как пищи: она могла бы с таким же успехом иметь самую грубую

форму, и невозможно сказать, чем отличается этот способ удовлетворения потребности в пище от животного способа удовлетворения ее... Нуждающийся, полный забот человек не способен понять прекраснейшей пьесы; торговец минералами видит только денежную стоимость, но не красоту и особенную природу минералов: у него нет минералогического чувства. Таким образом, необходимо было опредмечивание человеческой сущности и в теоретическом, и в практическом отношении, чтобы как *очеловечить чувства* человека, так и создать соответствующий *человеческий смысл* для понимания всего богатства сущности человека и природы.

⟨Подобно тому как благодаря движению частной собственности и порождаемого ею богатства и бедности — или материального и духовного богатства — возникающее общество находит весь необходимый для указанного образования чувств материал, так возникшее общество производит, как свою постоянную действительность, человека со всем этим богатством его существа, производит *богатого* и наделенного *всеми чувствами* человека.⟩

⟨Мы видим, что лишь в общественном состоянии субъективизм и объективизм, спиритуализм и материализм, деятельность и страдание теряют свою противоположность, а значит и свое бытие, в качестве подобных противоположностей.⟩

Мы видим, что решение теоретических противоположностей возможно *только практическим* путем, только благодаря практической энергии человека, и что поэтому решение их отнюдь не является задачей только познания, а *действительно* жизненной задачей, которой *философия* не могла решить именно потому, что она видела в ней *только* теоретическую задачу.

Мы видим, что история *промышленности* и возникшее *предметное* бытие промышленности есть *раскрытая книга человеческих сущностных сил*, чувственно предлежащая пред нами человеческая *психология*, которой до сих пор не рассматривали в ее связи с сущностью человека, а всегда лишь под углом зрения внешнего отношения полноты, потому что, оставаясь в плоскости отчуждения, усматривали всегда во всеобщем бытии человека, в религии или истории в ее абстрактно-всеобщей сущности, как политика, искусство, литература и т. д., действительность человеческих существенных сил, *человеческую родовую деятельность*. В *обыкновенной, материальной промышленности* (которую можно рассматривать и как часть вышеуказанного всеобщего движения и как *особенную часть* промышленности, так как вся человеческая деятельность была до сих пор трудом, т. е. промышленностью, отчужденной от самой себя деятельностью), в

обыкновенной, материальной промышленности мы имеем под видом *чувственных, чужих, полезных предметов*, под видом отчуждения, *опредмеченные существенные силы* человека. *Психология*, для которой эта книга, т. е. именно чувственно-реальнейшая, доступнейшая часть истории, закрыта, не может стать действительно содержательной и *реальной* наукой. Что вообще думать о науке, которая *высокомерно* отворачивается от этой огромной части человеческого труда и не чувствует своей неполноты, когда все это богатство человеческого творчества выражается для нее лишь в таких словах, как «*потребность*», «*общая потребность*»! *Естествознание* развило колоссальную деятельность и накопило непрерывно растущий материал. Но философия оставалась всегда чуждой естествознанию, подобно тому как и последнее оставалось чуждым философии. Произошедшее на момент объединение их было только *фантастической иллюзией*. Имелась налицо воля к такому объединению, но не хватало сил для этого. Сама историография лишь случайно считается с естествознанием, смотря на него под углом просвещения, полезности, отдельных великих открытий. Но тем более *практическим* образом ворвалось вато естествознание, через посредство промышленности, в человеческую жизнь, преобразовав ее и подготовив освобождение человечества, хотя непосредственным образом на первых порах оно привело к обезчеловечению его. *Промышленность* есть *действительное* историческое отношение природы, а следовательно и естествознания, к человеку; поэтому, если рассматривать ее как *экзотерическую* форму раскрытия человеческих *существенных сил*, то можно понять также *человеческую* сущность природы, или естественную сущность человека; естествознание отказывается тогда от своего абстрактно-материального или, вернее, идеалистического направления и становится основой *человеческой* науки, подобно тому как в настоящее время оно уже стало — хотя и в отчужденной форме — основой *действительно* человеческой жизни; предположение, будто есть одна основа для жизни, а другая для науки, уже а priori ложно. <Становящаяся в человеческой истории — этом акте возникновения человеческого общества — природа есть действительная природа человека; поэтому природа в том *отчужденном* виде, какой она принимает благодаря промышленности, есть истинная *антропологическая* природа.> — *Чувственность* (см. Фейербах) должна быть основой всякой науки. Лишь поскольку наука исходит из чувственности, в ее двояком виде *чувственного* сознания и *чувственной* потребности, иначе говоря, лишь поскольку наука исходит из природы, постольку она есть *действительная* наука. Вся история является

подготовительной историей, историей развития того, как «человек» становится предметом *чувственного* сознания и как потребность «человека как человека» становится потребностью. Сама история есть *действительная* часть *истории природы*, становления природы человеком. Впоследствии естествознание будет охватывать науку о человеке, подобно тому как наука о человеке будет охватывать естествознание <обе станут одним>, будет *одна* наука.

Человек есть непосредственный предмет естествознания, ибо непосредственной *чувственной природой* для человека является непосредственно человеческая чувственность (или — что то же самое — *другой*, чувственно данный для него человек, ибо его собственная чувственность существует для него, как человеческая чувственность, лишь через *другого* человека). Но *природа* есть непосредственный предмет *науки о человеке*; первый предмет человека — человек — есть природа; подобно тому как чувственность и особенные чувственные человеческие сущностные силы находят свое предметное осуществление только в *естественных* объектах, так они приходят к своему самопознанию только в науке о природе. Даже основной элемент мышления, элемент, в котором выражается жизнь мысли — *язык* — чувственной природы. *Общественная* действительность природы и *человеческое* естествознание или *естественная наука о человеке*, это — тождественные выражения.

<Мы видим, как на место политико-экономического *богатства* и *нищеты* становятся *богатый человек* и богатая *человеческая* потребность. Богатый человек, это в то же время — человек, *нуждающийся* в выражении человеческой жизни во всей ее полноте, это — человек, в котором его собственное осуществление дано как внутренняя необходимость, как *нужда*. Не только *богатство* человека, но и *бедность* его получают — при наличии социализма — *человеческое*, а следовательно общественное, значение. Она есть пассивная связь, заставляющая человека ощущать потребность в том величайшем богатстве, каким является *другой* человек. Власть предметной сущности во мне, бурное чувственное проявление моей существенной деятельности, это — *страсть*, которая, таким образом, становится здесь *деятельностью* моего существа.>

5) Какое-нибудь *существо* является в своих глазах самостоятельным лишь тогда, когда оно стоит на своих собственных ногах, а стоит оно на своих собственных ногах лишь тогда, когда оно обязано своим *бытием* лишь самому себе. Человек, живущий милостью другого человека, считает себя зависимым существом. Но я живу вполне милостью другого человека, когда он не только поддерживает мою

жизнь, но когда, кроме того, он создал мою жизнь, когда он источник моей жизни; моя жизнь имеет необходимо такой источник вне себя, если она не есть мое собственное творение. Поэтому трудно вытеснить из народного сознания представление о *творении*. Ему непонятно чрез-себя-бытие природы и человека, потому что оно противоречит всем *фактам* практической жизни.

Представление о сотворении *земли* получило сильный удар со стороны *геогнозии*, т. е. науки, изображающей образование земли, становление земли, как некий процесс, как самопорождение. *Generatio aequivoca*, это — единственное практическое опровержение теории творения.

Легко, конечно, сказать отдельному индивиду то, что сказал уже Аристотель: Ты рожден своим отцом и своей матерью; в твоём случае совокупление двух людей, т. е. родовой акт человека, произвел человека. Ты видишь, следовательно, что человек и в физическом отношении обязан своим бытием человеку. Поэтому ты должен иметь в виду не *одну* лишь сторону, не один лишь *бесконечный* процесс, в силу которого ты можешь спросить дальше: кто породил моего отца? кто породил моего деда? Ты должен помнить также и *круговое движение*, которое дано чувственно-наглядным образом в этом поступательном движении, — круговое движение, в силу которого человек в акте рождения повторяет самого себя, и, следовательно, *человек* остается всегда субъектом. Но ты можешь ответить на это: Если я уступлю тебе это круговое движение, то ты должен уступить мне поступательное движение, которое непрерывно гонит меня все дальше, пока я не спрошу, кто создал первого человека и природу вообще? На это я могу ответить тебе только следующее: Сам твой вопрос — продукт абстракции. Спроси себя, каким образом ты приходишь к этому вопросу; спроси себя, не продиктован ли этот вопрос такой точкой зрения, на которую я не могу дать ответ, ибо она совершенно неправильна? Спроси себя, существует ли для разумного мышления это поступательное движение как таковое? Когда ты спрашиваешь о сотворении природы и человека, то ты абстрагируешь от человека и от природы. Ты принимаешь их *небытие* и все же хочешь, чтобы я доказал тебе их *бытие*. Я говорю тебе: откажись от своей абстракции, и ты откажешься от своего вопроса; если же ты хочешь придерживаться своей абстракции, то будь последователен, и когда ты мыслишь природу и человека как *не существующих*, то мысли, в качестве несуществующего, и самого себя, хотя сам ты тоже и природа, и человек. Не мысли, не спрашивай меня, ибо, лишь только ты начинаешь мыслить и спрашивать, как твое *абстрагирование* от

бытия природы и человека теряет всякий смысл. Или, может быть, ты такой эгоист, что признаешь небытие всего, желая в то же время спасти свое бытие?

Ты можешь мне возразить: Я не хочу утверждать небытие природы и т. д., я спрашиваю об *акте их возникновения*, подобно тому как я спрашиваю анатома об образовании костей и т. д.

Но, поскольку для социалистического человека *вся история* есть не что иное, как образование человека человеческим трудом, как становление природы для человека, постольку он обладает наглядным, неопровержимым доказательством своего *рождения* самим собою, *процесса своего возникновения*. Поскольку *сущность* (Wesenhaftigkeit) человека и природы, поскольку человек для человека как бытие природы, а природа для человека как бытие человека стали практическими, чувственными, наглядными, постольку стал практически невозможным вопрос о каком-то *чужом* существе, о существе, стоящем над природой и человеком, вопрос, заключающий в себе признание несущественности (Unwesentlichkeit) природы и человека. *Атеизм*, как отрицание этой несущественности, не имеет больше никакого смысла, ибо атеизм есть *отрицание бога*, утверждающее посредством этого отрицания *бытие человека*; но социализм, как социализм, уже не нуждается в этом посредничестве: он начинает с *теоретически и практически чувственного* сознания человека и природы как *сущности*. Он есть *положительное*, получающееся уже не через посредство уничтожения религии *самосознание* человека <не находящееся более в противоположности уничтожения религии>, подобно тому как *действительная жизнь* есть положительная, получающаяся уже не через посредство уничтожения частной собственности, через посредство *коммунизма*, действительность человека. *Коммунизм* есть положительное утверждение (Position), как отрицание отрицания, являясь повтому *действительным*, необходимым для ближайшего исторического развития моментом человеческого освобождения и возрождения. Коммунизм есть необходимая форма и энергический принцип ближайшего будущего. Но коммунизм не есть, как таковой, цель человеческого развития, — форма человеческого общества.

3. [Как нам быть с гегелевской диалектикой?]

6) В этом пункте, может быть, уместно будет дать некоторые разъяснения по вопросу о гегелевской диалектике, в особенности об ее изложении в «Феноменологии» и в «Логике», и, наконец, об отношении к этому новейшего критического движения.

Современная немецкая критика так много занималась содержанием старого мира, так увязла в анализе этого содержания, что в результате получилось совершенно некритическое отношение к методу критикования, совершенно несознательное отношение к *части формальному*, но в действительности *существенному* вопросу о том, как же нам быть с гегелевской *диалектикой*? Бессознательное отношение современной критики к гегелевской философии вообще и к диалектике в частности было так велико, что критики, как *Штраус* и *Бруно Бауэр*, оказались — первый совершенно, а второй в своих «Синоптиках» (где он, в противоположность Штраусу, ставит «самосознание» абстрактного человека на место субстанции «абстрактной природы») и даже еще в «Раскрытом христианстве» — по крайней мере, потенциально — еще совершенно в плену гегелевской логики. Так, например, мы читаем в «Раскрытом христианстве» <1843>: «Точно самосознание, утверждая мир, утверждая различие и порождая себя самого в том, что оно порождает, ибо оно снова уничтожает отличие порожденного от самого себя, ибо оно, следовательно, является самим собою только в порождении и в движении, — точно это самосознание не имеет своей цели в этом движении, являющемся им самим (и не владеет самим собой!)» и т. д., или: «Они (французские материалисты) не могли еще понять, что движение вселенной стало действительным для себя лишь как движение самосознания и соединилось в одно с ним самим». Эти выражения даже по языку ничем не отличаются от гегелевских взглядов, повторяя их, наоборот, дословно. Пример Бауэра показывает, как мало сознательно было отношение к гегелевской диалектике во время акта критики (Бауэр, «Синоптики») и как мало изменилось в этом отношении дело после акта этой критики: ведь в своем «Правом деле свободы» он отделяется от заносчивого вопроса г. Группе: «Ну что же с логикой?» — тем, что отсылает его к будущим критикам.

Но и теперь, после того как *Фейербах* и в своих «Тезисах» в «Anecdota», и подробнее в «Философии будущего» уничтожил в зародыше старую диалектику и философию, — после того как, наоборот, вышеуказанная критика, не сумевшая выполнить это дело, заявила себя чистой, решительной, абсолютной, все выяснившей критикой, — после того как она в своем спиритуалистическом высокомерии свела все историческое движение к отношению остального мира — зачисленного ею, в отличие от себя, в категорию «массы» — к ней самой и свела все догматические противоположности к *одной* догматической противоположности между собственной ее мудростью и глупостью мира, между критическим Христом и человечеством как

«толпой», — после того как она заявила о своем превосходстве над человеческими ощущениями и над миром, над которым она возвышается в царственном одиночестве, раздражаясь лишь от времени до времени саркастическим смехом олимпийцев, — после того как она ежедневно доказывала свое собственное превосходство над тупостью массы, — после того как, наконец, она возвестила критический *Страшный Суд*, заявив, что близится день, когда против нее соберется все погибающее человечество, — которое будет разбито ею на группы, причем каждая особая группа получит свое *testimonium* раурертатис, — после того как умиравший в форме критики идеализм (младогегельянство) проделал все эти забавные кривляния, он не обнаружил даже и намека на то, что надо потолковать критическим образом с своей матерью, гегелевской диалектикой, и даже не сумел показать критическое отношение к фейербаховской диалектике. Это — вполне некритическое отношение к самому себе.

Только у *Фейербаха* мы наблюдаем *серьезное, критическое* отношение к гегелевской диалектике, только он сделал подлинные открытия в этой области и вообще по-настоящему преодолел старую философию. Величие сделанного Фейербахом и спокойная простота, с какой он выступает, находятся в поразительном контрасте с тем, что наблюдается в этом отношении у критики.

Великий подвиг Фейербаха заключается в следующем:

1) в доказательстве, что философия есть не что иное, как выраженная в мыслях и логически систематизированная религия, не что иное, как другая форма и разновидность отчуждения человеческой сущности, и что, следовательно, она также достойна осуждения;

2) в основании *истинного материализма* и *реальной науки*, поскольку Фейербах делает основным принципом теории общественное отношение «человека к человеку»;

3) в том, что отрицанию отрицания, заявлявшему, что оно есть абсолютно положительное, он противопоставляет покоящееся на самом себе и основывающееся положительно на самом себе положительное.

Фейербах объясняет следующим образом гегелевскую диалектику (обосновывая таким образом исход из положительного, из чувственно-достоверного):

Гегель исходит из отчуждения (логически: бесконечного, абстрактно-всеобщего), субстанции, абсолютной и неподвижной абстракции, т. е., выражаясь популярнее, он исходит из религии и теологии.

Во-вторых: он снимает бесконечное и ставит на место его действительное, чувственное, реальное, бесконечное, особенное <сущность> (философия, снятие религии и теологии).

В-третьих: он снова снимает положительное и снова ставит на место его абстракцию, бесконечное. Восстановление религии и теологии.

Таким образом, Фейербах рассматривает отрицание отрицания *только* как противоречие философии с самой собой, как философию, которая утверждает теологию (трансцендентность и т. д.) после того, как она подвергла ее отрицанию, т. е. которая утверждает теологию в противоположность самой себе.

Положительное утверждение, или самоутверждение и самоосуществление, заключенное в отрицании отрицания, рассматривается как неуверенное еще в самом себе и содержащее поэтому в самом себе свою противоположность, как сомневающееся в самом себе и поэтому нуждающееся в доказательстве, т. е. как недоказывающее само себя своим бытием, как непривзанное положительное утверждение, и поэтому ему противопоставляется прямым и непосредственным образом чувственно-достоверное, основывающееся на самом себе, положительное утверждение.

Но поскольку Гегель рассматривал отрицание отрицания с положительной, заключенной в нем, стороны как единственное истинно-положительное, с отрицательной, заключенной в нем, стороны как единственно истинный акт и акт самоосуществления (*Selbstbetätigung*) всего бытия, постольку он нашел лишь *абстрактное, логическое, спекулятивное* выражение для движения истории, которая не есть еще *действительная* история человека как предполагаемого субъекта, а лишь *акт порождения, история возникновения* человека. Мы постараемся выяснить как абстрактную форму этого движения у Гегеля, так и отличие его от того же процесса у современной критики и в фейербаховской «Сущности христианства», или, вернее, мы постараемся выяснить *критическую* форму этого у Гегеля еще не критического движения.

Взгляд на гегелевскую систему. Нужно начинать с гегелевской «Феноменологии», истинного истока и тайны гегелевской философии.

Феноменология. А) *Самосознание.*

І. *Сознание.* а) Чувственная достоверность, или «это», и *мнение.* б) *Восприятие*, или вещь с ее свойствами, и *обман.* γ) Сила и рассудок, явление и сверхчувственный мир.

ІІ. *Самосознание.* Истина достоверности его самого: а) Самостоятельность самосознания и его несамостоятельность, господство

и рабство. б) Свобода самосознания, стоицизм, скептицизм, несчастное сознание.

III. *Разум*. Достоверность и истина разума: а) Наблюдающий разум: наблюдение природы и самосознания. б) Осуществление разумного самосознания посредством самого себя. Удовольствие и необходимость. Закон сердца и безумие самомнения. Добродетель и обычное течение жизни. в) Индивидуальность, реальная в себе и для самой себя. Духовное животное царство и обман или само дело. Законодательствующий разум. Закономыпытывающий разум.

В) *Дух*.

I. *Истинный дух*: нравственность.

II. *Отчужденный от себя дух*, образование.

III. *Уверенный в себе дух*, моральность.

С) *Религия*. *Естественная религия, художественная религия, откровенная религия*.

Д) *Абсолютное знание*.

Так как «Энциклопедия» Гегеля начинается с логики, с *чистой спекулятивной мысли* и кончается *абсолютным знанием*, самосознательным, постигающим самого себя, философским или абсолютным, т. е. сверхчеловеческим абстрактным духом, то вся «Энциклопедия» есть не что иное, как *расширенная сущность* философского духа. Фейербах рассматривает еще отрицание отрицания, конкретное понятие, как превосходящее себя в мышлении и, в качестве мышления, желающее быть непосредственно совпадением, природой, действительностью, мышление, как его опредмечивание; аналогично философский дух есть не что иное, как отчужденный дух мира, мысленно, т. е. абстрактно, постигающий себя внутри своего самоотчуждения. *Логика* — *деньги* духа, спекулятивная, *выраженная в отвлеченных мыслях* стоимость человека и природы, — ее, ставшая совершенно равнодушной ко всякой действительной определенности и поэтому недействительная, сущность — *отрепленное* (entäusserte), а поэтому абстрагирующее от природы и от действительного человека, *мышление: абстрактное мышление*. — *Внешность этого абстрактного мышления... природа*, как она есть для этого абстрактного мышления. Она внешняя для духа, она его самоутрата (Selbstverlust), и он тоже постигает ее внешним образом, как абстрактную мысль, но как отрешенное, абстрактное мышление, — наконец, *дух*, возвращающееся к своему собственному источнику мышления, которое все еще является для самого себя антропологическим, феноменологическим, психологическим, нравственным, художественным, религиозным духом, пока,

наконец, он не находит себя, как *абсолютное* знание, в абсолютном, т. е. абстрактном, духе и не становится в отношении к самому себе, не получает свое сознательное и соответствующее ему бытие. Ибо его действительное бытие есть *абстракция*. — — —

У Гегеля наблюдается двоякая ошибка:

которая, *во-первых*, яснее всего выступает в «Феноменологии», как истине гегелевской философии. Когда, например, он рассматривает богатство, государственную власть и т. д. как сущности, отчужденные от *человеческой* сущности, то он берет их только в их отвлеченной форме... они — отвлеченные сущности (*Gedankenwesen*) и поэтому только отчуждение *чистого*, т. е. абстрактного, философского мышления. Поэтому все движение заканчивается абсолютным знанием. То, от чего отчуждены эти предметы и чему они противостоят с притязанием на действительность, — это именно абстрактное мышление. *Философ* — сама абстрактная форма отчужденного человека — выдает себя за *масштаб* отчужденного мира. Поэтому вся *история отрешения* и все *устранение* отрешения есть не что иное, как история производства абстрактного, т. е. абсолютного, мышления, логического, спекулятивного мышления. *Отчуждение*, образуемое поэтому собственный интерес этого отрешения и снятия этого отрешения, представляет противоположность внутри самой мысли между *в-себе* и *для-себя*, между *сознанием* и *самосознанием*, *объектом* и *субъектом*, т. е. противоположность между абстрактным мышлением и чувственной действительностью или действительной чувственностью. Все иные противоположности и движения этих противоположностей суть только *видимость*, *оболочка*, *экзотерическая* форма этих единственно интересных противоположностей, составляющих смысл иных мирских противоположностей. В качестве полагаемой и подлежащей снятию сущности отчуждения является не то, что человеческая сущность *опредмечивается нечеловечески*, в противоположность самой себе, а то, что она *опредмечивается* в отличие и в *противоположность* абстрактному мышлению. Следовательно, присвоение существенных сил человека, ставших предметами, притом чужими предметами, есть прежде всего *присвоение*, происходящее только в *сознании*, в *чистом мышлении*, т. е. в *абстракции*, есть присвоение этих предметов как *мыслей* и *движений мыслей*; поэтому уже в «Феноменологии» — несмотря на весь ее отрицательный и критический характер и несмотря на действительно содержащуюся в ней, часто далеко упреждающую позднейшую дедукцию, критику — уже заключен в скрытом виде, в качестве зародыша, потенции, тайны, некритический позитивизм и столь некритический идеализм

позднейших гегелевских произведений, это философское разложение и воскресение наличной эмпирии.

Во-вторых: требование восстановления предметного мира для человека, — например, познание того, что *чувственное* сознание не есть вовсе *абстрактно* чувственное сознание, а *человечески* чувственное сознание, что религия, богатство и т. д. являются только отчужденной действительностью *человеческого* опредмечивания ставших активными *человеческих* существенных сил и что поэтому они являются только *путем* к истинной *человеческой* действительности, — это присвоение или понимание этого процесса имеет поэтому у Гегеля такой вид, что *чувственность*, *религия*, государственная власть и т. д. являются *духовными* сущностями, ибо только *дух* есть истинная сущность человека, а истинная форма духа, это — мыслящий дух, логический спекулятивный дух. *Человечность* природы и созданной историческим процессом природы, продуктов человека, обнаруживается в том, что они являются *продуктами* абстрактного духа, а постольку также и *духовными* моментами, *отвлеченными сущностями*.

Поэтому «Феноменология» есть скрытая, не ясная еще для самой себя и мистифицирующая критика; но поскольку она признает *отчуждение* человека, — хотя человек в ней появляется только в форме духа, — постольку в ней лежат в скрытом виде *все* элементы критики, *подготовленные* и *разработанные* часто уже в форме, далеко поднимающейся над гегелевской точкой зрения. Отделы «о несчастном сознании», о «честном сознании», о борьбе «благородного и низкого сознания» и т. д., и т. д. содержат в себе — хотя еще в отчужденной форме — *критические* элементы целых областей жизни, как, например, религии, государства, гражданской жизни и т. д. И точно так, как *сущность*, *предмет*, у него всегда *отвлеченная сущность*, так и *субъект* есть всегда *сознание* или *самосознание* или, вернее, предмет является всегда только как *абстрактное* сознание, а человек только как *самосознание*. Поэтому различные имеющиеся в «Феноменологии» формы отчуждения являются только равными формами сознания и самосознания. Подобно тому как абстрактное сознание — под видом которого рассматривается предмет — есть *в себе* только момент отличия самосознания, так, в качестве результата движения, получается тождество самосознания с сознанием, абсолютное знание, происходящее уже не во-вне, но только в себе самом, движение абстрактного мышления, т. е. в качестве результата получается диалектика чистой мысли.

Величие гегелевской «Феноменологии» и ее конечных результатов — диалектики отрицания как движущего и порождающего прин-

ципа — заключается в том, что Гегель рассматривает самопорождение человека как процесс, рассматривает опредмечивание (*Vergegenständlichung*) как распродмечивание (*Entgegenständlichung*), как отрешение и снятие этого отрешения, в том, что он, значит, усматривает сущность *труда* и понимает предметного человека, истинного действительного человека, как результат его *собственного труда*. *Истинное*, деятельное отношение человека к себе, как к родовому существу, или осуществление себя как действительного родового существа, т. е. как человеческого существа, возможно только потому, что человек действительно создает все свои *родовые силы* — а это опять-таки возможно лишь благодаря коллективной деятельности человечества, возможно лишь как результат истории — и относится к ним как к предметам, что опять-таки возможно сперва лишь в форме отчуждения.

Мы покажем подробно односторонность и ограниченность Гегеля в заключительной главе «Феноменологии» об абсолютном знании, в главе, являющейся резюме и квинт-эссенцией «Феноменологии» и заключающей в себе отношение «Феноменологии» к спекулятивной диалектике и взгляд Гегеля на обе и их взаимное отношение.

Предварительно мы заметим лишь следующее. Гегель стоит на точке зрения современной политической экономии. Он рассматривает *труд* как *сущность*, как подтверждающую себя сущность человека; он видит только положительную сторону труда, но не отрицательную. Труд, это — *для-себя-становление человека* в рамках *отрешения*, или труд — это есть *отрешенный человек*. Гегель знает и признает только один вид труда, именно — *абстрактно-духовный труд*. Таким образом, Гегель признает за сущность философии то, что вообще образует *ее сущность*, именно — *отрешение, знающего себя человека* или *мыслящую себя отрешенную науку*; он умеет поэтому собрать воедино разрозненные моменты предшествующей философии и изобразить свою философию как единственную настоящую философию. Из *дела* (*Туп*) философии Гегель знает то, что сделали другие философы, именно — что они рассматривают отдельные моменты природы и человеческой жизни как моменты самосознания, притом абстрактного самосознания; поэтому его наука абсолютна.

Перейдем теперь к вопросу об *абсолютном знании*, *последней главе «Феноменологии»*.

Суть дела в том, что *предмет сознания* есть не что иное, как *самосознание*, или что предмет есть лишь *опредмеченное самосознание*, самосознание как предмет (человеческого самосознания). Поэтому нужно преодолеть *предмет сознания*. *Предметность*, как таковая,

имеет силу для *отчужденного*, не соответствующего *человеческой сущности*, не соответствующего самосознанию, отношения человека. Значит, *обратное присвоение* порождаемой, как чужое, под категорией (Bestimmung) отчуждения, предметной сущности человека служит не только для того, чтобы снять *отчуждение*, но чтобы снять и *предметность*, т. е. человек рассматривается как *непредметное, спиритуалистическое* существо.

Гегель следующим образом описывает движение *преодоления предмета сознания*:

Предмет показывается не только как *возвращающийся в самость* (это по Гегелю одностороннее, т. е. замечающее лишь одну сторону понимание этого движения). Человек приравнивается самости (Selbst). Но самость есть только рассматриваемый *абстрактно* и порождаемый абстракцией человек. Человек — эгоистичен (ist selbstisch). Его глаз, его ухо и т. д. *эгоистичны*; каждая из его существенных сил обладает в нем свойством *эгоистичности* (Selbstigkeit). Но именно поэтому совершенно неверно говорить: *самосознание* обладает глазом, ухом, существенной силой. Не человеческая природа есть качество *самосознания*, а самосознание есть качество человеческой природы, человеческого глаза и т. д.

Абстрагированная для себя и утвержденная самость, это — человек как абстрактный эгоист, это — эгоизм, поднятый в его чистой абстракции до степени мышления (ниже мы к этому вернемся).

Человеческая сущность, человек для Гегеля равнозначны *самосознанию*. Поэтому всякое отчуждение человеческой сущности есть *не что иное*, как *отчуждение самосознания*. Отчуждение самосознания не рассматривается как *выражение*, как отражающееся в знании и мышлении выражение *действительного* отчуждения человеческой сущности. *Действительное*, являющееся реальным отчуждением, есть скорее по своему *внутреннейшему* скрытому — и раскрываемому только философией — существу не что иное, как *явление* отчуждения *действительной* человеческой сущности, *самосознания*. Поэтому наука, постигающая это в отвлеченных понятиях, называется «*Феноменологией*». Поэтому всякое обратное присвоение отчужденной предметной сущности является включением в самосознание: овладевающий своей сущностью человек есть лишь овладевающее предметной сущностью самосознание, и поэтому возвращение предмета в самость есть обратное присвоение предмета.

Если выразить всесторонне преодоление предмета сознания, то оно состоит в том,

1) что предмет, как таковой, представляется сознанию как исчезающий;

2) что отрешение самосознания полагает (setzt) вещественность (Dingheit):

3) что это отрешение имеет не только *отрицательное*, но и *положительное* значение;

4) что оно имеет его не только *для нас*, или в себе, но и *для него самого* (самосознания);

5) что *для него* отрицание предмета, или снятие им самого себя, приобретает *положительное* значение благодаря тому, или оно *знает* эту ничтожность его потому, что оно отрешается от самого себя, ибо в этом отрешении оно полагает себя как предмет, или полагает предмет как самого себя, из-за нераздельного единства *для-себя-бытия*;

6) с другой стороны, здесь заключен также и второй момент, именно, что оно сняло и приняло в себя это отрешение и предметность и, следовательно, находится *при себе*, в *своем* инобытии, как *таковом*;

7) это есть движение сознания, и это есть поэтому совокупность его моментов;

8) оно должно также относиться к предмету согласно совокупности его определений и рассматривать его с точки зрения каждого из этих определений. Эта совокупность определений предмета делает его *в себе духовной сущностью*, и для сознания он поистине становится таковой благодаря постиганию каждого отдельного определения предмета как самости, или благодаря вышеназванному *духовному* отношению к ним.

Ad 1. То, что предмет, как таковой, представляется сознанию как исчезающий, это и есть вышеупомянутое *возвращение предмета в самость*.

Ad 2. *Отрешение самосознания полагает вещественность*. Так как человек есть самосознание, то его отрешенная предметная сущность, или *вещественность* (то, что есть *для него предмет*, а предметом поистине является для него только то, что есть для него сущностный предмет, что, значит, есть его *предметная* сущность. Так как субъектом делается не *действительный человек*, как таковой, и, значит, не *природа* — ведь человек есть *человеческая природа*, — а только абстракция человека, самосознание, то вещественность может быть только отрешенным самосознанием), тождественна с *отрешенным самосознанием*, и вещественность полагается этим отрешением. Вполне естественно как то, что живое, естественное, наделенное предметными, т. е. материальными, сущностными, силами,

существо обладает *действительными и естественными предметами* своего существа, так и то, что его самоотрешение есть полагание некоторого *действительного*, но выступающего в форме *внешности* и, значит, не принадлежащего к его существу и возвышающегося над ним предметного мира. В этом нет ничего непонятного и загадочного; было бы, наоборот, загадочно обратное. Но точно так же ясно, что *самосознание*, т. е. его отрешение, может полагать только *вещественность*, т. е. опять-таки только *абстрактную* вещь, вещь абстракции, а не *действительную* вещь. Ясно поэтому, далее, что *вещественность* не представляет ничего *самостоятельного, существенного* по отношению к самосознанию, а является только его созданием, чем-то *полагаемым* им, и что это полагаемое не утверждает самого себя, а есть только утверждение акта полагания, закрепляющего на мгновение свою энергию в виде продукта и сообщающего ему для *видимости* — но опять-таки только на мгновение — роль самостоятельного, действительного существа.

Когда действительный телесный, стоящий на твердой, круглой земле, обнаруживающий все природные силы *человек полагает*, благодаря своему отрешению, свои действительные, предметные *существенные силы* как чужие предметы, то не *полагание* есть субъект: им является субъективность *предметных* существенных сил, действие которых должно поэтому быть *предметным*. Предметная сущность действует предметным образом, и она не действовала бы предметным образом, если бы предметное не заключалось в его существенном определении. Она творит, полагает только предметы, потому что она полагается только предметами, потому что она есть коренным образом *природа*. Значит, в акте полагания она не переходит от своей «чистой деятельности» к *творению предмета*, а ее *предметный* продукт только подтверждает ее *предметную* деятельность, ее деятельность как естественной предметной сущности. Мы видим здесь, что последовательно проведенный гуманизм или натурализм отличается как от идеализма, так и от материализма, являясь объединяющей их истиной. Мы видим в то же время, что только натурализм способен понять акт всемирной истории.

Человек является непосредственно *природным существом*. В качестве природного существа, притом живого природного существа, он отчасти наделен *естественными силами, жизненными силами*, является *деятельным* природным существом; эти силы существуют в нем в виде задатков и способностей, в виде *инстинктов*; отчасти же, в качестве естественного, телесного, чувственного, предметного существа, он, подобно животным и растениям, является *страдающим*,

обусловленным и ограниченным существом, т. е. *предметы* его инстинктов существуют вне него как независимые от него *предметы*; но эти предметы суть *предметы*, служащие для удовлетворения его *потребностей*; это необходимые, существенные для утверждения и осуществления его существенных сил *предметы*. То, что человек есть *телесное*, естественное, живое, действительное, чувственное, предметное существо, означает то, что он имеет действительные и чувственные предметы предметом своего существа, своего проявления жизни, или что он может *проявить* свою жизнь только на действительных, чувственных предметах. *Быть* предметным, естественным, чувственным — это все равно, что иметь вне себя предмет, природу, чувство или быть самому предметом, природой, чувством для некоторого третьего существа. *Голод* есть естественная *потребность*; поэтому для его удовлетворения и утоления ему необходима *природа* вне его, предмет вне его. Голод, это — предметная потребность одного тела в другом, находящемся вне его, необходимым для его дополнения и для проявления его жизни, *предмете*. Солнце есть *предмет* растения, необходимый для него, утверждающий его жизнь предмет, подобно тому как растение есть предмет солнца, в качестве обнаружения животворной силы солнца, как предметное существо — сила солнца.

Существо, не имеющее вне себя своей природы, не есть *естественное* существо, оно не причастно к сущности природы. Существо, не имеющее никакого предмета вне себя, не есть предметное существо. Существо, не являющееся само предметом для третьего существа, не имеет своим *предметом* никакого существа, т. е. не ведет себя предметным образом, его бытие совершенно не предметно.

Непредметное существо, это — *чудовищное существо* (Unwesen).

Возьмите какое-нибудь существо, которое не есть само предмет и не имеет предмета. Подобное существо было бы, во-первых, *единственным* существом, вне его не существовало бы никакого существа, оно существовало бы одиноко, одно. Ведь поскольку существуют предметы вне меня, поскольку я не *один*, постольку я — *другой*, *другая действительность*, чем предмет вне меня. Значит, для этого третьего предмета я — *другая действительность*, чем он, т. е. я — *его* предмет. Таким образом, существо, не являющееся предметом другого существа, предполагает, что не существует *ни одного* предметного существа. Поскольку я имею предмет, этот предмет имеет меня предметом. Но *непредметное* существо, это — не действительное, не чувственное, только мыслимое, только воображаемое существо, это — абстрактное существо. *Быть чувственным*, т. е. быть действительным,

это значит быть предметом чувства, быть *чувственным* предметом, т. е. иметь вне себя чувственные предметы, иметь предметы своей чувственности. Быть чувственным значит быть *страдающим*.

Поэтому человек, как предметное, чувственное существо, есть *страдающее* существо; ощущая свои страдания, он является *страстным* существом. Страсть — это есть энергично стремящаяся к своему предмету существенная сила человека.

< Но человек не только природное существо, он есть *человеческое* природное существо, т. е. существующее для самого себя существо, и он поэтому *родовое существо*. В качестве такового родового существа, он должен утвердить и осуществить себя как в своем бытии, так и в своем знании. Значит, *человеческие* предметы в том виде, как они непосредственно даются человеку, не являются природными предметами; и точно так же *человеческое* чувство в том виде, как оно есть непосредственным, предметным образом, не есть *человеческая* чувственность, человеческая предметность. *Человеческому* существу не дана непосредственно-адекватным образом природа ни с объективной стороны, ни с субъективной стороны. > И подобно тому как все естественное должно возникнуть, так и человек имеет свой акт возникновения, *историю*, которая, однако, носит для него сознательный характер и является поэтому, в качестве акта возникновения, сознательно снимающим себя актом возникновения. История есть истинная естественная история человека.

В-третьих. Так как это полагание вещественности есть само только видимость, противоречащий сущности чистой деятельности акт, то оно должно быть снова снято, а вещественность должна быть отрицаема.

Ad 3, 4, 5, 6.

3) Это стремление сознания имеет не только *отрицательное*, но и *положительное* значение, и 4) оно имеет это положительное значение не только *для нас*, или в себе, но и для него самого, для сознания. 5) *Для него* отрицание предмета, или снятие им самого себя, приобретает *положительное* значение, благодаря тому, или оно *знает* эту ничтожность его потому, что оно отрешается от самого себя, ибо в этом отрешении оно полагает себя как предмет, или полагает предмет как самого себя, из-за неравдельного единства для-себя-бытия. 6) С другой стороны, здесь заключен также и второй момент, именно — что оно сняло и приняло в себя это отрешение и предметность и, следовательно, находится при себе, в *своем иномытии*, как *таковом*.

Мы уже видели, что присвоение отчужденной предметной сущности, или снятие предметности под категорией *отчуждения*, — кото-

рое должно развиваться от безразличной чуждости до действительного враждебного отчуждения, — служит Гегелю в то же время и даже главным образом для того, чтобы снять предметность, ибо самосознание находит соблазнительную сторону отчуждения не в *определённом* характере предмета, а в его *предметном* характере. Поэтому предмет есть нечто отрицательное, само себя снимающее, есть *ничтожность*. Эта ничтожность предмета имеет для сознания не только отрицательное, но и *положительное* значение, ибо *ничтожность* предмета есть *самоосуществление* (Selbstbetätigung) непредметности, *абстракции* его самого. Для *самого сознания* ничтожность предмета имеет значение потому, что оно рассматривает эту ничтожность, предметную сущность, как свое *самоотрешение*, что оно знает, что эта ничтожность существует только благодаря его самоотрешению... Способ, каким существует сознание и каким нечто существует для него, это — *знание*. Знание есть его единственный акт. Поэтому нечто становится для сознания постольку, поскольку оно знает это нечто. Знание есть его единственное предметное отношение. Сознание знает ничтожность предмета, т. е. неотличимость предмета от него, небытие предмета для него, благодаря тому, что оно знает, что предмет есть его самоотрешение, т. е. оно знает себя — знание как предмет, — благодаря тому, что предмет есть только *видимость* предмета, есть некое марево, а по сущности своей есть не что иное, как само знание, которое противопоставляет себя самого себе самому и поэтому противопоставило себе *ничтожность*, нечто, не имеющее вовсе предметности вне знания; иначе говоря, знание знает, что, поскольку оно относится к какому-нибудь предмету, оно есть только *вне* (außer) себя, отрешается от себя (entäussert), что оно *само является* для себя предметом, или же, что то, что является ему как предмет, есть лишь оно само.

С другой стороны, по словам Гегеля, здесь имеется и второй момент, именно, что самосознание сняло и приняло с себя это отрешение и предметность и, следовательно, находится при себе, в своем *инобытии как таковом*.

В этом рассуждении мы имеем собранными воедино все иллюзии отвлеченного умоврения.

Во-первых: сознание, самосознание находится при себе, в своем *инобытии, как таковом*. Поэтому оно, — или, если мы будем абстрагировать здесь от гегелевской абстракции и возьмем вместо самосознания самосознание человека, — поэтому оно находится при себе, в своем *инобытии, как таковом*. В этом заключается то, что сознание, знание как знание, мышление как мышление, выдает себя за

нечто иное, чем оно есть, выдает себя за чувственность, действительность, жизнь. Мышление, превосходящее самого себя в мышлении (Фейербах). Эта сторона заключена здесь постольку, поскольку сознание, только как сознание, находит соблазн не в отчужденной предметности, а в *предметности, как таковой*.

Во-вторых: здесь заключено то, что поскольку самосознательный человек признал и снял, как самоотрешение, духовный мир — или всеобщее духовное бытие своего мира, — постольку он все же снова утверждает этот мир в этом отрешенном виде, выдает его за его истинное бытие, уверяет, что он находится *при себе, в своем инобытии как таковом*. И таким образом, после уничтожения, например, религии, после признания в религии продукта самоотрешения, он все же снова утверждается в *религии как религии*. Здесь заключается корень ложного гегелевского позитивизма или его лишь *мнимого* критицизма — то, что Фейербах называет полаганием, отрицанием, восстановлением религии и теологии, но что можно рассматривать более общим образом. Значит, разум находится при себе в неразумии как неразумии. Человек, понявший, что в праве, политике и т. д. он ведет отрешенную жизнь, ведет в этой своей отрешенной жизни, как таковой, свою истинную человеческую жизнь. Таким образом, истинным *знанием* и *жизнью* является самополагание, самоутверждение в противоречии с самим собой, в противоречии как с знанием, так и с сущностью предмета.

Таким образом, не может быть и речи о приспособлении Гегеля к религии, к государству и т. д., так как эта ложь есть ложь его принципа.

Когда я *знаю*, что религия есть *отрешенное* человеческое самосознание, то я знаю, что в ней, как религии, утверждаются не мое самосознание, но мое отрешенное самосознание. Значит, я знаю, что мое, принадлежащее самому себе, своей сущности, самосознание утверждается не в религии, но, наоборот, в *уничтоженной, снятой* религии.

Поэтому у Гегеля отрицание отрицания не есть утверждение даже истинной сущности отрицанием мнимой сущности, но утверждение мнимой сущности, или отчужденной от себя сущности, в ее отрицании, или отрицание этой мнимой сущности как предметной, находящейся вне человека и независимой от него сущности и превращение ее в субъект. Поэтому своеобразную роль играет у него *снятие*, в котором соединены как отрицание, так и сохранение, утверждение.

Так, например, в гегелевской философии права снятое *частное право* есть *нравственность*, снятая нравственность — *семья*, снятая

семья — *гражданское общество*, снятое гражданское общество — *государство*, снятое государство — *всемирная история*. В *реальной действительности* частное право, нравственность, семья, гражданское общество, государство и т. д. сохраняются, но они стали *моментами*, формами существования человека, которые не имеют силы в изолированном виде, переходят друг в друга и порождают друг друга и т. д. Моменты движения. В их действительном существовании эта их подвижная сущность скрыта, она обнаруживается, проявляется только в мышлении, в философии, и поэтому мое истинное религиозное бытие есть мое *религиозно-философское* бытие, мое истинное политическое бытие есть мое философски-правовое бытие, мое истинное натуральное бытие есть мое натурфилософское бытие, мое истинное художественное бытие есть мое художественно-философское бытие, мое истинно-человеческое бытие есть мое философское бытие. Таким же образом истинная форма существования религии, государства, природы, искусства, это — философия религии, философия природы, философия государства, *философия искусства*. Но если истинным бытием религии является для меня только философия религии и т. д., то поистине религиозен я лишь в качестве *философа религии*, благодаря чему я отрицаю *действительную* религиозность и действительно *религиозного* человека. Но в то же время я их и *утверждаю*, отчасти в рамках своего собственного бытия или в рамках чужого бытия, которое я им противопоставляю, ибо это *есть* лишь *философское* выражение их, отчасти же в их собственной первоначальной форме, ибо они имеют значение для меня только как *мнимое* инобытие, как аллегории, как скрытые под чувственными оболочками формы их собственного истинного, т. е. моего *философского* бытия. Точно таким же образом снятое *качество* есть *количество*, снятое количество — *мера*, снятая мера — *сущность*, снятая сущность — *явление*, снятое явление — *действительность*, снятая действительность — *понятие*, снятое понятие — *объективность*, снятая объективность — *абсолютная идея*, снятая абсолютная идея — *природа*, снятая природа — *субъективный дух*, снятый субъективный дух — *нравственный* объективный дух, снятый нравственный дух — *искусство*, снятое искусство — *религия*, снятая религия — *абсолютное знание*.

С одной стороны, это снятие есть снятие мысленной сущности, и, значит, *мысленная* частная собственность снимается в *мыслях* нравственности. И так как мышление воображает себе, что оно есть непосредственно инобытие себя, есть *чувственная действительность*, так как, значит, его действие имеет для него значение *чувственного*

реального действия, то это мыслящее снимание, оставляющее в действительности нетронутым свой предмет, полагает, что оно его действительно преодолело; с другой стороны, так как этот предмет стал для мышления мысленным моментом, то он представляется ему в его действительности самоутверждением самого себя, утверждением самосознания абстракции.

Поэтому, с одной стороны, то бытие, которое Гегель снимает в философии, не есть вовсе действительная религия, государство, природа, а религия, рассматриваемая уже как предмет знания, как догматика; то же самое относится к науке о государстве и к естествознанию. С другой же стороны, он находится в противоположности как к действительной сущности, так и к непосредственной, нефилософской науке или к нефилософским понятиям этой сущности. Поэтому он противоречит их ходячим понятиям.

С другой стороны, религиозный и т. д. человек может найти у Гегеля свое последнее утверждение.

Следует теперь рассмотреть положительные моменты гегелевской диалектики в рамках категории отчуждения.

а) Снимание как предметное движение, *вбирающее в себя обратно* отрешение. Это — выраженная в категории отчуждения идея о присвоении предметной сущности путем снятия ее отчуждения; это — отчужденный взгляд на действительное опредмечие человека, на действительное присвоение его предметной сущности путем уничтожения отчужденной категории предметного мира, путем снятия его в его отчужденном бытии, подобно тому как атеизм, в качестве снятия бога, означает становление теоретического гуманизма, а коммунизм, в качестве снятия частной собственности, означает требование обратно действительной человеческой жизни, как его собственности, так становление практического гуманизма, или атеизма, есть опосредствованный путем снятия религии гуманизм, а коммунизм — опосредствованный путем снятия частной собственности гуманизм. Только путем снятия этого опосредствования — являющегося, однако, необходимой предпосылкой — получается положительно начинающийся с себя самого, *положительный* гуманизм.

Но атеизм, коммунизм, это — вовсе не бегство, не абстракция, не утрата порожденного человеком предметного мира, его принявших предметную форму существенных сил, не возвращающаяся к неестественной, неразвитой простоте нищета. Они, наоборот, представляют действительное становление, действительно происходящее для человека осуществление его сущности, осуществление его сущности как чего-то действительного.

Таким образом, Гегель, рассматривая — хотя опять-таки в отчужденной форме — *положительный* смысл отнесенного к самому себе отрицания, — рассматривает вместе с тем самоотчуждение, отрешение от сущности (*Wesensentäußerung*), распродмечивание и де-реализацию человека как самоприобретение, обнаружение сущности (*Wesensäußerung*), опредмечивание, реализацию. < Коротко говоря, он рассматривает — в рамках абстракции — труд как акт самопорождения человека, отношение к себе как к чужой сущности, и осуществление себя как чужой сущности, как становящееся *родовое сознание и родовую жизнь*. >

б) Но у Гегеля — независимо или, вернее, под влиянием уже описанного выше искажения — этот акт, *во-первых*, носит *только формальный* характер, потому что он абстрактен, потому что человеческая сущность сама имеет значение только как абстрактная, мыслящая сущность, как самосознание, и,

во-вторых, так как эта точка зрения *формальна и абстрактна*, то снятие отрешения становится утверждением отрешения, иначе говоря, для Гегеля это движение *самопорождения, самоопредмечивания* — в качестве *самоотрешения и самоотчуждения* — есть *абсолютное* и поэтому последнее, имеющее само себя целью, успокоившееся в себе и дошедшее до своей сущности человеческое *проявление жизни*. Поэтому это движение в его абстрактной форме, как диалектика, рассматривается как *истинно человеческая жизнь*; но так как оно все же абстракция, отчуждение человеческой жизни, то оно рассматривается как *божественный процесс*, как божественный процесс человека, процесс, который прodelывает его отличная от него, абстрактная, чистая, абсолютная сущность.

В-третьих, этот процесс должен иметь носителя, субъекта; но субъект получается лишь в качестве результата; поэтому этот результат, знающий себя как абсолютное самосознание, субъект, есть *бог, абсолютный дух, знающая себя и осуществляющая себя идея*. Действительный человек и действительная природа становятся просто предикатами, символами этого недействительного, скрытого человека и этой недействительной природы. Поэтому отношение между субъектом и предикатом абсолютно извращено: это — *мистический субъект-объект* или *посвягающая на область объекта субъективность, абсолютный субъект как процесс, как отрешившийся* и возвращающийся к себе из этого отрешения и в то же время принимающий его в себя обратно *субъект*, и субъект как этот процесс, как чистое, безостановочное кружение в себе. *Формальное и абстрактное* понимание акта сампорождения или самоопредмечивания человека.

Так как Гегель приравнивает человека самосознанию, то отчужденный предмет, отчужденная существенная действительность человека, есть не что иное, как *сознание*, как только мысль об отчуждении, его абстрактное и потому бессодержательное и недействительное выражение, *отрицание*. Поэтому и снятие отрешения есть тоже не что иное, как абстрактное, бессодержательное снятие этой бессодержательной абстракции, есть *отрицание отрицания*. Поэтому содержательная, живая, чувственная конкретная деятельность самоопределения становится простой абстракцией, *абсолютной отрицательностью*, абстракцией, которая, в свою очередь, закрепляется как таковая и мыслится как самостоятельная деятельность, как деятельность просто. Так как эта так называемая отрицательность есть не что иное, как абстрактная, *бессодержательная* форма вышеуказанного действительного живого акта, то и содержание ее может быть только *формальным*, может получаться путем абстракции от старого содержания. Поэтому это — общеабстрактные, присущие всякому содержанию — значит, имеющие силу для всякого содержания, а также и безразличные ко всякому содержанию — *абстрактные формулы*, формы мышления, логические категории, оторванные от *действительного духа* и от *действительной* природы (мы в дальнейшем разберем еще логическое содержание абсолютной отрицательности).

Положительная сторона сделанного здесь Гегелем в его спекулятивной логике заключается в том, что *определенные понятия*, общие и *неизменные формы мышления*, представляют в их самостоятельности по отношению к природе и духу необходимый результат всеобщего отчуждения человеческой сущности, а значит и человеческого мышления, и что Гегель поэтому изобразил их как моменты процесса абстракции. Так, например, снятое бытие есть сущность, снятая сущность — понятие, снятое понятие... абсолютная идея. Но что такое абсолютная идея? Она, в свою очередь, опять-таки снимает самое себя, если она не хочет опять проделать сначала весь акт абстракции и удовольствоваться тем, чтобы быть совокупностью абстракций или постигающей себя абстракцией. Но абстракция, постигающая себя как абстракцию, знает, что она есть ничто; она должна отказаться от себя, абстракции, и таким образом она приходит к сущности, являющейся прямой противоположностью ее, приходит к *природе*. Таким образом, вся логика является доказательством того, что абстрактное мышление для себя есть ничто, что абсолютная идея для себя есть ничто, что только природа есть нечто.

Абсолютная идея, абстрактная идея, которая, *«рассматриваемая под углом зрения единства с собою, есть созерцание»* (Hegels Enzyklo-

pädie, 3 Aus., p. 222), которая «в своей абсолютной истине *решается* свободно произвести из себя момент своей особенности, или первого определения и инобытия, непосредственную идею как свое отражение, решается отпустить себя на свободу как природу», вся эта столь странно кривляющаяся идея, заставившая гегельянцев так страшно ломать себе голову, есть не что иное, как *абстракция* — т. е. абстрактный мыслитель, — которая, наученная опытом и уяснив себе истину его, решается, под многочисленными ложными и тоже абстрактными условиями, *отказаться* от себя и поставить на место своего при-себя-бытия, небытия, всеобщности и неопределенности свое инобытие, — особенное, определенное; которая решается *отпустить от себя свободно* природу, скрывавшуюся в ней как абстракция, как мысленная вещь, т. е. решается покинуть абстракцию и взглянуть под конец на *свободную* от нее природу. Абстрактная идея, становящаяся непосредственно *созерцанием*, есть не что иное, как абстрактное мышление, которое отказывается от себя и решается стать созерцанием. Весь этот переход от логики к натурфилософии есть не что иное, как столь трудный для абстрактного мыслителя и поэтому столь странно описываемый им переход от *абстрагирования* к *созерцанию*. *Мистическое* чувство, которое гонит философа из области абстрактного мышления в сферу созерцания, это — *скука*, тоска по содержанию. Отчужденный от самого себя человек, это также — отчужденный от своей *сущности*, т. е. от своей естественной и человеческой сущности, мыслитель. Поэтому его мысли, это — какие-то находящиеся вне природы и вне человека неподвижные духи. Гегель собрал и запер в своей «Логике» всех этих неподвижных духов, рассматривая каждого из них сперва как отрицание, т. е. как *отрешение человеческого* мышления, а затем как отрицание отрицания, т. е. как снятие этого отрешения, как *действительное* проявление человеческого мышления; но, находясь само еще в плену отчуждения, это отрицание отрицания есть отчасти восстановление его в его отчуждении, отчасти остановка у последнего акта, отнесение себя к самому себе в отрешении, как истинном бытии этих неподвижных духов (т. е. Гегель на место этих неподвижных абстракций ставит кружащийся в себе акт абстракции); благодаря этому он смог указать источник всех этих, принадлежащих по своему первоначальному происхождению к различным философским школам и ненадлежащих понятий, смог собрать их и создать, в качестве предмета критики, на место одной определенной абстракции абстракцию исчерпывающего, всеобъемлющего типа (мы позже увидим, почему Гегель отделяет мышление от *субъекта*; но и теперь уже ясно, что если нет человека, то и проявление его сущности не

может быть человеческим, и, значит, нельзя также рассматривать мышление в качестве проявления сущности человека, как человеческого, естественного, наделенного глазами, ушами и т. д., живущего в обществе, мире и природе, субъекта); отчасти же — поскольку эта абстракция рассматривает самое себя и испытывает бесконечную скуку от самой себя, отказ абстрактного, ограничивающего себя только в мышлении, мышления, которое существует без глаз, без зубов, без ушей, без всего, является у Гегеля решением признать *природу* как сущность и отдаться созерцанию.

Но и *природа*, рассматриваемая абстрактно, для себя, закрепленная в своем отделении от человека, есть для человека *ничто*. Само собой понятно, что абстрактный мыслитель, решившийся перейти к созерцанию, созерцает природу абстрактно. Подобно тому как прежде природа представляла в своей скрытой от самого мыслителя и загадочной форме абсолютную идею, абстракцию (*Gedankending*), так теперь мыслитель, отпустив природу от себя, отпустил в действительности только эту *абстрактную природу*, только абстракцию (*Gedankending*) природы, хотя и с уверенностью, что она есть инобытие мысли, что она есть действительная, созерцаемая, отличная от абстрактного мышления природа. Или, говоря человеческим языком, созерцая природу, абстрактный мыслитель узнает, что существа, которые в божественной диалектике он мнил себе создать, как чистые продукты самодовлеющей и никогда не разглядывающей действительности работы мысли, из ничего, из чистых абстракций, он узнает, что они не что иное, как *абстракции некоторых природных явлений* (*Naturbestimmungen*). Таким образом, вся природа является для него только повторением в чувственной, внешней форме логических абстракций. Он снова анализирует ее и эти абстракции. И, значит, его созерцание природы есть лишь акт утверждения его абстракции созерцания природы, есть лишь сознательно повторяемый им (акт) порождения.

< Рассмотрим на минуту гегелевское определение природы и переход от природы к духу.

«Природа получилась, как идея, в форме *инобытия*. Так как идея...» > ход его абстракции. Так, например, время — это отрицательность, отнесенная к самой себе (стр. 238, 1. с.). Снятому становлению как ту-бытию (*Dasein*) соответствует в натурфилософии снятое движение как материя. Свет есть *натурфилософская* форма *рефлексии* в себе. Тело, как *луна* и комета, это — *натурфилософская* форма *противоположности*, которая, согласно «Логике», есть, с одной стороны, покоящееся на самом себе *положительное*, а с дру-

гой стороны, покоящееся на самом себе *отрицательное*. Земля есть *натурфилософская* форма логического основания, как отрицательного единства противоположностей, и т. д.

Природа как природа, т. е. поскольку она еще отличается чувственно от этого тайного, скрытого в ней смысла, природа, отделенная, отличная от этих абстракций, есть *ничто*, есть ничто, сохраняющее себя как ничто. Она бессмысленна или имеет только смысл внешности, которая была снята.

«В конечно-телеологической точке зрения заключается та правильная предпосылка, что природа не содержит в себе самой абсолютных целей», стр. 225. Ее цель, это — утверждение абстракции. «Природа получилась, как идея, в *форме инобытия*. Так как *идея*, таким образом, существует как отрицание самой себя или *внешне для себя* к себе, то природа не внешняя, не только относительно по отношению к этой идее, но внешность составляет то определение, в котором она является как природа», стр. 227. *Внешность* следует понимать здесь не как проявляющуюся *во-вне* и открывающуюся для света, для чувственного человека, чувственность; внешность надо здесь понимать в смысле отрешения, в смысле отсутствия, недостатка, которого не должно быть. Ибо истинное все еще есть идея. Природа есть только *форма* ее *инобытия*; и так как абстрактное мышление есть *сущность*, то то, что внешне по отношению к ней, есть по своей сущности только *внешнее*. Абстрактный мыслитель познает в то же время, что *чувственность* есть сущность природы, есть *внешность* в противоположность самодовлеющему (*in sich webend*) мышлению. Но в то же время он выражает эту противоположность таким образом, что эта *внешность природы*, ее *противоположность* мышлению, есть ее *несовершенство*, что, поскольку она отличается от абстракции, она есть несовершенное существо. Существо, несовершенное не только для меня, а несовершенное в самом себе, имеет нечто вне себя, чего ему не хватает, т. е. его сущность есть нечто иное, чем оно само. Поэтому для абстрактного мыслителя природа должна снять самое себя, ибо он и положил (*gesetzt*) ее как некоторую по своей потенции *снятую* сущность.

«Дух имеет *для нас* своей предпосылкой *природу*, представляя ее *истину*, а значит, и ее *абсолютное первое*. Природа исчезла в этой истине, и дух получился как достигшая своего для-себя-бытия идея, *объектом* которой, а в то же время и *субъектом*, является *понятие*. Это тождество есть *абсолютная отрицательность*, потому что в природе понятие имеет свою полную внешнюю объективность, но это его отречение снято, и он в ней стал тождественным с самим собой.

Таким образом, он есть это тожество только в качестве возвращения из природы», стр. 392 (§ 381).

«Обнаружение (Offenbaren), которое, в качестве абстрактной идеи, есть непосредственный переход, становление природы, есть, в качестве обнаружения свободного духа, полагание (Setzen) им природы как своего мира, — полагание, которое, в качестве рефлексии, есть в то же время предполагание (Voraussetzen) мира как самостоятельной природы. Обнаружение в понятии есть сотворение духом природы как своего бытия, в котором он дает себе утверждение и истину своей свободы» (§ 384). *Абсолютное есть дух; это есть высшее определение абсолютного*...

4. [Потребности, производство и разделение труда.]

7. Мы видели, какое значение имеет — при допущении наличия социализма — богатство человеческих потребностей, а значит и новый способ производства и также новый предмет производства. Новое проявление человеческой существенной силы и новое обогащение человеческой сущности. При господстве же частной собственности мы наблюдаем обратное отношение. Всякий человек спекулирует на том, чтобы создать новую потребность для другого человека, чтобы толкнуть его на новую жертву, чтобы поставить его в новую зависимость и склонить его к новому способу наслаждения, а значит и экономического разорения. Всякий стремится поставить другого человека в зависимость от чуждой существенной силы, чтобы найти в этом удовлетворение своей собственной своекорыстной потребности. Поэтому вместе с ростом массы предметов растет царство чужих существ, которым подчинен человек, и каждый новый продукт, это — новая ступень взаимного обмана и взаимной эксплуатации. Вместе с тем человек становится все беднее как человек, он нуждается во все большем количестве денег, чтобы овладеть этими враждебными существами, а сила его денег убывает обратно пропорционально росту массы производства, т. е. его нужда увеличивается по мере того, как увеличивается сила денег. Поэтому потребность в деньгах есть истинная, порождаемая политической экономией потребность, есть единственная потребность, которую она порождает. Количество денег становится все больше единственным существенным качеством человека; подобно тому, как он сводил все существа к абстракциям, так и сам он в своем собственном движении все больше сводится к количественному существу. Неумеренность и отсутствие меры становятся его истинной мерой. С субъективной стороны это выражается

отчасти в том, что расширение продуктов и потребностей становится *изобретательным*, всегда занимающимся *расчетами*, рабом нечеловеческих, утонченных, неестественных и *мнимых* вожделений — частная собственность не умеет превратить грубую потребность в *человеческую* потребность. Ее *идеализм* сводится к *фантазиям, причудам, прихотям*, и ни один евпух не льстит более низким образом своему деспоту и не старается возбудить более гнусными способами его притупившиеся чувства, чтобы снискать себе его милость, чем это делает евпух промышленности, производитель, гоняясь за серебряными монетами, желая выманить из кармана горячо любимого ближнего денежки (каждый продукт, это — приманка, при помощи которой хотят выманить у другого человека его сущность — его деньги; каждая реальная или возможная (?) потребность, это — уловка, чтобы заманить жертву в западню — всеобщая эксплуатация общей человеческой сущности, подобно тому как каждое несовершенство человека есть некоторая связь с небом, есть тот пункт, откуда сердце его доступно священнику; каждая нужда, это — повод подойти с любезнейшим видом к своему ближнему и сказать ему: Дорогой друг, я дам тебе все, что тебе нужно, но ты ведь знаешь *conditio sine qua non*; ты знаешь, на каких условиях ты продаешь мне свою душу: я надуваю тебя, доставив тебе наслаждение), — он приспособляется к извращеннейшим его фантазиям, берет на себя роль сводника между ним и его потребностью, вызывает в нем патологические желания, подстерегает всякую слабость его, чтобы затем потребовать награду за удовлетворение ее. Отчасти же это отчуждение обнаруживается в том, что оно на одной стороне порождает утонченность потребностей и средств, служащих для их удовлетворения, а на другой стороне — оскопичение и совершенно грубое, абстрактное упрощение потребностей, или, вернее, производит только самое себя в своем противоположном значении. Даже потребность в чистом, вольном воздухе перестает быть у рабочего потребностью. Человек поселяется снова в пещерах, которые, однако, отравлены чумным дыханием цивилизации и по отношению к которым он чувствует себя *неуверенно*, как по отношению к чужой силе, могущей ежедневно ускользнуть от него, и из которых его могут ежедневно выбросить, если он не уплатит за наем их. Рабочий должен *оплачивать* эти покойнички. *Светлое* жилище, называемое Прометеем у Эсхила одним из величайших даров, посредством которых он превратил дикаря в человека, перестает существовать для рабочих. Свет, воздух и т. д., простейшая, присущая даже *животным*, чистота перестают быть потребностью для человека. *Грязь*, этот признак падения и деградации

человека, *нечистоты* (это надо понимать буквально) цивилизация становятся *элементом его жизни*. Полная *нестественная* запущенность, гниющая природа становится *элементом его жизни*. Ни одно из его чувств не существует более не только в человеческом виде, но и в *нечеловеческом* и поэтому даже не в животном виде. Воскресают самые грубые *методы* (и орудия) человеческого труда, и многочисленные английские рабочие *вынуждены* работать на *мельницах* того типа, на которых работали когда-то римские рабы. Человек лишается не только человеческих потребностей, но он утрачивает *животные* потребности. Ирландец знает лишь потребность *еды*, и притом только *картофельной еды*, и вдобавок только худшего сорта картофеля. Но в любом промышленном городе Англии и Франции имеется уже своя *маленькая* Ирландия. Дикарь, животное, имеет все-таки потребность в охоте, в движении и т. д., в общении с себе подобными. — Упрощением машины, упрощением труда пользуются для того, чтобы из неразвитого, формирующегося только человека, из ребенка сделать рабочего, подобно тому как рабочий стал осиротевшим ребенком. Машина приспособляется к *слабости* человека, чтобы превратить *слабого* человека в машину.

Что умножение потребностей и средств для их удовлетворения порождает отсутствие потребностей и соответствующих средств, это политико-эконом (и капиталист: вообще, когда мы обращаемся к политико-эконому и апеллируем к его *научной* совести, то мы имеем в виду *эмпирических* деловых людей) доказывает тем, что 1) он сводит потребности рабочего к необходимейшим работам о поддержании физической жизни, а деятельность его к абстрактнейшему механическому движению, говоря: у человека нет вовсе потребности ни в деятельности, ни в наслаждении, ибо и эту жизнь он называет *человеческой* жизнью и существованием, 2) он принимает возможно *скудную* жизнь за масштаб, и притом за всеобщий масштаб; последнее потому, что он применим к массе человечества. Он превращает рабочего в бесчувственное, лишенное потребностей существо, точно так же, как он превращает его деятельность в чистую абстракцию от всякой деятельности: поэтому всякая *роскошь* рабочего кажется ему чем-то преступным, а все, что выходит из рамок наиабстрактнейших потребностей, — хотя бы это было пассивное обнаружение духа или деятельности, — кажется ему роскошью. Поэтому политическая экономия, эта наука о *богатстве*, есть в то же время наука о самоотречении, о лишениях, о *бережливости*, и она действительно доходит до того, что *сберегает* человеку даже потребность в чистом *воздухе* или физическом *движении*. Эта наука о чудесной промышленности:

есть в то же время наука об *аскетизме*, и ее настоящий идеал, это — *аскетический*, но *ростовщический* скряга и *аскетический*, но производящий раб. Ее моральным идеалом является *рабочий*, откладывающий в сберегательную кассу часть своего заработка, и онашла даже для этого своего палюбленного идеала нужное ей холопское искусство — на сцене ставили сентиментальные пьесы в соответствующем духе. Поэтому политическая экономия, несмотря на весь свой мирской и чувственный вид, действительно моральная наука, наиморальнейшая из наук. Ее главный догмат, это — самоотречение, отказ от жизни и от всех человеческих потребностей. Чем меньше ты ешь, пьешь, покупаешь книг, чем реже ты ходишь в театр, на балы, в кафе, чем меньше ты мыслишь, любишь, теоретизируешь, поешь, рисуешь, удишь и т. д., тем больше ты сберегаешь, тем значительнее становится то твое достояние, которое не смогут съесть ни моль, ни ржавчина, — твой *капитал*. Чем меньше ты *живешь* (hist), чем меньше ты обнаруживаешь свое существование, тем более ты *имеешь*, тем больше становится твоя *отрешенная* жизнь, тем больше ты копишь от своей отчужденной сущности. Всю ту долю жизни и человечности, которую отнимает у тебя политико-эконом, он возмещает тебе в *деньгах* и *богатстве*, и все то, чего ты не можешь, то могут твои деньги: они могут есть, пить, идти на бал, в театр, они могут путешествовать, могут приобрести себе искусство, ученость, исторические раритеты, политическую власть, словом, они могут купить все, они настоящая *сила* (Vermögen — состояние). Но они *могут* лишь создать самих себя, купить самих себя, ибо все прочее — их слуга, и раз я имею господина, то я имею и слугу и не нуждаюсь в этом слуге. Таким образом, все страсти и всякая деятельность должны раствориться в своекорыстии (Habsucht). Рабочему нужно иметь лишь столько, чтобы он хотел жить, и он должен хотеть жить только для того, чтобы иметь.

Правда, на почве политической экономии возникает особый спор. Одна сторона (Лодердаль, Мальтус и т. д.) рекомендует *роскошь* и проклинает бережливость; другая (Сэй, Рикардо и т. д.) рекомендует бережливость и проклинает роскошь. Но первая признает, что она хочет роскоши, чтобы производить *труд* (т. е. абсолютную бережливость); вторая признает, что она рекомендует бережливость, чтобы производить *богатство*, т. е. роскошь. Первая школа предается *романтическим* фантазиям, требуя, чтобы не одно только своекорыстие определяло потребление богачей, и она противоречит своим собственным законам, выдавая *расточительность* непосредственно за средство обогащения; поэтому противная сторона весьма серьезно

и обстоятельно доказывает ей, что расточительностью я отнюдь не умножаю, а уменьшаю свое *достояние*; эта другая сторона лицемерно не хочет признать, что именно прихоти и капризы определяют производство, она забывает «утонченные потребности», она забывает, что без потребления не было бы производства; она забывает, что производство становится благодаря конкуренции только равностороннее и более направленным на предметы роскоши; она забывает, что согласно ей потребление определяет стоимость вещи, а мода определяет потребление; она желает, чтобы производилось только «полезное», но она забывает, что производство слишком многих полезных вещей производит слишком много *бесполезного* населения. Обе стороны забывают, что расточительность и бережливость, роскошь и лишения, богатство и бедность едино суть.

И ты должен быть бережливым не только в своих непосредственных потребностях, как еда и т. д., но и в том, чтобы принимать участие во всеобщих интересах, в сострадании, доверии и т. д. Ты должен быть бережливым во всем этом, если хочешь поступать согласно требованиям политической экономии и не хочешь погибнуть от иллюзии. Ты должен пускать в продажу все, что твое, т. е. извлекать из него пользу. Если я задам политико-эконому вопрос: Повинуюсь ли я экономическим законам, когда я извлекаю прибыль из продажи тела для удовлетворения чужой похоти (французские фабричные рабочие навывают проституцию своих жен и дочерей десятым часом труда, и это истинно буквальным образом), или поступаю ли я не по правилам политической экономии, когда я продаю своего друга марокканцам (а непосредственная продажа людей в виде торговли рекрутами и т. д. существует во всех культурных странах), то политико-эконом отвечает мне: Ты не поступаешь вразрез с моими законами, но посмотри, что скажут тетка Мораль и тетка Религия; моя политико-экономическая мораль и религия не имеют ничего против тебя. Но кому же, однако, должен я скорее верить: политической экономии или морали? Мораль политической экономии, это — *нажива*, труд и бережливость, тревость, но политическая экономия обещает мне удовлетворить мои потребности. — Политическая экономия морали заключается в богатстве такими вещами, как чистая совесть, добродетель и т. д., но как могу я быть добродетельным, если я не существую, как могу я иметь чистую совесть, если я ничего не знаю? — В существе отчуждения заключается то, что каждая сфера деятельности приступает ко мне со своим особым масштабом: у морали один масштаб, у политической экономии — другой, ибо каждая из них представляет собой особую форму отчуждения людей и каждая

относится отчужденным образом к другому отчуждению, устанавливает особый круг отчужденной деятельности.

Так, г. Мишель Шевалье упрекает Рикардо в том, что он абстрагирует от морали. Но у Рикардо политическая экономия говорит на своем собственном языке, и если она говорит не морально, то это не вина Рикардо. Поскольку Мишель Шевалье морализирует, он абстрагирует от политической экономии, но поскольку он занимается политической экономией, он неизбежным и действительным образом должен абстрагировать от морали. Поскольку отношение политической экономии к морали не является произвольным, случайным, а поэтому необоснованным и ненаучным, поскольку оно происходит не для *вида*, а *серьезно*, постольку оно может быть только отношением политико-экономических законов к морали. Если это не имеет места или же имеет место обратное, то при чем тут Рикардо? Впрочем, и противоположность между политической экономией и моралью есть одна лишь *видимость* и в своей *противоположности* все-таки не противоположность. Политическая экономия выражает моральные законы, но только на свой манер.

Отсутствие потребностей, как принцип политической экономии, обнаруживается самым *блестящим* образом в ее *теории народонаселения*. Существует слишком *много* людей. Даже существование людей есть чистая роскошь, и если рабочий *«морален»*, то он будет *бережлив* и в вопросах деторождения. (Милль предлагает высказывать общественную похвалу тем, кто окажется воздержанным в половом отношении, и общественное порицание тем, кто прегрешит против заповеди о бесплодии брака... разве это не моральное учение аскетизма?) Производство человека является бедствием для общества. — —

Значение производства для богачей *обнаруживается* в его значении для бедняков; отношение к высшим — *утонченно*; скрыто, двусмысленно, оно — всегда *видимость*; отношение к низшим — грубо, откровенно, чистосердечно, оно — всегда *сущность*. *Грубая* потребность рабочего, это — гораздо более выгодный источник барыша, чем *утонченная* потребность богача. Подвальные помещения в Лондоне приносят своим хозяевам больше, чем дворцы, т. е. они являются для них *большим богатством* и, значит, выражаясь на языке политической экономии, они являются *большим общественным богатством*.

Промышленность, спекулируя на *утонченности* потребностей, точно так же спекулирует и на *грубости* их, на искусственно вызванной грубости, истинной сущностью которых является поэтому *опьянение*, это *кажущееся* удовлетворение потребностей, эта цивилизация

посреди грубого варварства потребностей. Поэтому английские кабаки являются *наглядными* символами частной собственности. Их роскошь обнаруживает истинное отношение промышленной роскоши и богатства к человеку. Поэтому же они по праву являются единственными воскресными развлечениями народа, к которым относится мягко английская полиция.

Мы видели уже, какими различными способами политико-эконом устанавливает единство труда и капитала: 1) капитал есть *накопленный труд*; 2) назначение капитала в производстве отчасти воспроизводство капитала с прибылью, отчасти капитал как сырье (материал труда), отчасти как *самоработающее орудие* (машина, это — непосредственно отождествленный с трудом капитал, это — *производительный труд*); 3) рабочий есть капитал; 4) заработная плата относится к издержкам капитала; 5) по отношению к рабочему труд есть воспроизведение его жизненного капитала; 6) по отношению к капиталисту он есть момент деятельности его капитала; наконец, 7) политико-эконом выставляет первоначальное единство обоих как единство рабочего и капиталиста; это — первобытное райское состояние. То, что оба эти момента выступают друг против друга как два лица, это для политико-эконома случайный и поэтому несущественный факт (см. Милль). Народы, которые еще ослеплены чувственным блеском благородных металлов и поэтому остаются еще фетишистами металлических денег, не являются еще совершенными денежными народами. Противоположность между Францией и Англией. — Что решение теоретических загадок является задачей практики и решается практическим образом, что истинная практика является условием действительной и положительной теории — это ясно видно, например, в случае *фетишизма*. Чувственное сознание фетишиста иное, чем чувственное сознание древнего грека, ибо его чувственное бытие еще иное. Абстрактная вражда между чувством и духом необходима до тех пор, пока собственным трудом человека не создан человеческий вкус к природе, человеческое чувство природы, а значит и *естественное чувство человека*.

Равенство есть не что иное, как немецкое «я» = «я», переведенное на французский язык, т. е. на язык политики. Равенство, как *основа коммунизма*, есть *политическое* его обоснование; это то же самое, как если бы немец обосновывал его для себя тем, что рассматривал бы человека как *всеобщее самосознание*. Ясно, что снятие отчуждения исходит всегда из той формы отчуждения, которая является *господствующей* силой: в Германии — из *самосознания*, во Франции из *равенства* < становится политикой >, в Англии из реальной,

материальной, измеряющей себя только самой собой *практической* потребности. Прудона следует критиковать и признавать, исходя из этой точки зрения.

Если, рассматривая коммунизм как отрицание отрицания, как присвоение человеческой сущности, происходящее путем отрицания частной собственности, мы навываем его не истинным, начинающим с самого себя, а начинающим скорее с частной собственности положительным утверждением (Position) — [причем это < приходится понимать по старо-немецкому способу, по способу гегелевской феноменологии в том смысле, что > с частной собственностью] покончено, как с *преодоленным моментом* и

 остается действительным отчуждением человеческой жизни и тем большим отчуждением, чем больше его совнают как таковое, то этого можно добиться только путем практического осуществления коммунизма. Для того, чтобы уничтожить *теоретическую мысль* о частной собственности, для этого достаточно *теоретического* (gedachte) коммунизма, но чтобы уничтожить действительную частную собственность, для этого необходимо *действительное* коммунистическое действие. История приведет его с собой, и тому движению, о котором мы знаем, что оно в теории снимает само себя, предстоит в действительности очень трудный и длинный путь. Но мы должны считать реальным прогрессом, что мы заранее совнаем как ограниченность, так и цель исторического движения, возвышаясь над ними этим своим сознанием.

Когда между собой объединяются коммунистические *ремесленники*, то целью для них является прежде всего учение, пропаганда и т. д. Но в то же время у них возникает и новая потребность, потребность в общении, и то, что казалось средством, становится целью. К каким блестящим результатам привело это практическое движение, можно видеть, наблюдая собрания социалистических французских рабочих. Курение, питье, еда и т. д. не служат уже больше средствами соединения, не служат уже связующими средствами. Для них достаточно общения в кружке, беседа, имеющая своей целью опять-таки общение; человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и с загрубелых от труда лиц глядит на нас вся красота человечества.

«Когда политическая экономия утверждает, что спрос и предложение уравниваются, то она забывает, что, согласно ее собственным утверждениям, *предложение* людей всегда превышает спрос на них (теория народонаселения) и что, следовательно, в самом существенном результате всего производства — в вопросе о

существовании человека — обнаруживается решительнейшим образом диспропорция между спросом и предложением.

Что деньги, являющиеся сущностью всех средств, представляют истинную *силу* и единственную *цель*, — что вообще *то* средство, которое делает меня существом, которое дозволяет мне присваивать чужую предметную сущность, является *самоцелью*, это можно видеть из того, что земельная собственность — там, где источником существования является земля, — и *лошадь* и *меч* — там, где они являются *истинными средствами к существованию*, — привнаются также истинной политической силой. В средние века сословие, получавшее *право* носить *меч*, считалось уже свободным. У кочевников обладание конем делает человека свободным, дает ему возможность принимать участие в жизни общины.

Мы сказали выше, что человек снова становится пещерным жителем и т. д., хотя и в отчужденной, враждебной форме. Дикарь чувствует себя в своей пещере — этом элементе природы, свободно предоставляющем ему себя для наслаждения и защиты, — не более чуждо или, вернее, чувствует себя в столь же родной стихии, как *рыба* в воде. Но подвальное помещение бедняка, это — враждебное, «носящее характер чужой силы жилище, которое достается ему лишь постольку, поскольку он проливает ради него свой пот и кровь»; он не может рассматривать его как свою родину, где он мог бы, наконец, скавать: здесь я у себя дома, — наоборот, он находится в чужом доме, в доме *другого* человека, который ежедневно подстерегает его и немедленно выбрасывает на улицу, лишь только он перестает платить наемную плату. И точно так же он знает качественное отличие своего жилища от *потусторонних*, пребывающих на небе богатства, человеческих жилищ.

Отчуждение проявляется как в том, что средства к *моему* существованию являются средствами *другого* человека, что то, что является предметом *моего* желанья, является недоступной для меня собственностью *другого* человека, так и в том, что каждая вещь есть нечто *другое*, чем она сама, что моя деятельность есть нечто *другое* и что, наконец, — и это относится и к капиталисту, — вообще над всем царит *нечеловеческая власть*. Назначение употребляемого только для наслаждения, недейтельного и расточительного богатства: наслаждающийся этим богатством человек, являясь, с одной стороны, только *случайным*, с жира бесящимся индивидом, видит в то же время в каторжном труде другого человека — в его поте и крови — цену своих вожделений; он видит, что человек, а значит, и сам он, является жалким, принесенным в жертву, существом; при этом презрение к

людям выражается отчасти в виде высокомерного отвергания того, на что могла бы кое-как существовать сотня людей, отчасти в виде подлой иллюзии, будто его безудержная расточительность и ничем не сдерживаемое непроизводительное потребление являются источником *труда*, а значит и существования другого человека. Эта потребительская форма богатства, которая понимает осуществление человеческих *существенных сил* только как осуществление своих чудовищно-беспутных причотей и странных, фантастических причуд, а с другой стороны, признает богатство только простым средством и достойной уничтожения вещью, которая является поэтому одновременно рабом богатства и его господином, является одновременно великодушным и нивким, капризным, надменным, фантастическим, утонченно образованным, остроумным, — это расточительное богатство не поняло еще, что *богатство* является совершенно чужой, господствующей над ним силой; оно видит в нем скорее только свою собственную власть, не богатство, а наслаждение

Против этой блестящей, ослепленной чувственной видимостью иллюзии о сущности богатства выступает *трудящийся, трезвый, экономический, прозаический*, просвещенный насчет сущности богатства промышленник, и если он создает для жажды наслаждений расточителя новые, более широкие возможности и льстит ему в своих продуктах, — все его продукты, это — угодливые комплименты вождениям расточителя, — то он умеет также присвоить единственно *полезным* способом ускользающую от расточителя власть. Поэтому, если на первых порах промышленное богатство выступает в качестве результата расточительного, фантастического богатства, то в дальнейшем ходе своего развития оно активным образом устраняет последнее. Понижение *денежного процента* является необходимым следствием и результатом промышленного развития. Таким образом, средства рантье-расточителя уменьшаются ежедневно в *обратном* отношении к увеличению средств и соблазнов наслаждения. Поэтому он должен либо начать потреблять свой капитал, т. е. разориться, либо стать сам промышленным капиталистом. Правда, с другой стороны, вместе с ходом промышленного развития постоянно повышается *земельная рента*, но, как мы уже видели, наступает необходимым образом момент, когда земельная собственность, вместе со всякого рода другой собственностью, переходит в категорию воспроизводящего себя с прибылью капитала, и это является результатом того же самого промышленного развития. Поэтому и помещик-расточитель должен либо начать потреблять свой капитал, т. е.

разориться, либо же стать арендатором своей собственной земли, стать обрабатывающим землю промышленником.

Таким образом, уменьшение денежного процента — в котором Прудон видит признак уничтожения капитала и тенденцию к локализации его — является непосредственно скорее только симптомом полной победы трудящегося капитала над расточительным богатством, т. е. превращения всякой частной собственности в промышленный капитал; это полная победа частной собственности над всеми *по видимости* еще человеческими качествами ее и полное подчинение частного собственника сущности частной собственности, *труду*. Разумеется, и промышленный капиталист потребляет и наслаждается. Он вовсе не возвращается к неестественной простоте потребностей, но его потребление и наслаждение, это — нечто только побочное, дело отдыха, подчиненное производству; при этом оно — *рассчитанное*, т. е. тоже *экономическое*, наслаждение, ибо капиталист относит свое наслаждение к издержкам капитала, и оно, значит, должно стоить ему лишь столько, что потраченное им может быть восстановлено с лихвой путем воспроизводства капитала. Таким образом, наслаждение подчиняется капиталу, наслаждающийся индивид подчиняется капитализирующему индивиду, между тем как прежде имело место обратное. Поэтому уменьшение процента является симптомом уничтожения капитала лишь в том смысле, что оно является симптомом его завершающегося господства, его завершающегося и поэтому стремящегося к своему снятию отчуждения. Это вообще единственный способ, каким существующее утверждает свою противоположность.

Поэтому спор политико-экономов о роскоши и бережливости есть лишь спор выяснившей себе сущность богатства политической экономии с молодой школой, еще зараженной романтическими антипромышленными реминисценциями. Но обе стороны не умеют выяснить простую сущность спора и поэтому не могут справиться друг с другом.

Земельная рента затем была уничтожена как земельная рента, потому что — в противоположность утверждениям физиократов, доказывавших, что земельный собственник единственный истинный производитель, — новейшая политическая экономия доказала, что земельный собственник, как таковой, является, наоборот, единственным совершенно непроизводительным рантье. Обработка земли есть дело капиталиста, если он может рассчитывать получить от этого свою обычную прибыль. Поэтому теория физиократов, будто земельные собственники, в качестве единственно производительных

собственников, должны одни платить государственные налоги и что, значит, они одни должны иметь право разрешать их и принимать участие в государственной жизни, превратилась в противоположное утверждение, что налог на земельную ренту есть единственный налог на непроемительный доход и, значит, единственный налог, непогубный для национального производства. Ясно, что с этой точки зрения политическая привилегия земельных собственников не может уже вытекать из факта их исключительного обложения.

Все то, что Прудон считает движением труда против капитала, есть лишь движение труда в *борьбе* капитала, *промышленного капитала* против капитала, не потребляемого как капитал, т. е. не потребляемого промышленным образом. И это движение идет своим победоносным путем, т. е. путем победы *промышленного* капитала. Мы видим, таким образом, что, лишь рассматривая *труд* как сущность частной собственности, можно понять в его сущности и политико-экономическое движение как таковое.

Общество, каким оно является для политико-эконома, это — *гражданское общество*, где каждый индивид представляет собою сумму потребностей и существует только для другого человека, как другой существует только для него, поскольку они оказываются друг для друга средствами. Подобно политикам в их рассуждениях о *правах человека*, и политико-эконом сводит все к человеку, т. е. к индивиду, у которого он отнимает все определенные свойства, чтобы рассматривать его как капиталиста или рабочего.

Разделение труда, это — политико-экономическое выражение *общественного характера труда* в рамках отчуждения. Иначе говоря, так как *труд* есть лишь выражение человеческой деятельности в рамках отрешения, в рамках проявления жизни как отрешения жизни, то и разделение труда есть не что иное, как *отчужденное, отрешенное* полагание человеческой деятельности в качестве *реальной родовой деятельности*, или в качестве *деятельности человека как родového существа*.

По вопросу о *сущности разделения труда*, — которое, разумеется, должно было рассматриваться как главный двигатель производства богатства, раз поняли, что *труд* есть *сущность частной собственности*, — т. е. по вопросу об этой *отчужденной и отрешенной форме человеческой деятельности как родовой деятельности*, политико-экономы высказываются очень неясным и противоречивым образом.

Адам Смит: «*Разделение труда* имеет своим источником не человеческую мудрость. Оно есть необходимый, происходящий медленно

и постепенно результат склонности к обмену и взаимной торговле продуктами. Эта склонность к торговле есть, вероятно, необходимое следствие дара разума и слова. Она встречается у всех людей, но не находится ни у одного животного. Взрослое животное живет само, без помощи других животных. Человек же постоянно нуждается в поддержке других людей, и он тщетно рассчитывал бы получить эту поддержку от одного их благожелательного отношения к нему. Гораздо надежнее апеллировать к их личному интересу и убедить их, что в их же выгоде сделать то, что он хочет получить от них. Обращаясь к другим людям, мы взываем не к их *человеколюбию*, а к их эгоизму; мы никогда не говорим им о *наших потребностях*, а всегда только о их *выгоде*. Так как, следовательно, мы получаем большинство необходимых нам услуг благодаря обмену и торговле, то именно эта склонность к *торговле* и является корнем разделения *труда*. Допустим, что в каком-нибудь племени охотников или пастухов какой-нибудь человек изготовляет луки и тетивы проворнее, чем другие люди. Обмениваясь часто с соплеменниками продуктами своего труда на скот и дичь, он вскоре замечает, что может гораздо легче добыть себе средства к существованию таким путем, чем если сам станет охотиться. Руководимый соображениями расчета, он начинает заниматься, главным образом, изготовлением луков и т. д. Различие *природных дарований* у индивидов есть не столько причина, сколько *следствие* разделения труда. Без склонности человека к обмену и торговле каждый индивид был бы вынужден изготовлять себе все необходимое для существования и для жизненных удобств. Каждый человек должен был бы выполнять *одну и ту же работу*, и, значит, не существовало бы того огромного *различия в занятиях*, которое одно только может вызвать огромное различие в дарованиях. Та самая склонность к обмену, которая вызывает различие дарований у людей, делает также полезным это различие. Животные породы, принадлежащие к одному и тому же виду, получили от природы свойства и способности, более отличающиеся между собой, чем это можно наблюдать у необразованных людей. Какой-нибудь философ не отличается своими природными дарованиями и умом от носильщика даже на половину того, как отличается дворняжка от борзой собаки, борзая собака от лягавой, а последняя от овчарки. Но хотя эти различные породы животных принадлежат к одному и тому же виду, они не представляют почти никакой пользы друг для друга. Дворняжка не может воспользоваться проворством борзой собаки и т. д. и прибавить его к преимуществам своей силы. Благодаря отсутствию способности или склонности к обмену и торговле действия

этих различных дарований или умственных способностей не могут быть собраны вместе и не могут послужить для *выгоды* или для *общих удобств* вида. Каждое животное должно заботиться о себе и охранять себя само, независимо от других животных; оно не может извлечь ни малейшей пользы из различия способностей, которыми природа наделила других животных того же вида. У людей, наоборот, самые различные таланты полезна друг другу, потому что, в силу этой общей склонности к обмену и торговле, *различные продукты* их различных деятельностей собираются, так сказать, в одну общую массу, где каждый человек может, в зависимости от своих потребностей, закупить известную часть продуктов труда других людей. Так как источником разделения труда является эта склонность к *обмену*, то, следовательно, *рост* этого *разделения* всегда ограничен *размерами способности обменивать* или, иными словами, *размерами рынка*. Если рынок очень мал, то никто не захочет отдаться целиком одному какому-нибудь занятию благодаря невозможности обменивать избыток продуктов своего труда над его собственными потребностями на одинаковое количество продуктов труда другого человека, которые он хотел бы себе достать...» В цивилизованном состоянии «каждый человек существует благодаря *échange*, благодаря обмену, и становится своего рода *торговцем*, а *само общество* есть, собственно, *торговое общество* (см. Дестют де-Траси: Общество, это — ряд взаимных обменов; в *торговле* — вся сущность общества). Накопление капиталов растет вместе с разделением труда, и наоборот». Так говорит Адам Смит.

«Если бы каждая семья производила все предметы своего потребления, то общество могло бы существовать, хотя не происходило бы никакого обмена; не будучи *основным свойством*, обмен необходим в цивилизованном состоянии нашего общества; разделение труда представляет умелое применение сил человека; оно умножает продукты сообщества, увеличивает его мощь и наслаждение, но оно уменьшает, умаляет способности отдельного человека. Производство не может происходить без обмена» (Ж.-Б. Сэй).

«Присущие человеку от природы силы, это — его разум и его физическая способность к труду; социального же порядка силы заключаются в способности *разделять труд* и *распределять различные работы среди различных людей*... и в способности обменивать *взаимные услуги* в продуктах, производимых при помощи этих средств. Человек оказывает другому человеку услуги из соображений себялюбия, человек желает вознаграждения за оказанные другому человеку услуги. Для возможности обмена между людьми необходимо

право исключительной частной собственности. Обмен и разделение труда обуславливают взаимно друг друга». Так говорит Скарбек.

Милль следующим образом изображает развитую форму обмена, *торговлю*, как *результат разделения труда*: «Деятельность человека может быть сведена к весьма простым элементам. В действительности он может производить только движение: он может передвигать вещи, чтобы удалять их или приближать друг к другу; все остальное делается свойствами самой материи. Применяя труд и машины, часто замечают, что действия их могут быть усилены благодаря искусному распределению, благодаря отделению мешающих друг другу операций и соединению всех таких операций, которые могут каким-нибудь образом содействовать друг другу. Так как, вообще говоря, люди не могут выполнять с одинаковым проворством и ловкостью многочисленные операции, так как, благодаря привычке, у них образуется способность выполнять небольшое число операций, то всегда выгодно ограничивать по возможности число поручаемых каждому индивиду операций. Для наивыгоднейшего разделения труда и распределения сил человека и машины во многих случаях необходимо работать в крупном масштабе, иначе говоря, необходимо производить богатства массовым образом. Эта выгода является причиной возникновения крупных мануфактур: часто небольшое число таких, основанных при благоприятных условиях, мануфактур снабжает не только одну страну, но несколько стран всем необходимым им количеством производимых ими предметов». Так говорит *Милль*.

Все современные политико-экономы согласны между собою в том, что разделение труда и богатство производства, разделение труда и накопление капитала взаимно обуславливают друг друга, и что точно так же *свободная, предоставленная самой себе частная собственность* одна только может создать самую полезную и всеобъемлющую форму разделения труда.

Рассуждения *Адама Смита* можно резюмировать следующим образом. Разделение труда сообщает труду бесконечную производительность. Оно имеет своим источником склонность к обмену и торговле, специфически человеческую склонность, которая, вероятно, не случайна, а обусловлена даром разума и слова. Мотив, которым руководятся обменивающиеся между собой люди, это не *человеческие*, а *эгоизм*. Равнообразие человеческих дарований является скорее следствием, чем причиной разделения труда, т. е. обмена. Только обмен делает полезным это равнообразие. Различные свойства равных пород животных одного вида отличаются от природы

между собой больше, чем отличаются между собой человеческие способности и виды деятельности. Но так как животные не могут *обмениваться*, то никакому животному не оказывают никакой пользы отличные свойства животного того же вида, но иной породы. Животные не могут складывать между собой различные свойства своего вида; они не могут сделать ничего для *общей* пользы и удобств своего вида. Иное дело *человек*, где самые равнообразные дарования и формы деятельности оказываются полезными друг другу, *потому что* люди умеют собирать свои *различные* продукты в одну общую массу, где каждый может закупать нужное ему. Так как разделение труда возникает из склонности к *обмену*, то оно растет и ограничивается *размерами обмена, рынка*. В цивилизованном обществе каждый человек является *торговцем*, а само общество торговым *обществом*. Сэй считает обмен случайным, а не основным свойством. Общество могло бы существовать без обмена, который становится необходимым в цивилизованном состоянии общества. Но *производство* не может иметь места *без него*. Разделение труда есть *удобное, полезное* средство, оно — искусное применение человеческих сил для создания общественного богатства, но оно уменьшает способности *каждого отдельного человека*. Это последнее замечание является шагом вперед со стороны Сэя.

Скарбек отличает *индивидуальные, от природы присущие человеку силы* — разум и физическую способность к труду — от *созданных* обществом сил, *обмена и разделения труда*, взаимно обуславливающих друг друга. Но необходимой предпосылкой обмена является *частная собственность*. Скарбек выражает здесь в объективной форме то, что говорят Рикардо, Смит, Сэй и др., когда они называют *эгоизм, частный интерес* основой обмена или торговлю *существенной и адекватной формой* обмена.

Милль рассматривает *торговлю* как следствие *разделения труда*. Человеческая деятельность сводится у него к *механическому движению*. Разделение труда и применение машин способствует богатству (равнообразию) производства. Надо поручать каждому человеку только небольшое количество операций. Со своей стороны, разделение труда и применение машин обуславливают массовое производство богатства, т. е. продуктов. Этим объясняется происхождение крупных мануфактур.

Рассмотрение *разделения труда* и обмена представляет огромный интерес, ибо они являются *чувственно отрешенными* выражениями человеческой *деятельности* и *существенной силы* как *родовой деятельности* и *существенной силы*.

Утверждение, что *разделение труда и обмен* основываются на *частной собственности*, тождественно с утверждением, что *труд* есть сущность частной собственности, утверждение, которое не может доказать политико-эконом и которое мы попытаемся доказать вместо него. Именно потому, что *разделение труда и обмен* суть формы частной собственности, именно поэтому можно доказать как то, что *человеческая жизнь* нуждалась для своего осуществления в *частной собственности*, так, с другой стороны, и то, что она теперь нуждается в уничтожении частной собственности.

Разделение труда и обмен, это — те два явления, рассуждая о которых, политико-эконом одновременно с гордостью указывает на общественный характер своей науки и в то же время бессознательно высказывает заключающееся в ней противоречие, именно — обоснование общества при помощи необщественных, частных интересов.

Нам надлежит рассмотреть следующие моменты. Во-первых, *склонность к обмену* — корень которой находят в эгоизме — рассматривается как источник или взаимодействие разделения труда. Свэй считает обмен свойством не *основным* для сущности общества. Богатство, производство объясняются разделением труда и обменом. Признается, что разделение труда вызывает обнищание и оскудение человеческой деятельности.

Обмен и разделение труда признаются причинами огромного *разнообразия человеческих дарований*, разнообразия, которое, в свою очередь, делается *полезным* благодаря обмену. Скарбек делит силы производства человека, или производительные существенные силы человека, на две части: 1) на индивидуальные, присущие ему от природы силы — его разум и специальную склонность или способность к труду, 2) на *происходящие* из общества, а не из реального индивида, силы — разделение труда и обмен.

Далее: разделение труда ограничено *рынком*.

Человеческий труд есть попросту *механическое движение*; все главное производится материальными свойствами предметов.

Одному индивиду следует поручать по возможности меньше операций.

Раздробление труда и концентрация капитала, ничтожное значение индивидуального производства и массовое производство богатства. Смысл свободной частной собственности в разделении труда.

Ж. ПЭШЕ О САМОУБИЙСТВЕ

Ж. ПЭШЕ О САМОУБИЙСТВЕ.

Французская критика общества обладает, — отчасти, по крайней мере, — тем большим преимуществом, что она показала противоречия и уродство современной жизни не только во взаимоотношениях отдельных классов, но и во всех областях и формах современного общества, причем сделала это в ярких и живых образах с чутьем жизни, с широтой круговора и с смелой оригинальностью. Мы напрасно стали бы искать всего этого у людей другой нации. Достаточно, например, сравнить критические заметки Оуэна и Фурье, поскольку они касаются живых отношений, чтобы получить представление о превосходстве французов. И не только специально у «социалистических» писателей Франции надо искать критического изображения состояния общества; мы найдем его у писателей из всякой области литературы, в особенности литературы романов и мемуаров. Как пример этой французской критики я приведу несколько выдержек о «самоубийстве» из «*Mémoires tirés des Archives de la Police etc.*», par Jacques Peuchet, которые вместе с тем должны показать, насколько обосновано представление филантропов, что все дело сводится к тому, чтобы дать пролетариям немного хлеба и образования, что будто только рабочие бедствуют при современном состоянии общества, во всем же остальном существующий мир есть лучший из миров.

У Жака Пэше, — как у многих из старейших, теперь почти совсем вымерших, французских практиков, которые пережили многочисленные перевороты, начиная с 1789 года, многочисленные обманы, восторги, конституции, властителей, поражения и победы, — критика существующих имущественных, семейных и вообще частных отношений, одним словом, *частной жизни*, является необходимым результатом их политических переживаний.

Жак Пэше (родился в 1760 г.) перешел от изящной литературы к медицине, от медицины к юриспруденции, от юриспруденции к администрации и к полицейскому делу. Перед началом французской революции он работал с аббатом Морелле над *Dictionnaire du commerce*, причем появился только проспект его, и занимался тогда преимущественно политической экономией и администрацией. Только

очень короткое время Пэше был сторонником французской революции; вскоре он примкнул к роялистской партии, в течение долгого времени был главным руководителем «Gazette de France» и позднее перенял даже у Малле дю-Пана известный роялистский «Mercure». Он сумел очень ловко пробиться сквозь годы революции, то подвергаясь преследованиям, то работая в департаменте администрации и полиции. Выпущенная им в 1800 г. «Géographie commerciale», 5 vol. in folio, привлекла к нему внимание Бонапарта, первого консула, и он был назначен членом совета торговли и искусства. Позднее, при министерстве Франсуа де-Нэшато, он занял более высокий административный пост. В 1814 году, при Реставрации, он был назначен цензором. Во время Ста дней он удалился от дел. При возвращении Бурбонов он получил пост хранителя архива полицейской префектуры в Париже, который занимал до 1827 года. Пэше непосредственно и в качестве писателя имел влияние на ораторов Учредительного собрания, Конвента, Трибунала, а также Палаты депутатов при Реставрации. Среди его многочисленных, преимущественно экономических, произведений, кроме упомянутой уже «Коммерческой географии», самым известным является «Статистика Франции» (1807 г.).

Пэше написал свои мемуары, уже будучи *стариком*, и он решил печатать их только после *его смерти*. Материал для них он собрал отчасти из полицейских архивов Парижа, отчасти из своей долгой практики в полиции и администрации, так что его ни в коем случае нельзя причислить к «скоропелым» социалистам и коммунистам, которым недостает, как известно, основательности и всеобъемлющих знаний наших рядовых писателей, чиновников и обывателей.

Послушаем, что говорит о самоубийстве наш хранитель архива полицейской префектуры Парижа.

Ежегодное число самоубийств, которое является у нас до известной степени нормальным и периодическим, следует считать симптомом плохой организации нашего общества, так как во время востоя промышленности и ее кризисов, в эпоху дороговизны средств к существованию и в суровые зимы симптом этот более бросается в глаза и принимает эпидемический характер. Проституция и кражи растут тогда в такой же пропорции. Несмотря на то, что нужда является самой большой причиной самоубийства, мы тем не менее встречаем его во всех классах, как среди праздных богачей, так и у художников и политиков. Разнообразие его причин является как бы вызовом однообразному и черствому порицанию моралистов.

Чахотка, по отношению к которой современная наука слишком инертна и бессильна, обманутая дружба и любовь, посрамленное честолюбие, семейные неурядицы, победа соперника, неудовлетворенность монотонной жизнью, не находящий применения энтузиазм — являются, без сомнения, побудительными причинами самоубийства для более богатых натур. Самая любовь к жизни, эта наиболее мощная движущая сила личности, очень часто ведет к тому, чтобы покончить с отвратительным существованием.

Мадам де-Сталь, самая большая заслуга которой состоит в том, что она блестяще стилизовала общие места, пыталась показать, что самоубийство есть противоестественное действие и что его нельзя считать актом мужества. Она прежде всего установила, что гораздо более достойно бороться против отчаяния, чем поддаваться ему. Такие причины редко действуют на души, которые не сумели преодолеть несчастья. Если они религиозны, они ждут лучшего мира; если же они, наоборот, ни во что не верят, они ищут спокойствия небытия. Философские тирады в их глазах не имеют никакого значения и являются слабым прибежищем против страдания. Прежде всего, нелепо утверждение о противоестественности действия, которое так часто повторяется. Самоубийство ни в какой мере не противоестественно, так как мы каждый день бываем свидетелями его. Того, что противоестественно, не происходит. Наоборот, *в природе нашего общества* множить самоубийства, между тем как у татар, например, не бывает самоубийств. *Не все общества производят, таким образом, одни и те же продукты*, — вот что надо помнить, если хочешь работать над реформой нашего общества, для поднятия его на высшую ступень. Что же касается мужества, то если мужественным считается тот, кто среди бела дня, в возбуждающей обстановке сражения, прямо смотрит в глаза смерти, то ничто не доказывает отсутствия мужества у человека, который сам лишает себя жизни в мрачном одиночестве. Такой сложный вопрос не разрешается оскорблением покойников.

Все, что было сказано против самоубийства, вращается в том же кругу идей. Ему противопоставляют решения провидения, но самое существование самоубийства есть открытый протест против невразумительных его решений. Нам говорят о наших обязанностях по отношению к этому обществу, не указывая, с другой стороны, на наши права в этом обществе и не осуществляя их; считается в тысячу раз большей заслугой победить страдание, чем поддаться ему, — заслугой столь же печальной, как и перспектива, которую она

открывает. Одним словом, самоубийство считают актом трусости, преступлением против законов, общества и чести.

Отчего же, несмотря на столь многочисленные анафемы, люди сами себя лишают жизни? Потому что в жилах отчаявшихся людей кровь течет не так, как кровь холодных существ, которые находят время вести все эти бесплодные разговоры. *Один человек является тайной для другого. Его только умеют порицать, но его не знают.* Когда видишь, как учреждения, господствующие над жизнью Европы, распоряжаются жизнью и смертью народов, как цивилизованная юстиция окружает себя богатым арсеналом тюрем, наказаний, орудий смерти для санкции своих сомнительных решений; когда видишь неслыханное число классов, которые всеми оставляются в нужде, и социальных париев, к которым относятся с грубым презрением, — может быть, чтобы избавить себя от труда вырвать их из грязи; когда видишь все это, то становится непонятным, на каком основании можно заставлять индивидуума уважать само по себе такое существование, в котором попирают ногами наши привычки, наши предрассудки, наши законы и наши нравы.

Думали, что можно удержать от самоубийства унижающими наказаниями и чем-то вроде позора, которым клеймят память виновных. Но что можно сказать о низости клеймения людей, которых уже нет в живых и которые не могут защищаться? Впрочем, несчастные очень мало этим интересуются; и если за самоубийство можно кого-нибудь винить, то это прежде всего людей, которые остались, так как в этой массе нет ни одного, который заслужил бы, чтобы за него остались жить. Имели ли успех придуманные людьми детские и жестокие меры в борьбе против напештываний отчаяния? Какое дело человеку, желающему бежать из этого мира, до тех оскорблений, которые мир обещает нанести его трупу? Он видит в этом только еще одно проявление подлости живущих. *Что это, в самом деле, за общество, где можно испытывать самое глубокое одиночество среди многих миллионов, где человек поддается непреодолимому желанию лишить себя жизни, причем об этом никто даже не догадывается? Это общество — не общество; оно, как говорит Руссо, пустыня, населенная дикими зверями.* На тех должностях, которые я занимал в полицейской администрации, самоубийства относились к моей компетенции. Я хотел узнать, не найдутся ли среди решающих мотивов такие, действие которых можно было бы предусмотреть. Я предпринял по этому вопросу обширную работу. Я нашел, что, кроме коренной реформы современного общественного порядка, все остальные попытки будут напрасны.

Между причинами отчаяния, которые побуждают очень нервных, страстных и глубоко чувствующих людей искать смерти, я открыл, как преобладающее явление, дурное обращение, несправедливости, тайные наказания, которым суровые родители и начальники подвергают лиц, от них зависящих. *Революция уничтожила не все виды тирании; зло, в котором упрекали самодержавную власть, существует еще в семьях; оно вызывает здесь взрывы, аналогичные революционным.*

Отношения между интересами и настроениями, действительные отношения между людьми, по существу, еще только создаются среди нас, и самоубийство только один из тысячи и одного симптома всеобщей социальной борьбы, всегда готовой к новым проявлениям. Очень многие борющиеся отказываются от этой борьбы, так как они устали находиться среди жертв, или потому, что их возмущает одна мысль о возможности занять почетное место среди палачей. Я могу привести несколько примеров из подлинных протоколов.

В июле 1816 года дочь одного портного была обручена с сыном мясника, очень порядочным молодым человеком, бережливым и трудолюбивым, влюбленным в свою красивую невесту, которая в свою очередь была ему предана. Молодая девушка была швеей. Она пользовалась уважением всех знавших ее, и родители ее жениха нежно любили ее. Эти славные люди не упускали случая завоевать симпатии своей невестки. Придумывали развлечения, где она была царницей и идолом.

Наступило время свадьбы; все распоряжения между обоими семействами были сделаны, все договоры заключены. В тот вечер, который был назначен, чтобы отправиться в муниципалитет, молодая девушка и ее родители должны были ужинать в семье жениха. Но этому помешал пустой непредвиденный случай. Исполнение заказа для одного из его богатых клиентов задержало портного и его жену дома. Они извинились. Но мать жениха сама пришла за своей невесткой, получившей разрешение родителей отправиться с ней.

Несмотря на отсутствие двух важных гостей, ужин был чрезвычайно веселый. Очень много шутили на интимные темы, которые допускала перспектива свадьбы. Пили, пели. Говорили о будущем. Живо обсуждались радости счастливого брака. За столом засиделись до глубокой ночи. По легко понятному снисхождению родители молодого человека не обращали внимания на молчаливую договоренность обрученных. Руки их искали друг друга, любовь и близость ударили им в голову. Кроме того, на брак смотрели как на заключенный, молодые люди уже давно посещали друг друга и не

подавали повода ни к малейшему упреку. Умиление родителей жениха, поздний час, взаимные страстные желания, поощряемые снисходительностью их менторов, непринужденное веселье, которое обыкновенно царит при таких пиршествах, все это, вместе взятое, и легко представившийся случай, и вино, которое горячило голову, — все благоприятствовало исходу, который легко можно было предвидеть. Любящие нашли друг друга в темноте, когда свечи погасли. Старшие делали вид, что ничего не замечают. Здесь к счастью молодых людей относились благожелательно.

Молодая девушка вернулась только на следующее утро к своим родителям. Как мало она считала себя виновной, видно уже из того, что она вернулась одна. Она проскользнула в свою комнату и привела в порядок свой туалет. Но как только родители увидели ее, они с яростью набросились на свою дочь и стали осыпать ее бранью и самыми постыдными названиями. Соседи были свидетелями этого скандала. Можно представить себе потрясение этого ребенка, ее стыд и горе. Напрасно доказывала пораженная девушка своим родителям, что они сами компрометируют ее, что она признает свою неправоту, свою глупость, свое непослушание, но что все можно исправить. Ее доводы и ее страдание не подействовали на портного и его супругу. Самые трусливые, неспособные к сопротивлению люди становятся неумолимыми там, где они *могут проявить абсолютный родительский авторитет*. *Злоупотребление последним* является для них *грубым вознаграждением* за ту покорность и зависимость, которые они добровольно или против воли проявляют в буржуазном обществе. На этот шум сбегались всякие кумушки и еще более увеличили его. Чувство стыда за эту отвратительную сцену привело девушку к решению лишиться себя жизни. Быстрыми шагами сбегала она по лестнице, пробежала через толпу кричащих и проклинаящих кумушек, с блуждающими ворами спустилась к Сене и бросилась в воду. Лодочники вытащили ее уже мертвою, наряженную в ее свадебные драгоценности. Как это обычно водится, те, которые вначале ругали дочь, тотчас же стали ругать родителей. Эта катастрофа испугала жалкие душонки. Спустя несколько дней родители пришли в полицию требовать золотую цепь, которую девушка носила на шее, подарок ее будущего свекра, серебряные часы и многие другие драгоценности, — предметы, которые были доставлены в бюро. Я не упустил случая упрекнуть этих людей в их неблагоразумии и варварстве. Сказать этим безумцам, что они должны будут дать ответ перед богом, было бы бесполезно; это произвело бы на них очень слабое впечатление в виду бездушных пред-

рассудков и своеобразной религиозности, господствующей в низших меркантильных классах.

Ими руководила жадность, а не желание обладать двумя или тремя реликвиями. Я считал возможным наказать их именно их жадностью. Они требовали драгоценности своей дочери; я отказал им в выдаче их, я задержал удостоверения, необходимые для получения вещей из кассы, куда они были сданы. До тех пор, пока я находился на этом посту, все их требования были напрасны, и я находил особенное удовольствие в пренебрежении к их грубой настойчивости.

В том же самом году в мое бюро явился молодой креол, очаровательной наружности, из одной из богатейших фамилий Мартиники. Он самым категорическим образом возражал против выдачи трупа молодой женщины, его золовки, его брату и ее мужу. Она утопилась. Этот вид самоубийства чаще всего встречается. Тело было найдено служащими, назначенными для вылавливания трупов, недалеко от grève d'Argenteuil. Из известного инстинкта стыдливости, которым женщины проникнуты даже в моменты самого глубокого отчаяния, утопленница тщательно обернула ноги подолом своего платья. Эта стыдливая предосторожность ясно указывала на самоубийство. Сейчас же после того, как она была найдена, она была доставлена в морг. Ее красота, ее молодость и богатый наряд дали повод к тысяче предположений о причине катастрофы. Отчаяние мужа, который первый ее опознал, было безгранично. Он не мог осмыслить своего горя, — по крайней мере так мне сказали. Я сам никогда прежде не видал его. Я доказывал креолу, что требование мужа, который тут же заказал мраморный памятник для своей несчастной жены, должно быть уважено в первую очередь. «После того, как он ее убил, чудовище!» — с яростью кричал креол, бегая взад и вперед по комнате.

По возбуждению, по отчаянию этого молодого человека, по его мольбам удовлетворить его желание, по его слезам я заключил, что он ее любил, и сказал это ему. Он сознался в своей любви, но категорически утверждал, что его золовка не подозревала даже о его любви. Он клялся в этом. Только для спасения репутации своей золовки, самоубийство которой общественное мнение, по обыкновению, свяжет с какой нибудь интригой, хочет он обнаружить варварство своего брата, если бы даже ему самому пришлось из-за этого сесть на скамью подсудимых. Он просил моей поддержки. Вот что я мог понять из его отрывочных, страстных объяснений. Господин М., его брат, богатый человек, любящий искусство, друг роскоши и

высоких кругов, женился с год тому назад на этой молодой женщине, — повидимому, по взаимному влечению. Это была самая красивая пара, какую только можно было встретить. После свадьбы в организме молодого супруга внезапно и с большой силой обнаружился какой-то, — быть может, наследственный, — порок в крови. Этот человек, прежде такой гордый своей наружностью, своим изяществом, беспримерным совершенством форм, вдруг сделался жертвой неизвестной болезни, против разрушительного действия которой наука была бессильна. Он ужасным образом изменился с головы до ног. Он лишился всех волос, позвоночник его искривился. Со дня на день худоба и морщины все больше уродовали его, по крайней мере, в глазах других, так как из самолюбия он отрицал самое очевидное. Но, несмотря на все это, он не слег в постель. Железная сила, казалось, торжествовала над приступами болезни. Он переживал свое собственное разрушение. Тело превратилось в развалины, а душа была бодрa. Он продолжал задавать пиры, устраивать охоты и вести богатый и пышный образ жизни. Однако оскорбления, остроты и шутки школьников и уличных мальчишек, когда он на прогулках объезжал свою лошадь, невежливые и иронические насмешки, услужливые предупреждения друзей относительно комизма его упорного стремления сохранить галантность с дамами, — все это уничтожило, наконец, его иллюзии и сделало его осторожным по отношению к самому себе. Как только он осознал свое безобразие и свою уродливость, его характер ожесточился, он пал духом. Он стал меньше заботиться о сопровождении своей жены на вечера, балы, концерты. Он переселился за город, положил конец всем приглашениям, стал избегать людей под всякими предложениями. Любезности его друзей по отношению к его жене, которые он терпел до тех пор, пока гордость давала ему уверенность в своем превосходстве, сделали его ревнивым, вспыльчивым, подозрительным. Во всех тех, кто продолжал его посещать, он видел твердую решимость победить сердце его жены, которая оставалась у него в качестве последней гордости и последнего утешения. В это время прибыл наш креол с Мартиники по делам, от успеха которых зависело возвращение Бурбонов на французский престол. Его золовка приняла его очень хорошо. При крушении бесчисленных связей, которые у нее были, вновь прибывший имел преимущество, которое ему совершенно естественно давало положение брата в глазах господина М. Наш креол предвидел изоляцию, которая создастся вокруг дома его брата, как вследствие прямых ссор его брата со многими друзьями, так и вследствие тысячи его тайных способов отвадить и обескура-

жить посетителей. Не отдавая себе самому отчета в любовных мотивах, которые делали его ревнивым, креол одобрял это стремление изолироваться и даже благоприятствовал ему своими советами. Господин М. кончил тем, что удалился в особняк в Пасси, который через короткое время превратился в пустыню. Ревность питается самыми пустыми вещами; если она не знает, к чему привязаться, она пожирает самое себя и становится изобретательной; все служит ей пищей. Возможно, что молодая женщина стремилась к развлечениям, свойственным ее возрасту. Стены скрывали вид на соседние дома. Ставни были закрыты с утра до вечера. Несчастливая женщина была осуждена на невыносимое рабство, и господин М. держал себя рабовладельцем, опираясь на гражданское уложение и на право собственности, опираясь на такое состояние общества, в котором любовь не связана со свободными ощущениями любящих и разрешает ревнивому супругу держать свою жену за семью замками, как скряге его сундуки с деньгами, так как она лишь часть его инвентаря. Господин М. рыскал ночью с оружием вокруг дома, обходил его с собаками. Ему казалось, что он видит следы на песке, он путался в странных предположениях по поводу лестницы, которая очутилась на другом месте при содействии садовника. Сам садовник, 60-ти-летний пьяница, был приставлен к воротам в качестве сторожа. Дух фанатичности не знает границ в своих странностях и доходит до безрассудства. Брат, невинный соучастник всего этого, понял, наконец, что он работает над несчастьем молодой женщины, которую стерегли по целым дням, оскорбляли, лишили всего, что в состоянии развлечь богатую и счастливую фантазию, которая стала столь же мрачна и меланхолична, сколь прежде была свободна и весела. Она плакала и скрывала свои слезы, но следы их были ясны. Креола стали мучить угрызения совести. Решившись открыто объясниться со своей золовкой и исправить ошибку, происшедшую, без сомнения, из скрытого чувства любви, он пробрался однажды утром в рощицу, куда пленница ходила иногда дышать воздухом или ухаживать за своими цветами. Пользуясь этой ограниченной свободой, она знала, повидимому, что находится под надзором своего ревнивого супруга, так как при виде своего деверя, очутившегося в первый раз и неожиданно в ее присутствии, молодая женщина была чрезвычайно потрясена. Сложив руки, она с испугом крикнула ему: «Уходите, ради бога! Уходите!»

И, действительно, едва успел он скрыться в оранжерею, как вдруг появился господин М. Креол услышал крик. Он стал прислушиваться, но биение его сердца мешало ему понять хоть одно-

слово объяснения; бегство его, если бы супруг открыл его, могло придать печальный исход этому объяснению. Этот случай возбуждал креола. С этого дня он увидел необходимость быть защитником жертвы. Он решился отказаться от всякой сдержанности. Любовь может всем пожертвовать, но не своим правом покровительства, так как эта последняя жертва была бы жертвой труса. Он продолжал посещать своего брата, готовый открыто с ним поговорить, быть с ним откровенным, все ему сказать. Господин М. не питал еще подозрений по отношению к нему, но эта настойчивость брата вывела их. Не вдаваясь определенно в причины этого интереса, господин М. стал недоверчиво относиться к брату, наперед рассчитав, к чему этот интерес может привести. Креол вскоре заметил, что его брат не всегда отсутствовал, как он потом утверждал, когда посетители напрасно звонили у ворот дома в Пасси. Слесарный подмастерье сделал ему ключ по модели тех, которые его хозяин сделал для господина М. После десятидневного отсутствия креол, мучимый страхом и самыми безумными химерами, ночью пробрался через стену, сломал решетку перед главными воротами, взобрался на крышу по лестнице и спустился по водосточной трубе под окно амбара. Громкие стоны побудили его незаметно добраться до стеклянной двери. То, что он увидел, заставило его сердце облиться кровью. Свет лампы освещал альков. За запавесками, с растрепанными волосами, с лицом красным от ярости, господин М., полунагой, свернувшись вблизи своей жены, на той же самой кровати, которую она не решалась оставить, хотя и всячески отстраняясь от него, осыпал ее всяческими упреками, свирепый, как тигр, готовый разорвать ее на части. «Да, говорил он ей, я безобразен, я чудовище, и я это слишком хорошо знаю, я впускаю тебе страх. Ты желаешь, чтобы тебя освободили от меня, чтоб мой вид не удручал тебя. Ты жаждешь того момента, который освободит тебя. Не возражай мне, я угадываю твои мысли по твоему испугу, по твоему сопротивлению. Ты краснеешь от недостойных насмешек, которые вызывают твое внутреннее возмущение против меня. Ты, без сомнения, считаешь минуты, когда я больше не буду осаждать тебя своей страстью и своим присутствием. Стой! Мной овладевают отвратительные желанья, стремление обезобразить тебя, сделать тебя похожей на меня, чтобы у тебя не осталось надежды утешаться с любовниками в том несчастии, что ты меня когда-то знала. Я разобью все зеркала этого дома, чтобы не видеть в них контраста, чтобы они больше не служили пищей для твоей гордости. Не правда ли, я должен был бы вывозить тебя в свет или пустить тебя одну, чтобы видеть, как каждый будет поощрять

твою ненависть ко мне. Нет, нет, ты не оставишь этого дома, не убив меня! Убей меня, сделай то, что я каждый день чувствую искушение сделать сам». И дикарь катался по кровати с громким криком, со скрежетом зубовым, с пеной на губах, с тысячью симптомов бешенства, сам нанося себе удары в своей ярости, вблизи этой несчастной женщины, которая расточала ему самые нежные ласки и патетические мольбы. Наконец она его укротила. Сострадание, без сомнения, заменило любовь. Но этого было недостаточно этому, ставшему столь страшным, человеку, страсти которого сохранили еще всю свою силу. Эта сцена повергла креола в глубокое уныние, он впал в оцепенение. Его охватил страх, и он не знал, к кому обратиться, чтобы спасти несчастную от этих пыток. Эти сцены, очевидно, повторялись каждый день, так как во время припадков судорог, которые за ними следовали, г-жа М. прибегала к пузырькам с лекарствами, которые были приготовлены для успокоения ее палача. Креол в данный момент был единственным представителем семейства г-на М. в Париже. В таких именно случаях особенно заслуживает проклятия медлительность судебных форм, беззаботность законов, которые не могут ни на шаг отступить от своей рутины, в особенности, когда дело касается женщины, существа, которому законодатель предоставил минимальные гарантии. Приказ об аресте мог бы предупредить несчастье, которое свидетель этого бешенства слишком хорошо предвидел. Он, однако, решился испробовать все средства, взять на себя последствия, так как его состояние давало ему возможность принести огромные жертвы и не бояться ответственности за слишком смелое предприятие. Уже несколько врачей из числа его друзей, такие же решительные, как и он, подготавливали вторжение в дом г-на М., чтобы констатировать моменты сумасшествия и насильно разлучить супругов, когда неожиданное самоубийство оправдало слишком поздние меры и разрубило гордые узел.

Конечно, для каждого, кто не ограничивается буквальным смыслом слов, это самоубийство было *убийством*, совершенным мужем. Но оно было также результатом необыкновенной ревности. Ревнивец нуждается в рабе, ревнивец может любить, но любовь для него только ощущение, питающее ревность. *Ревнивец прежде всего частный собственник*. Я помешал креолу учинить бесполезный и опасный скандал, опасный прежде всего для памяти любимой им женщины, так как праздная публика обвинила бы ее в супружеской измене и в связи с братом мужа. Я присутствовал на похоронах. Никто, кроме брата и меня, не знал истины. Я слышал двусмысленные предположения о самоубийстве, но я не обратил на них

внимания. Краску стыда вызывает общественное мнение, если видишь его вблизи, с его трусливым озлоблением и грязными предположениями. Общественное мнение слишком расколото изолированностью людей, слишком невежественно, слишком испорченно, так как каждый чужд себе, и все взаимно чужды друг другу.

Редко, впрочем, проходила неделя, которая бы не приносила мне других разоблачений такого же рода. В том же году я зарегистрировал любовные связи, окончившиеся, благодаря нежеланию родителей дать свое согласие, двойным самоубийством.

Я отмечал также самоубийства светских людей, доведенных до импотентности в цвете лет, которых злоупотребление наслаждением привело в состояние непреодолимой меланхолии.

Многие лишают себя жизни под гнетом мысли, что медицина, после долгих бесполезных мучительств посредством изнуряющих средств, окажется неспособной избавить их от их болезней.

Можно было бы составить замечательный сборник цитат знаменитых авторов и антологию из стихотворений, которые пишут люди в отчаянии, когда хотят подготовить свою смерть с особенным блеском. В тот момент удивительного хладнокровия, который следует за решением умереть, в душе является какое-то заразительное воодушевление, и оно изливается на бумагу, даже у представителей тех классов, которые лишены всякого образования. Собираясь с силами перед жертвой, глубину которой они обдумали, вся сила их концентрируется в одном характерном выражении, исполненном горячего чувства.

Некоторые из этих стихотворений, погребенные в архивах, представляют собой настоящие произведения искусства. Какой-нибудь тупоголовый буржуа, вся душа которого погружена в дела и для которого бог — в его торговле, найдет все это очень романтичным и, пожалуй, с насмешкой отнесется к страданиям, которых он не понимает. Его пренебрежение нас не удивит. Чего же другого ожидать от людей, которые даже не подозревают, что они изо дня в день понемногу убивают себя, свою человечность. Но что сказать о тех добрых людях, которые мнят себя богобоязненными, образованными, а между тем, повторяют эти гнусности? Без сомнения чрезвычайно важно, чтобы бедняки переносили жизнь, хотя бы в интересах привилегированных классов современного общества, которых разорило бы массовое самоубийство черни. Но разве нет другого средства сделать сносным существование этого класса, кроме оскорблений, насмешек и красивых слов? Притом, у этих нищих известное величие души, если они, решив умереть, сами себя уничтожают, а не лишают

себя жизни путем знакомства с эшафотом. Правда, чем больше развивается наша торговая эпоха, тем реже становятся эти благородные самоубийства нищеты, место их занимает известная враждебность, и несчастные без оглядки пускаются по пути воровства и убийства. Легче получить смертную казнь, чем работу.

Роясь в полицейских архивах, я нашел только один единственный очевидный пример трусости в списке самоубийств. Речь шла о молодом американце, Вилфриде Рамзае, который лишил себя жизни, чтобы не драться на дуэли.

Классификация различных причин самоубийства является классификацией *несовершенств современного общества*. Один лишил себя жизни, потому что интриганы похитили у него его изобретение, причем изобретатель, впавший в самую ужасную нужду вследствие долгих научных исследований, не имел даже средств купить себе патент. Другой убил себя, чтобы избежать со стороны кредиторов огромных расходов и унижительного преследования, которые, впрочем до того обычны, что люди, руководящие общественными интересами, ни в малейшей степени ими не интересуются. Третий лишил себя жизни, потому что не мог найти работы, протрадав долгое время от оскорблений и скарденности тех, которые у нас являются бесконтрольными распределителями работы.

Один врач консультировал меня однажды по поводу одной смерти, в которой он считал виновным самого себя.

Однажды вечером при возвращении в Бельвиль, где он жил, он был задержан на маленькой улице, в глубине которой находилась его дверь, женщиной под вуалью. Дрожащим голосом она попросила выслушать ее. В некотором отдалении прогуливалась особа, черты лица которой он не мог разглядеть. За ней следил какой-то мужчина. «Милостивый государь, — сказала она ему, — я беременна, и если это откроется, я буду опозорена. Моя семья, общественное мнение, порядочные люди мне не простят. Женщина, доверие которой я обманула, сойдет с ума и непременно разведется со своим мужем. Я защищаю не свое личное дело. Только моя смерть может предотвратить скандал. Я хотела лишить себя жизни, но настаивают, чтобы я жила. Мне сказали, что вы сострадательный человек, и это дало мне уверенность, что вы не захотите быть соучастником убийства ребенка, если даже этого ребенка еще нет на свете. Вы видите, речь идет об аборте. Я не унижусь до просьбы, до оправдания того, что кажется мне самым ужасным преступлением. Я уступила только чужим просьбам, обратившись в вас, так как сумею умереть. Я призываю смерть, и для этого мне никого не нужно. Достаточно представиться, что

находишь удовольствие в поливке сада; надеть деревянные башмаки, выбрать скользкое место, где каждый день ходят за водой, устроить так, чтобы исчезнуть в водоеме, а люди потом скажут, что случилось «несчастье». Я все предусмотрела, милостивый государь. Я хотела, чтобы это произошло завтра утром, я всей душой к этому готова. Все подготовлено. Мне велели вам это сказать, и я вам говорю. Вы должны решить, произойдет ли одно убийство или два убийства. Я малодушно дала клятву, что все без утайки предоставлю вашему решению. — Решайте». «Эта альтернатива, — продолжал врач, — привела меня в ужас. Голос этой женщины звучал чисто и гармонично. Рука, которую я держал в своей, была топка и нежна, ее открытое и решительное отчаяние указывало на большой ум. Но речь шла об одном пункте, по поводу которого я испытывал страх, хотя в тысяче случаев, — например, при тяжелых родах, когда вопрос идет о том, спасти ли мать или ребенка, политика или человечность без колебаний по своему усмотрению решают вопрос». «Бегите за границу», — сказал я. «Невозможно, — ответила она, — об этом нечего и думать». «Примите надлежащие меры предосторожности». «Я не могу их принять, я сплю в одной комнате с той женщиной, дружбу которой я предательски обманула». «Это ваша родственница?» — «Я не могу вам больше отвечать». «Я бы многое отдал за то, продолжал врач, чтобы спасти эту женщину от самоубийства или от преступления, или чтобы она вышла из этого конфликта без моей помощи. Я обвинял себя в варварстве, так как пугался соучастия в преступлении. Борьба была ужасная. Затем демон стал мне нашептывать, что желание умереть еще не есть самоубийство; что, отнимая у скомпрометированных людей возможность сделать зло, принуждаешь их отказаться от своих пороков. Я догадывался о роскоши по вышивкам на ее рукавах и о богатстве по изящной дикции ее речи. Ведь есть такой взгляд, что к богатым надо проявлять меньше сострадания. Мое чувство собственного достоинства возмущалось против мысли соблазна деньгами, хотя до сих пор вопрос этот не был затронут, что было лишним доказательством деликатности и уважения ко мне. Я дал отрицательный ответ. Дама быстро удалилась. Стук кабриолета убедил меня, что я не могу уже исправить того, что сделал.

«Через две недели газеты принесли мне разгадку этой тайны. Молодая племянница парижского банкира, не старше 18 лет, любимая воспитанница своей тетки, которая не отпускала ее от себя со времени смерти ее матери, поскользнувшись, упала в ручей в имении ее опекунов, в Вильмобле, и утонула. Ее опекун был безутешен.

Этот трусливый соблазнитель мог, в качестве дяди, предаваться своему горю на глазах общества».

Как мы видим, за отсутствием лучшего выхода, самоубийство часто является последним средством против неурядиц личной жизни.

Среди причин самоубийства мне часто приходилось отмечать потерю должности, отказ в работе, внезапное понижение заработной платы, вследствие чего семьи лишались необходимых средств к существованию, так как большая часть из них живет без всяких сбережений.

В то время, когда в королевском дворце сокращали гвардию, вместе с другими был удален один человек, — как и все остальные, без особых церемоний. Его возраст и отсутствие протекции не давали ему возможности вступить обратно в армию. В промышленности он не мог найти работы вследствие своей неприспособленности. Он старался поступить в гражданскую администрацию. Многочисленные конкуренты, как и везде, заградили ему и этот путь. Он впал в тупое отчаяние и лишил себя жизни. В кармане у него нашли письмо с объяснением всех обстоятельств дела. Жена его была бедной швеей. Его две дочери, 16 и 18 лет, работали вместе с ней. Тарно, наш самоубийца, в оставленных им бумагах говорил, «что, так как он не может больше быть полезным своей семье и принужден быть в тягость своей жене и детям, он счел своей обязанностью лишить себя жизни, чтобы избавить их от этого бремени. Он поручает своих детей попечению герцогини Ангулемской. Он надеется, что герцогиня, благодаря своей доброте, будет иметь сострадание к их несчастью». Я составил доклад полицейскому префекту Англию, и, после того как бумаги прошли все инстанции, герцогиня послала несчастному семейству Тарно 600 франков.

Жалкая помощь, без сомнения, после такой потери! Но как могла бы одна семья помочь всем несчастным, если, принимая все в расчет, вся Франция в настоящий момент не в состоянии прокормить их всех. Благотворительности богатых нехватило бы для этого, если бы даже весь наш народ был религиозен, а он далек от этого, *Самоубийство уничтожает самую значительную часть затруднений, шафот — остальные. Только от преобразования всей нашей системы сельского хозяйства и промышленности можно ожидать источников дохода и действительного богатства.* На бумаге легко можно прокламировать конституции, право каждого гражданина на образование, на труд и прежде всего на известный минимум средств существования. Но тем, что все эти великодушные желания написаны на бумаге, сделано еще далеко не все; остается еще

задача оплодотворения этих либеральных идей материальными и разумными социальными учреждениями.

Языческий древний мир оставил нам великолепные творения. Отстанет ли современная свобода от своего соперника? Кто спаяет воедино оба эти мощные факторы?

На этом мы заканчиваем выписку из книги Пэше.

В заключение мы приведем одну из его таблиц о ежегодных самоубийствах в Париже.

Как следует из другой, приведенной Пэше таблицы, за время 1817 — 1824 гг. (включительно) в Париже отмечено 2 808 случаев самоубийства. На самом деле число их больше. Например, относительно утопленников, трупы которых выставляются в морге, только в чрезвычайно редких случаях известно, были ли то самоубийцы или нет.

Таблица самоубийств в Париже в течение 1824 г.

Количество.	{ 1-ое полугодие — 198 }	Итого	371
	{ 2-ое » — 173 }		
Из них попытку самоубийства пережили			125
» » » » не пережили			246
Мужского пола			239
Женского »			132
Холостые			207
Женатые			164
Род смерти	{	Тяжелое добровольное падение	47
		Удавление	38
		Портновскими инструментами	40
		Огнестрельным оружием	42
		Отравление	28
		Удушение угаром	61
Мотивы	{	Удушение от добровольного падения в воду	115
		Любовная страсть, домашняя ссора и огорчение	71
		Болезни, пресыщение жизнью, слабые умственные способности	126
		Дурное поведение, игра, лотерея, боязнь упреков и наказаний	53
		Несчастье, нужда, потеря места, прекращение работы	59
		Неизвестные мотивы	60

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

А.

- Аарон (из Библии) — 404.
 Авраам (из Библии) — 127, 132, 134.
 Адам (из Библии) — 565.
 Алисон (Alison), Арчибальд (1792 — 1867) — английский историк, автор «Истории Европы», написанной с торийской точки зрения, и «The principles of Population» 1840 — 30, 330, 383, 407, 411, 412, 413, 417, 419, 421, 549, 551.
 Алисон (Alison), Уильям (1790—1859) — выдающийся медик, профессор Эдинбургского университета, изучал вопрос о распространении эпидемий в связи с пауперизмом — 330, 392, 393.
 Анаксагор (500 — 428 до нашей эры) — из Клавомен, греческий философ — 157.
 Антоний, Марк (83 — 31 до нашей эры) — римский полководец и триумvir. — 150.
 Аристид (530 — 467 до нашей эры) — афинский государственный деятель и полководец — 150.
 Аристотель (384 — 322 до нашей эры) — великий греческий философ — 631.
 Аркрайт (Arkwright), Ричард (1732 — 1792) — промышленный деятель, изобретатель прядильной машины — 29, 305, 306, 307, 497.
 Арно (Arnauld), Антуан (1612 — 1694) — французский философ картезианской школы, янсенист — 156.
 Ашворт (Ashworth), Эдмунд — фабрикант в Ланкашире, либерал — 447, 470, 506.
 Аштон (Ashton) — фабрикант из Гайда, убитый в 1831 г. — 502.
 Аштон, Томас — фабрикант — 470.

Б.

- Бабеф (Babeuf), Гракх (1760 — 1797) — французский коммунист, организатор заговора против Директории, составил программу «заговора равных» (бабвисты) — 67, 147, 160.

- Бадино (из романа Сю «Парижские тайны») — 237.
 Базир (Bazire), Клод (1764 — 1794) — деятель великой французской революции, член Конвента, сторонник Дантона — 607.
 Байрон, Джордж - Гордон (1788 — 1824) — знаменитый английский поэт — 520.
 Барбару (Barbaroux), Шарль (1767 — 1794) — деятель великой французской революции, жирондист — 604, 605, 606.
 Баргам, д-р — 522.
 Бардслей (Bardsley), Самюэль (1764 — 1851) — манчестерский врач — 416.
 Бармекиды — персидская фамилия, имела большое влияние при халифах Аббасидах; «стол Б.» взято из сказок «1001 ночи» — 570.
 Барер де-Вьезак (Barère de Vieuzac), Бертран (1755 — 1841) — деятель великой французской революции, член Конвента, сторонник Робеспьера, затем Наполеона — 11, 605.
 Барри, Давид, д-р, член парламентской комиссии — 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450.
 Басси (Bussey), Питер — трактирщик из Бредфорда, чартистский оратор и организатор восстания в 1839 г. После неудачи бежал на континент — 511.
 Бауэр, Бруно (1807 — 1882) — немецкий теолог, левый гегельянец, защищал точку зрения «чистой критики» — 23, 58, 60, 101, 102, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 145, 146, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 184, 185, 186, 188, 189, 198, 224, 225, 226, 244, 247, 248, 249, 633.
 Бауэр, Эдгар (1820 — 1886) — брат Бруно Бауэра, немецкий публицист, левый гегельянец. — 36, 37, 38, 39, 41, 42, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 73, 101, 110, 176, 177, 187, 188, 221.

Бейль (Bayle), Пьер (1647 — 1706) — французский публицист и философ картезианской школы, автор «Dictionnaire historique et critique» — 156.

Беймлер, священник — 260.

Бёме (Böhme), Яков (1575 — 1624) — немецкий философ-мистик, по профессии сапожник; в его мистике можно найти идею диалектического процесса; Гегель считал Б. своим предшественником — 157.

Бенда (Benda), Иоган-Вильгельм-Отто (1775 — 1832) — немецкий юрист, городской голова в Ландесгуте — 27.

Бентам, Иеремия (1748 — 1832) — английский философ-моралист — 161, 162, 163, 210, 220, 227, 520.

Бентли и Уайт — фабриканты в Бери — 503.

Беро (Béraud) — полицейский комиссар в Париже, написал книгу о проституции — 37, 187.

Бирли — фабрикант — 508.

Бирон, Арман-Луи де-Гонто, герцог (1753 — 1794) — французский генерал, сподвижник Лафайета, командовал революционными войсками, завоевал Ниццу, был командирован в Вандею, своими действиями здесь вызвал недовольство Конвента и был казнен — 606.

Бишон, Тереза — работница — 327.

Блекстон (Blackstone), Уильям (1723 — 1780) — известный английский законовед и судья. Основной труд «Commentaries on the law of England», (1765 — 1769) — 228.

Бов — псевд. Диккенса (1812 — 1870) — 25.

Бомон (Beaumont), Густав-Август (1802 — 1866) — политический деятель, юрист и публицист, изучал вместе с Токвилем пенитенциарное право в Соед. Штатах, написал вместе с Токвилем «Système pénitentiaire aux Etats Unis» (1833) — 219.

Бомонт — хирург — 441, 445.

Бортвик, Питер (1804 — 1852) — член парламента из группы «Молодая Англия», выступал против колониального рабства — 569.

Боуерс — фабрикант — 467.

Брицдли, Джемс (1716 — 1772) — строитель канала герцога Бриджуотерского — 313.

Брокльгерст — фабрикант шелковых материй — 480.

Брум (Brougham), Генри-Питер — член палаты лордов, виг — 487.

Брут, Марк-Юлий (85 — 42 до нашей эры) — римский республиканец, друг Цезаря, организатор заговора против Цезаря-диктатора — 150.

Брюггеман, Теодор (1796 — 1863) — немецкий педагог и политический деятель консервативного направления — 26, 27.

Буало (Boileau), Жак (1752 — 1793) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист — 604.

Букингем — английский путешественник — 262.

Буонаротти, Филипп (1761 — 1837) — французский коммунист, участник «заговора равных» Бабефа — 147.

Бурбоны — французский род, к которому принадлежали государи французские, испанские и неаполитанские — 105, 153, 607, 674, 680.

Бэкон (Bacon), Франциск (1561—1626) — родоначальник английской опытной философии — 7, 157, 158.

Бали, Уильям — фабрикант — 513.

Бэнс (Baines), Эдуард (1800 — 1890) — издатель «Leeds Mercury», либерал, автор «History of the cotton manufacture of Great Britain» (1835) — 424.

Берли — фабрикант в Манчестере, торий — 513.

Бюво (Buzot), Франсуа-Леонар-Никола (1760 — 1793) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист — 605, 606, 607.

Буше (Buzhez), Филипп (1796—1865) — философ-сен-симонист и историк, политический деятель революции 30-го и 48-го гг. — 148, 244.

В.

Валазе (Valazé), Шарль-Элеонор дю-Фриш де (1751 — 1793) — юрист, деятель великой французской революции, член Конвента, жирондист — 605.

Валанс (Valence), Сир-Мари-Александр, граф де (1757 — 1822) — французский генерал, сподвижник Дюмурье в Бельгии, участник наполеоновских кампаний — 606.

Вейль (Weil), Карл (1806 — 1878) — немецкий еврей, публицист либерального направления. Издавал «Constitutionelle Jahrbücher» в 1842 — 1846 гг. 194.

Вейтлинг, Вильгельм (1808 — 1871) — немецкий утопический коммунист, по профессии портной — 15.

Веллингтон, Артур (1769 — 1852) — «железный герцог», победитель Наполеона, национальный герой Англии — 404.

Велькер (Welcker), Карл-Теодор (1790 — 1869) — либеральный публицист и по-

- литический деятель, профессор государственного права, издавал вместе с Роттеком «Staatslexikon» — энциклопедию государственных наук — 152.
- Верньо (Vergnaud), Пьер (1753 — 1793) — деятель великой французской революции, жироидист — 604, 606.
- Виганд, Отто (1795 — 1870) — немецкий издатель — 247, 248, 249.
- Видок (Vidosq), Франсуа (1775—1857) — авантюрист, шеф полиции, безопасности в Париже — 96, 195.
- Виктория — английская королева (1837—1901) — 328.
- Виллегарделле (Villegardelle), Франсуа (род. 1810) — французский утопический коммунист, издал «Code de la Nature» Морелли — 622.
- Виллис (из романа Сю «Парижские тайны») — 91, 238.
- Воган, Роберт (1795 — 1868) — священник-конгрегационалист и историк — 411.
- Вольвей (Volney), Константин-Франсуа, граф де (1757 — 1820) — французский писатель, путешественник и историк, был членом Генеральных штатов в 1789 г., участвовал в перевороте 18 брюмера. Основная работа: «Les Ruines ou Méditations sur les révolutions des empires» (1791) — 159.
- Вольтер (1694 — 1778) — знаменитый французский философ, историк и драматург, вождь французского «просвещения» — 155.
- Вольф, Христиан (1679 — 1754) — знаменитый немецкий философ-рационалист — 89.
- Вуд, Джеймс и Френсис — фабриканты в Брэдфорде — 445, 446, 504.
- Г.
- Гаде (Guadet), Маргерит-Эли (1735 — 1794) — член Конвента, жироидист — 602, 606, 609, 610.
- Гамильтон, Александр — герцог (1767—1852) — владелец угольных копей в Шотландии, член парламента, виг — 530.
- Ганс, Эдуард (1797 — 1839) — немецкий юрист, ученик Гегеля — 211.
- Гартли (Hartley), Давид (1705 — 1757) — английский врач и философ, основатель физиологической психологии, учитель Пристли — 158.
- Гарун-аль-Рашид (786 — 809) — багдадский халиф, герой сказок «1001 ночи» — 212.
- Гаскель — врач в Манчестере, либерал — 30, 360, 396, 418, 421, 422, 569.
- Гаслам, фабриканты — 533.
- Гассенди (Gassendi), Пьер (1592—1655) — выдающийся французский физик, математик и философ, возродивший атомистическую философию и этику Эпикура — 155.
- Гегель, Георг - Фридрих - Вильгельм (1770 — 1831) — знаменитый немецкий философ — 16, 29, 39, 40, 55, 60, 82, 102, 106, 109, 110, 111, 114, 129, 130, 141, 154, 161, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 199, 200, 211, 224, 225, 226, 235, 248, 299, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 645, 646, 648, 649, 650, 651, 652, 661.
- Гельвеций, Клод-Адриан (1715—1774) — французский философ-материалист — 156, 159, 161, 162, 520.
- Геннен — шотландский врач — 331.
- Гентсман (Huntsman), Бенджамин (1704 — 1776) — открыл способ литья стали (около 1750 г.) — 311.
- Гесс (Hess), Моисей (1812 — 1872) — немецкий литератор, представитель так называемого «истинного социализма» — 626.
- Гете, Иоганн-Вольфганг (1749 — 1832) — великий немецкий поэт и натуралист — 208.
- Гизби — железозаводчик из Питтсбурга (Огайо) — 262.
- Гиналь, священник — 262.
- Гиндли — фабрикант, член парламента, «решительный» радикал — 569.
- Гиррихс (Hirrichs), Герман-Фридрих-Вильгельм (1794 — 1861) — профессор философии, ученик и последователь Гегеля, примыкал к старогегельянскому направлению — 115, 116, 117, 118, 123, 130, 135, 167, 168, 169, 170, 171, 248.
- Гирдель (Hirzel) — цюрихский корреспондент «Allgemeine Literaturzeitung» — 175, 176, 177, 178, 243.
- Гирш (Hirsch), Самсон-Рафаил (1808 — 1888) — ортодоксальный еврейский теолог и моралист. Совместно с Гейгером основал в Бонне еврейское религиозное общество в 1851 году — 112, 113.
- Гобгауз, Джон-Кэм (1786 — 1869) — английский радикал, член парламента, инициатор фабричных законов 1825 и 1831 гг. — 456, 458.
- Гоббс (Hobbes), Томас (1588 — 1679) — знаменитый английский философ-материалист — 155, 157, 158.
- Годвин, Уильям (1756 — 1836) — английский литератор, один из осно-

- вателей мирного анархизма, автор «Исследования о политической справедливости и об ее влиянии на общую добродетель и общее счастье» — 520.
- Гокинс (Hawkins) — врач, член фабричной комиссии 1833 г. — 400, 432, 436, 437, 442, 446, 448, 450, 457, 463.
- Голланд, П.-Г. — врач в Манчестере — 398, 399.
- Гольбах, Поль-Анри (1723 — 1789) — французский философ-материалист — 159, 162, 520.
- Гомер — действительный или мнимый автор греческого эпоса «Илиада» и «Одиссея» — 67, 222.
- Горвас — типограф — 608.
- Горя — член парламентской комиссии для обследования детского труда — 404, 405, 486.
- Горнер, Леонард (1785 — 1864) — английский геолог и социальный реформатор, фабричный инспектор — 431, 459.
- Граун (из романа Сю «Парижские тайны») — 235, 236, 237, 239, 240.
- Грег, Роберт-Гайд — крупный манчестерский фабрикант — 447, 470.
- Грегуар (Grégoire), Анри (1750 и 1831) — французский священник, известный деятель французской революции, член Конвента, член Совета 500 во время Директории — 604.
- Гроций (Grotius или de Groot), Гуго (1583 — 1645) — знаменитый голландский юрист, государствовед, который в своем «De jure belli ac pacis» (1625) положил начало новой философии естественного права — 68, 69.
- Группе, Отто-Фридрих (1804 — 1876) — незначительный немецкий литератор и философ, выступивший с памфлетами против Бауэра — 188, 633.
- Гранджер — член парламентской комиссии для исследования детского труда — 404, 474, 476, 477, 484.
- Грэхэм (Graham), Г. — английский статистик — 398.
- Грэхэм — рабочий — 503.
- Грэхэм, Джеймс-Роберт (1792 — 1861) — английский политический деятель, министр внутренних дел в кабинете Пилля — 31, 33, 460, 461.
- Гуд, Томас (1794 — 1845) — шотландский поэт-юморист, автор «Песни о рубашке» — 494.
- Гэй (Gay), Жюль (род. 1807) — французский коммунист, примыкал к Дезами, издавал журнал «Le Communiste» в 1849 г. — 161.
- Гэлвей, Анна — работница — 326.

Д.

- Давид, врач-негр (из романа Сю «Парижские тайны») — 91, 196, 209, 238, 240.
- Дантон, Жорж-Жак (1759 — 1794) — выдающийся политический деятель эпохи великой французской революции, министр юстиции после 10 августа 1792 г., член Конвента, примыкал к Горе, в борьбе между Коммуной и жирондистами держался оппортунистической тактики — 149, 150, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 610.
- Дарвиль, Клеменция, маркиза де (из романа Сю «Парижские тайны») — 85, 86, 226, 227, 239.
- Деви (Devy), Гемфри, сэр (1778—1829) — знаменитый английский химик — 312.
- Дезами (Dézamy), Теодор (1803—1850) — французский коммунист и революционер, примыкал сперва к Каба, затем к Бланки — 161.
- Декарт (Descartes), Рене (1596—1650) — великий французский мыслитель, родоначальник новой рационалистической философии и математико-механического метода — 153, 154, 155, 159, 161.
- Делонэ (Delaunay d'Angers), Жозеф (1746 — 1794) — деятель великой французской революции, член Конвента; примыкал к Горе, был обвинен в спекуляции, гильотинирован вместе с дантонистами — 605.
- Демокрит из Абдеры (род. ок. 460 г. до нашей эры) — знаменитый греческий философ, ученик Левкиппа, родоначальник атомистического, механического материализма — 155, 157.
- Демосфен (ок. 384 г. — 322 до нашей эры) — выдающийся афинский государственный деятель и писатель; знамениты его речи, направленные против Филиппа Македонского — 150.
- Демулэн (Desmoullins), Камилл (1760 — 1794) — знаменитый журналист эпохи великой французской революции, в Конвенте примыкал к группе Робеспьера, в декабре 1793 г. начал издавать журнал «Le vieux Cordelier», посвященный борьбе с террором. 5 апреля 1794 г. гильотинирован вместе с Дантоном — 610.
- Денкомб (Duncombe), Томас (1796 — 1861) — член Нижней палаты, радикал, с 1843 г. чартист — 316, 536, 560.
- Денферлин, Дэнди — фабрикант — 443.
- Дестют-де-Траси (Destutt de Tracy), Антуан-Луи-Клод, граф (1754—1836) — французский философ, глава школы

«идеологов», — последователь английских эмпириков — 51, 667.

Джонс, д-р — статистик манчестерского округа — 433.

Джонсон — рабочий — 586.

Дидро, Дени (1713 — 1784) — знаменитый французский философ-материалист — 159, 520.

Дивраэли, Бенджамен (1804 — 1881) — знаменитый английский государственный деятель — 415, 569.

Додвэлл (Dodwell), Генри (ум. в 1784) — английский философ, деист, написал памфлет против христианства — 158.

Дон-Кихот (из романа Сервантеса) — 242.

Дринкуотер — член фабричной комиссии 1833 г. — 441, 443, 465.

Дуглас — фабрикант в Пендльтоне — 442.

Дунс Скот, Иоанн (ок. 1274 — 1308) — знаменитый философ-схоласт, волонтирист — 157.

Дюбуа Крансе (Dubois Crapacé), Эдмон-Луи-Алексис (1747 — 1814) — видный деятель великой французской революции, член Конвента, один из организаторов революционной армии, член Совета 500 при Директории, в 1799 г. — военный министр — 608.

Дюко (Ducos), Рожер, граф (1754 — 1816) — деятель великой французской революции, в 1794 г. — председатель Якобинского клуба, в 1799 г. — член Директории, участвовал в перевороте 18 брюмера — 610.

Дюмурье (Dumouriez), Шарль-Франсуа (1739 — 1823) — французский генерал, в 1791 г. примкнул к жирондистам, был командующим революционной армией, в апреле 1793 г. изменил делу революции и перешел на сторону австрийцев — 606, 608, 609.

Дюпюи (Dupuis), Шарль-Франсуа (1742 — 1809) — французский ученый, философ и политический деятель (член Конвента, ватем — Совета 500). Его основной труд «Происхождение всех религиозных культов» (1795), наряду с «Руинами» Вольяня, был главной книгой антирелигиозной пропаганды — 159.

Е.

Елизавета Тюдор — королева английская (1533 — 1603) — 8.

Ж.

Жермен (из романа Сю «Парижские тайны») — 197, 231, 239.

Жирар (Girard), Филипп (1775—1845) — французский фабрикант, ввел машинное прядение льна — 309.

Жозеф Эгалитэ (принц Орлеанский), см. Филипп Эгалитэ.

Жорж, m-ше (из романа Сю «Парижские тайны») — 202, 203, 204, 206, 239.

З.

Зак, Карл-Генрих (1789 — 1875) — протестантский теолог, ученик Шлейермахера, профессор теологии в Бонне — 236.

И.

Ибетсон, фабрикант — 502.

Иисус Христос — 87, 131, 193, 244, 404, 405, 633.

Иоанн — евангелист — 405.

К.

Кабанис (Cabanis), Пьер-Жан (1757—1808) — французский врач и философ, развивал мысль о зависимости способностей человека от его физической организации — 154, 155.

Кабрион (из романа Сю «Парижские тайны») — 98, 99.

Кабэ (Cabet), Этьен (1788 — 1856) — французский коммунист-утопист. Основной труд «Путешествие в Икарию» (1839) написан под влиянием «Утопии» Мора. Основал коммунистическую колонию Наувоо в Иллинойсе — 161, 622.

Камбасерес (Cambacères), Жан-Жак-Режи де (1753 — 1824) — юрист, член Конвента, голосовал за жизнь короля и жирондистов, после 18 брюмера был вторым консулом, участвовал в составлении Code Civil — 605.

Камбон (Cambon), Пьер-Жозеф (1756 — 1820) — член Конвента, республиканец; требовал агрессивной внешней политики, умер в эмиграции — 605.

Кант, Иммануил (1724 — 1804) — великий немецкий философ, положивший начало немецкому идеализму, предшественник Фихте, Шеллинга и Гегеля — 211.

Карл I, — король английский (род. в 1600 — казнен в 1649) — 291.

Карл II, — король английский (1630 — 1685) — вступил на престол в 1660 г. — 567.

- Карлейль (Carlyle), Томас (1795 — 1884) — английский писатель и историк — 30, 362, 383, 384, 386, 409, 504, 550, 553, 554, 570.
- Картер — полицейский чиновник — 326.
- Картрайт (Cartwright), Эдмунд (1743 — 1823) — изобретатель механического ткацкого станка — 306.
- Кассий, Кай-Лонгин, участник заговора Брута против Цезаря — 150.
- Катялина (180 — 62 г. до нашей эры) — глава демократического заговора 63 года против римских землевладельцев, во главе которых стоял Цицерон — 150.
- Катон (234 — 149 до нашей эры) — так называемый «цензор нравов», восстановитель древне-римской строгости нравов и стоических добродетелей — 150.
- Кауелль (Cowell) — член фабричной комиссии 1833 г. — 437, 442, 447, 449, 450.
- Кей (Kay), Джеймс-Филипп (1804 — 1877) — врач, либерал, общественный деятель — 7, 344, 355, 356, 358, 359, 360, 385, 441, 442, 445, 463.
- Кевз (Quesnay), Франсуа (1694 — 1774) — придворный врач Людовика XV, выдающийся экономист, основатель школы физиократов — 617.
- Кеннеди, фабрикант — 464.
- Керсэи (Kersaint), Арман-Гью-Симон граф де (1742 — 1793) — морской офицер, член Конвента, жирондист, гильотинирован 5 декабря 1793 г. — 604.
- Китчен, фабрикант в Шеффилде — 503.
- Клавдий, римский император (10 до нашей эры — 54 г. нашей эры) — 150.
- Кобден (Cobden), Ричард (1804 — 1865) — английский экономист, пацифист, сторонник свободы торговли, основал в 1838 г. Лигу против хлебных пошлин (Anti-Corn-Law League) — 581.
- Ковард (Coward), Уильям (1657—1725) — врач и философ, последователь Локка, деист. Основная работа: «Second thoughts, concerning human soul» (1702) — 158.
- Кодр — последний легендарный царь афинский (XI в. до нашей эры) — 150.
- Коллинс (Collins), Антоний (1676 — 1729) — английский философ, сенсуалист, последователь Локка. Основная работа: «Discourse on the free-thinking» (1713) — 158.
- Коллинс, Дж. — английский социалист, основал в 1813 г. коммуны в штате Нью-Йорк — 262.
- Кондильяк (Condillac), Этьен, Боно де (1715 — 1780) — французский философ сенсуалист — 156, 158, 159.
- Конт (Comte), Шарль (1782 — 1837) — французский публицист либерального направления, автор книги «Traité de la propriété» (1834) — 42, 64, 65, 66.
- Коуан, врач из Глазго — 398.
- Креме (Crémieux), Исаак - Адольф (1796 — 1880) — французский еврей, адвокат и политический деятель (министр юстиции), боролся за уравнение правового положения евреев в остальных государствах, президент Alliance Israélite Universelle — 143.
- Крепе (Crétet), Эммануил (1747—1809) — министр внутренних дел Наполеона I — 10.
- Кромптон, Самуэль (1753 — 1827) — изобретатель мюль - машины — 29, 306.
- Круг, Вильгельм - Траугот (1770 — 1842) — немецкий философ, полемизировал с Кантом и Фихте с точки зрения «ядравого смысла» — 180.
- Кутон (Couthon), Жорж (1755 — 1794) — деятель великой французской революции, член Конвента, сторонник Робеспьера, был гильотинирован вместе с Робеспьером и Сен-Жюстом — 610.

Л.

- Лайель, Чарльз (1797 — 1875) — знаменитый английский геолог — 536.
- Лакруа (Lacroix), Жан-Франсуа (1754 — 1794) член Конвента, был гильотинирован вместе с Дантоном — 605, 610.
- Ламет (Lameth), Шарль и Александр — из аристократического рода маркизов Ламет, вступили в революционную армию и примкнули к фельянам, эмигрировали после 10 августа 1792 г. и вернулись при Наполеоне — 602.
- Ламеттри (Lamettrie), Жюльен-Офр., де (1709 — 1851) — французский философ-материалист, врач по образованию, основной труд «L'homme-machine» (1748). — 154, 155, 159.
- Ланжуаи (Lanjuinais), Жан-Дени, граф (1753 — 1827) — политический деятель времени революции, член Конвента, примыкал к жирондистам — 606.
- Лапорт, священник (из романа Сю «Парижские тайны») — 203, 204, 206, 220.
- Ларивьер (Larivière), Пьер - Франсуа (1761 — 1838) — член Конвента, примыкал к жирондистам, после 9 термидора перешел в лагерь роялистов — 606.
- Ласурс (Lasource), Марк-Давид-Альба (1763 — 1793) — член Конвента, жирондист — 608, 609.

- Лаудон (Loudon) — член фабричной комиссии 1833 г. — 441, 446, 448, 450.
- Левассер (Levasseur de la Sarthe), Ренэ (1747 — 1834) — член Конвента, якобинец, оставил ценные мемуары — 607, 610.
- Легона — нотариус — 93.
- Лейбниц, Готфрид-Вильгельм (1646 — 1716) — величайший немецкий философ-рационалист, открыл дифференциальное и интегральное исчисления — 124, 154, 155, 156, 159.
- Леклерк (Leclerc), Теофиль (род. в 1771 г.) — один из вождей партии «бесеных» во время великой французской революции — 147.
- Леон, граф — основатель колонии коммунистов в Америке — 258.
- Лепелетье де-Сен-Фаржо (Lepelletier de Saint-Fargeau), Мишель (1760 — 1793) — член Конвента, был убит накануне казни короля роялистом Парри, составил план общественного и национального воспитания — 607.
- Леруа (Le Roy, Regius), Анри (1598 — 1679) — французский врач и философ, профессор в Утрехте, вадиллал картезианство против теолога Боэция — 154, 155.
- Ли — шотландский священник — 330.
- Ликург, легендарный спартанский законодатель — 150.
- Линдлей — изобретатель кружковой машины — 307.
- Лист (List), Фридрих (1789 — 1846) — немецкий экономист, сторонник системы протекционизма — 286, 287.
- Лифчайльд — член парламентской комиссии для исследования детского труда — 491.
- Лич, Джеймс — чартистский деятель, друг Энгельса — 425, 426, 427, 465, 466, 478, 480, 481, 581.
- Ловетт, Уильям (1800 — 1877) — чартист, последователь Оуэна, один из основателей «Лондонской ассоциации рабочих» — 510.
- Лодердаль (Lauderdale), Джеймс Мэтланд, граф (1759 — 1839) — английский экономист, критик Адама Смита, главный труд: «An inquiry into the nature and origin of public wealth» (1804) — 657.
- Локк (Locke), Джон (1632 — 1704) — знаменитый английский философ-сенсуалист, основной труд: «Essay concerning human understanding» (1690) — 154, 156, 158, 159, 160, 161.
- Лондондерри, Чарльз-Уильям, лорд (1778 — 1854) — владелец угольных копей в Дургаме — 535.
- Лот (из Библии) — 26.
- Лоу (Law), Жан де-Юристон (1671 — 1729) — экономист и финансист, создатель финансовой системы, основанной на неограниченном выпуске бумажных денег — 155.
- Лува (Louvét de Couvray), Жан-Батист (1760 — 1797) — французский литератор и политический деятель эпохи великой французской революции, член Конвента, жирондист — 605, 606.
- Лустало (Loustalot), Элизе (1761 — 1790) — публицист-якобинец, редактор газеты «Révolutions de Paris» — 106.
- Людовик XIV, король Франции (1638 — 1715) — 77.
- Людовик XVI, король Франции (1754 — 1793) — 607.
- Лютер (Luther), Мартин (1483 — 1546) — реформатор Германии, вел борьбу с Римом, политически стоял на стороне князей — 615, 616.
- Люснэ, герцогиня де (из романа Сю «Парижские тайны») — 86.

M.

- Майлс (Miles) — член Нижней палаты, в 1844 г. внес билль о регулировании отношений между хозяевами и рабочими — 560.
- Мак-Адам, Джон-Лоудон (1756 — 1836) — изобретатель и строитель особого типа шоссе — 312.
- Мак-Грегор, Сара, графиня (из романа Сю «Парижские тайны») — 85, 87, 89, 239, 240, 241, 242.
- Мак-Церт, Томас — рабочий — 449.
- Макеллар — д-р — 526.
- Макинтош (Macintosh) — член фабричной комиссии 1833 г. — 443, 448, 450, 457.
- Мак-Куэрри — рабочий — 503.
- Мак-Куллох, Джон-Рамзей (1789 — 1864) — английский экономист и статистик — 6, 307, 374, 571.
- Мак-Ферсон — ярдильница — 503.
- Малле-дю-Пан (Mallet du Pan), Жак (1749 — 1800) — швейцарский публицист, монархист, вращался в кругу французской эмиграции в Германии и в Лондоне. Оставил интересные мемуары. — 674.
- Мальбранш (Malebranche), Никола (1638 — 1715) — выдающийся французский философ. В своем главном сочинении «De la recherche de la vérité» (1675) сочетал мистицизм и рационализм — 153, 156, 159.
- Мальтус (Malthus), Роберт (1766 — 1834) — известный английский эконо-

мист, основной труд которого — «Опыт о законе народонаселения» (1798)—9, 373, 374, 428, 561, 563, 657.

Мандевиль (Mandeville), Бернар (1670—1733) — английский поэт-сатирик. В своей «Басне о пчелах» бичует пороки общества и проповедует утилитаризм — 160.

Манверс, Джон, лорд (1818 — 1906) — член парламента из группы «Молодая Англия» — 569.

Марат (Marat), Жан-Поль (1743—1793) — выдающийся деятель великой французской революции, сторонник террора, редактор «Ami du Peuple» — 105, 604, 606, 608, 609, 610.

Мария, «богородица» (из Евангелия) — 134, 248.

Мартен дю-Нор (Martin du Nord), Никола-Фердинанд (1790 — 1847) — французский политический деятель либерального направления, был во главе различных министерств при Людовике-Филиппе — 143, 145.

Мартин, мисс — английская путешественница — 262.

Мастак — (из романа Сю «Парижские тайны») — 195, 197, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 238, 239, 240.

Матфей — евангелист — 236.

Мелиш — английский путешественник — 262.

Меллор — рабочий — 583.

Менений Агриппа — легендарный патриций в древнем Риме — 505.

Менцель, Вольфганг (1798 — 1873) — консервативный немецкий критик и публицист, известен своим доносом на Молодую Германию — 184.

Мид, Эдуард, из Бирмингама — автор стихотворения о царе-паре — 470.

Миллер, капитан, начальник полиции в Главог — 334.

Милль, Джон-Стюарт (1806 — 1873) — известный английский экономист и философ-позитивист — 616, 659, 660, 668, 669.

Мильтиад — знаменитый афинский полководец, победитель персов при Марафоне (490 до нашей эры) — 150.

Минерва (из мифологии) — 505.

Митчелл (Mitchell) — член парламентской комиссии для исследования детского труда — 522, 523.

Моисей (из Библии) — 404.

Мод, Даниэль — мировой судья — 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 588, 589.

Мольер (1622 — 1673) — великий французский драматург — 76.

Монк — английский юрист — 584, 585.

Монтейль (Montheil), Алексис (1769 — 1850) — французский историк, автор известной книги «Histoire des français des divers états aux cinq derniers siècles» (1828 — 1829) — 93.

Морелле (Morallet) Андре, аббат (1727 — 1819) — французский философ, экономист, сотрудник Энциклопедии Дидро и Даламбера. — 673.

Морель — каменотес (из романа Сю «Парижские тайны») — 77.

Морель, Луиза (из романа Сю «Парижские тайны») — 228.

Мурф (из романа Сю «Парижские тайны») — 99, 197, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241.

Матью, Теобальд (1790 — 1856) — ирландский священник, проповедник трезвости — 419.

Н.

Найт, врач в Шеффилде — 486, 487.

Наполеон I (1769 — 1821) — император французов — 10, 13, 27, 105, 114, 151, 152, 153, 404, 674.

Науверк (Nauwerck), Карл-Людвиг-Теодор — ориенталист, доцент Берлинского университета в 1836 г., был удален из университета за радикализм министром Эйхгорном — 33, 34, 35.

Нельсон, Горацио (1758 — 1805) — знаменитый английский адмирал, национальный герой Англии — 407.

Ноайль (Noaille), Жак-Бартеlemi (1758 — 1828) — французский политический деятель, член законодательного корпуса в 1807 — 1815 гг. — 10.

Ньютон (Newton), Исаак (1642—1727) — величайший ученый, создатель современной небесной механики — 154.

О.

О'Коннель, Даниэль (1775 — 1847) — ирландский политический деятель, основатель «Национальной ассоциации борьбы за отмену уни» — 552.

О'Коннор, Фергус (1794—1855) — вождем чартистов — 361.

Ольстон, Г., священник — 325.

Ориген (185 — 254) — выдающийся христианский богослов-ереснарх — 190, 210.

Орлеанский, герцог — см. Филипп Эгалитэ.

Остлер, Ричард (1789 — 1861) — методист, торий, вел агитацию за десятича-

- совой рабочий день, пользовался огромным влиянием среди рабочих — 434, 459, 460.
 Оуэн, Роберт (1771 — 1858) — знаменитый английский социалист-утопист — 108, 161, 258, 263, 280, 455, 517, 518, 623.

П.

- Павел, апостол — 236, 404.
 Пальцов (Paalzow), Генриетта, фон (1788 — 1847) — немецкая писательница, автор популярных романов из великоветской жизни — 38.
 Паркинсон, Ричард (1797 — 1858) — манчестерский каноник, консерватор — 416, 556.
 Парни (Parny), Эварист-Дезире Дефорж, виконт де (1753 — 1814) — французский поэт и сатирик эпикурейского направления — 91.
 Пауэр (Power) — член фабричной комиссии 1833 г. — 433, 437, 441, 445, 450, 474.
 Паундер, Роберт — рабочий — 434.
 Паш, Жан-Никола (1746 — 1823) — деятель великой французской революции, сперва помощник Ролана по министерству внутренних дел, с октября 1792 г. руководитель военного министерства, ватем городской голова Парижа, якобинец — 607.
 Пен (Paine), Томас (1737 — 1809) — знаменитый английский демократ, деятель американской войны за независимость, член французского Конвента — 311.
 Персиваль, Томас (1740 — 1804) — манчестерский врач и филантроп — 438.
 Петюион (Petion de Villeneuve), Жером (1753 — 1794) — член Конвента, мэр Парижа в 1792 г., жирондист — 602, 603, 606.
 Петр, апостол — 404.
 Пизон — римский консул, умер в 20 г. нашей эры, сподвижник Тиверия, отличался жестокостью и наглостью — 150.
 Пиллинг, Ричард — чартист — 580.
 Пиль, Роберт (1750 — 1830) — хлопчатобумажный фабрикант, отец министра — 438, 456.
 Пиль, Роберт (1788 — 1850) — известный английский государственный деятель и министр — 461, 536, 569, 581.
 Пиллэ — привратник (из романа Сю «Парижские тайны») — 95, 96, 98, 99, 100.
 Пиллэ, г-жа (из романа Сю «Парижские тайны») — 84, 95, 97, 98.

- Питкетли, английский путешественник, посетил в 1842 г. коммунистическую колонию шекеров «Нью-Либапон» в штате Нью-Йорк — 256.
 Планк (Planck), Карл-Христиан (1819 — 1880) — немецкий теолог и философ, ученик правых гегельянцев Ватке и Маргейнеке и теолога Баура — 129.
 Платон (427 — 347 до нашей эры) — великий греческий философ — 212.
 Полидор Виргилий (1470 — 1555) — английский историк, родом итальянец, свой главный труд «Историю Англии» (26 книг) посвятил Генриху VIII — 94.
 Полидори, аббат (из романа Сю «Парижские тайны») — 94, 96, 234, 235.
 Полинг и Генфри — фабриканты — 507, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589.
 Портер, Джордж-Ричардсон (1792 — 1852) — английский статистик — 306.
 Пристли (Priestley), Иосиф (1733 — 1804) — известный английский философ и ученый, ревностно боролся с различными церковными учениями — 158.
 Прометей (из мифологии) — 505, 655.
 Прудон, Пьер-Жозеф (1809 — 1885) — французский социалист-утопист — 15, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 187, 188, 520, 619, 661, 664, 665.
 Пэджин, фабрикант в Шеффилде — 502.
 Пэтсон, мировой судья — 533.
 Паше (Peuchet), Жак (1760 — 1830) — французский писатель, экономист, монархист — 673, 674, 688.

P.

- Раднор, Уильям, граф (1779 — 1869) — землевладелец, виг, противник хлебных законов — 546.
 Райт, фабричный надсмотрщик — 442.
 Рапп (Rapp), Иоганн-Георг (1757 — 1847) — основатель секты христианских коммунистов в Сев. Америке в штате Огайо — 257, 258, 259.
 Ребекки (Rebecqui), Франсуа-Трофим (1760 — 1794) — член Конвента, жирондист — 604.
 Резака (из романа Сю «Парижские тайны») — 195, 196, 197, 198, 201, 212, 215, 218, 240.
 Рейхарт — немецкий публицист, из круга Бруно Баура — 25, 27, 57, 101.
 Рассел (Russell), Джон, лорд (1792 — 1878) — английский государственный деятель и министр — 31.

- Риголетта (гриветка из романа Сю «Парижские тайны») — 98, 99.
 Рид — рабочий — 588.
 Рикардо, Давид (1772 — 1823) — великий английский экономист, представитель классической школы политической экономии. Основной труд: «Принципы политической экономии» (1817) — 6, 50, 616, 657, 659, 669.
 Рипли (Ripley), Джордж (1802—1880) — унитариянский священник, основатель коммунистической школы в Брук-Фарме (в 1842 г.), издавал вместе с Ч. Дана в 1857 г. «New American Cyclopaedia», в которой сотрудничали Маркс и Энгельс, писал в «New-York Tribune» — 262.
 Риссер (Riesser), Габриэль (1806 — 1863) — немецкий еврей, политический деятель и публицист. В 1843 г. выступил со статьей по еврейскому вопросу против Ер. Бауэра в «Конституционных летописях» К. Вейля. Был вице-президентом франкфуртского парламента, где неоднократно выступал в защиту эмансипации евреев — 120, 122, 123, 141.
 Робертон Джон (1797 — 1876) — манчестерский врач и статистик — 400, 449.
 Робертс, Уильям-Прютинг (1806 — 1871) — адвокат, чартист, принимал участие почти во всех судебных делах рабочих союзов — 532, 533, 535, 536, 537, 559, 560, 583, 584, 585, 587, 588, 589.
 Робеспьер (Robespierre), Максимилиан (1758 — 1794) — знаменитый деятель великой французской революции, вождь якобинцев — 13, 148, 149, 150, 151, 602, 604, 606, 609.
 Робинэ (Robinet), Жан-Батист-Ренэ (1735 — 1820) — французский философ материалист, главный труд: «De la nature» (1761). — 159.
 Робсон, Джордж — бедняк из рабочего дома — 565.
 Родольф, герцог Герольштейнский (из романа Сю «Парижские тайны») — 84, 85, 97, 100, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 248.
 Ролан (Roland de la Platière), Жан-Мари (1734—1794) — видный деятель великой французской революции, министр внутренних дел, член Конвента, один из вождей жирондистской партии — 604, 605, 606, 607.
 Ролан, г-жа, жена Жана-Мари Ролана (1754 — 1794) — играла видную роль во время великой французской революции; салон м-ше Ролан был политическим центром жирондистов — 94.
 Ромер (Rohmer), Фридрих (1814 — 1856), Ромер, Теодор (1816 — 1856) — немецкие философы и психологи — ученики Шеллинга последнего периода, выступили против Молодой Германии. В Цюрихе примкнули к либеральной партии, возглавляемой Блюнчли — 244.
 Роттек (Rotteck), Герман, Родеккер, фон (1816 — 1848) — немецкий юрист и историк радикального направления, вместе с Велькером редактировал «Staatslexikon» — 152.
 Ру (Roux), Жак (ум. в 1794) — священник-революционер, вождь так называемых «бешеных» — партии парижского пролетариата — 147, 244.
 Руге, Арнольд (1803 — 1881) — немецкий литератор, философ-гегельянец и публицист-радикал. Редактировал в 1838 г. «Halle'sche Jahrbücher» — орган левых гегельянцев, а в 1844 г. в Париже вместе с Марксом «Deutsch-französische Jahrbücher». Позднее Руге разошелся с Марксом — 186.
 Руссо, Жан-Жак (1712 — 1778) — знаменитый французский писатель и философ — 676.

С.

- Садлер, Михаил-Томас (1780 — 1835) — член парламента, торий, защитник 10-часового рабочего дня. — 456, 457, 459.
 Саймонс, Джеллингер Коксон (1809 — 1860) — либерал, член комиссии по обследованию положения ручных ткачей — 333, 334, 405, 428, 488, 497, 525.
 Салль (Salles), Жан-Батист (1760 — 1794) — член Конвента, жирондист — 606.
 Салмон, рабочий — 582, 583, 584.
 Самсон (из Библии) — 404.
 Сантерр (Santerre), Антуан-Жозеф (1752 — 1809) — известный деятель великой французской революции, шеф парижской национальной гвардии, участвовал в подавлении восстания в Вандее — 608.
 Сарра (из Библии) — 127.
 Саундерс — фабричный инспектор — 459.
 Саутвуд Смит (Southwood Smith) — лондонский врач, член парламентской комиссии для обследования детского труда — 367, 392, 527.

- Сен-Жюст (Saint-Just), Луи-Антуан (1767 — 1794) — знаменитый деятель великой французской революции, член Конвента, друг и соратник Робеспьера, с которым погиб на эшафоте — 149, 150, 151.
- Сениор, Уильям-Нассау (1790 — 1864) — английский экономист, либерал, последователь Мальтуса и Рикардо — 358.
- Сен-Симон, Клод-Анри де (1760 — 1825) — знаменитый французский социалист-утопист, создатель школы сен-симонистов — 50, 619.
- Серван (Servan de Gerbey), Жозеф (1741 — 1808) — жирондист, военный министр в 1792 г., после казни жирондистов сидел в тюрьме до 9 термидора, вновь выдвинулся при Наполеоне — 607.
- Сесили (из романа Сю «Парижские тайны») — 91, 92.
- Сийас (Sieyès), Эмануэль-Жозеф (1748 — 1836) — французский аббат, политический деятель эпохи великой французской революции, член Конвента, затем член Директории. Автор знаменитой брошюры «Что такое третье сословие?», в которой защищались интересы буржуазии — 50.
- Силлери (Sillery), Шарль-Алексис, маркиз де (1737 — 1793) — французский генерал, примкнувший к революции, скомпрометировал себя защитой герцога Орлеанского, погиб на эшафоте вместе с жирондистами — 606.
- Сисмонди (Simonde de Sismondi), Жан-Шарль Симонд де (1773 — 1842) — известный французский историк и экономист французской классической школы — 51.
- Скарбек (Skarbek), Фредерик-Флориан, граф (1792 — 1866) — польский литератор и экономист — 668, 669, 670.
- Скотт, рабочий — 583.
- Скривен — член парламентской комиссии для обследования детского труда — 490.
- Смелли — английский хирург в Глазго — 448.
- Смит, Адам (1723 — 1790) — знаменитый английский экономист, основатель классической школы, автор «Исследования о богатстве народов» (1776) — 50, 51, 70, 374, 410, 615, 616, 617, 665, 667, 668, 669.
- Смит — рабочий — 504.
- Соломон — царь иудейский — 404, 581, 582.
- Спиноза, Бенедикт (1632 — 1677) — великий философ-материалист — 153, 154, 156, 159, 161, 168.
- Сталь (Staël) де, Жермен (1766 — 1817) — известная французская писательница, сторонница английской конституции. относилась враждебно к великой французской революции и к империи Наполеона — 675.
- Стердж, Джозеф (1793 — 1859) — квакер, радикал, деятель Лиги борьбы против хлебных законов, проводил идею соглашения между чартистами и либералами — 515.
- Стивенс (Stephens), Джозеф-Рэнер (1805 — 1879) — методистский священник, был под влиянием Остлера, с 1837 г. примкнул к чартизму — 511, 516, 572.
- Стюарт — член фабричной комиссии 1833 г. — 440, 443, 448, 450, 453.
- Сычиха (из романа Сю «Парижские тайны»). — 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220.
- Сэй (Say), Жан-Батист (1767 — 1832) — французский экономист, основатель так называемой «вульгарной» школы политической экономии — 50, 63, 64, 616, 657, 667, 669, 670.
- Сю (Sue), Эжен — известный французский писатель, автор 10-томного романа «Mystères de Paris» (1842 — 1843), в котором он обрисовал жизнь парижских трущоб — 76, 77, 78, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 196, 198, 200, 203, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 230, 235, 236, 237.
- Т.
- Талльен (Tallien), Жан-Ламбер (1769 — 1820) — член Конвента, террорист, затем враг Робеспьера, один из главных участников событий 9 термидора — 607.
- Тан, В. Г. — русский этнолог и поэт — 472.
- Танкред — член парламентской комиссии для исследования детского труда — 491.
- Тейнелль — член фабричной комиссии 1833 г. — 433, 437, 440, 441, 442, 447, 448.
- Токвиль (Tocqueville), Алексис-Шарль-Анри Клерель де (1805 — 1859) — знаменитый французский историк и политический деятель — 219.
- Торнхилль — фабрикант, хозяин Остлера — 459.
- Тристан, Флора (1803 — 1844) — французская социалистка. В «Прогулках по Лондону» (1840) описала быт английского пролетариата, в «Union

- ouvrière» разработала проект ассоциации рабочих в условиях современного капиталистического строя — 36, 37, 221.
- Турпин, Дик — английский бандит, герой приключенческих романов — 404.
- Тейлор, Джон (1804 — 1841) — врач, революционный чартист, призывал к всеобщему вооружению и всеобщей забастовке — 511.
- Тюрно (Thuriot), Жак-Алексис (1753 — 1829) — член Конвента, якобинец, участвовал в событиях 9 термидора — 605, 606.
- У.
- Уайтман — судья — 533.
- Уатт (Watt), Джеймс (1736 — 1819) — изобретатель паровой машины — 180, 306.
- Уеджвуд (Wedgwood), Иосия (1730 — 1795) — основатель художественного гончарного производства в Англии — 312.
- Уильямс — судья — 533.
- Уэд (Wade), Джон (1788 — 1875) — автор «History of middle and working classes» (1833) — 400.
- Уэвфильд, Эдуард-Гиббон (1796 — 1862) — автор памфлета о батрацком восстании 1830 — 1831 гг. «Swing unmasked or the cause of rural incendiarism», Ld. 1831 — 542.
- Уэсли (Wesley), Иоанн (1703 — 1791) — основатель секты методистов — 405.
- Ф.
- Фарадей, Михаил (1791 — 1864) — знаменитый английский физик — 536.
- Фаухер (Faucher), Юлий (1820 — 1878) — немецкий публицист, принадлежал к кругу Бруно Бауэра, в 60-х годах представитель немецкого манчестерства — 23, 28, 57, 60, 101, 104, 110.
- Фейербах, Людвиг (1804 — 1872) — немецкий философ, материалист и атеист. Автор знаменитой книги «Сущность христианства» (1841), оказавшей большое влияние на немецких социалистов — 59, 77, 117, 118, 154, 119, 156, 169, 171, 177, 248, 299, 629, 633, 634, 635, 636, 646.
- Ферран, Жак (из романа Сю «Парижские тайны») — 92, 93, 94, 239, 242.
- Ферранд, Уильям-Бушфильд — иоркширский помещик, член парламента, из группы «Молодая Англия», обличал фабрикантов, выступал в защиту фабричных рабочих — 560, 569.
- Филипп-Жозеф Эгалитэ, герцог Орлеанский (1747 — 1793) — названный «Эгалитэ» парижской коммуна 15 сентября 1792 г.; член Конвента, монтаньяр. После измены Дюмурье был обвинен в стремлении к короне и гильотинирован — 604, 606, 607.
- Филиппо (Philippeaux), Пьер-Никола (1756 — 1794) — член Конвента, дантонист — 605, 610.
- Филипсон, Людвиг (1811 — 1889) — известный еврейский теолог и публицист, представитель реформистского направления в еврействе — 112.
- Фильден, Джон (1784 — 1849) — хлопчатобумажный фабрикант, член парламента, «решительный» радикал. Автор известного памфлета «Проклятие фабричной системы» (1836) — 569.
- Финч — английский путешественник, посетивший Плевант-хилл (немецкая коммунистическая колония шекеров) у Лерингтона в штате Кентукки — 255, 258, 261.
- Фихте, Иоганн-Готлиб (1762 — 1814) — великий немецкий философ-идеалист — 148, 168.
- Флейшгаммер — бреславльский корреспондент «Allgemeine Literaturzeitung» — 175, 176.
- Флёр-де-Мари — (из романа Сю «Парижские тайны») — 195, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 213, 215, 218, 220, 227, 228, 238, 239, 241, 242.
- Фосс (Voss), Иоганн-Фридрих (1751 — 1826) — немецкий поэт и переводчик «Илиады» и «Одиссеи» — 223.
- Фоше (Faucher), Леон (1803 — 1854) — французский журналист, экономист, министр внутренних дел в эпоху президентства Луи-Наполеона — 482.
- Франкс — член парламентской комиссии для обследования детского труда — 491.
- Франсуа де-Нешато (François de Neufchâteau), Никола-Луи (1750 — 1828) — французский писатель, член академии наук, политический деятель, министр внутренних дел при директории — 674.
- Фроман (Froment) — полицейский чиновник в эпоху Реставрации, написал «La police dévoilée sous Franchet, Delavau et Vidocq» (1829) — 97.
- Фрост, Джон (1785 — 1877) — радикал, последователь Коббета и Т. Пена, принимал активное участие в чартистском движении — 511.
- Фуа (Fou), Максимилиан-Себастиан (1775 — 1825) — французский генерал при Наполеоне, республиканец по своим убеждениям — 97.

- Фурнье (Fournier), «Американец» (1745—1823)** — французский революционер, командовал отрядом в сентябрьские дни (1792) — 608.
- Фурье, Шарль (1772 — 1837)** — знаменитый французский социалист-утопист — 50, 105, 108, 112, 160, 227, 229, 234, 291, 298, 619, 673.

X.

- Харгривс (Hargreaves), Джеймс (ум. в 1778 г.)** — ткач, изобретатель прядильной машины «дженни» (ок. 1764 г.) — 29, 304.
- Хент, Томас** — основатель колонии в 1844 г. в Эквалиги в штате Висконсин — 263.
- Хискот (Heathcott), Джон (1783 — 1861)** — изобретатель бобинетовой машины для тканья тюля — 307.
- Хромушка (из романа Сю «Парижские тайны»)** — 213, 214, 220.

Ц.

- Церледер** — корреспондент «Allgemeine Literaturzeitung» — 175, 176.

Ч.

- Чадвик, Эдвин** — секретарь парламентской комиссии по закону о бедных — 331.
- Чемпи, В.** — священник — 379.

Ш.

- Шабо (Chabot), Франсуа (1756—1794)** — священник, примкнувший к революции, член Конвента, якобинец, был уличен в спекуляциях и гильотинирован в одно время с Базиром и Делона — 607.
- Шапталъ (Chaptal), Жан-Антуан, граф Шапталу де (1756 — 1832)** — известный французский химик и администратор, министр внутренних дел после 18 брюмера, руководитель промышленности при Наполеоне. Цитированная Марксом и Энгельсом работа «De l'industrie française» вышла в 1819 г. — 233.
- Шарп, Фрэнсис** — английский хирург в Лидсе — 441, 445.
- Шарп и Роберт** — фабриканты в Гайде — 505.
- Шарпе** — фабрикант — 587, 588.

Шателен, священник (из романа Сю «Парижские тайны») — 233, 234.

- Шевалье (Chevalier), Мишель (1806 — 1879)** — французский экономист, примыкал к школе сен-симонистов, сторонник свободы торговли — 17, 659.
- Шекспир, Уильям (1564 — 1616)** — величайший английский поэт и драматург — 94, 533, 542.
- Шелига (Szeliga) (1820 — 1900)** — псевдоним Цыклин фон-Цыклинского (Zuchlin v. Zuchlinski) — принадлежал к кругу Б. Бауэра, участник баденской революции, позже прусский генерал — 23, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 110, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 208, 210, 212, 213, 218, 223, 224, 226, 228, 235, 241, 242.
- Шелли, Перси-Биши (1792 — 1822)** — знаменитый английский поэт — 520.
- Шеллинг, Фридрих-Вильгельм-Иосиф (1775 — 1854)** — знаменитый немецкий философ-идеалист — 120, 184.
- Шепард, Джек** — известный вор-рецидивист — 404.
- Шиллер, Иоганн-Фридрих (1759 — 1805)** — великий немецкий поэт — 236.
- Штейн, Лоренц (1815 — 1890)** — немецкий юрист и экономист. Его книга «Der Sozialismus u. Kommunismus des heutigen Frankreichs» (1842) оказала большое влияние на немецких социалистов 40-х годов — 163.
- Штейн, Генрих-Фридрих-Карл (1757 — 1831)** — знаменитый прусский государственный деятель и реформатор — 26.
- Штирнер, Макс (псевдоним Каспара Шмидта) (1806 — 1856)** — автор знаменитой книги «Единственный и его собственность», проповедывавшей крайний индивидуализм — 321, 555.
- Штраус, Давид-Фридрих (1808—1874)** — немецкий теолог, знаменитая книга которого «Das Leben Jesu» (1835) была поводом для распада гегельянцев на правых и левых — 111, 129, 166, 167, 168, 172, 520, 633.
- Штумм, Карл-Фердинанд (1836—1901)** — глава крупной металлургической фирмы в Рейнской провинции — 535.

Э.

- Эбер (Hébert), Жан-Пенз (1757—1794)** — знаменитый революционер эпохи великой французской революции, редактор «Père Duchesne» с 1790 г.,

- вождь парижской коммуны, вел ожесточенную борьбу с жирондистами, умеренными, дантонистами. Погиб в борьбе с Робеспьером 6 марта 1794 г. — 141.
- Эгидий (Egidius) — псевдоним Карла Вейля (см.) — 194.
- Эдельман (Edelmann), Иоганн-Христиан (1698—1767) — немецкий Спинозист и атеист XVIII в. — 176.
- Эдуард III, король английский (1327 — 1377) — 8.
- Элеонора (в стихах Парни) — 91.
- Энсворт и Кромптон — фабриканты в Больтоне — 503.
- Эпикур (342 — 270 до нашей эры) — знаменитый греческий философ, основатель философской школы, примыкающей к материализму Демокрита — 155.
- Эсхил (525 — 456 до нашей эры) — великий греческий трагик — 655.
- Эшли (Ashley), лорд (1801 — 1885) — член Нижней палаты, торий, защищал интересы промышленных рабочих — 30, 418, 431, 432, 436, 447, 448, 459, 460, 530, 569.

Ю.

- Юлий Цезарь (100 — 44 до нашей эры) — знаменитый римский государственный деятель и писатель — 150.
- Юнгниц (Jungnitz), Эрнст (ум. в 1848 г.) — немецкий историк и теолог, из круга Бруно Бауэра. Вместе с Бруно и Эдгаром Бауэрами издал «Denkwürdigkeiten zur Geschichte des neueren Zeit seit d. franz. Revolution» (1843 — 1844) — 34.
- Юр (Ure), Эндрю (1778 — 1857) — английский химик и экономист, идеолог промышленной буржуазии — 413, 424, 430, 454, 459, 471, 504, 505, 506.

СОДЕРЖАНИЕ.

	СТР. VII
Предисловие редактора	1
<i>К. МАРКС.</i>	
Критические примечания к статье «Король прусский и социальная реформа» («Vorwärts», 1844, № 63, 64.)	1
<i>К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Святое семейство, или критика «критической критики». Против Бруно Бауэра и К ^о (Frankfurt a/M. 1845. J. Rütten.)	21
Предисловие	23
I. «Критическая критика» в образе переплетного мастера, или же «критическая критика» в лице господина Рейхарта (<i>Энгельс.</i>) . . .	25
II. «Критическая критика» как «мельник» («Mühleigner»), сиречь фабрикант, или же «критическая критика» в лице господина Юлия Фаухера. (<i>Энгельс.</i>)	28
III. Основательность «критической критики», или же «критическая критика» в лице господина Ю. (Юнгниц?) (<i>Энгельс.</i>)	84
IV. «Критическая критика» как спокойствие познания, или же «критическая критика» в лице господина Эдгара	36
1. Union ouvrière Флоры Тристан (<i>Энгельс</i>)	—
2. Боро о проститутках (<i>Энгельс</i>)	37
3. Любовь. } (<i>Маркс.</i>)	38
4. Прудон. }	41
V. «Критическая критика» как торговец тайнами, или же «критическая критика» в лице господина Шелиги. (<i>Маркс.</i>)	76
1. Тайна одичания среди цивилизации и тайна бесправия в государстве	77
2. Тайна спекулятивной конструкции	78
3. Тайна образованного общества	83
4. Тайна прямодушия и благочестия	92
5. Тайна-насмешка	95
6. Горлица (Риголетта)	98
7. Мировой порядок «Парижских тайн»	99
VI. Абсолютная «критическая критика», или же критика в лице господина Бруно	101
1. Первый поход абсолютной критики. (<i>Маркс.</i>)	101
а) «Дух» и «масса»	—
б) Еврейский вопрос № 1. Постановка вопроса	—
в) Гинрихс № 1. Тайственные намерки в области политики, социализма и философии	115
М. и Э. З. 1145	

	СТР.
2. Второй поход абсолютной критики	117
а) Гинрикс № 2. «Критика» и «Фейербах». Осуждение философии. (Энгельс.)	—
б) Еврейский вопрос № 2. Критические открытия в области социализма, юриспруденции и политики (идея национальности). (Маркс.)	119
3. Третий поход абсолютной критики. (Маркс.)	125
а) Самоапология абсолютной критики. Ее «политическое» прошлое	—
б) Еврейский вопрос № 3.	133
в) Критическое сражение с французской революцией.	146
г) Критическое сражение с французским материализмом	153
д) Заключительное поражение социализма	163
е) Спекулятивный кругооборот абсолютной критики и философия самосознания.	165
VII. Корреспонденция «критической критики»	174
1. «Критическая масса». (Маркс.)	—
2. «Некритическая масса» и «критическая критика»	179
а «Закоснелая масса» и «неудовлетворенная масса». (Маркс.)	—
б) «Мягкосердная» и «жаждущая спасения» масса. (Энгельс.)	182
в) Проявление критической благодати. (Маркс.)	185
3. Некритично-критическая масса, или «критика» и «берлинский оттенок». (Маркс.)	186
VIII. Земная жизнь и преображение «критической критики», или «критическая критика» в лице Родольфа, князя Герольштейнского. (Маркс.)	194
1. Критическое превращение мясника в собаку, или уличный Ревака	195
2. Разоблачение тайны критической религии. Флёр де-Мари.	198
а) «Спекулятивная «Маргаритка».	—
б, Флёр де-Мари	200
3. Разоблачение тайн права	209
а) Мاستак, или новая теория наказания. Разоблаченная тайна системы одиночного заключения. Медицинские тайны	—
б) Воздаяние и наказание. Двойное правосудие (с таблицей)	220
в) Упразднение одичания среди цивилизации и бесправия в государстве	223
4. Разоблаченная тайна «точки зрения»	224
5. Разоблачение тайны утилизации человеческих влечений, или Клеменция Дарвиль	226
6. Разоблачение тайны женской эмансипации, или Луиза Морель	228
7. Разоблачение политико-экономических тайн	229
а) Теоретическое разоблачение политико-экономических тайн	—
б) Банк для бедных	230
в) Буквальское образцовое хозяйство	232
8. Родольф, «разоблаченная тайна всех тайн»	234
IX. Критический страшный суд. (Маркс.)	243
К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС.	
Ответ на антикритику В. Вауэра	245
(«Gesellschaftsspiegel», 1846, Bd. II. Heft VII.)	

<i>Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	СТР.
Описание возникших в новейшее время и еще существующих коммунистических колоний	251
(«Deutsches Bürgerbuch», Darmstadt 1845, p. 326 — 340.)	
<i>Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Эльберфельдские речи	269
(«Rheinische Jahrbücher», 1845, Bd. I)	
<i>Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Положение рабочего класса в Англии	293
(Leipzig 1845. Wigand.)	
К рабочему классу Великобритании	295
Предисловие	298
Введение	301
I. Промышленный пролетариат	317
II. Крупные города	320
III. Конкуренция	369
IV. Ирландская иммиграция	383
V. Выводы	388
VI. Отдельные отрасли труда. Фабричные рабочие в тесном смысле	424
VII. Другие отрасли труда	473
VIII. Рабочее движение	495
IX. Горнопромышленный пролетариат	521
X. Земледельческий пролетариат	539
XI. Отношение буржуазии к пролетариату	553
<i>Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Одна из английских забастовок (Turnout). Дополнение к книге «Положение рабочего класса в Англии»	575
(«Westphälisches Dampfboot», 1846, Heft 1, 2.)	

ПРИЛОЖЕНИЯ.

<i>М. ГЕСС и Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Проспект «Gesellschaftsspiegel»	593
(«Gesellschaftsspiegel», 1845, Bd. I.)	
<i>К. МАРКС.</i>	
Борьба якобинцев с жирондистами	599
(Из рукописного наследства К. Маркса и Ф. Энгельса.)	
<i>К. МАРКС.</i>	
Подготовительные работы для «Святого семейства»	613
(Из рукописного наследства К. Маркса и Ф. Энгельса.)	
1. [Частная собственность и труд.]	615
2. [Частная собственность и коммунизм.]	619
3. [Как нам быть с гегелевской диалектикой?]	632
4. [Потребности, производство и разделение труда.]	654
<i>К. МАРКС.</i>	
Ж. Наше о самоубийстве	671
(«Gesellschaftsspiegel», 1846, Heft VII.)	

Указатель имен	СТР. 689
--------------------------	-------------

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

I. Титульная страница первого издания «Святого семейства»	32 — 33
II. Факсимиле страницы рукописи (Маркса) из подготовительных работ для «Святого семейства»	96 — 97
III. Обложка первого издания «Положения рабочего класса в Англии» .	304—305
IV. План города Манчестера	352—353
V. Обложка «Gesellschaftsspiegel»	592—593

